Д.И.ФОНВИЗИН

Д.И. ФОНВИЗИН





ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Д. И. ФОНВИЗИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в двух томах



Государственное Издательство
Художественной Литературы
Москва 1959 Ленинград

Д.И.ФОНВИЗИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ



Государственное Издательство
Художественной Литературы
Москва 1959 Ленинград

*Составление, подготовка текста
и комментарии*
Г. П. МАКОГОНЕНКО

Оформление художника
В. В. ЗЕНЬКОВИЧ

ПРОЗА

ПОВЕСТВОВАНИЕ МНИМОГО ГЛУХОГО И НЕМОГО[1]

Отец мой, добродетельнейший из смертных, коего потерю я оплакивать не престану, претерпев в течение службы своей многие обиды, досады и несправедливости, от сродственников же, друзей и покровителей также быв обманут, предан и наконец оставлен, вел большую часть последних своих дней в уединении; и как из

---

[1] *К господам издателям «Собеседника».* Предлагая здесь вам мою странную участь, я не только удовлетворяю самолюбию, которое обыкновенно нас влечет о себе самом и до себя касающемся с удовольствием говорить, но предлагаю вам и услуги мои. Вы найдете в течении жизни моей, что я имел отменный и совсем необыкновенный случай видеть обнаженные сердца и нравы и проницать в самые сокровенные тайны людские, почему и могу для включения в ваш «Собеседник» разнообразные характеры представить, кои из такого рода сочинений, какова ваша книга, не должны быть исключаемы, ибо ничто столь внимания нашего не заслуживает, как сердца человеческие, кои час от часу лавиринту подобнее становятся, потому что ко всеобщим прежде бывшим причинам скрывать слабости и страсти, воспитание, bon ton и maniere de vivre прибавили еще в нас единообразие, кое соделывает наружность нашу так единаку, что каждый из нас ни на себя и ни на кого особенно не походит, а все вообще как будто из одной формы вылиты представляются. Моя философия стремится только познавать сердца человеческие; не течения звезд я следую, не систему мира проникнуть желаю, не с Эйлером теряюсь в раздроблении бесконечных малостей, — движение добродетельных душ и действия

благотворительной его души исторгнуть не могли любви его к человеческому роду, то обратилось его внимание на нас (как он называл), рожденных своих друзей. Несчастные, однако, и притесненные от него помощь получали, и сердце его всегда отверсто было с отменною жалостию разделять их печаль. Философия же его была ни высокопарна, ни надменна, с кротостию сносил пременчивость судьбы, с снисхождением смотрел на недостатки человеческие. Несправедливость и коварство, устремленные противу него, не могли из него извлечь роптания, ни освирепеть его душу, но оставили только единое в сердце его впечатленное отвращение от большого света и от уз, кои, как он думал, налагает с собою служба. (Сие его предрассуждение осудило меня к странному моему жребию.) Отец мой имел редкое счастие получить в сотоварищество свое женщину разумную, благонравную, добродетельную и скромную. Достойная сия чета ощущала взаимную горячность и была столь счастлива, сколько участь человеческая счастья совмещать может. Упражнение их было нас наставлять и направлять сердца и умы наши к добродетели и человеколюбию. Дни их благополучно и спокойно протекали; но как все преходчиво и пременно на сем свете, смерть лишила отца моего любезнейшей ему супруги, а нас беспримерной матери.

Братья мои уже были в службе, я один, младший из всех, имел еще нужду в родительском призрении, и как я более прочих на покойную свою мать лицом походил, то по сим двум причинам отец мой с большею горячностию ко мне прилепился: он меня ни на час от себя не отпускал, занимался единственно мною, не пропускал ни одного случая, ни одного слова или вещи, чтоб применения, к нравоучению моему служащего, из

благородных сердец познавать стараюсь. Не быв цензором, желал бы, однако, слабости людские исправлять и пороки в омерзение приводить, но вы удобнее способом издания книги вашей то исполнить можете; почему я только вас прошу к присылаемым от меня характерам свои примечания, заключения и нравоучительные доводы прибавлять и с снисхождением прочесть нижеследующее.

них не сделать, — словом, я был первый предмет для него в жизни. В некоторое время приметил я, что родитель мой в задумчивости несколько дней проводил, грустил и особливое, терзающее дух его изъявлял смущение; мне казалось, что будто бы он боролся сам с собою, когда сердце его к нежным ласкам противу меня его возбуждало. Я любил его страстно, доверенность между нами была неограниченна. Кинувшись в его объятия со слезами, просил его открыть мне тайну, к каковым сердце его в рассуждении меня казалось непривычно, и сказать мне причину, кая могла столь сильно встревожить дух его и разрушить то счастливое и приятное спокойствие, коим он прежде наслаждался. После великого волнения, рыдания и слез он мне сказал то, что и доднесь в памяти моей живо мне представляется. «Ты молод, мой друг, — говорил он, — а совесть моя решить не могла сумнения, коим я, как ты приметил, обременен; ты молод и выбора основательного сделать не можешь, а я права родительские сокращаю в гораздо теснейшие пределы, нежели им обыкновенно полагают. Я не имею права избирать за тебя участи, коей ты на весь твой век предашься, тем наипаче, что оная не обыкновенна и с собою нанесет великие затруднения и некоторые жертвы. С другой стороны, я испытал, что обращение светское и служба за собою влечет предательство, ухищрения, зависть, злоключения и самое умерщвление духа, почему главное мое желание есть сообразить, если то возможно, для тебя удаление от света и познание оного. Я бы желал, чтобы ты спознал сердца человеческие, не быв, однако, подверженным их злоухищрению, чтоб ты наслаждался всем благом, которое смертному вкушать определено, и, сохранив сердце непорочным, не имел оное растерзанным и израненным от стрел, нередко в руках сильных к поражению добродетели изготовленных. Но я не знаю, как мне открыть тот план, который мне представляется и коим объят весь мой разум. Вседневно примечаю я истощение сил моих, конец мой приближается, и воображение мучительное меня снедает, что тебя оставлю в сем море, волнующемся беспрестанно, на горизонте коего пороки и беззакония только видимы, а доброде-

тель, волнами биющаяся, без пристанища оным противуборствующая, наконец бездной поглощена бывает. Сие-то воображение меня более смущает, нежели пресечение дней моих мне прискорбие нанести может». Тут дражайший мой родитель в безмолвную грусть предался, по слезы, ласки и просьба моя его яко от сна пробудили: он наконец, обняв меня с несказанною горячностию, посадил возле себя и, как будто для вящего убеждения руки мои своими сжимая, начал таким образом:

«Ты не можешь, друг мой, себе представить, каким досадам и огорчениям честный человек в службе подвергается. Я хочу тебя независимым сделать, и для того, если ты чувствуешь в себе довольно твердости, чтоб лишиться слабого, но нередко вредного нам удовольствия говорить с людьми, то притворись больным на несколько дней; потом скажем мы домашним нашим, что ты от оной болезни стал глух и нем, чрез что ты не будешь обвиняем в том, что не служишь. Людские же мысли и самые сокровенные чувства тебе будут обнажаемы. Честана, к коей я горячность твою примечаю, быв воспитана матерью твоею, всеми добродетелями одаренная, к тебе так привязана, что, конечно, не умалит своей к тебе любви и чрез несколько лет будет твоею женою. Скрыв от нее нашу тайну, ты тем самым испытаешь ее любовь, и я нимало не сумневаюсь, что ты будешь иметь удовольствие увериться в искренности ее к тебе горячности, а добродетель и рассудок ее с новым и бо́льшим блеском окажется. От нее должны мы необходимо скрывать тайну свою».

Я на предложение родителя моего согласился тем охотнее, что я вкорененное имел любопытство знать внутренность сердец человеческих, и как страсть безмерная, с коею я Честану любил, казалось мне, не равным жаром ею награждалась, я желал узнать истину. Но здесь прерву на час мое повествование, чтоб не держать вас долее в неизвестности о девице, душа и разум коей достойны почтения от самой добродетели. Честана осталась двух лет, когда злодейскими руками отец и мать ее лишились жизни; достаток их был весь разграблен, и она тогда, как божиим провидением, быв с кормилицею в поле, тем только жизнь сохранила.

Кормилица ее несколько дней по лесам с нею скрывалась и потом принесла ее к родителям моим. От устали и глада успев только рассказать матери моей несчастное с господами ее приключение и положа невинную Честану к ногам родителей моих, испустила дух свой, благодаря всевышнего, что дражайший ей младенец спасен. С тех пор родители мои Честану с нами не рознили, ее сестрою почитать и называть приказали. Она была моих лет. С того самого времени мы друг друга начали любить и неразлучны были. Одни вкусы, одни игры — одним словом, единая душа, казалось, Честану и меня оживляла.

На другой день разговора моего с родителем моим я притворился больным, постеля моя перенеслась в его комнату, и после десятидневной притворной горячки родитель мой объявил Честане и всем домашним с изъявлением великой горести, что я болезнию лишен слуха и языка. Печаль и поражение, кое Честана при том изъявила, едва не поколебали меня к открытию ей моей тайны, но я удержан был почтением и любовью своею к отцу, которого боялся тем огорчить. Способом пера или карандаша мы с нею мысли свои друг другу сообщали, скоро и знаки выдумали, коими еще поспешнее изъяснялись. Мне казалось, что она от жалости еще более горячности ко мне чувствовать и показывать стала, и я себя счастливейшим из смертных почитал. По вечерам, когда я с родителем один оставался, тогда замыкали двери не только спальной нашей, но и боковых от нее комнат, и тогда-то я с батюшкой говаривал, и мы сообщали друг другу слышанное и примеченное нами в течение дня. Несколько месяцев спустя поехал я один с отцом моим по разным губерниям пространного нашего отечества. Возвратясь домой после испытания верности и благонравия прелестной Честаны, родитель мой увенчал нашу страсть, и несколько лет после совершения нашего брака мы поехали опять по России, и тогда только с дозволения родительского открыл я верной моей супруге и другу, что я не лишен ни слуха, ни языка. Привычка, кою я сделал столько лет ни с кем, окроме их двух, не говорить, так вкоренилась, что, лишившись несколько лет по том родителя

своего, хотя я был уже свободен перестать скрываться, но я того не сделал и по смерти сохраню звание глухого и немого, в коем качестве я так известен, что трактирщик, готовясь обмануть ожидаемых им гостей, кокетка, проводящая своих любовников, придворный, ухищрениями дышащий, подьячий, алчный ко взяткам, дитя шелливое и страшившееся своего вожатого, — словом, никто меня не остерегается, все предо мною обнаженные предстоят, и когда я в клоб или на гулянье приду, то слышу, что робята вскричат: «Вот глухой-то и немой», а отцы и матери их с некоторым оказанием сожаления говорят: «Он, бедняга, никому и ничему не помеха». Оттого-то я к сокровенной человеческой внутренности имею ключ. Приехав домой, сообщаю товарищу своему и другу слышанное мною, а она то записывает. Здесь приобщаю записки моего первого путешествия, окончавшегося в 1762 году. Вы увидите в них совсем другой слог, нежели в моем повествовании. Здесь следовал я моему сердечному чувству, а там иногда веселому, иногда сердитому духу, в какой разные встречи меня приводили. Во всех моих записках не найдете вы ничего, или весьма мало, касающегося до политических, исторических, правоучительных и прочих сведений. Мое дело было познавать людей и познавать человека. Ежели вы, господа мои, напечатаете их в «Собеседнике», то и следующие вам сообщать стану; пребывая навсегда...

****

ЗАПИСКИ МОЕГО ПЕРВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ПО 1762 ГОД[1]

(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

Я предварил уже читателя, что отец мой старость свою провождал в уединении. Воспитывался я в подмосковной его деревне, из которой он, конечно, и не вы-

[1] Сии записки, сочиненные в самое путешествие, ныне по случаю издания «Собеседника» исправлены, приведены в некоторый порядок и дополнены в разных местах рассуждениями, почерпнутыми из сравнения тогдашнего времени с настоящим.

езжал бы, если б не окружен был дурными соседьми, которые, имея число душ несравненно нашего больше, обижали нас очень часто и очень чувствительно. Чтоб найти защиту от их наглостей, отец мой принужден бывал ездить нередко в город Дмитрев. Я помню, что всякий раз, как он по возвращении своем из Дмитрева выходил из коляски, первое слово, которое, вздохнув, он к нам произносил, бывала старинная пословица: «Сильная рука богу судить!» Но сколь он тем ни огорчался, однако иногда сам смеивался, размышляя, чья была та сильная рука и кого богу судить. С правой стороны главный наш сосед был отставной майор из солдатских детей, по жене разбогатевший, и назывался, как теперь помню, Пимин Прохоров сын Щелчков. Он был мужик пресильный и человек преглупый, превеликого росту и пренизкого духу, по вся дни пил, весь день был пьян, а ночи сыпал богатырским сном. Пьяный был неугомонен. Лучшая его в деревне забава состояла в том, чтоб, выбрав сильных мужиков, ставить их на колени и щелкать по лбу. Он в сем искусстве так отменно был силен, что во всем его селе не было лба, у которого бы он одним щелчком не отшибал памяти. У двора имел он ближнего свойственника и нелицемерного друга. Сия знаменитая особа был дворцовый истопник Касьян Оплеушин, получивший свое прозвище по данной ему от гоффурьера оплеухе за то, что однажды печь закрыл с головнею. Я думаю, однако ж, и всегда был того мнения, что гоффурьер поступил на сию крайность, последуя больше своему первому движению, нежели правосудию, ибо Оплеушин был такой мастер топить печи, что те, для которых он топил, довели его своею протекциею наконец и до штаб-офицерского чина; но смерть лицеприятия не знает. Она, несмотря на толикое возвышение, скосила его в ту самую минуту, в которую дошла до него очередь. Он скончался без предков и потомков, первый и последний в своем роде. Наш майор был о кончине его неутешим, и в знак глубочайшего своего душевного почтения к заслугам и качествам сего в бозе усопшего штаб-истопника его высокоблагородие принял фамилию покойного и по смерть свою писался

не иначе, как: Пимин Прохоров сын Щелчков-Оплеушин.

«Не купи двора, купи соседа» — пословица весьма справедливая. Щелчков-Оплеушин обижал нас как хотел. То рубил нашу рощу, то отнимал скотину у наших мужиков, то самих их, заманя к себе, щелкал по лбу; словом, обиды были непрестанные, на которые, однако ж, в Дмитреве никакого суда найти было нельзя, ибо воевода и с приписью подьячий, с женами и с детьми были не что иное, как твари, питавшиеся от крупиц, падающих майорского дому; а потому в городе Дмитреве место естественных и положительных законов заступала всегда одна пьяная воля его высокоблагородия.

Как бы то ни было, отец мой, пока был жив, не допускал свою деревню до крайнего разорения. Иногда увещевал он майора доброю манерою, иногда, потеряв с ним все человеческое терпение, грозил ему в глаза застрелить его как собаку, если не уймется от своих наглостей; словом, хотя с большим беспокойством, но наша собственность оставалась у нас во владении. О любезный мой родитель! блажен, что умер ты, не предчувствуя того, что случилося в последующее межеванье. И мог ли ты себе представить, что земля, которою ты и предки наши владели бесспорно почти целое столетие, что поля, обработанные пóтом и трудами крестьян твоих, что болота, осушенные их же неутомимыми руками, что самая церковь божия, построенная по ту сторону забора, — словом, что вся земля с правой стороны по самый наш забор отнимется нагло от беззаступных детей твоих и, в наругательство здравому рассудку и вопреки точному разуму закона, отдастся богатому, но безумному отродью Щелчкова-Оплеушина за неведомо какие поверстные леса, которых, может быть, тут и никогда в натуре не бывало.

Другой наш сосед был титулярный советник Варух Язвин, знаменитого подьяческого рода. Во всю жизнь мою не видывал я такой подлой рожи и которая так бы сильно выражала собою безобразие души, какую носил г. Язвин. Если б живописец захотел ябеде дать вид человеческий, то б сосед наш мог послужить ему таким

совершенным образцом, до какого одним воображением достигнуть невозможно. История его поместится в нескольких строках. Он купил воеводское место в Кинешме за пятьсот рублев, то есть за тогдашнюю обыкновенную таксу воеводских мест средних городов. Всякое время имеет свои чудеса. Ныне часто деревни в города преобращаются; тогда нередко города преображалися в деревни. Город Кинешма подпала под сей несчастный жребий. Лишь только Язвин в него прибыл, казалось, что в него сама язва ворвалася. В первое еще лето благополучного его воеводствования уже во всем уезде богати обнищаша и взалкаша. В два года опустошение сделалось в том краю всеобщее, наконец услышано стало моление убогих, и на смену Язвина прислан был из Петербурга воеводою коллежский асессор Исай Глупцов. Между тем, Язвин купил деревню в нашем соседстве и в нее переселился. Слов нет пересказать всех его бездельств и грабежей. Должно признаться однако ж, что мрачная душа его, обремененная грехами, непрестанно трепетала. Он был в равной степени бездушник и ханжа. Однажды украл он из нашего табуна двенадцать лучших лошадей и на другой день со всею своею окаянною семьею на тех же краденых конях отправился в Ростов богу молиться.

В соседстве нашем было также превеликое монастырское село, которым сряду пятнадцать лет управлял монастырский служка Михей Антифонов. Он был натурально добрый человек и все свое честолюбие с доходами обращал к тому только, чтоб иметь погреб, который бы не уступал самих властей лучшим погребам. Крестьяне были им довольны, ибо без разорения себя могли содержать его погреб в цветущем состоянии. При сих выгодах временной жизни г. Антифонов имел, однако ж, дряхлое здоровье. Он был скорбен животом; к тому ж сделал себе непременное правило: ничего по смерть не принимать из аптеки. Он отроду однажды принял от доктора лекарство, от которого в две минуты у него глаза помутились и такая сделалась тоска, что лазил не однажды на стены. Сего было бы довольно к ожесточению души его против лекарских рецептов; но вскоре потом ездил он молиться на Перерву, где отец

игумен довершил ненавистное его предубеждение против врачебныя науки. Его преподобие имел такое мнение, что всякий доктор и всякий лекарь должен быть неминуемо колдун и что весь корпус медиков есть не что иное, как сатанино сонмище, попущенное гневом божиим на пагубу человеческого рода. С другой же стороны, г. Антифонов сам чувствовал, что тело его требует необходимо врачевания. И для того решился лечиться сам у себя и одним лекарством. Он всякий день зимою и летом пил соки виноградные, и погреб его самым натуральнейшим образом сделался его домашнею аптекою. Из всех соседей монастырская деревня нас всех меньше обижала. При всякой от крестьян наглости отец мой посылал к нему полдюжины бутылок обыкновенного лекарства, после чего виноватые немедленно и нещадно наказаны бывали.

В один день после обеда посланный к нам из Москвы нарочный привез известие, что внучатный мой дядя, после которого отец мой был один наследник, волею божиею скончался. Сие было его первое и последнее нам одолжение в течение шестидесятилетней его жизни. Он был из тех холоднокровных людей, которые отроду никому не делают ни худа, ни добра, — следственно, не чувствуют ни любви, ни ненависти. Ему все равно бывало видеть человека в печали или в радости. Он сам никогда не смеялся и никогда не плакал. Просьбы и угрозы никакого действия в нем не производили. Во время его болезни один доктор сказал ему, что непременно его вылечит. «Хорошо»,— отвечал он ему без малейших знаков удовольствия. Другой чрез несколько минут уверял его, что он не проживет суток. «Хорошо», — отвечал он и ему без малейших же знаков огорчения. Словом, дядюшка мой родился и умер, а на какой конец случилось с ним и то и другое, того во всем течении долголетней его жизни никак приметить было нельзя.

Получа известие о кончине сего не жившего дядюшки, выехали мы тот же день в Москву. Ночевать остановились в преизрядной деревне у маленьких хоромцев, на берегу большого пруда. Вошед в комнаты, узнали мы имя помещицы г-жи А***, которая хоромцы

построила нарочно для проезжих. По ту сторону пруда увидели мы господский дом. Свечи в окнах были для нас знаком, что сама госпожа живет в деревне. Скоро потом прислала она к нам своего лакея просить нас к себе ужинать и сказать нам, что буде тесно для нас в домике, куда пристали, то с удовольствием уступает нам в большом доме несколько комнат. Отец мой отблагодарил ее за такое благосклонное предложение, отозвался, что мы можем и тут ночевать спокойно, и извинился от ужина тем, что ее беспокоить не хочет. Чрез четверть часа увидели мы троих слуг, несущих к нам цыплят, кур, пирогов, сливок и всего, что можно было сыскать в деревне для нашего ужина. Сие гостеприимство тронуло очень отца моего. Он вынул было кошелек дать несколько денег людям, но они отозвались, что им весьма строго запрещено от помещицы брать с проезжих деньги и что, впрочем, не имеют в них никакой нужды, служа своей доброй госпоже. Поутру отец мой, взяв меня с собою, пошел сам к ней благодарить ее за все одолжения. Мы, вошед в покои, весьма просто и чисто прибранные, нашли сидящую на креслах помещицу — старушку лет шестидесяти. Перед нею стоял кузнец, и мы, входя, сами слышали, что она давала ему свои повеления осмотреть наш экипаж и починить что надобно. Отец мой благодарил ее от всего сердца за такое попечение о нас, не имевших чести вовсе быть ей знакомыми. «Ах, батюшка, — отвечала она отцу моему, — как не пособить дорожным людям! Да на что ж наделил меня бог достатком, буде не помогать тем, которые в глазах моих, перед моими окнами, могут иметь нужду в моей помочи?» Потом, посадя обоих: «Это не сынок ли ваш?» — спросила она отца моего, указав на меня. «Так, сударыня», — отвечал мой отец. «И у меня есть один сын, — говорила почтенная старушка, — которого я отправила в армию». — «Как вы решились, сударыня, отправить в армию сына, который у вас один?» — спросил мой отец. «Что ж делать, батюшка, — отвечала она, — он в военной службе. Он дворянин. Я лучше согласилась всякий день горевать об его отсутствии, нежели видеть его в моих глазах

тогда, когда его братья дворяне понесли свои головы. Я, мой батюшка, той веры, что лучше моему сыну, Христос с ним, умереть, нежели слыть шалуном или тунеядцем, или, чего боже избави, трусом». — «Почитаю ваш образ мыслей, — сказал мой отец, — и удивляюсь, слыша такие здравые рассуждения от матери, которой сердце объято горячностию к сыну своему». — «Не дивись, мой батюшка, — говорила старушка, — я любила всем сердцем покойного моего мужа, который взял меня почти ребенком; все его рассуждения так сильно в душе моей остались, что взяли верх и над материнским сердцем. Я вечно не забуду, как он, бывало, говаривал в беседах своим братьям дворянам: «Эй, друзья мои! бога ради не бросайте шпаги, служите ею; прямая дворянская служба шпага. Помяните мое слово: буде мы дворяне станем бросать шпагу, входить в другие службы или вовсе бросать службу, эй, доживем до того, что дети отдаваемых нами рекрут будут нашим детям командиры». Рассуди ж, мой батюшка, как мне после этого сына держать дома. Бог с ним! Пусть служит. В животе и смерти бог волен. Он же весь в отца. Я думаю, если б я его не отпустила, то б он сам ушел от меня на службу. А вы где служите?» — спросила она меня ласково. Я, играя роль глухого и немого, ничего не отвечал. «Сударыня, — сказал мой отец, — сын мой после жестокой болезни сделался несчастлив. Он глух и нем!» — «Какая напасть! — вскричала старушка. — Боже мой!» — при сих словах глаза ее наполнилися слезами. Чем больше на меня смотрела, тем больше жалость извлекала ее слезы. Наконец старушка наша так обо мне расплакалась, что нам совестно было видеть ее в таких слезах по-пустому. «Сударыня,— сказал ей мой отец,— меня уверяют доктора, что несчастие его не вечное. Оно пройдет». — «Дай-то боже! — говорила она. — Только, мой батюшка, не на всех докторов полагайся. Им ничто уморить человека; а по-моему, лучше быть глухим и немым, нежели мертвым».

Простясь с сею почтенною старушкою, отправились мы в путь и под вечер, прибыв в Москву, въехали в наш собственный дом, за Яузой у Спаса в Чигасах.

ПРЕБЫВАНИЕ МОЕ В МОСКВЕ

В Москве есть древний обычай, который и само время не может переделать доднесь. (NB. Нету правила без исключения.) Всякий приезжий должен тотчас или ехать, или посылать ко всем своим обоего пола родным, двоюродным, внучатным и правнучатным, с отцовской, материнской и жениной стороны, сказать о своем приезде и скоро потом ожидать их посещения. В многолюдной семье станицами через полчаса наезжать станут, невзирая на то, что для принятия их не имеет приезжий иногда ни места, ни досугу, а всего меньше охоты. Не принять же родных, при малейшем подозрении, что хозяин дома, почитается такою язвительною обидою, за которую многие дома рассорились навеки. Чтоб избежать сих неприятностей и думая выиграть время, отец мой принял намерение ехать со мною ко всем свойственникам сам без отсылки. Он считал тут выгодою для нас то, что можем у каждого остаться так мало, как захотим сами. Принимая же их у себя, подвергались бы мы опасности иных гостей не выжить до рассвета. Правда, что за сию выгоду надлежало в каждом доме выпить по крайней мере одну чашку чаю, перецеловать всех народившихся детей и внучат, смотреть и расхваливать всех приобретенных собак, лошадей, украшения в доме и вышитые новые платья; но отец мой решился лучше наливать себя и меня чаем, нежели потерять целый день с людьми, которые целого дня цену не всегда понимают.

Итак, нимало не мешкав, отправились мы с визитами. Воспитанному в деревне Москва должна чудом показаться: церкви, дома, кареты, стечение народа — все приводило меня в изумление. В самом деле, что есть наша деревенская колокольня противу Ивана Великого? Что наш домик противу высоких теремов бояр московских? Что наши дрожки или коляски противу позлащенных колесниц, созидаемых на Петровке национальными художниками? Мне было тогда семнадцать лет, я не имел никакого испытания; сидя один с отцом моим в карете, не мог я скрыть от него удивлений и чувств сердца моего. Поравнясь противу одного огромного

каменного дому, которого двор травою порос: «Батюшка, — спросил я у отца моего, — неужли никто не живет в сем прекрасном доме?» — «Друг мой, — отвечал он мне, — в этом доме живет сам хозяин». — «Разве он никого к себе не пускает?» — продолжал я. «Нет, — говорил мне мой отец, — не он к себе людей не пускает, никто к нему ездить не хочет. Быв в службе в большом чину, имел он самую мелкую душу; кроме себя, никому добра не сделал; скопив богатство, решился заблаговременно убраться в отставку, ласкаяся доживать свою старость в Москве в знати и удовольствии, но сильно обманулся: невзирая на чин и богатство, он целою публикою презрен и так совершенно забыт, как будто столетие назад он перестал существовать». Лишь успел сей наш разговор окончиться, мы подъехали к дому одного из дядей родителя моего, и первый наш визит оным начался. Описывать, что при том случилось, было бы лишнее; читатель довольствоваться должен узнать, что сей наш родственник угрюм, но скромен, честен и снисходителен и что лишнего слова без нужды он терять не любил, в чем он много разнствовал от сестры своей Фетиньи Максимовны, которая, сказывают, и от болезней многоглаголанием излечается. Сему я приписываю часто повторяемые ею сожаления, что я глух и нем. Нередко случилось в сем кратком визите слышать братцем ее употребляемую пословицу (которая так сильно изображает его характер): «Не устать говорить, было б кому слушать». Сию пословицу он на сей раз справедливо употреблять мог, полагая меня лишенным слуха, и, говоря с родителем моим, он думал, что сестрицы его слушателем оставался только я, глухой, ибо окроме нас четверых никого не было в комнате.

Фетинья Максимовна нас долее сидеть не унимала, для того что ей не удалось склонности своей к многоглаголанию удовольствовать; простясь с родителем моим, ему, однако, сказала: «В другой раз, племянничек дорогой, я буду уметь тебя так же захватить и с тобой поговорить, как братец мой, который как будто, откупя все внимание твое, тобою совсем завладел». Отсель поехали мы к близ живущему давнему родителя моего другу. Радость их, увидевшись, была столь же горяча,

сколь нелицемерна. Единодушие между ими было тем более естественно, что они ни в каких правилах или чувствиях не разнствовали, исключая того предрассуждения, кое отец мой имел о службе. Сей друг его, напротив того, почитал за долг продолжать службу, пока естественных сил человек не лишится, и с самыми жертвами каких-либо личных выгод не покидать службы, как только тогда, когда изнеможение душевных дарований соделает человека недостойным занимать место, на которое здравее и свежее голова требуется. Сколь ни желал мой родитель продолжить сей визит, но, вспомня великое число родни, кою еще объездить нам оставалось, мы опять пустились путешествовать. Инде к чаю прибавляли закуски, инде тягостные и скучные вопросы заменялись слушанием вечерни; все сии действия столько часов проглотили, что едва ли оставалось время на два визита боле, но и в том, к счастию нашему, судьба попрепятствовала. Если желудки, уши и головы наши вынесли трудное служение сего дня, ось нашей кареты оного не вынесла. Она переломилась в самом том месте, откуда бы, взяв оное за пункт, совершенный треугольник можно было сделать, протянув от оного до нашего дому линию и от оного ж к дому прабабушки моей, у которой мы еще быть не успели. Но противу определенного жребия тщетно человек вздумал бы противиться! Карета наша, лежав в плачевном образе на боку, казалось, стыдилась нас, сделавшись препятствием благого нашего намерения удовольствовать всех наших родных восходящих и нисходящих поколений. [1] Мы пошли без оскорбления пешком домой, но вдруг пред глазами нашими пламя ужасное поднялось. Отец мой узнал, что огонь сей на дворе внучатного его брата, известного всем, отличного заики и отменно торопливого человека. Ускорив свою походку,

---

[1] Уверяют некоторые философы, что человек, лишенный зрения или какого другого чувства, оставшие совершеннее имеет и чрез то самое соделывается чувствительнее. Я хотя не лишен ни слуху, ни языка, но, притворяясь глухим и немым, может быть оттого чрезмерную чувствительность имею, почему прошу читателя простить мое о карете воображение и впредь лишнюю, может быть, мою чувствительность с снисхождением судить.

батюшка желал ему услугу какую-нибудь в сем случае показать; я радовался отцовскому намерению, ибо душа моя, объята жалостию, представляла мне чувствительную картину людей, от огня и от падающих материалов поврежденных, и хозяина отчаянного, потеряв свое имение. Сие воображение препроводило меня до самого двора правнучатного моего дяди, но оно скоро исчезло, когда, к несказанному моему удивлению, я увидел самого того хозяина, о котором я столько печалился, стоя на крыльце поющего. Удивление сделало, что я до последней ноты голоса, которой он пел, затвердил и здесь как слова, так и музыку приобщаю.



Если бы случиться могло, чтоб кто из читателей не ведал, что заики не подвержены сему неприятному препятствию, когда они поют, и вышеупомянутому случаю не поверил бы, тогда бы я его попросил, чтоб потрудиться изволил (если в том городе или месте, где он находится, заики никакого не сыщет) съездить в Москву, где при всяком важном обстоятельстве, когда правнучатный мой дядя желает быть вразумителен, он мог бы его роспев услышать и увериться о истине сей повести.

Скоро потом пожар затушили, чрез что и пение дядюшкино кончилось; он начал тогда говорить: «Бра-а-

а-а-те-е-е-ц мо-о-о-мой лю-ю-ю-любе-бе-бе-зный», но родитель мой, вынув из кармана часы, увидел, что уже несколько минут за полночь, прервав речь заики нашего, сказал: «Ты, братец, обеспокоился, тебе отдохновение нужно, да и мы устали от разнообразных понесенных нами трудов, я на сих днях к тебе опять буду и надеюсь, что не в столь смутном состоянии тебя найду»; затем, обнявши его и не входя в его комнаты, с самого того ж крыльца, где помянутую музыку слышали, мы пошли и направили свой путь домой.

* * * *

(Продолжение будет впредь.)[1]

---

[1] Обещанное продолжение в «Собеседнике» напечатано не было. *(Прим. ред.)*

ПОУЧЕНИЕ, ГОВОРЕННОЕ В ДУХОВ ДЕНЬ ИЕРЕЕМ ВАСИЛИЕМ В СЕЛЕ П***[1]

Вчера был праздник троицын день. Вы, духовные дети мои, все были у обедни. Сегодня духов день, и также большой у бога праздник, а собралось сюда вас гораздо меньше вчерашнего. Рассмотрим же, отчего сего дни церковь божия так просторна? Отчего, например, ты, крестьянин Сидор Прокофьев, пришел к обедне, может быть, и с умиленным сердцем, но с разбитым рылом? Отчего и ты, выборный Козьма Терентьев, стоишь выпуча на святые иконы такие красные и мутные глаза? Да посмотрим и на жену твою, Евдокею; отчего

---

[1] *К господам издателям «Собеседника».*

Тому уже несколько лет, как, едучи в мою деревню, заехал я в село П*** в духов день. Случилось мне отслушать тут обедню, после которой священник сказывал крестьянам поучение. Мне оно так понравилось, что я просил проповедника подарить мне с него список. Он отвечал мне, что поучения свои говорит крестьянам всегда не приуготовляясь; что, по его мнению, к исправлению их всякое витийство бесполезно; что для сего считает он за нужное одним простонародным, но ясным языком показывать им те бедствия, в которые пороки ввергать их могут. Я просил его, не может ли он вспомнить сегодняшнего своего поучения и положить его на бумагу. Он тотчас исполнил мою просьбу.

Недавно, разбирая мои бумаги, нашел я нечаянно сие поучение. Вот оно от слова до слова. Если вы об нем одного со мною мнения, то прошу поместить его в вашем «Собеседнике».

она теперь всю обедню продремала? О духовные мои дети! начиная от старосты Егора Фомина до последнего бобыля Каряги, как вчерашний праздник проводили? Из тысячи душ по последней ревизии едва триста не походили на скотов бесчувственных, и о горе окаянству вашему! если вы и сегодняшний духов день поработаете не святому духу, но диаволу, ибо работать диаволу в вашем крестьянском быту есть не что иное, как наливать в себя большим ковшом пиво и сделаться не человеком на тот день, на другой, а может быть, и на неделю. Кто же из вас пустится в скоты на неделю, мудрено ли тому пуститься и на месяц, а потом отстать от всякого крестьянского дела, не платить подати государю, оброка помещику и, жив прежде зажиточным домом, пустить наконец по миру себя с женою и с детьми. Поверьте, дети мои, что главный корень всякого зла в крестьянстве есть вино и пиво. *(Взглянув на одного крестьянина, который взором показал свое неудовольствие.)* Вижу, вижу, что у тебя теперь на уме. Ты кивнул головою, думая: «Неужто и в праздник чарки вина выпить нельзя?» Ах, окаянный ты Михейка Фомин! да чарку ли ты вчера выглотил? Если в наши грешные времена еще бывают чудеса, то было вчера, конечно, над тобою, окаянным, весьма знаменитое. Как ты не лопнул, распуча грешную утробу свою по крайней мере полуведром такого пива, какого всякий раб божий, в трезвости живущий, не мог бы, не свалясь с ног, и пяти стаканов выпить? Подумайте, дети мои, куда годится пьяница? Он всегда худой крестьянин; никто из добрых людей на него не полагается. Да как и полагаться? Ты думаешь, что он пашет, а он пьяный спит. Никто из добрых людей ему не верит. Да как и верить? Ты дашь ему деньги поберечь, а он их пропьет. Одним словом: посмотрим на всех тех крестьян, которые обедняли или которые изворовались. Что ж мы найдем? Всякий нищий наверное пьяница, потому что добрый крестьянин, кроме гнева божиего, обнищать не может. Всякий вор, конечно, пьяница, потому что добрый крестьянин животы беречь умеет, а пьяница, пропив все, за что принимается? За воровство. Вору какой конец, толковать вам нечего. Итак,

послушайте меня, дети и друзья мои, и сегодняшний великий праздник не прогневляйте бога по-вчерашнему. Я вам не запрещаю вовсе пить пиво и вино. Не в том дело, пил ли ты, да в том, сколько ты пил. Буде столько, что остался человек, в том и вины нет; буде же столько, что с ног долой, то сделал грех пред богом, грех пред всем миром, грех перед собою. Перед богом для того, что он сделал тебя человеком, а ты сам сделался скотиной. Перед миром для того, что, буде бы случилась ему на тот час в тебе нужда, ты, бесчувственный, не мог бы исправить мирской нужды. Перед собою для того, что ты, будучи здоров, наводишь на себя болезнь и, будучи жив, лежишь как мертвый. Но чтоб яснее вам показать, какая разница между добрым и худым крестьянином, я далеко ходить не стану. Возьмем в пример двух крестьян: Якова Алексеева и Якова Лысова, которые оба стоят перед вами. Лысой с ребячества своего был, как я от стариков слышал, превеликий ленивец. Его женили в надежде, авось-либо поправится. Не тут-то было: он стал пить, помещика гневить, жену свою бить; дети их, смотря на отца, выросли сорванцами. Иной спился, иной стал красть, и словом: у Лысова было много детей, но ни один не призрил его старости. Видно, бог так рассудил, что дурной крестьянин недостоин иметь детей хороших, отнял благодать от дому его, и наконец — как мы теперь его видим? Посмотрите на него, дети мои. Вон он стоит у дверей с ковшичком, просит милостыни; а тот же бы Лысой, если б не изжил века своего в лености и пьянстве, мог бы сам накормить убогого. Напротив же того, посмотрим теперь на доброго крестьянина. О мой возлюбленный старик и сын духовный, Яков Алексеев! Перед всем миром скажу тебе в очи, что добродетельная жизнь твоя угодна господу богу. Ты вошел во храм божий, окруженный тридцатью пятью человеками своих сынов, внучат и правнучат; ты стоишь теперь пред алтарем господним, поддерживаемый двумя сынами, возвратившимися на сих днях на свою родину после двадцатипятилетней воинской службы. Ты видишь на одном из них две, на другом три медали. Ты знаешь, что это знаки верной их службы, что проливали они

охотно кровь свою за церковь божию, за своих великих государей, за свой народ российский. Как душе твоей не веселиться! Посмотри и на прочих сынов своих и на сыны сынов своих: всякий из них есть, или всеконечно будет, добрый крестьянин, потому что все они тебя примером взяли. Как ты работал в силах своих, так они теперь работают; как ты с соседьми жил мирно, так и они живут; как ты платил, так и они платят подати и оброк бездоимочно; как ты отроду своего не терпел пьянства, так и их никто не видал в безобразии. Все жены их — жены добрые, работающие, утешающие старость твою согласным и дружеским житьем с мужьями своими. О семья благодатная! *(Здесь старик заплакал от душевного веселия, и весь народ прослезился. Сам священник, подняв на небо руки, сквозь радостных слез едва продолжать мог.)* О боже и господи! зри слезы радостного умиления. Се жертва, достойная тебя! Продли милость свою к сим добрым людям, да видят прочие, колико благ ты к тем, кои в простоте души своей исполняют твоя заповеди, и да взирая на сие, исправятся окамененные сердца всех тех нечестивцев, всех тех грешников, кои подобны Якову Лысому. Аминь.

КАЛЛИСФЕН

Греческая повесть

Каллисфен, афинский философ, прогуливаясь некогда в Ликейском саду, встретил наставника и друга своего, Аристотеля, который, с веселым видом обняв его: «Прочти, любезный друг, — сказал ему, — прочти письмо, которое я получил сейчас от Александра, возрадуйся о моем сердечном удовольствии. Среди военного пламени, среди величества славы Александр сохраняет добродетель». Каллисфен в восхищении прочитал сии строки, писанные рукою Александра: «Возлюбленный учитель, будь уверен, что я твердо помню и точно исполняю все твои наставления; но я человек и окружен льстецами: страшусь, чтоб наконец яд лести не проник в душу мою и не отравил добрых моих склонностей. Нет минуты, в которую бы не твердили мне наедине и всенародно, словесно и письменно, что я превыше смертных, что все мои дела божественны, что я предопределен судьбою вселенной даровать блажество и что, наконец, всякий, иначе обо мне мыслящий, есть враг отечества и изверг человеческого рода. О мой друг нелицемерный, не смею звать к себе самого тебя; знаю, что обременяющая старость не дозволит тебе следовать за мною в военных моих действиях; но сделай мне теперь новое благодеяние: пришли ко мне достойнейшего из всех учеников твоих,

который бы имел дух напоминать мне часто твои правила и укорять меня всякий раз, как я отступать от них покушуся».

— Ты видишь, — говорил Аристотель, — ты видишь, чего от меня желает Александр. Тебя, Каллисфен, посылаю на сие важное служение человеческому роду.

— Меня? Меня посылаешь ко двору толь сильного монарха? — сказал Каллисфен. — Но что мне там делать? Ты знаешь, могу ли я превозносить порочные деяния государя и его любимцев! Ты учил меня почитать добродетель, исполнять ее делом и преклонять к ней смертных.

— Точно того от тебя и требую, — говорил Аристотель, — точно для того и Александр тебя от меня требует; ты друг Платонов, друг мой; поди под защитою героя, моего питомца, возжечь любомудрия свещу во всех пределах света, и когда Александр покоряет себе мир оружием, ты покоряй его законом мудрости.

— Но при дворе царя, коего самовластие ничем не ограничено, — говорил Каллисфен, — может ли истина свободно изъясняться?

— Неужели гонения страшишься? — вопросил Аристотель.

— Боги! — возопил Каллисфен. — Вы знаете, с радостию ли исполняю долг моего служения и готов ли я вкусить смерть за истину!

Аристотель, продолжая свою беседу, воспламенял более в душе ученика своего тот восторг, которым сам был одушевлен. Каллисфен немедленно отправился к Александру. Он нашел его в Персии в самый тот час, когда войско его одержало преславную над Дарием победу.

Невозможно изобразить, с какими почестями принят был Каллисфен от юного победителя. Он обнял его как друга, заклинал его говорить правду без малейшего опасения, повелел ему быть с собою безотлучно, и в тот же самый день Александр, идучи в совет, повел его с собою и тамо дал ему по себе первое место.

В совете рассуждаемо было о том, какой судьбе подвергнуть мать, жену и дочь побежденного Дария. Голоса собираемы были с младших. Арбас, юный полководец, который гораздо лучше знал хитрости придворные, нежели военные, чаял при сем случае выслужиться пред государем презрительною лестию, оскорбляя человечество. Он почитал за полезнейшее, умертвив на площади пленниц, показать свету, что быть неприятелем Александру есть уже преступление, достойное смертной казни. Надменный пышностию и ложным славолюбием, Клитомен советовал: при торжестве победы приковать их к колеснице победителя; Аргион, вельможа пренизкой души и презнатной породы, имевший зверское сердце и скотский разум, примыслил: мать Дариеву послать на лютое заточение, жену и дочь отдать в добычу военной черни. Словом, самое меньшее осуждение плененному царскому роду было вечное рабство. Дошло до Каллисфена.

— Государь! — говорил он, — когда сих несчастных, но невинных, привезут к твоему царскому стану, выйди им на стретение, обрати к ним человеколюбное око, пролей в души их отраду кроткою и утешительною беседою — и удиви свет своим великодушием.

Александр, выслушав совет Каллисфена, вскочил с своего места и бросился обнимать его.

— О достойный мой наставник! — говорил ему Александр в восхищении. — Победа возвышает мое имя, а ты возвышаешь мою душу. — История свидетельствует, с каким человеколюбием принял Александр Дариев род.

На другой день был держан еще военный совет в присутствии государя и философа. Войско Александрово завоевало Козрозецкую область, которая управлялась своими владельцами и издревле предана была Персии. В совете рассуждаемо было: что делать с козрозецами, кои всегда могут грекам наводить подозрение своею преданностию к персиянам? Полководцы Александровы, приобыкши к воинским лютостям, положили единогласно, чтоб на всякий случай, из предосторожности, побить до смерти всех жителей завоеванной области; «понеже-де, — прибавил в своем мне-

нии один из ученых советодателей, — по истреблении сего народа никакого уже вреда мы опасаться от него не можем». Сие мнение предложено было в совете к подписанию Каллисфену.

— Боги! — возопил сей философ, — истребите самого меня, если рука моя сей варварский приговор подпишет!

Столь внезапное восклицание произвело в собрании глубокое молчание. Александр, взяв приговор в руки, задумался и, углубясь в размышление, нечувствительно раздирал он бумагу, содержащую лютую судьбу нескольких тысяч людей невинных; глаза его наполнились слезами; наконец трепещущим голосом, прерываемым воздыханиями нежного человеколюбия, прекратил он общее молчание и едва мог сии слова промолвить Каллисфену:

— Ты друг человеческого рода, ты охранитель моей славы!

В то время Леонад был уже несколько месяцев любимцем Александра; в самое короткое время умел он овладеть совершенно душою сего монарха; им самим владели страсти, высокомерие и алчность к обогащению. Он не любил никого и никем любим не был, ибо тот, кто любит одного себя, недостоин быть любимым от других. Добра делал мало для того, что не любил видеть людей в удовольствии; если же добро делать ему и случалось, то обыкновенно таким образом, что получивший его благодеяние был бы гораздо больше рад не быть никогда им обязанным. При дворе был он очень силен, — следственно, не было ему и нужды делать подысков; однако ж вредил он другим охотно, потому что в огорчении других сердце его находило удовольствие. Но горе тому, коего погубление могло пособлять его возвышению или, по мнению его, нужно было к сохранению его силы в государе! Сей любимец занемог за несколько часов до прибытия Каллисфена. Наушники, его окружавшие, тотчас возвестили ему, с каким почтением и повиновением внимает Александр советам философа. Леонад так скоро выздоровел, что на третий день прибытия Каллисфенова в состоянии уже был предстать поутру пред лицо монарха.

— Позвольте, — говорил он ему, — поздравить ваше величество с приобретением в друзья ваши философа; я слышал, что вы, по его совету, явили пример великодушия.

— О мой истинный друг, — отвечал ему Александр, — буде хочешь мне доказать свою дружбу, то будь сам другом Каллисфену.

— Если могу, государь! — отвечал Леонад, — но сомневаюсь. Приятно мне, когда подают вашему величеству благие советы, но не могу терпеть, чтоб от премудрейшего в свете государя отъемлема была слава его премудрости.

— Что значат слова твои? — вопросил Александр.

— Значат, государь, — сказал Леонад, — что сколь я доволен советами Каллисфена, столь гнушаюсь поведением его при сем самом случае. Вообразите, ваше величество, что вчера ввечеру при двадцати свидетелях, которых я сейчас могу представить, отзывался он о вас как о слабом юноше, которого может он заставить делать все, что ему угодно; но мне известно, государь, ваше собственное проницание. Вы знаете свойство человека. Каллисфен, может быть, нескромен, но вам советами полезен; пусть свет ему и верит, что без него не умели б вы сами быть великодушны, но...

— Дивлюсь, — перервал Александр в смятении речь его, — как при толикой мудрости Каллисфен может столь ослеплен быть самолюбием, чтоб меня считать ребенком.

— Ваше величество! — говорил любимец, улыбаясь льстивым образом. — Вселенная чувствует, что вы из ребят уже вышли.

— С чего же Каллисфен думает?..

— Не смею сказать, с чего... — перервал он.

— Скажи, скажи, мой друг! — просил усильно Александр.

— С того, — отвечал Леонад, спустя голос и запинаясь язвительно, — с того... что... я думаю... он... *ученый дурак*.

Леонад знал Александра совершенно; он точно ведал, в которую минуту удобнее чернить у него клеветою и в которую удачнее вредить ругательною насмеш-

кою. Умел он различать тех людей, для очернения которых вдруг и клевета и насмешка потребны ему были. Каллисфен казался ему толь мудрым и толь для него опасным, что почел он за нужное употребить против него оба сии орудия, недостойные честного человека. Александр так уязвлен был вымышленным отзывом Каллисфена о его слабодушии, что самую брань — *ученый дурак* — почел он внезапно исторгнутою из души Леонада силою самой истины.

— Непонятно, — говорил Александр своему любимцу, — как мало учение прибавляет ума человеку. Со всеми знаниями Каллисфена я ласкаюсь, что он больше ошибся во мне, нежели ты в нем.

— Государь, — отвечал ему Леонад, — мой суд о нем не может быть пристрастен: он не был никогда моим учителем, а я всего менее желаю быть его учеником. Но Каллисфен считает себя вашим наставником и думает, что чем менее отдаст он справедливости вашим дарованиям, тем более всякое ваше похвальное деяние приписано будет его достоинству.

Между тем, Александр велел всех впускать к себе в шатер. Пошел и Каллисфен. Государь взглянул на него с некоторым робким смущением. Сколь ни глубоко выражение *ученый дурак* проникло в душу Александра, но он не мог вдруг забыть, что *ученый дурак* вчера и третьего дня был умнее целого совета и что он сам *ученого дурака* обнимал с нежными слезами, как мужа, пленившего его сердце мудростию и человеколюбием.

— Государь, — спросил его Каллисфен, — какое смятение объяло твою душу? Твой взор являет неудовольствие, досаду и недоумение!

— Ты правду сказал, — отвечал ему Александр, — я действительно в досаде: мне случилось ошибиться в одном из окружающих меня. Я считал в нем много мудрости, а теперь вижу, что я в его уме сам глупо обманулся.

— Сия ошибка не весьма важна для монарха, — отвечал философ, — от глупого человека можно взять дело и поручить его разумному; но гибельна ошибка бывает для государя тогда, когда клеветника считает

он праводушным, когда любит он того, кого все ненавидят, когда вверяется тому, кто наглым и бесстыдным образом государскую доверенность во зло употребляет, когда считает другом того, кто вероломно завладел его душою.

Каллисфен не знал отнюдь ни Леонада, ни клеветы, которою сей очернил его у Александра. Он почел за долг высказать все сие нравоучение тому, кто просил его усильно говорить правду без опасения. Александр приведен был речью Каллисфена в пущее смятение. Он имел разум и тотчас почувствовал, что ни ученый, ни неученый дурак никогда так не говорит, как изъяснялся Каллисфен. Леонад, приметив сие, вмешался в речь.

— Из какой бишь Аристотелевой книги читаете вы проповедь? — спросил он с насмешкою у Каллисфена.

— Из той, — отвечал ему философ с твердостию и с некоторым родом презирающей жалости, — из той, которая, как видно, вам не очень нравится.

Сей разговор пресек вошедший в шатер к Александру вестник, который послан был с реки Арбеля от повелевающего там частию войска начальника, с уведомлением, что персияне, все свои остальные силы собрав, идут против греков. Тотчас Александр пошел сам навстречу неприятелю. Совершенная над ним новая победа низложила персидскую монархию, но Дарий лишился жизни не в сражении: он умерщвлен был вероломно собственными своими подданными.

Славу победы отравлял разнесшийся скоро слух, что Дарий убит изменнически повелением самого Александра, который так возгнушался сим недостойным подозрением, что велел сыскать убийцу и казнил его смертию. Сим оправдался он пред светом совершенно. Каллисфен похвалил его поведение.

— Что слышу я? — сказал ему Александр с холодною улыбкою. — Уже и Каллисфен льстить мне начинает; помнится, для наставлений, а не для похвал прислал тебя Аристотель.

— Государь! — отвечал Каллисфен, — между хвалою и лестию есть великая разность. Я тебя хвалю, но не льщу тебе; долг философии обязывает меня хвалить добрые дела и осуждать злые. О боги! если когда-нибудь унизишь ты себя к последним, верь мне, найдутся люди и тогда тебя превозносить, но сии люди будут не философы.

Леонад все сие слушал, распаляясь внутренно злобою на Каллисфена; он несколько раз покушался было обратить в смех его нравоучения, но умел воздержаться. Невзирая на то, что острота ума его была безмерная, чувствовал он, что истина, умным человеком твердо произнесенная, может в один миг сделать смешным самого насмешника. Итак, решился он губить Каллисфена скрытою клеветою и скоро довел государя до того, что один вид философа стал уже ему в тягость.

В сие время Александр предприял путешествие в Ливию ко храму Юпитера Аммона. За день перед отъездом вышло росписание, кому ехать при лице государя. Он взял с собою весь свой совет, но над именем Каллисфена написано было рукою Александра: «позади в обозе».

Философ нималейше не тронут был сим знаком холодности государя, для того что он ничем его не заслужил; всего же менее оскорблен он был явным к себе презрением придворной черни, которая, прочитав выражение: «позади в обозе», старалась оскорблять всячески Каллисфена, ласкаясь, что такое поведение против впадшего в немилость всевысочайше причтено быть может за всенижайшее и вернорабское усердие к произволению государя.

Между тем, Александр, в самый день своего отъезда увидев Каллисфена, совестился долго подойти к нему; наконец доброе сердце его превозмогло, и он, воображая, что философ огорчился его холодностию, хотел его успокоить.

— Я боюсь, — говорил ему государь, — отягчить тебя скорым путешествием с собою. Мы в войне обыкли к трудам, кои могли б тебя обременить. Следуй за мною так тихо, как тебе угодно.

— Государь! — отвечал ему Каллисфен, — повинуюсь твоей воле, но будь уверен, что для меня совершенно равно, ехать с тобою или позади, если мое присутствие не более тебе полезно, как мое отсутствие.

Сии слова произнес Каллисфен с такою кротостию, с таким простосердечием, что сам Александр и все предстоящие никак не могли их приписать негодованию философа, но видели в них одно искреннее его усердие быть полезным государю. Леонад приметил, что Александр вдруг сильно возмутился, и для того нужно ему было рассеять тотчас сие смущение и не допустить сердце государя обратиться на добродетельное чувство. Он подал знак остающимся военачальникам испрашивать от Александра повеления; а между тем, подвезли колесницу, в которую Леонад нечувствительно посадил государя и увез его гораздо скорее, нежели он уехать думал.

Каллисфен, как ненужный государю человек, отправился, по его повелению, в обозе с ненужными вещами. Скотаз, начальник обоза, был из тех придворных тварей, коих поведение пред знатными весьма подло, но пред теми, коих он не боялся и в ком не искал, весьма грубо; словом, человек был низкий и глуп до невероятности; верблюды, лошади, ослы составляли существо душевных его чувств. Говоря об них, вдруг приходил он в пресмешной восторг, но ни о чем уже другом слова молвить не умел. С Каллисфеном обошелся он так невежливо, как от Скотаза ожидать токмо можно.

— Зачем, старик, тащишься с нами? — говорил он с презрением философу. — Здесь и без тебя грузно. Я слышал, что ты философ; дай-ка посмотреть на себя. Мы их при конюшне не видывали; я чаю, полно, есть ли они и при дворце.

— Я никого не видал! — отвечал Каллисфен. — Видно, что двор не их жилище.

— У двора, — говорил Скотаз важным голосом, — надобно ум, да и ум не твоему чета. Мы тут сами около тридцати лет шатаемся, но того и смотришь, что в беду попадешь.

— Я не в беде, — говорил Каллисфен.

— Да что ж ты не при лице? — спросил его Скотаз. — Ты хочешь меня уверить, что царских любимцев в обоз отсылают; нет, старик, коль ты отдан на мои руки, так, видно, мода с тебя спала. Ты, я чаю, болтаньем своим досадил многим господам. Я и сам, — примолвил Скотаз, вздыхая, — я и сам за царских ослов страдал не однажды.

В дороге начинал он с философом говорить о лошадях и верблюдах, но, увидя, что философ в сем деле ничего не разумел, возымел он к нему глубочайшее презрение, а потому и учредил с ним свое поведение: из колесницы, в которую сперва посажен был Каллисфен, высадил он его в телегу. Не было пригорка, на который бы не заставил он всходить пешком Каллисфена.

— Если бы случилось тебе везти на гору Леонада, — говорил ему философ, — ты поступил бы с ним иначе, нежели со мною.

— Вот-на! — отвечал Скотаз. — Да для его высокопревосходительства я сам бы рад припрячься.

Наконец, спустя несколько дней по прибытии Александровом ко храму Юпитера, доехал туда и философ. Жрецы предуспели уже подлою лестию помрачить рассудок государя. Каллисфен, услышав, что сей Аристотелев ученик почитает себя богом, называет себя Юпитеровым сыном и проповедует странные басни о своем происхождении, вошед в чертог царский, увидел Александра, окруженного воинами, не имеющими о божестве понятия, и придворными, верующими во все то, во что государь приказывает верить. Все они дерзнули утверждать в глаза Каллисфену, что Александр есть бог действительно.

— Государь! — вопросил его философ, — правда ли, что ты бог?

— Правда! — отвечал Александр, покраснев и запинаясь.

— Государь! — говорил ему Каллисфен, улыбаясь, — велико твое требование, но не бойся, чтоб философия обременила тебя тяжким порицанием; она таковым мнениям только лишь смеется; но, став

богом, государь, если им стать тебе угодно, помышляй, к чему обяжет тебя сие великое титло. Боги от единых благотворений познаются; за усердие к себе платят они милостями, за обожание покровительством. Иногда мещут они громы, но мещут против воли; паче всего в свете любят они творить блаженство смертных.

Каллисфен уклонился от приношения жертвы ученику друга своего Аристотеля, отозвавшись, что в Ликее не привыкли они находить богов так с собою близко. От нового бога ожидал он нового какого-нибудь преступления, дабы употребить против него всю строгость, каковою философия на исправление смертных ополчается; к несчастию, ожидание его не много продолжалось. Чрез несколько месяцев мнимый сын Юпитера впал во все гнусные пороки: земной бог спился с кругу, пронзил в безумии копьем сердце друга своего Клита, и однажды после ужина, в угодность пьяной своей наложнице, превратил он в пепел великолепный город.

Слух о сих мерзостных злодеяниях воспалил рвение Каллисфена. Он вбежал в чертоги монарха, не ужасаясь ни величества его, ни множества окружающих его полководцев и сатрапов.

— Александр! — возопил он, — сим ли образом чаешь ты достоин быть алтарей? Ты друга умерщвляешь, тысячи невинных своих подданных предаешь пламени... Чудовище! ты имени человека недостоин!

От сих слов изумление объяло всех предстоявших, но скоро превратилось оно в лютость. Придворные возбуждали паче злобу Александра, который, будучи вне себя от гнева, поручил Леонаду изобрести достойную казнь неслыханному у двора дерзновению Каллисфена.

Леонад имел бесчеловечие немилосердо мучить сего почтенного мужа и вкинуть потом в ужасную тюрьму. Между тем как изыскивали для него род лютейшей казни, болезненное страдание, соединясь с тяжестию оков, извлекло из бренного тела его великую душу.

По кончине самого Аристотеля найдено в бумагах его следующее письмо Каллисфеново, писанное за несколько часов пред его смертию. Здесь предлагается оно с отметкою его друга.

Письмо Каллисфена:

«Умираю в темнице; благодарю богов, что сподобили меня пострадать за истину. Александр слушал моих советов два дни, в которые спас я жизнь Дариева рода и избавил жителей целой области от конечного истребления. Прости!»

Отметка рукою Аристотеля:

«При государе, которого склонности не вовсе развращены, вот что честный человек в два дни сделать может!»

ДРУГ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ,

или

СТАРОДУМ[1]

Периодическое сочинение, посвященное истине

ПИСЬМО К СТАРОДУМУ

С.-Петербург, января 1788.

Я должен признаться, что за успех комедии моей «Недоросль» одолжен я вашей особе. Из разговоров ваших с Правдиным, Милоном и Софьею составил я целые явления, кои публика и доныне с удовольствием слушает; но как болезнь моя не позволяет мне упражняться в роде сочинений, кои требуют такого непрерывного внимания и размышления, каковые потребны в театральных сочинениях; с другой же стороны, привычка упражняться в писании сделала сие упражнение для меня нуждою, то и решился я издавать периодическое творение, где разность материй не требует непрерывного внимания, а паче может служить мне забавою. Но чтоб быть мне вернее в успехе труда

---

[1] Вот заглавие, под которым издаваться будет на сей 1788 год новое периодическое сочинение под надзиранием сочинителя комедии «Недоросль». Напрасно было бы предварять публику, какого рода будет сие сочинение, ибо образ мыслей и объяснения Стародума довольно известны. Целый год состоять будет из двенадцати листов. Первые четыре получить будет можно в начале мая, вторые четыре в начале сентября, а последние четыре в начале будущего года.

Подписка на сие сочинение отворена у книгопродавца Клостермана на следующих кондициях:

Каждый экземпляр, то есть двенадцать листов, стоить будет один рубль пятьдесят копеек. Желающие подписаться благово-

моего, я назвал его вашим именем и покорнейше вас прошу принять в нем искреннее участие, сообщая мне для помещения в сию книгу мысли ваши, кои своею важностию и нравоучением, без сомнения, российским читателям будут нравиться. Не страшусь я строгости цензуры, ибо вы, конечно, не напишете ничего такого, чего бы напечатать было невозможно. Век Екатерины Вторыя ознаменован дарованием россиянам свободы мыслить и изъясняться. «Недоросль» мой, между прочим, служит тому доказательством, ибо назад тому лет за тридцать ваша собственная роль могла ли бы быть представлена и напечатана? Правда, что есть и ныне особы, стремящиеся угнетать дарования и препятствующие выходить всему тому, что невежество и порок их обличает, но таковое немощной злобы усилие, кроме смеха, ничего другого ныне произвести не может. Итак, я ласкаюсь, что вы, по ревности вашей к общему благу, не отречетесь вспомоществовать мне в моем предприятии сообщением мне всего того, что, как найдете вы, для честных людей, которых по справедливости назвали вы себя другом, может быть приятно и полезно. Моя же благодарность к вам равняться будет тому душевному почтению, с которым навсегда пребываю и проч.

Сочинитель «Недоросля».

лят внести сии деньги и взять билет, с которым в первых днях мая можно будет получить первые четыре листа и билет на достальные восемь листов, кои раздаваться будут в означенный срок непременно.

Сие сочинение хотя и готово, но прежде печатано не будет, как разве подпишутся на семьсот пятьдесят экземпляров до первого марта, после которого подписка продолжаться не будет. Но ежели до сего числа на помянутое количество экземпляров подписано не будет, то сие сочинение вовсе напечатано быть не может.

Переводы из сего периодического творения вовсе исключаются. Ни одно сочинение, где-нибудь напечатанное, в сей книге места иметь не может. Словом, все сочинения будут совсем новые, а разве знакомые потому, что некоторые из них в публике ходят рукописные.

Имена подписавшихся при начале книг напечатаны будут, и все старания приложатся, чтобы удовольствовать почтенную публику и со стороны типографской части

ОТВЕТ СТАРОДУМА

Москва, января 1788.

С удовольствием соглашаюсь я принять участие в вашем периодическом сочинении. Я буду вам сообщать мысли мои по мере, как они мне в голову приходить будут. Красноречия от меня не ожидайте, ибо вы сами знаете, что я не писатель, а буду говорить полезные истины для того только, что мы, богу благодарение, живем в том веке, в котором честный человек может мысль свою сказать безбоязненно. Я сам жил большею частию тогда, когда каждый, слушав двоих так беседующих, как я говорил с Правдиным, бежал прочь от них стремглав, трепеща, чтоб не сделали его свидетелем вольных рассуждений о дворе и о дурных вельможах; но чтоб мой сей разговор приведен был в театральное сочинение, о том и помышлять было невозможно, ибо погибель сочинителя была бы наградою за сочинение. Екатерина расторгла сии узы. Она, отверзая пути к просвещению, сняла с рук писателей оковы и позволила везде охотникам заводить вольные типографии, дабы умы имели повсюду способы выдавать в свет свои творения. Итак, российские писатели, какое обширное поле предстоит вашим дарованиям! Если какая рабская душа, обитающая в теле знатного вельможи, устремится на вас от страха, чтоб не терпеть унижения от ваших обличений, если какой-нибудь бессовестный лихоимец дерзнет, подкапываясь под законы, простирать хищную руку на грабеж отечества и своих сограждан, то перо ваше может смело обличать их пред троном, пред отечеством, пред светом. Я думаю, что таковая свобода писать, каковою пользуются ныне россияне, поставляет человека с дарованием, так сказать, стражем общего блага. В том государстве, где писатели наслаждаются дарованною нам свободою, имеют они долг возвысить громкий глас свой против злоупотреблений и предрассудков, вредящих отечеству, так что человек с дарованием может в своей комнате, с пером в руках, быть полезным советодателем государю, а иногда и спасителем сограждан своих и отечества. Дабы обещание мое о принятии

участия в вашем сочинении было не на словах, а на деле, сообщаю вам теперь же несколько полученных мною писем от знакомых вам особ и с моими ответами. Вы можете поместить их в вашу книгу, если рассудите за благо; а я навсегда пребываю и проч.

Стародум.

ПИСЬМО К СТАРОДУМУ ОТ ПЛЕМЯННИЦЫ ЕГО СОФЬИ

С.-Петербург, января 1788.

Я теперь нахожусь в самом лютом положении; прибегаю к вашему благоразумию; будьте, милостивый государь дядюшка, моим руководителем и подайте мне спасительный совет. Сколько по склонности, столько и следуя вашей воле, вышла я за Милона; несколько времени вела я с ним жизнь преблагополучную, но мы приехали в Петербург, где узнала я прямое несчастие: Милон мне неверен! Он влюблен, и в кого? В презрительную женщину, каковые наполняют здешние вольные маскарады и, будучи осыпаны бриллиантами, соблазняют молодых людей, не имеющих испытания, и довели здешнюю публику до того, что всякая порядочная женщина не может уже посещать сих собраний. Одна из сих нечестивых поймала в сети свои моего мужа, которого я обожаю. Сердце мое терзается день и ночь. Я ревную до безумия. Ум мой занят вымыслами об отмщении. Жизнь моя продолжиться не может, если я еще останусь в настоящем положении. Что мне делать, милостивый государь дядюшка? Не отрекитесь подать мне совет и вывесть меня из бедствия. Я есмь и проч.

Софья Милонова.

ОТВЕТ СТАРОДУМА СОФЬЕ

Москва, января 1788.

С сердечным сожалением узнал я из письма твоего, в какую слабость повергь себя Милон. Он влюблен в презрительную женщину, а ты, моя Софьюшка,

ревнуешь к сей твари! Я весьма знаю молодцов, подверженных такой слабости. Сии женщины, наполняющие ваши вольные маскарады, каковых число и у нас в Москве становится довольно велико, имеют особливое искусство ловить молодых людей в свои сети и вертеть им головы. Верь, однако ж, Софьюшка, что и твоя голова не в лучшем состоянии. Ты сокрушаешься день и ночь, занимаешься отмщением. Остерегись, друг мой! Ты неблагоразумно поступаешь. Добродетель жены не в том состоит, чтоб быть на страже у своего мужа, а в том, чтоб быть соучастницею судьбы его, и добродетельная жена должна сносить терпеливо безумие мужа своего. Он ищет забавы в объятиях любовницы, но по прошествии первого безумия будет он искать в жене своей прежнего друга. Паче всего не усугубляй одного зла другим, ни одного дурачества другим, сильнейшим. Огонь, которого не раздувают, сам скоро погасает: вот подобие страстей. Сражаясь упорно с ними, пуще их раздражаешь; не примечай их, они сами укротятся.

Познай все свое неразумие. Муж твой старается скрыть от тебя обиду, которую тебе делает, а ты стараешься показать ему, что тебе она известна. Разве не чувствуешь ты, что срываешь завесу и что он не будет иметь причины воздерживаться и станет обижать тебя явно? Пожалуй, не основывай любви своей на его ласках, но на его честности. Знай, что честность есть душа супружеского согласия. Прелести забав повергают его на колени пред другою; но, возвращаясь к тебе, ищет он и любит находить милого своего друга, разделяющего судьбу его; рассудок его влюблен в тебя, и только страсть одна влечет его в объятия твоей соперницы. Но страсти скоротечны; насыщение следует за ними скоро; минута их воспламеняет, минута погашает.

Если мужчина не развращен вовсе, то к презрительной женщине долго привязан быть не может.

Скоро отстанет он от порочных забав, кои стоят всегда очень дорого. Муж твой не умедлит почувствовать, что он вредит сам себе, что разоряется и отваживается потерять свое доброе имя. Он имеет столько

рассудка, что не пойдет упорно на свою погибель. Он познает свою опасность и почувствует необходимость возвратиться на путь добродетели; права супруги призовут его опять к ней. Тогда он познает прямую цену твою, не возможет вспомнить без стыда о прошедшем своем поведении; ты найдешь его в раскаянии и любви твоей достойным.

Паче всего, любезная Софья, оставь презрительным девкам приличные им уловки. Кротость, верность, старание о доме, горячность к детям, уважение к друзьям мужа своего — вот уловки честной женщины.

Стыдись показывать ревность свою к девке. Одно благороднейшее поревнование тебя достойно. Не уступай в добродетели женам добродетельнейшим. Не питай злобы в сердце своем, будь всегда готова к примирению; благонравие одно делает неприятелей наших к нам благосклонными; благонравие одно делает женщину почтенною. Одно оно дает женам владычество над мужьями. Выбирай любое: или принудь мужа своего почитать тебя, или будь его рабою.

Ты имеешь способ упрекать его в дурном поведении; сей способ есть твоя добродетель. Ею пристыди его, ею принудь его просить у тебя прощения. Когда почувствует он всю свою несправедливость, когда увидит, что ты ее не заслуживаешь (и какая была бы для него потеря, если б ты любить его перестала!), тогда он больше тебя любить станет. Обыкновенно цена здоровья ощущается после болезни; равномерно несогласия любящих делают примирение приятнейшим.

Но буде ты внимать мне не хочешь, то, пожалуй, продолжай безумную свою ревность. Рассудок мужа твоего болен; являй, что и твой не здоровее. Он отваживается потерять свое доброе имя, теряй и ты свое. Он разоряется, помогай ему в разорении; думая наказывать его, наказывай себя. Но нет, Софьюшка, не вдавайся ты в сии крайности. Скрывай страдания сердца твоего, терпи великодушно. Вот способ прекратить твое бедствие. Я никогда не престану быть твоим искренним другом.

Стародум.

P. S. Сегодня никаких советов не пишу я к Милону, дабы не подать ему подозрения, что ты мне на него жаловалась. Со временем я и к нему со всею искренностию писать буду.

ПИСЬМО ТАРАСА СКОТИНИНА К РОДНОЙ ЕГО СЕСТРЕ ГОСПОЖЕ ПРОСТАКОВОЙ

Матушка сестрица! я по отпуске сего письма жив, но в превеликом горе. Тебе не безызвестно, что в деревенской жизни свиной завод мой составляет главное мое удовольствие. На сих днях сделалось у меня несчастие; я чуть было не дошел до отчаянности. Лучшая моя пестрая свинья, которую из почтения к покойной нашей родительнице (ты знаешь, что я всегда был сын почтительный) прозвал я ее именем, Аксинья, скончалась от заушницы. Сколько ни старался я об ее излечении, но вижу, что и свиные врачи не искуснее человеческих. Лечили несколько месяцев, денег перевели пропасть, а кончилось дело кончиною моей дражайшей Аксиньи, которая была дороже жизни и всего завода. Она жила беспорочно. Я между женщинами многих Аксиний знаю, но моя жила их целомудреннее. Как скоро мне сказали, что она трудна, с тех пор не выходил я из хлева до последнего ее издыхания. Она умирала геройски, не показывая никакого знака нетерпения. Я, будучи также смертный, истинно, глядя на нее, учился умирать.

Сие несчастное приключение переменило совсем нрав мой. Мне свет опостылел. Я чувствую, что потерял прежнюю мою к свиньям охоту; но надобно чем-нибудь заняться. Хочу прилепиться к нравоучению, то есть исправлять нравы моих крепостных людей и крестьян. Но как к достижению сего лучше взяться за кратчайшее и удобнейшее средство, то, находя, что словами я ничего сделать не могу, вознамерился нравы исправлять березой. Всегдашняя склонность моя влекла меня к строгости. Лишась моей Аксиньи,

не буду знать ни пощады, ни жалости, а там пусть со мною будет, что будет. Я хочу, чтоб действие надо мною столь великой потери ощутили все те, кои от меня зависят. Ты знаешь, матушка, что всякую мою досаду, кольми паче несчастие, над людьми моими вымещаю, и если между твоими крепостными найдутся такие, коих нравы исправлять надобно моим манером, то присылай ко мне, а я на свою руку охулки не положу и всегда рад тебе доказывать, что я твой достойный брат

Тарас Скотинин.

ПИСЬМО СТАРОДУМА К СОЧИНИТЕЛЮ «НЕДОРОСЛЯ»

Москва, февраля 1788 года.

На сих днях попались мне в руки ходящие здесь рукописные два сочинения: 1-е, «Всеобщая придворная грамматика»; и 2-е, «Письмо Взяткина к покойному его превосходительству, с ответом». Идея первого сочинения совсем новая, а второе обнаруживает бездельнические способы к угнетению бедных и беспомощных. Оба кажутся мне достойны быть помещены в творениях, посвященных истине. Для того я их при сем к вам сообщаю, пребывая и проч.

Стародум.

ВСЕОБЩАЯ ПРИДВОРНАЯ ГРАММАТИКА

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Сия Грамматика не принадлежит частно ни до которого двора; она есть всеобщая, или философская. Рукописный подлинник оной найден в Азии, где, как сказывают, был первый царь и первый двор. Древность сего сочинения глубочайшая, ибо на первом листе Грамматики хотя год и не назначен, но именно изображены сии слова: *вскоре после всеобщего потопа.*

Глава первая

ВСТУПЛЕНИЕ

Вопр. Что есть Придворная Грамматика?

Отв. Придворная Грамматика есть наука хитро льстить языком и пером.

Вопр. Что значит хитро льстить?

Отв. Значит говорить и писать такую ложь, которая была бы знатным приятна, а льстецу полезна.

Вопр. Что есть придворная ложь?

Отв. Есть выражение души подлой пред душою надменною. Она состоит из бесстыдных похвал большому барину за те заслуги, которых он не делал, и за те достоинства, которых не имеет.

Вопр. На сколько родов разделяются подлые души?

Отв. На шесть.

Вопр. Какие подлые души первого рода?

Отв. Те, кои сделали несчастную привычку без малейшей нужды в передних знатных господ шататься вседневно.

Вопр. Какие подлые души второго рода?

Отв. Те, кои, с благоговением предстоя большому барину, смотрят ему в очи раболепно и алчут предузнать мысли его, чтобы заранее угодить ему подлым таканьем.

Вопр. Какие суть подлые души третьего рода?

Отв. Те, которые пред лицом большого барина, из одной трусости, рады все всклепать на себя небывальщины и от всего отпереться.

Вопр. А какие подлые души рода четвертого?

Отв. Те, кои в больших господах превозносят и то похвалами, чем гнушаться должны честные люди.

Вопр. Какие суть подлые души пятого рода?

Отв. Те, кои имеют бесстыдство за свои прислуги принимать воздаяния, принадлежащие одним заслугам.

Вопр. Какие же суть подлые души рода шестого?

Отв. Те, которые презрительнейшим притворством обманывают публику: вне дворца кажутся Катонами; вопиют против льстецов; ругают язвительно и беспощадно всех тех, которых трепещут единого взора;

проповедуют неустрашимость, и по их отзывам кажется, что они одни своею твердостию стерегут целость отечества и несчастных избавляют от погибели; но, переступя чрез порог в чертоги государя, делается с ними совершенное превращение: язык, ругавший льстецов, сам подлаживает им подлейшею лестию; кого ругал за полчаса, пред тем безгласный раб; проповедник неустрашимости боится некстати взглянуть, некстати подойти; страж целости отечества, если находит случай, первый протягивает руку ограбить отечество; заступник несчастных для малейшей своей выгоды рад погубить невинного.

Вопр. Какое разделение слов у двора примечается?

Отв. Обыкновенные слова бывают: *односложные*, *двусложные*, *троесложные* и *многосложные*. Односложные: *так, князь, раб;* двусложные: *силен, случай, упал;* троесложные: *милостив, жаловать, угождать,* и, наконец, многосложные: *высокопревосходительство*.

Вопр. Какие люди обыкновенно составляют двор?

Отв. Гласные и безгласные.

Глава вторая
О ГЛАСНЫХ И О ЧАСТЯХ РЕЧИ

Вопр. Что разумеешь ты чрез гласных?

Отв. Чрез гласных разумею тех сильных вельмож, кои по большой части самым простым звуком, чрез одно отверзтие рта, производят уже в безгласных то действие, какое им угодно. Например: если большой барин при докладе ему о каком-нибудь деле нахмурясь скажет: *о!* — того дела вечно сделать не посмеют, разве как-нибудь перетолкуют ему об оном другим образом, и он, получа о деле другие мысли, скажет тоном, изъявляющим свою ошибку: *а!* — тогда дело обыкновенно в тот же час и решено.

Вопр. Сколько у двора бывает гласных?

Отв. Обыкновенно мало: три, четыре, редко пять.

Вопр. Но между гласными и безгласными нет ли еще какого рода?

Отв. Есть: полугласные, или полубояре.

Вопр. Что есть полубоярин?

Отв. Полубоярин есть тот, который уже вышел из безгласных, но не попал еще в гласные, или, иначе сказать, тот, который пред гласными хотя еще безгласный, но перед безгласными уже гласный.

Вопр. Что разумеешь ты чрез придворных безгласных?

Отв. Они у двора точно то, что в азбуке буква ъ, то есть сами собою, без помощи других букв, никакого звука не производят.

Вопр. Что при словах примечать должно?

Отв. Род, число и падеж.

Вопр. Что есть придворный род?

Отв. Есть различие между душою мужескою и женскою. Сие различие от пола не зависит, ибо у двора иногда женщина стоит мужчины, а иной мужчина хуже бабы.

Вопр. Что есть число?

Отв. Число у двора значит счет: за сколько подлостей сколько милостей достать можно; а иногда счет: сколькими полугласными и безгласными можно свалить одного гласного; или же иногда: сколько один гласный, чтоб устоять в гласных, должен повалить полугласных и безгласных.

Вопр. Что есть придворный падеж?

Отв. Придворный падеж есть наклонение сильных к наглости, а бессильных к подлости. Впрочем, бóльшая часть бояр думает, что все находятся пред ними в *винительном падеже;* снискивают же их расположение и покровительство обыкновенно *падежом дательным.*

Вопр. Сколько у двора залогов?

Отв. Три: *действительный*, *страдательный,* а чаще всего *отложительный.*

Вопр. Какие наклонения обыкновенно у двора употребляются?

Отв. Повелительное и неопределенное.

Вопр. У людей заслуженных, но беспомощных, какое *время* употребляется по большой части в разговорах с большими господами?

Отв. *Прошедшее,* например: *я изранен, я служил* и тому подобное.

В о п р. В каком *времени* бывает их ответ?

О т в. В *будущем,* например: *посмотрю, доложу* и так далее.

Глава третья
О ГЛАГОЛАХ

В о п р. Какой глагол спрягается чаще всех и в каком времени?

О т в. Как у двора, так и в столице никто без долгу не живет, для того чаще всех спрягается глагол: *быть должным* (для примера прилагается здесь спряжение *настоящего времени,* чаще всех употребительнейшего):

Настоящее:

Я должен.	Мы должны.
Ты должен.	Вы должны.
Он должен.	Они должны.

В о п р. Спрягается ли сей глагол в прошедшем времени?

О т в. Весьма редко: ибо никто долгов своих не платит.

В о п р. А в будущем?

О т в. В будущем спряжение сего глагола употребительно: ибо само собою разумеется, что всякий непременно в долгу *будет,* коли еще не есть.

ПИСЬМО, НАЙДЕННОЕ ПО БЛАЖЕННОЙ КОНЧИНЕ НАДВОРНОГО СОВЕТНИКА ВЗЯТКИНА, К ПОКОЙНОМУ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ***

Москва, 1777.

Милостивый государь и второй отец!

С крайним сердца нашего обрадованием, чему свидетель господь сердевидец, услышал я с женою моею Улитою и с детьми нашими обоего пола, что ваше превосходительство, так сказать, из ничего, по единой божеской благости, слепым случаем произведены в боль-

ной чин и посажены знатным судьею, весьма в непродолжительное время и без всяких трудов, по единой милости создателя, из ничего всю вселенную создавшего. К стопам вашего превосходительства упадая, просим рабски не оставить нас по делам нашим, которым и реестрец маленький вкратце приложить возымел я дерзость, а при нем прилагаю вам, государю и отцу, сторублевую ассигнацию, на первый случай, зная издревле благочестивую душу вашего превосходительства, пред которою *всяко даяние благо и всяк дар совершен.* Да и поистине, милостивый государь и отец, жизнь наша краткая; не довлеет пренебрегать такие благознаменитые случаи, в которые ваше превосходительство можете приобресть стяжания в роды родов. Теперь-то пришло время благополучия нашего: истцы и ответчики, правые и виноватые, богатые и *убозии,* все в руце вашего превосходительства. Что же касается до казны, то, по моему глупому разуму, несть греха и до нее от времени до времени прикасаться, ибо не ваше превосходительство, так другой, а казна никогда от рождения в целости не бывала, да и быть едва ли может, да и, видно, таков положен ей предел, *его же не прейде.* При толиких удобных благополучиях да не буду и я отриновен от благодати вашего превосходительства, и не возможно ли, милостивый государь и второй отец, перетащить меня из Москвы в С.-Петербург, хотя тем же чином, для прислуг вашему превосходительству. А когда соизволите усмотреть приращение интересов ваших моими усердными и беспорочными трудами в приискании известных случаев ради помянутого приращения, то и о произведении меня чином отеческое попечение возымеете. Да еще ж прошу вас, государя и отца, о сыне моем Митюшке, ежели возможно, взять его к себе хотя в копиисты, а его господь наградить благоволил, что он к приказным делам весьма сроден и уже под моим смотрением сочинил совсем нового рода сводное уложение, приискав на каждое дело по два указа, из коих по одному отдать, а по другому отнять ту же самую вещь неоспоримо повелевается; так я и думаю, что из него прок будет и он удостоится отеческой вашей милости, на что и ожидаю вашего указа. Истинно, ми-

лостивый государь и отец! теперь ваше, а по вас и наше время настало; а на первый случай хотя народу и тяжко будет, да когда в производствах своих соблаговолите ссылаться на законы, к чему и убогие Митюшкины труды могут пригодиться, то поневоле замолчат наши недоброхоты. Государь и отец! рассудите сами по чистой совести: буде челобитчик и ответчик ищут своей пользы в законах, то для чего же судье своей пользы не искать в законах? От таковой выключки оборони нас вышний; а я по конец жизни вечно и по гроб мой до последнего издыхания пребываю

вашего превосходительства, милостивого государя и отца, всепокорнейший слуга и раб, Артемон Взяткин, к стопам повергаюсь.

КРАТКИЙ РЕЕСТР
ДЛЯ НАПОМИНАНИЯ ВСЕУНИЖЕННЕЙШЕЙ ПРОСЬБЫ НАДВОРНОГО СОВЕТНИКА ВЗЯТКИНА, С ОЗНАЧЕНИЕМ ЦЕН, КЛЯТВЕННО ОБЕЩАЕМЫХ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ЗА МИЛОСТИВУЮ ПРОТЕКЦИЮ И ПОКРОВИТЕЛЬСТВО

1. Имеется межевое дело бывшего воеводского товарища Антропа Шильникова с разными беззаступными помещиками. Вместо потребных документов, коих реченный Шильников нигде отыскать не может, да заступит едино предстательство вашего превосходительства за . . . . 500 руб.

2. Асессор Воров ищет места в дальних наместничествах, дабы слух о производствах его не достигал никогда до столицы. Человек он кроткий и славы не любит. Чрез полгода по прибытии в его место не преминет он вашему превосходительству повергнуть чрез меня . . . . 500 руб.

Потом ежегодно, пока продлит бог века вашему превосходительству, по . . . . 1000 руб.

3. Вдова штаб-офицерша Беднякова, имеющая вексельное дело с купцом Плутягиным, потащилась в С.-Петербург искать правосудия. Не возможно ль,

государь и отец, удостоить отеческим покровительством реченного Плутягина и, не допуская до подания челобитной, под каким ни есть предлогом выгнать из столицы реченную вдову Беднякову? За таково человеколюбивое благодеяние, которое в настоящем случайном благополучии ваше превосходительство всего удобнее показать можете, реченный купец подносит . . . . 500 руб.

4. Советник Криводушин, находящийся в известном наместничестве, просит сильного рекомендательного письмеца вашего превосходительства, дабы он употреблен был при рекрутских наборах; и если, как надеяться должно, будет он удостоен сей весьма важной для поправления дел его комиссии, то в каждый таковой благополучный и вожделенный год ваше превосходительство наверное благоволите считать от него по . . . . 1500 руб.

5. Находившийся при таможенных сборах асессор Простофилин, которого за весьма малое до казны прикосновение бросили от места, припадает к стопам вашего превосходительства и просит из единого человеколюбия приложить милосердное попечение об определении его к новому месту, с клятвенным обещанием, что он так мало до казны никогда не прикоснется и поставит себя в состояние в непродолжительном времени достойно и праведно возблагодарить ваше превосходительство.

Наконец, осмеливаюсь упомянуть вашему превосходительству и о моем страдальческом положении. До сих пор в здешнем правительстве не решено еще известное дело мое о бесчестии и увечье по поводу данной мне, всенижайшему, сильной пощечины от его высокоблагородия г. майора Неспускалова. Помилуйте, государь и отец, не оставьте меня милостивою рекомендациею к здешнему начальству и испросите высокого его покровительства в скорейшем мне получении определенного по законам бесчестия и увечья как за сию, уже данную мне, пощечину, так генерально и за все могущие впредь со мной воспоследовать, дабы не при всякой новой оплеухе утруждать ваше превосходительство вновь о милостивом заступлении.

ОТВЕТ

Мой государь, Артемон Власьевич!

Много благодарствую за приятельское ваше писание с приложением известной бумажки и реестра, по которому я учинил следующее распоряжение:

На 1. Шильниково дело я давно знаю. Если б он попался к другому, то б, конечно, обвинен был; но как я крепостных документов никогда ни от кого не спрашиваю, а решу и заступаю по другим документам, каковых соперник его не представляет мне ни одного, а Шильников пятьсот, то сей последний может быть уверен, что все законы возопиют против его соперника; но не забудь, мой приятель, растолковать ему, что обещаемые пятьсот документов мне не послужат нимало к убеждению секретаря. Для него потребна по крайней мере новая сотня документов. Он человек совести весьма деликатной и за безделицу души не покривит.

На 2. Воров мне самому был приятелем с ребячества. Прилагаю об нем рекомендательное письмецо, в твердом уповании, что он свой расчет сделал и обещаемое мне верно доставлять станет. А ты, мой приятель, уверь его, чтоб он никаких жалоб не опасался, ибо, пока я боярин, он, Воров, и вся его родня будут вести житие благоденственное.

На 3. О Бедняковой дал я сегодня же приказ моему канцеляристу, чтоб он при въезде ее в город закричал на нее: *караул!* в ямской, под предлогом якобы некоего тяжебного дела; следственно, будет она проведена прямо в государеву квартиру; а как, по новости ее в городе, она порук по себе не найдет, да и я не допущу, то может она сидеть в тюрьме до тех пор, пока согласится, не заезжая никуда, отправиться восвояси. Будь уверен, мой приятель, что, пока я боярин, по тех пор для всех Бедняковых Петербург будет тюрьма, а тюрьма — Петербург.

На 4. Рекомендательное письмо к NN об употреблении советника Криводушина к рекрутским наборам охотно при сем прилагаю; а притом прошу внушить ему якобы от себя, чтоб он не сильно налегал

на помещичьих, а прижимал бы плотнее тех, за которых некому вступиться. Сего последнего правила держусь я и сам в знатном моем состоянии, кольми паче маленький человек наблюдать оное должен.

На 5. Асессор Простофилин сам виноват, для чего потерял место. Я его за простоту любил, и, как теперь помню, накануне допроса, учиненного ему о казенной краже, я призывал его к себе и сколько раз, увещевая дружески, говорил ему: «Эй, отопрись, отопрись!» Нет, сударь, таки признался, повинился; вот за то и топчи теперь площадь. Скажи ему однако, что я об нем постараюсь, но что если он еще раз украдет мало, то навсегда от него отступлюсь.

При сем же прилагаю рекомендательное письмецо по поводу данной тебе, приятелю моему, пощечины. Будучи в малых чинах, я и сам пользовался безумною горячностию челобитчиков, и с таким успехом, что поистине целый годовой оклад мой выбирал иногда на одних оплеухах. Но, с тех пор как я сделался боярином, сия ветвь моих доходов совершенно истребилась. Когда я, будучи в маленьких чинах, обращался с мелким дворянством, бывало, за всякую безделицу: выдеру ль лист из дела, почищу ль да приправлю, того и смотрю, что обиженный мною, без дальних извинений, шлёп меня по роже. Но в настоящем положении, что ни творю, никто не дерзает меня в очи избранить, не только заушить. Истинно, мой достойный приятель, жалко видеть, как в большом свете души мелки и робки!

Учиня тебе, мой государь и нелицемерный приятель, ответ на твое дружеское писание, прилагаю при сем вкратце тебе наставление, или краткую инструкцию, какие в настоящем моем положении потребны мне твои приятельские услуги:

1. В откровенности тебе скажу, моему государю, что здесь слово *откуп* в крайнем презрении и поношении и называется *монополия*. Мое мнение то, чтоб сего слова никогда не употреблять, а все откупать, что возможно, ибо иногда одну вещь под разными именами не распознают вовсе. Я положил откуп называть *законтрактованием* и прошу тебя приискать в Москве из старых откупщиков к новому законтрактованию каких вещей они

сами пожелают, лишь бы меня самого взяли в половину, дабы я имел причину дать им надлежащую протекцию и покровительство.

ПИСЬМО К СТАРОДУМУ ОТ СОЧИНИТЕЛЯ «НЕДОРОСЛЯ»

С.-Петербург. Февраля ... дня 1788 года.

Сообщенный мне вами в свое время разговор ваш с Софьею, из которого составил я второе явление четвертого действия «Недоросля», весьма сокращен г-ми актерами, дабы комедия не весьма была длинна, но как в том, что выпущено, много есть нравоучительного, которое достойно быть известно нашей просвещенной публике, то я, с позволения вашего, помещу весь ваш разговор в мое периодическое творение, поставя знак «» на всем том, что в комедии не напечатано и чего актеры не играют.

Я есмь и проч.

Сочинитель «Недоросля».

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Стародум. А! ты уже здесь, друг мой сердечный!

Софья. Я вас дожидалась, дядюшка. Читала теперь книжку.

Стародум. Какую?

Софья. Французскую: Фенелона, о воспитании девиц.

Стародум. Фенелона, автора «Телемака»? Хорошо. Я не знаю твоей книжки, однако читай ее, читай. Кто написал «Телемака», тот пером своим нравов развращать не станет. Я боюсь для вас нынешних мудрецов. Мне случилось читать из них все то, что переведено по-русски. Они, правда, искореняют сильно предрассудки, да воротят с корня добродетель. Сядем.

(Оба сели.) Мое сердечное желание видеть тебя столько счастливою, сколько в свете быть возможно.

Софья. Ваши наставления, дядюшка, составят все мое благополучие. Дайте мне правила, которым я последовать должна. Руководствуйте сердцем моим; оно готово вам повиноваться.

Стародум. Мне приятно расположение души твоей. С радостью подам тебе мои советы. Слушай меня с таким вниманием, с какою искренностию я говорить буду. Поближе. *(Софья подвигает стул свой.)*

Софья. Дядюшка, всякое слово ваше врезано будет в сердце мое.

Стародум *(с важным чистосердечием)*. Ты теперь в тех летах, в которых душа наслаждаться хочет всем бытием своим, разум хочет знать, а сердце чувствовать. Ты входишь теперь в свет, где всего чаще первая встреча бывает: умы развращенные в своих понятиях, сердца развращенные в своих чувствах. О мой друг! умей различать, умей остановиться с теми, которых дружба к тебе была бы надежною порукою за твой разум и сердце.

Софья. Все мое старание употреблю заслужить доброе мнение людей достойных. Да как мне избежать, чтоб те, которые увидят, как от них я удаляюсь, не стали на меня злобиться? Не можно ль, дядюшка, найти такое средство, чтоб мне никто на свете зла не пожелал?

Стародум. Дурное расположение людей, недостойных почтения, не должно быть огорчительно. Знай, что зла никогда не желают тем, кого презирают, а обыкновенно желают зла тем, кто имеет право презирать. Люди не одному богатству, не одной знатности завидуют: и добродетель также своих завистников имеет.

«Софья. Возможно ль, дядюшка, чтоб были в свете такие жалкие люди, в которых дурное чувство родится точно оттого, что есть в других хорошее. Добродетельный человек сжалиться должен над такими несчастными.

Стародум. Они жалки, это правда; однако для этого добродетельный человек не перестает идти своей дорогой. Подумай ты сама, какое было бы несчастье, если б солнце перестало светить для того, чтоб слабых глаз не ослепить!

Софья. Да скажите ж мне, пожалуйте, виноваты ли они? Всякий ли человек может быть добродетелен?

Стародум. Поверь мне, всякий найдет в себе довольно сил, чтоб быть добродетельну. Надобно захотеть решительно, а там всего будет легче не делать того, за что б совесть угрызала.

Софья. Кто ж остережет человека, кто не допустит до того, за что после мучит его совесть?

Стародум. Кто остережет? Та же совесть. Ведай, что совесть всегда, как друг, остерегает прежде, нежели, как судья, наказывает.

Софья. Так поэтому надобно, чтоб всякий порочный человек был действительно презрения достоин, когда делает он дурно, знав, что́ делает. Надобно, чтоб душа его была очень низка, когда она не выше дурного дела.

Стародум. И надобно, чтоб разум его был не прямой разум, когда он полагает свое счастье не в том, в чем надобно».

Софья. Мне казалось, дядюшка, что люди согласились, в чем полагать свое счастье. Знатность, богатство...

Стародум. Так, и я согласен назвать счастливым знатного и богатого. Да сперва согласимся, кто знатен и кто богат. У меня мои расчеты. Степени знатности рассчитываю я по числу дел, которые большой господин сделал для отечества, а не по числу дел, которые нахватал на себя из высокомерия; не по числу людей, которые шатаются в его передней, а по числу людей, довольных его поведением и делами. Мой знатный человек, конечно, счастлив; богач мой тоже. По моему расчету, не тот богат, который отсчитывает деньги, чтоб прятать их в сундук, а тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтоб помочь тому, у кого нет нужного.

«Софья. Как это справедливо! Как наружность нас ослепляет! Мне самой случалось видеть множество раз, как завидуют тому, кто у двора ищет и значит...

Стародум. А того не знают, что у двора всякая тварь что-нибудь да значит и чего-нибудь да ищет; того не знают, что у двора все придворные и у всех придворные. Нет, тут завидовать нечему: без знатных дел знатное состояние ничто.

Софья. Конечно, дядюшка. И такой знатный никого счастливым не делает, кроме себя одного.

Стародум. Как! А разве тот счастлив, кто счастлив один? Знай, что как бы он знатен ни был, душа его прямого удовольствия не вкушает. Вообрази себе человека, который бы всю свою знатность устремил на то только, чтоб ему одному было хорошо, который бы и достиг уже до того, чтоб самому ему ничего желать не оставалось; ведь тогда вся душа его занялась бы одним чувством, одной боязнию: рано или поздно

свергзиться. Скажи ж, мой друг, счастлив ли тот, кому нечего желать, а есть чего бояться?

Софья. Вижу, какая разница казаться счастливым и быть действительно. Да, мне это непонятно, дядюшка, как можно человеку всё помнить одного себя. Неужели не рассуждают, чем один обязан другому? Где ж ум, которым так величаются?».

(Далее продолжается явление так, как оно напечатано.)

ПИСЬМО К СТАРОДУМУ ОТ ДЕДИЛОВСКОГО ПОМЕЩИКА ДУРЫКИНА

Имея честь быть вашим соседом, прошу не прогневаться, что я, без всяких моих заслуг, утруждаю вас сим письмом. Я знаю, что вы в Москве много знакомцев имеете и любите людей ученых, а мои обстоятельства вот каковы.

Я имею шестерых детей: трех мужеского и столько ж женского пола. Для девочек переманили мы от соседа мадаму, которая за ними смотрит и за которою мы смотрим; она называется мадам Лудо, неизвестно какой нации. Большой мой сын, Феденька, по семнадцатому году, читать и писать умеет, а Митюшка и Павленька еще не начинали грамоте. Митюшка — матушкин сынок; с ним надобно обходиться нежно, ибо он слабого здоровья. Я хотел бы выписать из Москвы учителя, но только не немца, ибо боюсь взять Вральмана. Не худо было бы, если б вы сделали милость, посмотрели из университетских студентов, а кондиции мои при сем прилагаю, пребывая в прочем...

Дурыкин.

КОНДИЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ ДОМУ ДУРЫКИНА

1. Учитель должен быть из русских, уметь по-французскому, по-немецкому, сочинять стихи, сколько потребно для домашнего обихода. Не худо, чтобы он знал и арифметику.

2. На год дам ему двести рублей, а он должен учить детей моих со всею кротостию.

3. Жить он будет у меня в доме, обедать с камердинером.

4. А как я, по милости божией, имею чин генеральский, будучи отставлен действительным статским советником, то я именно требую, чтоб он в разговорах со мною и с женою давал нам чаще титул превосходительства.

5. При гостях в наше присутствие он садиться не должен.

6. С мадамою Лудо отнюдь не амуриться, дабы не подать худого примера жене моей, а потом и дочерям.

7. При мне и при жене моей ни шляпы, ни колпака отнюдь не надевать; но из человеколюбия в зимнее время дозволяю накрыться, и то когда метель большая.

8. В сутки будет он получать по три бутылки русского пива домашнего варенья.

9. Не худо, если б он взял на себя вести мои приходные и расходные книги, а притом бы умел причесать ребятам моим волосы, также и парик бы мой взял под свой присмотр.

10. Он должен исполнять все сие условие, под опасением в противном случае быть выгнану по шее из дому, ибо я признаюсь, что нрав у меня бешеный, да и будучи в генеральском чине, может быть, не могу воздержать себя противу студента, в службе моей находящегося, хотя бы он и офицерского был чина.

ОТВЕТ СТАРОДУМА ДУРЫКИНУ

Письмо ваше, государь мой, казал я одному университетскому профессору, который на просьбу мою о приискании в дом ваш студента отвечал мне письменно. Вот и письмо его.

Стародум.

ПИСЬМО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ПРОФЕССОРА К СТАРОДУМУ

Я говорил некоторым нашим студентам о предлагаемом им месте в доме его превосходительства Дурыкина. Охотники есть, но, правду сказать, большая часть ставят учительское звание ниже себя, а хотят чинов; один, однако ж, объявил мне свое желание быть учителем. Он из малороссиян, называется господин Срамченко — филолог и философ, а иные уверяют, что и мартинист, но просит в год не меньше трехсот рублей, хотя живет по духу, а не по плоти. Знает по-французски, а больше по-латыни, арифметику до тройного правила; от стихов, однако ж, просит увольнения; обещает воздавать его превосходительству должное почтение, но обедать с камердинером не соглашается. Предложение о чесании волосов и о надзирании над его париком почитает себе обидою, ибо сие называет он рукоделием. Расходные и приходные книги вести не берется. От искушения касательно мадам Лудо всемерно остерегаться будет, почему и я подозреваю его мартинистом.

Представился мне еще молодой человек 22 лет; поучен изрядно. Я оставил его у себя обедать и нахожу, что жрет без милосердия. Он требует, кроме обеда и ужина, чтоб дан был ему добрый завтрак, а не меньше и полдник, также чтоб и предлагаемая порция пива была удвоена.

Господин Кераксин желает также быть учителем, просит 250 рублей на год. Он знает по-гречески, по-еврейски, но не знает по-русски, что, кажется, для детей его превосходительства и не нужно. Ныне, к сожалению, многие из русских дворян хотят детей своих учить по-русски; но, поистине, охота сия есть одна пустая затея, ибо сам г-н Дурыкин грамотою ли дослужился до титула превосходительства?

Цезуркин, ремеслом пиита, желает также иметь место у господина Дурыкина. Он обещает каждый раз для именин его превосходительства и каждого из чад его сводить в стихах своих всех богов с Олимпа, просит по копейке за стих да к святкам кафтана с плеча его превосходительства, хотя довольно поношенного. Он весь-

ма забавного нрава и шутит так умно, что в доме дурака не надо; ни па кого не сердится, разве только, кто стихи его похулит.

Красоткин, студент весьма щеголеватый, убирается как кукла, да и думает не иначе. Он с удовольствием берется причесывать волосы детям его превосходительства, умеет выводить из платья пятна и вырезывать из бумаги разные фигуры. За одно только не ручаюсь, а именно, чтоб не завел он каких шашней с мадам Лудо или с ее превосходительством, ибо он и моей жене повернул голову.

ПИСЬМО ДУРЫКИНА К СТАРОДУМУ

Предлагаемые господином профессором в дом мой студенты кажутся мне все ребята достойные быть учителями у детей благородных, и для того я боюсь выбрать одного без обиды другому. Покорно прошу уговорить господина профессора, чтоб он всех сих господ созвал к себе в дом и сделал род аукциона: кто возьмет дешевле, того я и беру, и с тем может он заключить контракт на шесть лет. В прочем пребываю...

Дурыкин.

ПИСЬМО ОТ СТАРОДУМА

Москва, февраля 1788.

Мне случилось на сих днях быть в здешнем обществе, довольно многочисленном, а особливо дам было великое множество. В одной комнате был разведен камин, около которого стояли человек пять-шесть молодых людей. Они, невзирая на присутствие сидевших в той же комнате знатных и состарившихся в делах государственных особ, разговаривали между собою непристойно громко и со всею невежескою дерзостью. Я поразведал, кто они таковы. Мне сказано было, что они молодые писатели. Я подошел к ним поближе послушать их беседы и нашел, что беседовали они о литера-

туре. Мнения свои сказывали за решения, никакому пересуду не подверженные. Один из них весьма язвительно шпынял над творениями первых наших писателей и изъяснялся, что он сам упражняется в стихотворстве, но во французском, а не в российском; «ибо, — сказал он с насмешкою, — я боюсь войти в соперничество с великими людьми». Молодой человек, с нетерпением насмешки его слушавший, отвечал ему: «Вы напрасно боитесь войти в соперничество с нашими великими людьми; французское ваше красноречие доказывает, какой бы вы писатель были и по-русски. Россия имеет ораторов, над которыми шутить не позволяется». — «Я думаю, — отвечал французский стихотворец, — что Россия красноречия вовсе не имеет, ибо если собрать все русские красноречивые творения, то книга выйдет не весьма огромная». После сих слов разговор стал у них гораздо горячее и показывал, что беседующие молодые писатели знание имели весьма малое, а воспитания никакого.

Возвратясь домой, подумал я о сей беседе, и как нельзя не признаться, что наши витийственные сочинения составили бы весьма маленькую книжку, то размышлял я, отчего имеем мы так мало ораторов? Никак нельзя положить, чтоб сие происходило от недостатка национального дарования, которое способно ко всему великому, ниже от недостатка российского языка, которого богатство и красота удобны ко всякому выражению. Истинная причина малого числа ораторов есть недостаток в случаях, при коих бы дар красноречия мог показаться. Мы не имеем тех народных собраний, кои витии большую дверь к славе отворяют и где победа красноречия не пустою хвалою, но претурою, архонциями и консульствами награждается. Демосфен и Цицерон в той земле, где дар красноречия в одних похвальных словах ограничен, были бы риторы не лучше Маскима Тирянина; а Прокопович, Ломоносов, Елагин и Поповский в Афинах и Риме были бы Демосфены и Цицероны; по крайней мере церковное наше красноречие доказывает, что россияне при равных случаях никакой нации не уступают. Преосвященные наши митрополиты: Гавриил, Самуил, Платон суть наши Тиллотсоны и Бурдалу; а

разные мнения и голоса Елагина, составленные по долгу звания его, довольно доказывают, какого рода и силы было бы российское витийство, если бы имели мы где рассуждать о законе и податях и где судить поведения министров, государственным рулем управляющих.

Но между неисчетными благами, коими Россия облагодетельствована от Екатерины Вторыя, должно считать и установление Российской академии. Сие установление, конечно, много споспешествовать будет к образованию и обогащению российского слова. Слышу я, что Академия упражняется в составлении российского лексикона и грамматики. Без сомнения, сей труд будет весьма полезен; но, кажется мне, что, между тем как Академия сим занимается, может она, под покровительством председательствующей в ней толь знаменитой просвещенным своим разумом особы, дать упражнение и тем российским писателям, кои не суть члены Академии. Она может, по примеру подобных в Европе установлений, задавать ежегодно материи к витийственным сочинениям, награждая победителя в красноречии и возбуждая тем соревнование между писателями. Россия имела между государями своими великих благодетелей, кои достойны благодарности. Имела она также и между сынами своими истинных отечестволюбцев, которых дела достойны быть преданы потомству. Можно также задавать и материи нравоучительные, словом, упражнять писателей во всех родах сочинений и тем возвращать российского слова богатство, красоту и силу. Я есмь и проч.

Стародум.

ПИСЬМО ОТ СТАРОДУМА

Москва, февраля ... 1788 года.

(РАЗГОВОР У КНЯГИНИ ХАЛДИНОЙ)

Сегодня был у меня один из моих приятелей, который сказывал мне, что вчера он зван был обедать к княгине Халдиной, но приехал к ней так рано, что она еще одевалась и его принять не могла, почему введен был в комнату подле уборной ее, так что мог слышать

все ее разговоры. Она много шумела с своею девушкою о нарядах; потом взглянула в окошко и, увидев, что подъехали к крыльцу санки: «Это санки Сорванцова, — сказала княгиня с веселым видом. — Пусти его сюда», — говорила она девушке своей. Чрез минуту приятель мой увидел вошедшего к княгине мужчину в наместническом мундире. Княгиня, в веселом духе привстав: «А! Сорванцов, голубчик, здравствуй! — сказала ему. — Садись возле меня. Откуда?»

Сорванцов. Из присутствия, княгиня. Ты знаешь, что я судья. Я там так заспался, что насилу очнуться могу. Часа четыре читали дело; всю эту пропасть мололи при мне; а как законом не запрещено судье спать, когда и где захочет, то я, сидя за судейским столом, предпочел лучше во сне видеть бред, нежели наяву слышать вздор.

Княгиня. Не понимаю, как ты мог с твоим любезным характером сделаться судьею! Знаешь ли что? Пока я за туалетом, расскажи мне всю свою историю. Девка, румяны!

Сорванцов. Она коротехонька. Я нарисую вам всю картину моей жизни, прежде нежели вы полщеки разрисовать успеете. Мне уже за тридцать лет. Первые осьмнадцать, сидя дома, служил я отечеству гвардии унтер-офицером. Покойник батюшка и покойница матушка выхаживали мне ежегодно паспорт для продолжения наук, которых я, слава богу, никогда не начинал. Как теперь помню, что просительное письмо в Петербург о паспорте посылали они обыкновенно по ямской почте, потому что при письме следовала посылка с куском штофа, адресованного на имя не знаю какой-то тетки полкового секретаря. Как бы то ни было, я не знал, не ведал, как вдруг очутился в отставке капитаном. С тех пор жил я в Москве благополучно, потому что батюшка и матушка скончались и я остался один господином трех тысяч душ. Недели две спустя после их кончины жестокое несчастие лишило меня вдруг тысячи душ.

Княгиня. Боже мой! Какое же это несчастие?

Сорванцов. Несчастие, которому, я думаю, в свете примера не бывало и не будет. Полтораста карт

убили у меня в один вечер, из которых девяносто семь загнуты были *сетелева*.

Княгиня. Ах, это слышать страшно!

Сорванцов. После этого несчастия хватился я за разум: перестал ставить большие куши, и маленькими в полгода переставил я еще пятьсот душ в Кашире.

Княгиня. Как! Ты проиграл и Каширскую, где лежат твои родители?

Сорванцов. Я им тут лежать не помешал, княгиня! Сверх того, не из подлой корысти продал я деревню, где погребены мои родители. За то, что тела их тут опочивают, мне ни полушки не прибавили.

Княгиня. Так и подлинно, ты пред ними чист в своей совести.

Сорванцов. Итак, с полутора тысячью душами принялся я за экономию: вошел в коммерцию, стал продавать людей на службу отечеству, стал заводить в подмосковной псовую охоту, стал покупать бегунов, чтоб сделать себе в Москве некоторую репутацию. Ямской цуг был у меня по Москве из первых; как вдруг поражен я был лютейшим ударом, какой только в жизни мог приключиться моему честолюбию.

Княгиня. Ах, боже мой! Какое это новое несчастие?

Сорванцов. Я не знал, не ведал, как вдруг из моего цуга выпрягли четверню и велели ездить на паре. Этот удар так меня сразил, что я тотчас ускакал в деревню и жил там долго как человек отчаянный. Наконец очнулся. Я дворянин, сказал я сам себе, и не создан терпеть унижения. Я решился или умереть, или по-прежнему ездить шестеркой.

Княгиня. Молодые люди! молодые люди! Вот как вам всем думать надобно!

Сорванцов. Я кинулся в Петербург, где чрез шесть недель преобразили меня в надворные советники. Я странный человек! Чтоб найти, чего ищу, ничего не пожалею. Следствием этого образа мыслей было то, что меньше нежели чрез год из надворных советников перебросили меня в коллежские. Теперь я накануне быть статским, а назавтра этого челобитную в отставку, да и в Москву, в которой, первые визиты сделав шестер-

нею, докажу публике, что я умел удовлетворить честолюбию.

Княгиня. О, если бы все дворяне мыслили так благородно, и лошадям было бы гораздо легче! Ты сделал полезное дело и себе и ближним. Твой поступок, мой милый Сорванцов, содержит в себе чистое нравоучение.

Сорванцов. Я столько счастлив, что нашел себе подражателей. Я моим примером открыл ту истину, что чин заслуженный ничем не лучше чина купленного.

Княгиня. Не прогневайся, голубчик! Сия истина не весьма новая, ибо не ты первый купил себе право впрягать шесть лошадей. Я сама имела жениха оберофицера, но не позволила ему о браке нашем и думать, пока не будет он иметь права возить меня четвернею. Покойный мой князь принужден был согласиться на мое требование.

Сорванцов. Я удивляюсь, княгиня, как могла ты ограничить свое честолюбие только четвернею! Ты бы могла предписать жениху снискание права на шесть лошадей.

Княгиня. Но, Сорванцов, голубчик! твое честолюбие выходило из меры. Ты хотел из капитанов быть вдруг бригадирского чина. Я недавно читала римскую историю и нахожу, что твое честолюбие есть катилининское. Берегись, Сорванцов, чтобы и тебя не постиг какой-нибудь бедственный конец!

Сорванцов. Я откроюсь тебе, княгиня, что каждую почту из Петербурга с трепетом писем ожидаю. Судьи, мои товарищи, решили одно дело, или, лучше сказать, смошенничали. Обиженный нашел в Петербурге покровительство, и сказывают, что всем нам беда будет.

Княгиня. Да ты неужели заодно был с бессовестными судьями?

Сорванцов. Нет, княгиня. Я согласился с ними для того, что не понимал дела, и мне пристойнее казалось им не противоречить, нежели признаться, что я не понимаю.

Княгиня. Ты имеешь разум, Сорванцов. Я не постигаю, какого бы дела ты понять не мог.

С о р в а н ц о в. Оно писано было таким темным слогом, что без проницания чрезъестественного понять его никак невозможно.

К н я г и н я. A propos! *(К своей девушке.)* Ты мне анонсировала господина Здравомысла; где ж он?

Д е в к а *(указывая на другую комнату).* Вот здесь дожидается.

К н я г и н я. Проси его сюда. *(Здравомысл входит.)* Извините меня, сударь, что глупость людей моих заставила вас сидеть в скуке. *(К девке.)* Разве ты не знаешь, что я при мужчинах люблю одеваться?

Д е в к а. Да ведь стыдно, ваше сиятельство.

К н я г и н я. Глупа, радость! Я столько свет знаю, что мне стыдно чего-нибудь стыдиться.

З д р а в о м ы с л. Я, вошед сюда, помешал вашему разговору, который, сколько я приметил, был довольно серьезен.

К н я г и н я. Если позволите, мы разговор наш продолжать станем и просим вас не скрывать от нас ваших мыслей. *(Сорванцову.)* Продолжай.

С о р в а н ц о в. Поверьте мне, княгиня, что многие дела беззаконно решаются сколько от бессовестности судей, столько и от бестолковости, с которою предложено дело.

З д р а в о м ы с л. Не всегда судьи не понимают дела для того, что оно предложено неясно; весьма часто не понимают для того, что не сделали привычки к делам и не приобрели способности к вниманию. Сия способность приобретается учением и чтением; но сколько у нас людей, которые порядочно учились и имеют навык понимать читаемое? Я не требую судей ученых, но, мне кажется, судья должен быть неотменно просвещен и уметь грамоте, то есть знать по крайней мере правописание, чему, я сам видел, не многие у нас умеют; хотя и то правда, что запятая, не в своем месте поставленная, иногда переменяет существо самого дела и, следовательно, заставляет судей решить неправильно.

С о р в а н ц о в. Но разве всему этому пособить не можно? Разве нельзя завести добрых судей, которые бы имели и знание и дарование понять дело?

Здравомысл. Мы видим, что у нас об этом и помышляют. Когда в российских городах заводят университеты, то, стало, намерение есть готовить к службе людей просвещенных. Я хотел бы только, чтобы в университетах наших преподавалась особенно *политическая наука.*

Сорванцов. Что вы чрез сию науку разумеете?

Здравомысл. Разумею науку, научающую нас правилам благочиния, науку коммерческую и науку о государственных доходах. Я хотел бы, чтоб у нас по сим предметам сочинены были на каждую часть особенные книжки, по коим бы преподавалась в университетах политическая наука. Сим способом будет Россия иметь во всех частях гражданской службы людей годных и просвещенных. Я о сем размышлял довольно, но боюсь здесь распространиться, дабы не наскучить сим вам и тем, кои разговор наш читать будут.

Сорванцов. Я хотя и могу показаться вам головорезом, однако верьте мне, что я хотел бы сию минуту пойти учеником в тот университет, где мог бы сделаться годным к службе, и, оттуда вышед, знал бы я, что получу место не то, где есть только вакансия, но то, для которого я учился и к которому способен.

Здравомысл. Если бы я знал, что моя идея о заведении в университетах класса политической науки найдена была полезною и угодною, я охотно составил бы мое мнение, как к сему приступить удобнее. Находясь в чужих краях, я видал сам таковой класс; имею книжки, по коим политическая наука преподается, и говорил с теми людьми, кои преподают сию науку, но, признаюсь вам, что без особенного побуждения боюсь вместо удовольствия нажить каких-нибудь неприятностей от тех людей, кои, сами пресмыкаясь в невежестве, думают, что для дел ничему учиться не надобно.

Сорванцов. Я слыхал пословицу: *не учась, в попы не ставят.*

Здравомысл. С тех пор как стали следовать сей пословице, попы наши очевидно стали лучше и просвещеннее, и сия часть граждан отправляет свою должность гораздо порядочнее. Я совершенно уверен, что если б взято было за правило: *не учась, в судьи не*

определять, то бы между судьями невежество было гораздо реже.

Сорванцов. Я по себе чувствую, что без просвещения человек есть сожаления достойная тварь.

Здравомысл. Но разве нельзя унять грабителей и завести добрых адвокатов?

Сорванцов. Сие не невозможно, но трудно и требует большого времени.

Здравомысл. По крайней мере неужели нет средства пресечь взятки?

Сорванцов. Мудрено, сударь, ибо сверх того, что, кажется, сама природа одарила всякого судью взятколюбною душою, многие из них с честными правилами принуждены брать взятки. Вообразите судью честного человека. Он дворянин, имеет родню и знакомство, то есть живет в обществе, имеет детей, требующих воспитания; но нет у него, кроме жалованья, других доходов, а жалованья получает только 450 рублей. Скажите мне, ради бога: как он может содержать жену, детей и дом такою малою суммою и в такое время, когда нужнейшие для жизни вещи взошли до цены невероятной? Хотя бы и не хотел, неволею должен сделаться взяткобрателем. Ведь не все судьи таковы, как наш господин Бескорыст. Он взяток никогда ни с кого не берет, но зато, можно сказать, умирает с голоду. Я скажу о себе: я имею достаток и если смошенничаю, то заслужу без всякой пощады виселицу, равно как и все те ее всеконечно заслужили, кои, награбя богатства, не отстают от своего промысла и продают публично правосудие.

Княгиня. Но ты, любезный Сорванцов, имеешь природный ум. Ты ужасть как в обществе ловок!

Сорванцов. К несчастию, мне не дано было воспитания. Родители мои имели о сем слове неправильное понятие. Они внутренно были уверены, что давали мне хорошее воспитание, когда кормили меня белым хлебом, никогда не давая черного; словом, чрез *воспитание* разумели они одно *питание*. Учить меня ничему не помышляли, и природный мой ум не получал никакого просвещения. По-французски выучился я случайно. Госпожа Лицемера, моя внучатная тетушка,

вздумала детей своих учить по-французски. Тогда приехал в Москву из Петербурга француз, живший до того в Америке. Сей француз назывался, как теперь помню, шевалье Какаду. Тетушка моя получила к нему симпатию и приняла его в свой дом в наставники своим детям. Она взяла от родителей моих и меня учиться вместе с детьми своими. Я думаю, что не лишнее сделаю, если опишу вам характер моей тетушки и ее фаворита, а нашего наставника.

Тетушка моя выдавала себя в свете за чадолюбивую мать и верную супругу, за добрую хозяйку и за набожную женщину. Посмотрим, такова ли она была в самом деле.

В учреждении комнат первое внимание обращает она всегда на то, чтоб детская была гораздо далее от ее спальни, ибо крик малолетных детей ей нестерпим, хотя она нимало не скучает лаяньем трех болонских собачонок и болтаньем сороки, коих держит непрестанно подле себя. Вот доказательство ее чадолюбия!

Никакой слабости женщинам не прощает; но последний сын ее как две капли воды походит на шевалье Какаду. Вот ее супружеская верность!

Княгиня. Сорванцов, у тебя язык злоречивый! Я тебе скажу о себе. Никто из детей моих на отца не походит, а походят на тех друзей, кои к нам вседневно ходили; по крайней мере мне отдадут ту справедливость, что друзья княгини Халдиной были не иные, как друзья мужа ее.

Сорванцов. На стол тратит очень много, а есть нечего. Дети ходят оборванные и почти босые. Добрая хозяйка!

В церкви никогда никто ее не видит, но ни одного клуба, ни спектакля не пропускает. Набожная женщина!

Шевалье Какаду, француз пустоголовый, из побродяг самая негодница, учил нас по-французски, то есть дал нам выучить наизусть несколько вокабулов и начал с нами болтать по-французски. Грамматике нас не учил, считая, что она педантство.

Княгиня. С этой стороны он не вовсе ошибается. Я сама никакой грамматике не училась, а изъясняюсь

по-французски изряднехонько. Скажи мне, какие правила и чувства вселял в вас шевалье?

Сорванцов. Он вселял в сердца наши ненависть к отечеству, презрение ко всему русскому и любовь к французскому. Сей образ наставления есть обыкновенная система большей части чужестранных учителей. Шевалье наш был надменен, хвастлив и неблагодарен. Надменность его состояла в том, что он хозяев и слуг за людей не считал. По его словам, он знал все науки, которые и нам показать обещал. Особливо в телесных экзерцициях[1] выдавал себя за мастера. Сии телесные экзерциции, которым и нас он обучал, состояли в том, что заставлял он нас распускать золото.

Княгиня. А в чтении упражнялись ли вы когда?

Сорванцов. Никогда; да я думаю, что наш шевалье и сам не умел грамоте, ибо я его ни за книгой, ни с пером в руках никогда не видывал. Позволь, княгиня, докончить характер бывшего моего учителя. Он приехал в Москву в самой нищенской бедности. Тетка моя накупила ему белья и взяла в свой дом, обеспеча его во всем нужном. В благодарность за то, когда у нас бывали гости, не пропускал он случая дерзким своим поведением показывать всем, в какой связи находится он с хозяйкою. Вот, княгиня, как провел я первую мою молодость! Вошед в свет, имел я несчастие попасть на весьма худое общество, где меня дурачили и обыгрывали. Но случайно познакомился я в Москве с одним молодым человеком, который имел просвещение и хорошее поведение. Он приучил меня к чтению книг и открыл мне, в каком невежестве я пресмыкаюсь. Рассудок, который природа мне даровала, родил во мне охоту выкарабкаться из кучи тех презрительных невежд, кои ни богу, ни людям не годятся. Я не скажу, чтоб сие мое старание имело успех совершенный. Недостатки воспитания моего часто наружу выказываются. По крайней мере не ставлю я моего невежества, подобно многим, себе в достоинство и за перемену моих мыслей почитаю себя вечно обязанным тому молодому почтенному человеку, который наставил меня на стезю правую.

---

[1] Упражнениях (*франц.*).

Княгиня. И мое *воспитание* было одно *питание*. Лучшую мою молодость провела я в Москве и такая была пречудная, что многие матери запрещали дочерям своим иметь со мною знакомство. Обожателей было у меня ужасное множество, и чем поведение мое было нескромнее, тем была я славнее. Я не имела никого, кто бы меня остеречь мог и чьи советы умерили бы пылкость моего характера и чувствительность сердца моего. И то и другое сохраняю я до сего дня.

Здравомысл. То есть с вашим сиятельством сбудется пословица: *каков человек в колыбельку, таков и в могилку*.

Вот вам весь разговор, так, как я имею его от приятеля моего Здравомысла. Вы можете поместить его в ваше периодическое творение. Характеры княгини и Сорванцова, кажется, списаны с натуры, и идея Здравомысла о заведении класса политической науки достойна того, чтоб не оставить ее без внимания. Я есмь и проч.

Стародум.

НАСТАВЛЕНИЕ ДЯДИ СВОЕМУ ПЛЕМЯННИКУ

«Философы и нравоучители исписали многие стопы бумаги о науке жить счастливо; но видно, что они прямого пути к счастию не знали, ибо сами жили почти в бедности, то есть несчастно. Правда, что некоторые из них нажили великие богатства, но они в жизни своей поступали совсем иначе, нежели писали. И кто знает, не с умыслу ли они преподавали людям ложные правила к счастию, дабы одним им пользоваться философским камнем.

Я почитаю за долг дяди остеречь тебя, мой любезный племянник, от сих нравоучительных вралей и преподать тебе тот способ достичь до счастия, которым я сам столь благополучен. «Будь добросердечен, благотворителен и трудолюбив», — говорил мне, умирая, мой покойный родитель. Я и был чистосердечен: говорил правду, обличал порок и невежество, хвалил угнетенное

достоинство, имел твердость говорить иногда истину и большим боярам. Был я также и благотворителен: малое имение мое охотно разделял с неимущими; иногда за бедных ручался, когда сам помочь не мог. А дабы прилепился я к учению и приобрел по возможности непоследние пункты завещания родительского исполнить, которые знания, уповая, что они мне в свете пригодятся. Но, к крайнему сожалению, скоро усмотрел я, что худо разумел моего родителя или что он не знал большого света.

Чистосердечие мое произвело на меня великие гонения; им нажил я многих неприятелей. Благотворение довело меня в долги, а знания мои возбудили ко мне зависть и ненависть одного знатного невежды, который просвещение считал вредным для государства. Жестокая болезнь открыла мне наконец глаза, и я увидел неразумие моей системы. Все меня оставили. Неожиданная помощь одной человеколюбивой особы извлекла меня, так сказать, из челюстей смерти. Неприятели мои торжествовали. Друзья мои сами были небогаты; а знатные особы, кои увеселялись забавным моим нравом, когда я был здоров, находили, может быть, настоящее положение мое забавным, ибо они оставили меня без всякой помощи. Как скоро стало мне легче — «перемени свою систему», — сказал я сам себе. И как всякий человек охотно из одной крайности в другую переходит, то решился я делать совсем противное тому, что прежде делал: что бранил, то стал хвалить; всякий знатный человек находил во мне защитника своему жестокосердию или глупости. С самого утра бегал я по передним знатных господ и не стыдился трусить даже и перед их камердинерами. Если кому дадут ленту или знатный чин, то у меня через полчаса поспевала ода, которую тем больше хвалили, чем меньше было в ней смыслу. Дамы тем более мною были довольны, чем бесстыднее выхвалял я красоту их и душевное достоинство. «C'est un bon diable», [1] — говорили обо мне знатные. «Он отнюдь не так опасен, как мы его считали», — говорили

---

[1] Он славный малый *(франц.)*.

обо мне те, кои прежде пера моего боялись. «Il a beaucoup d'esprit»,[1] — отзывались обо мне дамы.

Как скоро слух о перемене системы моей по городу распространился, то решился я идти на поклон к тому самому знатному невежде, который прежде был моим гонителем. Он предложил мне в отдаленной стороне место, к которому не имел я ни малейшей способности. Я ему признался в том. «Привыкнешь, друг мой, — отвечал он мне, — лишь будь скромен и не пиши стихов, которых я терпеть не могу. Станем жить дружно; старайся, чтоб я был тобою доволен, а я о тебе буду иметь попечение». Скоро я был определен к месту моему, и, невзирая на мое невежество, все удивлялись моему знанию и способности, что и не чудно, ибо предместник мой, по общему всех признанию, был во сто раз меня глупее и неспособнее. Льстивые похвалы мои, которыми бесстыдно осыпал я моих начальников, приобрели мне скоро их доверенность. Они избрали меня к произведению в действо некоторого нового проекта *относительно до необходимой в жизни потребности.*

Я взял в свои советодатели нашего секретаря и с помощию его нажил в полгода около пяти тысяч рублей, с которыми приехал в столицу. На другой день по прибытии моем поднес я две тысячи рублей супруге нового моего покровителя, а прежнего гонителя. Мои две тысячи рублей произвели весьма полезное для меня действие. Покровитель мой расхвалил мое в делах знание и обещал мне свою милость.

В сие самое время один любимец знатного господина хотел выдать замуж свою любовницу, которая была на его содержании. Супруга прежнего моего гонителя, моя новая покровительница, в благодарность за мои две тысячи рублей, вздумала сватать меня на сей честной девушке и обещала мне в столице весьма выгодное место. Наблюдая новую мою систему, я согласился на сие предложение. Свадьба моя была великолепна. Благодетель жены моей сыграл ее на своем иждивении. А как молодая моя супруга была набитая дура, но превеликая красавица, то прежний друг ее

---

[1] Он очень остроумен *(франц.)*.

не отменил к ней своей дружбы, и у меня исподволь народилось детей великое множество. Весьма выгодно иметь жену красавицу, ибо все знатные друзья так горячо пеклись о моем счастии, как надлежит добрым свойственникам. Все мои неприятели исчезли; достаток мой умножился так, как будто бы было над домом моим благословение божие. Я стал жить гораздо шире, давать обеды, балы и концерты, но звал только тех, от кого надеялся быть награжден щедро, так что пир, который стоил пятьсот рублей, приносил мне тысячи две. Скоро купил я каменный дом, а между тем, все жаловался на долги, и хотя жаловано мне было довольно награждений, но я разглашал себя в долгу неоплатном. Не довольно того, любезный племянник, что я оставил чистосердечие, но отучил себя и от добросердечия.

Сначала стоило мне труда слышать стон бедных с хладнокровием; но, поверь мне, сердце богатого человека скоро каменеет. Теперь я думаю, что мягкосердечный человек весьма богат быть не может.

Наконец я так привык к нечувствительности, что ниже помышлял о бедных людях. С книгами моими, составлявшими мое главное удовольствие, я совсем расстался.

Я потерял приятность в обхождении, вкус к хорошим вещам, и душа моя унизилась; но сие унижение души помогло к моему возвышению. Начальники мои, имевшие подлые душонки, рады были иметь меня подчиненным. Ты видишь, любезный племянник, что пути к богатству, то есть к счастию, гораздо короче и глаже, нежели как болтают о том нравоучающие врали. Но буде ты в оном сомневаешься, то рассмотри своих сограждан и ты найдешь, что большая часть из них одолжена за свое богатство и знатность своему лицемерию, жестокосердию, невежеству и женам».

Я сожалею (и каждый читатель, без сомнения, со мною сожалеть будет), что во всем сродническом наставлении нет следа добраться, в которой земле жил сей богатомыслящий дядя; надобно, однако ж, думать, что не между нами: ибо где у нас люди, кои бы наживались при исполнении полезного установления *относи-*

тельно до первых потребностей в жизни? Богачей жестокосердых и глупых красавиц у нас также вовсе нет, как меня уверяют.

«Ты, мой любезный племянник, — продолжал дядя свое наставление, — должен видеть, как я старость мою теперь доживаю и приближаюсь к концу. Как скоро я обогатился и стал жить порядочно домом, то начал чувствовать глас совести. Видя жену мою в беспутстве, должен я, по системе моей, терпеть все ее беспорядки. Я не мог сам от себя скрыть, что все добрые люди считают меня бездельником. Богатый мой дом стал для меня адом, и я, казалось, слышу стон бедных, коих я разорил злодейски. Наконец, на прошлой неделе был я на зрелище, которое вечно не выйдет из моей головы. Приятель мой Воров, умирая, призвал меня к себе. Я был свидетелем, как мерзкая душа его выходила из скаредного тела. Тут узнал я справедливость сих слов: *смерть грешников люта.* Он в постеле своей терзался душевно гораздо сильнее, нежели иной вор страждет на площади. По исходе души его на всех лицах видно было удовольствие, смешанное с презрением к покойнику.

Чувствуя, что и мне умирать будет должно так же мучительно, переменил я опять свою систему и, слушая гласа совести, сколько можно удовлетворяю тех, кои от меня терпели, а тебя, любезный племянник, прошу, будь чистосердечен, но знай, что не всегда и всякую истину говорить надобно. Будь благотворителен, но не расстроивай своего состояния. Будь трудолюбив и прилепляйся к учению, но не возмечтай о своей мудрости. Вот все то, чем я оканчиваю мое наставление».

РАССУЖДЕНИЕ О СУЕТНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

(На случай смерти князя Потемкина-Таврического)

Внезапная кончина вельможи, восшедшего на самый верх могущества и славы, привела мне на память некоторые места из священных творений царя Давида. И действительно, я никого не знаю, кто бы так живо изобразил бренность суетной жизни человеческой, как сей богодухновенный муж. Поучительные его мысли собрал я здесь с присовокуплением моих рассуждений не для чего иного, как в собственное мне душевное наставление, дабы, прочитывая сие, напоминал себе чаще час смертный и к нему всегда приуготовлялся. Как скоро до слуха моего дошло известие о сей кончине, то в ту ж минуту я вспомнил сие место из Давида: *видех человека яко кедры ливанския; мимо идох — и се не бе!* Преходя мысленно, как стремился он к приобретению славы мира сего и к стяжанию земных сокровищ, ощутил я всю истину другого псалма Давидова, в коем сказал он: *внегда умрети ему, не возьмет вся; ниже снидет с ним слава его.* И действительно, как можно было себе представить, чтоб все подъятые труды, все предприемлемые меры к исполнению дальновидных распоряжений, на кои почти весь свет обращал свое внимание, пресеклись и исчезли мгновенно? Не ощутительна ли истина, Давидом произнесенная: *суета суть помышления человеческая!* Тщетно

предпринимаем, бог располагает! По воле его смерть, несмотря ни на титла светлости, ни на силу знатности, ни на блеск сокровищ, разит смертных внезапным ударом; она не дает им времени ни совершить благодеяний своих тем, кому добра желают, ни удовлетворить тех, пред кем чувствуют себя виновными. О вы, обманувшиеся в надежде будущего своего счастия пресечением жизни преставльшегося вельможи! Вы негодуете теперь на то, для чего не успел он совершить истинного вашего счастия; но ужели забыли вы, что преселившийся ныне в вечную жизнь благодетель ваш не имел силы ни на одно мгновение ока отдалить конца своего? Не сами ль вы виноваты, не внемля остерегавшего пророка, глаголавшего сие: *не надейтеся на князи и на сыны человеческия, в них же несть спасения: изыдет дух его, и возвратится в землю свою; в той день погибнут вся помышления его.* Смерть сия есть великое поучение сильным мира сего. Она являет, что слава мира есть суетна: *и да не приложит к тому величатися человек на земли.* Я обращу теперь рассуждение на самого себя. Всем, знающим меня, известно, что я страждy сам от следствия удара апоплексического; не более как в течение года поразили меня четыре таковых удара; но господь, защитник живота моего, всегда отвращал вознесшуюся на меня злобу смерти. Его святой воле угодно было лишить меня руки, ноги и части употребления языка: *наказуя наказа мя господь, смерти же не предаде.* Но сие лишение почитаю я действием бесконечного ко мне его милосердия: ибо воспоминая, что лишился я пораженных членов в самое то время, когда, возвратясь из чужих краев, упоен был мечтою о моих знаниях, когда безумное на разум мой надеяние из мер выходило и когда, казалось, представлялся случай к возвышению в суетную знаменитость, — тогда всевидец, зная, что таланты мои могут быть более вредны, нежели полезны, отнял у меня самого способы изъясняться словесно и письменно и просветил меня в рассуждении меня самого. С благоговением ношу я наложенный на меня крест и не престану до конца жизни моей восклицать: *господи! благо мне, яко смирил мя еси!*

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ В ДЕЛАХ МОИХ И ПОМЫШЛЕНИЯХ

Беззакония моя аз познах
и греха моего не покрых.

ВСТУПЛЕНИЕ

Славный французский писатель Жан-Жак Руссо издал в свет «Признания», в коих открывает он все дела и помышления свои от самого младенчества, — словом, написал свою исповедь и думает, что сей книги его как не было примера, так не будет и подражателей.

Я хочу, говорит Руссо, показать человека во всей истине природы, изобразив одного себя. Вот какой подвиг имел Руссо в своих признаниях.

Но я, приближаясь к пятидесяти летам жизни моей, прешед, следственно, половину жизненного поприща и одержим будучи трудною болезнию, нахожу, что едва ли остается мне время на покаяние, и для того да не будет в признаниях моих никакого другого подвига, кроме раскаяния христианского: чистосердечно открою тайны сердца моего и *беззакония моя аз возвещу*. Нет намерения моего ни оправдывать себя, ниже лукавыми словами прикрывать развращение свое: *господи! не уклони сердца моего в словеси лукавствия и сохрани во мне любовь к истине, юже вселил еси в душу мою.*

Но как апостол глаголет: *исповедуйте убо друг другу согрешения,* разумеется ваши, а не чужие, то я почитаю за долг не открывать имени тех, кои были орудием греха и порока моего, ниже имен тех, кои приводили меня в развращение; напротив того, со слезами

благодарности воспомяну имена тех, кои мне благодетельствовали, кои сохранили ко мне долговременное дружество, кои имели в болезнь мою обо мне сострадание и кои, наконец, наставлением и советом своим совращали меня с пути грешнича и ставили на путь праведен.

Не утаивая ничего из содеянного мною зла, скажу без прибавки и все то, что сделал я, следуя гласу совести. И если между множеством согрешений случилось мне в жизни сотворить нечто благое, то признаю и исповедую, что сие не от меня происходило, но от самого бога, вся благая нам дарующего: тому единому восписую благие дела мои, ему единому за них благодарю и его молю, да мя в сем благом утвердит до конца жизни.

Сие испытание моей совести разделю я на четыре книги. Первая содержать будет мое младенчество, вторая юношество, третья совершенный возраст и четвертая приближающуюся старость.

Прежде нежели начну я мое повествование, необходимо надобно описать свойства тех моих ближних, к коим я в течение жизни моей имел более отношения. Да не причтется мне в пристрастие, ежели я, говоря правду, скажу нечто похвальное о ближних моих, ибо я в справедливости моей ссылаюсь на тех, кои их знали.

Отец мой был человек большого здравого рассудка, но не имел случая, по тогдашнему образу воспитания, просветить себя учением. По крайней мере читал он все русские книги, из коих любил отменно древнюю и римскую историю, мнения Цицероновы и прочие хорошие переводы нравоучительных книг. Он был человек добродетельный и истинный христианин, любил правду и так не терпел лжи, что всегда краснел, когда кто лгать при нем не устыжался. В передних тогдашних знатных вельмож никто его не видывал, но он не пропускал ни одного праздника, чтоб не быть с почтением у своих начальников. Ненавидел лихоимства и, быв в таких местах, где люди наживаются, никаких никогда подарков не принимал. «Государь мой! — говаривал он приносителю. — Сахарная голова не есть резон для обвинения вашего соперника: извольте ее отнести назад,

а принесите законное доказательство вашего права». После сего более уже не разговаривал с приносителем.

Отец мой жил с лишком восемьдесят лет. Причиною сему было воздержное христианское житие. Он горячих напитков не пил, пищу употреблял здоровую, но не объедался. Был женат дважды и во время супружества своего никакой другой женщины, кроме жен своих, не знал. За картами ни одной ночи не просиживал, и, словом, никакой страсти, возмущающей человеческое спокойствие, он не чувствовал. О, если бы дети его были ему подобны в тех качествах, кои составляли главные души его свойства и кои в нынешнем обращении света едва ли сохранить можно!

Отец мой был характера весьма вспыльчивого, но не злопамятного; с людьми своими обходился с кротостию, но, невзирая на сие, в доме нашем дурных людей не было. Сие доказывает, что побои не есть средство к исправлению людей. Невзирая на свою вспыльчивость, я не слыхал, чтоб он с кем-нибудь поссорился; а вызов на дуэль считал он делом противу совести. «Мы живем под законами, — говаривал он, — и стыдно, имея таковых священных защитников, каковы законы, разбираться самим на кулаках. Ибо шпаги и кулаки суть одно. И вызов на дуэль есть не что иное, как действие буйственной молодости». Наконец, должен я сказать к чести отца моего, что он, имея не более пятисот душ, живучи в обществе с хорошими дворянами, воспитывая восьмерых детей, умел жить и умереть без долга. Сие искусство в нынешнем обращении света едва ли кому известно. По крайней мере нам, детям его, кажется непостижимо. Но ничто не доказывает так великодушного чувствования отца моего, как поступок его с родным братом его. Сей последний вошел в долги, по состоянию своему неоплатные. Не было уже никакой надежды к извлечению его из погибели. Отец мой был тогда в цветущей своей юности. Одна вдова, старуха близ семидесяти лет, влюбилася в него и обещала, ежели на ней женится, искупить имением своим брата его. Отец мой, по единому подвигу братской любви, не поколебался жертвовать ему собою: женился на той старухе, будучи сам осьмнадцати лет. Она жила с ним

еще двенадцать лет. И отец мой старался об успокоении ее старости, как должно христианину. Надлежит признаться, что в наш век не встречаются уже такие примеры братолюбия, чтоб молодой человек пожертвовал собою, как отец мой, благосостоянию своего брата. Вторая супруга отца моего, а моя мать, имела разум тонкий и душевными очами видела далеко. Сердце ее было сострадательно и никакой злобы в себе не вмещало: жена была добродетельная, мать чадолюбивая, хозяйка благоразумная и госпожа великодушная. Можно сказать, что дом моих родителей был тот, от которого за добродетели их благодать божия никогда не отнималась. В сем доме проведено было мое младенчество, которого подробности в следующей книге читатель найдет.

КНИГА ПЕРВАЯ

Господи! даждь ми помысл
исповедания грехов моих.

Не естественно человеку помнить первое свое младенчество. Я никак не знаю себя до шести лет возраста. Но без сомнения имел и я в себе то зло, которое у других младенцев видать случается, то есть: злобу, нетерпение, любостяжание и притворство, — словом, начатки почти всех пороков, кои уже окореняются и возрастают от воспитания и от примеров. Не знаю, для чего отнимали меня от кормилицы уже поздно. На третьем году случилось со мною сие лишение, которое, как сказывал мне сам отец мой, переносил я с ужасным нетерпением и тоскою. Однажды он, подошед ко мне, спросил меня: «Грустно тебе, друг мой?» — «А так-то грустно, батюшка, — отвечал я ему, затрепетав от злобы, — что я и тебя и себя теперь же вдавил бы в землю». Сие сильное выражение скорби показывало уже, что я чувствовал сильнее обыкновенного младенца. В четыре года начали учить меня грамоте, так что я не помню себя безграмотного.

Теперь пришло мне на мысль обстоятельство, случившееся во время моего младенчества, о котором я никогда никому не сказывал и которое здесь упомяну

для того, что можно из него вывести некоторое правило, полезное для детского воспитания. Родителей моих нередко посещала родная сестра отца моего, женщина кроткая, и нас, племянников своих, любила искренно. Она часто езжала в дом одного славного тогдашнего карточного игрока и всегда от него привозила к нам несколько игор карт, коими нас дарила. Я не могу изъяснить, сколько я пристрастился к картам с красными задками и бывал вне себя от радости, когда такие карты мне доставались; но сие случалось редко. Сколько хитростей, обманов и лукавства употреблял мой младенческий умишка, чтоб на делу доставались мне карты с красными задками! Но как хитрости мои редко удавались, то пришел я в уныние и для получения желаемого решился испытать другой способ и чистосердечно открыться самой тетушке о моей печали; но признаюсь, что и тут употребил я некоторую хитрость, а именно: нашедшись с ней наедине, составил я лицо такое печальное и такое простодушное, что тетушка спросила меня сама: «О чем ты тужишь, друг мой?» На сей вопрос признался я в пристрастии моем и, повинясь, что я их всех обманывал, просил, чтоб вперед на делу доставались мне любимые карты. «Ты хорошо сделал, друг мой, что мне искренно открылся, — сказала она, — я для тебя привозить буду всегда особливо игру с красными задками, кои в дележ входить не будут». Я в восторг пришел от сего отзыва и тогда ж почувствовал, что идти прямою дорогою выгоднее, нежели лукавыми стезями. Но должно признаться, что в течение жизни я не всегда держался сего правила, ибо случалися со мною такие обстоятельства, в которых должен был я или погибать, или приняться за лукавство; не скрою, однако ж, и того, что во время младенчества моего, имея отца благоразумного и справедливого, удавалось мне получать желаемое чаще, следуя чистосердечию, нежели прибегая к лукавству. И я почти внутренно уверен, что воспитатели, ободряя младенцев избирать во всем прямой путь, предуспеют тем гораздо лучше вкоренить в них привязанность к истине и приучить к чистосердечию, нежели оставляя без примечания малейшие их деяния, в коих душевные их

свойства обнаруживаться могут. Поистине, не могу я словами изъяснить, сколь сильны пристрастия и самого младенчества. Я могу сказать, что на картах с красными задками голова моя повернулась. Получение их составляло некоторым образом мое блаженство. И в самом Риме едва ли делали мне такое удовольствие арабески Рафаэлевы, как тогда карты с красными задками. По крайней мере, смотря на первое, не чувствовал я того наслаждения, какое ощущал от любимых моих карт, будучи младенцем.

Чувствительность моя была беспримерна. Однажды отец мой, собрав всех своих младенцев, стал рассказывать нам историю Иосифа Прекрасного. В рассказывании его не было никакого украшения; но как повесть сама собою есть весьма трогательная, то весьма скоро навернулись слезы на глаза мои; потом начал я рыдать неутешно. Иосиф, проданный своими братьями, растерзал мое сердце, и я, не могши остановить рыдания моего, оробел, думая, что слезы мои почтены будут знаком моей глупости. Отец мой спросил меня, о чем я так рыдаю. «У меня разболелся зуб», — отвечал я. Итак, отвели меня в мою комнату и начали лечить здоровый мой зуб. «Батюшка, — говорил я, — я всклепал на себя зубную болезнь; а плакал я оттого, что мне жаль стало бедного Иосифа». Отец мой похвалил мою чувствительность и хотел знать, для чего я тотчас не сказал ему правду. «Я постыдился, — отвечал я, — да и побоялся, чтобы вы не перестали рассказывать истории». — «Я ее, конечно, доскажу тебе», — говорил отец мой. И действительно, чрез несколько дней он сдержал свое слово и видел новый опыт моей чувствительности.

Странно, что сия повесть, тронувшая столько мое младенчество, послужила мне самому к извлечению слез у людей чувствительных. Ибо я знаю многих, кои, читая «Иосифа», мною переведенного, проливали слезы.

Не утаю и того, что приезжавший из Дмитриевской нашей деревни мужик Федор Суратов сказывал нам сказки и так настращал меня мертвецами и темнотою, что я до сих пор неохотно один остаюсь в потемках. А к мертвецам привык я уже в течение жизни моей, теряя людей, сердцу моему любезных.

Родители мои были люди набожные; но как в младенчестве нашем не будили нас к заутреням, то в каждый церковный праздник отправляемо было в доме всенощное служение, равно как на первой и последней неделях великого поста дома же моление отправлялось. Как скоро я выучился читать, так отец мой у крестов заставлял меня читать. Сему обязан я, если имею в российском языке некоторое знание. Ибо, читая церковные книги, ознакомился я с славянским языком, без чего российского языка и знать невозможно. Я должен благодарить родителя моего за то, что он весьма примечал мое чтение, и бывало, когда я стану читать бегло: «Перестань молоть, — кричал он мне, — или ты думаешь, что богу приятно твое бормотанье?» Сего не довольно: отец мой, примечая из читанного мною те места, коих, казалось ему, читая, я не разумел, принимал на себя труд изъяснять мне оные; словом, попечения его о моем научении были безмерны. Он, не в состоянии будучи нанимать для меня учителей для иностранных языков, не мешкал, можно сказать, ни суток отдачею меня и брата моего в университет, как скоро он учрежден стал.

Остается мне теперь сказать об образе нашего университетского учения; но самая справедливость велит мне предварительно признаться, что нынешний университет уже не тот, какой при мне был. Учители и ученики совсем ныне других свойств, и сколько тогдашнее положение сего училища подвергалось осуждению, столь нынешнее похвалы заслуживает. Я скажу в пример бывший наш экзамен в нижнем латинском классе. Накануне экзамена делалося приготовление; вот в чем оно состояло: учитель наш пришел в кафтане, на коем было пять пуговиц, а на камзоле четыре; удивленный сею странностию, спросил я учителя о причине. «Пуговицы мои вам кажутся смешны, — говорил он, — но они суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтане значат пять склонений, а на камзоле четыре спряжения; итак, — продолжал он, ударя по столу рукою, — извольте слушать все, что говорить стану. Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь; если за вторую, то смело отвечайте: второго

склонения. С спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете». Вот каков был экзамен наш! О вы, родители, восхищающиеся часто чтением газет, видя в них имена детей ваших, получивших за прилежность свою прейсы,[1] послушайте, за что я медаль получил. Тогдашний наш инспектор покровительствовал одного немца, который принят был учителем географии. Учеников у него было только трое. Но как учитель наш был тупее прежнего, латинского, то пришел на экзамен с полным партищем пуговиц, и мы, следственно, экзаменованы были без всякого приготовления. Товарищ мой спрошен был: куда течет Волга? *В Черное море,* — отвечал он; спросили о том же другого моего товарища; *в Белое,* — отвечал тот; сей же самый вопрос сделан был мне; *не знаю,* — сказал я с таким видом простодушия, что экзаменаторы единогласно мне медаль присудили. Я, конечно, сказать правду, заслужил бы ее из класса практического правоучения, но отнюдь не из географического.

Как бы то ни было, я должен с благодарностию воспоминать университет. Ибо в нем, обучась по-латыни, положил основание некоторым моим знаниям. В нем научился я довольно немецкому языку, а паче всего в нем получил я вкус к словесным наукам.

Склонность моя к писанию являлась еще в младенчестве, и я, упражняясь в переводах на российский язык, достиг до юношеского возраста. Глас совести велит мне сказать, что до сего дня *от юности моея мнози борят мя страсти.*

А какие они были, то возвестит книга вторая.

КНИГА ВТОРАЯ

Господи! отврати лице
твое от грех моих.

В университете был тогда книгопродавец, который услышал от моих учителей, что я способен переводить книги. Сей книгопродавец предложил мне переводить Голберговы басни; за труды обещал чужестранных

[1] Награды *(нем.).*

книг на пятьдесят рублей. Сие подало мне надежду иметь со временем нужные книги за одни мои труды. Книгопродавец сдержал слово и книги на условленные деньги мне отдал. Но какие книги! Он, видя меня в летах бурных страстей, отобрал для меня целое собрание книг соблазнительных, украшенных скверными эстампами, кои развратили мое воображение и возмутили душу мою. И кто знает, не от сего ли времени началась скапливаться та болезнь, которою я столько лет стражду? О вы, коих звание обязывает надзирать над поведением молодых людей, не допускайте развращаться их воображению, если не хотите их погибели! Узнав в теории все то, что мне знать было еще рано, искал я жадно случая теоретические мои знания привесть в практику. К сему показалась мне годною одна девушка, о которой можно сказать: толста, толста! проста, проста! Она имела мать, которую ближние и дальние, — словом, целая Москва признала и огласила набитою дурою. Я привязался к ней, и сей привязанности была причиною одна разность полов: ибо в другое влюбиться было не во что. Умом была она в матушку; я начал к ней ездить, казал ей книги мои, изъяснял эстампы, и она в теории получила равное со мною просвещение. Желал бы я преподавать ей и физические эксперименты, но не было удобности: ибо двери в доме матушки ее, будучи сделаны национальными художниками, ни одна не только не затворялась, но и не притворялась. Я пользовался маленькими вольностями, но как она мне уже надоела, то часто вызывали мы к нам матушку ее от скуки для поговорки, которая, признаю грех мой, послужила мне подлинником к сочинению Бригадиршиной роли; по крайней мере из всего моего приключения родилась роль Бригадирши. Все сие повествование доказывает, что я тогда не имел истинного понятия ни о тяжести греха, ни об истинной чести, ни о добром поведении. Заводя порочную связь, не представлял я себе никаких следствий беззаконного моего начинания; но признаюсь, что и тогда совесть моя говорила мне, что делаю дурно. Остеречь меня было некому, и вступление мое в юношеский возраст было, так сказать, вступление в пороки.

Теперь настало время сказать нечто о моем характере и познакомить читателя с умом моим и сердцем. Я наследовал от отца моего как вспыльчивость, так и непамятозлобие; от матери моей головную боль, которою она во всю жизнь страдала и которая, промучив меня все время моего младенчества, юношества и большую часть совершенных лет, лишила меня многих способов к счастию; например, в университете пропускал я многие важные лекции за головною болью; в юношестве головная боль мешала мне часто показать мою исправность в отправлении службы, чрез что и заслужил я от одного начальника имя ленивца. Но со всем тем признаюсь, что головная боль послужила мне и к доброму, а именно не допустила меня сделаться пьяницею, к чему имел я великий случай и склонность. Природа дала мне ум острый, но не дала мне здравого рассудка. Весьма рано появилась во мне склонность к сатире. Острые слова мои носились по Москве; а как они были для многих язвительны, то обиженные оглашали меня злым и опасным мальчишкою; все же те, коих острые слова мои лишь только забавляли, прославили меня любезным и в обществе приятным. Видя, что везде принимают меня за умного человека, заботился я мало о том, что разум мой похваляется на счет сердца, и я прежде нажил неприятелей, нежели друзей. Молодые люди! не думайте, чтоб острые слова ваши составили вашу истинную славу; остановите дерзость ума вашего и знайте, что похвала, вам приписываемая, есть для вас сущая отрава; а особливо, если чувствуете склонность к сатире, укрощайте ее всеми силами вашими: ибо и вы, без сомнения, подвержены будете одинакой судьбе со мною. Меня стали скоро бояться, потом ненавидеть; и я, вместо того чтоб привлечь к себе людей, отгонял их от себя и словами и пером. Сочинения мои были острые ругательства: много было в них сатирической соли, но рассудка, так сказать, ни капли.

Сердце мое, не похвалясь скажу, предоброе. Я ничего так не боялся, как сделать кому-нибудь несправедливость, и для того ни перед кем так не трусил, как перед теми, кои от меня зависели и кои отмстить мне

были не в состоянии. Я, может быть, истребил бы и склонность мою к сатире, если б один из соучеников моих, упражнявшийся в стихах, мне в том не воспрепятствовал. Я прослыл великим критиком, и мой соученик весьма боялся, чтобы я не стал смеяться стихам его; а дабы вернее иметь меня на своей стороне, то стал он хвалить мои стихи; каждая строка его восхищала; но как тогда рассудок во мне не действовал, то я со всею моею остротою не мог проникнуть, для чего он так меня хвалил, и думал, что я похвалу его заслуживал. Так-то вертят головы молодым писателям!

Сей мой соученик был знаком со мною, достигши уже и в совершенный возраст. Он был честный человек, благородных качеств. Заблуждение его состояло в том, что будто не льстя не можно быть учтиву. Он умер с тем, что я родился быть великим писателем; а я с тем жить остался, что ему в этом не верил и не верю.

В бытность мою в университете учились мы весьма беспорядочно. Ибо, с одной стороны, причиною тому была ребяческая леность, а с другой — нерадение и пьянство учителей. Арифметический наш учитель пил смертную чашу; латинского языка учитель был пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков, но голову имел преострую и как латинский, так и российский язык знал очень хорошо.

В сие время тогдашний наш директор[1] вздумал ехать в Петербург и везти с собою несколько учеников для показания основателю университета[2] плодов сего училища. Я не знаю, каким образом попал я и брат мой в сие число избранных учеников. Директор с своею супругою и человек десять нас, малолетных, отправились в Петербург зимою. Сие путешествие было для меня первое и, следственно, трудное, так, как и для всех моих товарищей; но благодарность обязывает меня к признанию, что тягость нашу облегчало весьма милостивое внимание начальника. Он и супруга его

[1] И. И. Мелиссино.
[2] И. И. Шувалов.

имели смотрение за нами, как за детьми своими; и мы с братом, приехав в Петербург, стали в доме родного дяди нашего. Он имеет характер весьма кроткий, и можно с достоверностию сказать, что во всю жизнь свою с намерением никого не только делом, ниже словом не обидел.

Чрез несколько дней директор представил нас куратору.[1] Сей добродетельный муж, которого заслуг Россия позабыть не должна, принял нас весьма милостиво и, взяв меня за руку, подвел к человеку, которого вид обратил на себя почтительное мое внимание. То был бессмертный Ломоносов! Он спросил меня: чему я учился? «По-латыни», — отвечал я. Тут начал он говорить о пользе латинского языка с великим, правду сказать, красноречием. После обеда в тот же день были мы во дворце на куртаге; но государыня не выходила. Признаюсь искренно, что я удивлен был великолепием двора нашей императрицы. Везде сияющее золото, собрание людей в голубых и красных лентах, множество дам прекрасных, наконец огромная музыка — все сие поражало зрение и слух мой, и дворец казался мне жилищем существа выше смертного. Сему так и быть надлежало: ибо тогда был я не старее четырнадцати лет, ничего еще не видывал, все казалось мне ново и прелестно. Приехав домой, спрашивал я у дядюшки: часто ли бывают у двора куртаги? «Почти всякое воскресенье», — отвечал он. И я решился продлить пребывание мое в Петербурге сколько можно долее, дабы чаще видеть двор. Но сие желание было действие любопытства и насыщения чувств. Мне хотелось чаще видеть великолепие двора и слышать приятную музыку; но скоро сие желание исчезло. Доброе сердце мое тосковать стало о моих родителях, которых захотелось мне видеть нетерпеливо: день получения от них писем был для меня приятнейший, и я сам по нескольку раз заезжал на почту за письмами.

Но ничто в Петербурге так меня не восхищало, как театр, который я увидел в первый раз отроду. Играли

[1] И. И. Шувалов.

русскую комедию, как теперь помню, «Генрих и Пернилла». Тут видел я Шумского, который шутками своими так меня смешил, что я, потеряв благопристойность, хохотал изо всей силы. Действия, произведенного во мне театром, почти описать невозможно: комедию, виденную мною, довольно глупую, считал я произведением величайшего разума, а актеров — великими людьми, коих знакомство, думал я, составило бы мое благополучие. Я с ума было сошел от радости, узнав, что сии комедиянты вхожи в дом дядюшки моего, у которого я жил. И действительно, чрез некоторое время познакомился я тут с покойным Федором Григорьевичем Волковым, мужем глубокого разума, наполненного достоинствами, который имел большие знания и мог бы быть человеком государственным. Тут познакомился я с славным нашим актером Иваном Афанасьевичем Дмитревским, человеком честным, умным, знающим и с которым дружба моя до сих пор продолжается. Стоя в партерах, свел я знакомство с сыном одного знатного господина, которому физиономия моя понравилась; но как скоро спросил он меня, знаю ли я по-французски, и услышал от меня, что не знаю, то он вдруг переменился и ко мне похолодел: он счел меня невеждою и худо воспитанным, начал надо мною шпынять; а я, приметя из оборота речей его, что он, кроме французского, коим говорил также плохо, не смыслит более ничего, стал отъедаться и моими эпиграммами загонял его так, что он унялся от насмешки и стал звать меня в гости; я отвечал учтиво, и мы разошлись приятельски. Но тут узнал я, сколько нужен молодому человеку французский язык, и для того твердо предпринял и начал учиться оному, а между тем, продолжал латинский, на коем слушал логику у профессора Шадена, бывшего тогда ректором. Сей ученый муж имеет отменное дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что успехи наши были очевидны и мы с братом скоро потом произведены были в студенты. В самое же сие время не оставлял я упражняться в переводах на российский язык с немецкого: перевел «Сифа, царя египетского», но не весьма удачно. Знание мое

в латинском языке пособило мне весьма к обучению французского. Через два года я мог разуметь Волтера и начал переводить стихами его «Альзиру». Сей перевод есть не что иное, как грех юности моея, но со всем тем встречаются и в нем хорошие стихи.

В 1762 году был уже я сержант гвардии; но как желание мое было гораздо более учиться, нежели ходить в караулы на съезжую, то уклонялся я сколько мог от действительной службы. По счастию моему, двор прибыл в Москву, и тогдашний вице-канцлер [1] взял меня в иностранную коллегию переводчиком капитан-поручичья чина, чем я был доволен. А как переводил я хорошо, то покойный тогдашний канцлер [2] важнейшие бумаги отдавал именно для перевода мне. В тот же год послан я был с екатерининскою лентою к покойной герцогине Мекленбург-Шверинской. Мне велено было заехать в Гамбург, откуда министр наш повез меня сам в Шверин. Тогда был я еще сущий ребенок и почти не имел понятия о светском обращении; но как я читал уже довольно и имел природную остроту, то у шверинского двора не показался я невеждою. И, впрочем, поведением своим приобрел я благоволение герцогини и одобрение публики. Возвратясь в Россию с рекомендациею нашего министра о моем поведении, имел я счастие быть весьма хорошо принятым моими начальниками; а между тем, перевод мой «Альзиры» стал делать много шума, и я сам начал иметь некоторое мнение о моем даровании; но признаюсь, что, будучи недоволен переводом, не отдал его ни на театр, ни в печать.

В 1763 году ездил я в Петербург; но в иностранной коллегии остался недолго. Один кабинет-министр [3] имел надобность взять кого-нибудь из коллегии; а как по «Альзире» моей замечен был я с хорошей стороны, то именным указом велено мне было быть при том кабинет-министре. Я ему представился и был принят

---

[1] А. М. Голицын.
[2] М. И. Воронцов.
[3] И. П. Елагин.

от него тем милостивее, что сам он, прославясь своим витийством на русском языке, покровительствовал молодых писателей. Я могу похвалиться, что сей новый мой начальник обходился со мною, как надобно с дворянином; но в доме его повсечасно был человек, давно ему знакомый и носивший его полную доверенность.[1] Сей человек, имеющий, впрочем, разум, был беспримерного высокомерия и нравом тяжел пренесносно. Он упражнялся в сочинениях на русском языке; физиономия ли моя или не весьма скромный мой отзыв о его пере причиною стали его ко мне ненависти. Могу сказать, что в доме самого честного и снисходительного начальника вел я жизнь самую неприятнейшую от действия ненависти его любимца. Я был бы нечувствительный человек, если б не вспоминал с благодарностию, что сей начальник, узнавая меня короче, стал более любить меня, может быть примечая доброту моего сердца или за открывающиеся во мне некоторые дарования, кои стали делать ему приятным мое общество. Покровительство его никогда от меня не отнималось. Я уверен, что сохраню его во всю жизнь мою.

В то же самое время вступил я в тесную дружбу с одним князем, молодым писателем,[2] и вошел в общество, о коем я доныне без ужаса вспомнить не могу. Ибо лучшее препровождение времени состояло в богохулии и кощунстве. В первом не принимал я никакого участия и содрогался, слыша ругательство безбожников; а в кощунстве играл я и сам не последнюю роль, ибо всего легче шутить над святыней и обращать в смех то, что должно быть почтенно. В сие время сочинил я послание к Шумилову, в коем некоторые стихи являют тогдашнее мое заблуждение, так что от сего сочинения у многих прослыл я безбожником. Но, господи! тебе известно сердце мое; ты знаешь, что оно всегда благоговейно тебя почитало и что сие сочинение было действие не безверия, но безрассудной остроты моей.

---

[1] В. И. Лукин.
[2] Ф. А. Козловский.

Тогда сделал я «Бригадира», скоро потом перевел «Иосифа» и все сие окончил в Москве, в которой познакомился я с одним полковником, человеком честным, но легкомысленным, имеющим жену препочтенную; но как она любила мужа своего смертно, а он разорялся на одну девку, то жизнь жены его была самая несчастная. Однажды я, проводя у них вечер, нашел тут сестру ее родную, женщину, пленяющего разума, которая достоинствами своими тронула сердце мое и вселила в него совершенное к себе почтение. Я познакомился с нею и скоро узнал, что почтение мое превратилось в нелицемерную к ней привязанность. Я не смел ей открыться, ибо она была замужем и не подавала мне ни малейшего повода к объяснению, напротив того, всегда меня убегала. И хотя я примечал, что шутки мои, чтение моих сочинений и вообще я ей не не нравился, однако важный ее вид держал меня в почтении к ней. Скоро потом полковник с женою и с нею поехали в подмосковную и меня пригласили, а особливо она уговаривала меня с ними ехать, и мы на несколько дней переселились в деревню. Тут проживши с неделю, так я в нее влюбился, что никогда оставить ее не мог, и с тех пор во все течение моей жизни по сей час сердце мое всегда было занято ею. Ибо страсть моя основана на почтении и не зависела от разности полов. Здесь должен я сказать, что частое мое посещение полковника возбудило внимание публики. Клеветники приписали оное на счет жены его; но я долгом чести и совести поставляю признаться, что сей слух был сущая клевета, ибо ни я к ней, ни она ко мне, кроме нелицемерного дружества, другого чувства никакого не имели. Из деревни возвратясь в Москву, стал я собираться в Петербург, а сестра полковницы к мужу, стоявшему с полком недалече от Москвы. Накануне моего отъезда, увидясь с нею наедине, открылся я ей в страсти моей искренно. «Ты едешь, — отвечала она мне, — и, бог знает, увидимся ли мы еще; я на тебя самого ссылаюсь, как я тебя убегала и как старалась скрыть от тебя истинное состояние сердца моего; но разлучение с тобою и неизвестность свидания, а паче всего сильная

страсть моя к тебе не позволяет мне долее притворяться: я люблю тебя и вечно любить буду». Я так почитал сию женщину, что признанием ее не смел и помыслить воспользоваться; но, условясь с нею о нашей переписке, простился, оставя ее в прегорьких слезах.

Я приехал в Петербург и привез с собою «Бригадира» и «Иосифа». Надобно приметить, что я обе сии книги читал мастерски. Чтение мое заслужило внимание покойного Александра Ильича Бибикова и графа Григорья Григорьевича Орлова, который не преминул донести о том государыне. В самый Петров день граф прислал ко мне спросить, еду ли я Петергоф, и если еду, то взял бы с собою мою комедию «Бригадира». Я отвечал, что исполню его повеление. В Петергофе на бале граф, подошед ко мне, сказал: «Ее величество приказала после балу вам быть к себе, и вы с комедиею извольте идти в Эрмитаж». И действительно, я нашел ее величество, готовую слушать мое чтение. Никогда не быв столь близко государя, признаюсь, что я начал было несколько робеть, но взор российской благотворительницы и глас ее, идущий к сердцу, ободрил меня; несколько слов, произнесенных монаршими устами, привели меня в состояние читать мою комедию пред нею с обыкновенным моим искусством. Во время же чтения похвалы ее давали мне новую смелость, так что после чтения был я завлечен к некоторым шуткам и потом, облобызав ее десницу, вышел, имея от нее всемилостивейшее приветствие за мое чтение.

Дни через три положил я из Петергофа возвратиться в город, а между тем, встретился в саду с графом Никитою Ивановичем Паниным, которому я никогда представлен не был; но он сам, остановив меня: «Слуга покорный, — сказал мне, — поздравляю вас с успехом комедии вашей; я вас уверяю, что ныне во всем Петергофе ни о чем другом не говорят, как о комедии и о чтении вашем. Долго ли вы здесь останетесь?» — спросил он меня. «Через несколько часов еду в город», — отвечал я. «А мы завтра, — сказал граф. —

Я еще хочу, сударь, — продолжал он, — попросить вас: его высочество желает весьма слышать чтение ваше, и для того по приезде нашем в город не умедлите ко мне явиться с вашею комедиею, а я представлю вас великому князю, и вы можете прочитать ее нам». — «Я не премину исполнить повеление ваше, — отвечал я, — и почту за верх счастия моего иметь моими слушателями его императорское высочество и ваше сиятельство». — «Государыня похваляет сочинение ваше, и все вообще очень довольны», — говорил граф. «Но я тогда только совершенно доволен буду, когда ваше сиятельство удостоите меня своим покровительством», — ответствовал я. «Мне будет очень приятно, — сказал он, — если могу быть вам в чем полезен». Сие слово произнес он с таким видом чистосердечия и честности, что сердце мое с сей минуты к нему привержено стало и как будто предчувствовало, что он будет мне первый и истинный благодетель.

По возвращении моем в город узнал я на другой день, что его высочество возвратился. Я немедленно пошел во дворец к графу Никите Ивановичу. Мне сказали, что он в антресолях; я просил, чтобы ему обо мне доложили. В ту минуту позван был я к графу; он принял меня очень милостиво. «Я тотчас оденусь, — сказал он мне, — а ты посиди со мною». Я приметил, что он в разговорах своих со мною старался узнать не только то, какие я имею знания, но и какие мои моральные правила. Одевшись, повел меня к великому князю и представил ему меня как молодого человека отличных качеств и редких дарований. Его высочество изъявил мне в весьма милостивых выражениях, сколько желает он слышать мою комедию. «Да вот после обеда, — сказал граф, — ваше высочество, ее услышите». Потом, подошед ко мне: «Вы, — сказал, — извольте остаться при столе его высочества». Как скоро стол отошел, то после кофе посадили меня, и его высочество с графом и с некоторыми двора своего сели около меня. Чрез несколько минут тоном чтения моего произвел я во всех слушателях прегромкое хохотанье. Паче всего внимание графа Никиты Ивановича возбудила Бригадирша. «Я вижу, — сказал он мне, — что вы очень хорошо нравы

ваши знаете, ибо Бригадирша ваша всем родня; никто сказать не может, что такую же Акулину Тимофеевну не имеет или бабушку, или тетушку, или какую-нибудь свойственницу». По окончании чтения Никита Иванович делал свое рассуждение на мою комедию. «Это в наших нравах первая комедия, — говорил он, — и я удивляюсь вашему искусству, как вы, заставя говорить такую дурищу во все пять актов, сделали, однако, роль ее столько интересною, что все хочется ее слушать; я не удивляюсь, если сия комедия столь много имеет успеха; советую вам не оставлять вашего дарования». — «Ваше сиятельство, — говорил я, — для меня ничего лестнее быть не может, как такое одобрение ваше». Его высочеству, с своей стороны, угодно было сказать мне за мое чтение многие весьма лестные приветствия. А граф, когда вошли мы в другую комнату, сказал: «Вы можете ходить к его высочеству и при столе оставаться, когда только хотите». Я благодарил за сию милость. «Одолжи же меня, — сказал граф, — и принеси свою комедию завтра ввечеру ко мне. У меня будет мое общество, и мне хочется, чтобы вы ее прочли». Я с радостию обещал сие графу, и на другой день ввечеру чтение мое имело тот же успех, как и при его высочестве.

Я забыл сказать, что имел дар принимать на себя лицо и говорить голосом весьма многих людей. Тогда передражнивал я покойного Сумарокова, могу сказать, мастерски и говорил не только его голосом, но и умом, так что он бы сам не мог сказать другого, как то, что́ я говорил его голосом; словом сказать, вечер провели очень весело, и граф мною был чрезмерно доволен.

Первое воскресенье пошел я к его высочеству и там должен был повторить то, что я делал у графа ввечеру. Дарование мое понравилось всем, и граф обошелся со мною отменно милостиво.

В сей день представлен был я графом брату его, графу Петру Ивановичу, который звал меня на другой день обедать и читать комедию. «И я у тебя обедаю, — сказал граф брату своему, — я не хочу пропустить случая слушать его чтение. Редкий талант! У него,

братец, в комедии есть одна Акулина Тимофеевна: когда он роль ее читает, тогда я самое ее и вижу и слышу».

Чтение мое у графа Петра Ивановича имело успех обыкновенный. Покойный граф Захар Григорьевич[1] был тут моим слушателем. «А завтра, — сказал он мне, — милости прошу откушать у меня и прочесть комедию вашу». Потом пригласил он обоих графов. Граф Иван Григорьевич Чернышов сделал мне ту же честь, и я вседневно зван был обедать и читать. Равное же внимание ко мне показали: граф Александр Сергеевич Строганов, который всю жизнь свою посвятил единой добродетели, граф Андрей Петрович Шувалов, покойные: графиня Мария Андреевна Румянцева, графиня Катерина Борисовна Бутурлина и графиня Анна Карловна Воронцова. И я, объездя звавших меня, с неделю отдыхал; а между тем, приехал ко мне тот князь, с коим я имел неприятное общество. Он рассказывал мне, что весь Петербург наполнен моею комедиею, из которой многие острые слова употребляются уже в беседах. «Мне поручил, — сказал князь, — звать тебя обедать граф ***. Поедем к нему завтра». Сей граф был человек знатный по чинам, почитаемый умным человеком, но погрязший в сладострастии. Он был уже старых лет и все дозволял себе, потому что ничему не верил. Сей старый грешник отвергал даже бытие вышнего существа. Я поехал к нему с князем, надеясь найти в нем по крайней мере рассуждающего человека; но поведение его иное мне показало. Ему вздумалось за обедом открыть свой образ мыслей, или, лучше сказать, свое безбожие, при молодых людях, за столом бывших, и при слугах. Рассуждения его были софистические и безумие явное, но со всем тем поколебали душу мою. После обеда поехал я с князем домой. «Что, — спросил он меня, — нравится ли тебе это общество?» — «Прошу меня от него уволить, — отвечал я, — ибо не хочу слышать таких умствований, кои не просвещают, но помрачают человека». Тут казалось мне, что пришло в мою голову наитие здравого рассудка. Я в карете рассуж-

---

[1] З. Г. Чернышов.

дал о безумии неверия очень справедливо и объяснялся весьма выразительно, так что князь ничего отвечать мне не мог.

Скоро двор переехал в Царское Село; а как тот кабинет-министр, при коем я находился, должен был, по званию своему, следовать за двором, то взял и меня в Царское Село. Я, терзаем будучи мыслями, поселенными в меня безбожническою беседою, хотел досужное время в Царском Селе употребить на дело мне полезнейшее, а именно: подумав хорошенько и призвав бога в помощь, хотел определить систему мою в рассуждении веры. С сего времени считаю я вступление мое в совершенный возраст, ибо начал чувствовать действие здравого рассудка. Сие время жизни моей содержит в себе

КНИГА ТРЕТЬЯ

Господи! всем сердцем
моим испытую заповеди твоя.

Итак, отправился я с начальником моим в Царское Село, в твердом намерении упражняться в богомыслии; а чтоб было мне из чего почерпнуть правила веры, то взял я с собою русскую библию; для удобнейшего же понимания взял ту же книгу на французском и немецком языках.

Приехав в Царское Село, обрадовался я, нашед отведенную для меня комнату особливую, в которой ничто упражнениям моим не могло препятствовать. Первое утро открыл я библию, и мне как нарочно встретилось место, которое весьма приличествовало моему намерению, а именно глава VI Второзакония:

«И да будут тебе словеса сия, яже аз заповедаю тебе днесь, в сердце твоем и в душе твоей; и да накажеши ими сыны твоя, и да глаголеши о них седяй в дому, и идый путем, и лежа, и восстая» (ст. 7).

Сие встретившееся мне толь кстати место из священного писания наложило на меня долг всякую досужную минуту посвятить испытанию о вышнем существе. Время было прекрасное, и я положил каждое утро ходить в сад и размышлять. Однажды в саду встретил

я в уединении гуляющего Григорья Николаевича Теплова, с коим я уже познакомился в доме начальника моего. Григорий Николаевич пригласил меня ходить с собою. Он достойно имел славу умного человека. Разум его был учением просвещенный; словом, я с великим удовольствием пошел гулять с ним по саду, и он говорил мне, что желает слышать комедию мою в своем доме, читанную мною. Я обещал сделать ему сию услугу. Он спрашивал меня, кому я ее читал? Я перечел ему всех поименно и не скрыл от него, сколько смущает душу мою посещение графа ***. «Итак, вы хотите определить систему в рассуждении веры вашей, — говорил Григорий Николаевич. — С чего ж вы начинаете?» — «Я начинаю, — отвечал я, — с рассмотрения, какие люди отвергают бытие божие и стоят ли они какой-нибудь доверенности». — «Умное дело делаете, — говорил Григорий Николаевич, — когда стараетесь успокоить совесть свою в толь важном деле, каково есть удостоверение о бытии божеском». — «Ваше превосходительство! — говорил я ему. — Я прошу вас, как умного человека, подать мне наставление, каким способом могу я достигнуть до сего удостоверения». — «Сядем здесь, — сказал он, подведя меня к одной лавке, — мы можем здесь о чем хотим беспрепятственно беседовать». Я намерен сию беседу описать здесь, сколько могу вспомнить.

Я. Я вижу, что безбожники разделяются на несколько классов: одни суть невежды и глупые люди. Они никогда ничего внимательно не рассматривают, а прочитав Волтера и не поняв его, отвергают бытие божие, для того что полагают себе славою почитаться выше всех предрассудков, ибо они считают предрассудком то, чего слабый их рассудок понять не может.

Григорий Николаевич. Сии людишки не не веруют, а желают, чтобы их считали неверующими, ибо вменяют себе в стыд не быть с Волтером одного мнения. Я знаю, что Волтер развратил множество молодых людей в Европе; однако верьте мне, что для развращения юношества нет нужды ни в Волтеровом уме, ни в его дарованиях. Граф, у которого вы обедали,

сделал в России не меньше разврату Волтерова, имев голову довольно ограниченную. Я знаю, что молодого слабенького человека может развратить такой, кто еще ограниченнее графа; пример сему видел я на сих днях моими глазами.

Я. Позвольте спросить, ваше превосходительство, как это было?

Григорий Николаевич. На сих днях случилось мне быть у одного приятеля, где видел я двух гвардии унтер-офицеров. Они имели между собою большое прение: один утверждал, другой отрицал бытие божие. Отрицающий кричал: «Нечего пустяки молоть; а бога нет!» Я вступился и спросил его: «Да кто тебе сказывал, что бога нет?» — «Петр Петрович Чебышев вчера на Гостином дворе», — отвечал он. «Нашел и место!» — сказал я.

Я. Странно мне кажется, что Чебышев на старости вздумал на Гостином дворе проповедовать безбожие.

Григорий Николаевич. О, как я вижу, вы его не знаете.

Тут начал он описывать голову́ Чебышева ругательски, или, справедливее сказать, стал его бранить, так что я должен был предполагать у него с Чебышевым личную ненависть, и для того хотелось мне переменить сию материю, а возвратиться на прежнюю.

Я. Есть и еще род безбожников, кои умствуют и думают доказать доводами, что бог не существует. Противу сих последних желал бы я иметь оружие и доказать им их безумие. Я прошу ваше превосходительство подать мне наставление, откуда могу почерпнуть наилучшие доводы о бытии божием.

Григорий Николаевич. Известны ли вам сочинения господина Кларка, который писал противу Гоббезия, Спинозы и их последователей? Кларк восторжествовал над ними: он, логически выводя одну истину из другой, составил, так сказать, неразрывную цепь доказательств бытия божия, и уже ни один безбожник умствованиями своими не вывернется от его убеждений.

Я. Мне неизвестны Кларковы сочинения, но я тотчас сию книгу выпишу из Петербурга.

Григорий Николаевич. А я не сомневаюсь, что вы Кларком будете довольны.

Здесь кончилась наша беседа. Я, пришед домой, тотчас написал в Петербург, чтоб прислали ко мне сочинения Кларка. Между тем, будучи воспитан в христианском законе и находя заповеди Христовы сходственными с моим собственным сердцем, думал я: «Если Кларк доказал бытие божие неоспоримыми доводами, то как бы я был доволен, нашед в его творениях доказанную истину христианского исповедания».

На другой день привезли ко мне книгу под заглавием «Самуэля Кларка доказательства бытия божия и истины христианския веры».

Того-то я и желал! С жадностию бросился я читать сию драгоценную книгу и, прочитав, не доволен был одним разом, но тотчас начал чтение в другой раз. Как скоро я мог обнять порядок и способ Кларковых доводов, то пошел благодарить Григорья Николаевича. «Я знал, — говорил он мне, — что вы сею книгою будете довольны». — «Я вашему превосходительству откроюсь в моем намерении, — сказал я, — мне хочется перевести ее на русский язык и, издав в свет, сделать некоторую услугу моим соотчичам». — «Намерение ваше похвально, но вы не знаете, с какими неприятностями сопряжено исполнение оного. Вам, без сомнения, известен перевод г. Поповского «Опыта о человеке»?» — спросил меня Гр. Николаевич. «Мне сей перевод очень знаком, — отвечал я, — и я его высоко почитаю». — «Но какие неприятности, какие затруднения встретил бедный переводчик к напечатанию, сказывал мне он же. Попы стали перепpавлять перевод его и множество стихов исковеркали, а дабы читатель не почел их стихов за переводчиковы, то напечатали они их нарочно крупными буквами, как будто бы читатель сам не мог различить стихов поповских от стихов Поповского. Ваш перевод, без сомнения, подвержен будет равной участи. А мне кажется, вместо перевода полезнее будет, если сделаете вы из сочинений Кларковых выписку: вы употребите на нее меньше времени и труда; если же выписка, как я и думаю, хорошо сделана будет, то она принесет равную пользу с перево-

дом, и вам ловчее будет, по востребованию иногда синода, сделать перемену в выписке, нежели в самом переводе». — «Но неужели, — спросил я, — синод делать будет мне нарочно затруднения в намерении толь невинном?» — «Да разве не знаете вы, кто в синоде обер-прокурор?» — «Не знаю», — отвечал я. «Так знайте ж — Петр Петрович Чебышев», — сказал Григорий Николаевич. Как бы то ни было, я последовал совету Григорья Николаевича и сделал выписку из Кларка. Недавно я ее читал и нахожу за нужное поправить нечто в слоге, а в прочем выписка годится. В самом конце моих «Признаний» я ее прилагаю, сердечно желая, чтобы труд мой принес хотя некоторую пользу благомыслящим читателям...

[*Не окончено.*]

ПУБЛИЦИСТИКА

СОКРАЩЕНИЕ О ВОЛЬНОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРЯНСТВА И О ПОЛЬЗЕ ТРЕТЬЕГО ЧИНА

Французское дворянство всегда ль имело вольность? Каким образом пользовалось оно своей вольностию? И что оному в рассуждении сего ныне остается?

Три сии вопроса легко решить можно; но о первом совсем и следовать не надлежит. Возможно ль представить себе не вольное дворянство? Оно и неволя вместе состоять не могут; сии две противные себе в естестве и существенности вещи противоречат друг другу, разрушают друг друга, подобно как здравие и болезнь, жизнь и смерть, существенность и небытие, кои никогда в одной вещи вместе быть не могут.

Французское дворянство не только всегда пользовалось вольностию, но оно было всегда причиною вольности, равно как и самодержавства. Слово *франк,* оттуда происходит имя *француза,* значит *благородного* или *свободного.* В Салическом законе, уставленном *Кловисом,* не упоминается нигде имя *благородного;* но, между тем, учреждение поместьев доказывает, что оное надлежало совсем до дворянства, потому что когда Кловис, предводительствуя римскою армиею, принят был галлами как искусный политик и счастливый победитель, то во всех различных их провинциях были только франки вольные, то есть, с одной стороны, благородные, а с другой — невольники.

Освобождение сих последних произвело мещанство, третий чин, о котором говорено будет ниже. Слуга был увольняем, а не производим в дворяне; оттого-то произошло сие различие, которое потом всегда было между благородным и разночинцем. Сколь великое почтение должен иметь сей последний к первому, который не только пользовался драгоценным даром вольности, но и мог сообщать оную и, возвращая вольность человеку, приводил его в состояние получать вышние чины, если он их заслуживал.

Таким образом, вольность есть существенность французского дворянства, и как тому быть иначе, когда избирает оно королей своих в своей внутренности? И действительно, бывает то одна фамилия, одна кровь, коей поручает оно самодержавство; но когда из сей славной фамилии никто не остается, когда источник столь драгоценной крови совсем иссохнет, то благородные французы, лишася государя, вступают во все свои права и могут снова избрать преимущественную фамилию из достойнейших между собою, чтоб впредь иметь от нее своих государей и начальников.

Другое доказательство существенной вольности благородных французов есть злоупотребление оной, учиненное ими без наказания во времена, когда их насильственное завладение учредило нечувствительно между ими господства верховноначальные, непосредственные и ни от кого не зависимые, кои, давая всякому вассалов, делали оных малыми государями, подданными действительно королю, их владеющему государю, от которого зависели они разными их поместьями; но, между тем, в состоянии они были ему противиться, также и воевать против него своими вассалами в случае неправосудия с его стороны. Все сии французские господа были действительно обязаны с их стороны присягать королю о верности и также служить во время войны; но сие последнее было только сначала, а потом обязаны они были только во время набега чужестранцев в их государство.

Способ, коим короли наши пресекли злоупотребление вольности благородных французов, есть тому новым доказательством: права их признаны были, хотя

оные и сокращали. Государь исключен был от присяги, которую вассалы давали о учинении помощи против всех неприятелей их непосредственных господ, но чрез то признаны были их поместья. Им даны были перы для решения их споров с их вассалами или между ими, но тем признано было их начальство; им не дозволено было судиться между собою, но они припуждены были иметь судей, и различные их степени ведомства подвергнуты были постепенной апелляции от независимого до беспосредственного, от беспосредственного до верховноначального, а от верховноначального до самодержавного, до господствующего, до короля, до парламента. Сие есть лучшее средство предостерегать, защищать и сохранять ненарушимые права самодержавства; но по оному не больше ли признаются в благородных их поместья и три суда их, вышний, средний и нижний, коими они столько ласкаются и коими они столько ласкаться должны.

Наконец, власть в состоянии была вывести из употребления между благородными все роды партикулярных сражений, как, например, за́мок с за́мком, поместье с поместьем и человек с человеком; но, с другой стороны, на войну идти их не принуждали, разве во время позыва; в прочие же войны, когда они приходили, принимали их с радостию. Не было нужды побуждать их к тому, чего собственное их усердие от них требовало.

Прежде сего во Франции было только дворянство природное; но старание их вступаться за государство и королей своих по собственной своей охоте причинило уроп оного чрезмерной величины. В награждение, сколько возможно, столь великого урона произведены были новые дворяне. Есть еще другое дворянство, которым жаловал государь чрез патенты, надлежащим образом в протокол записанные.

Но есть еще третье, которое называется дворянством, в должности находящимся, то есть кое приобретается тогда, кто в продолжение должности жизнь свою оканчает или продолжает оную за срок предписанный своего титулярства, к чему надлежит дворянство воинское, жалованное в 1750 году от Людовика Любимого храбрым своим воинам.

Сии три класса дворянства составляют один только корпус, над которым начальствуют государственные перы. Сей знатный корпус имеет совершенную волю чинить добродеяние, волен быть сам в себе, в своих имениях и в делах всякого из своих членов: им не дозволено только было разрущать свое общество и поступать худо с своими вассалами. Сверх того, могли они жить в своих деревнях или в столицах, не делая ничего, не служа государству, стараясь только о своей фамилии и о своих увеселениях, с тем чтоб повиновались главным законам, чтоб исполняли все надлежащие до них публичные должности и чтоб не иначе поступали, как по привилегиям, первенствам и преимуществам своего государства; им ничего не запрещалось; им дозволено было делать все по своей воле; они могли, если заблагорассудят, ехать в другие государства путешествовать куда желают, одним словом быть в отлучке, с тем чтоб не ходили только в неприятельские земли и чтоб не обвиняемы они были оскорблением государя своего или изменою. Они вольны были возвращаться во Францию, когда пожелают, и не переставали быть гражданами до тех пор, как переселялись для вечного житья вне государства, то есть записываясь в подданство или принимая на себя те прочие должности, кои надлежат до подданства; также в таком случае, когда имеют они детей граждан, то получают в наследство после отца своего те имения, кои оставили во Франции, когда приходят в совершенные лета.

Но таковая перемена с стороны французского дворянства бывает столь редка, как и бесчестная праздность в военное время: приятность страны, плодоносие земли, веселое местоположение, изобилие в необходимых вещах для своего содержания, услужливость, политика, или по крайней мере искренность жителей, вкореняют в них навсегда любовь к дражайшему отечеству; они всегда почтут себя изгнанными, когда находиться будут в отсутствии; и они дадут ему всегда преимущество пред прочими странами во всем свете. Что же надлежит до действия французских дворян во время войны, то слава своей нации, природное често-

любие, слава их имени, честь, а особливо любовь к государю, — все сии сильные причины повелевают им с бо́льшим успехом, нежели принуждение рабское, жертвовать охотно жизнию наималейшему повелению самодержавного государя. Итак, французские короли не имеют сильнейшей помощи, вернейших подданных и ревностнейших воинов, как достойное их дворянство; они непобедимы, когда оными окружены бывают. Нет такой степени благоговения, которого бы сии им не оказывали; им дозволено определяться в службу придворную и военную. Они туда принимаемы бывают беспрепятственно и находят там правосудие, преимущество по достоинству и самую милость.

Дворянство во всякой провинции, где б оно ни находилось, следует обычаям своих предков и имеет удовольствие жить, умирать и иметь своих потомков, не пременяя немало древних обычаев, особливо своей нации; они не обязаны оными жертвовать и повиноваться разве одним только указам, составлявшим общий закон известных дел. Дворянство не может иными быть судимо в делах гражданских, кроме королевских судей, а в преступлениях судится оно только всеми собранными камерами королевского трибунала, как при подании первого челобитья, так и в случае апелляции: словом, оно пользуется всеми древними своими привилегиями, кои могли им оставить власть самодержавства, освобождение слуг и ненарушимое благоволение к третьему чину, который заслуживает совершенного покровительства и который тем полезнее бывает, чем более пользуется покровительством дворянства и защищением власти.

РАССУЖДЕНИЕ О ТРЕТЬЕМ ЧИНЕ

Власть и дворянство старается весьма во Франции не презирать третьего чина: он душа общества; он политическому корпусу есть то, что́ желудок человеческому; он счастливое посредство, чрез которое вышняя часть сообщается, не унижаясь, нижней части и чрез которую сия возвышается к другой.

Благородные имеют геройские добродетели. Они служат государю, защищают отечество, слабых обороняют, имеют деревни, стараются о земледельстве, почитаются богатыми, щедрыми и живут великолепно. Народ земледельством своим производит плоды, различных сортов товары, первые материи богатства. Но третий чин, составляя одно с народом, от коего происходит сам и который оного привлекает, старается о мануфактурах, устанавливает промены вещей, оценивает товары, учреждает оных расходы. Словом, он делает коммерцию и производит счастие благородных. Сии низкие приношения грубого и непросвещенного народа не могут ласкать благородным, но они ласкаемы весьма бывают со стороны честного и просвещенного мещанства: с сим третьим чином и чрез оный пользуется дворянство своим преимуществом.

Есть некоторые из благородных, кои успели в науках, имевших от них покровительство; но третий сей чин есть убежище наук и освященное место человеческого познания. Нет такого рода заслуг и добродетели, которых бы не производил третий чин.

Колберт, Вобан, Розе, Корнейль, Расин, Мольер были все от третьего чина. Он произвел великих ораторов, великих стихотворцев и великих министров. Медики, хирургики, физики, натуралисты, живописцы, резчики, градировальщики, золотарики — словом, все художники во всех родах имеют свое происхождение от третьего чина. Во внутренности оного произошли те славные банкиры, те великие купцы, кои повелевают торгом во всем свете и кои бывают помощию великих государств.

Благородные имеют, без сомнения, похвальные качества, но иногда недостает им случая производить оные в действо. Напротив того, третий чин упражняется ежедневно в благоразумии, честности, изобильном вспомоществовании, точности, постоянстве, терпении и правосудии.

Дворяне имеют право производить суд своим именем, но третий чин производит оный при первом подании челобитья, устанавливает процессы, знает форму, искусен в юриспруденции и произносит решение. Из

третьего чина берутся в различные должности всех родов дел люди, служащие без жалованья и несущие всю тягость негоциации, а находящиеся в должности, как благородные, от того себе честь получают.

Всякая держава, в коей не находится третьего чина, есть несовершенна, сколь бы она ни сильна была; сие весьма ясно видеть можно. Рабский страх бывает там вместо ободрения; строгость, которую благородные производят, будучи ничем не насытимы, есть недействительна, потому что нет иных побудительных причин. Чего остается требовать от народа, лишенного надежды и который не может иметь любочестия? Но о той стране, где находится третий чин, сказать сего не можно; нет там такого места, которого бы не мог получить человек третьего чина, если он только заслужил оное. Третий чин есть училище великих людей, в нем воспитываются добрые подданные во всех родах, коих государь находит при случае со всеми их способностями.

Сей третий чин не трудно учредить и в России. Со временем можно будет оплатить долги государственные или партикулярные, смотря на состояние всякого от неволи освобожденного раба; надлежит только продавать увольнение всем знатным купцам и славным художникам; надлежит разделить все различные художества по цехам; должно всякому члену доказать свое искусство и исправить то, что до него надлежать будет. Сверх того, каждый цех должен купить увольнение всем своим членам, что всегда тем полезнее будет государству и самим господам, чем более добрые художники в состоянии будут в цех приниматься.

Равным образом все те, кои, упражняясь с успехом в науках, обучатся в университете вышним наукам, как-то: юриспруденции, философии, математике, медицине, хирургии, аптекарству и прочим полезным знаниям, должны иметь увольнение по аттестатам, кои они получать будут. Когда всякий в состоянии будет упражняться в том, к чему имеет дарование, составят все нечувствительно корпус третьего чина с прочими освобожденными, о коих выше упомянуто. Равным образом должно быть сему и в рассуждении художеств.

Все те, кои в оных успеют, должны иметь увольнение. Что может возбудить более к добрым делам, как надежда почти уже известная получить вольность свою и найтить свое счастие?

Сверх того, третий чин, однажды установленный, возвышенный увольнением и тем самым утвержденный в своей коммерции или в своем промыслу, придет более в состояние платить государственные подати, оставя оные по прежнему порядку или переменя число оных, как заблагорассудится.

В рассуждении мнимого ущерба во всякой деревне обыкновенного оброка освобожденного крестьянина думать надобно, что награжден оный будет другим каким-либо образом, когда все знатные господа чувствовать будут пользу от третьего чина, который в короткое время учинит государство столь много цветущим, сколь легко оное быть может; а особливо, если продолжать будут привлекать к тому чужестранцев, для нечувствительной перемены в рассуждении земледельства, лучших к оному способов и приобучения природных жителей к вольной службе, весьма полезной и приносящей изобильные прибытки.

Словом, в России надлежит быть: 1) дворянству совсем вольному, 2) третьему чину, совершенно освобожденному и 3) народу, упражняющемуся в земледельстве, хотя не совсем свободному, но по крайней мере имеющему надежду быть вольным, когда будут они такими земледельцами или такими художниками, чтоб со временем могли привести в совершенство деревни или мануфактуры господ своих.

ТОРГУЮЩЕЕ ДВОРЯНСТВО ПРОТИВУПОЛОЖЕННОЕ ДВОРЯНСТВУ ВОЕННОМУ,

ИЛИ

ДВА РАССУЖДЕНИЯ О ТОМ, СЛУЖИТ ЛИ ТО К БЛАГОПОЛУЧИЮ ГОСУДАРСТВА, ЧТОБЫ ДВОРЯНСТВО ВСТУПАЛО В КУПЕЧЕСТВО? С ПРИБАВЛЕНИЕМ ОСОБЛИВОГО О ТОМ ЖЕ РАССУЖДЕНИЯ г. ЮСТИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ г. ЮСТИЯ

Два сочинения, которые сообщаю я моим читателям на немецком языке, вышли на французском в нынешнем 1756 году. Надлежит думать, что изданы они в Голландии, ибо знающие Францию не легко тому поверят, чтоб оба сии сочинения, содержащие в себе столь многие истины, напечатаны были в сем государстве. Сколь ни различны намерения обоих авторов, но согласны они в любви к своему отечеству, и сие самое привлекает их недостатки и погрешности оного представить откровенно. Имя парижского книгопродавца, объявленное на одном из сих сочинений, может быть так же вымышленное, как и те продажные книги, которым реестр он на конце прилагает.

Первое сочинение, изданное под титулом «Торгующего дворянства», представляет Франции те преимущества, до коих достигать может она в то время, когда многочисленное ее дворянство вступит в торговлю. Сколь ни сильны его доказательства, но для благополучия всей Европы желать надобно того, чтоб оные никакого не имели действия. Французская коммерция в сем веке распространилась в тридцать лет столь

далеко, что если приращение ее следовать будет по сему содержанию, то вольность Европы великой будет опасности подвержена. Французская Ост-Индская компания, которая в 1719 году была близ своея погибели, соединясь с другими торговыми компаниями, толико возвысилась, что скоро потом могла она торговать на 600 миллионов ливров, яко на счет королевский; а возвращающиеся корабли прежде года привезли на то 30 миллионов или более во Францию товару. Также процветают с того времени французские торги и селения в Америке; и сия корона ищет непрестанно распространиться там более, во вред другим народам, противу заключенных трактатов.

И действительно была бы Европа несчастлива, если б уступала она сему государству в великих его намерениях в рассуждении коммерции. Европа давно бы приведена уже была под его иго, если б богатство его было столь велико, сколь велико войско и намерения. Истощение государственных его сборов принуждало его с тех пор останавливаться в исполнении своих предприятий; но обогащение земли коммерциею подаст ему скоро довольные силы. Вся Европа должна благодарить Англию за то, что старалась она отвратить сию опасность, хотя нарушение трактата и без того подавало к нынешней войне довольную причину. Великобританские торги, сколь бы много ни распространились, не могут ни малейшего смущения навести Европе. Земля, ограниченная морем и отдаленная от завоеваний формою своего правительства, не может возбудить страх всем своим сокровищем.

Автор другого сочинения, при сем сообщенного, не ясно видит те средства, коими Франция может быть страшна и велика. Он рассудил за благо противоречить намерению о привлечении французского дворянства к коммерции. Он назвал книгу свою «Военным дворянством, или Французским патриотом». В сем последнем свойстве отказать ему не можно. Везде видна честность его намерения и истинная любовь к отечеству; но в нем виден недостаток в знании существа коммерции и в средствах к произведению оных. Может быть, разум его и был бы способен к сему понятию, если б

свободен он был от предрассуждений и некоторых воображений. Между тем, желать надобно, чтоб основания его и мысли приняты были хорошо во Франции.

Оба писателя показывают великую ревность против аглинской нации; но оная служит к чести агличан. Они стали хвалители аглинского народа, хотя, может быть, о том и не помышляли. Что можно сказать похвальнее о народе, как то, что старается он ревностно о благополучии и искореняет все предрассуждения, противные сему намерению. Впрочем, оба писателя должны были поневоле хвалить Англию, ибо ее всегда представляли они Франции примером.

Оба писателя живо и сладко писали: за сие почел я их достойными переводу; сверх того, делают они в нас более понятия о существе коммерции; но я имел еще к переводу сему и другую причину, а именно, я хотел, чтоб оспориваемое здесь предрассуждение и в Германии силу свою потеряло.

Предрассуждение причинило превеликий вред нашему отечеству, и если б мы за 300 лет пред сим оное истребили, то бы Германия была ныне богатейшее, сильнейшее и благополучнейшее государство в Европе. Германия, или Немецкая Ганза *(купечественный союз)*, имела величайший в Европе флот, и помощию оного была бы она в состоянии не только иметь участие в обысканиях Гишпании и Португалии, то есть нового света, и в пути в Ост-Индию, но исключила бы отсюда и все прочие народы. Упустила Ганза не только взять участие в сих обысканиях, но и торги наши клонились с того времени к разрушению. Увяли цветущие наши мануфактуры, и за 80 лет пред сим Германия не имела почти никакого промысла, ни пропитания. Я не буду описывать все причины, кои произвели истинное падение Ганзы. Признаюсь, что многие тому были причины; но известно то, что предрассуждение паче всех оному способствовало. Сему купечественному союзу недоставало истинного соединения со всею Германиею. Предрассуждение о бесславии купечества не допускало дворян вступать в коммерции Ганзы. Сие исключение и приобретенные коммерциею богатства соединенными городáми должно было возбудить основатель-

ный страх в князьях и дворянстве, чтоб не быть от сих городов притесненными. Сила и слава их возросли весьма далеко. Разве сокровища могли иметь другие действия? Итак, вместо того чтоб Германия сопротивлялась стараниям чужестранных государств о истреблении коммерции Ганзы, сами государи, князья и дворяне старались еще о ее разрушении. Не отрекусь, что Ганза своим поведением подала сама к тому повод. Но кто сей вред чувствовал столько, как наше отечество? Дело бы совсем пошло не так, если б дворяне в сей коммерции участие имели.

Думая, что автор «Торгующего дворянства» не весьма подробно вступил в сие дело, приобщил я здесь о том собственное мое рассуждение. Самая истина, существо дела и любовь к моему отечеству были главным предметом моего намерения, и что будет навсегда побудительною трудов моих причиною.

ТОРГУЮЩЕЕ ДВОРЯНСТВО

Уже ныне нельзя того сказать, чтоб прельщались мы одною суетою; важные и основательные дела начинают уже составлять наше упражнение. С некоторого времени выходят в свет о купечестве ученые рассуждения, многих читателей увеселяющие. Если б не проводили мы время в спорах о законе, которые кажутся важнее, то бы купечество было обыкновенным предметом в сообществах. Я видал ныне и придворных людей, возвышающих преимущества оного.

Господин маркиз де Лассе в 1736 году видел с удовольствием сию наступающую тогда государственную перемену. Между сочинениями его, соединяющими важное с приятным, найдены многие о купечестве, с его примечаниями.[1] Купечество казалось ему великим побуждением государственного благосостояния. Опасался он только того, чтоб правление не ослепилось сею прелестию и не дозволило оное дворянству, что почитал он за особливое зло. Рассмотрим мнение сего храброго дво-

[1] Сии примечания напечатаны в парижском журнале, называемом «Mercure de France», 1754.

рянина, и если найдем оное достойным, то подвергнемся правилам его или возьмем совсем противную ему сторону, когда доказательства его найдем не довольными. Сие учинить дозволяется каждому. Г. Лассе должен был прежде знать, что прилично дворянству. Но он никогда не старался о неоспоримых доказательствах.

По начальным словам его, кажется, изображает он более нынешнее, нежели свое время: «Говорят непрестанно, что дозволено будет поступать в торги нашему дворянству, так, как в Англии, но сие мнение мне не нравится».

Если б противное мнение было доказательно, то надлежало б, во-первых, спросить аглинское дворянство, какую перемену имеет оно от сего дозволения, потом спросить государство, не претерпело ли оно чего от сея перемены? Когда милорд Оксфорд Англиею правил, тогда брат его имел главное управление над торгом в Алеппо; милорд Товсгенд, государственный министр, не презирал своего брата, который в Лондоне довольствовался торговлею. Должно ль за то осуждать сих юнейших братьев дворянского поколения и многих других, которых имена написаны в числе аглийского купечества? Вместо праздной и бедственной жизни и вместо того чтобы стать наконец бременем старших своих братьев, обогатились они с умножением общего благополучия, и дети их чрез наследное богатство до великих степеней чести славнее достигли. Сие самое может быть тому причиною, что рассеваются слухи непрестанно о дозволении торговать французскому дворянству.

Сии непрестанные слухи доказывают, что сам народ единогласно того желает; а таковые желания клонятся обыкновенно к важным преимуществам, кои большая часть людей могли предвидеть ясно.

Сии непрестанные слухи доказывают, что бедность, утесняющая большую часть дворянства, трогает каждое государственное состояние.

Сии непрестанные слухи происходят иногда и от самих дворян; не от тех, которые в великолепных обитают чертогах, но от тех, которые замок отца своего видят ежедневно разрушающийся и помощи себе

подать не могут. Не от придворных господ происходят сии слухи, которые с гордостию принимают ежедневно новые от государя знаки милости, но от погибающего дворянства, которого бедность солнце, восходя, освещает и которому закрыт путь к получению милости; одним словом, не от того высокого дворянства, которое еще выше, нежели сказывают... Но есть ли дворянство ниже? Ежели есть, то бедность отчасу более его унижает. Купечество представляет ему себя на помощь, так, как доска в кораблекрушении; не должно ли же ему за оное взяться?

Сие чрезмерное желание происходит с тех пор, как купечество начало в государстве знатным становиться; с тех пор, как торгующие и с нами о преимуществах ревнующие народы стали показывать нам то, что приобрели они силою купечества; с тех пор, как свет философии начал просвещать и рассеивать наши предрассуждения. Рассудок наш, конечно, стал уже просвещенным, когда говорит он нам, что дворяне в купечество вступать могут.

Не слышно было сего в те варварские времена, когда дворяне в недостойном рабстве целую половину Франции содержали. Не было нужды в купечестве дворянству, ибо и землю и людей они тогда имели; впрочем, в то время помышляли только об одном нападении и защищении и меч казался государству нужнейшим орудием.

Сего невозможно услышать и в Германии. Целый свет старых баронов обнимут свои гербы и возопиют о погибели своего государства. В Польше еще менее сего услышать можно, ибо пятьдесят тысяч дворян, утомленных голодом, поклянутся тогда мечом своим лучше служить ровному себе за малое жалованье, нежели обогащаться купечеством и приобресть себе свободу. Таковы-то остатки готического духа, который в сих государствах хранился более, нежели в других.

Господин Лассе хотя и не видит того, чтоб торгующее дворянство унижалось, но он находит в том государству весьма вредительное зло, рассуждая о сем деле совсем с другой стороны. «Дворянство, — говорит он, — дает нам бесчисленное множество офицеров, кои

силу нашего войска составляют, ибо солдаты других народов по крайней мере не хуже наших и к работе приучены более».

Сие столь нужное государству число офицеров могло ли бы чрез то уменьшиться, когда бы в каждой бедной дворянской фамилии был один сын, который бы посредством купечества, может быть, помог брату своему в деньгах, для службы ему необходимых? Военные чины не должны, конечно, быть ни в каком сравнении со дворянством, ибо среди войны столь много дворян тщетно о произвождении своем стараются. Когда тот страх, чтоб не уменьшилось число офицеров, есть причиною запрещения дворянам вступать в купечество, то по крайней мере надлежит им запретить вход, я не говорю в монастыри, ибо сие скажет вместо меня целый народ, но в семинарии, о чем он, конечно, молчать будет. Между тем, то известно, что купечество не будет отнимать дворян ни от военного, ни от духовного состояния. Мы определим сие точнее: не последует, конечно, никакого ни убытка, ни уменьшения, когда только остаток дворянства к тому употреблен будет; чего ради мы недостатку и в офицерах страшиться не должны. Воля благородных отцов и естественная склонность детей помогут сами делу сему. Дворянин весьма о том уверен, что можно служить государю своему одним только оружием, и для того старшему сыну своему в младенческих его забавах меч он показывает. Младенец возрастает, и первый взор, призывающий его к воинской службе, открывает уже ему все роды забав, как-то: собаки, лошади, драгоценное платье, игра, богатый стол и любовницы. Вступает он, как погибший человек, в государеву службу. Братья его сделали бы, конечно, то же, но государь столь многих слуг не требует; государство должно принимать их, и для чего ж бы не в купечество? Из сего видно, что дворянство всегда довольно многочисленно будет для управления войском, хотя бедные из них от того и выключены будут для обогащения себя помощию купечества.

«Дворянство, — говорит господин Лассе, — приобрело нам столь много раз над неприятелем победу

и в несчастные времена Францию спасало. История наша довольно то доказывает».

Без сомнения, мы много должны сему дворянству и ласкаем себя впредь еще более оному быть одолженными. Между тем, не должны мы выключить довольное число храбрых людей, которые из мещан показали ныне в воинской службе благородную душу. Государь сие узнал и между дворянством дал им место за их храбрые дела. История, прославляющая Монтморенси и Тюрена, возвышает также Фаберта и Катината, и я не знаю, имели ли первые франки, основавшие нашу монархию, другой титул дворянства, кроме их храбрости. Но здесь остановимся мы долее, нежели потребно. Примем то за подлинное, что Франция должна одному дворянству за все свои великие успехи. Я спрашиваю только о том, меньше ли храбрости тогда иметь будет полководец, когда брат его начальствовать будет над кораблем или над мануфактурою? Храбрый адмирал де Жоноз имел брата монахом.

Стряпчий дворянства начинает опять новый спор и, рассматривая источники храбрости, находит, что «дворяне, плененные примером своих предков и с младенчества ни о чем ином помышлять не приобученные, как только искать своего счастия войною, прилагают к ней все свое внимание. С ними о войне только и говорить должно, и они из детства готовят себя к храбрости, от которой всего они и ожидать должны»; но возражение состоит в следующем.

Сии дворяне, из коих четверых полагаю я в одну несчастную фамилию, могут сказать отцу своему: «Почто приведены мы в заблуждение? Ты с юных наших лет сказывал нам, что счастия своего должны мы искать единою войною. Уже научились мы смеяться над неблагородными людьми, принимать оружие, обижать соседей, опустошать поля, мучить крестьян и вместо права употреблять насилие; мы имеем уже тигровую душу и совершенно к войне приуготованы; но видим, что с тех пор, как старший брат наш туда послан, терпим мы в платье недостаток, и какие трудности имели мы к снисканию сего поруческого места? Может быть, без покровительства нашего благодетеля

мы бы и в том успеха не имели. Уже триста лет не посещает счастие старый наш замок, и ожидать оного надежды не имеем. Что нам делать шпагою, когда кроме голода не имеем мы других неприятелей?»

Отец их, может быть, разумнее бы сделал, если бы при изъяснении им своего родословия сказал им: «Любезные дети, многие пути отверсты вам к счастию: война, суды, церковь, и если принимать в уважение одно только счастие, то имеем мы еще купечество, в котором малыми вещами великие приобретаются. Оно доставляет нам великие богатства, в коих никто нас упрекнуть не может. Защищение, которое во всяком другом состоянии купить надлежит; милости, убегающие по мере искания оных; хитрости, подлости, пороки — словом, все сие здесь места не имеет. В купечестве всякий от самого себя, работы и прилежания своего зависит. Но я вам все сказать должен: хотя чрез купечество можно служить и сродникам своим и государству, но купец живет в малом почтении. Кто из вас имеет довольно бодрости духа взяться за оное?»

Вместо сего учения, которое, может быть, многие почтут разумным, говорил сей безрассудный отец детям своим об одной только храбрости, от которой они всего ожидать должны. Ожидание бывает несносно, когда предмет отчасу убегает далее, и несноснее того, когда, по многотрудной и бедственной жизни, невозможно дождаться нималой отрады.

«Но когда, — продолжает г. де Лассе, — дворянам открыт будет другой путь и дозволится им купечество, тогда найдут они наилегчайший и безопаснейший путь, который выведет их из бедности и подаст способ к приобретению сокровища, которое доставит им все те увеселения, к чему люди столь жадно устремляются. Какую силу имело над ними время денежного торга, сколь оно ни кратко было? Сей пример никогда забвен не будет».

Сказывают, что путь к счастию гораздо легче и безопаснее найти можно купечеством, нежели войною. Сие неоспоримо; но чтоб дворянство, если дозволят ему избрание обоих, предпочло по склонности своей купечество, того заключить нельзя, сравняя приятность обоих состояний. Одно великолепно, другое умеренно;

одно соединяется с приятною праздностию, а другое требует истинного прилежания. Одно хочет жить хорошо, а другое собирать. Война хотя и имеет трудности и опасности, купечеству неизвестные, но сии труды и сии сражения являются только в дальнем расстоянии и об них не ранее помышляют, как приступая к неприятелю. Наши молодые люди, говорит Тацит, почитают военное состояние буйным и роскошным. Вольная, праздная и всеми забавами наполненная жизнь всегда приведет жаркую юность в искушение. Часто видим мы старых воинов, прошедших великие опасности и оружием скучающих; но кто видал юношу, который бы, вышед из училища, отказался от шпаги, для того что некогда может она стоить ему жизни? Он смотрит только на одну величину и остроту меча своего. Если б дворянство избирало себе легчайший род жизни и безопаснейший способ к обогащению, то бы должно было взять ему духовное состояние. Сей путь к благополучию есть кратчайший и безопаснейший, а особливо для знатных господ, которым действительно сродны добродетели. Но со всем тем дворянство весьма редко входит в сие состояние. Для чего же? Для того, что при вступлении находит оно прилежание, благопристойность, воздержность, основание и некоторое принуждение. Сей благородный юноша, ужаснувшись, отдаляется назад. Вступая в купечество, пришел бы он в равное смущение, но знатность родителя, который нужду законом почитает, принудила бы сына обучаться купечеству так, как принуждает она его быть аббатом; а воинскому состоянию остались бы навсегда его преимущества. Когда хотят закрыть дворянству путь к обогащению, дабы тем к войне его приобучить, то могут часто и не достигать до исполнения своего намерения. Он остается беден и не воюет, затем что потребны к тому лошадь, оружие и начало к приобретению счастия. Итак, купечество никогда с войною воевать не будет, и мнимые сети ничего такого с собою не привлекут, чтоб здравый рассудок и без того их не оставил. Тщетно приводят к нам на память время денежного торга; если вспоминаем мы о том с прискорбностию, то сие бывает не ради того огорчения, которое при-

несло оно военным служителям. Я думаю, что тогда, так, как и ныне, все места в каждом полку были заняты. Впрочем, какая была разница между денежным торгом, в который один день может сделать счастие, и между купечественным торгом, целого года требующим? Невозможно того страшиться, чтоб дворянство весьма вдалося в купечество, но паче мы должны стараться, чтоб оно не осталося в предрассуждении и не презирало бы сие состояние.

Здесь следует яснейшее возражение: «Отцы, начавшие сей род жизни, детей своих в оном же воспитывать будут, и в краткое время сей геройский дух минуется, который французское дворянство отличал от прочих, вместо же сих храбрых воинов, прославленных всегда, будем мы иметь одних только купцов».

Если б сие несчастие и действительно нам угрожало, то вместо опровержения границ, которые положили мы между купечеством и дворянством, надлежит оные удвоить. Мы имеем Сципионов, для того что имеем карфагенцев. Но подлинная ли то правда, чтобы отец, старающийся о купечестве, и детей своих в оном воспитывать старался? Столь же мало и судья посвящает правам всех своих детей: иных оставляет он войне, иных церкви. Мы рассмотрим теперь только то, что ныне при торговлях происходит. Истинные происшествия имеют гораздо более цены, нежели мысленные заключения. Возьмем в пример купца, миллион имеющего. Он паче всего старается о том, чтобы детей своих сделать знатнее себя. Чудно бывает то, если не отказывается он от миллиону прибытка для снискания себе дворянства. Теперь сделаем мы заключение о ревности французов быть знатными. Для чего же сделать заключение такое, что дворянство будет постояннее в таком состоянии, которое приняло оно по необходимости? Знатный отец, дерзнувший чрез сие обогатить себя, отвозя избыточное чужестранцам, отдал бы тогда опять в военную службу детей своих, приобыкших к купечеству; а потомки бы его были военными героями до тех пор, пока расходами на военную службу и свойственным тому великолепием не пришли бы они в прежнюю бедность. Было ли бы лучше, если б сей

дворянин остался в своей деревеньке с бесполезною шпагою и в принужденном холостом состоянии? Признаюсь, что он геройского духа в себе иметь не будет; в нем нет ему нужды, и от него того не требуется. Но дети без всякого препятствия могут исполнены быть геройским духом: сын французского маршала имеет же иногда дух архипастырский. Следовательно, доказать того не можно, чтоб вместо сих храбрых воинов, прославленных издревле, имели мы одних только купцов. Итак, слезы сии напрасны. Вместо бедных дворян, которым все двери, даже и военные, затворены, имели бы мы тогда довольное число богатых купцов, а дети их были бы храбрые воины и прославились бы так, как и предки их.

Ужасное воображение, которое из дворян делало одних купцов, весьма чувствительно тронуло господина Лассе. «Если б сие несчастие последовало, — говорит он, — то бы и действия оного легко произойти могли; и не трудно рассудить о том, что сие стоить будет Франции, такому государству, которое учреждено оружием и, в рассуждении своего положения, тем же оружием и сохраняемо быть должно».

Следуя таковым предположениям, можно перенести и землю. Для удостоверения дела сего требует Архимед двух вещей: в воздухе утвержденную точку и жердь довольной величины; но сколь же сильна должна быть та махина, которая все дворянство привлечь должна в купечество? Для сего нужно, чтоб все они были бедны и чтоб со всем тем не все они могли обогатиться помощию купечества. Вообразим себе богатого дворянина. Он, конечно, в купечество не вступит; но если дворянин беден, то оставит он купечество тогда, когда богат будет, и устремится к славе.

Напоминает господин Лассе, что Франция учреждена оружием; я бы лучше хотел слышать, что учреждена она правосудием и что старые галлы, не хотевшие сносить римское иго, отдались добровольно Фараманду или Клодовею.

Примечено, что сие государство, в рассуждении своего положения, тем же оружием, которым оно учреждено, должно быть и сохраняемо; но кто же говорит, что мы наше оружие преломить должны?

Купечество дало бы нам пушки, если б мы их не имели, и, может быть, за те, которые мы имеем, ему же мы обязаны. Если б хотел я писать пространнее, то бы доказательства моего сопротивника обратил я на него самого; я бы сам доказать мог, что Франция, в нынешнем состоянии Европы, одним купечеством и сохраняема быть должна; из чего заключить можно, что всему дворянству в одно только купечество и вступать надлежит, так, как заключает он, что все дворянство должно бежать к оружию затем, что государство одним только оружием и сохраняемо быть может; но я бы худое сделал тогда заключение. Есть благоразумная средина между сими обеими чрезвычайностями; должно из всего дворянства оставить нужное число для войны, а остатку дозволить купечествовать. Будут тогда воины; но будут из остальных и такие люди, которые к приобретению военного иждивения много помощи сделать могут.

Все возражения клонятся к тому, чтобы отечество не имело недостатку в защитниках; но сколь велико потребно число их? Полное число нашего войска простирается в мирное время до 220 000 человек, коими начальствует 15 000 офицеров. Но сколько потребно нам в военное время? Когда Людвиг XIV наступил на Европу водою и сухим путем, тогда имел он войско в 500 000, над коими было 30 000 офицеров; нам никогда не будет нужды иметь более сего. С другой стороны, хотел бы я знать число французского дворянства. Спрашиваемые о том мною оракулы ответствовали мне с смущением. Если б спросил я, сколь много в сей столице карет было? Сколь много вышло новых мод с начала сего правления? Тогда бы сказали мне, что, за недостатком точного счета, нужно здесь чаятельное определение.

Франция содержит в окружности своей 30 000 квадратных миль,[1] не считая Лотарингию, которая свое дворянство имеет. Каждая квадратная миля содержит в себе около двух дворянских дворов, который почитать должно шести дворян жилищем, считая добрый и худой двор; все сие составляет 180 000; но большее

[1] M. de Vauban, Traité de la dîme Royale.

число их рассеяно по городам, а особливо с того времени, когда для способности мещан дворянство стало продаваться; но чтоб короче решить дело, то возьмем мы малое число и положим, что дворянство состоит из 360 000 человек.

Если толикое число потребно к защищению отечества, то о купечестве я уже ничего и говорить не буду. Сами священники должны во время опасности, по примеру Мафатиеву, оставить священство для принятия оружия; но мы от такой крайности весьма удалены, ибо для начальства над 500 000 солдат потребно только 30 000 офицеров. Что ж остается делать с 330 000 дворян, которые нам на войне не нужны? Не должно ли сказать, что маркиз де Лассе нашел удовольствие родить чудовищ, чтоб иметь честь задавить оные?

И действительно, я с ним того не воображал, чтоб все французское дворянство упражнялось только в пролитии крови или чтоб все оно обратилось вдруг к купечеству, как скоро к оному будет путь ему отворен. Сей страх, происходящий более от гражданского сердца (весьма редкия добродетели), нежели от точного сравнения, показывает то по крайней мере, что купечество великое имение дворянству доставляло бы. Для познания точныя оного цены рассмотрим мы ближе зло, дворянства касающееся.

Среди роскоши и великолепия невозможно услышать стона тех бедных дворян, которые страждут в отдалении и слезы свои со слезами бедного работника мешают. Не должно судить об них и по тем дворянам, которые иногда для тяжбы, иногда для снискания себе покровительства в столицу приезжают. Сии несчастные чувствуют более свое бедствие, нося дворянское имя, и одна часть скрывает от стыда свою бедность. Сии нужные и часто бесплодные поездки разоряют их нередко на многие годы.

Последуем в их хижину за ними, обойдем с ними сии господские земли, которые господ своих пропитать не могут. Смотрите на хлевы без скота, на сию худую пашню или на сию невспаханную землю; на сию позднюю жатву, которую заимодавец, имея право получить, ожидает; на за́мок, угрожающий господину своим па-

дением; на семью, не имеющую ни воспитания, ни одежды; на отца и мать, вместе слезы проливающих. К чему служат сии знаки чести, бедностию униженные; сии древностью изгрызенные гербы; сие в церкви различное от других седалище; сии поименные названия в церковных молитвах, которыми священник мог бы тронуть и людей милосердых, если бы только смел он; сие охотничье право, которое живущим в изобилии делает забаву и живущим в недостатке бесплодное делает упражнение; сие самовластие, которое несчастием унижается и для того редко исполняемо бывает?

Таковое до крайности доведенное состояние не может долго продолжаться. Оно кончится всегда другим, еще горестнейшим состоянием. Сии земли могут достаться в руки знатного и сильного господина, желающего умножить свое владение, или достанутся они чужестранцу, который более имени своего носить не хочет. Я не следую того, достойны ли новые дворяне, возвышающиеся трудами, большего почтения, нежели старые, праздностию себя погубляющие. Как бы то ни было, но для спасения дворянства от совершенной погибели дадим ему купечество, в котором найдет оно содержание и исправление земель своих, умножение имения, укрепление права своего, безопасность своих преимуществ, почтение вассалов своих, воспитание и произвождение детей своих. Что же к сему употребить должно? Богатство. Купечество оное доставляет.

Купечество весьма различествует от прочих состояний. Воин сеет, дабы пожать в своей старости; но какую он еще и жатву иметь будет? Разве нет таких недовольных, которые жалуются о потерянии имения своего при жатве военных своих лавров. Купец пожинает в то время, когда сеет; и хотя он и молод, но плоды труда своего показать может. Юрист покупает право судить, для того чтоб пользоваться оным на своем иждивении; купец покупает то, что для продажи назначено, а сие делает он для того, чтоб с прибытком оное опять сбыть с рук своих. Счастлива служба у алтаря; но к достижению оного потребны великие расходы на учение и на приобретение себе ученых достоинств, которые всегда за великие деньги покупаются; но откуда ж иметь

деньги, если ничего не иметь, кроме дворянства? Купечество питает начинающих людей своих в то самое время, когда знание приводит их в совершенство. Находясь при государственных сборах, можно также сыскать скоро свое счастие, но к тому потребно богатство и покровительство, чего не всякий имеет; купечество защищает себя само и не требует того, чего иметь невозможно. Сие-то есть пространное поле, где каждый, посея, пожинает и в котором каждая жатва всегда другую, изобильнейшую готовит. В Англии более шести тысяч дворян имеют доходу по десяти тысяч фунтов; и сто тысяч доходу тамо не считается за редкость. Вот плоды купечества, древа неисчерпаемого плодоносия.

О вы, которые и с имением своим вечно погибаете, которые в детях своих оживляетесь для того только, чтоб сделать их участниками своего несчастия! Обратите очи на древо сие и в неисчетных его ветвиях избирайте едину по своей способности; взгляните на сучок сей, за который взялся простак ваш подданный и который питает и одевает его со всею семьею, когда ваши сродники извлекают от вас тяжкие воздыхания. Если хотя несколько усумнитесь вы о счастии купечества, тогда жители Лиона, Бурдо, Нантеса и Марсели скажут вам: на нас взирайте. Дворянин, оставляющий в наследство детям своим торг, оставляет им имение, которое по числу их умножаться будет. Сие не случается с деревенскими нивами, которые он им в наследство оставляет. Дворянство жалуется часто, что бывает оно угнетаемо от склонного к самовластному владению кардинала; купечество опять оному помогает. Без имения не можно иметь силы, а в нищете едва и душу иметь можно. Тот, который ползает в пыли, возвысился бы на высочайшую степень, если б счастие ему послужило.

Haud facile enurgunt, quorum virtutibus obstat res angusta domi...[1]

Должно ли допускать дворянство торговать или должно ль допускать его обогащаться? Сии вопросы одинаковы. Никто не спросит о том, может ли купече-

---

[1] Истинно ли может дворянство торговать... *(лат.)*.

ство быть дворянству полезно; ибо никто не спросит и о том, греет ли солнце? Но должно исследовать, полезно ли будет государству то, если дворяне вступят в купечество, и сей вопрос предложить можно таким образом. Если б в государстве было приятное, способное, выгодное одному, но вредное всему отечеству состояние, то бы надлежало оное, сколь оно ни кажется необходимо, искоренить всеми силами. Необходимость порядка требует того, чтоб малые колеса счастия каждого человека с большим колесом общего благополучия в точнейшем были соединении. Итак, теперь разберем мы, какой прибыток государство иметь может от торгующего дворянства.

Во-первых, будет оно иметь упражнение. Если б земля сама собою нужное и избыточное нам приносила; если б едемский сад по всей земле распространился; когда бы люди жили в том равном состоянии, в каковом создала их природа, — то произошло бы тогда весьма великое затруднение; а именно, в чем бы люди стали упражняться? Страсти силы свои получают от праздности. Они волнуются и общее согласие разрушают. Когда Ликург все лакедемонские земли на равные разделил части, остановил премену счастия общим злата и сребра запрещением, оставил рабам и чужестранцам все науки и купечество, желал иметь гражданами людей военных, — в самое то время предвидел он и то, что сей военный народ не всегда оружие в руках иметь будет и что необходимо должен он иметь какое-либо упражнение, без чего Спарта пришла бы опять в свой прежний беспорядок. Для сего учреждены народные обеды, собрания, бегания на конях и колесницах, игры военные, забавы, которые непрестанно содержали их в сильном движении. Французское дворянство в мирное время есть слабое тело без действий и без движения, или, лучше сказать, живущее без всякого намерения. Может быть, продлится сие мирное время. От начала сего правления продолжалося оно двадцать лет беспрерывно, и кто знает, что не продолжится оно и во все время сего правления? По счастию народов, боятся друг друга государи. Система равновесия силы, сколь она ни несовершенна

есть и будет, но со всем тем щадит весьма много крови человеческой. Договоры оканчивают более споры, нежели пушки, и по тех пор стада будут покойны, пока львы будут в оковах.

Но представим себе, что ныне время военное. Мы уже не в таких живем веках, в которых государи наши регулярного войска и всегдашней армии не имели, но принуждены бывали объявлять о том дворянству. Тогда все дворяне непрестанно сапоги на ногах своих имели. Ныне гуляют они толпою по полям и городам нашим, не ведая, что делать. А наконец, скуча сею праздною жизнию, идут они в другую службу и противу нас оружие принимают. Дабы найти у нас для него упражнение, то надлежит сыскать ему состояние, которого бы пространное лоно могло принять каждого, кто бы для сего себя ни представил. Сие состояние не есть военное, ни судебное; доказывают то многие, тщетно к оным устремляющиеся. Не есть оно и духовное, несмотря на великое число мест их, на доходы, зависть во всех к ним возбуждающие. Когда от жирности некоторых духовных служителей другие тощают, то немало помогают сему и множество просителей. Состояние, коего мы ищем, есть купечество. Чем более считает оно чинов своих, тем более источники оного умножаются; оно почесться может такою кормилицею, которая дает молоко свое, его не исчерпая; она есть та рудокопная земля, которая щедра для того только, кто более ее изрывает; но как она всегда бывает щедра, то непрестанно и рыть ее потребно. Из сего произойдут дворянству непрерывающиеся выгоды.

Кто первый сказал, что лучше предпринять дело бесполезное, нежели совсем не делать ничего, тот ведал, конечно, все опасные следствия праздности. Нам не должно почитать сочинителей романов, сказок, песен бесполезными гражданами: они помогают к содержанию книгопродавца и людей торговых и торг самый чрез то умножают. Пускай продолжают они свои сочинения, только бы не вредили нравам и закону. Они других способностей не имеют, а праздность и того была бы еще хуже. Какие люди бывают разбойниками? Люди праздные, которых игра и пьянство завело к зло-

деянию. Когда честь удерживает дворян от злодеяния, судом наказуемого, то не мешает она им принимать все пороки, которые портят сердца их, пороки, которые узы общества если не вовсе разрушают, то по крайней мере ослабляют. Все, что нравоучение противу праздности сказать может, будет всегда весьма слабо, как скоро не сделается из того государственного преступления; и не прямое ли то воровство, когда требовать жизни, которая бы не причиняла ни малейшего труда? Весьма бы то полезно было, если б дать упражнение каждому состоянию в монархии, каким бы то образом ни было; но дать полезное упражнение есть главное политическое дело. Платон в своей республике касался до сего великого предприятия. Гомер, изображая своих героев, приписывает им с храбростию и великие дарования; Перикл строил корабли. Уже вижу я российского героя, держащего в руке топор на голландских верфях; и боги Гомеровы, весьма различные от богов Епикуровых, не были праздны тогда, как начали обитать на сей земле. Аполлон и Нептун воздвигали троянские стены. Должно учреждать жизнь прилично времени. Государство, художествами процветающее, считает подданных довольно. Государство, науками прославляющееся, имеет их весьма великое число; недостаток же в них купечество имеет.

Знатным в народе оставим мы воображать точно то же, что воображали патриции испорченного Рима, то есть, что порода составляет главнейшее достоинство. Нижайшее дворянство, не возмогши положиться на счастье, милость и великие титулы, теряет все чрез таковое заблуждение, а государство еще более. Довольно и много еще того, что военная часть дворянства впадала в совершенную окаменелость, как скоро неприятель сокрывается; но должна ли и та часть, которая не воюет, проводить время свое в непрестанном сне? Дадим оной упражнение в купечестве и в трудах, до него надлежащих. Мы увидим в отечестве своем неисчислимые богатства, пространнейшую пашню, многочисленнейшее людей размножение, полезнейшие расходы и сильнейший флот. Все сие не подвержено ли какому сомнению? Рассмотрим точнее.

Уже прошел тот век, в котором все люди, считаясь равно благородными, без выключения упражнялись в земледельстве; и несмотря на словеса господни, в поте лица своего снести хлеб человека осуждающие, видим мы ныне, что те самые, которые живут в изобилии, менее всех потеют. Сей новый порядок вещей не только необходимость землепашества не уменьшает, но паче оную умножает. Чем более праздных людей, тем более другие должны работать для прокормления себя и праздношатающихся. У древних китайцев было примечено и взято за правило, что, когда один человек ничего не делает, тогда и другой в государстве голод терпеть должен. Чего ради один их император из фамилии Тангов разорил великое множество монастырей, затем что от благочестия монахов голодовало государство. Земледелие есть первый предмет благоразумного законодавца.

Прежде сего французское дворянство не старалось о землепашестве в деревнях своих; оно имело рабов, повиновавшихся его повелению. Народ иго сие сбросил и некоторым образом стал свободен. Когда ныне дворянин хочет собрать жатву, то обязан он нанимать работников и к работе принуждать их деньгами. Иссушение болот, привезение воды, приведение степей в плодоносные поля, сажание леса, содержание скота — все сие требует великого иждивения. Может ли бедное дворянство приводить то в самое действие? Не высушает оно полей своих, но потопляет. Вместо плодов видит оно терние, на полях своих растущее. Не сеет оно, но семена теряет; лишает землю людей и скота для избежания расхода; и земля, дающая плоды по мере трудов человеческих, дары свои ему отказывает. Дворянство, принужденное необходимостью, питалось не однажды в семенах своею жатвою.

Когда бы сие разорение было только одному дворянству, тогда бы должно было иметь о нем и сожаление; но оно касается до всего государства и есть такое зло, которое требует скорейшего исправления. Рассмотрим глубину раны сея.

Господин Вобан, сей военный гражданин, созидающий рукою крепости, а другою поля наши измеряющий, сей истинный патриот, который, если б мы его послушали, сделал бы нас гораздо богатее учреждением королевской десятины, нежели завоеванием городов, сей господин Вобан говорит, что Франция имеет около 82 миллионов годных десятин, которые бы могли быть паханы, и что она своими произращениями может прокормить до 26 миллионов жителей. Но мы знаем, что для прокормления и 18 миллионов ищет она ныне помощи у чужестранцев. Чего ради делаю я сие счисление: когда 82 миллиона десятин могут прокормить 26 миллионов, то потребно только 57 миллионов десятин для прокормления нынешних жителей, которые состоят в 18 миллионах; но если б я следовал точнее, то бы такового числа, конечно, не нашел. Оставим на несколько сии плачевные размышления и заключим, что убыток состоит в 25 миллионах десятин. Я думаю, что большую часть сего числа можно положить на счет бедного дворянства. Вот мое мнение. Известно, что государства земли свои пахать по-надлежащему заставляют затем, что они богаты. Равным образом и землепашец, землю свою собственными своими руками к плодородию привлекающий, ничего надлежащего не упускает и ни малейшего иждивения на то не употребляет. Бедное дворянство совсем в других обстоятельствах. Если оно землю свою пашет прилежно, то претерпеваемые на то убытки превосходят его силу. Дворянин оставляет пустыми свои земли, ибо в противном случае лишится он и всего пропитания. Оставляет он земли свои откупщику, который смотрит на одну настоящую пользу: он учреждает барыши свои и помышляет более о повреждении, нежели об исправлении. Итак, 10 или 12 миллионов десятин остается у дворян бесплодными. Какая трата!

Вообразим же теперь дворянство торгующее. Тогда изобилие возьмет место у недостатка. Купечество распространяет и приводит в совершенство земледелие. Сие испытала Англия. Мы научили ее вкусу, учтивости, музыке, обхождению и художествам, а ныне станем учиться у нее купечеству и земледелию. Когда

мы почитаемся учителями в государстве, остротою разума блистающем, то не имеем мы причины ставить себе то в стыд, чтоб быть учениками в тех работных дворах, где найти можно одно только общее понятие.

В 1545 году агличане почти никакого купечества не имели, и земли их, так, как и прочих бедных народов, были худо паханы. Дворянские владения более всех запущены были, ибо помещики, кроме рыцарских забав, ни о чем не помышляли. Началося купечество — и земледелие процветать стало. Между тем, не удержало оно себя в сем первом движении; было также время праздности; но единая жена, или паче великий муж, королева Елисавета, сообщила оному крепость души своея. Неправедный владетель Кромвель, коего память проклинается, хотя великий дух его и пользу делал общую, устремил взор свой на купечество, яко на *жизненное древо,* и прорастил многие ветви водою и сухим путем. Дворяне и разночинцы устремились к оному, и с тех пор земли их новое существо восприяли. Можно бы сказать, что в натуре сего острова произошла великая перемена и что другое солнце сделало его плодородным. Под владением Генриха Осьмого едва могла Англия жить своими плодами, а вывоз хлеба был запрещен накрепко. При Карле Втором должно было помышлять о вывозе. Ныне отворяет магазейны свои Англия Голландии, Гишпании, Португалии и нам самим, прежде ее питающим. Между тем, нет такой страны, где бы в равной окружности был столь великий расход хлеба. Один пивной сбор более 19 миллионов нашея монеты приносит. Земледелец, который у нас все свое честолюбие полагает в платеже оброка, исторгая хлеб из рук своих детей, сей земледелец видел возрастающее свое счастие с купечественным торгом. Большая часть имеет 50, 100 и 200 фунтов стерлингов доходу.

Возвратимся к рассуждению о землях французского дворянства и исследуем, какую от того пользу государство иметь может. Мы уже сказали, что от 25 миллионов десятин, не приносящих плода, большая часть должна приписана быть дворянству. Положим только 10, а может быть и 12 миллионов, которые

делает плодородными обогащенное купечеством дворянство, то из сего землепашества вижу я довольное содержание для трех или четырех миллионов людей. Сим хлебом многие наши провинции могут быть содержаны. Англия содержит из них некоторые, а мы даем ей за то деньги, то есть даем оружие для умножения того, которое она противу нас кует непрестанно. Наконец отворим глаза свои и увидим, что земледельство и купечество ступают всегда равными шагами.

Во Франции те только земли и плодородны, которые лежат в окружности больших городов, то есть купеческих. Основания того весьма доказательны. Когда земля богатствами чревата быть должна, то надлежит уже земледелию отворять ее лоно: купец, о едином богатстве старающийся, не оставляет ничего, не приложа своих трудов. Земля посредством многотрудной работы людей и скота щедро нам даст свои плоды; купец не заставляет дожидаться работника платы, а скота корму. Бывают такие скупые земли, коих чрезмерными иждивениями к плодородию принуждать должно; купец сие сделать в состоянии. В надежде некогда возвратить свой убыток, употребляет он иждивения, настоящую пользу превосходящие. Наше бедное дворянство учинило бы то же самое, если бы оно в купечество вступило, и тем самым отмстило бы государство за те обиды, которые в сем случае делают ему знатные господа и главные откупщики. Сии люди, коих по государе называем мы земными богами, поступают не так, как бы общее благополучие требовало. Они дают государству упражняться в пространных садах, как бы и не имело оно жителей, требующих от него пропитания. Здесь покрывают они его песком, тамо требуют от него цветов только, а не плодов; в другом месте желают они иметь приятную тень; все сие было бы еще сносно, но они заключают его в зверинцах, которые так велики бывают, как целые леса; изгоняют оттуда волов и овец и наполняют их дикими зверями; изгнали они оттуда соху, дабы могла проехать колесница. А прежде сего видны были

здесь малые деревни, семьи земледельцев, леса, поля, стада. Забавы наших Лукуллов похитили себе Церерины луга.

Сказал я, что видны тамо стада были. В них-то и состояло богатство первых людей, и разве все вещи совсем основание свое переменили? Не злато пашет поля наши, но волы; не алмаз составляет одежду нашу, по волна овечья; но мы не должны оставить теперь рассуждение о дворянских землях, которым надлежит возвратить их истинную цену. Какое же тогда будет сих двух необходимых вещей умножение? Если бы мы того тщательно хотели, то бы и с нами то же, что и с Англиею, случилось. От начала правления Елисаветы, сея эпохи аглинского купечества, стало такое великое тамо множество рогатого скота, что надлежало бы непременно остановить умножение оного, если бы такого вывозу не было. Мясо солят они для американских селений, а мы, покупая его, снабдеваем им наших мореплавателей и матросов. Сия есть другая подать, которую даем мы народу, нам в преимуществах ревнующему, и она принадлежит к тем случаям, в которые безрассудным образом платим мы свои деньги, ничего от них не получая. Что же надлежит до овец, то невероятно покажется, что, ударяся некоторые об заклад, нашли около Доршестера мили на две шестьсот тысяч. Не должно дивиться и тому, что каждый год отпускается из великобританских гаваней в Россию 150 кораблей с 30 миллионами штук шерстяной материи, что учинит на 160 миллионов французских фунтов товару. Аргонавты хотели в отдаленных странах искать златого руна, но агличане нашли его в своем отечестве. При государственном благополучии все состоит в точнейшем соединении. Купечество приводит земледельство в величайшее движение, земледельство удобривает паствы, а оные подают мануфактурам знатнейшие материалы. Сия златая цепь, бедностию дворян разорванная, сковалась бы опять посредством купечества, и земли его приносили бы все роды нужнейших съестных припасов; но сей предмет простирается еще далее. Если б дво-

рянство торговало, то бы не только процвело земледелие, но и последовало бы

многочисленное людей размножение,

о чем все правители народов стараться всеми силами долженствуют. Моисей желал столь много иметь потомства, сколь велико число песка морского. Когда Ромул вознамерился овладеть светом, тогда предлагал он римлянам необходимость сильного рода их размножения. Каждому то известно, что, чем многолюднее государство, тем оно богатее. Кто бы исчислить мог китайские богатства? Известно равным образом и то, что сила государственная на многолюдстве свое основание имеет. Готы и сарацины завоевали более земель своим множеством, нежели военною наукою. Из сего заключить можно, что величайшее государственное зло состоит в малолюдстве.

Когда сия болезнь нам угрожает, то некоторые находят причину ее в самой нашей религии; они говорят, что закон, не дозволяющий иметь более одной жены, не обещает столь много детей, как многоженство, что неразрывность брака не столь много служит к плодородию, как развод, и что духовное состояние, куда ревность человеческая заводит более, нежели угодно богу, немало помогает к упадку будущих родов. Забывают они притом и отменение Нантского указа, который отнял у нас двадцатую часть населения. Они уже наперед считают и примечают то время, в которое неверные европейские державы размножением людей своих отяготят и приведут под иго правоверных.

Сии дерзкие люди, которые все видят, все хотят исследовать, гораздо бы сделали лучше, если бы верили слепо. Разве хотят они вознести себя над верою, которая всего превыше? Другие приписывают малолюдство наше тому способу, который употреблен при сбирании податей и который многолюдству помогает. Они уверяют, что, чем менее приходят оные в публичную казну, тем более должно их требовать; что, напротив того, чем более бывает требуемо, тем более

находится затруднение в содержании людей, и что тамо населять не можно, где жить нет средства; но государственные сборы доказывают, что высокая наука податей есть таинство. Итак, сделаем примечание на дозволенные предметы и предпишем врачевание болезням, кои исцелиться могут.

Ясно видим, что число жителей во Франции убавляется. Пуфендорф говорит, что она при Карле Девятом содержала людей двадцать миллионов. Господин Вобан считал сто лет спустя только 19, а ныне снисходим мы уже и до 18. Если каждый век по миллиону убавляться будет, то сколь мало останется и в короткое время? Впрочем, нет в том сомнения, что всех меньше умножает людей дворянство из всех государственных состояний (выключая те, которые положили обещание оставить в упадке нацию). Проходя большие дома, редко наследника найти можно; три или четыре рода той же линии весьма редко случаются. Чрезмерно вольная жизнь не дает невинности чувствовать никакого удовольствия. Придворные господа, не в состоянии будучи иметь детей, женятся на способных к рождению женах; а они отмщают мужьям своим, не размножая их фамилию. Сие самое неплодородие происходит и от бедности: бедное дворянство бегает от брачных союзов, как от несносного бремени.

Принимая намерение жениться, должен муж предвидеть от того некоторое себе счастие, или жена должна уметь сему недостатку сделать вспоможение; но по нашим нынешним обычаям бедный человек находит опять одну только бедность.

Принимая намерение жениться, должно уже иметь некоторое чувствие о благополучном состоянии своих потомков. Американские жены истребляют плод свой для того, чтоб дети их не попались под власть таких тиранов, каковы гишпанцы. Наши обычаи не таковы, чтоб должно было впасть в таковую чрезвычайность; но недостаток есть строжайший тиран, и для того у нас не женятся.

Приняв намерение жениться, должно принять участие и в некоторых излишних расходах, кто бы как

ни был воздержан. Но где находить излишнее, если должно и в нужном терпеть недостаток?

Мы вступили ныне в те несчастные времена, которые исторгали воздыхание Августа и всех римских премудрых. Число браков в кавалерском ордене ужасно уменьшилося. Женатые поставлены были на одну, а холостые на другую сторону; число сих последних было гораздо более. Если бы учрежден был осмотр бедному дворянству, что бы мы нашли в оном? Перворожденный, если возможно, обращается к оружию, и будет ли когда-нибудь женат, того он и сам не ведает. Меньшие дети женятся на мальтийском кресте или на монашеской мантии. Часто остаются они холостыми, не принимая никакого состояния, что столько же опасно для нравов, сколько вредно плодородию; а дочери приносят плодородие свое на жертву в монастыре.

Если дворянство обогащено будет купечеством, тогда и брачные узы будут у них многочисленнее. Опыт доказывает нам, что везде при таком месте, где две особы могут жить способно, заключается брак. Купечество имеет бесчисленное множество мест, при коих содержание легко бывает, и для того оно самой натуре помогает. По сей причине видим на морских пристанях, где люди неслыханным подвергаются опасностям, отъезжая в отдаленные земли для вечного житья, гораздо более детей, нежели в иных местах. Купечество имеет с браком некоторое соединение, которого другие состояния не имеют. Когда судящая особа или солдат женится, тогда должен он взять такую жену в товарищи, которая бы не полезные дарования, но развратные мысли, роскошный дух и способность к расточению имела. Сие есть такое бремя, которое принять на себя опасно, и в сем-то страхе люди стареются. Купец находит в жене своей товарища в своих работах; весить, мерить, считать, знать товары — все сие не превосходит женскую силу и согласуется весьма с общим порядком, так что если б купец и не находил вкусу в купечестве, но должен необходимо вступить в оное для истинной пользы и для самой необходимости.

Между тем, опасаюсь я того, чтоб слабые рассудки не почли сие умножение граждан за малый предмет в толь великом государстве. Если б мы, скажут они, научены были производить умножение народа в каждом состоянии, тогда бы мы были примечательнее. Рим был примечательнее, когда Август захотел рыцарский орден привлекать к брачным союзам. Строгость и награждение употреблены были к достижению до сего намерения. Но и в самом деле сей предмет не толь ли малыя важности?

Во Франции, Англии, Германии и почти во всей Европе примечено, что по тому сравнению, по которому люди умножаются, выходит то, что числу их надлежит быть вдвое более. По преданию Моисееву, свет начало свое имеет от одного брака и умножался каждые двадцать лет, то есть в такое время, в которое все люди умножать род свой способны. Чрез сие положение в конце второго века было уже на земле 512 человек. Но при настоящем вопросе нет до того нужды, от одного ли брака свет начало свое имеет. Купечество, которое назвать можно отцом супружества, произвело бы многие тысящи от тех дворян, коих несчастие осудило не вступать в брачные узы. Но возьмем в пример истинные приключения; возьмем два века, и только две тысячи дворян. Какое число от них произрастет? Для удостоверения в сем деле вспомним, что в два века от одного брака 512 жителей было, а 512 умножа на 2000, имели бы мы умножение до миллиону и двадцати четырех тысяч человек простирающегося. Сие число превышает 18-ю часть нашего народа.

Что бы из того произошло, если б мы все браки, чрез сие время и в простом народе последовавшие, считать хотели. Сколь много работных людей померло и ежедневно умирают бездетны, затем что в дворянских разоренных деревнях не могли они основать жизнь свою и ниже ныне оную основать могут. Слух носится, и слух основательный, что сии грубые люди нашли искусство обманывать и в самом естественном браке. Несчастное учение бедности! Бедный дворянин распространяет недостаток и бесплодие над всем тем,

что его окружает. Он оставляет столько земли, сколько может, на паству, ибо сие не стоит ему никакого иждивения, а умножение оных число людей уменьшает; сии пустые земли не требуют столь много работников, что же сим делать остается? Наполнять передние комнаты в столичном городе, осаждать столы наши, служить и жить от наших избытков, лишаться любви к работе и терять естественные нравы; если же для столь многих слуг довольного числа господ не найдется, тогда принимаются они за разбои. Но когда бы дворянство столь богато было, чтоб могло оно дать им упражнение, тогда бы великое число таких людей в деревнях их осталось, и они размножалися бы тогда, вместо того что ныне в нищете погибают.

Для умножения людей должно сделать главным их упражнением земледелие. Новые земли учинить плодоносными есть то же самое, что и новые земли завоевать без потеряния людей несчастных. Степи от Бордо к Байоне имеют двадцать миль в пресечении. Законодатель, который населит оные, будет более победителя. Арабы, коих суеверие изгнало из Гишпании, требовали дозволения на них поселиться; но рассуждено лучше оставить их пустыми. Нам бы совсем в чужих руках не было нужды, когда бы наши были столько умножены, сколько возможно. Не говоря о других средствах к умножению людей, одно бы дворянство, разливая на свои деревни питающий сок, от купечества извлекаемый, людей насаждало.

Кто желает узнать, сколь скоро размножаются люди посредством купечества? Иоганн Вит, исчисляющий непрестанно приращения своего народа, сей вольности и общего благополучия страдалец, удовольствует того любопытство. Провинция Голланд в 1622 году считала только 1200 человек своих жителей; в 1670 году имела уже она 2 миллиона 450 тысяч. Когда бы агличане в новой части света, в которой кроме купцов никогда никаким людям быть не долженствовало, когда бы агличане, повторяю я, ныне *аппахиты,*[1] устремились перелезти стену, разделяю-

[1] В оригинале Apalachiten. *(Прим. ред.)*

щую нас с ними от натуры, когда бы они вломиться захотели, то бы все оное должны мы приписывать столько же многочисленным их селениям, сколько жадности к лучению земель.[1] Великое купечество произвело тамо великое людей размножение; оно есть такой источник, который разлиться хощет. Но возвратимся теперь к нашей начальной земле и стороне.

Франция, могущая землею своею содержать до 25 миллионов людей, могла бы чрез купечество содержать их еще более. Без оного были ль бы столь много населены в Голландии болота, чтобы уже составить могли в Европе и в Индии свободную силу? Если то не решено еще, что мы любим государство, то по крайней мере известно, что мы любим наших государей. Мы хотим то, чтоб были они велики, сильны и двор имели бы великолепный. Когда бы наш народ, если то возможно, удвоился, когда бы государи наши имели 36 миллионов подданных, то с кем бы их сравнять можно было? Имение людей состоит в землях, а истинное имение государей состоит в людях; и, может быть, наши бы государи предприяли наконец, при удвоении своего благополучия, удвоить и наше благосостояние. Учиним дворянством начало сего людей умножения. Пускай оно не только шпагою отечество свое защищает, но и доставляет ему детей посредством купечества. Тогда последует от сего купечества и

БОЛЬШИЕ РАСХОДЫ,

составляющие другое государственное преимущество. Для сей причины бедны поляки, ибо мал у них расход съестным припасам, в земле их растущим. Народ, из дворян состоящий, обязанный служить равному себе, тратит гораздо менее, нежели бы тратил тогда, как бы он богат был. Наши дворяне не дошли еще до сея тягостныя чрезвычайности, но то уже известно,

---

[1] Агличане могли бы сие самое сказать о французах, но только с большим еще основанием. *(Юсти.)*

что они столь же мало тратят хлеба и вина, а на домашние припасы и на платье еще менее. Аббевиль не делает для них сукон, Лион — шелковых материй, Бове — обоев, Париж — зеркал и новых мод. Наши селения не дают им кофе, шоколаду, сахару и хлопчатой бумаги. Аглинский и голландский крестьянин все сие употребляет. Он одет лучше и лучше, нежели они, имеет домостройство.

Я не хочу проповедовать роскошь, но если при расходе нужны законы, то должны они относиться на чужестранные товары, нашим вредящие; а именно, на переливное вино, на голландские сукна, на персидские шелковые материи, на индейские редкости, на камни, Восток украшающие, и на все то, что, лишая нас злата, отдает оное чужестранцам. Ту роскошь, от которой государство беднеет, почитаю я истинною роскошью. Если б шелк, золото и алмазы росли во Франции, то бы могли они и быть в великом употреблении. Когда гишпанцы взяли Перу, тогда нашли они дома, златом украшенные и покрытые. Сие для перувианцев не мотовство было, а для нас непростительно. Что же надлежит до плодов нашея земли и до товаров из наших фабрик, то желать надобно, чтоб величайший расход оного употреблен был на содержание мануфактур и художеств. Тот, кто собирает сокровища, есть вредный подданный, ибо останавливает он в государстве течение денег, душу его составляющее. Бедный человек, который ничего не тратит, состоит с таковым в одинаком сравнении.

Положим, что 30 000 дворян, через купечество обогатившиеся, будут ежедневно тратить по три фунта более, то ежегодно последует расход более девятью миллионами пятьюстами тысячами; чрез таковой расход какое бы содержание могли иметь работники и художники? Тот народ истинно богат, который, трудясь неутомимо, более имеет расходу; и государство, расход делать умеющее, ободряет людей к работе. Я не намерен долее следовать сей источник, коего содержание ясно до самого основания каждому видно. Теперь привлекает меня к себе важнейший предмет.

«Море, — говорит кардинал де Ришелье, — есть не только такое наследство, на которое требование имеют все монархи, но еще и такое, на которое права каждого весьма неясны. Старое право на сие господство есть сила, а не разум».

Определены ли мы к приобретению сего титула силы? Сей вопрос никогда бы не мог быть сделан, если б мы лучше себя знали. Одною рукою касаемся мы до Средиземного моря, а другою до океана. Естество подвергло нас морской силе. Последнее правление ободряло земледельство, оживляло художества, учреждало мануфактуры, повелевало рыть каналы; остановилось оно на самой половине дела сего; оно дало нам корабли и пристани. Не внутренний торг обогащает государство; он доставляет нам только одно хождение денег, число их не умножая. Сие великое дело предоставлено более внешнему купечеству. Отворяет Европа нам свои пристани, зовет нас Азия, ожидает Африка, и Америка на нас полагается. Земля наша, художества, труды и мануфактуры наши, если мы к оным старание приложим, произведут нам довольно вещей для промена оных на злато других народов или на материи, в злато преобращающиеся. Нет причины жалеть нам о перуанских сокровищах: великий торг богатее Перу. Время уже настало построить чрез море мост; мост Колбертов со всех сторон колеблется. Дерзнет ли дворянство предприять сие великое здание? Время уже соединить Францию со всем светом морскою силою, всех других превосходящею. Один приморский город, три- или четыреста великих купцов имеющий, отпускает в море два- или триста кораблей; сколь же бы много отпустить могли дворяне, которых число столь велико мы имеем? Тогда бы должно было тысящами считать корабли наши. Дворянство устремляется всегда к прославлению себя, и без сего различия достоинств не имело бы оно пред простым народом преимущества. Здесь, без сомнения, дворянство бы себя отличило дальнейшими предприятиями, величайшими намерениями, неутомимым попечением, под-

креплением работ, храбрым духом, лучшим учреждением и бо́льшим числом морския силы; и с таковым умножением торгующего флота чего бы мы еще предпринять не могли!

Все наши провинции не только излишнего, но и необходимого не имеют. Голландцы содержат великое число кораблей, дабы из одной пристани в другую перевозить собственные наши съестные припасы и богатства нашея земли. За наем платим мы деньги и обогащаем их нашим собственным имением. Сие уступленное право из одной пристани переходить в другую мы бы опять купили и напрасно бы обогащать чужестранцев более не стали.

Северный торг столь же нам нужен, как и флот наш, ибо оный дает нам нужные ко флоту материалы. Голландцы, сии морские гонцы, взяли в три года 1 400 000 фунтов наших денег за один наем кораблей, которые привезли в наши гавани корабельные материалы. Но сие бы еще значило немного. С тех пор как роскошь обладает севером, покупают голландцы наши шелковые материи, галуны, моды и разных родов дорогие наши камни, и когда они от нашего рачения извлекли себе неизмеренный прибыток, который бы чрез непосредственное мореплавание нам самим достался, то платим мы за корабельные материалы весьма дорого, а иногда и за тяжелую цену их достать не можем. В последнюю войну, прежде нежели дошли мы до известного с ними разрыва, дали они повеление кораблям своим, на счет Гавра и Бреста в Ригу нагруженным, возвратиться опять в Амстердам для выгружения их товаров. Мы освободились бы от сего тяжкого ига, и наше дворянство взяло бы в чести сей особливое участие.

Наши селения требуют от нас работников для произведения знатнейших материалов, кои в наших мануфактурах выработываются. Когда бы наши острова под Винде и Канадою и имели добрую пашню, то Сент-Доминго останется еще весьма удален. Каенна, могущая себя обогатить и наши богатства какаом умножить, содержит в себе только от 500 до 600 жителей. Луизиана, сия для людей и скотов столь здоровая земля, которая производит нам хлопчатую бумагу, шелк, пшено,

крутик, а особливо табак, чрез что освободились мы от пяти миллионов подати, которую ежегодно мы агличанам платили, — Луизиана, говорю я, есть большая степь на 400 миль, большое в пустоте лежащее государство. Африка подает нам средство для учинения сея степи плодородною, но Англия нас того лишает. Она чрез одну реку Гамбу проводит от пяти до шести тысяч арапов, где наша Индейская компания выводит их из Гвинеи только от 5 до 600 человек. Ямайка, конечно, не с такою помощию собирала сахар и хлопчатую бумагу, Виргиния сеяла табак; Новая Шотландия воздвигнула многие города и несколько крепостей в четыре года. Африка не только представляет нам работников, но она имеет еще воск, слоновую кость, золото, и ей нужны товары наших мануфактур.

Купечество наше, сколь много ни блистает, но оно еще теперь в самом младенчестве; должно ли дворянство отказывать ему в приращении его благосостояния? Ищут разрушения его неисчислимым множеством чужестранных купцов, неизмеримым имением и ужасным числом кораблей. Голландия, сие малое государство, морем возвеличенное, не признает совсем другой стихии. Она непрестанно на воде в движении и готова всегда устремляться к тем предметам, которым мы устремляемся. Англия с десятью тысячами кораблей и со сто пятьюдесятью тысячами матросов, служащих ее купечеству, Англия, говорю я, является повсюду; сии две области не только у чужестранных, как-то: у африканцев, азиатцев и американцев, нас гонят и предприятия наши подрывают, но сие бывает и в наших собственных селениях, где они слагают товары своих фабрик во вред нашим и откуда берут они те материалы, которые должны родиться для нашего прибытка, ибо выработываем мы оные нашими трудами. Сие самое причиняет двойной урон, который ежедневно умножается.

Я уже сказал, что Англия является повсюду. Разве Франция не может так же достигать до величества? Откроем ей себя; мы успеем более, нежели сама Англия. Она дворянство свое привлекла к мореплаванию; почто нам своего туда не привлекать, почто не защищать нам купечество во всяком на него нападении? Жалуются

непрестанно на малое число мест для пристроения дворянских фамилий, делают различные движения, требуют милостей, осаждают Версалию, ищут отвсюду чинов, в которых им отказывают, и для избавления себя от гроба ввергаются в пропасть; что делать с дворянством? Но трудно ли на сей вопрос ответствовать? Мы имеем необходимую нужду стараться о умножении нашего кораблеплавания. Малейший купеческий корабль считает множество офицеров. Мир не налагает оков на морских разбойников; и когда война объявлена бывает, тогда весть о ней не вдруг достигнуть может от одного полуса до другого; отнимают корабли у нас, которые ничего не страшатся и не учреждены для обороны: если продолжать купечество и в военное время, то должно оно со всех сторон быть вооружено. Каперы нужны нам как в мирное, так и в военное время. Несмотря на сие, говорят еще в сомнительном смущении, что делать с дворянством? Капитаны, поручики, каперы, купцы, покрывающие море кораблями, которые отнимут у агличан равновесие купечества. Тому уже 80 лет как нам сие удалося,[1] что ж бы могло случиться дале, если б мы только захотели? Для чего бы сим офицерам купеческого флота, учиня себя и государство счастливым, не быть способными перейти во флот военный. Новое преимущество, коего довольно определить невозможно.

Известно, что купеческий флот почитается кормилицею военного и что, когда тот слаб становится, тогда сей бывает уже при последней крайности. В том все согласуются, что тот воспитывает для сего матросов и мастеровых каждого рода, но того еще никто не знает, дает ли он ему искусных офицеров. Англия уже довольно в том уверена. К чему готовила она те адские машины? Котора города клялась она о погибели? Сент-Мала. Но за что? За то, что сия купеческая крепость была ружейным двором каперов и училищем героев, кои могут быть дворянами и иметь будут все способности лишить ее морския области. Для чего мы с ними

[1] Сие доказать весьма трудно. Англия за 86 лет имела уже пространное купечество и знатные селения в Америке. В то же самое время трудился великий Колберт над основанием купечества во Франции. *(Юсти.)*

заключить не можем мира? Англия страшилась тех мореходцев, которые составить могли тамо купечество посреди мира. Военный флот засыпает в объятиях долговременного мира; возгорается война, ищут людей приобыкших — и находят таких только, коих еще приобучать должно. В пристани не можно научиться знать море, убегать камней, презирать бурю, измерять вражеские силы, нападать на него с преимуществом, защищаться от ветра, воды и пламени, от сего тройственного неприятеля. Воины способны только к сражению бывают. Сие самое последует и с нашим купеческим флотом: как в военное, так и мирное время будет он в непрестанном действии; тогда можно уже будет брать оттуда в королевский флот офицеров, кои все видели, все испытали, все узнали, всему противились и тело свое приучили к беспокойству, а душу к опасностям. Купеческий флот произвел Миниаков, Дукассов, Бартов, Гуге-троинов. Почто не таким же образом воспитывать и нам свое дворянство? Места во флоте королевском для него только и определены; оно их заслужит и должность свою исполнять будет со славою. Гуге-троин научит его, что искусство имеет ту же самую цену, какую имеет благородство.

Уже настали те времена, в которые спорящие с нами о первенстве превзошли нас силою морской. Лондон подкрепляемый своими двумястами военными кораблями, исчисляет наши силы, заводит с нами брани и уже в обеих Индиях нам угрожает и на нас нападает. Купечество наше скучает ему, селения наши озлобляют его, воскресающий флот наш огорчает его; желает он задушить его при рождении, ищет морския битвы, которая, будучи и самой маловажнейшею, разрушит наше купечество. Купцы наши, вооруживше капперов в последнюю войну, претерпели убытку 140 миллионов, и отнятая у нас добыча силу их противу нас умножила. И возможно ль не подозревать такой народ, который в делах подобен карфагенцам, а в мыслях римлянам; но что я говорю? Сии ли еще мысли имеют агличане? Уже скучила Англия быть добродетельною, насытяся богатством. Марциус Фигу сказал следующее карфагенцам: «Море и приобретенная вами над ним область, также

и извлекаемые от того сокровища привлекают вас ко всем предприятиям. Для сей причины дерзнули вы взять Сардинию, Сицилию и Гишпанию, нарушить все мирные договоры, грабить наше купечество, бросать в море войско наше, для сокрытия вашего злодейства; словом, морская ваша сила сделала то, что для вас нет ничего на свете священного и что вы злочестие себе за честь почитаете, которое наказать мы были не в состоянии». Не в состоянии наказать... Сие признание для римлянина весьма тяжко. Чего же мы, будучи бессильны, претерпевать не должны! Рим, на коего напали кораблями, узнал наконец, что полки его еще не довольны, и для того завел свой флот.

Помпей затвердил в памяти Фемистоклово правило, которое желал бы я написать над чертогами наших королей: *кто царь на море, тот царь надо всем.* Людвиг XIV доказал сию истину. Он сей силе противуположил подобную. Сто тридцать два французские корабля возгремели победою: цари моря лишились своих скипетров, которые перешли в руку великого царя. В 1665 году спросил он у одного полководца, которому потом все прочие подражать старались, полезного совета о том, что начать, если умрет Филипп IV. Герой ответствовал ему, что морская сила столько же нужна, сколько и сухопутное войско. Когда бы Тюрен был не более, как только герой, то бы ответа сего он не учинил. Он бы тогда не предусмотрел никакого государственного преимущества в таком месте, с которым не соединена собственная его слава. Он был великий человек. Дельфский оракул вещает нам, яко афинянам: *защищайтесь и нападайте на врага в стенах древяных.* О, если б не заслужили мы хотя того упрека, который делает Франции кардинал Оссат, когда она флота не имела. «Сей недостаток, — говорит он, — есть примечательнейший и постыднейший. С прискорбностию я давно на то уже взираю, что сие королевство само от себя терпит недостаток». Антон Перец, старый гишпанец, доживший седых власов в делах политических и наконец бывший в несчастии, думал, что Генриху Четвертому за свое спасение и за все его к себе благодеяния довольно возблагодарил он сими словами: Roma,

conseio, Pielago, *Рим, тайный совет и море.*[1] Что из сих трех превосходнее? Никто не оспорит преимущества двух последних.

Мы все вдруг привести в состояние не можем. Время всему поможет, если только основание сделано благоразумно. Если бы дворянство единожды обратилося к купечеству, то бы скоро познало, что торговать морем всего полезнее и всего способнее к великим предприятиям. Наш купеческий флот будет умножен, и снова восставятся множество каперов, кои могут быть героями во флоте королевском. Мы в рассуждении моря займем только то у наших соперников, в чем подражать им почитается за свято. Адмиралы Ансон и Вернон, которые в последние времена привели в страх Гишпанию к своей короне в Америке, провели юность свою в купечестве.

Государь, почитающий крепость паче побед, прилагал попечения о дворянстве, которое сделало ему более славы, ибо оно полезнее, нежели трофеи. Но много есть и таких, которые сею государскою милостию пользоваться не могут. В то время, когда пятьсот дворян воспитываются в столице, ищут братья, сродники, друзья их, словом двадцать тысяч других дворян, убежища себе напрасно. Море предлагает им места, когда земля оные им отказывает, и венецианские дворяне, гордящиеся до глупости своим дворянством, предаются купечеству. Нет такого купеческого корабля, который бы не был училищем детей их и не помогал бы благополучию всея республики.

Столь великие преимущества, происходящие государству от торгующего дворянства, должны непременно умножить *земледелие, число людей, употребление съестных припасов и мореплавание.* Если все сие правда, то для чего г. Монтескио не предвидел оного, который, впрочем, столь великое имел проницание. «Люди, — говорит он, — плененные учреждениями других государств, думают, что во Франции нужны законы, которые бы обязали дворянство вступить в торговлю. Чрез

---

[1] Testament Politique du Cardinal de Richelieu, chap. IX, sect. 5.

сие дошло бы дворянство до истинной погибели, без малейшия пользы купечеству».[1]

Я весьма удивился тому, что сей великий дух, который столько был послушен философии, что никогда решительно ни о чем не говорил, при сем случае говорил решительно. Если б рассудил он за благо сказать свои причины, то бы постарался я сделать оным возражение. Все то, что я сделать могу, состоит в том, чтобы славе его противуположить другую славу. Господин Вобан, другой великий дух, рассуждает за благо дворянству торговать.[2] Но, может быть, сие не почтут довольным возражением. Возможно ль быть тому, скажут тогда, чтоб господин Монтескио не предусмотрел пользы и необходимости дела сего? На сие ответствую, что человек всего видеть не может. Невтон, который видел на небе все, и самую древность света, не мог на земле открыть электризации. Сказать решительно, что погибнет французское дворянство без малейшия пользы купечеству, ежели дворянину торговать дозволено будет, есть не иное что, как говорить против того, что происходит в Генуе, Венеции, Британии и Англии, или, лучше сказать, не верить опыту, который почитается сильнейшим доказательством.

Если бы для отверстия купечества дворянству должен был я иметь дело с одним здравым рассудком, то бы все ворота скоро были отверсты; но здесь имеем мы дело с предрассуждениями, светом владеющими. Петр Великий имел более труда заставить россиян брить бороду, нежели делать их людьми. Между тем, царствовали уже предрассуждения, кои мы победили; сие основание подает нам надежду. Мы не думаем так, как думали предки наши, что анатомия человеческого тела есть церковная татьба и что не должно погребать того, который не оставил церкви имения. Наши ратсгеры не полагаются уже во гроб в капуцинском платье для приобретения царства небесного. Астрология потеряла славу свою, исчезло волшебство, мечтания сделались смешными, отставлены поединки и отменен суд божий

---

[1] Esprit des Loix, tome II, chap. 25.
[2] Système de la Dîme Royale.

чрез огненные и водяные опыты. Я нарочно упоминаю предрассуждения закона, ибо оные победить всего тяжеле в свете. Тем славнее над оными победа. Здесь следует другая лавровая ветвь. Сами дворяне, кои предались заблуждению, столь много природе их лестному, большую часть оного уже оставили. Уже невежество себе в честь они не ставят, и наши рыцари в различных платьях не странствуют по свету и не имеют поединков за честь своих *дам.*

Со всем тем выслушаем предрассуждение. Оно будет приносить на нас жалобу, если обвиним мы его, не принимая никакого оправдания: *дворянская честь весьма нежна; но будет ли то ей предосудительно, если дворянство вступает в купечество.*

Сколь ни нежна дворянская честь, но она носит знатных господ ливрею, служит на их конюшнях и в передних комнатах: один только титул пажа или шталмейстера наводит, так сказать, как на сии домашние службы. Если для презрения купечества, в угодность дворянства, нужны одни только слова, то язык наш довольно нам оных произвесть может; и сие тем легче будет, чем менее купечество имеет при себе служащего, ибо оно зависит от одного государства и от самого себя.

Ни маркиз де Лассе, ни г. Монтескио не говорят еще того, чтоб купечество было бесчестно для дворянства. Сия речь им самим в честь не послужила бы. Но кто говорит сие? Говорят большие господа, коим все сорадуется и кои не пекутся о том, плачут ли другие; говорят безрассудные, почитающие мнения свои важными и честь в единой суете полагающие. Говорят странствующие рыцари, известные ныне не по делам геройским, но по некоторым прислугам. Говорят те, которые служат свету бременем и бывают часто тамо опасны, где они обретаются. Противоположим их господам Руссо и Пеньиону-седанцу, и париженцу Жулиену, сим добрым мещанам, коих счастие сделало многих других благополучными и кои питают науки и людей. С которой же стороны почитать должно честь, благопристойность, важность, достоинство и истинное дворянство? В сем деле могу я учинить свободное признание. Сколь долго игра, удовольствия, мотовство, гордость содержать бу-

дут суетность дворянской знатности, столь долго купечество оного не примет. Ибо когда оно играет, то, конечно, прежде работало; когда веселится, то должно оно иметь прежде великие затруднения; когда оно мотает, то мотает не безрассудно; когда оно оказывает щедрость, то видно, что уже долги свои оно заплатило; когда вдается оно приятности наук, то, конечно, семья его уже удовольствована и не страждет слуга его. Наконец, если оно и великолепие показывает, которое, однако же, никогда ни неправдою не приобретается, ни гордостию не напыщается, тогда в оном ни народ, ни знатные ему упрекать не могут. Что же надлежит до бесполезности сообществ с знатными людьми, то они, зная оное, никакого обязательства с ними не имеют.

Предрассуждение устремляется и в развалины древности и прах оныя отрясает на купечество: *египтяне*, говорит оно, *жиды, многие греческие республики и римляне презирали купечество*. О, если б мы во всем последовали древности, сколь бы много добрых дел мы предпринимали! Мы бы женились на сестрах наших, как египтяне, изгоняли бы жен своих, побивали бы их камнем, как индейцы, сделали бы их общими, как спартяне, отставляли бы детей своих, убивали бы их тогда, когда не походят они на юнейшую сестру, как то было в первые времена Рима, и рассекали бы на части должника, не имеющего чем заплатить долг свой.

Но доказано ли то, что древние взирали на купечество презрительным оком? Египтяне удалялись сперва от всякого сообщества с чужестранцами, в силу своей веры и обычаев. Иудеа представляла также народ отдаленный. Египтяне и иудеи почитали весь свет оскверненным, да и сами они друг друга почитали иногда таковыми; но сия ревность недолго продолжалась во вред купечества. Наконец флоты обоих народов имели брань за азиатские и африканские сокровища. Что же надлежит до греков, то хотя Спарта и изгнала купечество от невольников, но сие огорчение случилось не одному купечеству, но и земледельству и наукам; напротив того, сим грекам могу я против положить других греков. Если каждой вещи отдавать справедливость,

то надлежит признаться, что Афины и Коринф сто́ят Спарты; но оба они купечеством прославились. Если же Рим столь долго оное пренебрегал, сколь долго упражнялся в пролитии крови, то хватился он за торг, как скоро отдохнул от сего упражнения: благополучная Арабия привлекала тогда к себе римских граждан.[1] Сей народ, будучи сам царем, имел торги: сто двадцать кораблей ежегодно отправлялись в Индию и возвращались оттуда, нагружая корабли свои товарами на пятьдесят миллионов сестерциев.[2]

Да не возражают мне тем, что Клавдиев закон запрещал патрициям торг, как нечто непристойное. Я, конечно, судьям нашим не присоветую соединять весы купечества с весами правосудия; они и так имеют уже довольное упражнение сохранять общий порядок. Я скажу лучше к сему подверженному им людей множеству, которое непрестанно трудится в ковании оружия на обиду граждан: обогащайтесь и честною жизнию составьте государственное благополучие; упражняйтесь в купечестве! Столь же мало советовать я буду нашим воинам, оказавшим уже храбрость свою или могущим при случае оказать оную, извлекать непрестанно меч за купечество; но паче многочисленное дворянство, к праздности осужденное, увещевать я буду к принятию участия в трудах и благополучии купцов.

Трудно узнать рассуждения древних о купечестве. Римляне, например, имели закон, который соединял жен, имеющих купецкую лавку, с рабами, целовальниками и комедиантами,[3] но другой закон придавал титул римского гражданина тому слуге, который шесть лет имел хороший торг и наполнил римские магазейны.[4] Такой слуга пожалован был дворянином, ибо учинил он благородное дело; для чего же презирать женщину, которая торговлею питается? Когда говорит Цицерон о нужных припасах, купечеством доставляемых, то не хочет он, чтоб один и тот же народ был государем и упра-

---

[1] Plinius, lib. VI, cap. 28.
[2] Ibid., cap. 23, et Strabon, lib. II.
[3] Leg. 5 de naturalibus liberis.
[4] Ulpian Sueton, in Claudio.

вителем торгов целого света;[1] сверх того похваляет он купечество в знатных:[2] когда торг нужными припасами не имеет таких важных предметов, как торг, роскоши споспешествующий. Итак, невозможно делать заключение о сей материи, приняв в уважение времена Цицероновы, ибо город, упражняющийся в избраниях, в исканиях чести и в тяжбах, устремляющийся царствовать оружием, ослепился легко в рассуждении купеческой пользы и достоинства.

Для совершенного рассмотрения дела сего необходимо надлежит различать времена, ибо бывают случаи, в которых и великие духи справедливо рассуждать не могут. Цесарь и Карл Великий, ослепленные завоеваниями, не взирали на купечество; перемена времени влечет за собою перемену понятия.

Возвращаясь к жидам, находим мы, что Давид восхотел войти в величия божия, не разумея делати куплю. Соломон премудрый и Иосафат, священный царь, думали доказать оное тем, чтоб послать в Чермное море торгующие флоты. Пророк Иезекия упрекает городу Тиру, что осквернился он купечеством.[3] Исай возвышает торг над всеми городами: называет его царем моря, купцов князями и работников их знатнейшими в государстве.[4]

Первое христианство имело учителей, кои достойную честь купечеству оставляли; имело и других учителей, кои презирать оное старались. Святый Хризостом, держа в деснице громовую стрелу, вещает тако: *не может быти купец угоден богу; не может быти купец христианином, а если оным быть хочет, то да будет он из церкви изгоняем.*[5] Если бы последовали его совету, то бы Константинополь и все святые с голоду умереть должны были.

Между нынешними учеными не можно найти согла-

---

[1] Nolo eundem populum imperatorem et petitorem esse terrarum.

[2] Lib. l. de Officiis.

[3] In multitudine negociationis tunc repleta sunt interiora tua iniquitate, cap. 28.

[4] Quis cogitavit hoc super Tyrum quondam coronatam, cujus negociatores principes, institores ejus inclyti terrae? Cap. 23.

[5] In II. parte homil. in matth. 21.

сия во мнениях. Бодин[1] и Тиракель[2] запрещают дворянству купечество, а Балдус увещевает всех дворян к тому, яко к полезнейшему делу.[3] Да предложат вопрос сей Италии, Дании, Англии и Голландии. Сами дворяне решат оный в пользу коммерции, но немецкое и польское дворянство против сего возопиет. Шевалье де ла Рок, повествующий сии противные мнения, которые надлежат до утверждения дворянской чести и преимуществ, не может сам того решить, надлежит ли вступать в купечество дворянству?

Французское дворянство поступит весьма благоразумно, если решение сего вопроса возьмет оно само на себя или примет в уважение дела уже случившиеся. Солон может, конечно, равняться с дворянином из Боса или Пикардии. Он произошел от Кодруса, последнего афинского царя, и прежде, нежели дал он афинянам законы, возвысил он их купечеством:[4] «В сие время, — говорит Плутарх, — не почиталось никакое рукоделие бесчестным и никакое упражнение не делало между людей различия; купечество было в особливом почтении, ибо отверзло оно коммерции с чужестранными народами, ибо подает оно средство вступать с царями в дружеские обязательства и наставляет в таких делах, которые до сего не были известны». Я не знаю, может ли Протус показать на дворянство грамоту; сей купец дерзнул основать Марсейль, которая столь много веков служит к нашему обогащению.[5] Катон произошел, конечно, из последнего дома. Цари требовали его помощи прежде, нежели был он биргермейстером. Впрочем, известна строгость его в рассуждении добродетели и чести; со всем тем имение свое умножил он купечеством.[6] Я не буду приводить на память ни Ипократа, ни премудрого Фалеса, ни божественного Платона, которые вступили все трое в купечество.[7] Не удивительно то,

---

[1] Lib. v. Reipubl.
[2] Cap. 23.
[3] In rubricis de Clericis peregrin.
[4] Plutarque, Vie de Solon.
[5] Ibid.
[6] Idem, Vie de Caton.
[7] Idem, Vie de Solon.

что философы не нашли ничего бесчестного в таком похвальном упражнении, но Рим паки меня к себе призывает. Что вижу я? Пертинакс вступил в купечество[1] и скоро носить будет императорскую корону; император Каракалла не был купец, но почитал купцов. При александрийском кровопролитии он доказал то довольно, ибо все дворяне, священники, судьи и воины умерщвлены были и пощажены одни только купцы.

Отворя архивы мира сего, найдем, что купечество в лучшее время у всех народов было в великом почтении: в Египте при Птоломее Филадельфе, в Иудее при Соломоне, в Афинах при Перикле, в Карфагене при Ганноне, во Флоренции при Козьме Медизе, в Великобритании при Елисавете, в Голландии при знаменах вольности и в России при Петре Великом. С некоторого довольного времени привлекает к купечеству дворянство и собственная их нация, которого упреков страшится оно без всякия причины.

В 1614 году государственные чины наши, рассуждая об общем благополучии, предложили дворянству вооружать корабли, вступать в мореплавание и заводить большее купечество. Предложила ли бы нация какую-нибудь непристойность такому почтенному состоянию, которое еще более достойно будет почтения, если оставит оно предрассуждение и постарается заслужить знаки чести не одним титулом. С сего времени короли наши не допускали потухать сей первый жар. Уже сделан путь, почто нам оставлять его? Купцы, шествовавшие в Гишпанию под предводительством коннетабля де Гвисклина противу Петра Жестокого, были дворяне; история называет их *торгующими рыцарями.* Якоб Кир, усмиривший бургонский дом, возвративший французскую корону истинному ее наследнику и толико славный при дворе Карла Седьмого и во всей Европе, был бесконечно более купечеством, нежели своим баронским состоянием. Тот, который твердое положил основание в Акадии, ныне Новой Шотландии, кто основал Порт-Рояль, нынешний Аннапаль, столицу купечества, не для агличан учрежденную, Петр Монтс, говорю я,

[1] Hist. du Comment. des Anciens par Mr. Huet, chap. LVII.

был дворянин, служивший при дворе Генриха Девятого; если б довольствовался он сею только честью, то бы в истории столь же мало было известно его имя, как и последователя его Пуатринкурта, который паче возвысил купечество, покорив сердца диких народов. Я знаю, какого почтения достойно дворянство. Я остерегусь, конечно, в собрании поклониться прежде ученому, нежели маркизу; но мне по крайней мере дозволено будет засвидетельствовать потом и ученому мою преданность; итак, науки имеют уже некоторое почтение. Молодой человек, которого великий дух был известен и который зван был во храм наук, дабы поставить его по сторону отца его и деда, не почел за бесчестие вступить в купечество. Может быть, мы бы и пользовались его успехом, но чрезвычайное движение натуры, разорившей Лиссабону и грозившей Кадиксу, поглотило внука великого Расина. Науки и коммерция окропили гроб его слезами.

Я оставляю приватных людей выводить на театр города и провинции. Дворянство марсельское, Нормандии и Бретании вышло уже в море под владением Карла IX, которому купечество его угодно было и который в 1566 году удостоил их жалованною грамотою. Разве дворяне из Прованса, Бретании и Нормандии менее вас думают о чести?

Но я забываю уже то, что вы в купечество вступили, сами о том не ведая. Торг ваш для того мал, что вам великий противен. Вы торгуете вином и хлебом; но есть ли в том великая разность, чтоб брать товары в собственной своей земле или покупать оные на продажу? Вообще сказать, кто бы не должен был вступить в купечество? Сципион, карфагенский разоритель, похвалился тем, что он никогда ничего не продавал и не покупал; лучше бы было то, если б он похвалиться мог тем, что не имел участия в неверности римского сената против карфагенцев. Купечество есть душа всех сообществ. Оратор продает свое красноречие, писатель дух свой, воин кровь, политик свои намерения. Дворянин, ни в чем оном участия не приемлющий, мог бы продавать плоды наших мануфактур и художеств. Он продает же лен непрядсный, для чего не продавать ему пряжи?

Но можно ль тому статься, чтоб дворяне в лавках мерили и весили? Я спрашиваю только о том, лучше ли жить им в маленькой деревне беспечно и вредить своей праздностию себе, семье своей и всему государству? Вы страшитесь малого торга для того, что вы дворяне? Но кто же вам сказал о том, что проворство ваше ограничило ваше счастие в малых предприятиях? Море показывает вам пространнейшее поле, нежель тщеславие ваше: нет такого народу, который бы не представлял вам свои сокровища; и отечество ваше так, как и сродники, отверзает свои объятия для принятия вас в оные. Сожалеете ль вы о господстве над малым двором своим, когда можете посылать в Каиро и Сурат ваши повеления? Сделайте лишь начало; один торг приводит к другому, малый к посредственному, а посредственный к большому. Козьма де Медицис, отец и защитник Флоренции, человек и купец, не вдруг сделал благополучным себя и свое отечество. Он забыл свое дворянство, и потомство возвышать его будет непрестанно до тех пор, пока не замолчит оно от самодержавных государей, носивших его имя. Не всякому дано достигнуть купечеством до такого величества и славы; но можно довольно быть славну, если только при оном остаться.

Честь, сия страсть благородных душ, сие к великим делам побуждение, не всегда по истинному ее свойству представляется. Дворянство родилося для чести: сие внушают ему с младенчества. Предрассуждение их в том утверждает, и они с прискорбностию спрашивают о том, не бесчестно ли купечество?

Что до меня касается, то я еще вопрос предлагаю: состоит ли в том честь, чтоб иметь участие в преимуществах своего отечества, дать людям полезное упражнение, земледелие приводить в цветущее состояние, доставить деньгам хождение в государственном корпусе, восставить общую поверенность и возвысить счастие государства в таком свете, который от нас хотела скрыть натура? За сии американские селения, доставляющие толь многим людям содержание, упражняя корабли в отвозе товаров и в привозе других с стократною выгодою; селения сеющие, ибо они причина тому, что заводим мы мануфактуры; селения, новую Францию

составляющие и тем обогащающие старую, — за сии селения, вопрошаю я, кому мы обязаны? Купцам, учинившим первые откровения, исследовавшим тамошние земные произращения, сравнявшим наши надобности с американскими и победившим тамошних природных жителей приятностию и прелестию купечества. Строгость употребляема была уже после; вот какого свойства купечественная наука.

Бесчестно ли о ней стараться? Похвально ли искать союзников своему отечеству? Где нет денег, тамо нет союзников, а деньги доставляет одно купечество. Голландия всегда иметь будет союзников, ибо коммерции ее весьма велики.

Англия для сей же причины может везде и в самых отдаленнейших местах иметь союзников. Мы сами не можем ли найти истинных наших союзников в таком великом числе купцов, которое дворянством умножится и имением его утвердится? Может быть, мы купеческим и военным своим флотом, если оные приведены будут в совершенство, сделаемся себе сами довольны.

Можно ль найти честь в купечестве? Честь ли в том, чтобы защищать свое отечество? Египет остановил ревность и ярость крестных походов тою силою, которую ему доставило купечество. Нужно ль вспоминать нам несчастие, падение и общую печаль Франции в 1710 году? Нужно ль вспоминать нам непреклонную гордость наших неприятелей при заключенном мире в Гетрупдембурге и унижение толь великого государя, который много раз управлял судьбою Европы? Сент-мальские купцы возвратили из Перу корабли свои, и тридцатью двумя миллионами почерпнула Франция опять свои силы, которые восставили ей мир и победу. Если бы дворянство такие сокровища имело, то б, без сомнения, учинило оно такое же полезное ему употребление. Города осажденные и колеблющаяся корона не должны приходить в отчаяние, если купечество оные подкрепляет. Принц Евгений помог Турину и победил нас золотом, доставленным ему от аглинских купцов. Таковые же примеры имеем мы и в последнюю войну. Сия государыня, столь многими бранями угрожаемая и которая должна была погибнуть прежде, нежели быть на

брани побеждена, каким образом собрала свои силы? Не иначе как аглинским и голландским купечеством. Сухопутное и морское войско, поспешившее на помощь ее, шло под знаменем купечества.

Можно ль еще вопрошать о том, приносит ли честь купечество? Сей вопрос сходствует с тем, приносят ли честь завоевания; мы не прежде как в Колбертово время научились иметь понятие о важности купечества. Людвиг XIV завоевал Руссильон, Вышнюю Бургонию, Ельзас, часть Фландрии и Гишпанское королевство деньгами, доставленными нам от купечества. Карл VIII, Людвиг XII и Франц I завоевали бы Италию, если бы они имели всегда готовые корабли, которые бы они, конечно, иметь могли, если б постарались привести купечество в цветущее состояние. Но прельщает ли еще нас желание к завоеваниям и к распространению нашего государства? Теперь дело состоит в том, чтобы число людей наших умножить, пахать земли наши, возвышаться своими трудами, — словом, чтоб нам обогатиться, и тогда-то будем мы благополучны. Как? Еще ли кровопролитие, военный ужас, скорбь и слезы подданных продолжаться будут! Какая то честь, когда она причиною нашего несчастия!

Еще ли о том вопрошать будут, приносит ли честь купечество? Приносит ли то честь, когда государство вооружать всеми возможными силами? Когда Голландия в средине прошедшего века достигла до сильного купечества, то в два года и в самые жестокие военные беспокойства могла она построить 6 и больших военных кораблей. Когда бы Людвиг XIV не более 30 миллионов имел доходу, который имели его предки, то бы не построил он толь многие крепости, не привел бы флот в такое состояние и не мог бы содержать столь многочисленное войско. Купечество отверзло ему свои сокровища, и 140 миллионами доходу возвысился он над всею Европою.

Нет такого государства, которому бы верх славы прелестен не был, и если в достижении до оного состоит честь, то купечество должно непременно быть почтенно. Афиняне разорили сирский, кипрский и венецианский флот, приобрели на море главную власть,

предписывали великому персидскому царю законы и, наконец, овладели самой Грециею не иным чем, как помощию коммерции. Ганнон знал тогда, что делал, когда в договорах с римлянами, кои дали приметить свое намерение о купечестве, объявил им, что карфагенцы терпеть того не будут, если римляне будут омывать свои руки в море Сицилийском. За двести лет можно ль было думать, чтоб Англия могла в 1723 году послать вдруг три флота в три отдаленнейшие части света: один для завоеванного своим оружием Гибралтара, другой в Портобелло, дабы ожидание короля гишпанского своих вест-индских сокровищ учинить тщетным, а третий в Балтийское море, дабы воспрепятствовать северным коронам начинать между собою войну? «Будет время, — сказал некогда министр королевы Анны, — что Европа не дерзнет учинить пушечный выстрел без дозволения Англии». Европа мало верит сему гордому пророчеству, но кто, кроме нас, может отвратить Англию от сих гордых мыслей? Положим на корабли то злато, которое роскошь наша превратила в серебряные сосуды. Корабли возвратятся с стократным прибытком, и мы войдем на самый верх силы. Торгующее дворянство разделит честь сию с воюющим.

Деньги, сей тиран нынешнего света, распространили власть свою повсюду с тех пор, как в употребление введен стал порох и огнестрельное оружие. Война с того времени тратит больше денег, нежели проливает крови. Сильные государства имеют сражения, кои стоят мало крови. Но что я говорю? И мало крови было бы драгоценно, если бы люди не взяли на себя свойство тигров. Словом, с тех пор как разорение ближнего считаться стало добродетелию, уже невозможно иметь войну без неисчислимой суммы; а как купечество есть источник богатства, то и стало оно главнейшим предметом всея Европы.

В четвертом-на-десять веке казалось, что только Генуа и Венеция изо всех государств могут думать и делать исчисление. Прилежность их и проворство доставляли им все денежное богатство; в самое то время Англия и Франция, устремяся на единое наблюдение суетной чести, довольствовались только мечтаниями. Тогда

в одной Италии была морская сила; в последующие времена были уже и другие. Усмотря, что главная власть имеет нужду в деньгах, приложено старание достигать до вышней власти и в коммерции. Швеция, Дания и Неаполь, кои за двадцать лет ничего о том не помышляли, имели с того времени в том более успеха, нежели мы по смерти Колбертовой. Россия, не имевшая до Петра Великого ни одного корабля, считает ныне многочисленные флоты. Прусский король, приводя в совершенство военную силу, подавая новые законы, вводя науки и художества в свое государство, рассматривая все глазами Солона и Перикла, старается ныне и о коммерции; кто знает, какой великий у него она успех иметь будет? Сама Гишпания, уснувшая на златых своих рудах, ободряется и отлагает леность для распространения коммерции. Наш сон должен быть весьма глубок, если не пробудимся от шума, происходящего от купечества ревнующих нам в преимуществе народов. Нападают на нас деньгами, и сим оружием мы сами им сопротивляться будем. В первом веке побуждало народы железо, а ныне золото. Со златом в руках возбуждают нам врагов и в самых отдаленнейших местах, где мы их, конечно бы, иметь не могли: если покажем мы большее множество сего металла, то можем сих хитро возбужденных против нас врагов склонить на нашу сторону.

Важного рассуждения заслуживает то, что ныне морская война становится гораздо обыкновеннее, но к оной потребны великие суммы денег. На море не может войско содержаться ни грабежом, ни пожарами, ни зимними квартирами в земле неприятельской. Как можно без цветущего купечества привесть флот в такую силу, чтобы тем иметь от всех к себе почтение? С прискорбностию должны мы воспоминать последнюю войну, в которую море отъяло у нас лавры, на сухом пути пожатые. Мы сами себя обманывать не будем. Сокрывающееся зло бывает всегда опаснее. Наши ораторы и стихотворцы возвышали весьма умеренность короля во время последнего мира. Первый сие сказавший нашел и в столице и в провинциях тысящи людей, повторяющих слова его. Нужен ли вымысел для похвалы героя?

Он уже довольно велик тремя выигранными сражениями и завоеванием толь многих городов, а еще более своею к нам любовию. Капбретон был завоеван, все наши селения были в опасности, наш флот, если он сие имя заслуживает, был слаб и бессилен, наши коммерции были близ своея погибели. Мир тогда непременно был нужен: премудрость привела оный в состояние. Долгое время люди стремятся во все стороны, и счастие то на одной, то на другой стороне бывает, но наконец, как бы то ни было, а всегда победу получает тот народ, который более имеет денег, то есть наилучшее купечество.

Европа, может быть, должна почитать себя благополучною, что деспотическая власть не допустила турков завести коммерции. Турецкий монарх имеет столько земель в Европе, что может равняться оными и сильнейшему своему соседу. Сверх того, имеет он Сирию, Египет и Малую Азию. Войско его равняться может с войском царей персидских. Воины его храбры и в воинской науке научены уже от христианина, коего отечество сделало собою недовольным. Остаток жидовской к вере ревности и учение о неизбежной судьбине привлекает их бежать без печали и во исступлении на неизбежную смерть. Если бы турки имели коммерции, если б были у них флоты, приличнее величине земли их, и если б было у них столько денег, сколько людей, то Европа в великой бы была опасности. Коммерции не в наши еще времена начали быть страшными. Когда император Карл VI выиграл баталию при Белграде, то не беспокоилась Европа о завоеваниях, кои потом могли последовать; но когда хотел он привести в состояние Ост-Индскую купеческую компанию, то угрожали ему со всех сторон, опасаясь той силы, которую могут ему коммерции доставить. О, если бы хотели мы проникнуть в разум слов, произносимых нашими предками: *коммерция есть душа государства.* Может быть, сие сказано было тогда и рано, но ныне сие правило находит свое совершенное употребление и распространение, ибо купечество не только есть жизнь народов, но и здравие государства. Можно думать, что народ, имеющий одни купецкие торги, приведет всех под свое иго; словом, полновесие коммерции и государственной силы есть единое.

Если о нынешнем состоянии Европы хотя мало рассуждать будем, то легко найдем, что коммерции стали душою государственных интересов и равновесием свободных сил. Уже не составляют они упражнение только приватных людей; но почитаются государственною наукою. Они стали, конечно, тем и благородны, что составляют основание величества государственного и благополучия народного.

При всем том спрашивают еще с гордым видом, можно ли честь найти в коммерциях и прилично ли в оных дворянам упражняться? Купечество не должно оскорбляться от вопроса, невежеством произнесенного. Сие самое невежество спрашивает и о том еще, прилично ли дворянину без повреждения чести сидеть на стуле, лилиями украшенном, и давать правый суд согражданам. Сей дворянин, исчисляя своих предков, не исчисляя заслуг их, убегает как возможно от всякия службы, кроме военной. Когда любви достойная нация будет и благоразумнейшею! И вы, благородные герои, извлекающие меч на врагов своих, не мните, чтоб хотел я затмевать ваше сияние: вы защищали пост свой, собирали остатки компании и во множестве врагов своих сражались; признаюсь, что тем честь себе вы приобрели; но если в самое то время юнейший брат ваш пойдет в ярящееся море и во время недостатка достанет нам пропитание, если сыщет руду золотую, обогащающую целую провинцию, то менее ли славы он тогда заслужит? Он вам дворянство ваше оставляет и своего от себя тем не отвергает. Для чего ж вам любезно дворянство, меч извлекающее, которому вы всем на свете жертвуете? Может быть, для того, что оно заслуживает то претерпенными опасностями и пролитием крови. Без сомнения, весьма похвально страдать и умереть за свое отечество, но не думайте и того, чтоб не имело купечество своих трудов, опасности и самых сражений. Когда купечество в средине наших городов спокойно процветает и не предлагает вам ничего, храбрости вашей достойного, то морские коммерции по большей части причиняют народное блаженство. Тамо найдете вы мели, бури и морских разбойников и можете пролить благородным образом на войне кровь свою для

насыщения вашея храбрости. Сухой путь никогда не представит вам случая к толь великим предприятиям. Сколько много мечей уже обнаженных и сколь много таких, кои еще обнажены будут? Мореплаватель, торгующий капер сносит все времена года, идет во все страны света и на все дерзает; он непрестанно устремляется к добыче и презирает труды и самую смерть.

Другие купцы, между тем, довольствоваться будут, отсылая из своих кабинетов повеления в Сент-Доминго и Сувебас для благополучия Франции. Если для достижения чести непременно должно проливать кровь, то надлежит Сегира, Даво и Колберта изгнать из храма славы. Сей последний сделал купечеством государству более добра, нежели бы мог сделать выигранными десятью баталиями. В сем-то состоит честь, если я не ошибаюсь.

Может быть, делаю я ложные заключения и соединяю понятия, которые дворянство решит следующим своим вопросом: *что же будет из наших преимуществ, если мы торговать будем?* Что из оных будет? В чем состоят они и для чего им не сохранять оных? Они могут, как прежде, развесить свои гербы и оказывать неудовольствие свое мещанам, кои оным хотят пользоваться; могут говорить о своих предках, когда их о том не спрашивают; могут сохранить первый слог, прибавляющийся к их фамилии; проливать кровь шпагою; начинать и делать поединки; сохранять освобождение свое от подати с тем, чтоб оные платить под другим именем; идти в монахи в дворянские монастыри для доставления всем благородным вечного блаженства; скакать с собаками по полям, носящим созрелые плоды; бить бедных крестьян, а иногда убивать их и до смерти. Можно возвратить им некоторые и из потерянных их преимуществ, как-то: достигать вышних наук в высоких училищах в короткое время, обходиться с оружием, различать себя от простых людей и многие другие преимущества, о коих за краткостию более не упоминаю.

Но я слышу возвышающийся голос их: отвори глаза, мне вопиют они, и ты увидишь сам границы, учрежден-

ные законом между нами и купечества. *Купечество возвышает дворянство.*

Египтяне не имели довольно остроты, а афиняне знания для учинения сего откровения; и в самом Риме, когда взошел на престол Тарквиний Старший, то не упрекали его тем, что он сын коринфского купца. Возвращаяся же к Флоренции, разберем то, что помышляла она в ту минуту, когда Козьма да Медицис принял над республикою правление. Она забыла сказать ему то, что дворянство его в купечестве унизится. Я искал происхождение сего закона и нашел оное в бессмертном сочинении,[1] содержащем в себе первые всех законов основания. Римляне, от коих мы имеем столь много доброго и худого, пренебрегали купечество и мало об оном старались. Народ, держащий меч в руках непрестанно и могущий обогатиться награбленным имением целого света, не имел, конечно, в коммерции нужды, и оные упали еще более нападением на римское государство. Чужестранцы, коих большую часть составляли франки, наши пращуры, почитали сперва коммерции предметом своего грабительства, а утвердяся в том, презирали они оные равномерно как и земледельство. При сем одном дело не осталось, но воспоследовали еще другие непочитания. Богословы, коих словам тогда верили, пленились Аристотелевой философиею и из нее взяли свое учение. Отдавание в рост денег почитали они лихоимством и оное проклинали. Чего ради купечество, бывшее тогда упражнение подлых людей, оставлено было одним жидам, кои почитались бесчестными людьми. Не для чего было стараться толь много унижать купечество и уверять, что оно бесславит дворянство, ибо в рассуждении сего учинен был закон; но был еще и другой закон, который объявлял тех дворян бесчестными, которые откажутся от поединка, признанного судьею, для оправдания прямой и ложной жалобы.[2] Точно сие же худо истолкованное наблюдение чести произвело закон о бесславии купечеством дворянства. Удивляюся глупости оного.

---

[1] L'esprit des Loix, tom. II.
[2] Beamanois, chap. 64.

Главный откупщик, ведущий торг свой деньгами, сохраняет дворянство свое невредимо, то есть такой торг, который государство приводит в бедность, предпочитается тому, которое его обогащает. Наши дворяне подражать могут безвинно римским рыцарям, кои были главными откупщиками республики; но кто знает, что при перемене обстоятельств знатнейшие господа не будут сами сборщиками. Противоречие имеет всегда место в худом законе. Дворянин может делать и продавать стекло, и для чего не должен он продавать сукны! Дворянину дозволено делать статуи и картины, для чего ж запретить ему торговать красками и мармором? Есть еще довольно распространившееся мнение, совсем ложное и показывающее малость понятия. Многие по предрассуждению света думают, что дворяне, носящие ливрею знатных, тем себя не унижают. Возможно ль, чтоб раб сохранил свое дворянство, в презрительной находяся службе, и чтоб вольный человек потерял оное, вступя в независимое и почтения достойное купечество? Оставим сие мнение полякам и другим варварским народам.

Кто человеческим глупостям дивится, тот их не знает. Народы по своей вере и предрассуждениям презирали то сие, то другое упражнение. Жиды упрекали за то сына божия, что ел он с мытарями; сей упрек у нас был бы принят весьма худо. Вавилоняне [1] и аркадяне [2] запретили всенародно врачебную науку. Платон изгнал стихотворство из своей республики. Рим при Домициане гнал всех математиков и философов. Чреда была и купечеству. Сколь худо принято римлянами земледелие, которое у их предков в толиком было почтении, ибо от сохи избирали они полководцев и от триумфа шли к сохе. [3] Они теми же глазами на оное взирали, как и на военные лавры. Какими же глазами взираем мы на земледелие? Подающие нам хлеб почитаются пресмыкающимися. Между тем, не знаю, каким счастием сделалось то, что помянутый закон по-

[1] Herodote, lib. I.
[2] Plin., lib. XXV.
[3] Gaudente terra vomere Laureato et triumphali Aratore. Plin., lib. XVIII, cap. 23.

щадил земледельство, когда притеснял он купечество. Прилично ли господину Сервану, имея герб и будучи шталмейстером, заводить новую цветную мануфактуру в Пуи-ан-Веле? Вероятно ль то, чтоб он в сей купечества палате, почтенный оружием и королевскою ливреею, проводил время свое в работе и в непрестанном приготовлении товаров? Итак, хочет он великое число работников сделать способными, дать им упражнение и пропитать множество бедных людей, распространить денежное хождение в провинции мало достаточной и умножить государственное сокровище; но если г. Серван тем лишится своего дворянства, то что начать для снискания и сохранения оного?

Но для чего возвышает наше воображение сей особливый и готский закон об отнятии дворянства чрез положенные сему закону границы? Злоупотребление сие приметя, короли наши старались уменьшить оное, если совсем искоренить невозможно. Карл IX, прежде нежель омочил руки в крови своих подданных, подписывал привилегии (1556) торговать морем марсельским, руанским и бретанским дворянам. Генрих IV, коего смерть вечно Франция оплакивать будет, привел сие счастливое начало в совершенство. Людвиг XIII, коего правосудие не потерпело закону купечества унижающему, дал (1629) следующий указ: «А дабы всякого чина и звания подданные наши возбуждены были к купечеству и торгу морскому, то объявляем волю нашу, что те, кои в оном будут упражняться, приобретут себе достойную честь, и притом повелеваем, чтоб все дворяне, кои сами для себя, или посредством каким, похотят вступить в обязательство и общество строить корабли для привозу нужных припасов и товаров, ни малейшего в том предосуждения дворянству своему не полагали». Наконец, Август времен наших, Людвиг XIV, сию самую ревность освящает торжественным повелением (1669), которого вступление достойно примечания. Сей государь, стремящийся ко всем родам величества и славы, взирал на предрассуждения, яко отец и государь; сожалел он о том, что подданные его, несмотря на все учреждения предков его о купечестве, еще почитают оное себе бесчестным.

Восхотел он истребить сие варварское мнение, благо общее разрушающее, показал он море своему дворянству и рек ему: торгуйте... И сие дворянство, не хотя по самонравию своему оставить малую свою часть землицы, которую часто во внутренности государства окропляет оно слезами, не знает еще того, с которой стороны море нам граничит? Сии древние галлы, коих кровь течет в жилах наших, не вкоренили, конечно, в нас таковых заблуждений. Цесарь похваляет в своей истории их купечество и флот и Невстрию за то паче возвышает, а в сие время Великобританского острова жители имели только малые лодочки для плавания около берегов своих. Сии маленькие лодки превратились в плавающие замки, прелетающие от одного полуса к другому. Прежде нежели вышедшие из Германии франки ввели другие понятия, не бесчестно купечество по роду. Дворянин торговал так же, как и мещанин, и сим средством достигал до чести и чинов. Для чего же сей путь затворен? Купец, знающий купецкую науку и собравший великое богатство, знает свойство моря, берега и провинции, долготу и краткость переездов, опасности дорог, необходимости и интересы земель, нравы и обычаи народов, произведение каждого места, приготовления всех употребительных материалов, цены разных монетов, перемену вексельного курса, источник общего кредита и прямую меру хождения денег в жилах государственных. Сей человек живет только для того, чтоб в деле своем трудиться всевозможно, размышлять о том и оное содержать всегда в добром соединении. Для кого же будут публичные службы? Не оставят ли оные бедному дворянину, который страшится потерять свою честь, если сделает таковые заслуги? Предрассуждение побеждено уже в наших селениях, где дворяне старого поколения обогатились и возвысились купечеством. Неужель сие чудовище здесь пребудет, где новые дворяне хотели то забыть, что они коммерции имели? Неблагодарные, вы сами себя лишаете пропитания!

Мне пришла еще мысль, которую подвергаю я на суд моим согражданам и самой политике. Может быть, короли наши не помогли делу сему довольно; они про-

гнали страшное чудовище еще не совсем. Дворянство, обязанное законом делать различие между великим и малым торгом, представляет себе непрестанно погибель. Сии оба рода купечества разделены одною только линиею. Дворянство легко понимает, что, желая достигнуть до великого, надлежит часто проходить посредственное. О, если б возможно было отменить совсем тот закон, который полагает купечество вредным дворянству, и если б имя оного исчезло из монархии! Купечество есть здравое тело, от которого ничто не должно быть отрезано. Оставим вольности, благоразумию и склонности дворянства посвящать себя оному по изволению и избирать одну или другую часть. Ограничивать коммерции законом о вреде, происходящем от них дворянству, есть то же самое, как бы делать вал на брегах реки Нила, дабы воспрепятствовать плодородию земли, или презрить за то руду, что может принести она великое богатство.

Само знатное дворянство, имеющее титулы большие и великие господства, должно стараться о отменении сего закона. Есть порок, называемый в Англии *вышнее злое поведение*, high mis-demcanous. Наши великие господа весьма оному преданы. В намерении сделать состояние свое блистающим, разоряются они драгоценными одеждами и уборами, великолепными колесницами, дорогими индейскими редкостями, забавами и игрою. Чрез несколько поколений простой народ будет иметь удовольствие видеть в пыли сии великие имена по сторону тех, которые в таком состоянии уже находятся. Купечество опять помочь им может. Не всегда случается в то время, когда знатный погибает, такая богатая наследница главного откупщика, которая ему помочь подать может, и сию услугу приемлет он, стыдяся и презирая свою благодетельницу. Если б простое дворянство торговало, то бы сей знатный человек во время своего падения мог в самом дворянстве найти наполненный сундук, который бы помог ему вместо невесты.

Положим, что закон о купечестве, приносящем вред дворянству, совсем отменен, но будем ли мы и тогда иметь решительную победу? Нет еще. Предрас-

суждение есть свирепый и хитрый враг, которого более искусством, нежели хитростию побеждать должно. Я бы мог сделать здесь превеликие предприятия (ибо я столь же бредить могу, как и другой); я мог бы обнять облака для произведения химер, но отлагаю честь сию, а буду принимать в уважение одни только опыты.

Есть нация, которая влюблена была столь же в свое происхождение и знатность крови, как и наша. Голова наполнена у них была рыцарством, поединками, крестными походами, увеселениями, великолепием, пажами, ливреею, праздностью и всеми добродетелями, знатным особам приличными. Тот, который бы предложил им о купечестве, конечно б посажен уже был в дурацкий дом. Ныне дворяне сей нации защищают отечество свое шпагою и обогащаются купечеством. Какая бы причина произвесть могла столь счастливую перемену?

Коммерции, кои бывают причиною тому, что дворяне, к огорчению своему, исключаются от многих честей, показывают ему новый путь к чести. От купецкого корабля перешли на государственный флот, дабы на оном сражаться за морскую область. Как можно того требовать, чтоб французское дворянство взялося за торгующий флот, когда он столь мало почитается? Запрещают потомкам Писсис Кардена, Порея, Вильстре, Трублета, сих мореходцев, кои сделали столь много чести Сент-Мало и Франции, запрещают им, говорю я, повелевать кораблями своих предков, если прежде не сделают они несколько унижающих походов, где они поставляются в одном классе с матросами и простым народом.

Коммерции, ничего кроме богатых людей в себе не имеющие, произвели членов вышнего народного совета, и усмотрено, что голоса их столь же важны, как и вольности народа. Дело приватных людей превратилось в дело государственное. Хотя и не имеем мы собрания народных стряпчих, но имеем коммерц-коллегию, в которой умножаются с пользою работы и работники, коллегию, которая имеет власть над всею коммерциею вообще и ни над единою ее частицею порознь. Мы можем иметь коммерческое собрание, которое бы осто-

рожно взирало на все наши и чужестранные селения, на наш прибыток или убыток с другими нациями, на равновесие торга и на средство, каким образом оный усилить с нашей стороны. Вот места, вот побуждение дворянам ко всеобщему честолюбию.

Если б должен я был поступать по здравому рассудку, сколько можно иметь оного в отдаленной от двора провинции, то бы избрал я директора коммерции и надзирателя над купечеством из самых лучших купцов, кои показали себя в великих намерениях и делах и коим правление должно дать честь, заслугам их приличную. Сии-то были бы венцы, привлекающие тысящи борцов на место сражения.

Мы имеем множество министров, которые разделяются во всеобщих делах. Ни один из них не называется коммерческим министром. Коммерции почитаются смешанно с государственными сборами. Они подобны здесь реке, которая в производимой от себя большой реке теряет свое имя. Коммерции у многих народов почитаются главным предметом в государственных предприятиях. Какое мы им дадим место? Может быть, приобретут они более к себе внимания, может быть, обратят они на себя взор и желание дворянства, когда в государственном колесе будут они по сторону военных и сборных дел под своим собственным именем.

В Лондоне прежде сего коммерции не показывали себя приличным образом своему высокому характеру. Ныне посылают уже они послов. Господин Кастре отличает себя в Португалии, господин Кесне в Гишпании, господин Портер в Турции, где господин Фолкенер, которого он преемник, показал, сколько тот может помочь интересам своего народа, кто в коммерции воспитан; и будущее время произведет нам еще других, кои к таковой же устремятся славе. Мы видели господина Гораса Валполя в делах с двором французским, когда сын его обучил в Амстердаме коммерческую науку, которая в Лондоне и самым делом производится. Если будет он употреблен к тому так, как отец его, то какие преимущества одержит он пред теми послами, которые знают коммерции по одному только имени?

Если с примечанием рассмотреть трактат, заключенный о кораблеплавании и коммерции между Франциею и Голландиею, то найдется, что голландские корабли всевозможно побуждены иттить в наши гавани, дабы вести тамо собственное наше купечество и тем наших уронить совершенно. Видно, что границы, положенные господином Колбертом в рассуждении нашего купечества в Леванте между ими и нами, совсем уничтожены; что в трактате привоз их сукон во вред нашим дозволяется; что их товары без осмотру к нам привозиться будут, а наши подвергаются всем учреждениям, ограничиваниям, конфискации и денежному штрафу, что налагает оковы на наших фабрикантов и корабельщиков.[1] Мы ласкаемся взаимным равенством, но сия мечта в минуту исчезает, ибо голландские корабли наполняют наши гавани, когда в голландских нет ни одного французского флага. Искали ль мы остаться без вреда в заключенном с шведами трактате в 1741 году? Мы уступили им все роды преимуществ в наших гаванях, в Руене, Сент-Мало, Нантесе, Рошелле и в других местах. Таковые вольности дали нам шведы в одной Висмарской гавани, то есть в городе малолюдном, коммерции лишенном и отдаленном на сто миль от Стокгольма и других шведских городов, где бы можно было заводить нам новые коммерции. Наши корабли могут ожидать того времени, когда Висмарская гавань будет иметь другое счастие и другой вид. Граф де Текен, заключивший сей трактат, показал себя в сем случае как должно искусному министру. Когда бы послы, вместо великих титулов, имели бы поболее в делах знания, то бы не исторгали хлеб из рук своих людей и не отдавали б его чужестранцам; но если б дворянство в купечество вступило, то знание соединилось бы тогда со всеми великими титулами. Если купцам честь будет отдаваема, то они начнут так же торговать, как и соседи наши, которые, достигши до большего знания, храм славы купечеству наконец отворили.

[1] Кажется, что автор забыл здесь положенное правило. Учреждения фабрикантам ни в чем не мешают. Годные по учреждению выработанные товары умножают паче внутреннюю, нежели внешнюю продажу. *(Юсти.)*

Мавзолеи, сооруженные потомством Дракену, Раленгу, Марлборугу и Невтону, привлекли также соорудить другие в честь Гресхаму, Спенцеру и Гравену, коих статуи поставлены на лондонской бирже во ободрение купечеству. Бернард был еще счастливее, ибо приуготовление к славе своей видел он сам и ведал, что слава его жить будет в его потомках. Купечество не должно ожидать себе статуй во Франции; не имеют их Колберт, Кинде и граф Саксен. Но бессмертие не одну имеет подпору. Стихотворцы, ораторы и историки делают благоразумно, прославляя Корнелия, Дескарта, Тагона, Сегвера, Люксембурга и Тюрена, и имена их пишут в своих летописях; но, будучи добрыми гражданами и имея доброе знание, должны они в своих песнях дать место Бруни, Грандвилю, Массону, Магону, Монтаудуану, Лекоте, Жандру и многим другим, кои привлекли к нам своими трудами сокровища земного круга.

«Историки, — говорит господин де Сюлли, — любят сочинения свои наполнять особливыми приключениями, торжественными происшествиями и самой бездельною мелочью». Рассмотрим его мысли. Историк, описывая осаду города, водит нас по всем рвам, ни одного не оставляя; он считает пушки, мины, батареи, пороховые ящики; а по описании победы, упомянув о благодарном молебне, приводит он нас к торжеству поздравлением и не забывает ни одного стишка, которым разрешился Парнас при сем случае; но если в то время купецкая компания заводит во Франции чужестранные мануфактурные работы, умножает наше кораблеплавание, основывает селения, тогда историк не имеет для сего ни чернил, ни перьев.

Давно уже известна нам во Франции честь наук и оружия; но состоит ли честь в обогащении своего отечества? Сей вопрос кажется сомнителен, хотя оный и сходен с тем, что похвально ли стараться о силе и благополучии своего отечества. Честь наук хочу я здесь оставить в своем достоинстве, которою люди не так много ослепляются, как честию оружия. Велика ли разность между офицером, умертвившим неприятеля или собою, или людьми, под его надзиранием состоящими,

и между купцом на капере, который, после сражения не менее жестокого, ведет за собою добычу и доставляет государству богатство, людей и пушки? Оба они сражались храбро, оба способствовали благополучию отечества, для чего же делать между ими отличие? Для чего первый один все знаки чести получает?

Мы имеем ордены разных цветов не только для людей знатной породы, не только для заслуженных воинов, но и для всех других искусств, требующих ободрения: лекари, живописцы, стихотворцы — все принимают в том участие. Не должно ль дать превосходный орден тому, кто великое число кораблей отправил в море и кто на гвинейских берегах или островах торг наш усугубил. Кардинал Ришелье имел, конечно, намерение доставить коммерции сие преимущество. Сей министр, коего острота открывала и малейшие политические побуждения, описывая государю важность коммерции, говорил ему: «Когда ваше величество рассуждаете за благо удостоить рукоделие некоторыми преимуществами, чрез что купцы получат некоторые чины, вместо того что подданные ваши получают чины бесполезною службою, в удовольствие праздности своей и суетности жен своих, то надлежит привести купечество в такое цветущее состояние, чтоб общество и каждый имели от того великие выгоды».[1]

Китайцы довольствуются, может быть, тем только, чтоб себя обогатить; но француз хочет чести, то есть имеет благородную слабость. Голландия сама не удивила бы свет величеством своея коммерции, если б купечество не могло достигать до знатнейших чинов республики. Мы знаем тирские, сидонские, бизанские и сиракузские медали; они сделаны были в честь коммерции. Делают и во Франции медали, для чинов государственных мещан, кои менее полезны. Преимуществами, данными людям с благоразумною умеренностию, можно из людей делать то, что хочешь. Первые римляне были разбойники, и Ромул сделал из них героев. Наши мальтийские кавалеры были прежде не иное что, как честные люди, в гостиницах служившие.

---

[1] Test. Polit., chap. IX, sect. 6.

Никто не завидовал их состоянию, ибо оно до светской чести не надлежало. Сие братство превратилось в рыцарство, украсило себя преимуществами, и орден не имеет уже довольного числа крестов для раздания. Состояние простого солдата, которое досталось на участь простому народу, возвысилось весьма в королевском доме: все тамо дворяне. Дворяне оправляют ему постель, и князья подают сорочку. Нет! нет! Я вижу, что совсем не так трудно, как мнилось, изгонять чудовища, распространенные предрассуждением в рассуждении купечества; в Англии легко сие приведено в порядок.

Купечество имело прежде сего только само с собою обхождение. Ученые приняли наконец его дружественно и с ним стали упражняться. Как сей философ и государственный секретарь изобразил преимущества оного тем же пером, как раздробил человеческую душу, знатные познакомились и сдружились с коммерциями. Перы разумели оные не вступаяся сами так, как римские сенаторы разумели сражаться, и они научились от предков своих с отцовской и материнской стороны узнавать то, что Карла II привлекло сказать то, что между купцами есть прямое дворянство, которое в самом деле было у него в великой знатности. Другой Карл, которого ужаснувшаяся Европа почти принуждена была признать своим государем, Карл V, говорю я, искал утешений после несчастного похода против славного Барбароссы у Фугерсов, аугсбургских купцов; сей дом отворил ему свои сокровища, но то, что почитал он долгом, был подарок: обязательство его в платеже долга было брошено в огонь.[1] Немецкое дворянство не может быть столь великодушно, хотя бы и хотело. Франция имела короля, который не ожидал крайней нужды для показания ласки купечеству; он сажал их с собой за стол и разговаривал с ними о благополучии государственном. Сей поступок Людвига XI вышел из обыкновения. Бригге и Гент потеряли тогда свое сияние, как купечество свое потеряло. Фландрские графы, не желая быть долее счастливыми, престали почитать оное: оно отмстило им за то тем, что перешло к такой

[1] Felibien, Hist. des peintres.

нации, которая готовила ему и честь и славу, то есть в Англию.

Было бы то удивительно, если бы аглинское дворянство не соглашалось к торговле. Состояние, ведущее к повелению над флотом королевским, к посольствам, к народным для совета собраниям, к славе, к почтению знатных, философов и всего народа, должно быть главным предметом честолюбия, и вместо того, чтоб оно дворянство ужасало, его к себе привлекает; оно доставляет дворянство. И для того есть там пословица, что тамо купечество делает дворянство. Я не хочу делать здесь тому описания. Сын Иозиаса *Шиелда* стал *лордом Кастельменом* и графом *Тильнеем;* никто прежним именем его не называет; знатнейшия породы люди называют его *милордом.* Во Франции совсем не то происходит. Писатель, который философиею, историею и театром славен и который от потомков прославлен будет паче, сей искусный живописец нравов наших, борясь с нашими предрассуждениями, сделал примечание, которое сюда весьма приличествует, и для чего здесь мне не привести оного? Разве я более его знания имею?

«Когда славный *Самуель Бернард,* — говорит он, — после того как король пожаловал ему графство, посещая некоего, велел доложить о себе, называяся *графом Бернардом,* то подняли о том чрезвычайный смех».

Оставим их смеяться, я и сам смеюсь, но тому, что смешно прямо. Двор и город подают к тому довольную причину, а смеяться над благополучием отечества есть знак глупости.

«Сей граф Бернард, — продолжает писатель, — был в самом деле прежде граф, нежели пятьсот графов, которых мы видим и которые десятины земли не имеют».

Я могу прибавить еще, что он был Франции прочих графов полезнее, и то докажу ясно, но похвала не делается полезным гражданам. Всегда ли сим светом владеть будет предрассуждение? О, если б оно хотя по крайней мере перестало тиранствовать над народом, который в философии столь великие имеет успехи! Дания спешила истребить в рассуждении коммерции свое варварство, а мы еще о том не помышляем! Гугетон титул *графа* соединил с титулом купца.

Когда коммерция во Франции являет таковые чрезвычайные происшествия, то о чем французскому дворянству сомневаться и оному себя не посвящать? Хотя прилежность Кадоца и Ванробеса увенчанна преимуществами, доходами и грамотами, кои они заслужили действительно, будучи первыми учредителями вечного училища полезных государству рукомесленников, но сего одного примера не довольно; впрочем, мнение, что купечество унижает дворянство, истребляет память сего награждения. Сколь долго старое дворянство само собою не придет в упадок, столь долго новое, коммерциями приобретаемое, не в великом будет почтении. Я не приведу здесь никакого сравнения, которое могло бы оскорбить некоторое упражнение, дозволенное грамотами дворянскими. Они опасаются еще, чтоб я их не назвал. Довольствуюся теперь, говоря им: испытайте себя сами и смотрите, столько ль вы полезны государству, сколько купец. Можно ль написать то над вашими дверьми, что над его написать можно: *он богат и тем служит государству.*

Все состояния государства подают повод к честолюбию. Юрист может достигнуть до вышнего слога в судебном месте, воин до чинов воинских, церковный служитель до священства. Один купец не имеет никакого сияния в своих пределах и обязан оставить купечество, если, как французы говорят, хочет он *быть чем.* Сии худо понятые слова великий причиняют вред. Чтоб *быть чем,* остается дворянство по большей части ничем.

Должно ль отвечать тем дворянам, кои, полагаясь на обыкновение, говорят: *наши отцы не торговали.*

Если говорить с жителями острова Минорки о прививках, то будут они ответствовать, что отцы их не прививали и что бог ведает лучше, как рости дереву. Сделали на острову их хорошие улицы, но они лучше хотят жить в грязи, ибо и отцы их в грязи живали. Все дети не обязаны к толь великому почтению: ирланды тянут лошадей своих поперсью, хотя деды их того не делывали. Мы начинаем прививание воспы, и для нас будет то несчастие, если мы от того отстанем

затем, что отцы наши ожидали ее от натуры на счет своих потомков.

Ваши отцы не торговали... Но вы имеете пороки, которых они не имели; для чего же не хотите вы иметь и тех добродетелей, кои вам недостают?.. *Они не торговали,* и сие-то самое есть причиною, что дети их столь бедны и столь бесполезны отечеству.

Я говорю о пользе. Есть мыслящие люди, которые уверяют, что тамо никогда дворяне купцами не будут, где предпринимают дела не для того, что они *полезны,* но для того, что они *в моде.* Что же до меня надлежит, то почитаю я добрым знаком в правлении то, когда мода нами владеет. Первый благородный человек, который купеческий флаг с дозволением государя поставит по сторону своей поколенной росписи, чему действительно многие подражать будут, заслуживает то, чтобы отечество, если оно благодарно, почитало его своим благодетелем. Графы Варвис и Лейцестер были главными в первой компании, учрежденной для африканского купечества под владением бессмертной славы достойныя Елисаветы. Но кто во Франции будет делать сему начало? Сей вопрос весьма приличен французам. *Лучший гражданин;* и если предрассуждение столь страшно, как *ликейская химера,* то победитель ее будет другой *Беллерофон.* Я знаю, что народу нужно предрассуждение, но ежели оно полезно. Предсказание по пению птиц столь великую имело веру, что священники худо бы сделали, если б хотели обращать Рим от мнения, что будет он царем всего света; к сему влекло их предрассуждение. Но к чему служит нам наше предрассуждение? Не к умножению ли людей несчастных? При таком обстоятельстве должно стара́ться уничтожить сие предрассуждение, и первое начало оному не постыдно, но славно сделать всякому благородному человеку.

Великие примеры имеют особливое действие привлекать к себе пылкие разумы. Карл II, о котором я уже упомянул и который некогда забыл свои удовольствия, чтоб думать о полезном, по возвращении своем на трон старался всевозможно приводить дворян к морской службе; он послал сына своего во флот служить

простым матросом. Учися, дворянство, быть благородным, и вы, о цари, если хотите быть великими, то подражайте Петру Великому. Он сам служил в новом своем флоте с самого малого чина, желая основать коммерции и силу российскую. Главный в республике должен принять на себя все виды, дабы произвести благополучие, и тогда все подвергается точнейшему порядку, все имеет участие в славе: художество, науки, земледелие и коммерции.

Великое для коммерции несчастие то, что не рачат о ней те, кои в народных мыслях решительные голоса имеют. Мы оставляем марсельское и бурдоское купечество судиться у купцов с улицы святого Дениса, и сия столица, будучи столь легкомысленна в намерениях, сколь чрезвычайна во вкусе, распространяет свои предрассуждения во всем королевстве. Когда бы Париж вместо привезения в себя амбры, или когда бы мы в той гавани, куда пристают чужие народы, вооружали корабли, отправляли флоты, на север и юг повеления посылали, чтоб рукоделиям и мануфактурам своим доставлять продажу, равно как и привоз сырых материалов, в коих мы имеем недостаток; когда бы почитали мы весь свет полем наших предприятий и налагали дани на народы, — тогда бы, тогда-то имели бы мы совсем другое понятие о купцах и о купечестве. Мы бы рассуждали о том так, как рассуждали египтяне, когда цари их обитали в Александрии. Свет удивлялся силе сего торгующего города, и Рим ему поревновал. Император Петр Великий, которого я всегда затем приводить буду, что предпочитал он всегда существенное добро мысленной чести завоевания, благоразумно сделал он, преселя на море столицу свою. Хотел он, чтоб преемники его непрестанно на важность и силу купечества взирали, хотел он, чтоб все знатные и министры имели о том понятие и сами бы в том упражнялись. Он видел преимущества Стокгольма, Копенгагена, Амстердама и Лондона. Он не почитал ни за что Россию до тех пор, как стала она иметь купечество: сила, которою теперь славится Россия, оправдала его мнение.

Французское дворянство, которым счастие играет, на счастие тебя произвела природа. Или хочешь ты всегда подобиться Танталу? Он бы кончил свои страдания, если б так, как ты, мог получить плоды. Не находишь ты сих плодов в своих родословных. Жены ваши требуют от вас содержания, а дети воспитания и помощи. Не думаете ль вы найти в прахе предков ваших нужные вам сокровища? Отечество ожидает услуг ваших. Уже вы более не те, которые были, когда в собраниях народных могли вы подавать советы и когда все зависело от вас. Ныне не помышляют и о том, есть ли у вас голоса. Вы имеете храбрые руки, вы представляете мечи, но есть мечи другие, со златыми рукоятками. Итак, ищите в другом месте приобретать славу. Постановите единое добро, которое можете вы привести в состояние. Оно довольно велико, когда имеете вы бодрости довольно; я разумею бодрость духа, которая гораздо реже бодрости сердечной. Будьте чрез купечество защитниками жен и детей своих, питатели своему отечеству, будьте жизнию наук, причиною многолюдства, столпами нашего флота, душой наших селений, славою государства и причиною общего благополучия! Время уже скучить вам своею бедностию и беспечностию. Или готское мнение навеки вами овладело? Вы опасаетесь презрения, и в нищете остаетесь! Вы любите знатность, и ничего не значите! Вечная жертва предрассуждения, вас умертвляющего! Правление Людовика XIV было временем завоеваний и остроты разума. О, если б правление Людовика *многолюбезного* было временем философии, коммерции и прямого благополучия!

СЛОВО НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ЦЕСАРЕВИЧА И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА В 1771 ГОДЕ

Настал конец страданию нашему, о россияне! Исчез страх, и восхищается дух веселием. Се Павел, отечества надежда, драгоценный и единый залог нашего спокойства, является очам нашим, исшедши из опасности жизни своея, ко оживлению нашему. Боже сердцевидец! зри слезы, извлеченные благодарностию за твое к нам милосердие; а ты, великий князь, зри слезы радости, из очей наших лиющиеся. Любезные сограждане! кого мы паки зрим!.. Какая грозная туча отвлечена от нас десницею всевышнего! Единое о ней воображение вселяет в сердца ужас, ни с чем несравненный, разве с радостию, коею ныне объемлется дух наш!

Среди веселых восклицаний твоих, дражайшее отечество, дерзаю и я возвысить слабый глас мой. Изображу тебя с Павлом оживотворенное и, колико будет сил, прославлю его добродетели и твое блаженство. Если нет витийства в моем слове, не жалею о том. Истина простым повествованием довольна бывает, и я по крайней мере исполню долг гражданина и удовлетворю желанию моего собственного сердца.

Ты не будешь отлучена от слова сего, о великая монархиня, матерь чадолюбивая, источник славы и блаженства нашего! Ты купно страдала с Павлом и Россиею и вкушаешь с ними днесь общее веселие. С начертанием

их состояния изображу чувствие и твоей добродетельной души: а изъявя оное, подам свету пример великий.

Когда вселенная обратила с удивлением на Россию свои очи, когда слава побед наших гремела во всех пределах света, когда потомки Чингисхановы, сих древних утеснителей России и победителей света, подъемля к Екатерине длани своя, отвращали очи и сердца от гордого врага ее, тогда внезапное смущение вселилось в восхищенные радостию сердца наши. Слух о Павловой болезни, еще в самом начале ее, подобно пламени лютого пожара, из единого дома в другий пронесся мгновенно. В единый час ощутили все душевное уныние. Еще большая опасность была непредвидима, еще в цветущей Павла юности крепость тела его сопротивлялась бодрственно первому устремлению болезни, но, невзирая на сие, невольный трепет объял всех сердца и души. Толь сильно есть усердие добрых граждан к государям своим! Тогда Екатерина, великая и в самой печали своей, возмутилась нетерпением зрети сына своего. Спешит она оставить то приятное уединение, куда некогда Петр, созидая град свой и Россию, приходил от трудов принимать успокоение. Сражаясь с скорбию своею, Павел узрел идущую к себе государыню и матерь, и некую новую крепость ощутила душа его. Самая болезнь укротила в тот час свое стремление, как будто бы, терзая сына, хотела пощадити матернее сердце; но судьбы превечного восхотели на некие часы поставить Россию при самой бед пучине. Страна, удивляющая землю и дающая ей ныне зрелище великое и славное, — сам господь отвлек тебя от края сей пучины! Велико счастие твое, но и напасть ужасная грозила. Воспомяну о ней, да больше ощутим, колико небеса Россию защищают.

Возможно ли без трепета воспомянуть те лютые часы, в кои едва не пресеклась жизнь толико драгоценная, жизнь толь многим народам нужная? И как, не ужасаясь, привести себе на мысль те самые минуты, в кои носящие гром тучи разверзалися над россами! Уже лютость болезни побеждала и крепость Павлову и старания мужей, просвещенных наукою и усердием. Вострепетала Россия, неизреченный ужас объял души,

и жестокая печаль пронзила всех сердца. Самый народ, вечно льсти не знающий и всегда носящий на лицах сердец своих зерцало, самый сей народ стенал и проливал слезы. Колико тяжких воздыханий восходило к небесам! Коликим молениям внимал всевышний! Никогда искреннее оных не могут люди приносить творцу своему. Иной, обремененный летами, воздев на небо слабые руки: «Боже праведный, — вопиет горестно, — то ли твой предел, чтоб глубокая старость огорчалась, видя увядающую юность, и чтоб мне суждено было терзаться о том, чем позднейшие потомки должны быть оскорблены. Не моя, но Павлова жизнь потребна к счастию детей моих». Иной, в первых младенчества летах, в сей прекрасной весне человеческого века, не зная зла и доселе не ощущая горести, зрит матерь свою в слезах, извлекаемых опасностию Павла, обращает на нее невинные взоры, утешает ее младенческою ласкою; но, видя горесть ее непрерываему, сам унывает, плачет и будто чувствует, что в те часы угрожает ему собственная напасть его. Иной, в крепости лет своих, истинный сын отечества и усердный сердцем к Павлу, познав опасность предстоящую и возмутясь духом, устремляется к другу своему. «Трепещи, — вопиет ему, — гибнет отечество наше, Павлова жизнь едва ли не в отчаянии, и что с нами будет, когда его лишимся!» Не хотяй верити толь грозной вести, друг его хочет и себя и его утешити: «Может быть, бог к нам милосерднее, — отвечает ему, — может быть, страх больше...» — «Не сумнись и ужасайся, — прерывает тот речь его, — удар, конечно, близок. Я видел Павлова наставника, сего почтенного мужа, умеющего толь много владеть движениями сердца своего, я видел его стеняща и сокрывающа слезы своя. Когда Панин рыдает о Павловой опасности, Россия должна пролить источники слезные».

В толь лютые часы для истинных россиян какое нежное и великое зрелище представляется очам нашим! Терзаемая скорбным чувствием сердца своего, пронзенная нежнейшею любовию к сыну, достойному таковыя матери, Екатерина вступает в те чертоги, где Павел начинал уже упадать под бременем болезни своея. Приближается к нему, зрит измененные черты

его лица, бледнея простирает к нему трепещущую руку. Тогда Павел, возвед утомленные очи и видя пред собою страждущую матерь, забыл свою болезнь, и в ту минуту страдание ее стало единою его скорбию. Собрав оставшие силы, приносит он к устам своим руку возлюбленныя матери, лобызает ее нежно. Екатерина хощет утешити сына своего некиими словами, но рыдание прерывает слова ее. Уже не в силах она удерживать более скорби своей во внутренности сердца: едва не предается всей своей горести; но, воззрев на предстоящих своих подданных, пораженных сим зрелищем, хощет она, из любви и жалости к ним, одолети самое природы чувство, мгновенно отвращает от них слезящие очи, остановляет рыдание и старается сокрыть от них и лютое свое страдание и опасность жизни Павловой. Се свойство великия души! Се пример земным владыкам! Блаженна та страна, где царь владеет и сердцами народа и своим собственным.

Но, пришед от страждущего сына в те свои чертоги, кои часто зрят тебя, великая монархиня, размышляющую наедине о благе народа твоего, когда уже ничей вид не принуждал тебя скрывать скорби внутри сердца твоего, когда уже могла ты воздать природе горестную дань и когда ничто не воспрещало тебе рыдать и размышлять, каким лютейшим чувствиям предалась тогда душа твоя! Какие реки слез полилися из очей твоих! Матерь Павла и народа своего, ты зрела первого при конце жизни, а другого при конце блаженства, дарованного ему премудростию твоею... Ужасное воображение, извлекающее навсегда слезы из чувствительных сердец!

Отвращая удар толико грозный, Павел противоборствовал болезни крепостию духа. Ослабели его телесные силы, но душевные тем паче вознеслися. Он знал, что с сохранением жизни его сопряжено истинное благо народа, им любимого и ему усердного. Он знал, что сие едино, кроме человеческой любви к жизни своей, налагало на него особливый долг одолевать болезненное чувство величеством души. С какою твердостию, с каким мужеством исторгал он себя из челюстей смерти, вознесшей на него острую косу! Спокоен в мучении, никогда нетерпением не раздражал он болезни, и в те

часы, когда душа его едва не оставляла терзаемого тела, в те лютейшие часы являл он те же самые добродетели, которые обык творити в крепости сил своих. Благочестие, богу толь любезное и возвышающее к нему души смертных, обитало в его сердце, возбуждало в нем надежду, ободряло его силы и преклоняло небеса на помощь его. Кротость нрава ни на единый миг не прерывалась лютостию болезни. Каждый знак воли его, каждое слово изъявляло доброту его сердца. Да не исходят вечно из памяти россиян сии его слова, исшедшие из сердца и прерываемые скорбию: *«Мне то мучительно,* — говорил он, — *что народ беспокоится моею болезнию».* Таковое к народу его чувство есть неложное предзнаменование блаженства россиян и в позднейшие времена...

Но ты, который благим воспитанием вселил в него сие драгоценное нам чувство, муж истинного разума и честности, превыше нравов сего века! Твои отечеству заслуги не могут быть забвенны. Ты вкоренил в душу его те добродетели, кои составляют счастие народа и должность государя. Ты дал сердцу его ощутить те священные узы, кои соединяют его с судьбою миллионов людей и кои миллионы людей с ним соединяют. Коликими ранами сердце твое было уязвлено во время Павловой опасности! Любя его нежно, насадя в душе его добродетель, просветя познаниями разум его, явя в нем человека и уготовав государя, сносно ль было видети тебе приближающуюся минуту, в которую ты мог расстаться с ним навеки! Вспомни те часы, когда обращены были взоры твои на страждущего Павла, когда, терзаясь сам душевно, орошал его слезами, держал его в своих объятиях, прижав к трепещущей груди своей, и ожидал последнего конца жизни драгоценной. Не сами ль небеса тогда подкрепляли тебя для Павла и отечества!

Наконец, о радость неизреченная! О счастие, избавившее россиян от погибели! Наконец прошла безвредно страшная туча, гремевшая над нами. Превечный с высоты престола своего, взирая на слезы и моления Екатерины, на добродетели болящего, на вопль и стенания многочисленного народа, подвигся о людях своих на милосердие. Велением его ангел смерти, летящий к наследнику престола российского, остановил

страшное свое течение. Здравие, сей дражайший людям дар небесный, возвращенно стало Павлу. Воссиял прекрасный день по часах толико мрачных. Тяжкие стенания пременяются во гласы радости. Оживотворенная Россия возносит к небесам благодарные моления, и сие чистое приношение веселящихся сердец, проницая пределы неизвестные, достигает до самого творца вселенныя и приемлется от него с тою благостию, с которою внимал он воздыханиям россиян.

А ты, торжествующая ныне возвращение к жизни возлюбленного сына, матерь нежная, монархиня великая! Ты, которой добродетели и моления были предстательми пред творцом за создание его, тобою правимое! Ты, благодаря десницу, восставившую Павла, возрадуйся днесь всем сердцем своим. Се он, се твой достойный сын, о коем ты страдала, в ком душа твоя обитает, которого любовь к тебе ни с чем на свете несравненна. Приими его в свои объятия, пролей радостные слезы! Он жив и будет вечно твоим утешением, и будет славою народа, к обоим вам усердного!

К тебе, великий князь, возвращенный от небес россиянам! к тебе, виновник общия радости! обращаю мое слово. Торжествуй и восхищайся веселием сердечным! Воссылай благодарение к вышнему всех благ источнику, который, отторгнув тебя от врат смерти, явил чрез то вселенной, что ты им на свет произведен для счастия и самых будущих веков; но чем лучше возможешь изъявить свое признание оживотворившему тебя, как исполнением закона его, который есть вся сила и безопасность законов человеческих? Сохраняй вечно в своем сердце сей новый опыт нежнейшия любви, который матерь твоя и государыня изъявила тебе, страдая с тобою купно. Да будет премудрость ее вождем твоим, дела ее правилом, кроткая душа ее великим тебе примером! Люби россиян. Ты не можешь сомневаться, государь, о их к тебе усердии, измеряя оное по тем горестным чувствам, которые терзали нас во время опасности жизни твоея. Сии страшные минуты, в кои лесть умолкает и царь и раб равно судимы бывают, сии минуты открыли тебе сердца и души каждого гражданина. Люби их столько, сколько сам ты им любезен.

Позволь, о государь! вещать тебе гласом всех моих сограждан. Сей глас произнесет тебе некие истины, достойные твоего внимания. Буди правосуден, милосерд, чувствителен к бедствиям людей, и вечно в их сердцах ты будешь обитати. Не ищи, великий князь, другия себе славы. Любовь народа есть истинная слава государей. Буди властелином над страстями своими и помни, что тот не может владеть другими с славою, кто собой владеть не может. Внимай единой истине и чти лесть изменою. Тут нет верности к государю, где нет ее к истине. Почитай достоинства прямые и награждай заслуги. Словом, имей сердца отверсто для всех добродетелей — и будешь славен на земле и угоден небесам.

О россияне! если б Павлова судьба зависела от нашего к нему усердия, то б не оставалося на свете ни для него чего желать, ни нам чего страшиться. Беспредельно сие усердие наше, равно как и небесные к нам благодеяния. Не само ль божество возвратило ныне жизнь тому, кто для наших жизней толико нужен? Без сомнения, оно даровало нам его залогом нашего блаженства, Екатериною устрояемого. Велико сие блаженство наше! Целый свет на него с удивлением взирает, или паче Екатерина обращает на нас очи целого света. Премудрость ею руководствует, успехи следуют делам ее, победы увенчевают ее лаврами, и славою ее славится Россия. В ней имеем мы настоящее благо наше, а в Павле надежду будущих блаженств. Потщимся, любезные сограждане, потщимся навсегда быти их достойными! Не пощадим ничего для них и для отечества. В том состоит истинный долг наш. О, коль любезен нам сей долг, с коим и польза и слава наша вечно сопряженны!

СЛОВО ПОХВАЛЬНОЕ МАРКУ АВРЕЛИЮ,

СОЧИНЕННОЕ Г. ТОМАСОМ, ЧЛЕНОМ ФРАНЦУЗСКОЙ АКАДЕМИИ

По двадесятилетнем правлении Марк Аврелий умер в Вене. Тогда упражнен он был войною против германцев. Тело его пренесено было в Рим, куда вступило оно, провождаемо рыданием и отчаянием народным. Сенат в печальном одеянии шел пред колесницею. За ним народ и войско. Сын Марка Аврелия следовал за гробом. Шествие было медленно, и молчание глубокое. Вдруг старец некий предстал среди народа. Рост его был высокий и вид сановитый. Все познали Аполлония, стоического философа, почтенного в Риме, и более за качества, нежели за старость уважаемого. Он был добродетелен во всей строгости своего любомудрия, а сверх того, учитель и друг был Марка Аврелия. Остановился он близ гроба. Воззрел на него с скорбию, и вдруг, возвыся глас свой,

«Римляне! — вещал он, — вы лишились великого мужа, а я лишился друга. Не пришел я слезами орошати его праха. Злых токмо людей оплакивати должно, ибо содеянного собою зла уже исправити не могут. Но о том, кто шестьдесят лет был добродетелен и кто двадесять лет сряду был человечеству полезен; кто в течение жизни своей не совращался с пути истинного и кто на престоле не имел слабости; кто был всегда благ, праведен, милосерд, великодушен... почто о нем жалеть? Римляне! погребение праведника есть торжество добродетели, возвращающейся к существу вышнему. Освятим сей праздник нашими хвалами. Знаю,

что добродетель в них нужды не имеет, но да будут оные залогом благодарности нашея. Великие люди подобятся богам. Мы за приятые от них благодеяния не имеем чем воздать, но в песнях славословим оные. Приближаясь к концу дней моих, о, если б я возмог, преходя словом жизнь Марка Аврелия, почтить пред очами вашими последние дней моих минуты! А ты, присутствуяй здесь, наследник и сын его, внемли добродетелям и деяниям отца своего! Днесь ты царствовати будешь. Уже ласкательство заразить тебя готово. Глас вольности, может быть, в последний раз услышится тобою. Отец твой, знаешь ты, не приучил меня изъясняться раболепно. Он любил истину; истина составит хвалу его. Да возгласит она же и твою в будущее время!

Похвала мертвым обыкновенно начинается хвалою их предков, как будто б великий человек имел нужду в знатном происхождении и как будто б малая душа могла быть возвышена достоинством, не ей принадлежащим! Да не раздражим, о римляне! самыя добродетели, помысля, что ей нужна порода. Колено ваше кесарей дало вам сряду четырех тиранов; но Веспасиан, первый возвысивший вашу империю, был внук сотника.

Прадед Марка Аврелия родился на брегах реки Тага. В отличность пред другими принес он в Рим добродетели, далеко от Рима утекшие, простоту и древние нравы. Наследие сие сохранилось в его доме. Се истинное благородство Марка Аврелия. Знаю, что был он сродник Адриану; но честь сию, буде то честь, почитал он опасностью; знаю, что хотели поколение его произвести от Нумы; но он был столь велик, что умел презрить сие мечтание гордыни. Он в единой правоте полагал свою славу.

Благодарение богам, что не родился он наследником престола! Вышний сан более душ повредил, нежели возвысил. Рожденный быть простым гражданином, стал он великим человеком. Может быть, был бы он простолюдином, если б родился государем.

Все к его способствовало благу. Первое воспитание его было точно то, которое предки ваши толь драгоцен-

ным поставляли и которое уготовляет душе крепкое и здравое тело. Он от юности своей не был ослаблен роскошью. Не окружало его множество рабов, кои, примечая малейшие знаки его, почитали б за счастие повиноваться его своенравию. Дано было ощутить ему, что он человек; а привычка к терпению была первым ему научением. Бегание, борьба, воинские телодвижения утвердили совершенно его силы. Он покрывался пылию на том самом марсовом поле, на коем ваши Сципионы, Марии и Помпеи к подвигам навыкали. Я вам, римляне, воспоминаю сию часть его воспитания для того, что бодрственное такое учреждение начинает исчезать между вами. Уже подражаете вы тем восточным народам, у коих нега от самого рождения человека обессиливает, и души ваши прежде становятся почти расслаблены, нежель успевают себя познавати. О римляне! обидит вас, кто льстит вам; но я, вещая истину, изъявляю мое к вам почитание.

Сие первое воспитание сделало б Марка Аврелия простым токмо воином; но скоро с оным соединилось и учение. Язык Платонов знал он, как природный. Красноречие вразумило его беседовать с людьми. История судить о них научила. Познание законов государственное основание и твердость ему показало. Он прешел все законодательства и законы всех народов один с другим сообразил. Следственно, воспитан был совсем различно от тех, коим льстят уже и в самое еще время их слабости и невежества. Рабское подобострастие не страшилось обременить его трудами. Строгий порядок наблюдался в упражнениях юности его, и, быв сродник обладателю целого света, принужден он был просвещаться как последний гражданин.

Тако начинал успевать государь, долженствовавший царствовать над вами; но нравственное воспитание совершает человека и величество его составляет. Оно соделало Марка Аврелия. Сие воспитание началось от самого его рождения. Кротость, воздержание, нежное дружество — се свойства, представившиеся ему, исходящу из пелен; но что вещаю я? Он исторжен был из Рима и от царского двора. Такое зрелище почтено было опасным для него. И возможно ль, чтоб в Риме,

где все пороки от концов вселенныя соединились, могла образоваться та душа, которая чиста и строга быть долженствовала? Научился ли бы он гнушаться великолепием тамо, где роскошь и самую бедность заражает? Презирать богатство тамо, где богатством честь измеряется? Быть там человеколюбивым, где все, что сильно, подавляет все, что слабо? Быть тамо благонравным, где порок не знает и стыда? Боги, покровители государства вашего, отвлекли Марка Аврелия от сея опасности. По трех летах, преселенный отцом своим в место уединенное, оставлен он был тамо залогом под стражу благонравия. Далеко от Рима, научился он творить будущее его блаженство. Далеко от двора, заслуживал он возвратиться в него владыкою.

Корыстолюбивый наследник с веселием считает тех, после коих ему сокровища достались; Марк Аврелий, возрастая, исчислял всех тех, кому во младенчестве своем одолжен был примером добродетели. «Отец мой, — вещал он вам, — учил меня не быть малодушным и женонравным. Мать моя научала меня убегать и от злой мысли. Дед учил благотворению, а брат предпочтению истины пред всем на свете». За сие, римляне, точно за сие благодарит он богов в начале своего творения, в коем начертал он все чувствования сердца своего. Скоро потом учители наставили его в должностях человеческих, не словами, но примером. Не твердили ему: «Люби несчастных», но пред очами его несчастным помогали. Никто не внушал ему: «Заслуживай друзей»; но он зрел единого из наставников своих, жертвовавшего всем своим имением другу утесненному. Я видел воина, который, подавая ему наставление в храбрости, обнажил пред ним грудь свою, всю ранами покрытую. Тако вселяли в него кротость, великодушие, правосудие, твердость в предприятиях. Я сам имел славу быть в обществе знаменитых сих учителей. Призванному в Рим из среды Греции в наставники ему, велено мне было идти в его чертоги. Если б он был токмо гражданин, я к нему пошел бы; но чаял я, что первое поучение государю долженствовало быть в зависимости и равенстве. Я дождался, чтоб он ко мне

пришел. Прости сие мне, о Марк Аврелий! Я думал тогда, что ты государь обыкновенный. Скоро я тебя познал, и, когда ты требовал наставлений от меня, я часто научался с тобою.

Еще не вышел он из младенчества, уже горячность к добродетели явилась в его сердце. Двунадесяти лет посвятил он себя роду строжайшей жизни; на пятомна-десять уступил он сестре своей все родительское свое наследие; на седьмом-на-десять он усыновлен был Антонином, и (я вещаю вам виденное мною) он плакал о своем величии. О день, чрез сорок лет оставшийся в моей памяти! Ходил он в саду своей матери; я был возле него. Мы беседовали о должностях человека в тот час, как пришли ему возвестить о его возвышении. Я узрел в лице его перемену, и долго казался он смущен и опечален. Между тем, сродники в радостном восторге его окружили. Удивленные его печалию, вопросили мы о причине. «Можете ль вопрошать меня о ней? — ответствовал он нам. — Я царствовати буду».

С самого того времени Антонин стал для него новым учителем, наставлявшим его в великих добродетелях. Человеческая кровь почитаемая, законы процветающие, Рим спокойный, вселенная блаженна: се новое учение, чрез двадесять лет Марку Аврелию подаваемое.

Оно довольно было к соделанию человека великим; но сей великий муж имел свойство, отличавшее его от всех ваших государей: философия даровала ему оное. При слове философия я остановляюсь. Кое то имя, в некиих веках священное и в других проклинаемое, то почтение, то ненависть возбуждающее, от некиих государей злобно гонимое, от других посажденное с собою на престоле? О римляне! дерзать ли мне восхвалить философию в Риме, где толико раз последователи ее оклеветаемы и откуда толико раз они изгоняемы были. Отсюда, от сих священных стен, были мы влачимы на заточение в каменные горы и на пустые острова. Здесь книги наши пламенем пожранны; здесь кровь наша лилась под острием меча. Европа, Азия и Африка зрели нас, в странствовании и гонении искавших убежища в пещерах зверей диких, где осуждали нас на тяжкие в

оковах работы с убийцами и злодеями.[1] Но что! Неужели философия есть враг человеческому роду и гибель государств? Поверьте, римляне, старцу, познавшему осьмдесят лет существо добродетели и ревновавшему исполнить ее делом. Философия есть наука исправлять людей просвещением. Она общее есть нравоучение народам и царям, основанное на естестве и на порядке вечном. Воззрите на сей гроб! Оплакиваемый вами государь был единый из премудрых. Философия на престоле соделывала двадесять лет блаженство целого света. Отирая людские слезы, опровергла она клевету тиранов.

Марк Аврелий с самого младенчества возлюбил ее страстно. Не искал он заводить себя в познания, для человека бесполезные. Скоро узрел он, что испытание естества есть бездна, и для того всю философию к единым нравам обратил. Прежде всего обозрел он окрест себя различные роды учений и умел избрать тот, который поставляет человека превыше самого себя. Тут увидел он, можно сказать, новый мир, в коем веселие и скорбь вменяются в ничто, в коем чувства потеряли над душою всю свою силу, где бедность, богатство, жизнь, смерть не значат ничего, где существует едина добродетель. Сия есть та самая философия, о римляне! которая вам Катона и Брута даровала. Сия подкрепляла их среди развалин падающей вольности. Она распространилася потом и умножилась при тиранах ваших. Кажется, что стала она необходимою утесненным вашим предкам, коих сомнительная жизнь была непрестанно под секирою неограниченныя власти. В сии нечестия времена она одна сохранила достоинство естества человеческого. Она научала жить, научала умирать,

---

[1] Музоний Руф, из благородных римлян, славный стоик, изгнанный из Рима при Нероне и заточенный на острове Гиярском, переведен был потом в Коринф с злодеями для рытья Коринфского протока. Тут, его узнав, один из друзей опечалился. «Напрасно, — говорил ему философ, — печалишься ты, видя меня роющего землю на пользу Греции. Разве тебе приятнее было бы видеть меня с Нероном поющего и в свирель играющего на зрелище народном?» Нероновы гонения на философию начались паки при Домитиане.

и когда тиранство повергало души в уныние, она воздвигала их с большею силой и величеством. Марк Аврелий предался ей ревностно. С того часа имел он ту единую страсть, чтоб быть удобным к труднейшим добродетелям. Все могущее способствовать ему в оном намерении было для него благодеянием небесным. Он благополучнейшим в жизни своей днем почитал тот, в который в первый раз услышал о Катоне. С признанием помнил он имена тех, от коих познал Брута и Фразея. Благодарил за то богов, что мог читать Эпиктетовы правила. Душа его соединилась с теми великими душами, кои до него существовали. «Сопричтите мя лику вашему! — вещал он. — Просветите разум мой! Возвысьте мои чувствования! Да научусь едину любить истину и творити правоту едину». Для вящего утверждения добродетели в сердце своем хотел он проникнуть сам до источника должностей своих, хотел познать, если возможно, истинное намерение природы в рассуждении человека. Здесь, римляне, разверзается пред вами душа Марка Аврелия, связь его понятий и правила, на коих основал он свою нравственную жизнь. Не я, но сам Марк Аврелий представит очам вашим сие изображение. Я прочту вам писание, начертанное тому более тридесяти лет его собственной рукою. Тогда не был он еще императором. «Аполлоний! — вещал он мне, — прими сие писание, и если когда-нибудь удалюся я от чувствований, моею рукою начертанных, то постыди меня перед очами вселенной...» Римляне и ты, наследник и сын его! судите ныне сами, сообразил ли Марк Аврелий свои деяния с сими великими понятиями и отступил ли хотя единожды от правил, кои чтил он уставом самыя природы».

Здесь философ несколько остановился. Неисчислимое множество граждан, ему внемлющих, придвинулись ближе для слышания его. Сему великому движению последовало тотчас глубокое молчание. Один, между народом и философом, новый император был смущен и задумчив. Аполлоний, опершись одной рукой на гроб, а другою держав писание, начертанное самим Марком Аврелием, стал читать следующее:

БЕСЕДА МАРКА АВРЕЛИЯ С САМИМ СОБОЮ[1]

«Я размышлял нощию. Искал я, в чем состоит благо, на чем истина основана. Марк Аврелий! — вещал я сам себе, — доныне был ты добродетелен, или по крайней мере таковым быть желал; но кто ручаться может, что ты сего вечно пожелаешь? И кто тебе сказал, чтоб то действительно была добродетель, что называешь ты сим именем? Устрашился я сего сомнения и решился проникнуть, если возможно, до первых оснований, чтоб быть мне верну в самом себе и познать стезю, по которой человек последовать должен; место и время способствовали моим размышлениям. Нощь была глубокая и тихая, все окрест меня наслаждалося покоем. Я слышал токмо близ моих чертогов несколько движущиеся Тибровы воды; но сей непрерывный и глухой шум сам способствовал мысли, и я следующим рассуждениям предался.

Дабы познать, что есть добродетель, надлежит прежде познать, что есть человек. Вопрошал я себя: кто я? Признал в себе чувства, разумение и волю и зрел себя будто случайно и неведомой рукою поверженного на поверхность земную. Но откуда я? И кто мне дал здесь место? Для разрешения сего вопроса принужден был я вытти из самого себя и вопросить природу. Тогда взор мой обращался окрест меня и я рассматривал вселенную. Видя бесконечное множество составляющих ее существ, миры, приобщенные к мирам, и себя, толь мала и толь слаба, в углу земли заточенна и, так сказать, погибша в неизмеримости, пришел я несколько в уныние. Что же? — вопросил я самого себя. — Значу ли я нечто в природе? Вдруг воспоминание о моем разумении меня ободрило: Марк Аврелий что мыслит, то нигде погибнути не может. Тогда продолжал я мои изыскания и, примечая на все, рассматривал течение вселенной. Удивился я согласию, зримому повсюду.

[1] Известно, что Марк Аврелий оставил сочинение под названием: «От себя к себе». В оном видна философия возвышеннейшая и нравоучение чистейшее. Здесь одно только существо из него почерпнуто.

Я видел, что в небесах и на земле все существа подают друг другу взаимную помощь. Итак, — вещал я сам себе, — вселенная есть то неизмеримое целое, коего все части между собою сносятся. Величество и простота сего понятия возвысили душу мою. Скоро сие согласие родило во мне нужную мысль о причине всего зримого. Для соображения толиких способов и для составления из толиких разделенных существ, можно сказать, существа единого потребна разумная душа. Душу сию назвал я всеобщею душою;[1] я назвал ее богом. От имени сего ощутил я в себе некое благоговейное смятение, и вселенная представилась мне некиим священным веществом. Я нашел себе подпору и на ней остановился. Все действия приписал я сей причине. Видел я, что она впечатлевает свойственность единства всему сущему. Она дала неисчетным существам бездушным и чувствительным закон, их соединяющий, дабы вдруг заставить их пособлять и благу частному каждого и согласию всего целого. Особливо в разумных существах сей первообразный закон казался мне действующим с большею силою. Люди тайным побуждением ищут и влекут к себе друг друга. Тщетно страсти их разделяют; властительнейшая сила паки их совокупляет. Кажется, что существо мыслящее оставленно и уединенно среди вещественного мира, а сама мысль имеет нужду сообщаться с мыслию. Другая связь представилася мне, а именно: нужды. Наконец, видел я людей, соединенных теснейшим образом. Для всех душ есть един разум, как и для всех веществ един свет. Буде же разум есть един, то надлежит быть и единому закону. Следственно, люди всех земель и всех веков подчинены единому законодательству. Они все суть сограждане единого града; сей град есть вселенная. Тогда чаял я зрети окрест себя упадшими все преграды, разделяющие племена людские, и я зрел уже едину семью и народ единый.

Далее усмотрел я, что по самому порядку природы есть между людьми общество. От сего часа представлял я себя в сугубом отношении. Я взирал на себя, как

---

[1] Марк Аврелий следует здесь стоическому учению. Он держался правил оного, кои в сочинениях его везде видны.

на слабую часть вселенныя, поглощенную в целом, влекомую общим движением, все существа влекущим; потом казался я себе будто отделенным от всего неизмеримого и соединенным с людьми чрез особенное сопряжение. Яко часть целого, Марк Аврелий, должен ты покоряться без роптания тому, что есть следствие общего порядка: отсюда рождается твердость в бедствиях и бодрствование, которое не что иное есть, как повиновение души твердыя. Яко часть общества, должен ты делать все то, что полезно человеку: отсюда истекают должности друга, мужа, отца, гражданина. Терпеть все, что налагает на тебя естество вселенныя, и делать все, чего твое человеческое естество требует, — се два твои правила. Тогда понял я, что есть добродетель, и не страшился более совратиться с пути правого».

Здесь Аполлоний, перервав, обратился к сыну Марка Аврелия. «Государь! — рек он ему, — слышанное тобою приличествует всем людям и может быть философиею Эпиктетовою, так же как и твоего родителя; но последующее до тебя принадлежит. Днесь услышишь ты философию государя и всех тех, кои царствовать достойны будут. Да вселится она в сердце твое! Внемли предместнику и отцу своему». Потом продолжал тако:

«Скоро, обратя мои понятия на самого себя, хотел я сии правила присвоить к моему поведению. Я познал, какое имею место во вселенной, рассматривал, какое место в обществе имею, и с ужасом узрел, что в оном поставлен я на чреду земных владык. Марк Аврелий! если б смешан ты был в толпе народной, ты б только за себя ответствовал природе; но миллионы людей повиноваться тебе будут; степень счастия, коим каждый может наслаждаться, есть определенна; все то, чего недосмотрением твоим недостанет к сему счастию, будет твое преступление. Если в целом свете прольется одна слеза, которую ты мог предупредить, ты уже виновен. Оскорбленная природа тебе скажет: я вверила тебе детей моих для соделания их блаженства; что ж ты с ними сделал? Почто на земле я слышала стенания? Почто люди, подъемля ко мне длани, просили прекращения дней своих? Почто мать плакала над младенцем, в свет рожденным? Почто жатва, определенная

мною на пищу бедному, исторгнута из его хижины? Что скажешь на сие? Народные бедствия будут тебе обличением, а правосудие, стрегущее тебя, впечатлеет имя твое между именами недостойных государей!»

Здесь народ возопил: «Никогда! Никогда!» Множество гласов вдруг восстали. Один кричал: «Ты был нам отец!»; другой: «Ты не терпел утеснителей!»; иные: «Ты помогал нам в бедствиях!»; и тысящи людей единогласно: «Мы тебя благословляли, мы тебя благословим. О мудрый, благодушный, правосудный государь! Да будет священна твоя память, да будет она вечно обожаема!» — «Вы истину рекли, — вещал Аполлоний, — память его вечно пребудет незабвенна, но он, ужасаясь сам тех бедств, кои вам мог бы причинить, достиг до того, что соделал блаженство ваше и заслужил восклицания, раздающиеся над гробом его. Внемлите, что он продолжает.

«Дабы именем твоим не возгнушались, познай свои должности. Они объемлют все племена людские. Они возрождаются ежечасно и ежеминутно. Одна смерть гражданина скончевает твои пред ним обязательства; но рождение каждого налагает на тебя новую должность. Ты обязан трудиться днем, ибо день для человека к действию назначен. Часто должен ты без сна проводить и нощь, ибо злодеяние тогда не дремлет, когда государь покоится во сне. Потребна слабости подпора, потребно силе обуздание. Марк Аврелий! не помышляй более о покое. Он дотоле сокрылся от тебя, доколе несчастные люди и злодеи на земле пребудут.

Устрашенный моими должностями, восхотел я познать способы к исполнению оных, и ужас во мне усугублялся. Я видел, что обязательства мои были превыше человека, а силы не более человеческих. Надлежало б оку государя быть такову, чтоб могло оно обнять все удаленное от него на неизмеримое расстояние и чтоб все места государства его собрались под единую точку пред его взором. Надлежало б слуху его быть такову, чтоб мог он поражаться вдруг всеми стенаниями, всеми жалобами, всем воплем его подданных. Надлежало б могуществу его быть толь быстру, коль быстра воля его, чтоб разрушать и поражать непрестанно все силы, борющиеся со благом общим. Но состав государя есть толь же слабый, как и последнего

из подданных. Марк Аврелий! между истиной и тобою непрерывно найдутся реки, горы, моря. Часто и одними стенами разделена она будет от твоих чертогов, но к тебе не достигнет. Займешь ты помощь от других, но она мало пособит твоей слабости. Дело, чуждым рукам вверенное, иль медленно, иль спешно, иль не на тот конец производится. Ничто так не исполняется, как понял государь; ничто он так не слышит, как бы видел сам. Благо доходит до него увеличиваемо, зло умаляемо, злодеяние оправдаемо, и государь, всегда слабый или обманутый, подверженный неверности или заблуждению тех, коим поручил смотреть и слушать, бывает непрестанно помещен между бессилием познавать и необходимостию действовать.

От исследования чувств моих прешел я к рассмотрению моего разума; сравнивал я и его с моими должностями. Я видел, что для благоуправления нужно почти божественное разумение, которое обозревало б вдруг все правила и оных присвоения, которое не было б господствуемо ни своей страною, ни своим веком, ни своим саном, которое обо всем всегда судило б по истине и никогда б ни о чем по приличиям. Сей ли же есть разум человеческий? Сей ли мой разум?

Наконец, я вопросил себя: благонадежен ли я сам на волю мою? Вопроси же себя: не все ли окружающее тебя имеет над душою твоею такую силу, чтоб совратить или отвлещи тебя от пути истинного? Марк Аврелий! (здесь Аполлоний устремил взор свой на нового императора) трепещи паче всего тогда, когда ты будешь на престоле. Тысящи людей устремятся исторгнуть от тебя волю твою, чтоб дать тебе свою; гнусные страсти свои поставят на место твоих страстей великодушных. Что ж тогда ты будешь? Игралище всего. Чая повелевать, будешь повиноваться. Наружность твоя будет царская, а душа рабская. Сему не удивляйся: тогда душа в тебе будет не твоя: она принадлежать станет тому недостойному и дерзновенному человеку, который ею овладеть захочет.

Сии рассуждения повергли меня почти в отчаяние. О боже! — возопил я, — когда поверженный тобою род человеческий на землю должен быть управляем, почто

людей же избрал ты оным управлять? О существо благодетельное! подвигнись о царях на жалость! Они, может быть, более сожаления достойны, нежели народы, ибо, конечно, ужаснее зло творить, нежели терпеть. В сей час рассуждал я, не отречься ли мне от сея опасныя и страшныя власти, и уже решился было, совсем решился сложить венец...»

При сих словах казалось, что внимавшие в глубоком молчании римляне как будто убоялись лишиться своего государя. Забыли они, что нет боле на свете сего великого мужа. Скоро мечта сия исчезла. Тут казалось, что они в другой раз его лишаются. В смятенном движении все они преклонились ко гробу его; жены, младенцы, старики — все в ту сторону теснились, все сердца печалью воскипели, из всех очей лилися слезы. Скорбный и смущенный шум разносился во всем бесчисленном народе. Сам Аполлоний возмутился; бумага упала из рук его. Он обнял гроб Марка Аврелия. Казалось, что вид сего отчаянного старца умножал общее смятение. Скоро потом шум уменьшился. Аполлоний пришел в себя, как человек от сна пробудившийся, и с утомленными скорбию очами поднял он бумагу с гроба и продолжал колеблющимся гласом:

«Я не долго остановился на мысли, чтоб отречься от правления. Видел я, что веление богов призывает меня на служение отечеству и что я повиноваться должен. Когда, — сказал я сам себе, — казнится смертию воин, оставляющий место свое, то тебе ли свое оставить возможно? Или нужда быть на престоле добродетельну тебя устрашает? Тогда чаял я слышать тайный некий глас, мне вещающий: «Что б ты ни творил, всегда пребудешь человек; но постигаешь ли точно, до какой степени совершенства человек возвыситься может? Зри расстояние от Антонина до Нерона». Я сим гласом ободрился и, не могши увеличить мои чувства, решился искать всех способов возвеличить мою душу, то есть просветить разум и утвердить волю. Сии способы находил я в самом понятии о должностях моих. Марк Аврелий! когда бог поставляет тебя главою над родом человеческим, то приобщает он тебя частию к правлению мира. Итак, от самого бога должен ты прияти разум на благоцарствие. Возвысься до него, размышляй о сем великом существе, почерпни из недр его любовь

к порядку и к благу общему; да устройство вселенныя научит тебя, какову быть устройству твоего государства. Предрассудки и страсти, владычествующие толикими людьми и царями, к тебе не прикоснутся. Ты будешь иметь токмо пред очами своими должности и бога и сей вышний разум, который твоим примером и законом быть долженствует.

Но воля последовать оному во всем не есть еще достаточна. Надлежит, чтоб заблуждение не могло развратить тебя. Тогда начал я подробно разбирать все мои мнения и каждое мое понятие сравнивать с вечным понятием о правоте и истине. Я видел, что нет иного блага, кроме того, что полезно обществу и с порядком сообразно; нет иного зла, кроме того, что сему противно. Я разбирал злы вещественные и зрел в них не иное что, как одно неизбежное действие законов вселенныя. Потом хотел я размышлять о скорби; уже нощь была глубокая, сон отягчал мои глаза. Я не мог долго ему сопротивляться, заснул и чаял зрети видение. Казалось, что внутри некоего пространного здания собрано было множество людей. Все они имели нечто сановитое и величественное. Хотя я с ними и не жил никогда, но черты лиц их казались мне знакомы. Вспомнил я, что в Риме взирал я часто на их изваянные образы. Я обратил на всех взор мой, как страшный и громкий глас раздался по всему зданию: «Смертные, научайтеся терпению!» В тот час узрел я пред одним возгоревшийся пламень, в который простер он свою руку. Другому был предложен яд; он приял его и принес богам жертву. Третий, стоящий подле кумира упадшей вольности, держал в одной руке книгу, а в другой меч, на острие коего взирал. Далее узрел я мужа, кровию обагренна, но кротка и более спокойна, нежели сами мучители его. Я устремился к нему, вопия: «Тебя ль я зрю, о Регул!» Я не мог видеть более его страдания и отвратил от него взор мой. Тогда усмотрел я Фабриция в бедности, Сципиона, в заточении умирающа, Эпиктета, в оковах пишуща, Сенеку и Фразея, с разверстыми жилами, взирающих спокойно на лиющуюся кровь свою. Окруженный толь великими и несчастными людьми, проливал я слезы. Казалось, что

они тому дивились. Один из них (сей был Катон) подошел ко мне и рек: «Не жалей о нас, но подражай нам, и ты также скорбь побеждати научайся». Между тем, казалось, что держимый в руке своей меч готов он был обратить в грудь свою. Я хотел остановить его, вострепетал и пробудился. Рассуждал я о моем сновидении и понял, что сии мнимые бедствия не имеют права колебать моего бодрствования. Я решился быть человеком, терпеть и творить благо».

«Но, — рек Аполлоний, — есть еще злы чувствительнейшие и ближе душе касающиеся. Неблагодарность, обида, клевета — словом, все пороки злых людей, кои нас терзают и обременяют. Марк Аврелий вопрошал сам себя: «Достойны ль все сии гнусные и жестокие люди, чтоб для них творити благо?»

«Философ, — прервал грубо речь его юный император, — и я также о том тебя вопрошаю».

«Государь! — ответствовал Аполлоний, — на сие внемли ответу отца и предместника твоего. Он в молчании полагает на весы все зло, кое человек приключает человеку, и тако беседует с собою:

«Источник твоих действий должен быть в душе твоей, а не в душе других. Оскорбляют тебя, но что до того? Бог твой законодатель и судья. Есть злые люди, но они тебе полезны. Без них что б нужды было и в добродетели? Ты сетуешь на неблагодарных! Подражай природе: она все дает людям и ничего от них не ожидает. Но обида? Обида унижает не того, кто ее терпит, но того, кто ее делает. Но клевета? Благодари богов, что враги твои, говоря о тебе зло, ищут помощи во лжи. А стыд? Но чего стыдиться человеку, правоту наблюдающему?»

Итак, решился он, если б надобно было, досаждать людям на то, чтоб делать им услугу; он согласился б быть и ненавидим ими, чтоб быть для них полезным.

Он положил на весы зло и хотел противу положити благо.

«Я вопрошал сам себя, — вещал он, — что такое есть людска слава? Она есть звук, в углу земли восстающий и исчезающий. Что ж похвала дворская? Есть дань, приносимая от корысти силе или от подлости гордыне. Что же власть? Величайшее злосчастие для такого, кто не есть человек добродетельнейший. Но

жизнь?.. В тот час увидел я на месте, где размышлял, одно из тех песочных орудий, кои время измеряют. Взор мой на него устремился. Я смотрел на пылинки, кои, упадая, означали доли течения времени. Марк Аврелий! — помыслил я, — время дано тебе на пользу людям; что ж ты для них сделал? Жизнь протекает, годы исчезают. Они падают одни на других подобно сим песчинкам. Поспешай; ты между двумя безднами поставлен: между временем, тебе предшествовавшим, и между временем, по тебе грядущим. Среди сих двух пучин жизнь твоя есть точка; да ознаменится она добродетельми твоими. Буди благотворен, имей свободную душу, презирай смерть».

Произнося сии слова (он сам часто мне повествовал), ощутил он изумление в душе своей. Помыслив несколько, продолжал он:

«Неужель смерть тебя страшит! Нет, умирать есть не что иное, как действие жизни, и, может быть, самое легчайшее. Смерть конец сражениям приносит. Она есть то мгновение ока, в которое можешь ты сказать: уже добродетель моя мне принадлежит; она свободит тебя от величайшия опасности стать некогда злобным. Марк Аврелий! ты пустился в море; следуй пути своему, и когда настанет конец плаванию, сниди с корабля и, стоя на брегу, богов благодари».

Сим образом рассмотрел он по порядку почти все то, что смущает и колеблет человека, дабы научиться об оном судить и все намерения свои располагать по намерениям природы. Он охранил себя против мнений; хотел охранить себя против чувств своих. Государь! кажется действительно, что человек сам сражается с собою и сам себе против положен. Разум составляет силу мою, а чувства слабость. Разум мой возвышает меня к понятиям о порядке и благе общем; но чувства мои унижают меня до пристрастных видов и низводят меня до самого себя. Тако разум мой возвеличивает меня, а чувства унижают. Отец твой восхотел их поработить, чтоб быть вольным самому. От сего часа посвятил он себя роду строгой жизни и сам себе вещал:

«Укрощу страсти мои, и из всех их ужаснейшую, ибо она есть и приятнейшая: укрощу сластолюбие. Жизнь есть битва; должно непрестанно братися. Укло-

нюсь от роскоши, ибо роскошь чрез все чувства душу расслабляет. Уклонюсь от нее, ибо у государя роскошь истощает сокровища прихотям на удовольствие. Буду жить малым, как будто б был я беден: хоть я государь, но нужды мои суть нужды человека. Я не дам сну более того времени, которого отнять у него не возмогу. Каждое утро скажу себе: се час, в который усыпленные злодеяния пробуждаются, в который страсти и пороки вселенную объемлют, в который к почувствованию скорби возрождается несчастный, в который утесненный, восставая в темнице, паки тяжесть оков своих обретает; в сей самый час должны восстать добродетель, благотворение и власть священная законов. Да будут единые труды отдохновением в трудах моих! Если учение и дела занимать будут все мои часы, то забавы не найдут уже ни одного праздного из них на похищение себе».

Здесь Коммод колеблющимся гласом еще прервал чтение, вопросив Аполлония: «Неужель государю все забавы воспрещены?»

«И отец твой вопрошал себя о том же, — ответствовал философ. — Внемли его ответу.

«Нет, Марк Аврелий, ты не со всеми забавами разлучен будешь. Боги чистейшие и сладчайшие тебе предоставили. Веселись, утешая скорбных, услаждая жизнь несчастных. Веселись, вспомогая единым словом целой области, творя ежедневно счастие двухсот людских племен. Вещай: сему ли предпочтешь ты сладострастные забавы, или зрелище бойцов, или жестокосердое увеселение видети людей, сражающихся на площади с лютыми зверями? Каждый час ознаменован должностию; каждая должность да будет для тебя источником забавы».

(Государь! таков быв ответ отца твоего на вопрос, учиненный мне тобою.)

Он остановился мысленно. Видел, чего природа от него требует. Познал бога, свою душу, свой разум, место свое во вселенной, место свое в обществе, должность человека, должность государя. Старался он укрепить душу свою против всех препятств, могущих впредь останавлять его в течении, и тогда, воздев на небо руки, возопил (и ты, юный император, воскликни купно с ним):

«О боже! не создал ты ни царей быть утеснителями, ни народы быти утесненными. Я не требую, чтоб ты меня исправил. Разве нет во мне самом действующей воли на то, чтоб преуспевать в совершенстве, сражаться с собою и побеждать себя; но даждь мне то, чего я сам себе подати не могу: даждь мне познати и слышати правду! Пошли мне нужнейшее для царей благо, пошли ты мне друзей. Сотвори, да умрет прежде Марк Аврелий, нежель престанет быти правосуден».

По сих словах узрел он, что протекла нощь и солнце восходило. Уже множеством людей улицы Рима наполнены были. Уже слышал он восклицания, знаменующие, что Антонин шествует к народу.

«Я пошел на стретение отцу моему, — продолжает Марк Аврелий. — Во всех его деяниях зрел я исполнение того, что я творити предприял, и тем был я еще более ободрен к добродетели».

Римляне внимали сему в глубоком молчании. Во время сего чтения сердца их наполнены были то скорбию, то благоговением, то нежностью. Они видели деяния сего великого мужа. Сорок лет были свидетельми его добродетелей, но не ведали правил его. Очи их с бо́льшим огорчением устремились на гроб его и потом, как будто невольным движением, обратились почти в то же время на сына Марка Аврелия, который долженствовал быть весьма недостоин сего имени и который стоял, потупя взор свой.

«Сын Марка Аврелия! — возопил Аполлоний, — сии очи, на тебя обращенные, вопрошают тебя: будешь ли ты подобен отцу своему? Не забуди льющихся слез, зримых днесь тобою. (И обращся к народу.) Остановим скорбь нашу, довершим хвалу его добродетелям. Я представил вам половину токмо изображения Марка Аврелия; надлежит видети его в ненарушимости правил своих, последующа составленному от него себе начертанию и чрез двадесять лет присвоявшего к блаженству мира те нравственные понятия, кои внушала философия ему, бывшу еще далеко от престола,

Марк Аврелий видел, что природа вложила во всех людей ум, к обществу способный; отсюда усматривает он рождающееся понятие о вольности, ибо где токмо

владыко и рабы, тамо нет общества; нет и собственности, ибо без надежности во владениях не может устоять общественный порядок; нет и правосудия, ибо оно одно восстановляет равновесие, которое страсти разрушить стремятся. Наконец, нет тамо всеобщего доброжелательства, ибо как все люди совокуплены в общежитие, то в очах природы нет подлого человека, и если не все имеют право на одинакую чреду, то по крайней мере все имеют право на одинакое счастие. Таково было главнейшее расположение его правления.

Я начинаю вольностию, римляне! ибо вольность есть первое право человека, право повиноваться единым законам и кроме их ничего не бояться. Горе рабу, страшащемуся произносить ее имя! Горе той стране, где изречение его вменяется в преступление! Бедствие сие было при тиранах ваших, но что произвела тщетная их лютость? Погасила ль она в сердцах отцов ваших сие великодушное чувствование? Можно угнести его, но не истребить; оно пребывает везде, где души тверды; оно в оковах сохраняется, в темницах обитает, под ударами мучителей возрождается. Доколе оно в вас, о римляне! дотоле вы бодрственны и добродетельны пребудете. Марк Аврелий, взошед на престол, знал сие священное право: он видел, что человек, рожденный свободным, но в необходимости быть управляем, покорился законам, но никогда не покорялся прихотям государским, что ни один человек не имеет права повелевать другим самовольно, что похищающий власть сию разрушает самую власть свою. Он в летописях ваших при Тивериях и Неронах видел самовластие сих чудовищ, при коих уметь умирать слыло единой добродетелью; видел самовластие столь же ненавистное, но подлейшее любимцев государских, утеснение в империи, вселенную раболепствующую; человека, под именем императора, который все в ничто преобращал для того, что все относил к единому себе, и казался вещающим к народам: имение ваше, кровь ваша, все мне принадлежит; страждите и умирайте. Я знаю, римляне, что никогда вы не давали, ниже могли давать сих ненавистных прав вашим государям; но когда они во едино время суть князи, судии, первосвященники

и полководцы, то кому поставить власти их преграду, если сами они ее не поставят? О боги! возможно ль двумстам племенам людским быть для того несчастным, что случилось единому человеку не быть добродетельну? Марк Аврелий, вооруженный всею силою неограниченныя власти, слагает ее с себя добровольно. Дабы не употребить во зло своего могущества, ограничивает оное со всех сторон, умножает силу законов, которую многие императоры истребить хотели, возвращает отъятую власть судиям, кои часто были или рабы, или подобны истуканам. В царствование его ни один сенатор, ни один бесчестный гражданин не дерзал никогда промолвить, что государь не подчинен законам. «О подлая душа! — сказал бы таковому Марк Аврелий, — за что ты меня унижаешь! Знай, что я в честь себе вменяю таковое подчинение; знай, что власть делать неправосудие есть слабость». Римляне! я не страшусь сего вам изрещи: никогда в наилучшее время Рима, никогда при самых ваших консулах предки ваши свободнее вас не были. Не все ль равно быть управляему единым или многими? Цари, диктаторы, консулы, децемвиры, императоры — все сии различные имена едино знаменуют, то есть служителей закона. Закон все составляет: образ государственного правления перемениться может, но права граждан всегда те же. Они не зависят ни от властолюбца похищающего, ни от низкия души, себя продающие. Они, будучи основаны на природе, суть, как она, неразрушаемы.

Итак, могу я свидетельствоваться всеми вами и вопросить вас: утеснил ли кого из граждан Марк Аврелий? Если таковый найдется хотя один, да приступит ко мне и обличит меня во лжи».

Весь народ возопил: «Никого, никого!»

«Я еще вас вопросить могу: во время царствования его был ли кто-нибудь из вас утеснен от тех любимцев государских, кои раболепствуют для того, чтоб быть тиранами, кои тем с большею гордостию повелевают, что сами повинуются, и, вооружась чуждою властию, алкая ею наслаждаться, боясь ее лишиться, усильно напрягают все ее способы и ускоряют всеобщее

рабство. Скажите, римляне, в царствование его не было ли кого из таковых?»

Здесь все также возопили: «Никого, никого!» Аполлоний продолжал:

«Благодарение бессмертным богам, что имели вы владыку, который никем владычествуем не был! Дабы всегда вы были вольны, не допущал он себя ни порабощать, ни порабощаться; он защищал вольность вашу против самого себя; он защищал ее против всех окружающих престол его.

Но к чему б вам служила сия вольность, если б в самое то же время собственность имений ваших не была вам обеспечена? И что вещаю я? Где нет одной, тамо другая есть мечта. Увы! было время, в кое Рим и империя преданы были на расхищение; в коем от произвольного отнятия имений, от несносных поборов, от расточений без причин и без намерений, от грабительств непрестанных разорялись семьи, истощались области, обнищевал убогий и все сокровища пожирались алчным государем или несколькими его любимцами, коим угодно было уделять из тех богатств своему владыке. Се слабая часть бедствий, претерпенных предками вашими! Но что? Если б таковые бедствия всегда на земле пребывали, не лучше ль было бы странствовать в лесах и жить с дикими зверями? По крайней мере хищная рука не простерлась бы туда исторгнуть от гладного пищу. Вертеп, им избранный, послужил бы ему убежищем, и он мог бы сказать тогда: здесь камень, кроющий меня, и вода, утоляющая жажду мою, принадлежат мне; не даю платы за воздух, коим здесь дышу. Никто из вас, римляне, в государствование Марка Аврелия не был доведен до такой крайности. Он укрощать стал сокровенное тиранство казенныя палаты в рассуждении граждан, что составляло некий род войны, где часто закон поставляем был против правосудия и государь против подданных. Всякий донос, клонившийся токмо на умножение его доходов, был отвергаем; всякая сомнительная тяжба у частного человека с короною решалась в пользу первого. Он отменил описывать на государя имение гражданина, яко лютое

злоупотребление, наказующее невинного сына за вину отцовскую, яко злоупотребление опасное, вселяющее охоту находить виновных тамо, где богачи обитают. Не хотел он, чтоб преступления подданных составляли поместье государя и чтоб глава отечества находил позорный прибыток в том, чем отечество оскорбляется.

Сия умеренность распространялась и до государственных налогов. В крайних случаях зрели вы его прощающего все долги, когда почитал он поборы весьма тягостными. В те самые времена, когда умножались нужды, умножал он к народам свои благодеяния. Но, повествуя о Марке Аврелии, стыжусь я употреблять изречения, посвященные государям от ласкательства. Что я нарицаю благодеяниями, он нарицал правосудием. Нет, государство не имеет никакого права над бедностью. Позорно и жестокосердо было бы желать от самого убожества обогащаться и отъятое у того, кто имеет мало, отдавать тому, кто всем изобилует. В его время земледелец был почтен. Человек, питающийся руками своими, мог наслаждаться тем нужным, что руки его доставляли ему; роскошь и сластолюбие платили то золотом, что бедность платила трудами. Он сам подал еще знаменитейший пример. Обретшись между лютым неприятелем и отягощенными народами, на самого себя, о римляне! наложил он те подати, кои вы не могли б платить без отягощения. Вопрошен он был: где найдет для войны сокровища? «Се они, — отвечал он, указуя на уборы своих чертогов. — Обнажите сии стены, отнимите сии кумиры и живописания, отнесите сии златые сосуды на площадь, да именем государства будут они проданы, да сии тщетные украшения, служившие убранством чертогов императорских, послужат защитою империи». Я стоял возле него, когда он подавал и когда исполнялося его повеление. Я казался удивленным. Он ко мне обратился: «Аполлоний! — рек он мне, — и ты дивишься подобно народу! Разве можно мне велеть вместо сих златых сосудов продавать брение бедного и хлеб, питающий младенцев? О друг мой! — вещал он мне потом, — может быть, все сии сокровища стоили слез тысящам людей: продажа сия будет слабое заглаждение бедствий, приключенных чело-

вечеству». О римляне! те чертоги без убранства, те стены обнаженные были для вас блистательнее и величественнее златых палат, в коих тираны ваши жили. Дом Марка Аврелия в таковом состоянии походил на почтенный храм, не имеющий другого украшения, кроме божества, в нем обитающего.

Не довольно того, что сам от себя похищал, имел он еще бодрость духа отказывать другим то, чего давать не имел права. Научился он защищаться от той щедрости, которая иногда бывает болезнию великих душ и которая есть тем опаснейшее искушение, что походит она на добродетель, но часто для счастия одного приключает бедствия нескольких тысящ.

Недостойные императоры подкупали воинов для подпоры своей противу Рима, и злато, в войсках рассыпаемое, служило на изваяние оков, налагаемых на вселенную неограниченным самовластием. Марк Аврелий устыдился б подкупить войско империи против самой империи. Он от имени государства давал ему все то, чем оно ему должно, но ничего не давал ему от имени государя. Не хотел он, чтоб, обогатясь от руки его, обыкало оно разделять качество гражданина от качества воина».

Аполлоний хотел было продолжать слово свое, но вдруг прервал оное некий, стоявший близ его.

«Философ! — вещал он, — позволь возвестить воину такое деяние нашего великого государя, которое, может быть, тебе и неизвестно. Мы были в Германии, и он едва одержал победу, уже стали мы просить у него денежной награды. Вот что он нам ответствовал. Я помню и то, что все мы были тогда на месте сражения и он держал в руках шлем, изъязвленный стрелами. «Друзья мои! — сказал он нам, — мы победили; но если мне вам дать имущество граждан, то что пользует государству победа наша? Все, что ни дам вам сверх оклада, истощу я из крови ваших ближних и отцов ваших». Мы устыдились от слов его и ничего больше не просили».

«Я ведал сей ответ Марка Аврелия, — рек старец воину, — но мне любезнее, что тобою возвещен оный

римскому народу». Тогда Аполлоний продолжал слово свое. Он обратил его на правосудие и на образ отправления оного, введенный в Рим Марком Аврелием. Что в том, рассуждал он, что государь не тиран и не утеснитель, если граждане утесняют граждан? Самовластие каждого из подданных, буде оно не обуздано, есть толь же страшно, как и самовластие государево. Повсюду частная корысть препятствует общей; благополучие одного подрывает благосостояние другого; все страсти меж собою ударяются: правосудие долженствует с всем оным сражаться, упреждать таковое безначалие. «О римляне! почто у людей источник блага всегда в источник зла преобращается? Сие святое правосудие, помощь и ручательница общества, стала при тиранах ваших самым основанием разрушения. Воздвигся в стенах ваших род людей, кои под предлогом отмщения законов всем законам изменяли, питаясь доносами, делая куплю клеветою и всегда готовы будучи продавать невинность злобе или богатство корыстолюбию. Тогда все вменялось в государственное преступление. Тот преступником считался, кто ссылался на права человеческие, кто хвалил добродетель, кто жалел несчастных, кто способствовал возращению наук, душу возвышающих; самое призывание священного имени законов было преступление. Действие, слово, самое молчание обвиняемо было. Но что вещаю я? И самая мысль тогда подвергалась толкованиям, и она была обезображиваема на то, чтоб найти ее виновною. Сим образом все искусством доносов отравлялось; доносители награждаемы были государственными сокровищами, и почести, им оказуемые, размерялись их нечестием. Каких искать пособий в государстве, когда невинность закалается именем законов, защищать ее долженствующих? Часто и самый суетный обряд законов был пренебрегаем. Произвольная власть заключала в темницы, посылала на заточения и безотчетно умерщвляла. Вы знаете, римляне, гнушался ль Марк Аврелий сим тиранским судом, который волю одного человека ставит на место законного решения, который жизнь и имение гражданина попускает зависеть от обмана или заблуждения, которого удары тем суть ужаснейшие, что часто

бывают они глухи и сокрыты, который несчастному дает токмо рану ощущать, но не показует руки поражающей, или который, разлучая его от всей вселенной и только на то осуждая жить, чтоб умирать непрестанно, оставляет его под тяжестью оков, не ведуща ни своего доносителя, ни своего преступления, удаленна от вольности, коея священный образ скрыт навсегда от глаз его, удаленна от закона, долженствующего в темнице и в заточении ответствовать на вопль несчастного, его призывающего. Марк Аврелий почитал все обряды законов за преграды, кои благоразумие воздвигло против неправосудия. При нем исчезли те преступления, оскорбляющие величество, кои при недостойных токмо государях учащаются. Всякий донос отсылаем был к обвиняемому с именем доносителя: сие на низкие души было обузданием, сие щитом было для тех, коим нечего страшиться, если токмо могут защищаться.

Граждане! несчастный в гонении укрывается во храмах, где алтари богов объемлет. При Марке Аврелии убежищем и храмами вашими были самые судилища. «Да все страшащиеся утеснения, — вещал он, — прибегнут в сие священное убежище; тамо, и я клянуся в том богами, если я утесню вас когда-нибудь, хощу, о римляне! да обрящете защиту против самого меня».

И с каким достоинством сей великий муж беседовал к начальникам и судиям о их должности. «Если случится вам судить неприятеля вашего, возрадуйтесь тому: вам предстоит случай вдруг и победить страсть и сотворить великое дело. Если восхотят развратить вас почестьми за выслугу, то поставьте в одну сторону цену, вам предлагаемую, а в другую добродетель и право почитать самого себя. Если станут вам угрожать... Но вам кого страшиться? Мне ль убоитесь досадить, делаяй благо? Ненавидимы государем за ваше правосудие, вы будете велики, а я бесчестен и преступник». Тако дух Марка Аврелия оживлял все государственные судилища.

При нем был, следственно, суд немздоимный, нелицеприятный, ни весьма спешный, ни весьма медлен-

ный. Не надлежало покупать его дарами, не надлежало исторгать его докучательством. Вредное злоупотребление умножило дни, в кои судилища были затворены, как будто б в те дни запрещено было богатому похищать, сильному вредить, несчастному чувствовать свои бедствия. Римляне! время текло для раздоров и злодейств, но течение его прерывалось для восстановления порядка. Марк Аврелий исправил сие злоупотребление: он чаял, что и в самые священные дни творимое людям правосудие не может богов оскорбляти, и святейшее из всех сокровищ, время, отечеству было возвращено.

Упражняясь во всеобщем управлении, умел он находить часы и на то, чтоб самому судить дела своих граждан». — «Философ! — прервал некто в народе стоящий, — я чту и удивляюсь Марку Аврелию равно с тобою; но чаешь ли ты, чтоб власть судить не могла быть когда-нибудь опасна в государе?» — «Без сомнения, — ответствовал Аполлоний, — надлежит страшиться, чтоб, обыкнув к самовластию, не захотел он быть вдруг и судиею и законом, чтоб, реша один, не обманулся, чтоб, присутствуя в судилище, не поколебал властию своею праводушие судей и чтоб ласкательство не пожертвовало законом тому, кому вся суть возможна. Но сии злоупотребления, бывшие нередко при тиранах ваших, приписывать надобно тому человеку, который оным попускает или оные производит. Власть судить в государе имеет свои выгоды, когда он добродетелен. Я дерзаю сказать еще, что тогда государь ближе к народу, что видит он подробности людских несчастий, что мысль свою научается подчинять законам и что стремительное всегда самовластие обыкает чувствовать воздерживающее его обуздание. Таков был дух Марка Аврелия в его судебных изречениях. Я не престаю еще воспоминать о правосудии сего великого мужа. При мне самом проводил он без сна многие нощи, углубляясь в важные дела, требующие его решения: мы трудились совокупно. Некогда хотел я преклонить его на отдохновение. «Аполлоний! — ответствовал он мне, — подадим пример всем тем жаждущим утех людям и на тяжесть дел негодующим, кои мечтают разделять от трудов почести». Не удивляйтесь словам его: они приличны

государю, который по приятому правилу был правосуден и который, по должности любя людей, о пользе всех рачил равномерно».

Здесь философ остановился: он казался объят чувствованием скорбным и глубоким.

«Признаюсь вам, римляне! — вещал он, — что некая мысль меня обременяет, и она многажды восстенать меня побуждала; не могу без смущения представить себе того безмерного неравенства, которое гордыня между людьми постановила. Всегда благотворящая природа создала существа в свободе и равенстве; настало тиранство и сотворило существа слабые и несчастные. Тогда малым числом все объято стало; оно овладело вселенною, и человеческий род стал лишен наследия. Отсюда родилось оскорбительное презрение, и надменное высокомерие, и лютое господство, и сожаление, изъявляемое гордынею, лютейшее самого презрения. Философия на престоле долженствовала отмстить за сию обиду, причиняемую человеческому роду. О вы, не восшедшие на степень ни патрициев, ни сенаторов, не изобилующие богатством! о граждане и люди! не страшусь я, чтоб тайные ваши нарекания сообщались с похвалами, коими чту память государя вашего. Сострадательная благость его зрела во всех чинах государственных многочисленное токмо общество братий, друзей и сродников. Колико раз вы видели его соболезнующа о нуждах ваших, услаждающа их щедротами и для познания о них проницающа даже во внутренности семейств ваших. В отраду трудов, вами подъемлемых, составлял он вам веселия и праздники, и, прелестию зрелищ исторгая бедного от самого себя, остановлял он горестные его чувствования или заставлял его забыть по крайней мере на несколько часов то благо, коим он не наслаждался. При нем низкая порода не исключала от должностей и достоинств государственных. Для различения чинов Марк Аврелий сообразовался с предрассуждениями, но для познания цены человека судил он человека. Руки, влачившие плуг, водили при нем преторские стражи, и для избрания супруга своей дщери обратил он очи на помпеянина, который, вместо знат-

ных предков, имел единое достоинство. Союз с добродетелью, вещал он, не может владыку земного обесславить».

Здесь Аполлоний, обращая очи на собрание римского народа, узрел Пертинакса. Сей был воин, прославленный победами, и достоинство его долженствовало потом возвести его на трон. Он вступил тогда в Рим с частию своего войска, препровождая тело Марка Аврелия. Стоял он несколько одаль от тесноты народной, с видом скорбным, оперщись руками на копье свое и к столпу прислонясь спиною; Аполлоний вдруг обратил к нему слово:

«Тобой еще свидетельствуюсь, Пертинакс! — вещал он. — Ты имеешь дух признаваться, что рожден ты от раба, умершего из рабства свобожденным: сим ты вящее имеешь право на наше почитание. Дерзаю днесь воспомянуть случившееся тебе подпадение под гнев монарший, которое толикую же приносит честь тебе, как и государю твоему. Ты был обвиняем; он послушал навету, и ты виновным казался. Скоро невинность твоя объяснилась; Марк Аврелий столь был велик, что простил тебе обиду, которая от него тебе приключена. Он нарек тебя сенатором и консулом; люди, чтившие себя твоими совместниками, дерзали разглашать, что слава консульства уничтожена твоей породой. «Возможно ль, — возопил Марк Аврелий, — чтоб место Сципионов унижено было тем воином, который им подобен!»

Возвышавший сим образом знаменитых плебеян, не мог забыть дворянства государственного, но хотел, чтоб оно знатность свою делами подкрепляло. Презирал его, если оно токмо что надменно; почитал его, если добродетельно; помогал ему, если оно бедно; не хотел он, чтоб во граде, зараженном роскошью, те души, коим надлежало быть щедролюбивыми, снисходили до позорных способов к своему набогащению.

Вещая о том покровительстве, которое Марк Аврелий оказывал всякого звания полезным людям, могу ли я забыть, о римляне! и то, которое изъявлял он нам самим и всем тем, кои купно с ним просвещали учением свой разум. Боги мне свидетели, что не воспоминание гнусныя корысти привлекает меня в сей час похвалить Марка Аврелия. Если чрез шестьдесят лет не искал я почестей и не стремился к богатству, если я, любим

будучи сим монархом, оправдал могущество мое поведением, если иногда, раздражаем будучи, не ответствовал я иначе, как злобе благотворением, а клевете делами моими, то, может быть, я имею право извещать все то, что сей великий муж соделал для философии и наук. Не знаю, будут ли они иметь еще некогда в Риме своих злодеев; не знаю, изгнание и ссылка не будут ли паки участию нашею; но ни в которое время не возможет умолкнуть в нас вопиющая природа и возвещающая нам, что народы имеют право быть благополучными. Мы скорбети будем о бедствиях человеческого рода, и если в какой-нибудь части света воцарится государь, подобный Марку Аврелию, который возвестит, что хочет посадить с собою на престоле нравоучение и науки, тогда из среды убежищ наших все мы единодушно, подъемля длани, богов благотворити будем. О, если б мог я здесь оживить колеблющийся глас мой! Марк Аврелий дает знак с высоты Капитолии. Из всех частей государства все любящие и ищущие истину стекаются окрест его. Он ободряет их, покровительствует им. Вы сами зрели его, уже в императорском достоинстве, идущего часто научатися в народные училища; казалось, что приходил он в среду множества людей искати истины, бегущей от царей. При владении его мы полезны были. Для нас было бы довольно той славы; но сей великий муж восхотел приобщить к ней и почести. Он возвел многих из нас на первые государственные степени и воздвиг им кумиры возле Катонов и Сократов. Римляне! если б тираны ваши могли изыти из гробов своих и явитися в стенах ваших, колико удивились бы они, узрев собственные свои кумиры разбиенными и поверженными в Риме, а на их местах последователей тех самых людей, коих влачили они в темницы и коих кровь под мечами их лилася!

Марк Аврелий, протекая все гражданские состояния, снисходит взором своим и на тех, кои столь несчастны, что не познавали добродетели. Благоразумные законы ставили преграду развращениям, но первый закон был — его пример. Строгая непорочность его удивила сладострастных. Души слабые восприяли бодрствование добродетели; любочестивые для собственной

своей пользы стали снисходительны. Сожалел он о неисправных, осуждал их, но не мог решиться их возненавидеть. Строг для самого себя, имел он кроткое человеколюбие, столь свойственное слабости нашей. Недостойные люди дерзали раздражать его: он презирал мщение, во власти его состоящее, и философ забывал обиду, причиненную государю».

Здесь Коммод в лице переменился и глаза его воспылали. Казалось, что хотел он нечто изрещи, но воздержался, а философ продолжал:

«Благость составляла свойство сего великого мужа. Она была в речах его, она во всех чертах лица его изображалась. Но что вещаю я? Она была и самым божеством его. Воззри на Капитолию, где воздвигнут ей храм его руками! О зиждитель всего мира! тебя и обожая прогневляли почти все живущие на земли. Повсюду лютое суеверие имело свои храмы, где, укрощая гнев твой, приносило тебе стенания и вопли жертв человеческих. Марк Аврелий, понимая тебя благим существом, призывал помощь твою. Он таковым перед людьми тебя изображал, каковым ты в сердце его был изображен. Нет! не забуду никогда дня того, торжественного часа того, в который сей монарх, яко первосвященник и владыка страны своей, вошел в первый раз во храм, посвященный *благости,* и возжег на олтаре первый фимиам среди радостных восклицаний народа, который, казалось, принимал самого Марка Аврелия божеством храма. О римляне! невозможно было предкам вашим осудить Манлия виновным, доколе они имели перед очами своими Капитолию, спасенную сим славным воином; а я воссылаю к небесам молитву, да воззрение на сей новый храм в той же самой Капитолии остановит государей ваших всякий раз, как восхотят они соделать лютое и тиранское деяние! Народы! да приидут все царствующие впредь над вами перед алтарь сей, да клянутся быть во благости подобными Марку Аврелию и да навыкнут верить с ним сходственно, что всякая добродетель, творимая людям, есть благочестивое деяние пред самым божеством».

В сем собрании римского народа было множество чужестранцев и граждан всех частей империи. Одни давно жили в Риме, другие из разных областей препровождали из почтения гроб Марка Аврелия. Вдруг один из них (и сей был первый судия града, стоящего у подошвы гор Аспийских), возвыся глас свой:

«Вития! — рек Аполлонию, — ты повествуешь нам о благодеянии Марка Аврелия к частным людям, впадшим в злоключение; но вещай нам и о том, которое являл он целым градам и народам. Воспомни глад, Италию потублявший. Мы слышали вопли жен и детей наших, просящих от нас пищи. Неплодные поля наши и опустелые торжища не представляли нам никакия помощи. Мы возопили о ней к Марку Аврелию, и глад утолился». Тогда он подшел ко гробу, коснулся до него и рек: «Я приношу тлению Марка Аврелия дань благодарности от всея Италии».

Предстал потом другой. Лицо его опалено было от солнечного зноя. Черты его имели нечто горделивое, и главою своею превышал он предстоящих. Сей был африканец. Он возвысил глас свой и рек:

«Я родился в Карфагене. Видел я дома и храмы наши всеобщим пожаром в пепл обращенны. Избегнув от пламени и многие дни скитаясь по развалинам и пепелищам, призвали мы на помощь Марка Аврелия. Марк Аврелий утолил лютость бедствий наших. Карфагена возблагодарила в сей раз богов за то, что зависела от Рима». Он подшел ко гробу, коснулся до него и рек: «Я приношу тлению Марка Аврелия дань благодарности от Африки».

Трое жителей азийских приступили. Единою рукою держали фимиам, а другою венцы, сплетенные из цветов. Один из них начал слово:

«Мы зрели в Азии носящую нас землю под ногами нашими восколебавшуюся и три града наши упадшими от землетрясения. Из среды сих развалин призвали мы на помощь Марка Аврелия, и грады наши восстали от падения». Они положили на гроб фимиам и цветы и рекли: «Мы приносим тлению Марка Аврелия дань благодарности от Азии».

Наконец предстал муж с дунайских берегов. Он облечен был в одежду варваров и держал палицу в руке своей. Израненное лицо его было мужественно и грозно, но черты оного, почти дикообразные, казались в сей час смягченными скорбию. Он приступил ближе и рек:

«Римляне! край наш опустошала язва. Вещают, что претекла она вселенную и достигла до нас от парфянских пределов. Смерть вселилась в наши хижины. Она гналась за нами по лесам; мы не могли ни ловить зверей, ни сражаться. Все погибало. Я сам ощутил сию страшную заразу и уже не мог сносить тяжести моего оружия. В толиком отчаянии призвали мы на помощь Марка Аврелия. Марк Аврелий был наш бог-избавитель». Он подшел ко гробу, положил на него свою палицу и рек: «Я приношу тлению твоему дань благодарности от двадесяти племен, избавленных тобою».

«Днесь слышите, о римляне! — продолжал паки Аполлоний, — что попечение его распростерлось на все концы мира. Чрез двадесять лет земля все бедствия испытала, но природа даровала земле Марка Аврелия.

И сей великий муж имел своих злодеев! Или должно, или хотят того превечные судьбы, чтоб добродетель никогда не могла обезоружить злобы? Римляне! наилучшие государи ваши зрели на себя кинжалы изощренные. Нерва осажден был в своих чертогах. Заговор был против Тита. Антонин и Траян принуждены были прощать возмутителей. И Марк Аврелий, сам Марк Аврелий, за жизнь свою сражался. Уже представляете вы в мыслях Кассиево возмущение, мужа горда, дерзновенна, строга с лютостию, выше меры сладострастна, хотяща быть иногда Катилиною, иногда Катоном, беспредельна и в добродетелях и в пороках своих: и сей варвар, воспалив мятеж, произносил имена добродетели и отечества и возглашал о злоупотреблении, о исправлении, о благонравии; ибо во все времена общее благо служило предлогом злодеянию, и в самое утеснение людей не преставалось им твердить о счастье государства.

Я хотел бы предложить вам то время наших летописей, в кое тираны ваши открывали заговоры или укрощенный мятеж торжествовали. Вы можете воспомнить

об оном: изгнание стало правом, государственные причины служили оправданием убивства. Никто из граждан невинен не был, если знавал некогда преступника. Приятнейшие чувствования природы вменялись в вину. Примечаемо было, не льются ль слезы из чьих очей втайне над трупом друга своего, и мать, рыдающая о смерти сына, на казнь была влачима. Надлежит от времени до времени воспоминать земле таковые злодеяния, дабы государи по безмерности своего мщения научились страшиться безмерности своея власти. Днесь возвещу вам, как Марк Аврелий поступал. Принесли к нему главу хищника престола, погибшего от рук своих сопреступников. Он отвратил очи свои и повелел сии плачевные остатки предать земле с честию. Восприяв над мятежниками власть, простил им преступление; он спас живот всех тех, кои хотели похитить от него империю. Но сего не довольно: он стал их покровителем. Сенат отмстить хотел государя своего, но он у сената просил помилования своим неприятелям. «Я заклинаю вас именем богов не проливати крови, — вещал он. — Да возвратятся изгнанные, да отдадутся имения тем, от коих оные отняты. О, если бы я мог восставляти от гробов!» Не удивляйтесь же, римляне, что и самая семья Кассиева, которая в другие времена ожидала б токмо гонения и смерти, получила паки свою прежнюю знаменитость. Обратите сюда очи свои».

Воззрел народ. У дверей единого дома усмотрел он жену вида благородного и коея красота не помрачалась еще летами. Она стояла возле некиих переходов, на месте несколько возвышенном; покров не совсем был надет на главе ее; младенцы различного возраста ее окружали: были то жена и дети Кассиевы. Стоя далеко от философа, не могли они слышать слова его и устремляли токмо взор свой на сие великое зрелище. Иногда мать взирала нежными очами на детей своих; потом, вдруг простерши руки ко гробу, казалась благодарящею Марка Аврелия за их сохранение.

«О народы! — рек Аполлоний, — се свидетели его милосердия. Успокоя Рим, шествовал он в Азию укротить страны поколебавшиеся; повсюду являл в себе владыку благотворящего, государя любомудрого, коего

власти дерзали не признавать некие виновные грады. Были ему представлены бумаги мятежников; он, не читав, предал их огню. «Не хощу, — рек он, — быть принужденным ненавидеть». Все к ногам его повергается; он прощает градам и странам; от восток приходят цари поклонитися ему; он сохраняет или обновляет тишину и повсюду удивляет философиею, достойною престола. Наконец через восемь лет возвратился он на Тибровы брега. С каким восторгом был он принят! Никогда толико добродетелей совокупно в Риме не являлось: он с просвещением Адриана соединил душу Тита, царствовал подобно Августу, сражался как Траян, прощал как Антонин. Блажен был народ; велик сенат; сами враги его обожали; внешняя война прекращена стала победами, междоусобная милосердием; от Дуная до Евфрата и от Нила до великия Британии прекратились смятения; все спокойно было; Европа, Азия и Африка наслаждались тишиною. Тогда в другой раз он восторжествовал. Люди от всех племен и послы от всех царей усугубляли великолепие праздника. Во всех храмах лилась торжественная кровь; на алтарях курился фимиам. Народ с восклицанием окружал его кумиры и украшал их цветами. Повсюду раздавались радостные гласы; а он среди толикого величества, в торжественном шествии, тихом и не пышном, наслаждался в молчании блаженством Рима и империи и с высоты Капитолии казался зрящим на вселенную веселыми очами. Кто из вас, о римляне! не воссылал тогда молитв, да сей великий муж бессмертен был бы или по крайней мере даровали б ему боги долговременную старость? Но что! Благотворительные души толь редки, а земля толь мало ими наслаждается! Но что! Нас бедствы окружают, нас они обременяют, и едва воцарится государь, радеющий о едином услаждении оных, едва род человеческий, поражаемый несчастием, восстает и начинает паки блаженство обретати, уже подпора, его держащая, упадает и с единым человеком гибнет счастие целого века. Марк Аврелий остался еще с нами два года, как вечные враги сея империи в третий раз повлекли его в германские пределы. Тогда, невзирая

на слабость здравия, возвратился он к дунайским брегам. Среди сих подвигов мы его лишились. Последние часы его (я сам был им свидетелем и могу вам о них повествовать) были достойны мужа великого и мудрого. Терзающая болезнь не возмущала духа его. Обыкнув чрез пятьдесят лет размышлять о природе, научился он познавать ее законы и оным повиноваться. Помню я, что вещал он мне некогда: «Аполлоний, все окрест меня переменяется; вселенная дня сего не есть дня вчерашнего, а заутра тою же не будет. Между всеми движениями сими могу ли я один пребыть неподвижим? Должно, чтоб быстрина сия и меня с собою повлекла. Все предваряет меня, что и я некогда быть престану. Земля, по коей я ступаю, была попираема ногами миллионов людей, кои не существуют ныне. Летописи царств, развалины градов, сосуды, пепл хранящие, кумиры — все сие не воспоминает ли нам то, чего уж больше нет? Солнце, на кое ты взираешь, их токмо гробы освещает». Тако сей философствующий государь упражнял заблаговременно и укреплял душу свою. Когда пришел самый конец жизни, он не изумился от него. Римляне! великий муж умирающий имеет в себе нечто почтенное и величественное; кажется, что по мере отторжения его от земли приемлет он нечто от того божественного и недоведомого естества, с которым соединиться идет. Ослабевающие руки его осязал я благоговейно, и одр, на коем ждал он смерти, мне некиим святилищем казался. В то время воинство в уныние поверглось. Под наметом своим стенал ратник. Сама природа казалась скорбяща. Помрачились небеса над Германиею. Вихри клонили верхи лесов, окружающих стан римский, и сии печальные виды казались умножающими отчаяние наше. Хотел он некое время остаться наедине, чтоб, может быть, пред вышним существом прейти мысленно житие свое или чтоб прежде смерти предаться еще размышлению. Наконец повелел он призвати нас к себе. Все други сего великого мужа и старейшины воинства окрест его стали. Он был бледен, очи его почти угасли и уста оледенели. В сей самый час усмотрели мы в лице его некое

нежное смятение. Государь! он на единый миг казался оживленным для тебя. Хладная рука его указала тебя всем предстоящим старцам, служившим под его повелениями. Он препоручил им юность твою. «Будете ему вместо отца, — рек он им. — Увы! будете ему вместо отца». Тогда подал он тебе таковые советы, каковые умирающий Марк Аврелий сыну своему подать долженствовал, и скоро потом лишилися его Рим и вселенная».

При сих словах все римляне стали от горести неподвижны. Умолк Аполлоний. Потекли слезы из очей его; повергся он на гроб Марка Аврелия. Долго держал оный в своих объятиях, и, восстав вдруг:

«Но ты, наследник сего великого мужа, — возопил Аполлоний, — о сын Марка Аврелия, о мой любезный сын! позволь тако нарещи тебя старцу, зревшему твое рождение и носившему на руках своих тебя младенцем суща. Помяни бремя, наложенное на тебя богами. Помяни должности владыки и правы подданных. Сужденному царствовать, должно тебе быть или мужем праведнейшим, или паче всех виновнейшим. Сын Марка Аврелия усомнится ль в таковом избрании! Скоро скажут тебе, что ты всемогущ, но обманут тебя: пределы власти твоея суть в законе. Скажут еще тебе, что ты велик, что ты своим народом обожаем. Внемли: когда Нерон заключил в темницу брата своего, тогда ему сказуемо было, что он спаситель Рима; когда умертвил он жену свою, тогда пред ним похваляемо было его правосудие; когда лишил он жизни мать свою, тогда убийственные его руки лобызаемы были и множество стеклось во храмы богов благодарить. Не ослепляйся также и почитаниями. Если ты не будешь добродетелен, то почтен будешь наружно и ненавидим внутренно. Поверь мне, что нельзя обмануть народов. Ни в чьем сердце оскорбленное правосудие не усыпляется. Царь мира! ты можешь меня заставить умереть, но не можешь заставить сердца моего почитать тебя. Прости сии слова, о сын Марка Аврелия! я вещаю тебе именем богов, именем вверенной тебе вселенной; вещаю тебе для бла-

женства людей и твоего. Нет! не будешь ты бесчувствен к толико чистой славе. Я достигаю до конца моея жизни. Скоро соединюсь с твоим родителем. Если ты будешь правосуден, да поживу и я еще, созерцая твои добродетели. Если же некогда...»

Вдруг Коммод, который облечен был в воинскую одежду, копием своим потряс грозно. Все римляне побледнели. Аполлоний поражен был бедствиями, угрожающими Риму. Он не мог окончить слова своего. Сей почтенный старец сокрыл лицо свое покровом. Остановленное шествие погребения паки путь свой восприяло. Народ следовал в изумлении и глубоком молчании. Он познал, что Марк Аврелий весь сокрыт во гробе.

ТА-ГИО, ИЛИ ВЕЛИКАЯ НАУКА, ЗАКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЕ ВЫСОКУЮ КИТАЙСКУЮ ФИЛОСОФИЮ

Внук Конфуция и некто из учеников славного сего китайского философа, последуя его учению, написали два небольшие сочинения, из коих одно, предлагаемое здесь, названо «Та-Гио», т. е. великая наука; другое же «Тшонг-Ионг», т. е. истинная средина. Китай, пораженный предубеждением ли или истиною, сияющею в сих изящных творениях, упражняется уже более двадцати веков в изучении оных и хранит древние сии предания в великой святости. Частые перемены, последовавшие со времени именитых мужей во вкусе, народном умствовании и самом правлении, не нарушили поныне общия их похвалы, не лишили превосходного их слога и не уничтожили изящества полезного в них учения. Если же они и претерпели некоторую перемену, то сие тем более возвышает их цену, поелику философы и все благомыслящие граждане почитают оные самыми превосходнейшими памятниками древнего красноречия и мудролюбия. Мы надеемся сообщить после перевод «Тшонг-Ионг».

Истинная премудрость в том состоит, чтоб просвещать свой разум и очищать сердце свое, любить людей и вселять в них любовь к добродетели, преодолевать

все препятствия к соединению себя с вышним благом и к нему единому только прилепляться (I).

Блажен, кто ведает предел, к которому течение свое направляет! Путь, коему он последовати должен, предстоит очам его совсем начертанный; колебание и сомнение отлетают, как скоро он в него вступает; мир и тишина произращают цветы под стопами его; истина яснейшими лучами своими его освещает; все добродетели входят совокупно в его душу, а с добродетелями радость и утехи чистого блаженства. Но горе тому, кто, приемля за корень ветвия, за плоды листвия, смешивает существенное с посторонним и не различает способов от намерения. Знать порядок должностей своих и ведать важности их цену есть начало премудрости.

О премудрость! божественная премудрость! ты научала сему глубокую древность. Монарх, хотевший государство свое покорить невинности и истине, во-первых рачил о благоуправлении областей своих (II). Начинал он постановлением порядка в доме своем; первое старание его было расположить свое поведение; дабы расположить свое поведение, устремлялся он прежде всего исправить свои склонности; старался главнейше утвердиться в своих предначинаниях; стремился паче всего определить свои мысли; дабы определить мысли свои, восходил он рассуждением даже до первого начала и последнего конца всех тварей и составлял себе о том ясное понятие.

И действительно, ясное понятие о начале и конце всех тварей определяло его мысли; определенные мысли утверждали его предначинания; утвержденные предначинания помогали ему исправлять свои склонности; расположа свое поведение, легко ему было постановить добрый порядок в своем доме; порядок, владычествуя в его доме, способствовал ему во благом управлении областей его: и, наконец, благоцарствуя своими областями, становился он примером всего государства и в нем расширял добродетель (III).

В рассуждении сего нет никакой разности между государем и последним подданным; добродетель есть корень всякого блага; исполнение оной есть главнейшее

и важнейшее дело всея жизни. Если не рачить о ней, то развращение сердца скоро преселится в поведение, и тогда одни развалины зиждимы бывают. Премененио существенного в постороннее, а постороннего в существенное есть потрясение всего рассудка.

1. Уен-Уанг (IV), говорит «Шу-Кинг», «освободил душу свою от заблуждений и пороков. Тшинг-Танг (V) размышлял день и нощь и во всем наблюдал пресветлый закон Тиена. Яо (VI) доводил исполнение добродетели до вышнего совершенства».

Пример сих великих государей показывает нам вдруг, чем мы должны достоинству души и где должны мы почерпать лучи ее премудрости и славы.

2. На чаше (VII) Тшинг-Танга читаемо было: «Да будет главное твое рачение на всяк день очищать добродетель твою, становись от дня в день совершеннее и буди ежедневно новым человеком».

В книге «Шу-Кинг» (VIII) сказано: «Старайся исправлять и обновлять народные нравы». Читается в «Ши-Кинге» (IX): «Хотя Тшу были древнейшие сея империи государи, но они за благоволение Тиена, призвавшего их на трон, обязаны единым ревностным стараниям Уен-Уанга о восстановлении добродетели в областях своих». Подражайте сим великим примерам и усугубляйте непрестанно старание ваше с ними сравниться.

3. В «Ши-Кинге» написано: «Области, правимые самим императором, простираются на тысячу ли (X); каждая семья обитает и обработывает назначенную ей землю». Тут же читается еще: «Миен Ман садится на древах, стоящих на холме». «Увы! — вещал Конфуций, — птичка ведает, где ей должно возгнездиться; почто сего не знает человек? Неужель лучи просвещающего его рассудка меньше то ему показуют, нежели птичке ее естественное чувство».

Читается в «Ши-Кинге»: «О Уен-Уанг, коль чиста и преизящна была твоя добродетель! О, колико она чудесна и сияюща! Святость была ее пределом». То есть, что старался он как государь доставить народу своему блаженство, как подданный воздавать свой долг государю (XI), как сын почитать знаменитых своих

родителей, как отец изъявлять горячность детям своим и, наконец, как союзник наблюдать верно все свои обязательства.

Читается в «Ши-Кинге»: «Как тростник, растущий на брегах Ки, увенчеваяся непрестанно новым листвием, расширяет далеко свои ветви и простирает во все стороны зелень, прельщающую очи, тако взору нашему представляется благодушный государь Уен-Уанг. Душа его как резьбою украшенная и лоснящаяся слоновая кость, как обделанный и ограненный драгоценный камень (XII); совершенство его есть собственное его дело. О, коликое возвышение в мыслях его! Колико благородства в чувствованиях! Коликое приятство в обращении! Какое достоинство во всей особе его! Слава его будет бессмертна, равно как и его добродетели». Сии слова стихотворца: «как резьбою украшенная и лоснящаяся слоновая кость» знаменуют рачение сего великого государя об исправлении своих понятий и об очищении своих познаний; слова: «как обделанный и ограненный драгоценный камень» значат стремление его к поправлению своих недостатков и к совершению добродетелей; сии восклицания: «о, коликое возвышение в мыслях его, колико благородства в чувствованиях!» показуют нам, что счастливый успех его рачений и стремлений был следствием непрестанного его над самим собою бдения; два последующие: «колико приятства в обращении! какое достоинство во всей особе его!» научают нас, что красота души его изливалась на его наружность (XIII) и вселяла любовь к добродетели, возвещая в очах его свои кроткие прелести и величество. Прекрасное сие заключение: «слава его будет бессмертна, равно как и его добродетели» изрекает нам весьма выразительно, что, доколе люди сохранят понятия о правоте и истине, дотоле будет им любезна память государя, достигшего совершенства премудрости и добродетели.

«Ши-Кинг» говорит еще: «О Уен-Уанг! о У-Уанг! до блаженных ваших царствований достигает мысль не иначе, как восходя сквозь многие людей роды; но кто не ведает вами соделанных чудес, и кто не наполнен о вас воспоминанием?». Мудростию их утвердилась муд-

рость их преемников и руководствуется ею; их благотворение поселило в государях наших толикую благость и непрестанно возбуждает великодушные в них чувствования.

Сам народ наслаждается утехами и приятностьми, удобностьми и обилием, уготованными их прозорливостию; а потому и воспоминание о них, сие всем сердцам дражайшее воспоминание, пробавится от века в век и никогда из памяти людской не истребится.

4. «Без сумнения, — вещал Конфуций, — я могу слушать тяжущихся и изрещи решение, но мало в том себе славы полагаю. Истинная и достойная мудреца слава состоит в том, чтоб иссушить источник тяжбы и окружить престол правосудия толикими добродетельми, чтоб ни в весах, ни в мече нужды ему не было». Но как заключить в узы или по крайней мере воздержать страсти, раздувающие ябеду из пеплов ее (XIV)? Сделать, чтоб верх одержала мудрость, которая приводила б в отчаяние худую совесть, устрашала бы корыстолюбие и злобу в бегство б обращала. Вот что называю я потребити корень (XV).

5. Не мечтайте много о самих себе (XVI). Гнушайтесь столько злом, сколь оно ненавистно и безобразно. Любите столько благо, сколь оно любезно и прелестно, то есть всею душою своею, и сладостная тишина произведет то, что вы сами собою с удовольствием наслаждаться будете. Мудрый имеет всегда отверстые очи на свою совесть и гласу ее повсюду повинуется. Безумный оскверняет себя злодеяниями, когда нет оным свидетелей (XVII), и без стыда стремится к позорнейшим беспутствам. Если узрит он мудрого, к себе грядуща, уже боязнь в него вселяется, уже спешит он сокрыти свою гнусность и облекается в ложную наружность непорочности. Тщетная хитрость! И самые непрозорливейшие очи проникают до последних таинств сердца лицемерного. Нет у души таинства, которого б не выводило наружу поведение. Посему мудрый и ищет того единого, чтоб остеречься против своей совести. «О, колико должно от того охраняться, — вещает Конфуций, — что слепые видят и глухие слышат!»

Богатый убирает и украшает жилище свое; все в нем означает изобилие. Сему подобна добродетель. Тело, обитаемое ею, получает от нее впечатление величества и ясности (XVIII), возвещающее очам, что разверзает она всю душу и напояет ее утехами и спокойством; толико мудрому потребно во благих предначинаниях своих утверждаться.

6. Единою правотою сердца исправляются пороки и добродетели приобретаются. Но сия правота, толь драгоценная и толь существенная, не может воспротивиться сильному страстей ударению. Бурное блистание гнева ее низвергает, хладное содрогание страха ее преломляет, внезапный трепет робости ее потрясает, и бледная печаль погружает ее в слезы, яко в волны. Как может сердце спасти правоту свою от такой бури, где само оно от сокрушения не спасается? Едва она начинается, уже сердце становится от себя самого как будто бы изгнанно. Тогда человек взирая не видит и слушая не разумеет. Сладчайшая пища теряет вкус свой и приятность. О, безумие страстей! О, лютое владычество! Но безумие выгодное и владычество полезное, ибо они показуют, что без правоты сердца не можно удостовериться и в наружном исполнении добродетели (XIX).

7. Тщетна надежда учредить благоустройство в доме своем, если прежде не стараться о расположении своего поведения. Возможно ль взыскивать, в самом деле, от других того, чего нельзя одержать от самого себя? Как от них сего и требовать? Тогда поневоле следует человек не равной наклонности своих слабостей. Вместо того чтоб умягчать сердца нежностию, возбуждать в них самолюбие, удерживать их страхом, приобретать их благостию, прельщать их уважениями, человек сам себя забывает и посрамляет, подвергается презрению и влечет себя в опасность; идет слишком далеко и вспять отступает, ослепляется и дерзает, умаляется и унижается; сие и быть не может иначе; сердце влечет туда, куда само идет (XX). О, сколь мало таковых, кои видят слабости своих возлюбленных и добрые качества ненавистных себе! «Отец, — говорится по пословице, — не знает ни недостатков своего сына, ни доброты поля своего». Итак, да воцарится прежде всего добродетель

в душе твоей, если хочешь, чтоб она в доме твоем царствовала.

8. О вы, поставленные вышним над нашими главами, цари и монархи, правящие миром, чего могут ожидать народы от премудрости вашей, если она не отворяет вам очей на знаменитые ваши дома, дабы оные наставлять вашим попечением. Великий монарх становится примером всему государству своему изнутри своих чертогов. Добродетели, тамо им возвращенные и окрест его цветущие, обращают всех взоры и далеко возвещают должность и невинные нравы. И действительно, нельзя, чтоб не был он почтен и любим, чтоб к вельможам его не было уважения и повиновения, чтоб несчастные не имели вспоможения и облегчения, когда сыновнее почтение (XXI), братская любовь и благотворение отличают высокий дом его паче порфиры, оный украшающей. Песнь гласит: «Мать прилепляет младенца своего к груди, она держит его в своих объятиях и лобызает многократно; еще он говорить не начинает, а она уже угадывает самые его желания чрез тайное горячности чувство». Когда не была она еще матерью, уже природа вселила сие чувство в ее сердце. Рождение младенца только что вывело оное наружу.

Пример царской семьи еще действительнее открывает любовь к добродетели и ту склонность ко благу, с которою все люди на свет родятся. Если дружелюбие и снисхождение всех сердца в монаршем доме соединяет, то подражание оные возрастит, умножит и во всех семьях навсегда распространит. Но если неправосудие и злодейство туда вступят, тогда погибнет все; тогда искра сия произведет пожар и совершит всеобщую погибель. В сем разуме сказано: одно слово все погубить, один человек все спасти может. Благотворение Яово и Куново прешло из сердец их в сердца всех подданных; Кие и Тшу (XXII), напротив того, вселили в них свою лютость и осквернили их пороками своими. Государь тщетно то запрещает, что сам себе позволяет; никто ему не повинуется. Надлежит, чтоб в нем те пороки отнюдь не обитали, кои он истребляет, и чтоб те добродетели, коих он взыскует, в нем были неисходны; тогда да ожидает и да уповает он всего от своих подданных.

Никогда народ не сопротивлялся царскому примеру, ниже оному являлся недостойным (XXIII).

Читается в «Ши-Кинге»: «Во время весны увенчанное цветами и зеленью персиковое древо веселит всех очи приятным красоты своей сиянием; такова юная невеста, входящая в чертог жениха своего; кротость и приятность, последующие стопам ее, во все сердца вступают»; добродетели государя и высокого дому его находят сердца подданных своих еще лучше расположенными; для принятия их летят они на стретение их.

Песнь гласит: «О, колико почитает он своего старейшего! Колико любит младшего!» Государь, будучи добрым братом, красноречиво научает быти таковыми своих подданных, и он достигнет до прямыя цели правления, являясь упражненным едиными чувствованиями своего сердца и спокойством семьи своей.

9. Если государь уважает и почитает глубокие лета (XXIV) старцев и добродетель мудрых, если отличает он преимущество мужей государственных и превосходство людей с дарованиями, если о слезах несчастных и о нуждах сирот он сердцем соболезнует, тогда восхищенные народы его сами собою предадутся всему тому, что сыновнее почтение, братская любовь и нежное сострадание имеют в себе чувствительнейшего и любезнейшего. Сердце его овладеет их сердцами; оно первым их подвигом и правилом пребудет. Если хочет он быти таковым еще более и никогда не обмануться, да отвратит он от государя то, что оскорбляет его в подданных, а от подданных то, что в государе им противно; да бежит он тех погибельных путей, по коим предместники его заблуждались, и да нейдет сам по тем, по коим преемники его могут заблуждаться. Да десница его не разит тех, кого милует шуйца его, и да не милует шуйца, кого разит десница; да не взыскует он того, на что сам не может согласиться, и да ставит он себя непрестанно на место своих подданных, дабы свое яснее мог увидеть.

Песнь гласит: «О возлюбленный и дражайший государь! отец и мать народа своего! Хощете ли вы хвалы сея быть достойными? Прилепляйтесь, принимайте на себя все склонности народа вашего. Сделайте их своими

собственными и будьте как отец и мать, любящие все то, что приятно их младенцам, и ненавидящие то, что для них противно» (XXV).

Песнь гласит: «О полуденные горы! ваши гордые верхи предлагают взору крутые токмо громады каменных бугров, ужасно на воздухе висящих. О Ин! ты паче устрашаешь взоры унылого народа; он, трепеща, на тебя их возводит». Цари! страшитесь уподобиться сему ненавистному вельможе, престол ваш падет под бременем гордыни, и развалины его гробом вашим будут.

Песнь гласит: «Когда династия Хангов сердцами обладала, тогда зрела она выше себя единого Ханг-ти и была драгоценным его подобием. О вы, последовавшие ему, измеряйте очами высоту его падения, и да научает оно вас, что тем труднее исполнять вам ваше звание, чем оно есть выше»; сие вещают все века единогласно. Любовь подданных дает скиптры и короны. Их ненависть исторгает оные и преломляет (XXVI). Посему истинно мудрый государь старается паче всего укрепиться и успевать в добродетели, ибо ведает, что тем любезнее становится своим подданным, чем бывает добродетельнее; а чем более станет любим от своих подданных, тем паче возрастут его области, а с областьми имение и богатство, производимое изобилием. Добродетель есть непоколебимое основание престола и неиссыхаемый источник власти; богатство и обилие суть токмо его украшение. Если в оном государь обманывается и постороннее приемлет за существенное, то развращенные примером его подданные свергнут бремя законов и осквернят грабительством и хищением все те протоки, кои корыстолюбие его отверзет для приведения к себе источников богатства. Чем более течет злата и серебра к государю корыстолюбному, тем паче сердца хладеют и удаляются; чем более государь истощает мудро свои сокровища, тем в большем множестве текут к нему сердца и им наполняются (XXVII); се закон всех веков; ругательство, оскверняющее уста, исходя из них, входит в уши, раздирая оные. Когда корыстолюбие государя развратит честность подданных, тогда

нечестие их рассеевает сокровища, собранные его неправосудием.

В «Шу-Кинге» написано: «Вышний правитель судеб наших не навсегда единое определение поставляет». То есть, что тою же рукою, которою возводит на престол государей, могущих добродетелью своею сохранить оного славу и оправдать судьбу его, низвергает он других, посрамляющих престол своими пороками и нудящих его правосудие на свое низвержение. Вы вопрошаете, сказал послам некто из великих министров, что̀ всего драгоценнее и почтеннее в Тсуском государстве? Наши нравы вам отвечают: добродетель.

Ответ премудрого Киеу столько ж превосходен: законы призывали на престол его племянника по кончине царствовавшего его родителя. Государь, у коего сей наследник искал покровительства, обещал ему отворить путь к престолу. Все уверяли его, что медлением он всего лишиться может. «Проливай слезы, — сказал Киеу своему племяннику, — не помышляя ни о чем, оплакивай смерть своего родителя. Хотя ты изгнан и странствуешь, но великий долг сыновния любви должен быть тебе драгоценнее короны» (XXVIII).

«Увы! — возопил Му-Кинг, огорченный воспоминанием войны, безрассудно предприятой и несчастно продолжавшейся. — Не ищу я высоты ума в министре, на коего возложить бы мою доверенность, но ищу разума истинного, сердца правого, души великой и благородной, которая заставляла б его почитать и уважать достоинство без всякого ощущения зависти; производить и покровительствовать дарования без всякой мелкости предубеждения; чтить и ободрять добродетель с тем нежным снисхождением и с тем ревностным усердием, которое изъявляем мы во всем том, что прямо до нас касается. Колико был бы я спокоен с таким министром о будущей судьбине дома моего и народов моих! Но если б избрание мое пало на человека надменного, который бы боялся, удалял, от меня скрывал или утеснял всех тех, коих способность, знание, ревность, служба и честность возмущали б его гордыню и раздражали б его зависть (XXIX), — тогда с какою б высотою ума и дарований он ни был, тогда что будет с по-

томками и народами моими? Все государство мое не подвергнется ли конечному бедствию?» Таковые министры рождены на разрушение и погибель государств. Мудрый токмо государь умеет отвергать их услуги, изгонять их от лица своего, очищать государство свое от их присутствия и заточать между варварами тех, в коих варварские пороки обитают (XXX). В сем разуме вещает Конфуций: «Благотворение государя сияет столько же в являемых им строгостях, сколько в нежных свидетельствах его благости». Если монарх не имеет душевной бодрости призвать издалека достоинство к почестям; если он удаляет путь его и произращает на нем терние; если вверяется он людям, коих злоба ему известна, или не вдруг и не всю свою от них доверенность отъемлет, тогда разит он самого себя и отверзает дверь величайшим бедствиям. Сделать любимцем своим человека, всем ненавистного, или презирать мужа, всеми почитаемого, значит не что иное, как нагло опровергать все те понятия о правосудии, которые природа в сердца вложила, возбуждать роптания и входить в то облако, где кроется стрела, готовая разить. Сие вещают все века, повторяют всех совести: верность, правота и честность суть истинные подпоры престола. Гордыня, коварство и злоба оный низвергают.

Почто заблуждать по кривым и мрачным стезям ложныя политики, когда премудрость являет путь, толико ясный и толь прямо ведущий к достижению конца желаемого? Хощешь ли, чтоб блаженное изобилие оживляло целое тело государства и приносило теплоту здравия и чувство веселия во все оного члены? Умножь число граждан полезных (XXXI), коих попечительные промыслы созидали б и производили богатства; уменьши число жителей ленивых, коих опасное тунеядство усугубляет иждивения и расточения; да непрерывность работ умножит государственные пособия, да распространит оныя мудрость достоинства. Истинная слава государя состоит в том, чтоб делать богатыми, а не самому быти таковым: он хощет сокровищ, чтоб только их рассыпать. Но чем он благотворнее, тем паче находит в своих подданных (XXXII) всю щедрость и нежность чувствований. Усердие побеждает все препятствия

к исполнению его намерений, и они менее стрегут своё собственное, нежели им вверенное сокровище.

Окончаем слово наше: все богатств источники текут для государства; но есть такие, из коих государь никогда не должен почерпать. Самая благопристойность и вельможам сие запрещает. Некто из древних сказал: «Кто кормит коней для колесниц своих, тот на жертву дичи не приносит. Кто на пиру мороженое ставит, тот сам живности не кормит; и кто начальствует в войске над стомя колесницами, тому стыдно богатиться от наглых поборов, он лучше б хотел видети чинимое ему воровство, нежель подлое стяжение». Правосудие есть обильнейшее и неисчерпаемое сокровище государств. Сие неоцененное сокровище должен государь усугубляти непрестанно: он им одним богат будет. Великолепие государства есть плод мудрости и добродетели государя (XXXIII); кто дерзает мыслить, что оное есть действие богатств его, у того душа низка и нет сердечных чувств. Несчастен государь, который внемлет министру, тако с ним беседующему, и который власть свою предает в его руки. Все мудрые государства его совокупно не возмогут наполнить бездны, которую он под стопами своими изрывает, ниже воспрепятствовать его туда падению. Прибытки, от сбережения доставляемые, не принадлежат государству (XXXIV); оно токмо правосудием и добродетелью богато бывает.

ПРИМЕЧАНИЯ НА «ТА-ГИО»

I. Те, кои особенно примечать будут одни слова и буквы подлинного сочинения, найдут, может быть, что мы присовокупили нечто к смыслу Конфуциеву в сем первом изречении и во многих местах нашего перевода, но мы просим приметить:

1. Что знаменование слов и букв, во-первых, зависит от тех понятий, какие к ним присоединяет и какие им дает тот, кто их употребляет. Академик, философ, нравоучитель и проповедник равно употребляют слово *премудрость,* но кто дерзнет сказать, чтоб оно не значило более у одного, нежели у другого? 2. Что Конфуциева философия есть философия *премудрости,* добродетели и веры, почерпнутая из чистейших источников древних преданий, а потому и не удивительно, что парение ее выше стоического любомудрия. 3. Как в «Та-Гио» все соединено и расположено порядочно, то высота предшествующего правила доказывается высотою последующего... 4. Что, держась изъяснений и толкований китайских, мы не всегда оставляли смысл подлинника столь высоко, сколь могли... 5. Что как буквы наши составлены из символов и подобий, то и самые избраннейшие выражения весьма несовершенно оные объясняют. Например, слово *просвещение* выражает ли то понятие, которое представляют подобия *солнца* и *луны* буквы *минг?*

II. Китай разделен был во время Конфуциево на многие государства. Сей философ говорил государям, современным себе, и все его слова не столько начертавают им образ поведе-

ния, сколько описывают их предместников, коим целое государство обязано за общую перемену во нравах и за истинное счастие.

III. Ученые китайцы почитают сию статью за глубоко мудрое сокращение всего того, что философия и политика содержат в себе яснейшего и несумненнейшего. В сих кратких словах учителя своего нашли они те правила политики и нравоучения, кои пленили самых победителей наших, подкрепляли законы наши, сохранили древние наши нравы и питали от века в век ту древнюю любовь к отечеству, которая принадлежит к общему токмо благу и всем оному жертвует. Любопытствующие ведать внутренний состав нашего правления могут читать Та-Гио Иан-и-лу, где увидят, что один только государственный человек, упражнявшийся в науках и просвещенный опытом и разумом, может сообразить все интересы со всеми должностями и политику с честностию. Сочинение Киеу-о Ун было б так же полезно в Европе, как и в Китае; и начальник диких орд воспользовался бы оным так же, как и великие наши императоры для управления неизмеримых областей своих.

IV. Уен-Уанг был основателем династии древних Тшу, начавшейся 1122 года до Христа и продолжавшейся до 221 года. Он почитается сочинителем [комментариев к] Куа [императора] Фугии. «Ши-Кинг» говорит, что он на небе сидит возле Ханг-ти. История похваляет много его кротость, приятность, воздержание, мудрость и сыновнее почтение.

V. Тшинг-Танг был основателем династии Танг, начавшейся за 1761 год до Христа и продолжавшейся до 1122 года. История великие ему похвалы приписывает. Она повествует, что, видя народ свой огорченным продолжавшимся многие годы бездождием, остриг он власы свои, очистился банею, постился, оделся в рубище и пошел в лес принести себя на жертву Тиену для утоления гнева его; он со слезами и воздыханиями молился, говоря: «Я грешник и безумный, погубишь ли ты целый народ, меня наказуя?» Исследование, которое сделал он своему поведению и правлению, упоминается во всех историках. Они все также говорят единогласно, что моление его услышано было и ниспослан дождь обильный.

VI. Яо первый есть император, о котором говорится в «Шу-Кинге». Неоспоримая история наша начинается от его времени. Наши критики и ученые первого класса, оставляющие все бывшее до его правления тому, кто хочет собирать неизвестные

гадания и предания, считают от него основание монархии. Предисловие Яо-Тиена, то есть первые главы «Шу-Кинга», начинается так: «Поведаем о древнем императоре Яо. Он назван был Фанг-Гиен, то есть: *наполненный достоинством.* Сие славное имя снискал он себе благочестием, разумом, знанием, премудростию и многими естественными и приобретенными добродетелями, коих геройство подкреплял он простосердечною кротостию и благородною к самому себе недоверчивостию и прочее». «Шу-Кинг» изображает его беседующа с вельможами своими тако: «Уже семьдесят лет я царствую, согласитесь на мое желание и позвольте мне вручить вам власть мою». — «Государь, — отвечало ему собрание, — ты утверждал славу престола своими добродетелями. Мы бы унизили оный, если б вручили скипетр не сыну твоему». — «Нет, — говорил Яо, — нареките мне кого-нибудь достойного, я признаю его моим последователем, какого б низкого рождения он ни был». Собрание избрало Шуна из рода Ин. Обрадованный государь вопрошал, кто таков избранный? Он сын Ку, отвечали ему, отец его безумный, мать беспутна, а брат тщеславный; невзирая на то, сам он миролюбив и послушен; все добродетели блистают в нем, не омраченные никаким пороком. «Изрядно, — сказал Яо, — я испытаю его, я выдам за него вторую мою дочь и увижу его поведение». Сей добрый государь повелел тотчас уготовити дары для своей дщери и не почел себе за низкость послать ее на брега Ковеи-Иуи в замужество Шуну. «Иди, — говорил он ей, — и чти супруга своего».

VII. Как буквы наши весьма способны для всякого рода надписей, потому что могут они во всех разумах писаться и потому еще, что они кратки и выразительны, то древние, любившие добродетель, писали оными наставления о всем том, что их окружало. Толкование, названное «Учение Сее-шу, доказанное историею», упоминает о многих, кои почитаются глубочайшей древности. Здесь две или три надписи сообщаю. Одна на одеяле: «Засыпай в объятиях премудрости, если не хочешь быть пробужден в объятиях раскаяния». На обрубе колодезя: «Чем вода чище и тише, тем лучше небо представляет». На луке: «Силою можно натянуть, но сила приобретается упражнением».

VIII. «Шу-Кинг» содержит в себе 58 глав (в 257 000 буквах). В десяти главах, кои выписал Конфуций из государственных летописей за 484 года до Христа, первые пять глав касаются до Яо и Шуна, последующие четыре до династии Гия, 17

до династии Ханг, а прочие до Тшу, которая кончилась за 248 лет до Христа. Но «Шу-Кинг» идет не далее 28 года Сиян-Уанга, то есть за 624 года до Христа. «Шу-Кинг» превосходит всех греческих и римских исторических книг своею древностию, подлинностию, изрядством, высотою, а паче красотою нравоучения и чистотою наставления.

IX. «Ши-Кинг» состоит из трехсот стихотворных сочинений (в 39 234 буквах), собранных и пересмотренных Конфуцием. Сия книга на четыре части разделяется: первая, называемая «Куефонг», или нравы государства, содержит в себе народные песни и стихи. Императоры, посещая государство, собирали таковые песни, дабы судить о народных нравах, о правлении, о пороках каждой страны и прочее; если по сему правилу, которое, конечно, не без основания, судить о некоторых государствах, то б, может быть, лучше их узнали, нежели читая книги. Вторая названа «Сиао-иа» (малое превосходство), а третья, «Таиа» (большое превосходство), содержит в себе элегии на несчастие времян, сатиры на худых государей и министров, оды, песни и прочее в похвалу императоров, князей, великих людей, благодарственные и радостные песни, поемые в то время, когда князи приходили воздавать почтение императору, и прочее. Ученые и критики думают, что все написанное в сих двух частях принадлежит до династии Тшу. Четвертая часть, называемая «Сонг похвала», содержит в себе гимны, кои певались при дворе императоров в обрядах по усопших предках, под династиями Ханг и Тшу, и в малой области Лу, отечестве Конфуция.

X. *Ли* составляет почти десятую часть европейской мили. Под первыми династиями все земли принадлежали государству. Правительство назначало каждой семье один участок земли для нее, а другой для обработывания седьмью другими семьями для государства.

XI. Уен-Уанг имел малое государство и был сам подданный империи. Следуя верности и ревности своей, пришел он ко двору бесчестного Тшу для учинения ему некоторых представлений. Сие чудовище, столько его бояся, сколько почитая, держал его в тюрьме десять лет.

XII. Из сих слов видно, что сколь ни много ненавистна была роскошь в древности, но ей уже известны были те художества, кои от последующих веков слишком почтенны стали. Политика хотела, чтоб они употребляемы были для великолепия государ-

ства, и сия политика нашего правительства; есть пословица: *где большие алмазы бесценны, там добродетели малы и низки.*

XIII. Наши ученые говорят: благопристойность есть природный цвет добродетели и личина порока... важный вид есть одна корка премудрости, но она ее сохраняет.

XIV. Сравнивая Китай с Франциею, в последней находятся вчетверо более судебных мест и служителей, нежели в первом. Разве французы хуже наших китайцев? Разве для сыскания истины и правосудия потребно больше голов тамо, нежели на краю Азии? Или паче, не оттого ль сие происходит, что у них совсем различные понятия о судействе? От каждой деревни до столицы слава судей наших гораздо меньше в том состоит, чтоб судить тяжбы, нежели в том, чтоб их предупреждать, не допускать, примирять и к ним вселять отвращение. Кроме некоторых явных и лютых злодейств, никто, кроме императора, не может осудить на смертную казнь. Чем меньше казни, тем славнее его царствование. Остается сказать еще одно слово. Наружность, исследование, медленность и рассмотрение уголовных дел здесь гораздо более устрашают народное множество, нежели во многих других землях смертные казни.

XV. Все критики согласно говорят, что потеряна статья Тзенг-тзее, изъясняющая слова *определить свои мысли.* Многие ученые первого класса покушались оную дополнить. Мы избрали дополнение Гоень-ку-тзее. Читается в «Ши-Кинге»: «Тиен дал жизнь народам и оными управляет: он устройству мира председает». Сказано в «Шу-Кинге»: «Повинующийся Тиену исполняет добродетель; сопротивляющийся ему в грех упадает». В другом месте: «Храни в сердце своем страх, храни в сердце своем страх; мысли Тиена глубоки, благость его сохранить трудно. Не скажи: он высоко, весьма высоко над нашими главами. Очи его на нас всегда отверсты: он вседневно дела твои примечает. Если б ты ясно понимал, что Тиен накажет некогда злых без малейшего движения гнева, то б уразумел ты, что медлит он доныне сим наказанием не для того, чтоб слабое попущение остановляло его руку. Не пришел еще день, назначенный его премудростию, но он придет непременно...»

XVI. «Человек других обманывает для того, — говорит Кован-тзее, — что сам обманывается». Конфуций думает, что о погрешностях надобно судить по человеке, о человеке по добродетелям, о добродетелях по должностям.

XVII. Конфуций и ученики его изображают часто разность правил мудрого и безумного. Здесь сему некоторые примеры сообщаются: «Мудрый всегда на бреге, а безумный среди волн... Безумный жалуется, что его не знают люди, а мудрый, что он людей не знает... Мудрый всех людей вводит в сердце свое, безумный изгоняет из него и тех, кои в нем были... Мудрый и в малейших вещах велик, безумный и в величайших мал... Мудрый теряется, боряся с мыслями своими, а безумный, последуя своим... Безумный подобен младенцу по хитростям своим, а мудрый по своему простосердечию... Безумный занимается веселием и богатством, а мудрый помышляет токмо убегать обмана и находит добродетель».

XVIII. По мнению Лун-ну, Конфуций был всегда снисходителен и приветлив, не теряя ни кротости, ни важности своей. Вежливость его не превращалась никогда в низкость; наружный вид властвования, который он на себя принимать умел, не противен был и самым тщеславнейшим, ибо ясность тела его, происходящая от ясности души, налагала на страсти оковы и возбуждала добродетели.

XIX. Человеческие действия во многих случаях суть не что иное, как личина и завеса, но следствие поведения выводит их наружу. Правительство, рассуждая по сему правилу, решится в избрании мандаринов, рассматривая: 1. По какому кажется побуждению они действуют и какое намерение себе предполагают. 2. Какие их добрые деяния и какие погрешности. «Великая душа, — говорит Конфуций, — направляет свой полет к добродетели и при малейшем случае; подлая душа идет к должности своей пресмыкаясь. Доброе сердце наклоняется к снисхождению и благости. Сердце правое не преходит никогда терпения и умеренности». 3. Что об них думают родственники и отечество. 4. Общее ли к ним почтение или общее презрение; кого все хвалят или никто не хвалит, есть человек опасный; без коварства нельзя нравиться и не нравиться вдруг честным людям и злым. 5. По словам и обращению. Строгий и грубый человек может иметь доброе сердце, но чьи слова хитросплетенны, чье обращение прелестно, у того редко доброе сердце. 6. Что говорят о самих себе, о других и о делах; мудрый ни с кем себя не сравнивает, говорит токмо о добрых качествах других, и прежде всего изъясняет те неудобности и трудности, кои он в делах видит. 7. По их требованиям, поступкам и домогательствам. Достойный человек страшится должностей, требую-

щих достоинств; чем он возвышеннее, тем паче снисходителен и предупреждающ: из ста челобитен о месте его нет от него ни единыя. 8. По наружному их виду и поведению: надобно древу быть весьма велику и весьма укорененну, чтоб ни ветр, ни тяжесть ветвей не наклоняло его ни на какую сторону, и прочее.

XX. Толкование прибавляет: «Кто видит жизнь отца, тот может предсказать о жизни детей. Пастух, сев на тигра, не легко с него слазит; волк убегает, но стадо рассеевается».

XXI. «Наши древние императоры, признав, что одно нравоучение народы исправляет, полагали всю свою политику быть превосходными в сыновнем почтении и удовольствие имели видеть, что во всей империи никто уже не дерзал забывать себя против отца и матери. Тогда легко им было научать всем должностям и советовать исполнение всех добродетелей. Трогающие примеры их сыновнего почтения отверзли им все сердца; они лишь выговорят слово, уже с радостию внимают их велению, приемлют оное с веселием и усердно исполняют». Конфуций в «Гино-Кинг».

XXII. Кие и Тшу суть китайские Нерон и Калигула. Первый изображен в «Шу-Кинге» и в летописях государем сладострастнейшим и роскошнейшим, не имеющим ни честности, ни веры, любившим великолепие забав и увеселений до безумия, горделивым в своих требованиях, гнусным в поведении, вероломным и жестоким [подобно женщине, погибшей от разврата, нагло злоупотребляющим своей властью, чтобы притеснять подданных, и до высшей степени смешного унижающим ее, чтобы предаваться своим удовольствиям]. Второй рожден с дарованиями и добрыми качествами, составляющими великих государей, но стал чудовищем. Роскошь, вино, любовь к женщинам вели его постепенно от порока к пороку даже до той крайности, которая ставит человека ниже скота. Он истощил все государственные сокровища на свои забавы и увеселения, погубил множество невинных и раздражил природу бесчеловечными мучениями при беспутных и нечестивых своих деяниях. Династия Гия кончилась при Кие, а династия Танг при Тшу.

XXIII. «Любящий отца и мать никого не ненавидит, почитающий их никого не презирает. Если государь любит и почитает родителей своих сердцем и поведением, то сей великий пример научит подданных должностям детския любви и наставит в исполнении оной. Сами дикие, обитающие на островах моря, будут ими тронуты. Надлежит, чтоб император преизя-

ществовал в детском почтении. Один делает добродетель, написано в летописях, и тысящи сердец к нему обращаются. Когда я говорю, что изъявлением детского почтения государь научает народы и вселяет в них добродетель, то не думайте, чтоб для подания в том наставлений должен он был обтекать всю империю. Пример его прелетает повсюду на крылах славы; он вещает всем сердцам и от всех услышан. Кто дерзнет родителей своих менее почитать братьев своих, менее любить друзей своих, менее уважать, нежель государь в рассуждении своих то наблюдает? О славное имя отца народов, — говорит «Ши-Кинг», — ты принадлежишь достойно тому единому, кто премудростию своею ведет к добродетели сердца тех, коих покорил ему Тиен». Конфуций в «Гиа-Кинг».

XXIV. Видно в «Кинге» и в летописях, что древность поставляла за главное дело правления то почтение, которое оно соблюдало к старикам, и те почести и отличности, которые она им определяла. 1. По возвращении с охоты в добыче получали старики свою долю, хотя б они на охоте и не были. 2. Дети их увольнены были от военной службы и от всяких должностей. 3. Ежегодно старикам даваны были три великолепные обеда; в столице присутствовал на таком торжестве сам император, а в городах князи, градодержатели, вельможи и мандарины. 4. Они увольнены были от всякого себе принуждения и тягости в обрядах придворных, в торжественных и печальных. 5. В глубокой старости вины их казнимы не были, и обыкновенно их дети в преступлениях своих щадимы были, дабы старости их не огорчить. 6. Присутствовавшие в совете старики могли подавать свои советы императору, когда достигали до осмидесяти лет, выходили из совета прежде отправления дел и приходили в него, когда только хотели. Вступя в девяносто лет, посылали они с приветствием к императору. Он ходил к ним в дом, если имел что у них спрашивать, и всегда предшествуем был дарами. Конфуций, увещевая императоров сохранить их древние обычаи, доказывает, что постановили их премудрость, добродетель и испытание, и проч. Потом прибавляет: «Сыну лестно будет уважение ваше к отцу его, брату приятны милости, оказываемые брату его; целый город, целая область восхищена будет почестию, изъявляемою вами мужам престарелым. Миллионы сердец заплатят вам за то, что сделали вы для единого подданного. Подражание распространит, умножит, расширит и продлит сей превосходный пример различными образы, и проч.».

Династия Гон, удаленная менее прочих от древности, была долгое время благополучна и процветающа по почтению и старанию, оказываемым от него старцам. Ву-Ти так начинает свой указ: «Старик без теплой одежды не согреется и без мясной пищи не укрепит своих сил. Повелеваем объявлять нам ежегодно, сколько в котором округе стариков, коих семья не в состоянии их одевать тепло, кормить мясом и поить вином, да удовольствуют их нашим собственным, и проч.».

XXV. «Государство, — говорит Тшанг-Гоен, — не для того установлено, чтоб все области оного способствовали славолюбию, забавам, богатству и власти единого человека, но дабы один человек управлял народами всех областей, как отец чадами своими, доставлял бы им нужное, помогал бы им в тягостях, сносил бы их недостатки и устроил бы их к добродетели... Царь, имеющий с своим народом одинакие печали и радости, одинакие привязанности и отвращения, есть их отец и в них детей своих находит».

XXVI. Сие касается до Кие и Тшу: первый не мог склонить свой народ к принятию за него оружия. Вторый войском своим был оставлен.

XXVII. Великое политическое деяние Каот-узу, основателя династии Ган, состояло в уменьшении подати и в превращении в благородную простоту роскоши, великолепия и расточения предшествующей династии. В каком бы месте его войско ни находилось, любившие его народы доставляли ему гораздо более того, что б мог он собрать тягостнейшими налогами. Он, смеючись, говаривал, что подданные его имеют ключ от его сокровищ.

XXVIII. Сие повествование пространно написано в Ли-Ки. Тшон-Эулг, сын от первыя супруги царя Ханг-Ди и законный престола наследник, принужден был бежать от гонения своей мачехи. Царь Хан-Ди, у которого он взял прибежище, послал к нему возвестить смерть отца его и предложил ему помощь свою к возведению его на престол, если хочет он воспользоваться заботами печальных обрядов, дабы нечаянно напасть на хищника престола и одержать свое право. Юный князь хотел прежде советовать об оном с братом своея матери, который его препровождал, нежели дать ответ посланникам царя Хан-Ди. Благородный совет, упоминаемый в «Та-Гио», принят был Тшон-Эулгом. Он, поруча посланным возблагодарить их государя за участие, приемлемое им в его вспоможении, прибавил

к тому: «Я, будучи несчастный и изгнанный, лишаюсь утешения оросить слезами моими гроб отца моего и присутствовать при его погребении, но тем живяе смерть его и скорбь мою ощущаю. Я был бы недостоин милости и покровительства знаменитого государя, вас ко мне пославшего, если б мог хотя на час подумать об ином». Сей ответ, переведенный нами из Ли-Ки, весьма угоден был Хан-Дию. Он явно оный восхвалял и повсюду разглашал. История повествует, что Тшон-Эулг помочью многих государей возведен был на престол родительский в половине седьмого века.

XXIX. «Горы сгущают пары, собирают облака, раздражают вихри, воздвигают молнию и все времена года в единый день соединяют. Кто зрит оные издали, тот почитает их лазуревыми и до небес касающимися. Но вблизи они не что иное суть, как набросанные громады камней и обиталище воров и тигров. Се подобие царского двора, когда злобная зависть руководствует министрами. Бывали иногда такие вельможи государства, кои ревновали токмо в доставлении государю своему славы и в исполнении всех его предприятий; но таковые вельможи были токмо при Яо и Шун, они отрекались от почестей, убегали предпочтения и друг о друге пред государем говорили, как пред отцом согласные дети. По справедливости, при сих токмо монархах государство одну семью составляло. Если министр завидует достоинству, то, чем более имеет он остроты, проницания и опытов, тем более отъемлет он пособий у государя и изрывает окрест его пропасть».

XXX. Сии строки касаются до перемен министерства, уготовивших падение Гиа-и-Хангов. Язвительнейшие сатиры «Ши-Кинга» писаны на худых министров, и наши ученые в толкованиях своих на сии сатиры усугубили еще ругательства. Желчь и полынь из пера их истекают. Они подражают в том учителю своему Конфуцию, который предал посмеянию, презрению и ненависти всех веков тех худых министров, о коих говорит он в своей «Тшун-Тзиену». Главное правило наших ученых состоит в том, чтоб государя почитать, а укорять худых министров.

XXXI. «Глухие, немые, хромые, лишившиеся некоторых членов, карлы, горбатые что-нибудь работать могут; правительство назначает им по смерть даяние». Ли-Ки. «Запрещено продавать на торжищах шелковые цветные материи, жемчуг, каменные и драгоценные сосуды и выставлять на продажу готовые платья; содержать там столы и гостиницы... запрещено

продавать на торжище коренья и травы не в свои времена года, преждевременные плоды, рубленые дрова из молодого еще дерева и молодых битых птиц, рыб и животных... Вельможи представляют императору счеты приставленных для надзирания над торжищами служителей. Получая сии донесения, он постится; потом старается доставить покой старикам, утешить земледельцев за труды их и учредить расходы на будущий год по доходам, в настоящий год получаемым». Ли-Ки.

XXXII. В Китае считается шесть чинов граждан: мандарины, военные, ученые, земледельцы, художники и купцы.

XXXIII. Понятия китайцев о знаменитости государства происходят от древнего их удостоверения в том, что всякий гражданин, яко член большой государства семьи, имеет право на свое содержание, пропитание, сохранение и на все приятности жизни, приличные его состоянию. Древняя пословица: *где мечи заржавели, а плуги светлы, тюрьмы пусты, а житницы полны, ступени церковные в грязи, а дворы судилищ поросли травою, врачи пешком, а мясники верхами, — тамо стариков и младенцев много и государство благоуправляется.*

XXXIV. Во время Тшу, говорит Киа-Хан, император имел только доходы с своих собственных поместьев и малые с областей подати, а сокровища его никогда не истощались. Тсин-Хи-Гоанг умножил свои поместья всеми поместиями царей, от него побежденных, усугубил налоги во всем государстве, учредил повсюду таможни, но златые и серебряные горы, со всех сторон висящие, пред очами его растоплялись и не становились ниже на расходы государственные. Сему быть надлежало: не количество снеди питает, но доброе сварение желудка. Сему уподобляется государство. Благое управление составляет его богатство. Тшу собирал токмо плоды, Тсин-Хи-Гоанг обдирал листия с ветвей, а истощенные древа усыхали, и проч.

РАССУЖДЕНИЕ О НЕПРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНАХ

Верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных. Сию истину тираны знают, а добрые государи чувствуют. Просвещенный ясностию сея истины и великими качествами души одаренный монарх, облекшись в неограниченную власть и стремясь к совершенству поскольку смертному возможно, сам тотчас ощутит, что власть делать зло есть не совершенство и что прямое самовластие тогда только вступает в истинное свое величество, когда само у себя отъемлет возможность к соделанию какого-либо зла. И действительно, все сияние престола есть пустой блеск, когда добродетель не сидит на нем вместе с государем; но, вообразя его таковым, которого ум и сердце столько были б превосходны, чтоб никогда не удалялся он от общего блага и чтоб сему правилу подчинил он все свои намерения и деяния, кто может подумать, чтоб сею подчиненностию беспредельная власть его ограничивалась? Нет, она есть одного свойства со властию существа вышнего. Бог потому и всемогущ, что не может делать ничего другого, кроме блага; а дабы сия невозможность была бесконечным знамением его совершенства, то постановил он правила вечныя истины для самого себя непреложные, по коим управляет он вселенною и коих, не престав быть богом, сам престу-

пить не может. Государь, подобие бога, преемник на земле вышней его власти, не может равным образом ознаменовать ни могущества, ни достоинства своего иначе, как постановя в государстве своем правила непреложные, основанные на благе общем и которых не мог бы нарушить сам, не престав быть достойным государем.

Без сих правил, или, точнее объясниться, без непременных государственных законов, не прочно ни состояние государства, ни состояние государя. Не будет той подпоры, на которой бы их общая сила утвердилась. Все в намерениях полезнейшие установления никакого основания иметь не будут. Кто оградит их прочность? Кто поручится, чтоб преемнику не угодно было в один час уничтожить все то, что во все прежние царствования установляемо было? Кто поручится, чтоб сам законодатель, окруженный неотступно людьми, затмевающими пред ним истину, не разорил того сегодня, что созидал вчера? Где же произвол одного есть закон верховный, тамо прочная общая связь и существовать не может; тамо есть государство, но нет отечества, есть подданные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей. Одно пристрастие бывает подвигом всякого узаконения, ибо не нрав государя приноравливается к законам, но законы к его нраву. Какая же доверенность, какое почтение может быть к законам, не имеющим своего естественного свойства, то есть соображения с общею пользою? Кто может дела свои располагать тамо, где без всякой справедливой причины завтре вменится в преступление то, что сегодня не запрещается? Тут каждый, подвержен будучи прихотям и неправосудию сильнейших, не считает себя в обязательстве наблюдать того с другими, чего другие с ним не наблюдают.

Тут, с одной стороны, на законы естественные, на истины ощутительные дерзкое невежество требует доказательств и без указа им не повинуется, когда, с другой стороны, безумное веление сильного с рабским подобострастием непрекословно исполняется. Тут, кто может, повелевает, но никто ничем не управляет, ибо править

долженствовали бы законы, кои выше себя ничего не терпят. Тут подданные порабощены государю, а государь обыкновенно своему недостойному *любимцу*. Я назвал его недостойным потому, что название *любимца* не приписывается никогда достойному мужу, оказавшему отечеству истинные заслуги, а принадлежит обыкновенно человеку, достигшему высоких степеней по удачной своей хитрости нравиться государю. В таком развращенном положении злоупотребление самовластия восходит до невероятности, и уже престает всякое различие между государственным и государевым, между государевым и любимцевым. От произвола сего последнего все зависит. Собственность и безопасность каждого колеблется. Души унывают, сердца развращаются, образ мыслей становится низок и презрителен. Пороки любимца не только входят в обычай, но бывают почти единым средством к возвышению. Если любит он пьянство, то сей гнусный порок всех вельможей заражает. Если дух его объят буйством и дурное воспитание приучило его к подлому образу поведения, то во время его знати поведение благородное бывает уже довольно заградить путь к счастию; но если провидение в лютейшем своем гневе к человеческому роду попускает душою государя овладеть чудовищу, которое все свое любочестие полагает в том, чтоб государство неминуемо было жертвою насильств и игралищем прихотей его; если все уродливые движения души влекут его первенствовать только богатством, титлами и силою вредить; если взор его, осанка, речь ничего другого не знаменуют, как: «боготворите меня, я могу вас погубить»; если беспредельная его власть над душою государя препровождается в его душе бесчисленными пороками; если он горд, нагл, коварен, алчен к обогащению, сластолюбец, бесстыдный, ленивец, — тогда нравственная язва становится всеобщею, все сии пороки разливаются и заражают двор, город и, наконец, государство. Вся молодость становится надменна и принимает тон буйственного презрения ко всему тому, что должно быть почтенно. Все узы благочиния расторгаются, и, к крайнему соблазну, ни век, изнуренный в служении отечества, ни сан, приобретенный истинною службою, не ограждает почтен-

ного человека от нахальства и дерзости едва из ребят вышедших и одним случаем поднимаемых негодниц. Коварство и ухищрение приемлется главным правилом поведения. Никто нейдет стезею, себе свойственною. Никто не намерен заслуживать; всякий ищет выслуживать. В сие благопоспешное недостойным людям время какого воздаяния и могут ожидать истинные заслуги, или, паче, есть ли способ оставаться в службе мыслящему и благородное любочестие имеющему гражданину? Какой чин, какой знак почести, какое место государственное не изгажено скаредным прикосновением пристрастного покровительства? Посвятя жизнь свою военной службе, лестно ль дослуживаться до полководства, когда вчерашний капрал, неизвестно кто и неведомо за что, становится сегодня полководцем и принимает начальство над заслуженным и ранами покрытым офицером? Лестно ль быть судьею, когда правосудным быть не позволяется? Тут алчное корыстолюбие довершает общее развращение. Головы занимаются одним примышлением средств к обогащению. Кто может — грабит, кто не может — крадет, и когда государь без непреложных государственных законов зиждет на песке свои здания и, выдавая непрестанно частные уставы, думает истреблять вредные государству откупы, тогда не знает он того, что в государстве его ненаказанность всякого преступления давно на откупу, что для бессовестных хищников стало делом единого расчета исчислить, что принесет ему преступление и во что милостивый указ стать ему может. Когда же правосудие претворилось в торжище и можно бояться потерять без вины свое и надеяться без права взять чужое, тогда всякий спешит наслаждаться без пощады тем, что в его руках, угождая развращенным страстям своим. И что может остановить стремление порока, когда идол самого государя пред очами целого света в самых царских чертогах водрузил знамя беззакония и нечестия; когда, насыщая бесстыдно свое сластолюбие, ругается он явно священными узами родства, правилами чести, долгом человечества и пред лицом законодателя божеские и человеческие законы попирать дерзает? Не вхожу я в подробности гибельного состояния дел, истор-

гнутых им под особенное его начальство; но вообще видим, что если, с одной стороны, заразивший его дух любоначалия кружит все головы, то, с другой, дух праздности, поселивший в него весь ад скуки и нетерпения, распространяется далеко, и привычка к лености укореняется тем сильнее, что рвение к трудам и службе почти оглашено дурачеством, смеха достойным.

После всего мною сказанного и живым примером утверждаемого не ясно ль видим, что не тот государь самовластнейший, который на недостатке государственных законов чает утвердить свое самовластие. Порабощен одному или нескольким рабам своим, почему он самодержец? Разве потому, что самого держат в кабале недостойные люди? Подобен будучи прозрачному телу, чрез которое насквозь видны действующие им пружины, тщетно пишет он новые законы, возвещает благоденствие народа, прославляет премудрость своего правления: новые законы его будут не что иное, как новые обряды, запутывающие старые законы, народ все будет угнетен, дворянство унижено, и, несмотря на собственное его отвращение к тиранству, правление его будет правление тиранское. Нация тем не меньше страждет, что не сам государь принялся ее терзать, а отдал на расхищение извергам, себе возлюбленным. Таковое положение долго и устоять не может. При крайнем ожесточении сердец все частные интересы, раздробленные существом деспотического правления, нечувствительно в одну точку соединяются. Вдруг все устремляются расторгнуть узы нестерпимого порабощения. И тогда что есть государство? Колосс, державшийся цепями. Цепи разрываются, колосс упадает и сам собою разрушается. Деспотичество, рождающееся обыкновенно от анархии, весьма редко в нее опять не возвращается.

Для отвращения таковыя гибели государь должен знать во всей точности все права своего величества, дабы, первое, содержать их у своих подданных в почтении и, второе, чтоб самому не преступить пределов, ознаменованных его правам самодержавнейшею всех на свете властию, а именно, властию здравого рассудка. До первого достигает государь правотою, до второго кротостию.

Правота и кротость суть лучи божественного света, возвещающие людям, что правящая ими власть поставлена от бога и что достойна она благоговейного их повиновения: следственно, всякая власть, не ознаменованная божественными качествами правоты и кротости, но производящая обиды, насильства, тиранства, есть власть не от бога, но от людей, коих несчастия времян попустили, уступая силе, унизить человеческое свое достоинство. В таком гибельном положении нация, буде находит средства разорвать свои оковы тем же правом, каким на нее наложены, весьма умно делает, если разрывает. Тут дело ясное. Или она теперь вправе возвратить свою свободу, или никто не был вправе отнимать у ней свободы. Кто не знает, что все человеческие общества основаны на взаимных добровольных обязательствах, кои разрушаются так скоро, как их наблюдать перестают. Обязательства между государем и подданными суть равным образом добровольные, ибо не было еще в свете нации, которая насильно принудила бы кого стать ее государем; и если она без государя существовать может, а без нее государь не может, то очевидно, что первобытная власть была в ее руках и что при установлении государя не о том дело было, чем он нацию пожалует, а какою властию она его облекает. Возможно ль же, чтоб нация добровольно постановила сама закон, разрешающий государя делать неправосудие безотчетно.

Не стократно ль для нее лучше не иметь никаких законов, нежели иметь такой, который дает право государю делать всякие насильства? А потому и должен он быть всегда наполнен сею великою истиною, что он установлен для государства и что собственное его благо от счастия его подданных долженствует быть неразлучно.

Рассматривая отношения государя к подданным, первый вопрос представляется разуму, что же есть государь? Душа правимого им общества. Слаба душа, если не умеет управлять прихотливыми стремлениями тела. Несчастно тело, над коим властвует душа безрассудная, которая чувствам, своим истинным министрам, или вовсе вверяется, или ни в чем не доверяет. Поло-

жась на них, беспечно принимает кучу за гору, планету за точку; но, буде презирает она их служение, буде возмечтает о себе столько, что захочет сама зажмурясь видеть и заткнув уши слышать, какой правильной разрешимости тогда ожидать от нее можно и в какие напасти она сама себя не завлекает!

Государь, душа политического тела, равной судьбине подвергается. Отверзает ли он слух свой на всякое внушение, отвращает ли оный от всяких представлений, уже истина его не просвещает; но если он сам и не признает верховной ее власти над собою, тогда все отношения его к государству в источниках своих развращаются: пойдут различия между его благом и государственным; тотчас поселяется к нему ненависть; скоро сам он начинает бояться тех, кои его ненавидят, и ненавидеть тех, которых боится, — словом, вся власть его становится беззаконная; ибо не может быть законна власть, которая ставит себя выше всех законов естественного правосудия.

Просвещенный ум в государе представляет ему сие заключение, без сомнения, во всей ясности, но просвещенный государь есть тем не больше человек. Он как человек родится, как человек умирает и в течение своей жизни как человек погрешает: а потому и должно рассмотреть, какое есть свойство человеческого просвещения. Между первобытным его состоянием в естественной его дикости и между истинного просвещения расстояние толь велико, как от неизмеримой пропасти до верху горы высочайшей. Для восхождения на гору потребно человеку пространство целой жизни; но взошед на нее, если позволит он себе шагнуть чрез черту, разделяющую гору от пропасти, уже ничто не останавливает его падения, и он погружается опять в первобытное свое невежество. На самом пороге сея страшныя пропасти стоит просвещенный государь. Стражи, не допускающие его падение, суть правота и кротость. В тот час, как он из рук их себя исторгает, погибель его совершается, меркнет свет душевных очей его, и, летя стремглав в бездну, вопиет он вне ума: «Все мое, я все, все ничто».

Державшийся правоты и кротости просвещенный государь не поколеблется никогда в истинном своем

величестве, ибо свойство правоты таково, что самое ее никакие предубеждения, ни дружба, ни склонности, ни самое сострадание поколебать не могут. Сильный и немощный, великий и малый, богатый и убогий, все на одной чреде стоят, — добрый государь добр для всех, и все уважения его относятся не к частным выгодам, но к общей пользе. Сострадание производится в душе его не жалобным лицом обманывающего его корыстолюбца, но истинною бедностию несчастных, которых он не видит и которых жалобы часто к нему не допускаются. При всякой милости, оказуемой вельможе, должен он весь свой народ иметь пред глазами. Он должен знать, что государственным награждается одна заслуга государству, что не повинно оно платить за угождения его собственным страстям и что всякий налог, взыскуемый не ради пользы государства, есть грабеж в существе своем и форме. Он должен знать, что нация, жертвуя частию естественной своей вольности, вручила свое благо его попечению, его правосудию, его достоинству; что он отвечает за поведение тех, кому вручает дел правление, и что, следственно, их преступления, им терпимые, становятся его преступлениями. Тщетно государь помыслил бы оправдаться тем, что сам он пред отечеством невинен и что тем весь долг свой пред ним исполняет. Нет, невинность его есть платеж долгу, коим он сам себе должен: но государству все еще должником остается. Он повинен отвечать ему не только за дурно, которое сделал, но и за добро, которого не сделал. Всякое попущение — его вина, всякая жестокость — его вина, ибо он должен знать, что послабление пороку есть одобрение злодеяниям и что, с другой стороны, наистрожайшее правосудие над слабостьми людскими есть наивеличайшая человечеству обида. К несчастию подданных, приходит иногда на государя такая полоса, что он ни о чем больше не думает, как о том, что он государь; иногда ни о чем больше, как о том, что он человек. В первом случае обыкновенно походит он в делах своих на худого человека, во втором бывает неминуемо худым государем. Чтоб избегнуть сих обеих крайностей, государь ни на один миг не должен забывать ни того, что он человек, ни того, что он государь.

Тогда бывает он достоин имени премудрого. Тогда во всех своих деяниях вмещает суд и милость. Ничто за черту свою не преступает. Кто поведением своим возмущает общую безопасность, предается всей строгости законов. Кто поведением своим бесчестит самого себя, наказывается его презрением. Кто не рачит о должности, теряет свое место. Словом, государь, правоту наблюдающий, исправляет всечасно пороки, являя им грозное чело, и утверждает добродетель, призывая ее к почестям.

Правота делает государя почтенным; но кротость, сия человечеству любезная добродетель, делает его любимым. Она напоминает ему непрестанно, что он человек и правит людьми. Она не допускает поселиться в его голову несчастной и нелепой мысли, будто бог создал миллионы людей для ста человек. Между кротким и горделивым государем та ощутительная разница, что один заставляет себя внутренно обожать, а другой наружно боготворить; но кто принуждает себя боготворить, тот внутри души своей, видно, чувствует, что он человек. Напротив того, кроткий государь не возвышается никогда унижением человечества. Сердце его чисто, душа права, ум ясен. Все сии совершенства представляют ему живо все его должности. Они твердят ему всечасно, что государь есть первый служитель государства; что преимущества его распространены нациею только для того, чтоб он в состоянии был делать больше добра, нежели всякий другой; что силою публичной власти, ему вверенной, может он жаловать почести и преимущества частным людям, но что самое нацию ничем пожаловать не может, ибо она дала ему все то, что он сам имеет; что для его же собственного блага должен он уклоняться от власти делать зло и что, следственно, желать деспотичества есть не что иное, как желать найти себя в состоянии пользоваться сею пагубною властию. Невозможность делать зло может ли быть досадна государю? А если может, так разве для того, что дурному человеку всегда досадно не смочь делать дурна. Право деспота есть право сильного: но и разбойник то же право себе присвояет. И кто не видит, что изречение *право сильного* выдумано в посмеяние. В здравом разуме сии два слова никогда вместе

не встречаются. Сила принуждает, а право обязывает. Какое же то право, которому повинуются не по должности, а по нужде и которое в тот момент у силы исчезает, когда бо́льшая сила сгоняет ее с места. Войдем еще подробнее в существо сего мнимого права. Потому, что я не в силах кому-нибудь сопротивляться, следует ли из того, чтоб я морально обязан был признавать его волю правилом моего поведения? Истинное право есть то, которое за благо признано рассудком и которое, следственно, производит некое внутреннее чувство, обязывающее нас повиноваться добровольно. В противном случае повиновение не будет уже обязательство, а принуждение. Где же нет обязательства, там нет и права. Сам бог в одном своем качестве существа всемогущего не имеет ни малейшего права на наше повиновение. Вообразим себе существо всемогущее, которое не только ко всему принудить, но и вовсе истребить нас может, которое захотело бы сделать нас несчастными или по крайней мере не захотело бы никак пещись о нашем благе, тогда чувствовали ли бы мы в душе обязанность повиноваться сей вышней воле, клонящейся к нашему бедствию или нас пренебрегающей? Мы уступили бы по нужде ее всемогуществу, и между богом и нами было б не что иное, как одно физическое отношение. Все право на наше благоговейное повиновение имеет бог в качестве существа всеблагого. Рассудок, признавая благим употребление его всемогущества, советует нам сообража́ться с его волею и влечет сердца и души ему повиноваться. Существу всеблагому может ли быть приятно повиновение, вынужденное одним страхом? И такое гнусное повиновение прилично ль существу, рассудком одаренному? Нет, оно недостойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Сила и право совершенно различны как в существе своем, так и в образе действования. Праву потребны достоинства, дарования, добродетели. Силе надобны тюрьмы, железы, топоры. Совсем излишне входить в толки о разностях форм правления и разыскивать, где государь самовластнее и где ограниченнее. Тиран, где б он ни был, есть тиран, и право народа спасать бытие свое пребывает вечно и везде непоколебимо.

Истинное блаженство государя и подданных тогда совершенно, когда все находятся в том спокойствии духа, которое происходит от внутреннего удостоверения о своей безопасности. Вот прямая *политическая вольность* нации. Тогда всякий волен будет делать все то, чего позволено хотеть, и никто не будет принуждать делать того, чего хотеть не должно; а дабы нация имела сию вольность, надлежит правлению быть так устроену, чтоб гражданин не мог страшиться злоупотребления власти; чтоб никто не мог быть игралищем насильств и прихотей; чтоб по одному произволу власти никто из последней степени не мог быть взброшен на первую, ни с первой свергнут на последнюю; чтоб в лишении имения, чести и жизни одного дан был отчет всем и чтоб, следственно, всякий беспрепятственно пользоваться мог своим имением и преимуществами своего состояния.

Когда ж свободный человек есть тот, который не зависит ни от чьей прихоти; напротив же того, раб деспота тот, который ни собою, ни своим имением располагать не может и который на все то, чем владеет, не имеет другого права, кроме высочайшей милости и благоволения, то по сему истолкованию политической вольности видна неразрывная связь ее с правом *собственности*. Оно есть не что иное, как право пользоваться; но без вольности пользоваться, что оно значит? Равно и вольность сия не может существовать без права, ибо тогда не имела бы она никакой цели; а потому и очевидно, что нельзя никак нарушать вольности, не разрушая права собственности, и нельзя никак разрушать права собственности, не нарушая вольности.

При исследовании, в чем состоит величайшее благо государств и народов и что есть истинное намерение всех систем законодательства, найдем необходимо два главнейшие пункта, а именно те, о коих теперь рассуждаемо было: *вольность и собственность*. Оба сии преимущества, равно как и форма, каковою публичной власти действовать, должны быть устроены сообразно с физическим положением государства и моральным свойством нации. Священные законы, определяющие сие устройство, разумеем мы под именем законов фундаментальных. Ясность их должна быть такова, чтоб

ни малейшего недоразумения никогда не повстречалось, чтоб из них монарх и подданный равномерно знали свои должности и права. От сих точно законов зависит общая их безопасность, следственно, они и должны быть непременными.

Теперь представим себе государство, объемлющее пространство, каковое ни одно на всем известном земном шаре не объемлет и которого по мере его обширности нет в свете малолюднее; государство, раздробленное с лишком на тридцать больших областей и состоящее, можно сказать, из двух только городов, из коих в одном живут люди большею частию по нужде, в другом большею частию по прихоти; государство, многочисленным и храбрым своим воинством страшное и которого положение таково, что потерянием одной баталии может иногда бытие его вовсе истребиться; государство, которое силою и славою своею обращает на себя внимание целого света и которое мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся, никем не предводимый, может привести, так сказать, в несколько часов на самый край конечного разрушения и гибели; государство, дающее чужим землям царей и которого собственный престол зависит от отворения кабаков для зверской толпы буян, охраняющих безопасность царския особы; государство, где есть все политические людей состояния, но где никоторое не имеет никаких преимуществ и одно от другого пустым только именем различается; государство, движимое вседневными и часто друг другу противуречащими указами, но не имеющее никакого твердого законоположения; государство, где люди составляют собственность людей, где человек одного состояния имеет право быть вместе истцом и судьею над человеком другого состояния, где каждый, следственно, может быть завсегда или тиран, или жертва; государство, в котором почтеннейшее из всех состояний, долженствующее оборонять отечество купно с государем и корпусом своим представлять нацию, руководствуемое одною честию, *дворянство*, уже именем только существует и продается всякому подлецу, ограбившему отечество; где знатность, сия единственная цель благородныя души, сие достойное возмездие

заслуг, от рода в род оказываемых отечеству, затмевается фавером, поглотившим всю пищу истинного любочестия; государство не деспотическое: ибо нация никогда не отдавала себя государю в самовольное его управление и всегда имела трибуналы гражданские и уголовные, обязанные защищать невинность и наказывать преступления; не монархическое: ибо нет в нем фундаментальных законов; не аристократия: ибо верховное в нем правление есть бездушная машина, движимая произволом государя; на демократию же и походить не может земля, где народ, пресмыкаяся во мраке глубочайшего невежества, носит безгласно бремя жестокого рабства.

Просвещенный и добродетельный монарх, застав свою империю и свои собственные права в такой несообразности и неустройстве, начинает великое свое служение немедленным ограждением общия безопасности посредством законов непреложных. В сем главном деле не должен он из глаз выпускать двух уважений: первое, что государство его требует немедленного врачевания от всех зол, приключаемых ему злоупотреблением самовластия; второе, что государство его ничем так скоро не может быть подвергнуто конечному разрушению, как если вдруг и не приуготовя нацию дать ей преимущества, коими наслаждаются благоучрежденные европейские народы. При таковом соображении каковы могут быть первые фундаментальные законы, прилагается при сем особенное начертание.

В заключение надлежит признать ту истину, что главнейшая наука правления состоит в том, чтоб уметь сделать людей способными жить под добрым правлением. На сие никакие именные указы не годятся. Узаконение быть добрыми не подходит ни под какую главу Устава о благочинии. Тщетно было бы вырезывать его на досках и ставить на столы в управах; буде не врезано оно в сердца, то все управы будут плохо управляться. Чтоб устроить нравы, нет нужды ни в каких пышных и торжественных обрядах. Свойство истинного величества есть то, чтоб наивеличайшие дела делать наипростейшим образом. Здравый рассудок и опыты всех веков показывают, что одно благонравие государя образует благонравие народа. В его руках пружина,

куда повернуть людей: к добродетели или пороку. Все на него смотрят, и сияние, окружающее государя, освещает его с головы до ног всему народу. Ни малейшие его движения ни от кого не скрываются, и таково есть счастливое или несчастное царское состояние, что он ни добродетелей, ни пороков своих утаить не может. Он судит народ, а народ судит его правосудие. Если ж надеется он на развращение своей нации столько, что думает обмануть ее ложною добродетелию, сам сильно обманывается. Чтоб казаться добрым государем, необходимо надобно быть таким; ибо как люди порочны ни были б, но умы их никогда столько не испорчены, сколько их сердца, и мы видим, что те самые, кои меньше всего привязаны к добродетели, бывают часто величайшие знатоки в добродетелях. Быть узнану есть необходимая судьбина государей, и достойный государь ее не устрашается. Первое его титло есть титло честного человека, а быть узнану есть наказание лицемера и истинная награда честного человека. Он, став узнан своею нациею, становится тотчас образцом ее. Почтение его к заслугам и летам бывает наистрожайшим запрещением всякой дерзости и нахальству. Государь, добрый муж, добрый отец, добрый хозяин, не говоря ни слова, устрояет во всех домах внутреннее спокойство, возбуждает чадолюбие и самодержавнейшим образом запрещает каждому выходить из мер своего состояния. Кто не любит в государе мудрого человека? А любимый государь чего из подданных сделать не может? Оставя все тонкие разборы прав политических, вопросим себя чистосердечно: кто есть самодержавнейший из всех на свете государей? Душа и сердце возопиют единогласно: тот, кто более любим.

ЧЕЛОБИТНАЯ РОССИЙСКОЙ МИНЕРВЕ ОТ РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ПО ТИТУЛЕ

Бьют челом российские писатели; а о чем наше прошение, тому следуют пункты:

1

Под владением вашего божественного величества находимся с лишком двадцать лет, в течение коих никаких обид и притеснений от лица вашего нам, именованным, не учинено; напротив же того, всякое ободрение и покровительство от священныя особы вашей нам изъявляемо было.

2

Но как ваше божественное величество правите своей землею своим умом, то и не удивительно, что часто предстоит вам труд поправлять своим просвещением людское невежество и своей мудростию людскую глупость. Сею высочайшею милостию пользовались и ныне пользуются все те верноподданные вашего божественного величества, кои достигли до знаменитости, не будучи сами умом и знанием весьма знамениты.

3

Сии самые знаменитые невежды, заемля свет от лучей вашего величества, возмечтали о себе, что сияние дел, вами руководствуемых, происходит якобы от искр их собственной мудрости; ибо, возвышаяся на степени, забыли они совершенно, что умы их суть умы жалованные, а не родовые и что по статным спискам всегда справиться можно, кто из них и в какой торжественный день пожалован в умные люди.

4

От сего возмечтания родилось в душах реченных невежд внутреннее удостоверение, что к отправлению дел ни в каких знаниях нужды нет, ибо-де мы сами в делах, без малейшего в них знания. Мы, именованные, приемля сие их признание за справедливое, понеже и в силу закона собственное признание есть наилучшее всех доказательств, дерзаем представить вашему божественному величеству, что помянутые невежды, произносящие с крайним бесстыдством и в похвальбу себе таковое признание, употребляют во зло знаменитость своего положения, к тяжкому предосуждению словесных наук и к нестерпимому притеснению нас, именованных. Они, исповедуя друг другу неведение свое в вещах, которых не ведать стыдно во всяком состоянии, постановили между собою условие: всякое знание, а особливо словесные науки, почитать не иначе как уголовным делом. Вследствие чего учинили они между собою определение, которое, в противность высочайших учреждений, нам, именованным, при открытых дверях не прочитали и без всяких обрядов к действительному оного исполнению нагло приступили. Сие беззаконное определение их состоит, как мы стороною узнали, в нижеследующих пунктах: 1. Всех упражняющихся в словесных науках к делам не употреблять. 2. Всех таковых, при делах уже находящихся, от дел отрешать.

И дабы вашего божественного величества указом повелено было сие наше прошение принять и таковое

беззаконное и век наш ругающее определение отменить; нас же, яко грамотных людей, повелеть по способностям к делам употреблять, дабы мы, именованные, служа российским музам на досуге, могли главное жизни нашей время посвятить на дело для службы вашего величества.

Великая богиня! просим ваше божественное величество о сем нашем прошении решение учинить. К поданию надлежит в «Собеседник любителей российского слова». Прошение писал российских муз служитель

Иван Нельстецов.

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ, МОГУЩИХ ВОЗБУДИТЬ В УМНЫХ И ЧЕСТНЫХ ЛЮДЯХ ОСОБЛИВОЕ ВНИМАНИЕ[1]

«Собеседник любителей российского слова», под надзиранием почтенныя наук покровительницы, есть и должен быть хранилищем тех произведений разума, кои приносить могут столько увеселения, сколько и действительной пользы. Издатели оного не боятся отверзать двери истине; почему и беру вольность представить им для напечатания «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание». Буде оные напечатаются, то продолжение последует впредь и немедленно. Публика заключит тогда по справедливости, что если можно вопрошать прямодушно, то можно и отвечать чистосердечно. Ответы и решения наполнять будут «Собеседника»

[1] Написав ответы на вопросы Фонвизина, Екатерина II — автор «Былей и небылиц» — предпослала сочинению сатирика следующее предисловие: «Издатели «Собеседника» разделили труд рассматривать присылаемые к ним сочинения между собою понедельно, равно как и ответствовать на оные, ежели того нужда потребует. Сочинитель «Былей и небылиц», рассмотрев присланные вопросы от неизвестного, на оные сочинил ответы, кои совокупно здесь прилагаются». *(Прим. ред.)*

и составлять неиссыхаемый источник размышлений, извлекающих со дна истину, толь возлюбленную монархине нашей.

Вопро́сы:	*Ответы:*
1. Отчего у нас спорят сильно в таких истинах, кои нигде уже не встречают ни малейшего сумнения?	На 1. У нас, как и везде, всякий спорит о том, что ему не нравится или непонятно.
2. Отчего многих добрых людей видим в отставке?	На 2. Многие добрые люди вышли из службы, вероятно, для того, что нашли выгоду быть в отставке.
3. Отчего все в долгах?	На 3. Оттого в долгах, что проживают более, нежели дохода имеют.
4. Если дворянством награждаются заслуги, а к заслугам отверсто поле для всякого гражданина, отчего же никогда не достигают дворянства купцы, а всегда или заводчики, или откупщики?	На 4. Одни, быв богатее других, имеют случай оказать какую ни на есть такую заслугу, по которой получают отличие.
5. Отчего у нас тяжущиеся не печатают тяжеб своих и решений правительства?	На 5. Для того, что вольных типографий до 1782 года не было.
6. Отчего не только в Петербурге, но и в самой Москве перевелися общества между благородными?	На 6. От размножившихся клобов.

7. Отчего главное старание большой части дворян состоит не в том, чтоб поскорей сделать детей своих людьми, а в том, чтоб поскорее сделать их не служа гвардии унтерофицерами?

На 7. Одно легче другого.

8. Отчего в наших беседах слушать нечего?

На 8. Оттого, что говорят небылицу.

9. Отчего известные и явные бездельники принимаются везде равно с честными людьми?

На 9. Оттого, что на суде не изобличены.

10. Отчего в век законодательный никто в сей части не помышляет отличиться?

На 10. Оттого, что сие не есть дело всякого.

11. Отчего знаки почестей, долженствующие свидетельствовать истинные отечеству заслуги, не производят по большой части к носящим их ни малейшего душевного почтения?

На 11. Оттого, что всякий любит и почитает лишь себе подобного, а не общественные и особенные добродетели.

12. Отчего у нас не стыдно не делать ничего?

На 12. Сие неясно: стыдно делать дурно, а в обществе жить не есть не делать ничего.

13. Чем можно возвысить упадшие души дворянства? Каким образом выгнать из сердец нечув-

На 13. Сравнение прежних времен с нынешними покажет несумненно, колико души ободрены либо

ственность к достоинству благородного звания? Как сделать, чтоб почтенное титло дворянина было несумненным доказательством душевного благородства?

упали; самая наружность, походка и проч. то уже оказывает.

14. Имея монархиню честного человека, что бы мешало взять всеобщим правилом: удостоиваться ее милостей одними честными делами, а не отваживаться проискивать их обманом и коварством?

На 14. Для того, что везде, во всякой земле и во всякое время род человеческий совершенным не родится.

14. Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют, и весьма большие?

На 14. Предки наши не все грамоте умели. NB. Сей вопрос родился от *свободоязычия*, которого предки наши не имели; буде же бы имели, то начли бы на нынешнего одного десять прежде бывших.

15. Отчего многие приезжие из чужих краев, почитавшиеся тамо умными людьми, у нас почитаются дураками; и наоборот: отчего здешние умницы в чужих краях часто дураки?

На 15. Оттого, что вкусы разные и что всякий народ имеет свой смысл.

16. Гордость большой части бояр где обитает: в душе или в голове?

На 16. Тамо же, где нерешимость.

17. Отчего в Европе весьма ограниченный че-

На 17. Оттого, что тамо, учась слогу, одинако

ловек в состоянии написать письмо вразумительное и отчего у нас часто преострые люди пишут так бестолково?

18. Отчего у нас начинаются дела с великим жаром и пылкостию, потом же оставляются, а нередко и совсем забываются?

19. Как истребить два сопротивные и оба вреднейшие предрассудки: первый, будто у нас все дурно, а в чужих краях все хорошо; вторый, будто в чужих краях все дурно, а у нас все хорошо?

20. В чем состоит наш национальный характер?

пишут; у нас же всяк мысли свои не учась на бумагу кладет.

На 18. По той же причине, по которой человек стареется.

На 19. Временем и знанием.

На 20. В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от творца человеку данных.

К г. СОЧИНИТЕЛЮ «БЫЛЕЙ И НЕБЫЛИЦ» ОТ СОЧИНИТЕЛЯ ВОПРОСОВ

По ответам вашим вижу, что я некоторые вопросы не умел написать внятно, и для того покорно вас прошу принять здесь мое объяснение.

В рассуждении вопроса о нечувственности к достоинству благородного звания позвольте мне сказать вам, государь мой, что разум оного совсем другой, нежели в каком, по-видимому, вы его принимаете. Если вы мой согражданин, то, кто бы вы ни были, можете быть уверены, что я ни вам и никому из моих сограждан не уступлю в душевном чувствовании всех неисчетных благ, которые в течение с лишком двадцати лет изливаются на благородное общество. Надобно быть извергу, чтоб не признавать, какое ободрение душам подается. Мой вопрос точно от того и произошел, что я поражен был тою нечувственностию, которую к сему самому ободрению изъявляют многие злонравные и невоспитанные члены сего почтенного общества. Мне случилось по своей земле поездить. Я видел, в чем большая часть носящих имя дворянина полагает свое любочестие. Я видел множество таких, которые служат, или, паче, занимают места в службе для того только, что ездят на паре. Я видел множество других, которые пошли тотчас в отставку, как скоро добились права впрягать четверню. Я видел от почтеннейших предков пре-

зрительных потомков. Словом, я видел дворян раболепствующих. Я дворянин, и вот что растерзало мое сердце. Вот что подвигло меня сделать сей вопрос. Легко станется, что я не умел положить его на бумагу, как думал, но я думал честно и имею сердце, пронзенное благодарностию и благоговением к великим деяниям всеобщия нашея благотворительницы. Ласкаюсь, что все те честные люди, от коих имею счастие быть знаем, отдадут мне справедливость, что перо мое никогда не было и не будет омочено ни ядом лести, ни желчью злобы.

Вседушевно благодарю вас за ответ на мой вопрос: «Отчего тяжущиеся не печатают тяжеб своих и решений правительства?» Ответ ваш подает надежду, что размножение типографий послужит не только к распространению знаний человеческих, но и к подкреплению правосудия. Да облобызаем мысленно с душевною благодарностию десницу правосуднейшия и премудрыя монархини. Она, отверзая новые врата просвещению, в то же время и тем же самым полагает новую преграду ябеде и коварству. Она и в сем случае следует своему всегдашнему обычаю: ибо рассечь одним разом камень претыкания и вдруг источить из него два целебные потока есть образ чудодействия, Екатерине II весьма обычайный. Способом печатания тяжеб и решений глас обиженного достигнет во все концы отечества. Многие постыдятся делать то, чего делать не страшатся. Всякое дело, содержащее в себе судьбу имения, чести и жизни гражданина, купно с решением судивших, может быть известно всей беспристрастной публике; воздастся достойная хвала праведным судьям; возгнушаются честные сердца неправдою судей бессовестных и алчных. О, если б я имел талант ваш, г. сочинитель «Былей и небылиц»! С радостию начертал бы я портрет судьи, который, считая все свои бездельства погребенными в архиве своего места, берет в руки печатную тетрадь и вдруг видит в ней свои скрытые плутни, объявленные во всенародное известие. Если б я имел перо ваше, с какою бы живостию изобразил я, как, пораженный сим нечаянным ударом, бессовестный судья бледнеет, как трясутся его руки, как при чтении

каждой строки язык его немеет и по всем чертам его лица разливается стыд, проникнувший в мрачную его душу, может быть, в первый раз от рождения! Вот, г. сочинитель «Былей и небылиц», вот портрет, достойный забавной, но сильной кисти вашей!

Чрез вопрос: «Отчего у нас не стыдно не делать ничего?» разумел я, отчего праздным людям не стыдно быть праздными?

Статьею о шпынях и балагурах хотел я показать только несообразность балагурства с большим чином. Вы, может быть, спросите меня: для чего же вопроса моего не умел я так написать, как теперь говорю? На сие буду вам отвечать вашим же ответом на мой вопрос, хотя совсем другого рода: *«Для того, что везде, во всякой земле и во всякое время, род человеческий совершенным не родится».*

Признаюсь, что благоразумные ваши ответы убедили меня внутренно, что я самого доброго намерения исполнить не умел и что не мог я дать моим вопросам приличного оборота. Сие внутреннее мое убеждение решило меня заготовленные еще вопросы отменить, не столько для того, чтоб невинным образом не быть обвиняему в *свободоязычии,* ибо у меня совесть спокойна, сколько для того, чтоб не подать повода другим к дерзкому *свободоязычию,* которого всей душою ненавижу.

Видя, что вы, государь мой, в числе издателей «Собеседника», покорно прошу поместить в него сие письмо. Напечатание оного будет для меня весьма лестным знаком, что вы моим объяснением довольны. Доброе мнение творца, вмещающего, как вы, в творении свои пользу и забаву в степени возможного совершенства, должно быть для меня неоцененно; напротив же того, всякое ваше неудовольствие, мною в совести моей ничем не заслуженное, если каким-нибудь образом буду иметь несчастие приметить, приму я с огорчением за твердое основание непреложного себе правила: во всю жизнь мою за перо не приниматься.

ЖИЗНЬ ГРАФА НИКИТЫ ИВАНОВИЧА ПАНИНА

Граф Никита Иванович Панин, правивший иностранными делами министр, произшел от благородных родителей в 1718 году сентября 15-го. Предки его, уроженцы Лукской республики, выехали в Россию в пятом-на-десять столетии. Отец его служил Петру Великому и имел счастие пользоваться его благоволением. Достигши до чина генерал-поручика, окончил он дни свои в 1736 году от множества ран, полученных им на разных сражениях. Он достоин был иметь таковых сынов, коих деяния в течение более двадцати лет обращали на себя внимание целой Европы. Один управлял важнейшими государственными делами и воспитывал наследника российского престола, а другой явил опыты мужества и искусства своего во время Прусской войны, правил всею завоеванною частию Пруссии, предводительствовал потом армиею противу турков, взял приступом город Бендеры, споспешествовал независимости крымских татар и, наконец, спустя несколько лет по увольнении его от службы, прекратил великий мятеж и чрез сию важную отечеству заслугу учинился защитником дворянства, противу которого устремлена была злоба мятежников.

Жизнь достойного их родителя была сообразна с званием гражданина, коего душа столь же была

благородна, как и его происхождение. Все его недвижимое имение состояло в четырехстах душах. Он столько старался о воспитании детей своих, сколько позволяло ему посредственное его богатство и положение, в каковом тогда находилось его отечество. Слух о добром воспитании и добродетелях его дочерей доставил им знатные супружества. Одна выдана за князя Куракина, сенатора и российского двора обер-шталмейстера, а другая за господина Неплюева, сенатора же и действительного тайного советника. Сыны его записаны были в гвардейские полки, в коих отправляли действительную службу с самых нижних чинов. Благородное поведение и родство с князем Куракиным, который от императрицы Анны Иоанновны был отличаем, доставили графу Никите Ивановичу случай бывать во всех придворных собраниях. Императрица Елисавета Петровна при восшествии своем на престол пожаловала его в камер-юнкеры. Отменное сей государыни к нему благоволение вооружило противу его зависть и ревнивость, два свойственные царедворцам пороки. Враги его, стараясь чрез разные происки отдалить от двора, но не находя в поступках его ничего такого, что бы могло послужить к его обвинению, принуждены были употребить в пользу свою его достоинства. Они представили императрице способность его к политическим делам, почему он и был отправлен в 1747 году к датскому двору в качестве полномочного министра. При отъезде его в Копенгаген он имел повеление заехать в Дрезден для принесения от ее императорского величества Августу Третьему, королю польскому, поздравления по случаю бракосочетания дофина с дочерью его принцессою Мариею-Иозефою. В том же году он пожалован был в камергеры.

В то время состояние Швеции было в рассуждении России самое критическое, так что каждую минуту надлежало ожидать возгорения войны между обеими державами. Польза России требовала того, чтоб не допустить Швецию до разрыву союза. Для исполнения толь нужного предприятия потребен был такой министр, который бы с кротостию нрава соединял просвещенный и проницательный разум. Императрица по представлению

канцлера судила быть способным графа Панина к оказанию таковой отечеству услуги. В 1748 году перевели его из Копенгагена в Штокгольм. Он совершенно оправдал избрание своей монархини, возложившей на него такое дело, которое требовало великих способностей и превосходных качеств. Он не только отвратил войну, но еще и приобрел многих России доброжелателей. Заслуги его стяжали ему от двора разные награждения. В лето прибытия его в Штокгольм он получил орден святыя Анны, в 1751 году орден святого Александра Невского, а в 1755 пожалован был в генерал-поручики. Пребывание его в Швеции продолжалось около двенадцати лет. Он чрез добродетели свои приобрел почтение от тамошнего двора и всего народа; ни один швед не произносит даже и поднесь имени его без некоего к нему благоговения.

В 1759 году он отозван был в свое отечество, а в 29 день июня последовавшего года императрица благоволила вверить ему надзирание над воспитанием великого князя Павла Петровича, важную должность, которую он беспрерывно исправлял до самого бракосочетания августейшего его питомца. Император Петр Третий наградил его чином действительного тайного советника и орденом святого апостола Андрея.

В 1763 году, во время отсутствия покойного канцлера графа Воронцова, великая императрица Екатерина Вторая, которой священное имя и великие деяния предадутся бессмертию, препоручила ему управление иностранными делами, а в 1767 году благоволила почтить его графским достоинством, о чем и обнародован был указ следующего содержания:

«Наш действительный тайный советник Никита Панин чрез попечение свое и воспитание дражайшего нашего сына доказал нам ревность свою и усердие и в то ж самое время исправлял с рачением и успехами великое множество дел как внутренних, так и иностранных. Равным образом и брат его генерал Петр Панин служил нам во всякое время с верностию и усердием. Во уважение чего мы жалуем им и их потомству графское достоинство, повелевая нашему сенату изготовить

для них диплом и представить нам оный для подписания».

В 1769 году получил он повеление заседать в Тайном совете, в 1773 пожалован в сенаторы в первую степень (в чин фельдмаршала), а в 1782 удостоен ордена святого равноапостольного князя Владимира первой степени скоро по учреждении оного.

Он был главою министерства двадцать лет сряду, в которое время и важнейшие внутренние дела ему же были вверяемы. Кратко сказать, не было ни одного дела, касательного до пользы и благосостояния империи, в котором бы он не участвовал или собственными трудами, или советами.

Пристойно бы здесь было начертать душу и сердце сего почтенного гражданина простым только изложением всего, что он учинил в течение долговременного своего министерства, и изъяснить беспристрастно, какие были его труды и заслуги, коликую твердость и постоянство оказывал он при обстоятельствах, возмущавших спокойствие души его; с каким великодушием переносил он претерпеваемые им отвсюду гонения; но эпоха жизни его столь еще от нас близка, что многие важные причины не позволяют пространно говорить о том, чего история не преминет со временем предать потомству. Итак, надлежит ограничить сие краткое повествование предложением только достопамятных министерских его деяний, начертанием его правил, наблюденных им при воспитании августейшего его питомца и управлении государственными делами, и, наконец, изображением качеств великой его души, которые приобрели ему всеобщее почтение.

Достопамятные дела во время его министерства суть союзы и разные договоры, заключенные с иностранными державами, война с турками, происшедшая от междоусобных в Польше раздоров, обмен Голштинского герцогства на графства Олденбургское и Дитмарское, славный мир с Портою, посредничество российского двора при заключении Тешенского мира и, наконец, вооруженный неутралитет.

Главнейшие правила, с которыми он сообразуясь поступал во управлении делами, были следующие:

1-е) Что государство может всегда сохранить свое величие, не вредя пользам других держав. Признание российских государей императорами и поравнение их министров с министрами других дворов были следствием сего на добром основании утвержденного правила. 2-е) Что толь обширная империя, какова есть Россия, не имеет причины употреблять притворства и что единая только искренность должна быть душою ее министерии. Граф Панин неизменным наблюдением сего правила приобрел от всех иностранных дворов толикую доверенность, что одно уст его слово не меньше было уважаемо, как и самые священные узы договора. 3-е) Он любил рассуждать о делах с кротостию и дружелюбием, превосходными свойствами души его; можно сказать, что всяк иностранный министр, входивший в кабинет его с пасмурным видом для переговора с ним о каком-либо неприятном деле, всегда выходил из оного довольным и восхищенным его беседою. Таковы были правила, по коим он поступал во внешних делах. Вся Европа признала его за великого государственного мужа: он приобрел совершенное и неоцененное почтение от мудрого и просвещенного монарха, верного России союзника, коего достохвальные деяния суть предметом удивления целого мира.

Что же касается до внутренних дел, душа его всегда огорчалась поведением тех, кои от невежества, или из раболепства, или для собственныя своея пользы полагают в число государственных таинств то самое, о чем в просвещенном народе все должны ведать, как, например: количество доходов, причины налогов и проч. Он не мог терпеть, чтоб самовластие учреждало в гражданских и уголовных делах особенные наказы в обиду тех судебных мест, кои должны защищать невинного и наказывать преступника. С великим огорчением взирал он на все то, что могло повредить или возмутить государственное благоустройство; утруждение императрицы прошением о таком деле, которое не было еще подробно рассмотрено сенатом, противуречие в судопроизводстве, подлое и раболепное послушание тех, кои по званию своему должны защищать истину ценою собственной своей жизни, — словом, всякое недостойное

действие корысти и пристрастия, всякая ложь, клонящаяся к ослеплению очей государя и общества, и всякий подлый поступок поражали ужасом добродетельную его душу.

Пред вступлением его в должность наставника его императорского высочества блаженной и вечной памяти достойная государыня императрица Елисавета Петровна повелела изготовить начертание воспитания. Дабы представить в ясном образе правила добродетели, кои он себе предположил и исполнял при исправлении толь важныя должности, надлежало бы поместить здесь целое сочинение, собственноручно им писанное, коим он тогда удовлетворил воле своей монархини; но поелику пространство оного выходит из пределов простого сокращения, то ради сего некоторые только извлечения из оного здесь предлагаются.

«Приуготовя сердце великого князя к эпохе, в которой начинает созревать разум, при первом оного действии, надлежит вперить в него и начертать на его сердце сие правило, что добрый государь не имеет и не может иметь ни истинных польз, ниже истинной славы, отделенных от польз и славы его народа...»

«Наставник с величайшим рачением и, так сказать, с равным тому, каковое будет прилагать о сохранении его императорского высочества, должен наблюдать, дабы ничего такого пред ним не делали и не говорили, что могло бы хотя малейшим образом повредить и ослабить сердца его расположение к природным человеческим добродетелям. Напротив того, надлежит ему расширять сии добродетели чрез приличные к тому средства, так чтобы склонность к добру и честности и отвращение ко злу и всему тому, что не совместно с благоправием, вкоренялись и неприметным образом возрастали во младом его сердце...»

«В продолжение воспитания великого князя потребно отдалить от него роскошь, пышность и все то, что удобно развратить юность; благопристойность и непорочность довлеют быть едиными украшениями его чертогов. Время не опоздает привлечь к нему ласкателей; но доколе еще не совершится его воспитание, те, кои по закону и долгу своему обязаны развивать его

добродетели и предохранять его от пороков, должны быть весьма осторожны в своем с ним обращении...»

В самом деле, сей благоразумный наставник не нарушил ни единого из сих правил. Доброта сердца и просвещенный ум великого князя свидетельствуют его попечение о украшении основательными познаниями природной способности его светлейшего питомца и о начертании в душе его добродетели, сего истинного основания общенародного блаженства.

По совершении воспитания, то есть при бракосочетании его императорского высочества, граф Панин со многими знаками монарших щедрот был еще удостоен письмом, которое ее императорское величество изволила писать собственною рукою тако:

«Граф Никита Иванович!

Совокупные важные ваши труды в воспитании сына моего и при том в отправлении дел обширного иностранного департамента, которые вы несли и отправляете с равным успехом толико лет сряду, часто в течение оных во внутренности сердца моего возбуждали чувства, разделяющие с вами все бремя различных сих, силу человеку данную исчерпаемых упражнений; но польза империи моей, по горячему моему всегдашнему попечению о благом устройстве всего, мне от власти всевышнего врученного, воспрещали мыслить прежде времени облегчить вас в тягостных упражнениях, доверенностию моею вам порученных; ныне же, когда приспела зрелость лет любезнейшего сына моего и мы на двадцатом его году от рождения с вами дожили до благополучного дня брака его, то, почитая по справедливости и по всесветному обыкновению воспитание великого князя само собою тем оконченным, за долг ставлю при сем случае изъявить мое признание и благодарность за все приложенные вами труды и попечения о здравии и украшении телесных и душевных его природных дарований, о коих по нежности матерней любви и пристрастию не мне пригоже судить; но желаю и надеюсь, что будущие времена в том оправданием служить имеют, о чем всевышнего ежедневно молю

усердно. Окончав с толиким успехом, соединенным с моим удовольствием, важную таковую должность и пользуясь сим утешением, от нее вам происходящим, обратите ныне с бодрым духом все силы ума вашего к части дел империи, вам от меня вверенной и на сих днях вновь подтвержденной, и доставьте трудами своими согражданам вашим желаемый мною и всеми твердый мир и тишину, дабы дни старости вашей увенчаны были благословением божиим благополучия всеобщего, после бесчисленных трудов и попечений. Пребываю вечно с отменным доброжелательством.

Екатерина».

Нрав графа Панина достоин был искреннего почтения и непритворныя любви. Твердость его доказывала величие души его. В делах, касательных до блага государства, ни обещания, ни угрозы поколебать его были не в силах. Ничто в свете не могло его принудить предложить монархине свое мнение противу внутреннего своего чувства. Колико благ сия твердость даровала отечеству! От коликих зол она его предохранила! Други обожали его, самые враги его ощущали во глубине сердец своих к нему почтение, и от всех соотечественников его дано было ему наименование честного человека. Он имел здравый ум и глубокое проницание. Знание же человеческих свойств и искусство приобретать сердца были столь велики, что он при первом свидании познавал уже умы тех, с коими говорил, а как он разговоры свои располагал так, чтоб каждый мог иметь во оных участие, то и отпускал всех от себя пронзенными нежною к нему привязанностию и довольными собою. В делах, требующих обстоятельного рассмотрения, он убегал скоропостижности, что и подавало случай обвинять его в медлительности. Нрав его и действительно удален был от всякой живости и от всякого пылкого движения; но должно отдать ему справедливость, что невозможно было иметь больше трудолюбия и больше деятельности, сколько оказывал он в делах важных.

Между своих другов он не мог терпеть, чтоб кто-либо из них делал для него то, чего бы он в отсутствии

его не сделал. Разговоры его почти всегда растворялись веселостию, шутки его были приятны и без желчи, а доброта его сердца была чрезвычайна. Он был утешитель несчастных, защитник утесненных и справедливый советник, — словом, в великом множестве его сограждан, даже и таких, коих он не ведал, не было ни одного, который бы в крайних своих нуждах не почувствовал некоторой отрады, открыв графу Панину свои несчастия и получа от него совет или помощь. Сердце его никогда не знало мщения; он одним кротким своим воззрением приводил в замешательство самых величайших врагов своих; щедрость и бескорыстие, сии две добродетели, обитали в нем в высочайшей степени. Его движимое имение, проданное по кончине его за 173 000 руб., недостаточно было на уплату долгов его. Беспримерной его щедрости едва ли можно найти подражателей. Из девяти тысяч душ крестьян, пожалованных ему императрицею, он подарил четыре тысячи трем секретарям, кои находились при нем по иностранным делам.

Смерть, похитя сего добродетельного гражданина в 31 день марта 1783 года, поразила неожидаемым ударом всех его родственников и другов. Хотя на последних годах его жизни слабость здоровья, соединясь с его положением, и совсем уклонила его от дел, однако за несколько месяцев до его кончины здоровье его казалось быть в лучшем состоянии; накануне же печального происшествия он казался крепче и веселее обыкновенного, но поутру в четыре часа удар паралича лишил его памяти и употребления языка. Тщетно испытывали в присутствии их императорских высочеств все способы врачебного искусства. Он чрез несколько часов скончался при дражайшем своем питомце, который один только прилеплял его к жизни и к которому он питал нежное и беспредельное дружество.

В минуту, в которую он испустил последнее дыхание, великий князь упал пред ним на колена и поцеловал его руку, ороша оную своими слезами. Надлежало исторгнуть великую княгиню из несчастного дома, в котором раздавался вопль и стенания. Повсюду зрелся образ печали. Сие самое место, в коем накануне того

дня на всех лицах сияло удовольствие, учинилось чрез несколько часов позорищем ужаснейшего отчаяния.

Известие о его кончине опечалило чувствительное сердце ее императорского величества, которая, дабы почтить память усопшего, благоволила употребить к утешению его родственников все возможные средства, какие только могли зависеть от ее власти.

Всеобщая печаль повсюду возвещала лишение премудрого и добродетельного мужа. Казалось, будто каждый оплакивал своего родственника. Погребение совершено было апреля в 3-й день. Его императорское высочество удостоил вынос тела своим присутствием.

Прощаясь в последний раз с наставником своим и другом, великий князь еще поцеловал у него руку, с пролиянием потоков слез; зрелище самое трогательное для тех, кои при том присутствовали, но которое в то ж время вливало в них сладостное утешение, открывая им доброту сердца наследника престола. Все знатнейшие особы препровождали тело пешком до самого монастыря святого Александра Невского. За ними следовало многочисленное стечение народа. В то время как родственники стали опускать тело в могилу, весь храм наполнился воплем и стоном. Граждане, иностранцы, все были погружены в глубокую печаль. Смерть графа Панина лишила Россию полезного и добродетельного гражданина.

Сколь тронут был его императорское высочество кончиною графа Панина и коликое он имел к нему почтение, можно увидеть из нижеследующего письма, писанного его императорским высочеством к московскому архиерею преосвященному Платону:

«Ваше преосвященство!

Уже известны, ваше преосвященство, о посетившей нас печали смертию графа Никиты Ивановича, известны вы и о всем том, чем я ему должен, следственно и о обязательствах моих в рассуждении его. Судите же, прискорбно ли душе моей? Я привязан по долгу и удо-

стоверению к закону и не сумневаюсь, что получающему награждение в той жизни за добродетели все-конечно отрада и покой; но поелику души остающиеся еще со слабостями тела соединены, то нельзя нам не чувствовать печали от разлуки; разделите оную со мною, как с другом вашим.

Павел».

РАССУЖДЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ ЛЮБОЧЕСТИИ

Из сочинений г. Циммермана

Возвышение духа, основанное на истинных правилах, производит некоторую пользу в частных людях, и сама религия ободряет оное. Хотя с нашими заслугами и не можем мы постоять пред богом, но религия возвышает все естество наше, показуя нам величество предопределения нашего и образ, коим достигать до него можно. Божие провидение и милость подают человеку твердое упование и непрестанно новые силы. Они не допускают его пасть под слабостию. Самое смирение сердца может быть совместно с твердостию, с правотою, с благородством чувствований и вообще с ясным удостоверением о добрых наших свойствах, если при том не выпускается из глаз зависимость наша от бога и рассуждение о том, что он есть посредственный и непосредственный источник всякого блага. В ложном смирении весьма часто блестит некоторое самому к себе снисхождение, но и чистосердечное смирение не требует того, чтоб отрицали мы то благо, которое в нас есть, или приписывали бы ему меньшую степень совершенства, нежели оно действительно имеет. Итак, религия не токмо не опровергает благородного возвышения духа, но паче служит ему главнейшим основанием, ибо познания самого себя требует она не к единому укрощению нашея

гордыни, но и к ощущению и к ободрению дарованных от бога способностей.

Упование на сии способности и проистекающая из него вера к правоте и истине родят крепость и бодрствование души против всех царствующих в земле предрассудков и злоупотреблений, то есть родят силу претерпевать всеобщую ненависть и мнение большой части людей ни во что ставить.

Упование на свои способности есть всегда мысль, возвышающая сердце, без которой человек ничего знаменитого не предпринимает. Лишенный сего упования, мужественнейший повергается в уныние и недействие, в коем упадшая душа его как в тесной темнице истаивает; где, кажется, она все силы свои собирает для страдания; где вся несчастия тягость совсем лежит на сердце; где каждая должность ему бремя, каждый труд ужасен, каждое воображение будущего мрачно. Тогда всякий путь к чести затворен для него; недвижим дух его подобен кораблю в ледовитом море. Ни до чего он не достигает, ибо ни к чему больше не стремится; ни к чему он не стремится, ибо о способностях своих отчаивается. Напротив того, людей гораздо с меньшими достоинствами видим мы преуспевающих на пути счастия для того только, что смелости в них больше.

От сего весьма низкого о себе мнения становится человек рабом другого. С истинною прискорбностию вижу я людей с достоинствами, пришедших в нестерпимое самих себя презрение пред знатными людьми, от коих хотя и зависит иногда их счастие, но кои действительно такового уничижения не требуют. Часто случается мне слышать такой язык, который должен бы значить смирение, а в существе есть подлость, который знатного человека за приобретенный дорого доход или за службу, худо заплаченную, богом ставит и приличен одному алжирскому невольнику, когда он является пред дея. Такие речи пронзают душу мою потому, что они все естество человеческое унижают и что и тамо, где быть тому надобно, знатным людям больше делается почтения тогда, когда с ними говорят благородно. Кто имеет порок действительно или в наружности почитать себя меньше прямой своей цены, становится рабом того,

кто таковым иметь его захочет. Страх лишиться насущного хлеба отъемлет от души всю ее силу, каждый червонный золотою горою представляет и в каждое выражение впечатлевает знаки в пыли пресмыкающегося рабства. Разве сотворен кто для вольности непреоборимо, в таких людях прискорбная мысль о своей низкости поглощает все понятие о достоинстве естества человеческого, о благородстве души, о доверенности к самому себе, о вере к правоте и истине. Наконец, вскружают они голову и добросердечнейшему вельможе, ползая пред ним непрестанно, как пред тираном, и обращая к нему толь жалобные взоры, как отчаянный грешник к богу или согрешающий монах к своему настоятелю.

От той же точно слишком низкой мысли о самих себе становятся люди рабами своих страстей и своему предопределению вероломными. Больше упования на собственные свои силы показало б им, что можно быть добродетельну и что от усыпанного розами одра роскоши отойти можно с честию. Аскифы[1] не имели бы нужды отрезывать светильню, которою любовь зажигается.

Вероломен своему предопределению становится человек, когда не имеет твердого души основания, изощряющего на всякое страдание. Всякий ум увядает, если в отдалении от света, лишенный всех его приятностей, не обыкнет человек сносить все, что тонким ощущениям досаждает, что нежное чувство оскорбляет и чувствительную душу пронзает. Он перестает напрягать свои дарования, когда видит ежедневно окружающих себя таких людей, кои не знают, что разум и вкус его изощрять можно в тысящи вещах, неизвестных им даже и по имени, но кои, однако ж, сердечно ненавидят то действие, которое разум и вкус его имеет над его поведением. Он стремится к минутной отраде и ослабевает всю душу свою, чтоб в их сообществе быть терпимым. Он ничьего мнения не оспоривает, сколько бы сумасбродно оно ни было. Он всякому предрассуждению и заблуждению попускает, предприяв, как Тристам

---

[1] Аскифы были монахи первых веков, кои из набоженства делали себя скопцами. *(Прим. Фонвизина.)* В оригинале Asketen. *(Прим. ред.)*

Шанди весьма разумно своему ослу сказал, ни с кем из сей семьи не ссориться.

Кроме всегда ясныя сферы религии, сильнейшая подпора в несчастии остается одно справедливое почитание к самому себе. Пусть честный человек спросит себя в несчастии: кто его повсюду утесняет, кто его явно презирает, клевещет, безобразит? По большей части — невежды и ослы. Такие люди столько же мало могут быть друзьями просвещенного, как злодеи — добродетельного мужа. Честно быть в них несчастливу. Всякий умный человек должен сей мысли твердо держаться; он должен знать, что по своим добротам не уйти ему от скаредов; но если уже одолел их наглость, если клевета, пресмыкаясь, только шепчет, если за глаза только язвят его, тогда мыслит он с усмешкою: им нужно сложить с себя бремя, которое их удручает.

Надежда на счастие, на сие неожидаемое стечение причин, нами непредвидимых, спасает человека в опасности, возвышает его сердце и уменьшает ту робость, которую стесненная в самой себе душа ощущает, когда, наполнясь великим предприятием, взирает на опасности, к побеждению предстоящие. Сия надежда на счастие произвела отважный поступок в первой юности находившегося Цесаря, во время его пленения на острове Фармакузе между киликийскими морскими разбойниками, кои тогда по большим своим флотам и бесчисленным судам были владетелями моря и кровожаждущими в свете людьми. Цесарь послал всех своих по городам для собрания денег и остался один с своим врачом и двумя служителями у сих варваров, коих так презирал, что, ложась спать, приказывал им быть тише и не мешать сну его. Киликияне потребовали за его освобождение только двадцать талантов; Цесарь стал тому смеяться, как будто бы они не знали, сколь знаменитого пленника имеют, и обещал им пятьдесят талантов. В течение почти сорока двух дней шутил и играл он бесстрашно с сими дикими, составлял и читал им речи и стихи и называл их невеждами и варварами, когда они тем не трогались; часто с усмешкою грозил всех их перевешать, и лишь только из плена свобо-

дился, то с несколькими кораблями, кои нашел в Милезийской пристани, пошел прямо к Фармакузе на сих разбойников, коих большую часть покорил и всех их на крестах распял. Точно сия же надежда произвела в Цесаре бодрость, оказанную им за несколько времени пред Фарсальскою битвою на маленьком судне, когда, в рабской одежде сокрывшись, пошел навстречу флоту позади оставшегося Антония и, при опаснейшем волнении, вдруг вскочив и схватя за руку трепещущего кормщика: «Не робей, — сказал ему, — ты везешь Цесаря и его счастие». Коломб предчувствовал, что есть Америка.

Один верит, что родился к несчастию, а другой к счастию. Как игрок в целый вечер играет дурно для того, что начал играть несчастливо, так первый будет, конечно, несчастлив, потому что в робости и нерешимости ни на что не отваживается и что сия нерешимость поставляет его у других в презрение. Последний счастлив потому, что отваживается на то, на что без дерзости отваживаться можно, и что ясный счастия луч умножает тотчас и ту вышнюю надежды степень, которая называется доверенностию, и от других к нему почтение. Доверенность к самому себе родит терпеливое выжидание времени и ревнование к самому же себе превзойти свои прежние дела новыми, затмить приобретенные достоинства большими и за счастием гнаться, пока его достигнет. Но великие духи суть всегда те, кои при больших пременах вещей человеческих никогда в счастии не надмеваются и никогда в несчастии не отчаиваются.

Отсюда ясно, что благородное почитание самого себя дает действительно нам силу возвышаться над человеческими слабостями, устремлять способности наши к похвальным предприятиям, никогда духу рабства не давать места, никогда не быть рабом порока, повиноваться гласу своего предопределения, не унывать в несчастии и надеяться на счастие.

Неизреченно нужно, чтоб сие возвышение природы, сия доверенность к силам своим возбуждалась в первой юности. Надлежит во младые еще души вселять любовь к добру, к красоте и величеству. Надлежит пред-

ставлять им добродетели в трогающих примерах, чтоб они любили добродетель. Надлежит подавать им большие понятия о их способностях, дабы дерзали они быть добродетельными; все представлять им в лицах, проницать сердца их вещающими образцами дел великих, возбуждать их страсти чувствительными предметами. Швейцарам дают читать Лаватеровы швейцарские песни и Соломона Гирцеля исторический опыт тамошней конфедерации; сии книги представляют очам их те времена, где великая душа была всего превыше, где честные нравы обретали всеобщее почтение и иройские добродетели всеобщую хвалу. Юность способна к тому прекрасному пламени, которое пылало в сердцах древних ироев, и к благородному желанию собирать лавры на том месте, где достойные их предки пожинали оные. Изображение благих нравов, повествование добродетельного деяния действует тотчас, влечет душу к удивлению и волю к подражанию.

Великие дела из истории, впечатленные в сердца трогающими образцами жизни достохвальных мужей, каковые описывали Плутарх и Каспар Гирцель, Геснеровы поэмы, исполненные благородныя и бессмертныя натуры, производят в юношестве удивительное действие. «Будут ли и мою жизнь описывать?» — спросил при мне пятилетний сын мой у матери своей, когда она, держа его в нежных своих объятиях, толковала ему Плутарховы жития великих мужей. Всякий без дворянства благорожденный юноша захочет быть великим мужем, когда он духом или добродетелию великих мужей прямо тронут; сии добродетели возрастут в юном его сердце; он захочет заступить у потомков то место, которое великие те люди столь славно занимали. Подвиг к подражанию изъявляется часто слезами, кои каждый отец нежнейшими объятиями награждать должен.

Фемистокл весьма еще был молод, когда греки при Марафоне персиян победили. Вседневно при нем хвалили Милфиада, которому сию победу приписывали. Фемистокл казался при том молчалив и задумчив; он от всех юношеских забав удалялся. Друзья его спраши-

вали о причине, и сия прекрасная душа отвечала, что трофеи Милфиадовы не дают ей покоя. Историк Фукидид в первой своей юности плакал, слыша Иродота на олимпийских играх, читающего свою историю пред народом со всеобщею от Греции хвалою. Зенон увещевал тех, кои важный и задумчивый вид Перикла почитали несносною надменностию, быть так же горделивыми, как и он, дабы тем в душах их та же ко благу любовь возгорелась и они бы неприметно к ней приобыкли. Демосфен во младенчестве столь был тронут славою, которую Каллистрат приобрел оспориванием тяжебного дела, и столь сильно пленился победоносною силою красноречия, что тотчас, последуя тем Зеноновым правилам, пошел он во уединение, оставил все прочие упражнения и совсем единому красноречию посвятился. Гомер между греками родил множество ироев; известно, сколь охотно читал Александр творения сего великого стихотворца. Честолюбные, а не добродетельные слезы проливал Цесарь, когда в Кадикском храме Геркулеса увидел он Александрову статую, ибо Александр в его лета был толь уже велик, а он толь еще мал. Можно понять, для чего сей будущий низринутель римския свободы тогда еще сказал в некоем бедном городке: «Я лучше хочу быть здесь первым, нежели в Риме вторым».

Таковые многократно повторяемые юношеству впечатления укрепляют душу, умножают ее пособия, делают, что не видит она ничего такого, до чего бы и достигнуть не могла, и впечатлевают в нее то благородное славолюбие, которое всегда великие производит деяния, если добродетелию сопровождается; напротив же того, крайняя ко всему оному бесчувственность есть непреложный знак, что молодой человек ни к чему великому не годен. Спартане возбуждали еще в детях своих подвиг сего благородного честолюбия; выговор долженствовал производить огорчение, а похвала восхищение; кто оставался бесчувствен к тому и другому, презираем был в Спарте, как низкая, малая и к добродетели неудобная душа. Следуя сим правилам, недавно дюк де Шуазель приказал одному ученому мужу, который

мыслит как гражданин и провидит как политик, собрать все речи и дела разных французских офицеров и солдатов для употребления в военном парижском училище, и без сомнения книга сия для юных французских воинов будет наилучшая.

Все сии вместе взятые рассуждения влекут меня к заключению о важности благородного во всей нации к самой себе почтения и о желательнейшем ее преимуществе, столь близко с похвальным национальным любочестием соединенной любви к отечеству.

Когда из всей истории избранный пример единого человека воспламеняет уже нас к благородным предприятиям, то какому же действию быть надобно из собранных целой нации примеров. Великие дела в поле и в республике сию любовь вселяют в сердце, пронзая нас внутренним почтением к тем мужам, кои удовольствие умереть за отечество познали, кои не отрицались служить ему для того, что иногда в своих ожиданиях ошибались, кои по ревности своей о чести, добродетели и правах отечества во всю жизнь свою поставляли себя выше ядовитого жала зависти и злобы ненавиствующих сограждан; к таковым мужам надлежит возбуждать благоговение в целом народе, буде хотят поселить в него к самому себе почтение, сей единый способ преображать целые нации.

Чрез горделивость, заслугами таковых мужей произведенную в народе, приобретает он право на бессмертие, когда великие примеры чрез предание не поврежденны к потомству преносятся, с благоговением почитаются и подражаются. От сего у греков и римлян имели целые нации толь великий образ мыслей. Любовь к отечеству вплетена была в их религию, узаконение и нравы, слово *отечество* стало душою общества, воскликновением кровожаждущия войны их, музыкою их приватной жизни, подвигом всех деяний; оно воспламеняло стихотворцев, риторов и судей; оно раздавалось на театре и в собраниях народных; оно публичными монументами проницало в души потомства. В новейшие времена целые нации почти никакого образа мыслей не имеют. Любовь к отечеству перешла не в одну уже

монархию, и не в одной уже республике кажется она предрассудками попранна.

Когда целые народы поставляли еще честь свою в свободе, а свободу в едином благородном образе мыслей, любовь к отечеству была тогда сладчайшее тех народов чувствие. Сильнейшее самолюбия, исполненное нежности, прелести и приятности, слово *отечество* заключало все то, что души возбудить и возвысить может. Оно отнимало от смерти жало и от сладострастия победу. Сей прекрасный огнь горел во всех сердцах; все сердца пылали ко своему отечеству. Крепкие в страданиях, бесчувственные к собственным своим бедствиям, и тем усерднейшие ко всеобщему блаженству, ничего другого они не желали, кроме пользы отечества, честь его предпочитали чести своих предков, всеобщее же благо частному; они считали себя довольно благополучными и почтенными, когда республика была почтенна и благополучна. Всякие свои соперничества и вражды отставляли они к стороне, и, буде выгоды отечества того требовали, способствовали они к славе величайших своих сопротивников. Оскорбленные отечеством, забывали они огорчающее неправосудие и пеклись о нем в страданиях, от него претерпеваемых. Они повиновались его странностям, как добросердечный младенец повинуется самонравию прихотливого родителя. Во всех родах немощей бодрствовали они за отечество и собственные свои злоключения от самих себя скрывали. Когда дело шло о всеобщем благе, пред алтарем отечества разрывали они узы доброжелательства, любви и нежности к отцу, к матери, к детям и сродникам. Исторгали они себя от всего того, что могло их удерживать в роскошной праздности, внимали гласу не сродников, но отечества; не звуку страшного оружия, но того благодарности, и всегда не о множестве неприятеля осведомлялись, но о месте, где его найти. Каждый без страха шел туда, где достойные предки его славу и смерть вкусили; каждый соединялся с прочими, составляющими стену окрест безоружных, доволен будучи, если падением своим даст другому случай заступить свое место. Не о мертвых, но о живых слезы были литы.

Ритор Гиперид в пытке откусил себе язык, дабы в лютости страдания, от коего и умер, не сказать Антипатору тайны своего отечества.

Педарет не имел счастия принят быть в число трехсот мужей, пользовавшихся в Спарте знаменитейшим саном; он пошел домой весьма доволен: «Неизреченно радуюсь, — сказал он, — что Спарта имеет триста мужей достойнейших меня».

Пред Марафонскою битвою все афинские полководцы отдали права свои Милфиаду, яко искуснейшему, дабы ради блага отечества оставить на высочайшей чреде того, кто имеет наибольшие достоинства.

Кимон, яко изгнанный из Афин, представился в афинском войске сражаться с лакедемонянами, кои до того были всегда ему друзьями и с коими почитали его в тайном сношении; но неприятели его выходили от совета повеление, запрещающее ему находиться при сражении. Отходя, заклял он друзей доказать его и свою невинность делами. Они облеклись в его оружие, сразились и померли на его месте за отечество.

«В войне не посрамлю себя, не спасу жизни моей постыдным бегом, до последней капли крови сражаться буду за отечество рядом с согражданами или один, если того востребует нужда, служить ему буду во все дни жизни моей; да будут агравлы,[1] Марс и Юпитер моими свидетелями». Таково было клятвенное обещание каждого двадесятилетнего афинского юноши при принятии его в число сограждан.

Фрасивул, освободивший свое отечество от власти тридцати тиранов, по окончании Пелопонисския войны, возопил к своим согражданам сими словами: «Сразимся, как люди, коим победою паки приобретать должно имение свое, семьи свои, отечество свое; поступи каждый особенно так, чтоб своей руке и своей храбрости почитал себя обязанным за сии великие преимущества и за славу победы; блажен будет тот, кто доживет до сей славы и до дня своего избавления; не менее

---

[1] Агравлы был храбрейший в Греции народ. Таинства праздников его Минерве назывались его именем. *(Прим. автора.)*

блажен, кто освободится от уз своих смертию. Славнее всех монументов смерть за отечество».

Лакедемоняне во второй войне с мессинцами часто несчастливы были. Бодрость сего бранного народа упадать начинала, и республика почитала себя близ погибели. Дельфийский оракул сделал лакедемонянам унизительное предложение: в сих опасных обстоятельствах истребовать от афинян мужа, который бы своим советом и проницанием их подкрепить мог. Послали к ним сколько из повиновения, столько и в насмешку стихотворца Тиртея. Со всем тем лакедемоняне приняли его яко дар небесный, но были три раза сряду побиты и в крайнем отчаянии стали снаряжаться к возвращению в Спарту. Тиртей воспротивился всеми силами таковому намерению, трудясь неутомимо упадший дух спартанского войска восстановить патриотическими жаркими песньми, коими он вдохнул во все сердца любовь к отечеству и презрение к смерти. Воспрянула их бодрость; они напали на мессинцев с беснующеюся храбростию и победу одержали.

Эпаминонд лежал на земле, раненный смертно в грудь стрелою; единый жребий оружия его и конец сражения причинили ему беспокойство; но как скоро показали ему щит его и уверили, что фивяне победили, обратился он спокойным и ясным лицом к предстоящим и сказал: «Почитайте, друзья мои, сей день не концом жизни моей, но паче началом моего счастия и совершением славы моея; оставляю отечество победившее, гордую Спарту униженну и Грецию от рабства свобожденну». Тут извлек он железо из раны и умер.

После несчастного сражения при Лавктре пошли спартанские матери, коих сыны в битве убиены, в торжестве и цветами увенчанные во храм благодарить богов за дарование им толь храбрых чад; напротив же того, матери, коих сыны спаслись бегством, сокрылись в глубочайшей печали и в смертном молчании внутри своих домов, стыдясь, что носили в утробе своей детей, кои от неприятеля ушли.

«Прохожий, возвести лакедемонянам, что лежим здесь, исполни наш закон» — сия была надгробная надпись убиенных при Фермопилах, а спартанка, коей

возвестили, что сын ее убит в сражении, отвечала: «Я на то его и родила».

«За отечество и свободу» — любимые слова того народа, который еще не в оковах. Привернаты вели противу римлян долговременные и жестокие войны. Они чрез то приведены были в такую слабость, что принуждены стали бежать и скрыться в своем городе, который консул Плавт немедленно осадил. Привернаты при последнем изнеможении решились отправить в Рим послов с мирными предложениями. Совет спросил сих послов: какого наказания почитают они себя достойными? Такого, ответствовали они, какого заслуживают люди, почитающие себя достойными свободы и сделавшие все возможное к сохранению наследственной своей вольности. «Но если мир, — возразил консул, — окажет вам милость, можем ли мы тогда надеяться, что вы впредь искренно мир сохранять будете?» — «Будем, — сказали послы, — когда мирные условия справедливы, не бесчеловечны и нам будут не постыдны; но если заключим мир позорный, то не надейтесь, чтоб нужда, заставившая нас сего дни на него согласиться, принудила нас наблюдать его завтре». Некоторые из сенаторов нашли сей ответ высокомерным, но все благородно мыслившие похвалили привернатских послов и сделали заключение, что неприятели, в несчастии своем бодрствующие, достойны чести быть римскими гражданами.

Примеры сего рода блистают в истории на вечные образцы для потомства. Они возбуждают во всякой благородной душе непреодолимое чувствие должностей к своему отечеству; а предание сих примеров есть не что иное, как прехождение от рода в род того любочестия, которое в нациях к истинным преимуществам относится.

Итак, прехождением благородного любочестия насаждается во всех сердцах любовь к отечеству. Все сердца к ней удобны; все сердца повлекутся к ее обязательствам волшебною силою сих изображений. Непрестанное воспоминание предков, непрестанное воображение потомства суть попеременно причины и действия сея любви и сего любочестия. Честный человек захочет

лучше умереть, нежели сделать дело, которое по смерти его постыдно было б детям его; напротив же того, ничто не кажется ему так велико, как мысль, что потомки будут о добродетелях его радоваться и им славиться.

Когда же оживлением таковых чувствований образ мыслей нации обретает новое парение, тогда и деяния граждан будут благороднее и сему новому образу мыслей приличнее. Презрен будет тот, который в надежде достигнуть до знаменитого в республике сана ни о чем мужественно, свободно, благородно и правдиво мыслить не дерзает. Правота будет всегда относиться к единому всеобщему благу, как ни считается оная от всех низких душ вероломством, когда не подходит к собственным их выгодам. Все различия состояний потеряют неприятную свою сторону тамо, где существует одна и единственная политическая добродетель, где все соединятся, все под знаменитым именем гражданина предстоять долженствуют. Привязанность к отечеству не будет относиться к одной безызвестности, счастливее ли жить в чужой земле, ибо многие довольны будут одним нужным, чтоб в отечестве остаться. Каждый служить станет своему начальству больше из собственного подвига, нежели из повиновения, больше по любви, нежели по званию. Правление уже не душою многих тел, но душою душ пребудет.

Сии преимущества еще яснее очам представятся, если наоборот докажу я, сколь важно сие возвышение благородного любочестия в немощном состоянии нации.

Благородное любочестие в нации уже истребилось, если преимущества, добродетелию предков приобретенные, пороками внучат теряются. Времена переменились, говорят весьма часто; рассудить же о том не мудрено и не трудно. Всеконечно переменились времена для той нации, которая, гордясь одною крепостию своих членов, при настоящем совершенстве убийственной науки, в одно сражение вся погибла; да и никто, будучи в уме, не сомневается о необходимости новейшей военной науки, но свободнорожденные нации должны не только знать вести войну, но и образ мыслей, иметь душу, а душу на парном месте палкою вколотить невозможно.

В сем намерении премена времян делает весьма нужным предков твердость мыслей. Мужество граждан и ревность к государству, конечно, часто выходят из моды, но никогда оные не бесплодны, ибо силу означают. Итак, когда нация кажется теряет дух свой оттого, что земля ее не напоенна кровию чад ее; когда прекрасный, любовию к свободе воспаленный пламень потух во днях всеобщей оледенелости и праздность избрана уже последним оплотом; когда умы, к нежности и трепету приобыкшие, не имеют больше ни крепости, ни силы; когда безмерное расточение делает нужным злом алчность к обогащению; когда трусость ведет к знатности, а храбрость к несчастию; когда люди, почитающие мужество ненужным, впадают во все роды роскошных чрезвычайностей; когда нет уже и пороков, требующих некоторой крепости и возвышения духа; когда подлая корысть не почитается преступлением и боязливая осторожность момента не есть пятно в политике времени; когда тщеславный трудится только очернить своего совместника клеветами и никогда не стремится сам быть лучше его, — в то время возвышение национального любочестия не вовсе презрительное было бы средство раздуть огнь прежней добродетели и силы лучших лет при последнем их истощении.

Со всем тем тщетны были бы все желания о приращении благородного честолюбия, если в свободной нации находится весьма много таких частных людей, в глазах которых Фокионы кажутся дураками; весьма много таких, кои взирают на героя с высокомерным пожалением, кои не верят, чтоб души когда-нибудь были велики, кои всякую похвалу находят смешною, потому что самим невозможно ничего сделать похвалы достойного, кои грозно нахмуривают чело свое, когда отважные люди при их лице слово *вольность* произносят, кои един из прекраснейших монументов славы еще не зараженной своей нации, в котором геройские предков дела живейшими красками изображаются, в котором любовь к добродетели, единодушию, вольности, религии, отечеству, законам, а ненависть к яду чужих нравов, роскоши, неге и хищению во все сердца врезываются пламенными чертами, старались бы изгнать

из типографии сими неслыханными словами: «Старого навозу разогревать не должно».

Томас аббат, муж великого разума, коего имя не могу произнести не скорбя о возлюбленной его тени, сказал отменно хорошо: примеры патриотов в республиках блистают из их летописей тем светлее, что республики пещись долженствовали, дабы храбрые их мужи от потомства могли приобрести ту награду, которую современники бедны были воздать в полной мере. Посему должности воспоминания, благодарности, подражания на нас наложены в рассуждении предков наших, и мы никак исполнить оные не можем, если равнодушно станем смотреть на доброту и величество их нравов и деяний, если с отвращением на них взирать будем и вовсе оными гордиться перестанем. У греков одно воспоминание о сих великих людях сохраняло честолюбие, бескорыстие и любовь ко всеобщему благу.

Жребий сего столь нужного национального любочестия зависит от жребия любви к отечеству. Бывают случайные обстоятельства, кои любовь к отечеству так согревают, что произрастают тем для государства плоды преизящнейшие; иногда же засушают ее жаром; иногда же так остужают в народе, неспособном уже к вольности, что плоды никак до зрелости не достигают. Бледная рука смерти распростерлась на свободу афинян, когда во дни своей беспечности и бессилия воздвигали они алтари наложницам Димитрия и указом повелели все законы в Афинах царя Димитрия почитать пред богами священными, а пред людьми правыми.

Но бывают времена, когда и тот, кто думал спокойно влачить плуг свой, приемлет в руку меч, когда уже нельзя бывает думать о себе одном; когда вертопрахи, сластолюбцы и тунеядцы не в том упражнены, чтоб от одних женщин к другим переносить хвастовство свое, вероломство и блестящую свою ни к чему годность; когда и те должны привыкать к повиновению, кои только повелевать знают; когда бывает и то хорошо, чтоб из подданных некто имел дух и душу; когда желается, чтоб слова *вольность* и *отечество* из уст каждого сильно раздавались; когда в государстве не почитаются уже презрительными сумасбродами мужи, вос-

поминавшие то время дремоты своей нации, о тех блаженных днях, в кои была она бедна, добродетельна и свободна, в кои поля их деланы были победоносными руками, в кои сошник увит был лаврами; когда именем подозрительных и опасных голов не пятнаются уже те, коим природа дала силу и возвышение и души, к величайшим деланиям удобные; когда не почитают уже врагами отечества тех, кои в юных своих летах от недостатку того из опытов проистекающего опасения, которое называется воздержностию, может быть, сверх приличной меры воспламенялись правилами патриотических добродетелей, кои, может быть, при висящей над главою или издали грозящей опасности отечеству не безгласны оставались, но не встречали случая усердную кровь свою пролить за отечество; когда для приобретения почтения некоторых безумцев перестают уже целую нацию высмеивать из благородного одушевления и добродетельных правил, в тот час как уже войски чужих народов со всех сторон вломились и каждое нападение конечною гибелию угрожает.

Итак, нация никогда чести своей не потеряет, если добродетель ее не изнеможет, а добродетель ее так долго не изнеможет, пока любовь к отечеству дает духу высокое, благородное и свободное парение.

Наконец, к истинным преимуществам относящееся любочестие имеет также и погрешную свою сторону. Один великий северный философ сделал важное и всеедневно доказываемое примечание, что в роде человеческом похвальных свойств найти нельзя без того, чтоб оные, несчетными теньми вырождаясь, не приходили к крайнему несовершенству. Итак, весьма естественно пределам рассудительного и смешного любочестия в некоторых местах сходиться друг с другом.

Недостатки величайших умов проистекают прямо из их любочестия, когда сие любочестие вырождается в суетность. Надмясь ласкательством своих обожателей, сии полубоги, как слабоумнейшие государи, заградили слух свой от истины. Упоясь чувством истинного своего достоинства, не понимают, что сие достоинство не везде годится. Кто повсюду похвалы добивается, тот везде чувствителен бывает, почти везде огорчение ощущает,

напоследок же в целом свете почти одного себя видеть будет и всех людей станет считать своими обожателями или своими завистниками. Но древний писатель сказал изрядно: «Не хочет справедлив быть без хвалы, часто будет справедлив со стыдом и унижением». Напротив того, таинство ухищреннейшей суетности состоит не в чем ином, как в искусстве ставить себя в цену, не казавшись ни тщеславным, ни самим собой плененным. Сего искусства Цицерон не разумел; он навлек на себя ненависть римлян чрез непрестанные похвалы о самом себе и о своих деяниях. Он заставлял всех говорить о себе и огорчал своих слушателей, ибо казалось из слов его, что он один всё, а все другие ничто.

Любочестие всегда бывает не у места, если не приобретает оно почтения. Всеминутно видим, что человек повсеместно гордый не может никогда истинным гордиться превосходством; ибо гордостию своею всех оскорбляет, повсюду делается смешным и презрительным и по тех пор самохвальствует, пока не поднимет всех к ненависти и к язвительным насмешкам; ибо презрение, коим отмщают, гораздо сильнее того, за которое отмщают. Удивленный своим возвышением, такой человек хочет вогнать в других к себе то почтение, которым сам наполнен. Привыкает унижать вольных людей ниже конюхов своих, думает, что под ним, над ним и около его одна чернь. Но человековедец первыя степени, писатель комических романов Стерн, в одном из поучительнейших своих сочинений сказал, что одною язвительною насмешкою фортуны считать надобно, когда она в веселом своем духе надувает бедняка и вдруг сколь можно высоко его поднимает, ибо фортуна наперед уже знает, что он до тех пор проказить и умничать будет, пока всякий удостоверится, что он один дурак во всей комедии.

Нет в свете ничего совершенного: добродетель имеет свои уязвимые места, солнце свои пятны, и самая на единую благодать уповающая постница ощущает иногда соблазны сладострастия. Не должно судить так называемых великих людей по их писаниям или беседам, но должно смотреть их деяния. Кто узнать их хощет, тому надобно рассматривать их жизнь, обхож-

дение с роднею и с домашними. Престарелый и нахмурившийся Катон имел девку, как потом Марк Антонин и некоторые из нынешних философов, мне знакомых. Величайшие мужи соединены всегда своими слабостьми с прочими людьми. Мало из них столь честных, как Антигон, который льстецам своим, нарекшим его божеством и сыном солнцевым, сказал: «Спросите о том того, кто выносит мое судно».

Величайшие свойства становятся ненавистны, когда сопровождаются высокомерием и с презрением к другим являются. Презрением в горделивом бывает тот поступок, с которым он без всякой пощады изъявляет чувство свое к истинной или к воображаемой низкости другого. Презрением в любочестивом бывает чувство к истинной низкости другого, которое изъявляет он тамо, где изъявить должно, и сокрывает там, где скрыть надобно. Сие чувство для души благороднейшей непреоборимо, во существе же своем и всегда справедливо, ибо никто кошку слоном, ни муху горою почитать не может, но было бы оскорбительно оно в своих оказательствах, если б изъявлялось тамо, где не должно.

Благородное почитание самого себя вырождается иногда в высокомерие. Суеверным безумством называется то, которое безмерною надменностию и упованием на самого себя попускает приближаться к естеству небесному и чудным полетом возвышаться над обыкновенным и предписанным порядком. Весьма сожалеть должно, что иногда так называемые великие моралисты воспаряют к сей безумной надменности, должности не развешивают с способами, когда в восторге своем не понимают, что требуют невозможного и что к добродетели уменьшают доверенность, выдавая сумасбродства свои за добродетель и уча людей развращенно.

В целых нациях истинное любочестие имеет также свою погрешающую сторону. Ни одна не может быть беспредельно любочестива; великие добродетели идут рядом с великими погрешностями, каждое благо с своим злом, каждое преимущество с своими неудобствами. Показать сие нации с истинным чистосердечием не есть преступление. Мой истинный друг Изелин, философ,

внимания достойный, в предисловии своем к прекрасной, но весьма краткой истории гельветических добродетелей сказал, что каждая нация должна обещать награждение тому, кто яснейшим образом представит ей пороки в ее установлениях и нравах и заблуждения предков ее.

Часто гордятся истинными преимуществами, за которые не самим себе обязаны. Холодный и теплый климат, тяжелый и легкий воздух, свойство земли, воды и ветра, образ жизни и обычаи толь очевидно действуют над способностями целых наций, что они весьма малое что в оном самим себе приписывать могут. Честный человек может гордиться своею добродетелию, ибо она ему принадлежит, но почто ж гордиться разумом, когда у премудрейшего человека испорченный желудок или от ветров раздутая кишка погашает душу божественного света.

Редко рассматриваем мы, сколь мало честь наша нам принадлежит. Мало людей столь честных, как Антиох Сотер, который под знамениями побед своих плакал, понимая, что за победу над галатами обязан он ужасу, от слонов наведенному, и для того на поле сражения не себе, но слонам велел воздвигнуть монументы.

Из национального любочестия, также благородного, проистекают и ужасные пороки. Дикий канадец крайне горд, чувствует всю цену вольности и в самом воспитании своем не терпит ничего такого, что б низкую подчиненность ощутить его заставляло; но великодушное прощение обиды, яко добродетель, совсем ему неизвестна и презирается от него как подлейшая трусость. Храбрость есть величайшее его достоинство, а мщение сладчайшее чувство.

Самая любовь к отечеству требует иногда обуздания, так же как иногда побуждения, а посему некто весьма изрядно сказал, что законодатели древних республик пеклися больше любовь к отечеству в народ вселять, оную распространять и укреплять, нежели найти пределы, поставляемые ей рассудком, или, паче сказать, образ, коим рассудок любовь к отечеству смягчать и ею управлять долженствует.

Греки в наилучшие времена свои почитали любовь к отечеству знаменитейшею гражданскою добродетелию. Без сумнения, тем всеобщим благожеланием, которое все люди от нас требуют, обязаны мы в вышнем степени отцу, жене и детям. Тою же любовию, которая на всех людей распространиться долженствует, должны мы в большей мере отечеству; вот истинный театр нашей деятельности, вот место, назначенное нам провидением к исполнению каждого гражданского обязательства. Но сие ограничение, сия стесненность любви нашей нередко делает нас нежалостными, неправосудными, а часто и лютыми к людям, подвластным одному с нами государю. Несмотря на долг любить всех людей, любим мы европейцев больше африканцев, одноземцев больше чужестранных и самых сограждан наших больше, нежели живущих с нами под единым правлением. При сей постепенной убавке всеобщего человеколюбия обыкаем мало-помалу ненавидеть все то, что с нами собственною нашею пользою особливо не связано, а наконец и теснейшие обязательства совершенно разрушаем: ясное доказательство человеконенавистного в груди людской яда. Я знаю европейский город, управляющий большою и прекрасною землею и делающий ее благополучие, но в котором исключительная любовь к мещанам сего города в слабых головах такою бешеною страстию сделалась, что отъемлют они всякое ободрение от граждан всех своих прочих городов, исключают их от всякого награждения и почести и в часы безумия своего сердечно б рады были всех их потопить, если бы то от них зависело.

Чем больше человек привязан к особенным выгодам своего отечества, тем меньше становится он гражданином света, тем меньше другом человеческого рода. Таковые патриоты поступают вообще с чужестранными весьма грубо, ибо они в глазах их чужестранцы, следственно ничто. Иудеи Ветхого завета столь привязаны были к своему отечеству, что должностей человека к чужестранным совсем не исполняли. Греки презирали всех чужестранных, как варваров, и почитали их определенными себе рабами, потому что натура дала им меньше храбрости и разума; добродетельные спар-

тане были в рассуждении чужестранных корыстолюбивы и неправосудны. Японец, оказавший малейшее уважение или дружбу к голландцам, почитается от всех японцев бесчестным человеком, врагом отечества за то, что любит оное не с исключением всех других людей; они малейшую ласку к чужестранным ставят за дело, противное выгодам Японии, благоизволению императора, всех богов и гласу своей совести. Такова по большей части политика торгующих народов, кои с сей стороны, кажется, никого, кроме себя, не любят, вступают в союзы с варварами Средиземного моря, дабы сии слабейших их соседов разоряли, сами же для малого в торговле прибытка сносят терпеливо величайшие от варваров обиды, приводящие в трепет человечество.

Со всем тем, в наши времена не для чего много страшиться худых следствий патриотизма. Правда, знаю мужей, кои хотят всеобщего и особенного блага своего отечества, кои при каждом шаге к нему стремятся, должности свои по степеням разделяют, из оных прежде исполняют существеннейшие и для отечества полезнейшие; которых правота не колеблется, когда они от слабых друзей оставлены бывают, когда враги их усиливаются или когда грозного судии оком взирают на них оклеветатели их правил; кои ради своих выгод или по своим заблуждениям ни на час от исполнения должностей своих не отступают; кои душу свою почитают пламенем, подвигом существа своего возвышающимся, а потому и никогда не упадающим, коих никакой отказ не вытесняет из благородного их течения; кои никогда вспять не обращаются, никогда из любви к покою не устают бесполезно, но честно сражаются с невежеством и повреждением людским; кои, одним словом, любят свое отечество с сыновнею горячностию, прощают ему ошибки и лучше хотят тысячу раз умереть, нежели помыслить однажды за непочтение заслуг их от отечества служить ему с меньшею ревностию; но гораздо многочисленнейшею кажется мне явная толпа антипатриотов, гораздо больше число тех, кои присягою и драгоценнейшими должностями своими по большей части для того тщеславятся, что почести, чины, алчность и

корысть составляют первый и последний предмет всех их деяний. Один превозносит любовь свою к отечеству, но, со всем тем, кроме себя, ничего не любит. Другой при всех явных случаях гремит о благе отечества, но под рукою хитрый сей бездельник ежегодно подставляет свою шляпу под чужое золото. Если иногда подъемлется свеща патриотизма, то по большей части падают искры на персты патриотов. Буде иногда патриотизм кажется во всех головах воспламененным, то, однако, прекрасный сей пламень есть не больше, как от временной моды зависящий образ мыслей безрассудной молодости. Цирикские студенты ездят ныне за патриотизмом, как прежде езжали за умом.

Итак, основательное национальное любочестие имеет весьма знаменитые преимущества и вредности, от сих преимуществ проистекающие; добродетели и пороки часто одинакими подвигами в движение приводятся; философ оные открыть, а законодатель ими воспользоваться должен. Любочестие есть семя толь многих дарований и добродетелей, что не об истреблении, но об обращении его во благое помышлять надлежит. Бесчувственный пень из человека б вышел, если б все то ему запретить, что с пути совратить его может. Отнялся бы смысл у целых наций, когда б, ради отвращения больше особенных, нежели всеобщих неудобств, стали чувствами повелевать, а не возбуждать оные. Свою терзать утробу, если, вместо обращения погрешностей к общему благу, вместо управления людьми помощию их страстей и вместо употребления их слабостей к их же исправлению, истреблять правила, оживотворяющие целую нацию к великим деяниям.

МНЕНИЕ О ИЗБРАНИИ ПИЕС В «МОСКОВСКИЕ СОЧИНЕНИЯ»

Для предупреждения тех злоупотреблений, которые обыкновенно во всяких добрых делах случаются, следовательно и с «Московскими сочинениями» случиться могут, надлежит, мне кажется, постановить такое в рассуждении их учреждение, которое бы никогда не нарушаемо было от тех, кто для пользы общества желает проводить время с такою приятностию, каковую подают словесные науки всем упражняющимся в оных. Нет в том сомнения, чтоб не сошлись в оном учреждении все те, которые приняли намерение составить малое сообщество издавать «Московские сочинения». Остается только положить единожды сие учреждение, которое может состоять в следующем:

1. Не принимать никаких переводов, тем менее дурных, ибо в противном случае «Московские сочинения» наполнены будут, как и «Ежемесячные» в Пет[ербурге], такими переводами, которых и сам переводчик, не говоря о читателе, разуметь не может. Сверх того, общество, издавая сии книги, желает стараться о чистоте российского языка, которая, как и всех языков на свете, видна бывает по большей части в сочинениях. Оно желает стараться показать чистоту языка и в стихах, которых переводить почти невозможно, для той разности, которую языки в свойстве своем имеют; сверх

того, доказывается то самым опытом, что с стихов стихами переводить не можно, разве только подражать.

2. Трагедий и комедий не принимать, ибо оные называются уже большими сочинениями, а «Московские» состоять будут в малых.

3. Все сии сочинения должны надлежать к словесным, а не другим наукам, ибо для прочих учреждены другие собрания.

4. Отсутствующие, как и присутствующие, обязаны каждый месяц давать по листу стихами и по листу прозою. Первые пересылать, а другие отдавать могут тому, который избран будет стараться о напечатании.

5. Как всякое общество утверждается на единодушии тех, кои оное составляют, то все пиесы должны быть читаны собранием; [защищать] каждый не только может, но и должен сказать свое мнение как о всей пиесе вообще, так и порознь о примечаемых им погрешностях. Сей есть один способ очистить российский язык от тех погрешностей, которые видны во многих сочинениях и в толиком множестве несносных переводов, от коих язык российский страждет. Чужестранные авторы, прославленные во всем свете, теряют в отечестве нашем свою славу, и читатели заражаются дурным вкусом.

ПИСЬМА
И
ДНЕВНИКИ



I. ПИСЬМА ИЗ ПЕРВОГО ЗАГРАНИЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
(1762—1763)

К М. И. ВОРОНЦОВУ

Митава, 29 декабря 1762.

Сиятельнейший граф, милостивый государь!

Имею честь донести вашему сиятельству, что 29 декабря приехал я в Митаву благополучно и с глубочайшим почтением пребываю вашего сиятельства нижайший слуга...

К А. М. ГОЛИЦЫНУ

Гамбург, 14/25 генваря 1763.

Милостивый государь!

Вашему сиятельству имею честь всенижайше донести, что 12/23 сего генваря приехал я в Гамбург благополучно. Милостивое о мне письмо вашего сиятельства его высокоблагородию Алексею Семеновичу Мусину-Пушкину я имел счастье вручить и принимаю смелость принести за оное вашему сиятельству всенижайшую благодарность. Я почитаю за главное себе счастье быть в числе обязанных сердец милостию вашего сиятельства. Должность моя и искреннее усердие состоит в том, чтоб быть вашего сиятельства нижайшим слугою...

II. ПИСЬМА ИЗ ПЕТЕРБУРГА И МОСКВЫ
(1763—1774)

К РОДНЫМ

1

À ma soeur. Ce 10 Août [1763].[1]

Полученное от 4 августа письмецо служило мне к великому неудовольствию и огорчению. С чего вы вздумали обвинять меня политикою, которую я ненавижу? С чего уверяете меня о своей искренности, подозревая меня в моей? Боже мой! Вот то, чего б я никогда не думал! Я очень рад принимать от вас наставления, зная, что они идут от такого человека, которого я люблю больше как себя. Не думай, чтоб это только перо писало: истинно, сердце водит пером моим; да мне кажется, и посыланные потом уже к тебе письма довольно доказали.

Я не лгу, что здесь знакомства еще не сделал. С кадетским корпусом не очень обхожусь затем, что там большая часть солдаты, а с академией затем, что там большая часть педанты; однако с последними я почти и никак не знаком; вот что меня оправдает. Да сверх того, слово *знакомство,* может быть, вы не так разумеете. Я хочу, чтоб оное было основанием ou de l'amitié, ou de l'amour;[2] однако этого желания, по несчастию, не достигаю и ниже тени к исполнению

[1] Моей сестре. Августа 10-го дня *(франц.).*
[2] Либо дружбы, либо любви *(франц.).*

не имею. Рассуди, не скучно ль так жить тому, кто имеет чувствительное сердце!

Dans ma dernière lettre j'ai vous écris que j'ai déjà fait la connaissance avec la maison Pugowichnicoff.[1] Но я намерен совсем ныне то оставить, потому что обстоятельства не сходятся, чему я и рад; а то бы могло иметь, может быть, неполезное для меня следствие.

Я намерен все то, что здесь ни вижу, ни предпринимаю, и, одним словом, о всем, что я ни чувствую, к тебе писать. Вот знак моей искренности и нелицемерства.

Во-первых, я сказываю тебе, что до сих пор не найду еще я предмета, который бы меня интересовал; а это самое делает то, что не найду здесь никакого и удовольствия. Без того-то жизнь скучна, а скуку возобновляет воспоминание, что я разлучен с моими ближними и с тобою, любезная сестрица. Я знаю, что ты мне друг, и, может быть, одного я и иметь буду, которого бы я столь много любил и почитал. Истинно, я бы показал тебе, что я теперь чувствую; в сию минуту чувствую я то, что́ горячность и сердечная нежность произвесть может. Если мысли твои со мною одинаки, то пиши ко мне тоже, уверяй меня, что я не ошибаюсь, и храни то, что я навек хранить буду.

Теперь, переменя материю, которую всю жизнь мою продолжать готов, хочу написать я то, что со мною случилося.

В субботу не ходил я в коллегию затем, что чирей сделался на щеке. Князь Ф. А. Козловский ко мне тогда приехал и, несмотря на то, возил меня в академию, где я купил Скаррона, которого на сих днях к тебе перешлю. Не знаю, каков тебе покажется, а Скаррон почитается преславным шутом. Князь у меня обедал и после обеда возил меня к Михаилу Васильевичу Приклонскому. Он и жена его безмерно меня обласкали, и мы все ездили прогуливаться в Екатерингоф, а оттуда приехав, ужинали у Михаила Васильевича.

---

[1] В моем последнем письме я вам писал, что уже познакомился с семьей Пуговишникова *(франц.)*.

Сегодня был у князя А. М.,[1] однако не застал. В восьмом часу выехал, верно прогуливаться. Оттуда проехал обедать к Николаю Захарьевичу. От него был у князя Ф. А. и потом в кадетском саду. Народу было великое множество. Его высочество сам присутствовать изволил. Теперь 10-й час. Я из сада приехал и, получа через коллегию от вас письма, сим ответствую, а завтра отдам Дедекину для пересылки.

Комиссии ваши все исправлять я с радостью готов. Только «Путь тирана», я думаю, не пойдет. Здесь еще гаже московского. «Карита»[2] и теперь еще не подписана. Все переходит из рук в руки членов кадетского корпуса для подписания.

P. S. Я чуть было не забыл спросить тебя: видела ль ты Петра Панкратьевича[3] в анненской ленте, которая ему отсюда послана?

Государыня вчера и сегодня не изволила быть в городе, а в Стрелине мызе, и для того сегодня ни по утру съезда, ни куртага не было.

О брате доношу, что он вчера пошел на караул и пробудет до вторника. Завтра с ним увижуся; а он здоров и по немецкой почте писать будет.

Я удивляюся, что ты мне о Москве ничего не пишешь. Из посторонних уже писем вижу я, что там ныне ездят верхом прекрасные амазонки, которые гораздо опаснее скифских: те оружием, а московские взорами делают пленников.

Из других же писем знаю, что у вас были такие же дожди, как и у нас, и что август начался изрядно. Следовательно, в саду и на горах гульбища возобновятся, о которых прошу отписать, исполняя данное вами мне слово — уведомлять меня о всем.

Je vous embrasse, ma chère soeur! Adieu. Ne montrez-vous pas mes lettres à mes parents.[4]

---

[1] А. М. Голицын.

[2] Роман Бартелеми.

[3] П. П. Сумароков.

[4] Обнимаю вас, моя дорогая сестра! Прощайте. Не показывайте мои письма родителям *(франц.)*.

Сестрице Анне Ивановне[1] покорно благодарствую за приписание, да и всем братцам и сестрицам прошу сказать поклон.

NB. Мы топим поварню щепками. Так, кажется, дворецкий их на счет не поставит.

2

14 августа 1763.

Милостивый государь батюшка Иван Андреевич и милостивая государыня матушка Катерина Васильевна.

От 7 августа милостивое письмо ваше я получил и при отправленном от вас на ямской почте к князю А. М.[2] приложенное письмо вчерась же еще отдал, а братец графу еще не отдавал. Вчера в 5-м часу пошел он на ученье. Там обедал у дядюшки Николая Алексеевича и ночевал, затем что сегодня строй у них рано будет. Итак, я не думаю, чтоб он сегодня мог к вам приписать; однако как он, так и я, слава богу, здоровы. Ежели же приедет с ученья рано и до отправления моего письма по почте, то и он, конечно, писать будет.

Хотя, может быть, вы, приехав из Денежникова, писать к нам и не изволили, однако я пошлю отыскивать. Мне истинно только те дни и милы, когда приходит сюда из Москвы почта; да и я, кажется, ни одной почты не пропускал писать к вам, так, как вы приказывать изволили.

Анна Ивановна Приклонская приказала вам, матушка, и сестрице написать свое почтение. Я к ним часто езжу, и они меня очень ласкают.

Затем, прося родительского благословения, остаюсь всепокорнейший сын ваш...

Милостивой государыне тетушке Анне Васильевне мое почтение и братцу поклон.

---

[1] А. И. Фонвизина.

[2] А. М. Голицын.

Милостивому государю дядюшке Матвею Васильевичу и милостивой государыне тетушке Анне Ивановне засвидетельствую нижайшее почтение. Государыням моим сестрицам и братцу приношу покорнейший поклон.

Милостивому государю моему князю Михаилу Михайловичу[1] и милостивой государыне моей сестрице княгине Анне Александровне[2] усердное почтение засвидетельствую. Государю моему князю Дмитрию Михайловичу[3] и государыне моей княжне Катерине Михайловне[4] приношу нижайший поклон.

3

8 сентября 1763.

Милостивый государь батюшка Иван Андреевич и милостивая государыня матушка Катерина Васильевна.

От 28 августа и 1 сентября милостивые ваши письма мы вчера получили, также и письма для вручения сенаторам с записочками, кои я, как скоро штаты конфирмуются, конечно подам, потому что ранее, мне кажется, было б бесполезно.

Что же в Москве слышно, будто штаты уже апробованы, то действительно неправда. Здесь об этом лучше знать можно, и хотя все скоро того ожидают, однако, когда точно конфирмуются, неизвестно. А Михаил Васильевич[5] все то, о чем я его просить буду, конечно, сделать не отречется.

От 28 числа по почте отправленного письма мы отыскать не могли. Посылал Ваньку и реестр читали, только ко мне нет. А Яшка был на этих днях очень болен, в прежестоком жару. Я призывал лекаря и пускал ему кровь; теперь, слава богу, легче. Да и

---

[1] М. М. Голицын.
[2] А. А. Голицына.
[3] Д. М. Голицын.
[4] Е. М. Голицына.
[5] М. В. Приклонский.

Митька часто болен. Истинно, иногда не знаю, что делать.

Сегодня хотя праздник, однако здесь в коллегии полное собрание, и я принужден остаться здесь очень долго. Дожидаюсь выезда министров, а между тем, написал к вам сие письмо.

В прочем остаюсь, прося родительского благословения, всепокорнейший сын ваш...

P. S. Василий Алексеевич Кар приказал вам написать почтение. Он не больше пробудет здесь десяти суток.

P. S. Милостивой государыне тетушке Анне Васильевне приношу мое почтение и с днем ангела поздравляю, и братцу поклон.

P. S. Милостивому государю дядюшке Матвею Васильевичу и милостивой государыне тетушке Анне Ивановне засвидетельствую нижайшее почтение. Государыням моим сестрицам и братцу приношу покорнейший поклон.

4

18 сентября 1763.

Милостивый государь батюшка Иван Андреевич и милостивая государыня матушка Катерина Васильевна.

Почта и теперь еще не бывала, а по ямской почте, также и по немецкой, маленькое третьего дня получили. Алексей Никитич напрасно сказал вам, что я худ. Мне кажется, я все таков же, как и был. Правда, хотя здесь кажется мне и скучнее московского, однако поневоле привыкаю и большую часть времени провождаю в коллегии.

Мы оба, слава богу, здоровы. Сегодня был я у князя А. М.,[1] а от него послан был во дворец к К. И. Шарогородской и теперь только приехал в коллегию.

---

[1] А. М. Голицын.

Затем, прося родительского благословения, остаюсь всепокорнейший сын ваш...

Милостивой государыне тетушке Анне Васильевне мое почтение и братцу поклон.

Милостивому государю дядюшке Матвею Васильевичу и милостивой государыне тетушке Анне Ивановне засвидетельствую нижайшее почтение. Государыням моим сестрицам и братцу приношу покорнейший поклон.

Милостивому государю моему князю Михаилу Михайловичу и милостивой государыне моей сестрице княгине Анне Александровне усердное почтение засвидетельствую. Государю моему князю Дмитрию Михайловичу и государыне моей княжне Катерине Михайловне приношу нижайший поклон.

5

4 декабря [1763]

Вчера я был на куртаге и, не знаю что, стало так мне грустно, что я, не дождавшись конца, уехал и принялся к тебе писать ответ на твои пени. Я его при сем прилагаю. Прочтя его, ты увидишь, каков я был вчера действительно. Мне вы все из мыслей не выходили.

Правда, полученное мною письмо меня огорчило, а может быть, и ты сжалишься, читав то, которое я к тебе теперь посылаю. Пиши, каково оно тебе кажется.

Во вторник был я у И. П.[1] на час, а дело дано мне было на дом. Обедал у меня князь Ф. А.,[2] а после обеда приехал князь Вяземский, Dmitrewski avec sa femme et une autre actrice,[3] и, посидев, поехали все во французскую комедию.

В понедельник обедал дома, а ввечеру до 4 heure j'étais au bal masqué chez Locat...[4]

---

[1] И. П. Елагин.

[2] Ф. А. Козловский.

[3] Дмитревский со своей женой и еще какой-то актрисой *(франц.)*.

[4] До 4-х часов я был на маскараде у Локат[елли] *(франц.)*.

Вчера был я поутру у И. П., обедал дома, а после обеда был у князя А. С. Козловского. От него на куртаг, а с куртага приехал домой смущен.

И. М. поехал сегодня в Москву. Я отпустил с ним 60 экземпл. «Кариты». Пожалуй, матушка, пошли на Спасский мост, к переплетчикам, по рядам, в академическую лавку, и продавай если все, то хотя б и за 20 руб., а порознь по 40 коп. Деньги как наискорее, бога ради, присылай.

Ежели все продадутся и покупают охотно, я еще пришлю сколько надобно, хотя до пятисот; а здесь продаю я у переплетчика по полтине.

Зван я сегодня к Бакунину, не знаю удастся ли.

Во вторник, думаю, пошлю «Сифа» III часть. Я чаю, Вевер бранит меня без милосердия.

Я здоров, ничего не думайте; а в субботу зван обедать к графу Ф. Г. Орлову, и едем также кататься в Царское Село. Только вы меня очень застращали. Может быть, и откажу.

К Маркову запечатай и пошли. Приложенное в университет пошли.

Прости, сестрица. Пиши и ко мне так же, как я к тебе, то есть много. Adieu.

Сестрице Анне Ивановне почтение.

6

От 13 декабря [1763].

От 8 декабря сегодня получил и отвечаю тебе, сидя на постели и поставя перед себя картон; только это очень неловко.

Просьбы твои, извинения и, одним словом, все твое письмо почитаю истинным знаком твоего ко мне дружества. Напрасно думаешь ты, чтоб я когда-нибудь от тебя мог что-нибудь скрыть; а тебя прошу действительно быть сколько-нибудь скромнее; например, ты рассказала всем, что был у меня Дмитревский с женой; а батюшка изволит писать, что это предосудительно, хотя, напротив того, нет ничего невиннее,

а и я к тебе только для того то писал, чтоб и вздора от тебя не скрывать. Я, получа то письмо, и действительно о таких мелочах не хотел к тебе врать, равно как и о подобных простудах, о которой мне к вам наболтать удалось. Однако теперь, получа от тебя дозволение и уверение, что тебе ведать все мои обстоятельства приятно, я, конечно, обо всем писать даю слово.

Сатир писать не буду; пожалуй, будь в том уверена, что я человек, не хвастая могу сказать, резонабельный. Ты меня привела в резон, и я сделал жертвоприношение Аполлону, сожегши ту в печи.

Теперь шутить мыслей нет. Лишь только прочитал новую трагедию французскую «Троянки». Слезы еще и теперь видны на глазах моих. Гекуба, лишающаяся детей своих, возмутила дух мой. Поликсена, ее дочь, умирая на гробе Ахиллесовом, поразила жалостию сердце мое; а отчаяние Кассандры извлекло неволею из глаз моих слезы. Однако плюнем на них. Стихотворец подобен попу, которому, живучи на погосте, не всех оплакать. Я сам горю желанием писать трагедию, и рукой моей погибнут по крайней мере с полдюжины героев, а если рассержусь, то и ни одного живого человека на театре не оставлю.

Во вторник [и] в середу все дни пробыл у И. П. — Дело было очень велико.

В четверг я писал к тебе мало и послал две оды, а вместо третьей (которую теперь посылаю) не знаю что-то положил; пожалуй, отпиши ко мне. Я тогда спешил, да и сидели у меня Вяземский и Аргамаков; а потом поехал к М. В. Приклонскому; у него ужинали, а после ужина был au bal masqué chez Locatel...[1]

В пятницу, то есть вчера, был весь день дома, а от скуки сидели у меня князь Ф. А. Козловский да Dmitrewskoi.

Сегодня весь день дома и только провел день с Аргамаковым. Он любезный человек, а служит в кон-

[1] На маскараде у Локател[и] *(франц.)*.

ной гвардии офицером. — Теперь прочел трагедию и пишу сие, а завтра продолжать буду.

С Sumar. за что пораздорил — писать не стоит. Одна бестия, une fille d'un musicien,[1] меня с ним поссорила. Elle a lui raconté une petite histoire entre sa fille et moi,[2] чего истинно не было; однако он, как человек сам безумный, дуре поверил; только и та от меня не увернется. Вот я сколь чистосердечен и этот вздор от тебя не утаил.

Еще вас прошу верить, что я истинно всегда здоров. Дай бог, чтоб я только скорей с вами увиделся. Ах, сестрица! я б семь десяток жизней за то отдал.

Жду обоза. Жду Корнелия. Жалею, что ты, не прочтя его сама, ко мне посылаешь. О «Карите» постарайся. Adieu.

Спать пора.

Завтра будет «Синав» при дворе.

От 14 декабря [1763].

Я лишь сей минуты приехал из трагедии. Представлена была прекрасно; а малая комедия была «Слепой зрячий».

Поутру был я у князя А. М. Он посылал меня за делом к Н. И. Панину и к Шарогородской. Обедал у И. П.; от него был у М. В. Приклонского; оттуда в трагедию.

Я и забыл, что на прошлой почте не писал я к тебе журнала до четверга. В понедельник обедал у И. П. Дела было, однако, не очень, так что после обеда мог я уехать к Dmitrew. и от него au bal masqué chez Locat...[3] Во вторник в 5 часов прислал по меня И. П. курьера, и так я у него пробыл весь день за делом. Оттуда проехали в русскую комедию, а из комедии был у Рубановского. У него дочь именинница. В середу весь день у И. П.

---

[1] Дочь какого-то музыканта *(франц.)*.

[2] Она ему рассказала одну историю обо мне и его дочери *(франц.)*.

[3] На маскарад к Локат[елли] *(франц.)*.

Третьего дня И. П. занемог чрезмерно и два раза кровь пускал. Завтра у него весь день буду. К тому же, и дела много.

Впрочем, ныне упражняются в чтении «Деидамии», трагедии гос. Тредиаковского. Нет ничего ее смешнее. С радостью б списал и к тебе прислал, только очень велика. Вообрази себе Ахиллеса, который в его трагедии в женском платье. А стихи ужасно как странны и смешны. Adieu. Спать хочу.

Слабеют мысли все, объемлет чувства сон.
Ты знаешь ли, кого на мысль представит он?
Представит ту он мне, кого люблю сердечно, —
Тебя представит он; я знаю то, конечно.
О сон! приятный сон! Прелестные мечты!
Но, ах! и на яви нейдешь из мыслей ты!

Поздравь от меня Настасью Васильевну в день ее ангела и засвидетельствуй ей и сестрицам ее нижайшее мое почтение.

7

À ma soeur.

[За твое] письмо покорно благодарствую, а для ответов вперед посылаю к тебе почтовой бумажки. Извини меня, что я не прислал к тебе экземпляр «Альзиры» ныне. — Третьего дня после обеда был я у графа Г. Г. Орлова и вручил ему один. Он меня весьма благодарил. Тут же случился и граф Федор Григорьевич, которому я другой экземпляр принужден был отдать. На ямской же почте, конечно, и к тебе, матушка, пришлю.

Вчера обедал у меня князь Ф. А. Козловский, и после обеда поехали мы с ним в аукцион. Там видел я графа Г. Г. Он уже трагедию прочел и отозвался так, что я весьма имею причину почитать себя довольным. После того ужинали у меня Козловский, Глебов и Аргамаков. Итак, вечер проводил весело.

Сегодня поеду к Козловским. Оттуда в спектакль. Всверу вели сказать, матушка, что...

[Окончания нет.]

8

Поздравляю вас с разговеньем, а у нас за грехи [...] продолжается.

Та[ба]керка цела [...] «Кариты» напечатал я 1200 [...] В четверг я мало к тебе писал, затем [что] сил не было; а во вторник писал по ямской и послал тебе письмо, которое потеряли.

В пятницу был у И. П., а после обеда chez Dmitrewski.[1] Вчера обедал у князя Ф. А. Козловского. Его рожденье было. А в 4-м часу на пробе италианской оперы.

Сегодня был у князя А. М., у И. П. и теперь, докончав «Сифа», сел сие писать нарочно с вечера, а завтра, ежели что примечательно случится, напишу.

Все те письма, кои я от тебя получал, писаны так хорошо, что я всегда их беру примером красноречия. Проза твоя такова, что я ни с какой не сравниваю. Некоторые письма казал я князю Ф. А. Козловскому. Он изумляется. А стихи твои прочту ему завтра. Они того стоят, чтоб показать трем особам, которых я люблю, а именно: А. И. Приклонск., князю Ф. А. Козловск. и еще Василью Алексеевичу Аргамакову, которого дружбою я очень доволен.

Он едет в Москву. Пожалуйте, примите его так, как [...] Он в Москве будет чужестранцем; не имеет [...] *человек* такой, который имеет просвещенный *разум* [...] Я говорю это без лести. — Признаюсь, что я дивился и *не предполагал* никогда, чтоб в состоянии ты была написать так хорошо [...] что я так чистосердечен. Только как можно ожидать [...] было стихов таких, каковы я получил? Продолжай, сестрица, ты будешь великий человек. Мне чрезвычайно жаль, что

---

[1] У Дмитревского *(франц.)*.

заочно неловко тебе советовать. Только со всем тем, ради бога, не покидай снова, что с таким успехом начато. Пиши стихи чаще; присылай ко мне; делай эклоги, элегии. Если только можешь, переводи: ты имеешь довольно сочинителей; а я что получу, о том тебе истинное письмо писать буду, и где мне хорошо и где неисправно казаться будет, верно скажу; а чтоб то начать, то дозволь мне с тонкостью сказать мое мнение о твоем письме.

Мысли прекрасны, изображение очень хорошо и непринужденно, и версификация везде почти чиста; только вперед остерегаться надобно, чтоб рифмы не все были глаголы, а иногда имена, наречия и проч.

Я ныне «Сифа» III часть окончил. Хочу писать что-нибудь стихами, и первая ты их иметь будешь. С стрелинским Кузькой послал я 300 книг «Кариты». Хорошо, если б по 30 коп. их продать удалось, а по крайней мере по 25 коп. Мне все барыш. А ежели все продадутся, то Маркову 10 руб. отдай, а достальные ко мне как возможно скорее пересылай. Здесь деньги редки.

Обнова мне очень нужна. Так ст[...] показаться никуда не можно. А в [...] рассуждении полагаюсь. Ты знаешь [...] я порядочно ходить люблю.

9

28 января 1764.

[Сестрице.]

Завтра выедет отсюда В. А. Аргамаков, и я вздумал с ним написать к тебе побольше и на полученное сегодня от 22 января ответствовать.

О всех моих обстоятельствах сведать точно можешь от того, кто отдаст тебе письмо сие. Четыре месяца был он свидетелем моей жизни и принимал участие во всем, что со мною ни случалось. Склонности и сходство нравов соединили нас так много, что произошло оттуда истинное дружество. Рассуди из того, что он и от вас должен быть так принят, как мой друг. Не оставьте его во всем том, о чем он вас просить бу-

дет. Он в Москве чужестранец, так, как я здесь, и если будет он иметь на первый случай нужду занимать деньги, пожалуй попроси от меня батюшку, чтоб он в таком случае его не оставил и рекомендовал бы его тем, у кого есть деньги. Четыреста душ, которые он имеет, кажется кредит ему сделать могут.

Впрочем, красноречивое твое увещание меня утешило. Ты имеешь великий дар увещевать других, и я стал сам оттого веселее. Со всем тем напрасно думаешь, что жизнь твоя хуже моей. Я того понять не могу: веселья у вас гораздо приятнее, нежели здесь, и наши, поверь, стоят не меньше ваших. Здесь деньги на одном месте сидеть не любят.

Не опасайся неудачи писать стихи. Можно ль, чтоб ты написала худо! А я оставил намерение послать теперь то, что я делал. Боюсь опять выговоров; только истинно, кажется бы, не за что. Если любопытна, то спроси В. А. Аргамакова: он знает все то, что я писал и что теперь делаю.

Сегодня при дворе маскарад, и я в своей домине туда же поплетусь. Теперь уже темно и писать почти нельзя. Завтра продолжать буду... Однако и теперь можно еще строк пять написать: огонь принесли.

Вчера была французская комедия «Le Turcaret»[1] и малая «L'esprit de contradiction».[2] Скоро будет кавалерская; не знаю, достану ли билет себе. Впрочем, все те миноветы, которые играют в маскарадах, и я играю на своей скрипке пречудным мастерством. Да нынче попалась мне на язык русская песня, которая с ума нейдет: «Из-за лесу, лесу темного». Черт знает! Такой голос, что растаять можно, и теперь я пел; а натвердил ее у Елагиных. Меньшая дочь поет ее ангельски.

Аргамаков едет в Москву с Кариным. Ежели он к вам будет, то, матушка, поблагодарите за его дружбу, которою я здесь пользовался; он у меня в болезнь мою почти дежурил.

---

[1] «Тюркаре» *(франц.)*.
[2] «Дух противоречия» *(франц.)*.

29-го.

Я было хотел далее распространиться сегодня, однако некогда: Аргамаков теперь приехал проститься и взять от меня письма; да сверх того устал: из маскарада выехал в час, а встал в 6-м часу. Был у князя Я. П.,[1] у Бакунина, у Н. И. Панина, у И. П. Adieu.

P. S. Бумагу разделили с сестрицей А. И. пополам.

10

От 9 февраля 1764.

Напрасно думаете, чтоб хотел я остаться в коллегии для того, чтобы всем тем огорчить вас. К тому же, я очень знаю, сколь много я любим вами и сколь много счастье мое вам нужно. Однако не мешает мне написать к тебе следующее.

Selon toute apparence, le fils du prince Chakhowskoy,[2] qui est engagé dans notre collège et qui est fort honnête homme et même mon ami, aura la qualité d'un rèsident à Danzig, il m'a fait déjà la proposition de partir avec lui, s'il réussira en cherchant cette place. Jugez, ma chère soeur, si ce ne sera pas un peché de laisser cette occasion là. D'ailleurs ce n'est pas loin d'ici, et je pourrais venir et revenir en Russie autant qu'il me plaira.[3]

Однако, может быть, он еще и не скоро может иметь успех в своем искании. Только я, с моей стороны, оставляю дело все на твое рассуждение.

Поздравь Андреевну с родинами и отдай ей от меня посланный при сем рубль.

---

[1] Я. П. Шаховской.

[2] Ф. Я. Шаховской.

[3] Судя по всему, сын князя Шаховского, служащий в нашей коллегии, весьма честный человек и даже мой друг, получит место резидента в Данциге. Он мне уже предложил отправиться вместе с ним, если успеет занять это место. Не грешно ли будет, добрая сестрица, упустить такой случай? К тому же, это недалеко отсюда, и я могу приезжать и уезжать из России, как мне захочется *(франц.)*.

В четверг будет кавалерская трагедия. Хочется и мне промыслить билет, да не знаю как.

Вчера был я в церемониале и в черном кафтане. Польский приехавший ныне посланник имел первую визитацию у вице-канцлера,[1] и мне на крыльце досталось его встретить, а потом остаться разговаривать с его свитою. Adieu.

Приложенное отдай, матушка: к Карину отошли, а Аргамакову, как у вас будет, отдай.

11

À ma soeur. 22 Fev. 1764.

Вчера полученные вести были для меня не новы: я знал, что тому быть должно, так как и к тебе писал я обстоятельно. Я от него[2] получаю письма, и получил вчера. Изо всякого вижу, что он единственно одну склонность имеет причиною сего намерения. Я его знаю очень хорошо и клянусь тебе, что достоинства имеет. Живучи с ним почти вместе, имел я случай довольно узнать его. Пьянства, мотовства не опасайтесь: этих пороков у него нет. О достатке его знаю только то, что имеет он четыреста душ, которым также участница маленькая сестра его. Может быть, что он и безденежен; только, имев такие деревни, можно иметь и столько денег, чтоб содержать себя честным образом. Впрочем, я с моей стороны должен тебе признаться, что почитаю его достойным быть мне зятем.

Ежедневное обхождение его со мною подавало мне случай узнать его мысли. Он действительно не имел намерения жениться, а бывало всегда говаривал, что, имея чем жить, предпочитает лучше ехать в чужие краи; да и сверх того, я клянусь, что он, кроме склонности, никакого другого интереса не имеет.

Возможно ль сравнить его с М. К. Озеровым так, как то делают батюшка и матушка в письме своем?

---

[1] А. М. Голицын.
[2] В. А. Аргамаков.

Этот человек имел воспитание, и можно назвать его *un homme du sentiment;*[1] а тот, кроме подлых мыслей, никаких сентиментов не имеет. Этот же имеет благородное сердце и за честь свою действительно склонится жертвовать жизнию; а тот не знает совсем, чтó это совесть. Сверх того, я уверяю, что он будет мне другом всегда, сделается ль дело или нет. Я знаю точно, что и он с своей стороны, в том или другом случае, только дружбы своей ко мне не отменит. D'ailleurs je vous assure qu'il n'a pas d'autres inter[...] seul amour. Il est extrêmement amoureux de vous:[2] вот [...] причина всему. Письма его то больше доказывают [...] не быть в том совсем мне уверену. Уведомьте [меня насчет] вашего намерения.

Отпуск мой не знаю скоро ль быть может. Видно, что князь М. М.[3] ничего обо мне не писал, потому что князь А. М.[4] никак о том не отзывался, а самому мне начать нельзя, потому что ежели должен я дожидаться конца батюшкиного дела, о успехе которого теперь знает только один бог, то проситься еще рано. Если б я что-нибудь от вас получил решительного, то б по тому поступать стал; а то есть ли способ сообразить получаемые мною письма? Батюшка пишет, чтоб я старался об отпуске, однако не оставлял бы на второй неделе стараться о его деле; а матушка изволит писать так, как бы совсем мы проситься должны *домой* до того, чтоб извозчики нас не ввезли на дороге в прорубь и не разбили бы лошади. Так из того рассуди, что мне начинать.

Мне очень смешно, что ты меня считаешь влюбленным. К Аргамакову я писал шутя и божусь, что нимало дух мой не беспокоится. Да и в кого здесь влюбляться? Все немки ходят бледны как смерти. Поди, Христа ради! что ты на меня клеплешь, а что всего досаднее, и пеняешь! Не подумай еще того, бога ради, что я теперь лукавлю. Да для чего бы то? Билет

---

[1] Чувствительным человеком *(франц.)*.

[2] Впрочем, уверяю вас, что у него нет других интересов... кроме любви. Он чрезвычайно влюблен в вас *(франц.)*.

[3] М. М. Голицын.

[4] А. М. Голицын.

же для трагедии отдал я Бакуниной, у которой муж есть, тому лет с двадцать.

Об отпуске еще повторяю: ежели отпишете, чтоб я, несмотря ни на что, просился, тогда почту я себя прямо счастливым. Бог один видит, как мне с вами хочется увидеться! Постарайтесь, чтоб и князь М. М. помог. [...] веселья сегодня балом кончатся. Боже мой! я [...] в первую неделю еще от них не отдохну. Три дня [...] маскарады и три спектакля. Все мне стало...

12

27 сентября 1764.

Милостивый государь батюшка и милостивая государыня матушка!

Почта уже пришла, и пакет распечатан, только сказали мне, что писем нет. Я не знаю, что могло быть тому причиною, и о том очень тужу. Дай бог, чтоб хотя завтра, по ямской получа, я мог обрадоваться. Затем иного донести не имею, как только то, что я, слава богу, здоров. Сегодня обедал у Александра М. Хераск., а ужинать поеду к М. В. Приклонскому.

13

Санкт-Петербург. 1766.
Января 23 и 24 чисел.

Матушка сестрица! Я не получал еще писем ваших, которые писали вы ко мне в понедельник; однако завтра получить их надеюсь. Невозможно, чтоб вы ко мне не писали, зная, сколь мне письма ваши дороги и что они только составляют все мое утешение. Признаюсь тебе, матушка, что, проведя здесь несколько дней, уже был я во всех собраниях, видел здешние веселья, их не чувствуя, и кажется мне, что здешний свет уже не один раз глазам моим представился. Но все сие сколь далеко от того, что б хотя мало сделать мне могло отраду в моей горести, которая

непременно должна меня терзать, как скоро вспоминаю то, что я с вами розно! Каждую минуту я то вспоминаю, следовательно и терзаюся каждую минуту. Теперь сижу я один в моей комнате и, говоря с тобою чрез письмо, чувствую в тысячу раз более удовольствия, нежели вчера и третьего дня, окружен будучи великим множеством людей. Воображаю тебя, говорю мысленно с тобою, тужу с тобою о том, что мы разлучены, и бог знает надолго ль. Наконец, чувствую, что сердце мое терзается от того, что представляют мысли. Вот состояние мое каково в сию минуту. Уже великодушие меня оставило и миновалась та холодность, с которою рассуждал я о том, что б могло тронуть человека. Я не знаю сам, отчего прежний мой веселый нрав переменяется на несносный. То самое, что прежде сего меня здесь смешило, нынче бесит меня; мне кажется, всего лучше я теперь сделаю, если в доказательство тому напишу к тебе мой журнал.

В самый день моего приезда явился я по должности моей. Поговоря нечто о ближнем, заключил я изо всех наших слов, что в свете почти жить нельзя, а в Петербурге и совсем невозможно. В двадцать девять дней моего в Москву похода здесь люди стали сами на себя совсем не похожи: кого оставил я перед отъездом моим дураком, того ныне не только разумным, да еще и премудрым почитают. Только то несколько утешает, что тех самих, которые им приписывают такую славу, оставил я перед отъездом моим такими же дураками. Странное дело! Ты не поверишь, матушка, что с нынешнего нового года все старые дураки новые дурачества понаделали! Например, Шепел., женатый на Рубанов., разводится с женою за самую безделицу, а именно за то, что она приняла было намерение его поколотить в самый Новый год. Он, не хотя в сей торжественный день быть от супруги своей бит и оставляя прошлогоднее свое дурачество, которое имел он, претерпевая такие действия женина гнева, впал в новое дурачество и, вздумав разводиться, пошел противу самого бога, который соединил их неисповедимым своим промыслом. Графа

А. А. Бестуж.[1] застал я здесь в покаянной, куда посажен он каяться в том, что не поступал он по правилам здравого рассудка, хотя никто не помнит того, чтобы какой-нибудь род разума отягощал главу его сиятельства. Жена господина Деденева закричала здесь караул, ехав по большой улице. Она и действительно имела к тому законную причину, затем что везли ее в прорубь, по приказанию мужа ее, который, видно, как второй Идоменей, обещал Нептуну какую-нибудь жертву. — О таковых приключениях и тому подобном поговоря с И. П., я с ним расстался. Оттуда поехал я к А. И. Приклонской, от которой слышал новые уверения о дружестве, и наконец поехал я от нее к П. М. Херас.[2] Они безмерно обрадовались, меня увидя; спрашивали о вас всех, и я, как верный историк, описывал им Москву подробно. Я прошу тебя, при засвидетельствовании княжне Анне Никитишне моего истинного почтения, донести ей, что я порученную комиссию исполнил. Пелагея Никитишна отдает справедливость ее разуму, которым наполнены письма ее; рассуждения в них философски, и, одним словом, они достойны своего автора. Впрочем, я очень усердно исполняю и ту комиссию, которою она изволила удостоить меня, чтоб вспоминать чаще о ней Пелагее Никитишне. Всякий день бывая у них в доме, могу тебя, матушка сестрица, уверить, что разговоры наши тем только и оживляются, что часто говорим мы о достоинствах и совершенствах княжны.

Чтоб возвратиться на прежнюю материю, то скажу тебе, что от П. М. поехал я в театр. Играна была комедия «Женатый философ», которую смотрели великое множество женатых нефилософов. Ужинал у А. И. Приклонской.

В пятницу, отобедав у П. М. Хераскова, был я в маскараде. Народу было преужасное множество; но клянусь тебе, что я со всем тем был в пустыне. Не было почти ни одного человека, с которым бы говорить почитал я хотя за малое удовольствие. Здесь

---

[1] А. А. Бестужев-Рюмин.
[2] П. М. Херасков.

продолжают все носить разные домины. Сперва танцевали обыкновенно, а потом чрезвычайно, то есть плясали по-русски. Князь Я. А. Козловский с фрейлиною Паниной, потом Корсакова и Овцына с Щербатовым, и можно сказать, что плясали хорошо. А чтоб приключению чем-нибудь кончиться смешнее, то Еропкин, большой сын А. В., напросился один прыгать голубца. Сделан был большой крут, и г. Еропкин доказал, что если он не имеет другого дарования, то он погибший человек. В зале для пространного российского купечества танцевало около сотни немок. Бледность покрыла лицо их, и, одним словом, я ничего не видывал скареднее этой сотни! — Субботу и вчера проводил я изрядно, но все не так, как бы в Москве. Ничто меня не утешало и ничто не могло успокоить дух мой.

Я забыл было сказать тебе, что в день моего приезда видел я в комедии госпожу Персильду. Ее превосходительство не удостоила меня ни единым словом, лишь только премудрая глава ее пошатнулась на одну сторону: это был поклон. Без лести можно ей сказать, что она в двадцать девять дней без меня столь много поглупела, что превосходит уже всякую скотину. Скоти стоял за нею, следовательно и она сделала мне такое же приветствие. Я не рассудил за благо оставаться доле в их ложе, чтоб не сделать какого-нибудь дурачества, затем что с дураками разумных дел никто делать не может.

До сего дня не говорил я еще со всеми ни одного слова. О! если б сделал бог то, чтоб молчание подоле продолжилось!

Теперь представь себе, матушка, в каких прескучных я обстоятельствах. Живу один, как изгнанник и как бы недостойный жить с вами. Бог, видно, наказывает меня за грехи мои, только не знаю, за какие. Принужден я иметь дело с злодеями или с дураками. Нет мочи более терпеть, и думаю, скоро стану делать предложение Ивану Перфильевичу о перемене моей судьбины. Честному человеку жить нельзя в таких обстоятельствах, которые не на чести основаны. В известном доме интриги продолжаются очень сильно. Поверенного своего застал я таким же честным чело-

веком, каким я его оставил. Я, конечно, не оставлю вас уведомлять о всяком новом приключении.

Теперь, матушка, намерен я сказать вам жалость. Сегодня, будучи у графа Г. Г.,[1] увидел я в передней Е. И. Чевкину в нищенском почти платье и в пребеднейшем состоянии. Сказывают, что родня их С. М. Кузьмин совсем от них отступился. Я весьма был тронут сим позорищем. Живет она и с сестрою своею у С. С. Меженинова.

Я за час перед сим приехал из русской комедии «Демокрит». Балет был «Аполлона и Дафны». Хочу садиться ужинать один, и я думаю, что мне кусок в горло не пойдет. Обыкновенно у тех людей аппетит невелик, у которых радости мало; а я здесь никаким образом спокоен быть не могу.

Прости, матушка. Не забудь меня, не забудь моих комедий и тем докажи, что ты меня любишь.

Mon cher ami! La lettre à ma soeur vous dira l'état de mon âme. Je vous jure, mon cher, que rien ici ne peut me consoler de notre séparation. Aimez moi toujours. Ce la seul chose, de quoi je vous supplie. — Pour exécuter vos ordres j'étais aujourd'hui à l'Académie, mais le libraire n'était pas là. Demain j'irais et j'acheterais s'il le peut les oeuvres de Corneille. Adieu.[2] Сергею Герасимовичу[3] нижайший поклон.

Для известия:

Графа П. Г. Чернышева дочь помолвлена за брата князя Василья Борисовича Голицына.

С. В. Нарышкин определен в должность сенатского экзекутора.

---

[1] Г. Г. Орлов.

[2] Любезный друг! Письмо к моей сестрице расскажет вам о состоянии души моей. Клянусь вам, друг мой, что ничто здесь не может меня утешить в нашей разлуке. Любите меня всегда. Это единственное, о чем я вас прошу. — Чтобы выполнить ваши приказания, я был сегодня в Академии, но библиотекаря там не было. Завтра я пойду и куплю, если смогу, сочинения Корнеля. Прощайте *(франц.)*.

[3] С. Г. Домашнев.

У А. П. Сумарокова обе дочери лежат в оспе.

По дофине здесь надет траур на две недели, и, кажется, еще на шесть недель по датском короле, да на две по брате короля английского. Я, приехав сюда, еще цветных кафтанов не надевал, а ношу все черный и должен носить его еще недель девять. Больше писать истинно нечего. Простите.

Сестрице Анне Ивановне желаю здоровья и охоты писать ко мне.

Сестрице Марфе Ивановне желаю того же.

Сестрице Катерине Ивановне желаю того же и меньше резвиться.

Братцу Александру Ивановичу желаю великих успехов в высоких науках.

Братцу Петру Ивановичу желаю того же и меньше с печи прыгать.

Об И. А. Якине всевозможное старание приложить не оставлю.

14

[Апрель 1766].

Матушка сестрица и любезный друг.

Сколь много обрадовался я, мой любезный друг, получа от тебя строчку на прошедшей почте. Воображение то прошло уже теперь, которое меня мучило. Я иногда думал, что ты болен; а иногда помышлял и о том, не сделался ли ты против меня холоден, без малейшей к тому с моей стороны причины. Знай, что ты с сестрицею мне столько любезны, что я для вас жить хочу; а за то требую от вас в награждение, чтоб вы вашей спокойною жизнию меня утешали.

Ныне страстная неделя, и дух мой в едином богомыслии упражняется. В животе моем плавает масло древяно, такожде и орехово. Пироги с миндалем, щепки и гречневая каша не меньше помогают мне в приобретении душевного спасения. Вчера и сегодня обедал я у М. В. Приклонского; слушал завтрени, часы и вечерни, также был у обеден, одним словом, делал все то, что должно делать согрешившему ведением и

неведением. И Ванька приносит на сих днях во грехах своих покаяние. Рассказывал он мне, что во время чтения Ефрема Сирина напал на него некоторый род дремоты, и бе видение страшно: пришел к нему некто из темных духов во образе человечестем, который весьма походил на нашего Астрадыма; пришел и вопросил его: «Где твоя душа?» Ванька мой вообразил себе, что то Астрадым, с которым он всегда обхаживался фамилиарно, ответствовал ему, не обинуяся, что он о душе своей ничего не ведает и что удивляется, какая нужда до души его — повару. Темный дух, раздраженный таковым гордым ответом, дал ему знать, кто он таков. «Я черт, а не Астрадым», — говорил он ему. «По крайне мере ты похож на нашего Астрадыма», — отвечал ему Ванька. «Я нарочно взял его вид, — сказал черт, — для того, что из смертных повар ваш более всех на меня походит». Ванька, увидя, что то прямо черт, а не Астрадым, вострепетал от сего видения и вдруг хотел было перекреститься, но почувствовал, что рука его не только не подымается, но еще опускается книзу и становится лошадиною ногою. Уже другая рука его была точно в таковом же превращении, и он стал на четвереньках. Великая и круглая глава его становилась отчасу продолговатее; волосы его ощетинились и стали гривою; лишь только глаза его остались в прежнем состоянии, ибо всегда были они лошадиные. Наконец, сказывал он мне, что он стал точно такая же лошадь, как наша правая коренная, которую я ныне нанимаю. Став лошадью, заржал мой Ванька и тем перепугал весь народ и себя самого так, что он очнулся и, пришед домой, поведа мне сие видение.

Впрочем, любезные друзья, намерен я вас просить о покупке мне чего-нибудь на летнее платье, также и камзола под коричневый кафтан, который у меня почти совсем нов. — Ежели у вас нет денег, то займите и уведомьте меня, сколько на то вы употребили, чтоб мог я по первой же почте перевесть к вам деньги, в которых ныне, слава богу, я недостатка не имею. Сделайте сию милость мне, как наискорее. — Простите.

M-r Porochine est congedié de la cour pour les impertinances qu'il a fait par raport de mademoiselle Cheremeteff.[1]

В Лазарево воскресенье погребали Бестужева. Сколь различна их судьбина!

15

Петергоф, 26 июня 1766.

Милостивый государь батюшка и милостивая государыня матушка!

Я, слава богу, здоров и живу здесь с Иваном Перфильевичем. Июля 1-го двор в город возвратится для смотрения каруселя, который будет 2 числа, а потом все приедут опять в Петергоф и, как слышно, пробудут долго; следовательно, и я в Петербурге не останусь затем, что Иван Перфильевич с собою меня взять изволил, а товарища моего[2] оставил. Если же иногда вы от меня писем получать не изволите, то сие приписать должно тому, что я живу здесь, а отсюда иногда в почтовые дни либо ездок не случится, либо и опоздать может.

Состояние мое теперь таково, что я лучшего не желаю, если только оно продолжится. Иван Перфильевич ежедневно показывает мне знаки своей милости; по крайней мере ныне не имею я того смертельного огорчения, которое прежде чувствовал от человека, кого и самая природа и все на свете законы сделали ниже меня и который, несмотря на то, хотел не только иметь надо мною преимущество, но еще и править мною так, как обыкновенно правят честными людьми многие твари одинакой с ним породы. Все мое счастие состоит в том, что командир мой сколь ни много его любил, однако любовь его к нему преодолели его рассуждение и честь. Иван Перфильевич, будучи сам бла-

[1] Господин Порошин получил отставку от двора за оскорбления, нанесенные им мадемуазель Шереметьевой *(франц.)*.

[2] В. И. Лукин.

городный и честный человек, раскаивается в прежнем своем поступке с Лукиным и поклялся впредь не производить в чины никого из тех, которых отцы и предки во весь свой век чинов не имели и родились служить, а не господствовать. Клянусь вам богом, что невозможно представить себе на мысль все те злости, все те бездельнические хитрости, которые употреблял он к повреждению меня в мыслях Ивана Перфильевича и всей его фамилии. И действительно, он сделал было то, что я, несмотря ни на бедность свою, ни на то, что должен службою искать своего счастия, принужден было оставить службу. Я всегда знал, что Иван Перфильевич честный человек; однако любовь его к Лукину приводила меня в отчаяние. Слава богу, что теперь вышел он из заблуждения и узнает мало-помалу, что любил бездельника, а во мне узнает честного человека. Нельзя представить и того, в какой фурии теперь он и на меня и на самого Ивана Перфильевича, который делал ему несказанные милости и вывел его из ничего в люди. Я тому и не дивлюсь: честный человек обыкновенно терпит от неблагодарных, и можно сказать, что Иван Перфильевич согревал такую змею, которая рада бы теперь ужалить его смертельно, если б только можно было.

Любовь моя к Ивану Перфильевичу смешана с истинным почтением к его достоинствам. Он имеет разум, просвещенный знанием; имеет по природе доброе сердце и сделал себе правила честного человека, которые столь свято наблюдает, что не только здесь в городе от своих, но и от всех чужестранных имя Елагина произносится с идеею честного человека. Он очень много любит свою нацию и умеет делать отмену достойным чужестранцам. Извольте сами себе вообразить, не лестно ли молодому человеку иметь такого командира и быть от него любиму. Дай бог, чтоб по каким-нибудь неожиданным случаям не вкрался опять Лукин; он только один может много вредить его репутации. Вы, может быть, изволите подумать, что я, описывая вам таким командира своего, сам себе противоречу, говоря притом, что Лукин был его фаворитом, и опасаясь, чтоб он опять не был тем же; однако

то неправда, и я себе не противоречу: разве самый честнейший и разумнейший человек не может быть управляем негодяем? Разве не может он иметь своих слабостей? Всю сию материю заключаю тем, что я не отстану от Ивана Перфильевича, доколе бог велит или черт Лукину не поможет опять им овладеть и вывести меня из настоящего моего состояния; однако и тогда, когда я принужден буду, избави боже! оставить место, не перестану любить и почитать Ивана Перфильевича.

Петергофская жизнь скучна теперь тем, что ветер чрезвычайно силен и почти в сад выйти нельзя. Я читаю здесь книги, которые Иван Перфильевич с собою взять изволил; делаю то, что он мне приказывает; а достальное время хожу к секретарям Никиты Ивановича Панина. Я доволен тем, что голова моя не так часто болит, как прежде, и могу сказать, что я здоровее прежнего; однако все слаб по сложению тела. Нетерпеливо желаю того, чтоб скорее сей год кончился и чтоб я мог уже жить с вами вместе, наслаждаясь истинным удовольствием. Не могу пожаловаться на то, чтоб здешняя жизнь моя была мне дурна. Нет, она довольно хороша, а огорчительна только тем, что я живу розно со всеми своими, как будто какой изгнанник, отлученный от своих родных за какую-нибудь вину. Я не из числа тех молодых людей, которые любят вольность, не зная, что в мои лета она очень опасна, и хотел бы охотно остаться в Москве, пользуясь вашими наставлениями в любезной мне неволе.

Недостатка я ни в чем не терплю; в деньгах иногда он бывает, однако я надеюсь на бога, во всем, может быть, исправлюсь. Каретник мой взял с меня за карету самые чистые деньги и обещался чинить ее целый год; однако это такой негодяй, с которым я насилу лажу и принуждаю его бранью и угрозами держать свое слово. Теперь мне будет терпеть убыток, который пришел очень некстати, затем что в деньгах у меня и без того изобилия нет. Мне надобно сделать себе шинель, а Ваньке, вернейшему и глупейшему моему служителю, пару платья, о которой он сильно мне докучает, представляя в резон многие заплаты на прежней ливрее, разность пуговиц, из

коих иные золотые, иные серебряные, а иные гарусные украшают настоящее его одеяние, и множество еще неудобств, которые вынут из кошелька моего, по моему счету, рублей с пятнадцать. Всем моим людям недавно приключилось несчастие, за которое я же платить должен, а именно: лихие люди, не убоясь страшного суда, украли у них с чердака всю ветчину. Сей урон сделал было в них великое омерзение к временной жизни, а особливо в Сеньке, который с отчаяния, попущением божиим, начал было сокращать время свое, ходя по соседству в такой дом, откуда редко их братья трезвые выходят. Я не для того пишу, чтоб приносить на него жалобу; могу сказать, что я истинно доволен его честностию, скромностию, верностию и другими многими добродетелями. Что ж надлежит до Петрушки, то могу сказать, что он, сверх натурально доброго сердца, имеет еще многие дарования; худо в нем только то, что он, чему ни учился, ничему не выучился. Мне кажется, что он будет такой же парикмахер, каков и грамотей. Недавно завил он меня во множество пуколь, из которых каждую хотя он и много выхвалял, однако, может быть, затем, что мы имеем разные вкусы, мне ни одна пукля не понравилась, и я принял намерение не давать ему над собою показывать свое искусство.

Нынешнее время и в самом деле досталось мне гораздо больше истратить, нежели должно. Я принужден был купить себе черные и белые чулки и прочее нужное и необходимое. Отъехав от вас, взял я только 165 рублей своего жалованья, которыми до сего числа жил, то есть *с лишком пять месяцев*.

В четверг будет здесь огромный маскарад в саду, как для знатных, так и для простого народа. Я думаю, что целый город сюда будет. Посылаю в Петербург за розовою своею доминою.

Н. И. Бутурлин, о котором я писал к дядюшке, поехал в Москву к своему отцу для испрашивания у него благословения. Я думаю, что в садах вы его изволите увидеть. Дело почти уж сделано, и государыня сама о том известна. Он очень будет счастлив;

получа в жены такую достойную особу, какова меньшая дочь Ивана Перфильевича. Она умна, имеет тысячи приятностей и прекрасное сердце.

16

24 апреля 1768.

Милостивый государь батюшка и милостивая государыня матушка!

Вчера приехал я с И. П. из Царского Села благополучно. В день рождения надета была андреевская лента на гр. А. Г. Орлова.

Дядюшка и тетушка с братом, слава богу, здоровы. О брате А. И.[1] доклад был подан третьего дня, да такое несчастье, что государыня не изволила еще иметь времени оный апробовать. Надеюсь того или другого сегодня или завтра. В докладе написан ему капитанский чин и 250 руб. жалованья.

Чернышева справки на сей почте послал.

Затем, прося родительского благословения от вас, остаюсь всепокорнейший сын ваш...

17

6 мая.

Милостивый государь батюшка и милостивая государыня матушка!

Мы оба, слава богу, здоровы. Удивляюсь, что ни один из братцев еще сюда не бывал. Ежели ж брат А. И. выехал в субботу, так пора уже ему сюда приехать.

Я сие пишу в доме И. П. и для того от Петруши письма не прилагаю; однако он здоров, и Алексей вчера еще приходил на него с жалобою. Квартиру нанял я у купца Щербакова рублем дороже. Однако из-

---

[1] А. И. Фонвизин.

ряднее покои и близ дядюшки, почти обо двор. Я теперь в превеликой работе: пишу письма в Голландию.

Более писать нечего и некогда. Я жду И. П. изо дворца к обеду, а после обеда работать буду. В прочем прося родительского благословения, остаюсь всепокорнейший сын ваш...

Матушка сестрица и любезный друг, здравствуйте.

18

Петербург, 22 июля 1768.

Милостивый государь батюшка и милостивая государыня матушка!

На сей почте получили мы два милостивые письма ваши: одно к нам, а другое для показания нашим командирам; за что приносим нижайшую нашу благодарность. Я с своей стороны чрезмерно желаю вас видеть и надеюсь, что скоро то исполнится. На место Ивана Перфильевича определяется генерал-майор Стрекалов, итак, мне нужно видеть теперь одно только то, чтоб дела наши исправно сданы были. Вы изволите знать, что я их делал целый год, и, следственно, обстоятельство сие привлекает меня ожидать того времени, в которое бы я совершенно с теми делами развязался. Впрочем, я долго и того ждать не буду, а при удобном случае покажу ваши письма и непременно возвращусь. Желание мое быть скорее в Москве неописанно. Мне очень здесь скучно, хотя вы и думать прежде изволили, будто я провожаю здесь жизнь мою в веселье. Дела наши снятием дел челобитческих совершенно облегчены, однако я каждый день у Ивана Перфильевича бываю; а сколь это беспокойно, то сам бог видит. В производстве же моем надежды никакой нет. По крайней мере Иван Перфильевич о том, кажется, уже забыл; напоминание ж мое было бы излишне. Он меня любит; да вся его любовь состоит только в том, чтоб со мною отобедать и проводить время. О счастье же моем не рачит он нимало,

да и о своем не много помышляет, а держится одною удачею. Словом сказать, жизнь свою ведет точно как в Москве, чему вы сами свидетелем были. По должности своей главное прилежание и тщание устремляет он к заведению благонравия при придворных ее императорского величества театрах. К пользе человеческого рода каждую неделю дают здесь по трагической или комической штуке. Льются слезы о несчастии театрального героя, а бедный Чур., который несчастлив не на шутку, забыт, да и помнить о нем не велят. Вот как в свете дела идут! Я истинно получил ужасное омерзение ко всем вздорам, в которых нынешнего света люди главное свое удовольствие полагают. Счастие свое полагаю я в одном спокойствии, которого, живучи без вас, я, конечно, чувствовать не могу. Рад бы жить вечно с вами. Третьего дня был я у графа Р. Л. В.[1] и письмо ваше ему отдал. Он принял меня очень хорошо, поручил мне уверить вас о своем к вам почтении и о старании в вашу пользу. Он сказал, что ваше дело будет сделано. В четверг поеду я к нему обедать. Он меня очень приласкал, да и не мудрено. Когда большие бояре держатся в черном теле, тогда они всего любезнее в свете; а как скоро из него выходят, то всех людей становят прахом пред собою и думают, что царствию их не будет конца. В пятницу было брачное сочетание его сиятельства генерал-прокурора.[2] Дай бог ему доброе здоровье; он женился, как и все простолюдины; свадьба была в Петергофе, и сказывают, что 10 000 рублей на свадьбу пожаловано. Больше вестей никаких нет. В кадетском саду видаю я по воскресеньям братца А. М., а чтоб лучше знать о их содержании, то был уже я не один раз при столе их: они изрядно содержатся. Строгости нималой не употребляется при их воспитании. Говорят, будто меньшие кадеты не так хорошо содержатся и приучают их к нужде. Здесь учреждены съезды и назначены дни для кадетского корпуса, для монастыря и для Академии художеств. Итак, петербургские жители

---

[1] Р. И. Воронцов.
[2] А. А. Вяземский.

разделяют целую неделю на удовольствование своего любопытства и на свое веселье. Гульбища по садам занимают также довольно времени; однако более всего съезжаются на Каменный, Крестовский и Петербургский острова; делают там па поле ужины и веселятся. На Петровском острову был я в субботу с братьями. Нас всех взял с собою дядюшка; он со всею фамилиею туда ездить изволил. Обедали мы у Резвова; катались на шлюпке, качались, играли в фортуну и время свое довольно весело проводили. Каждый день бываю я у дядюшки, да и нельзя иначе. Он нас жалует, да близость места не допускает нас долго быть розно. Мы живем почти друг против друга.

Я пишу сие в доме Ивана Перфильевича и расположился было написать целый лист кругом, да нельзя: Ив. Перф. из сената приехал, и для того письмо мое прерываю, прося навсегда родительского вашего благословения.

19

С.-Петербург, сентября
11-го дня 1768.

Милостивый государь батюшка и милостивая государыня матушка!

На полученные по нынешней почте милостивые ваши письма ничего в ответ донести не имею, как только то, что я на просьбу мою никакой резолюции не имею. Со всем тем я не оставлю ничего к скорейшему окончанию или моей отставки, или перемены места. Такая беда моя, что никто прямо от него[1] брать меня не хочет; а на него я никакой надежды не имею. Он говорит, что я, пошед в отставку, сам себя погублю и что, переменя место, будто также сам себя погублю; а не погублю себя, оставшись у него. Слыханы ли в свете такие ответы? Как бы то ни было, я с ним в нынешнем же месяце расквитаюсь. Мне жить у него

[1] И. П. Елагин.

несносно становится; а об отставке я не тужу: года через два или через год войду в службу, да не к такому уроду.

Затем, прося родительского благословения, остаюсь всепокорнейший сын ваш...

О Хлопове я ничего донести не могу. Он живет здесь за своим делом, которое бог знает когда кончится. Сказывают, что он на Роговикову подал государыне челобитную.

Напрасно, милостивая государыня матушка, сказывали вам, что Т. о жене своей затужился и что ждет ее в Москву. Доказательство тому то, что он сам здесь живет третий месяц; так видно, вам жестоко о том солгано. Они оба живут благополучно у А. П. Апраксиной, а скоро ли будут они в Москву — не знаю, потому что подал он челобитную Кузьмину, а о решении ведает бог. Верьте мне, как честному человеку, что мое с ним знакомство ничего предосудительного мне не делает.

Матушка сестрица и любезный друг, здравствуйте. Живите благополучно и поцелуйте за меня вашего сына.

20

[1770.]

Я еще тебе повторяю, что не могу надивиться тому, как могла ты возмутиться тем, что должно б послужить к твоему удовольствию. Бога ради, выкинь из головы такую пустошь. Брат в огне не будет, да сверх того ты знаешь, что я его сам, конечно, не меньше вашего люблю, и если б я внутренно не удостоверен был о том, что поездка его к Морею ему полезна, то б, конечно, он туда и не поехал. Буде же вам всем это неугодно, несмотря ни на какие резоны, то для чего вы мне не сказали тогда же, когда я о том писал к нему в Москву. Я очень уверен, что он по вашему же совету согласился на мое предложение и приехал сюда еще прежде срока.

В окончание всего уверяю я тебя всем, что есть свято, что брат в совершенной безопасности и на пути к своему счастью.

Что же надлежит до меня, то знай, матушка, что я весьма скучаю придворною жизнью. Ты ведаешь, создан ли я для нее. Между тем, я положил за правило стараться вести время свое так весело, как могу; и если знаю, что сегодня в таком-то доме будет мне весело, то у себя дома не остаюсь: словом, когда б меня любовь не так смертельно жгла, то б я жил изряднешенько.

Но страсть моя меня толико покорила,
Что весь рассудок мой в безумство претворила.

Прости, матушка. Я целую твои ручки, обнимаю моего любезного друга и детям твоим кланяюсь.

P. S. 1) М. М. Хераск. с женою живут смирно. Он также с полпива пьян, а ее дома не застанешь. — М. В. Приклонск. нередко такие вытаски дает А. И., что дело доходит до святейшего синода.

P. S. 2) Брат Павел оставил здесь Замятнину в тоске и горьком плаче. Он же, благодаря бога, расставаясь с нею, о стену головою не стукнулся. Я думаю, что гречанки заставят его забыть россиянку. Его сердце в рассуждении нежной страсти на мое непохоже. Я верен, яко горлица.

Где я ни буду жить, доколе не увяну,
Дражайшую мою любить не перестану;
Но брата восхотел отселе удалить,
Чтоб мог он, удален, Замятнину забыть.

Прости, матушка.

21

[1771].

К Вас—ю Алекс—чу.

Из письма к дядюшке увидишь ты, что бедный брат страждет. Бога ради, любезный друг, скрывай ты эту ведомость от всех домашних, а паче от сестры. По крайней мере до получения обстоятельного

известия. Я сам расспрашивал курьера, который хотя и не видал, как он разбился, но видел его больного. Он уже в Дрездене. Тут пускали ему кровь, *parcequ'il a craché du sang noir,*[1] что, однако же, доктора не признают за опасное. Признаюсь тебе, братец, что я с горя вне себя. Жду нетерпеливо будущей почты; а ты остерегай, чтоб кто-нибудь незнакомый не проврался в нашем доме. Между тем, не отчаивайся и будь столько великодушен, сколько я таким быть стараюсь. Может быть, бог его и исцелит. Ободряет меня то, что он из Ливурны мог разбитый доехать до Дрездена с тем курьером, который мне об нем принес прискорбные вести.

Я обнимаю тебя от всего моего сердца.

22

Царское Село. В 6 часов
после обеда. [1773.]

Что это такое, мой любезный друг, я сей момент услышал, что ты уже третий день в Петербурге, а мне не даешь знать ни одним словом о своем приезде. Или ты болен, или ты, не знаю, не ведаю за что, на меня сердит. И то и другое мне жестоко прискорбно. Я теперь нарочно посылаю Алексея отыскать тебя. Бога ради, напиши ко мне билетец, здоров ли ты и где мне тебя сыскать. Я завтра к вечеру всеми силами стараться буду приехать для тебя в город и обнять тебя от всего сердца.

У нас вчера приехали гости. О приеме их и обо всем перескажу тебе на словах. Прости. Je vous embrasse mille fois. Au nom du Dieu, repondez moi, et dites la raison de votre silence. Quand tout le monde sait que vous êtes arrivé, c'est moi qui l'ignore, moi qui vous en être instruit le premier, étant votre frère et ami.[2]

---

[1] Потому что он харкал черной кровью *(франц.)*.

[2] Обнимаю вас тысячу раз. Ради бога, ответьте мне и объясните причину вашего молчания. В то время как все знают, что вы приехали, только я нахожусь в неведении, я, которого вы должны были бы известить первым, ибо я ваш брат и друг *(франц.)*.

Матушка сестрица, друг мой, я начинаю к тебе большое письмо, считая за долг сердца моего и за душевное мое удовольствие говорить с тобою всегда и обо всем открытою душою.

Начну о В. А.[1] Он остался здесь и, не отыскав себе места, не хочет оставлять Петербурга. С одной стороны, он прав, с другой — неправ. Прав, потому что, ездя сюда почти всякий год, конечно надобно однажды приняться о себе серьезно и, несмотря, что здесь несколькими месяцами проживет больше, добиваться места для освобождения себя, тебя и детей ваших от несносного недостатка.

Не потаю от тебя, друга моего, и о том, почему он неправ. С приезда своего отдыхал он неделю. Я молчал. Пусть его отдыхает. И в это время не знакомил я его с моими знакомыми домами, чтоб нам не быть розно. На другой неделе начал я дружески и по твоему письму советовать ему, чтоб он позволил мне представить его графу моему,[2] через которого можно сближиться с великим князем. Он на то согласился, хотя представление свое от дня в день и откладывал. Чем больше шло время, тем больше я ему самым дружеским образом советовал меня послушать и идти со мною к графу. Наконец, отнекиваяся, сказал он мне, что он этого не хочет, потому что у него нет кафтана, а мундир сшит худо. Ты знаешь, матушка, что мудрено его своротить с упрямства. Я представлял ему, что кафтан ничего не значит и что кафтаном и самым богатым здесь не удивишь; но сие не помогло. Прошло уже пять недель, и он не сделал ни одного шага к исканию своего места. Тут я к нему пристал сильно, и он мне дал честное слово идти к Васильчикову; ездил со мною в Петергоф, был у Васильчикова, который и просил за него Вяземского, но Вяземский сказал, что он место здесь губернского прокурора,

[1] В. А. Аргамаков.
[2] Н. И. Панин.

о котором В. А. просил, назначил другому. Следственно, Вяземский ему и отказал. Я, зная, что приезд его сюда бесполезен, о чем и к вам прежде еще писал, стал уговаривать его, чтоб он после этого отказа поехал с братьями, потому что он сам видит, что жить здесь будет по-пустому. Но он стал в том, что еще искать места будет и здесь остается. Сколь ни дружески мы с ним живем, однако, зная упрямый нрав его, я не хотел больше докучать; братьев отправил одних, а он здесь остался.

Не подумай, матушка, чтоб он со мною не ладил. Нет; кроме этого пункта, на котором он заупрямился, мы очень дружны. Я с приезда его открыл ему мою душу и все тайны мои по здешним обстоятельствам. Он сохранит их и подаст мне советы дружеские; а что он к тебе не писал об них, в том он имел резон, потому что этого бумаге вверить нельзя. — Я читал твои к нему письма, и он растолковал мне, что чрез *домашние дела* разумела ты здешние. Видно, что он худо с тобою изъяснился, когда ты взять могла подозрение на мою скромность или на его политику. Нет; я ему все сказал, что за душою, а он по резону не смел к тебе писать обо всем обстоятельно.

Не знаю, надолго ли он здесь останется, а знаю только то, что пребывание его здесь бесплодно. Дело в том, что он все мои советы об отъезде слушает, по упрямству, с негодованием. Ему здесь, конечно, скучно, и он не наживет здесь долго; да такая причина, что заупрямился и с братьями не едет.

Ты знаешь, матушка, честность сердца моего и сколько душа моя к тебе привязана. Я его люблю сердечно и по тебе и по нем самом. Пусть бог меня накажет, ежели вас разделяю от себя самого. Он сам это знает и внутренно уверен, что я ему советую ехать беспристрастно. Он мне никакой и ни в чем тягости не делает своим здесь житьем. Я ему рад душою, да жалею о том, что он живет здесь по-пустому уже пять недель; как бы я не наступил ему на горло, так бы он не сходил и к Васильчикову, да и сверх его нерадения, по чести скажу тебе, что не то время теперь, чтоб искать кому-нибудь места.

Вот все, что я о нем сказать могу. Пиши ты к нему, матушка, чтоб он перестал упрямиться и здесь по-пустому время не тратил, а по мне — я рад ему душевно. Пусть здесь живет, авось-либо ему и удастся.

Теперь скажу тебе о наших чудесах. Мы очень в плачевном состоянии. Все интриги и все струны настроены, чтоб графа отдалить от великого князя, даже до того, что, под претекстом перестроивать покои во дворце, велено ему опорожнить те, где он жил. Я, грешный, получил повеление перебраться в канцлерский дом, а дела все отвезть в коллегию. Бог знает, где граф будет жить и на какой ноге. Только все плохо, а последняя драка будет в сентябре, то есть брак его высочества, где мы судьбу нашу совершенно узнаем.

Князь Орлов с Чернышевым злодействуют ужасно гр-у Н. И., который мне открыл свое намерение, то есть, буде его отлучат от великого князя, то он ту ж минуту пойдет в отставку. В таком случае, бог знает, что мне делать, или, лучше сказать, я на бога положился во всей моей жизни, а наблюдаю того только, чтоб жить и умереть честным человеком.

Злодей Сальдерн перекинулся к Орловым, но и те подлость души его узнали, так что он дня через два отправляется в Голстинию.

Великий князь смертно влюблен в свою невесту, и она в него. Тужит он очень, видя худое положение своего воспитателя и слыша, что его отдаляют и дают на его место: иные говорят Елагина, иные Черкасова, иные гр. Федора Орлова.

Развращенность здешнюю описывать излишне. — Ни в каком скаредном приказе нет таких стряпческих интриг, какие у нашего двора всеминутно происходят, и все вертится над бедным моим графом, которого терпению, кажется, конца не будет. Брата своего [1] он сюда привезти боится, чтоб еще скорее ему шеи не сломили, а здесь ни одной души не имеет, кто б ему был истинный друг. Ужасное состояние. Я ничего

[1] П. И. Панин.

у бога не прошу, как чтоб вынес меня с честию из этого ада. В. А., приехав к тебе, все подробнее расскажет, ибо я всякий день с ним разговариваю об этом и он всю эту связь в голове имеет. — Прости, матушка, целую твои ручки и детей твоих. — Впрочем, даю тебе честное слово уговаривать его скорее отсюда выехать, не огорчая его и самым дружеским образом. У него честное сердце, да нрав преудивительный. Прости, матушка.

24

[1773.]

Письмо твое, матушка сестрица, тронуло сердце мое до слез. Я вижу дружбу твою, которая заставляет тебя взять некоторое подозрение на минутную холодность между мною и другом моим В. А. Если он виноват холодным письмом своим к тебе, то, верно, без умысла. Характер его тебе известен. Я божусь тебе по чести, что, получа письмо твое, он очень огорчился; завтра или сегодня скажет Бецкому о своем в Москву отъезде и поедет к тебе тотчас. Что же касается до меня, то поверь мне, что я умею сохранить его ко мне дружбу. Упрямство его для меня ничего не значит. Дружеским образом я и всегда переносил, а недоверия ко мне иметь он ни почему не может. Он знает, что я люблю и тебя и его всею душою. Не хотел он рекомендации графа Н. И. к Бецкому для того, что Бецкий никого не слушает, и он пошел к нему в первый раз без всех фасонов, чтоб самою рекомендациею не испортить дела. Теперь он и видит, что всякая рекомендация излишня. Опекунов будут выбирать баллотированьем. Кого выберут, тот и прав.

Ты пишешь, матушка, что мы с ним по неделе не видаемся. Это было во время житья моего в Царском Селе; а ныне каждый день неразлучно живем друг с другом. Бога самого ради, не набивай ты себе головы пустотою. Он точно таков же, каков был, и я его

люблю от всего моего сердца. Прости, матушка. Целую твои ручки и детей твоих.

Сестрицам и братцам поклон.

25

[1773.]

Матушка сестрица, в субботу у нас баллотированье было. Хотя и содержится оно в страшном секрете, однако я мог разведать 1) что всего выбиральщиков было 12, а именно:

+ Гр. Н. И. Панин.
Гр. Чернышев.
+ Гр. Разумовский.
Кн. Вяземский.
Вице-канцлер.
+ Граф Миних.
Фельдмаршал князь Голицын.
+ Теплов.
Бецкий, два голоса.
Двое полковников-опекунов.

Василью А. положили те, кои замечены крестиками, да неизвестно кто — положили еще два балла, думаю, что Бецкий; но то знаю, что положено ему шесть белых и шесть черных.

Одному из кандидатов положено все 12 белых.
Одному . . . . 10 белых.
Одному . . . . 10 белых.
В—ю А—у . . . . 6 белых.

Прочим всем кандидатам гораздо меньше, так что опекунов надобно шесть, а В. А. четвертый.

Из сего, матушка, ты видишь, что все дело зависит от московского выбора. Если подбавят ему из тамошних выбирателей две трети белых, то его возьмут без сомнения. Слышно, что у вас шестеро будут выбирателей, так ежели четыре белых будет, то уже никакого сомнения не будет. Между тем, все сие хранится здесь в величайшем секрете.

Не удивляйся, что положены В. А. черные. Тут было два спроса: *да* или *нет*? Всякий, кто кого не знает, кладет черный балл, и пропасть кандидатов не имели ни одного белого балла.

Я божусь тебе, матушка сестрица, что всех просил сколько можно, и все обещали, но неизвестно, кто не сдержал своего обещания, ибо, опять повторяю. все сие хранится здесь в великом секрете.

В. А. поклон. Детям и сестрицам тоже.

26

[1774.]

Bonjour, mon cher ami.[1] Я кареты еще не достал. Завтра все силы употреблю, чтоб ее достать. Буде же не достану, то ты хотя в двуместной проводи Катерину Ивановну.[2] Выезжайте в субботу в два часа после полудня, а я вас ожидаю с распростертыми руками; только не сделай, бога ради, того, чтоб Катерина Ивановна поехала без провожатого мужчины.

27

Матушка сестрица Ф. И.,[3] ты меня не разумела, когда писала ответное письмо свое на мое, написанное без всякого умысла. Я тогда был огорчен батюшкиной записочкой. Теперь все прошло, да и твое последнее письмо меня утешило. Записочку твою о твоем неверии я изодрал; а другое, где ты желаешь счастья мне и К. И., послал к ней тотчас показать, и она мне возвратила с записочкой, которую я, не изодрав, к тебе посылаю, в уверение, что она тем же тебе отвечает. Припечатай письмо к дядюшке и отошли или же и отвези его сама. Поздравь с капралом. Потемкин, по моей просьбе, записал брата прямо капралом. Прости. Люби меня.

---

[1] Здравствуй, любезный друг *(франц.)*.
[2] Е. И. Фонвизина.
[3] Ф. И. Фонвизина-Аргамакова.

28

8 августа 1774.

Милостивый государь. Я еще должен просить и на сей почте извинения, что пишу коротко. Мы завтра или послезавтра отправляем курьера к графу Петру Ив. С ним не премину я обо всем писать пространнее. Я и невеста здоровы, и она приносит вам нижайшее почтение.

Матушка сестрица, здравствуй! Поздравляю с капралом, которого прошу поцеловать от меня. Вас. Ал. поклон дружеский и прошу с тем же поздравить; а при каком-нибудь празднике нашьем и другой галун. Детей поцелуй. Сестрицам поклон.

Истинно столько дела, что глаза от письма слепнут. Брата Павла И. дожидаюсь.

29

Матушка, друг мой сестрица. Теперь час за полночь, и я приехал лишь только из гостей. Ужинал у Бакунина с невестою. Хочу спать без милосердия и для того пишу коротко. Благодарю тебя, моего друга, за офрирование[1] дома; но позволь мне, обняв тебя сердечно за твою дружбу, сказать тебе, что ни я, ни К. И. не согласимся взять твой дом, а тебе же жить во флигеле. Когда же ты можешь убраться во флигель, то для чего тебе дом свой не отдать внаймы. Он больше тебе принесет, нежели деревня. Я прошу тебя, моего друга, поищи мне нанять двора как можно ближе Куракинского, где граф будет жить, а иначе он заставит меня к себе переехать. Батюшкин же Никитский дом непременно надобно отдать. За него дадут очень дорого. Прилагаю при сем письмо гр. П. И. Мой совет: подождать до нашего приезда. Надеюсь на бога, что все для всех нас полезное сделаю. Будьте все здоровы и ждите нас. Катя моя

[1] Предложение *(франц.)*.

целует твои ручки. От меня и от нее поклон другу нашему В. А., сестрам и брату.

Сей курьер заменяет сегодняшнюю почту.

К П. И. ПАНИНУ

1

Петербург, февраль 1771.

С сердечной благодарностью получил я милостивое письмо вашего прев[осходительства] от 25 генв. Покровительство ваше Маркову и доставление ему писем моих суть новый опыт ваших мне благодеяний, которые, конечно, из сердца моего не выйдут. Излишне было б изъяснять мне, в какой цене принял я вашу мне откровенность, ибо сие только чувствовать, а не описывать возможно. Я ласкаю себя, м. г., что вам и сердце мое и безраздельная к вам преданность, конечно, известны. Последуя опыту, открою вам душу мою о всем том, о чем вы ведать желаете, и буду столь верный историк, сколь бессумненно остаюсь в том удостоверен, что мое письмо никто, кроме вас, читать не будет.

В депешах, ко двору присылаемых, С[альдерн] ничего о [вас] предосудительного не пишет, и в том извольте быть уверены, потому что я их все читал; но что пишет он в письмах к графу Н. И. en mains propres,[1] того я не знаю, ибо граф их сам распечатывает, читает, прячет и содержит в тайне. Слышу, что он жаловался на неохоту вашу писать, однако солгал бы я, если бы сказал, что это точная правда. Но сколь много вспыльчивость или, справедливее сказать, бешенство г. Сальд[ерна] трогает самого гр. Н. И., тому я очевидный свидетель. Верьте, м. г., что ваши письма, которые от меня не скрыты, производят, конечно, вами желаемое действие. Сколь ни пред-

[1] В собственные руки *(франц.)*.

убежден гр. Н. И. в рассуждении Сальдерна, однако, душевно вас почитая и зная сердце ваше, отдал он вам все...

[Окончания нет.]

2

В С.-Петербурге, 18 июня 1771.

Сиятельнейший граф, милостивый государь![1]

Принося нижайшее благодарение за милостивое письмо вашего сиятельства от 4 июня, имею честь донести, что приложенное письмо к графу Шелю, из второй армии пересланное, отдал я ему верно. Он и графиня препоручили мне изъявить свое истинное почтение и благодарность за уверение вашего сиятельства о вашем к ним дружестве.

Приложенную при сем реляцию посла г. Сальдерна не мог я ранее окончить, сколь ни велико было мое усердие. Причиною тому множество стекшихся вдруг дел, касающихся до моей должности, препорученной мне от моего милостивого шефа. Из Петергофа, куда взавтре отъезжаем, не премину я, милостивый государь, служить вашему сиятельству обстоятельнейшим уведомлением о делах, достойных любопытства вашего.

Реляция посла г. Сальдерна содержит в себе все то, что может подать совершенную идею о настоящем положении польских дел. Мне остается прибавить токмо то, о чем г. посол писал уже после сей переведенной мною реляции.

В Литве конфедераты умножаются; гетман граф Огинский стал в подозрении, но благоразумным учреждением посла все оное смятение прекратится в своем начале. Граф Броницкий имел уже удачную сшибку с конфедератами.

Вследствие декларации, которой экземпляр имел я честь послать к вашему сиятельству, его польское величество отправил знатную депутацию к нашему послу,

---

[1] Далее опускается это общее начало писем. *(Прим. ред.)*

с изъявлением благодарности своей за все содержание оной декларации. Король созвал потом знатнейших особ для советования с ними о успокоении Польши. Один примас, человек, всем бытием своим России одолженный, один он явился неблагодарным и не желавшим блага своему отечеству, воспротивясь нашим видам о примирении Польши и коварствуя самым бесчестным образом! Я думаю, однако ж, что хитрости его уступят благоразумию, осторожности и силе г. Сальдерна.

С истинным высокопочитанием и совершенною преданностию во всю жизнь мою пребуду...

3

В С.-Петербурге, 1 ноября 1771.

На сих днях ее императорское величество апробовать изволила приложенное при сем мнение его сиятельства графа Никиты Ивановича. Оно подаст вам, м. г., прямое сведение о настоящем положении дел наших. Мне остается только донести вам, что в Крым назначен Евдоким Алексеевич Щербинин и пожалован генерал-поручиком; а г-н Веселицкий, назначенный резидовать министром от нас в Крыму, произведен в статские советники.

Граф Сольмс сообщил здешнему двору королевскую депешу, с которой перевод мой приложить здесь честь имею. Я почел бы за особливое счастие узнать о ее содержании мнение вашего сиятельства.

Для любопытства вашего прилагаю здесь копию с рескриптов к графу Петру Алекс. и к гр. Гр. Г.;[1] также и последнюю реляцию кн. Вас. Михайловича.[2]

Александр Ильич[3] не принял команды от г-на Веймарна, но, чаятельно, скоро вступит в дело звания своего, ибо г. Веймарн здесь уже ожидается. Посол наш весьма жалуется на худую дисциплину находящихся в Польше наших войск. Недавно при атаке

---

[1] П. А. Румянцев и Г. Г. Орлов.

[2] В. М. Долгорукий-Крымский.

[3] А. И. Бибиков.

местечка Тиник, близ Кракова, наша пехота легла на землю и не пошла к своей должности. На будущей почте как о сем, так и о прочих польских делах не премину донести обстоятельно.

Препоручая себя в непременную милость вашу, с глубочайшим почтением и совершенною преданностию во всю жизнь мою пребуду...

4

В С.-Петербурге, 11 ноября 1771.

Третьего дня прибыл сюда генерал-майор Ступишин с известием о продолжении успехов оружия нашего. Я имею честь приложить здесь и копию с реляций, им привезенных, и печатные листочки, коими публике объявлено о сих радостных происшествиях. Следующие здесь в переводе два письма, с приложением от князя Дмитрия Михайловича,[1] суть те важные пиесы, которые мною обещаны вашему сиятельству и которые доказывают, что венский двор хотя в существе сохраняет к нам свое недоброжелательство, но по крайней мере переменяет свой гордый тон на ласковое преклонение нас к тем мирным кондициям, кои он нам предписать желает.

Ответ наш прусскому королю[2] еще не изготовлен. Ваше сиятельство, конечно, оный получить от меня изволите, как скоро только тем вам услужить найдусь я в состоянии.

За милостивое письмо вашего сиятельства от 3-го сего месяца приношу нижайшее благодарение. Господин Баур нашелся *дюпом* графа Петра Александровича. Вы, милостивый государь, изволили, может быть, приметить, что он посылан был осмотреть противный берег и что он нашел на нем неудобства. Видно, что после сего ответа граф Петр Александрович не открыл ему своего расположения и, отправя его от себя, не ему, но господину Веймарну приуготовил почесть

---

[1] Д. М. Голицын.
[2] Фридрих II.

победителя. Господин Баур сюда еще не бывал, но, заехав в пожалованные ему прошлого года деревни, живет еще там. Я уверен, что его сиятельство, граф Никита Иванович, в первом письме своем к вам, милостивый государь, напишет об оном пространнее. Теперь же молчание его происходит от известной вам причине. Непрестанные труды по званию его в толь критических обстоятельствах отечества, возведшего его на толь высокую степень, составляют теперь всеминутное его упражнение.

5

21 ноября 1771.

Я за должность почитаю начать письмо мое уведомлением вашего сиятельства о здравии его императорского высочества. Оно ежечасно идет к своему совершенству, и самая слабость проходит очевидно.

Принеся нижайшее благодарение за милостивое письмо вашего сиятельства от 4-го сего месяца, не могу я иметь счастия исполнить теперь вашу волю моими по делам доношениями. Как сему, так и продолжавшемуся несколько времени моему молчанию, причиною стала лихорадка, от которой я сегодня в первый раз встал с постели. Скоро надеюсь прийти в состояние служить вам, милостивый государь, довольно важными сообщениями.

Вручителя сего, моего брата, имею счастие препоручить в милость вашего сиятельства и быть навсегда с глубочайшим почтением и совершенною преданностию...

6

С.-Петербург, 29 ноября 1771.

По принесении нижайшего моего благодарения за милостивое письмо вашего сиятельства от 21-го сего месяца позвольте изъявить мне сердечное сожаление о болезни вашей. Боже дай, чтобы вы хотя здоровье имели отрадное в настоящей скуке вашей. Я не могу

никаким образом успеть что-либо сообщить на сей почте вам, милостивый государь, кроме обстоятельной реляции графа Петра Александровича. Стечение множества дел в канцелярии его сиятельства графа, братца вашего, лишает меня счастия служить вам пересылкою других пиес. Я надеюсь, что вы, милостивый государь, удостоверены будучи о сей истине, краткость письма моего извинить изволите.

7

Повеление вашего сиятельства разослать два пакета, приложенные к письму вашему, получил я вчера и тот же час оное исполнил.

Здесь имею честь включить другое письмо мое с приложением, также и речь петербургского архиерея, говоренную им после молебна, отправленного в воскресенье за выздоровление его имп. высочества.

Государыня сейчас изволила пойти в Царское Село, но государь великий князь остался в городе.

Позвольте мне навсегда с глубочайшим почтением и совершенною преданностью быть...

8

В С.-Петербурге, 3 января 1772.

За краткостию времени, нахожу себя принужденным отложить отправление некоторых внимания достойных пиес к вашему сиятельству до завтрашнего дня, а теперь имею честь препроводить здесь письмо его сиятельства графа, братца вашего, и объяснить вам, милостивый государь, что упоминаемая в оном табакерка для графини Марии Родионовны[1] есть та самая, которую вы получить уже изволили пред сим за одну почту.

Предоставляя себе счастие, при завтрашней экспедиции, ответствовать на последнее письмо, коим ваше

---

[1] М. Р. Панина.

сиятельство меня удостоили, имею честь включить здесь в копиях реляцию графа Петра Александровича. В прочем с глубочайшим почтением и совершенною преданностию во всю жизнь мою пребуду...

9

4 января 1772.

В исполнение вчерашнего моего обещания, имею честь послать к вам, милостивый государь, два рескрипта о перемирии: один к графу Петру Александровичу, а другой к графу Алексею Григорьевичу. Сверх того, копии с реляций князя В. М.[1] здесь включаю.

Милостивое письмо вашего сиятельства, изъявляющее, при обновлении года, желание ваше о моем благополучии, тем более трогает сердце мое, что я и настоящим моим счастием должен вашему покровительству. Верьте, милостивый государь, что нет на свете ничего такого, чем бы не пожелал я доказать вашему сиятельству истинную мою благодарность и сердечное усердие к особе вашей!

Рассуждение вашего сиятельства о толкованиях публики, судящей по обманчивой наружности, сказывал я его сиятельству графу, братцу вашему. Радуюсь, что мое о том мнение почел он справедливым, а для того осмелюсь и здесь сказать оное. Публика редко или и никогда не отдает справедливости живым людям. Потомству предоставлено разбирать и утверждать славу мужей великих; оно одно беспристрастно судить может, ибо никакая корысть не соединяет тогда судью с судимым. Достойный человек не должен огорчаться тем, что льстецы, при нем отъемля его цену, придают ее своему идолу. Такие льстецы сколь иногда ни заражают своими подлыми и ложными внушениями публику, но она рано или поздно отдаст справедливость достойному, разобрав лесть и клевету от самой истины. Впрочем, милостивый государь, извольте поверить, что наш [...] столь открыт, что никто, конечно, в душе своей не по-

[1] В. М. Долгорукий-Крымский.

мыслит, чтоб он даровал России спасение и мир. О г-не Ассебурге спрашивал я нарочно его сиятельство графа, братца вашего. Он изволил сказать, что нет никакого еще назначения для сего министра, а принят он в службу как человек великих достоинств и способный на всякое большое дело.

10

В С.-Петербурге, 10 января 1772.

Прошедшую почту пропустил я за нестерпимою головною болезнию. Она хотя и всегда меня мучила, однако ныне примечаю, что сила ее становится час от часу нестерпимее. Сколь жестоко ею стражду, столь много и жалею, что иногда она не допускает меня до сердечного моего удовольствия писать к вашему сиятельству.

Повеление ваше, милостивый государь, о доставлении кн. К. Романовне [1] письма вашего исполнил я тот же час, получа его при милостивом письме вашего сиятельства от 29 декабря.

На сей час имею честь приложить токмо здесь копию с письма, при котором препровожден был известный рескрипт *о перемирии.*

Из Берлина получено известие (за достоверность которого, однако же, ручаться нельзя), что князь Кауниц впал в немилость. Если сие правда, какой великий оборот возьмут дела в Европе! Несчастие Кауницево несравненно нам полезнее ссылки Шуазёлевой.

С глубочайшим почтением и беспредельною преданностию во всю жизнь мою пребуду...

11

18 января 1772.

Получа милостивое письмо вашего сиятельства от ... приношу за него нижайшее благодарение. Я читал оное его сиятельству, братцу вашему, и он ко всем рассуж-

---

[1] Е. Р. Дашкова.

дециям вашим о реляциях князя В. М.[1] ничего больше не прибавил, кроме сожаления своего о том, что дела испорчены невежеством. Я истинно думаю, что он или не читает, или, что еще хуже, не понимает того, что к нему пишут и что до него к вашему сиятельству писано было. Здесь имею честь приложить реляции из второй же армии. Включенный тут рапорт г-на Веселицкого доказывает, что и он не много сделать сможет и что Евдокиму Алексеевичу[2] пора уже к ним ехать.

Полученные реляции из первой армии, от Александра Ильича[3] и от генерал-майора Шипова, следуют здесь к прочтению вашего сиятельства.

По мирному делу ничего нового нет, кроме прилагаемого здесь письма из Вены от князя Д. М.[4] Оно если ничего решительного в себе не заключает, то по крайней мере доказывает, что известие о несчастии Кауницевом совсем несправедливо.

На сих днях отправлен был маленький рескрипт к князю В. М. с тем, что ему приехать сюда не позволяется.

С глубочайшим почтением и совершенною преданностию во всю жизнь мою пребуду...

12

В С.-Петербурге, 20 января 1772.

С сердечною благодарностию имел я честь получить милостивое письмо вашего сиятельства от 12 января. Откровенность, с которою вы изъясняться со мною изволите по содержанию оного письма, делает мне особливую честь, побуждая меня изобразить здесь мысли мои, родившиеся от собственных рассуждений. Правда, милостивый государь, что великий человек стараться должен не допускать славу свою похищать другим, но

---

[1] В. М. Долгорукий-Крымский.
[2] Е. А. Щербинин.
[3] А. И. Бибиков.
[4] Д. М. Голицын.

если льстец и предаст иногда потомкам людскую славу, то нельзя же и от потомства отнять той справедливости, чтобы не распознавало оно истины от лжи. О потомках наших должны мы судить по самим себе. Сколько же древних историков, а особливо стихотворцев, презрены нами для того только, что мы подозреваем их или во льсти, или во злобе; для того первое старание читателя истории и состоит в том, чтоб тотчас узнать жизнь авторову и тогда уже судить, достойна ли веры его история. Один добрый и справедливый историк задавляет тысячи подлых писателей, которые, конечно, бесчестят и себя и своих героев. Все те большие люди, коих история писана во время их жизни, должны твердо верить, что не по тем описаниям судить об них будут, которые они читали сами, а по тем, которые по смерти их свет увидит. Тогда-то зависть умолкнет, лесть исчезнет, и все пристрастия, подобно грубому илу, упадут нечувствительно на дно, а истина одна выплывет наверх.

Здесь имею честь приложить письмо, достойное любопытства вашего, нижайше прося сообщить мне ваше о том мнение для уведомления о нем его сиятельства графа, братца вашего. Включенная здесь другая пиеса содержит описание о камчатском деле, оттуда ныне полученное.

13

22 января 1772.

Пользуясь отправлением нынешней штафеты, имею честь послать к вашему сиятельству реляции из первой армии и из Польши. Теперь, милостивый государь, упражняюсь я в переводе с полученного на сих днях ответа из Берлина на известный наш *контрпроект*. Надеюсь изготовить сие отправление к будущей почте и ласкаю себя, что оное принято будет от вашего сиятельства новым знаком беспредельного моего к вам усердия, с коим, равно как и с глубочайшим моим почтением, во всю жизнь мою пребуду...

14

В С.-Петербурге, 26 января 1772.

Новое и великое явление открылось для Дании сего месяца 6-го дня. Королева, фаворит ее Струэнзе и множество других особ арестованы. Она отвезена в Кроненбургскую крепость, а прочие в Копенгагенской содержатся под строжайшим караулом; а каким образом происходило сие приключение, о том имею честь для вашего сиятельства включить здесь выписку из письма нашего поверенного там в делах, г-на Местмахера. К оному остается прибавить только то, что на графа Ранцау, как на производителя дела сего, надет орден Белого Слона и что у Струэнзе нашли 800 000, а у графа Бранда 300 000 датских талеров, или наших рублей.

Можно сказать, милостивый государь, что история нашего века будет интересна для потомков. Сколько великих перемен! Сколько странных приключений! Сей век есть прямое поучение царям и подданным!

Надеясь сделать угодное любопытству вашего сиятельства, имею честь приложить здесь перевод, напечатанный с некоторой новой французской пиесы. Оную приписывают Волтеру, а переводил берг-коллегии судья Беклемишев, которого я совсем не знаю.

С глубочайшим почтением и беспредельною преданностию во всю жизнь мою пребуду...

P. S. Здешний генерал-полицийместер получил от брата своего партикулярное письмо, в котором уведомляет он его, что в Камчатке был бунт. Ссылочные люди возмутились, убили воеводу, пограбили город, учинили новую присягу его высочеству и, сев на лодки, поплыли в Америку, будто завоевывать ее великому князю. Для усмирения сих [...] мятежников тотчас отправлен был секретно курьер в Иркутск, к господину Брилю, с рескриптом, коего копия здесь прилагается.

15

В С.-Петербурге, 31 января 1772.

Пребывающий здесь прусский министр[1] получил от короля, своего государя, депешу, из коей выписку здесь, в переводе, приложить честь имею. Ваше сиятельство изволите усмотреть из оной, что отторжение Крыма подвержено великому затруднению; но мы уже далеко вошли в сие дело, и я не чаю, чтоб наш двор согласился бросить предприятое толь твердо намерение в рассуждении татарской независимости. По крайней мере до сего часа не взираем мы ни на угрозы венского двора, ни на упорство явного неприятеля нашего, который, как видно, всю свою надежду на австрийцев полагает. Правда, милостивый государь, что, по всему судя, кажется, нельзя миновать новой войны: ибо, с одной стороны, нет сумнения, что венский двор не престанет делать преграды нашему с турками примирению, а с другой стороны, видим, что король прусский воевать уже решился. Продолжение войны нам тягостно, но не легко будет и цесарцам, когда *друг наш* с ними разделываться будет.

Датские дела становятся ныне особливого внимания достойны. Надеясь, что известия об оных вашему сиятельству угодны будут, принял я намерение пересылать к вам, милостивый государь, копии со всех датских депешей, как здесь получаемых, так и отсюда отправляемых. Вследствие чего имею честь включить здесь два письма из Копенгагена и одно ответное отсюда.

Здесь следует полученная на сих днях реляция из второй армии.

Принеся нижайшее благодарение за милостивое письмо вашего сиятельства от 23-го сего месяца, пребываю в прочем с глубочайшим почтением и совершенною преданностию...

---

[1] Сольмс.

В С.-Петербурге, 7 февраля 1772.

Господин Симолин в путь отправился третьего дня; а какое письмо отправлено с ним, в прибавок к прежнему, вам известному, оное вы, милостивый государь, усмотреть изволите из точной с того копии, здесь приложенной.

Известная с прусским королем конвенция уже подписана. Его величество, получив из Вены известие о перемене системы, тотчас прислал с курьером повеление к графу Сольмсу домогаться о скорейшем подписании конвенции, что вчера и действительно исполнено.

Ваше сиятельство при настоящем дел положении легко себе вообразить изволите, в каких заботах должен быть мой милостивый шеф и исполнители его повелений. Для сего нижайше прошу извинить меня, что ничего теперь не ответствую на почтеннейшее письмо ваше от 30 января, кроме принесения за оное нижайшего благодарения.

С глубочайшим почтением и беспредельною преданностию имею честь быть...

P. S. Я не могу довольно изъяснить, с какою радостию отправляю здесь вашему сиятельству все обещанное мною на прошедшей почте. Вы, милостивый государь, увидите тут истинное торжество братца вашего. Вдруг положение всех дел прияло для нас новый, славный и полезный оборот! Неукротимый венский двор, почитавший до сего дня все наши резоны недостойными своего внимания, приемлет их же за доказательства геометрические, почитает кондиции наши справедливыми и признает систему нашу натуральною. Все сие есть действие душевной твердости братца вашего, которому отечество наше должно будет миром, возводящим его на верх славы и блаженства.

17

В С.-Петербурге, 6 марта 1772.

Имея честь препроводить здесь письмо государя цесаревича к вам, милостивый государь, исполняю тем самым повеление его сиятельства графа, братца вашего, который сам за множеством дел на сей почте к вам писать не может.

Позвольте принести нижайшее благодарение за милостивые выражения в последнем письме вашего сиятельства, которое имел я честь получить 27-го прошедшего месяца. Верьте, милостивый государь, что усердие мое к вам вечно в сердце моем вкоренено и что доброе мнение ваше есть одно из главных видов моего честолюбия, равно как и то, что я долгом моим почитаю быть навсегда с глубочайшим почтением и совершенною преданностию...

18

В С.-Петербург, 6 марта 1772.

На прошедшей почте имел я честь отправить к вашему сиятельству письмо из Вены от князя Голицына. В оном вы, милостивый государь, видеть изволили, что венский двор послал декларацию в Берлин с таким повелением своему там министру, что если король подобную подпишет, то б в таком случае Свитен послал курьера того сюда, дабы князь Лобкович исходатайствовал то же самое и от ее императорского величества. Теперь за долг себе поставляю донести вашему сиятельству, что король прусский подписал помянутую пиесу и князь Лобкович, получа третьего дня из Берлина курьера от Свитена, подал здесь приложенную при сем в переводе декларацию с сообщением выписки из Кауницевой к себе депеши.

Ее императорскому величеству угодно подписать желаемую венским двором декларацию. Оная на сих днях и отдана будет князю Лобковичу при министериальной записке, которая еще теперь не изготов-

лена и которую к вашему сиятельству в свое время отправлю.

Можно сказать, что князь Кауниц во все нынешнее дело распорядил меры свои так неудачно, возненавидел нас и возгордился толь безрезонно, переменил свою систему так скоропостижно, что чрез все сие заслуживает он лишиться *эстимы* [1] всего разумного света. Гордость злобная всегда нестерпима, но гордость, премениwшаяся вдруг в смиренную низость, достойна посмеяния и презрения!

Прибывший вчера из Берлина к графу Сольмсу курьер привез от короля весьма любопытные пиесы, в коих его прусское величество своим *манером* отдает всю справедливость странному поведению князя Кауница. Жалею, милостивый государь, что на сей почте не успеваю сих бумаг послать к вашему сиятельству, но на будущей стараться буду оное исполнить.

О венских условиях с турками, по начатии сей войны, были здесь разные известия; но ныне конфедентно сообщена нашему двору от английского посла копия с конвенции австрийцев с турками. Хотя за достоверность сей пиесы ручаться невозможно, однако, для любопытства вашего сиятельства, включаю здесь ее, на наш язык переведенную.

На сих днях получена здесь из первой армии реляция, с которой копию здесь подносят, с глубочайшим почтением и сердечною преданностию навсегда имею честь быть...

19

В С.-Петербурге, 20 марта 1772.

Исполненное милости и доверенности письмо вашего сиятельства от 12 числа сего месяца я имел честь получить и приношу за оное нижайшее благодарение.

Нельзя лучше изобразить характера князя Кауница, каким ваше сиятельство его представляете; но при всем том, положа за правило, что всякий и совести

---

[1] Уважения *(франц.)*.

не имеющий человек остается тогда при своих обязательствах, когда в том находит свой интерес, нельзя усомниться, чтобы Кауниц непрямодушно вступал теперь с нами в общее дело. Всеконечно, милостивый государь, трактуя с таким человеком, не надлежит выпускать из глаз осторожности, но оная и наблюдается поскольку человечески возможно.

Новые депеши, привезенные из Вены майором Тиром, имею честь включить здесь вашему сиятельству, равно как и еще некоторые пиесы, достойные внимания вашего.

Простите мне, милостивый государь, что в приложении, отправленном на прошедшей почте, под № 4, забыто заглавие, которому надлежало быть такову: «Копия с письма его сиятельства графа Никиты Ивановича к посланнику князю Голицыну, в Гагу».

Господин Ассебург прислал к вашему сиятельству письмо свое. Как оное, так и изготовленный от вас ответ имею честь приложить, по приказанию его сиятельства графа, братца вашего. Если вы, милостивый государь, изволите подписать его и прислать ко мне, то я с первою же почтою к господину Ассебургу его отправлю.

С глубочайшим почтением и ненарушимою преданностию всегда имею честь быть...

20

27 марта 1772.

К сердечному моему удовольствию, имел я честь получить милостивое письмо вашего сиятельства от 19-го сего месяца за подписанием собственной руки вашей. Позвольте принести за оное нижайшее благодарение. На прошедшей почте не имел я чести писать к вашему сиятельству сколько за крайними недосугами, столько и затем, что не имел я ничего сообщить вам, милостивый государь. Почта из Германии, за дурными дорогами, пришла тремя сутками позже обыкновенного, так что газеты, которые надлежало отправить к вашему

сиятельству в пятницу, принужден теперь только отправить.

По делам нет никакого нового происшествия, но некоторые пиесы для любопытства вашего здесь включить честь имею. Ведая же, что вы, милостивый государь, желаете иметь коллекцию *творений князя В. М.*,[1] прилагаю здесь точные копии с последних его реляций. К будущей почте поспеют у меня некоторые переводы с пиес, примечания заслуживающих.

С глубочайшим почтением и ненарушимою преданностию во всю жизнь мою пребуду...

21

В С.-Петербурге, 6 апреля 1772.

Принеся должнейшее и искреннейшее благодарение вашему сиятельству за милостивое письмо от 26 марта, нижайше прошу извинить меня в том, что я пропустил прошлую почту, не писав ничего к вашему сиятельству. Стечение важнейших дел, занимающих, можно сказать, всякую минуту моего милостивого шефа, заняло и все мое время в исполнении его повелений, по долгу звания моего. Истинно, милостивый государь, тому уже с неделю, как ни днем, ни ночью нет одохновения! Чему доказательством служит то, что я принужден был пропустить почту, не писав к вашему сиятельству и не исполнив тем сердечного долга моего. Сверх же того, извинит меня пред вами настоящая большая моя, под 7-ю нумерами, экспедиция к вашему сиятельству. По оной вы сами заключить уже изволите, сколь стечение дел у нас велико. Но прежде нежели объясню я вам, милостивый государь, каждый нумер моих приложений, позвольте мне служить должным ответом, с сердечною моею откровенностию, на последнее письмо ваше, наполненное выражениями ко мне милости и доверенности вашего сиятельства.

Комиссия о исследовании преступления Пушкиных и доныне продолжается. Оба они повинились, так, как

---

[1] В. М. Долгорукий-Крымский.

и Сукин, другие же или никто не приличились, или имена их так тайно содержатся, что узнать о том никаким образом невозможно.

Рассуждения вашего сиятельства об истинном *источнике развращения нравов,* доводящего до самого бездельства, основаны на таковой истине, с каковым проницанием ваше сиятельство вникнуть изволили в сие разобрание причин расстройства людей, воспитанных при худых примерах и худыми людьми. И в самом деле, милостивый государь, лучше не быть никак воспитану, нежели так развращенно, как иногда многие у нас воспитываются. Об исправлении ума столь много у нас помышляют, сколь мало об исправлении сердца, не зная того, что добродетельное сердце есть первое достоинство человека и что в нем одном только искать и находить можно блаженство жизни нашей.

Что же принадлежит до примечаний в. с. относительно неудачного араковского штурма, то я, к сожалению моему, не нахожу иного донести по оному в. с., кроме того, что происшествие сие делает войску нашему великое предосуждение.

По воле ее сиятельства, графини Марии Родионовны, о шелках в Ливорне я писал, и какой ответ получу, о том донести не премину.

Теперь приемлю смелость объяснить вашему сиятельству каждый № моих приложений. Первый заключает в себе перевод с цареградского известия. Я посылаю оное для того, что некоторые места из оного кажутся мне достойными внимания вашего сиятельства. № 2 содержит всю последнюю важную экспедицию графа Петра Александровича.[1] Вследствие оной назначение послов к конгрессу стало уже публично, а расписание свиты с окладами здесь приложить честь имею. С графом Гр. Гр.[2] едет Баур и лифлянец Лёвен. Секретарь посольства до сих пор еще не назначен. Кавалерами посольства назначены гвардии офицеры: Лунин, Фонвизин, брат мой, Богданов, Трегубов и еще некоторые, коих имена не упомню. Под № 3 прилагаю все

[1] П. А. Румянцев.
[2] Г. Г. Орлов.

то, что вчера отправлено к графу Петру Александровичу, по содержанию чего послы наши дней через десять выехать намерены. Хотя я и сообщил уже вашему сиятельству копию с конвенции о перемирии, но как она, по получении последних депешей из первой армии, в некоторых местах переменена, то почел я за нужное включить здесь экземпляр такой, какой вчера к фельдмаршалу отправлен. № 4 заключает в себе, при экстракте из королевской депеши, сочиненный его величеством примерный манифест о раздроблении Польши. Ваше сиятельство изволите увидеть, что король делом мешкать не любит, хотя и уверяет, что он ничем спешить не намерен. Его сиятельство граф, братец ваш, изволил препоручить г-ну Веймарну, как человеку, имеющему отменную способность раздроблять дело на самые малейшие части, сочинить *дедукцию* наших на Польшу претензий, которую я под № 5 приложить честь имею, равно как и другую пиесу, сочинение его же, г. Веймарна, до Польши касающееся. № 6 содержит датские депеши; а под № 7 включаю письмо, полученное из Вены на *штафете*.

За особливое почту счастие, если вашему сиятельству угодно будет старание мое о доставлении вам, милостивый государь, всего того, в чем состоит настоящее мое отправление, и если вы, м. г., удостоите меня сообщением вашего мнения по толь важным делам отечества нашего.

С глубочайшим почтением и совершенною преданностию во всю жизнь мою пребуду...

22

10 апреля 1772.

Зная совершенную мою к вам преданность, вы, милостивый государь, конечно, не сомневаетесь в искреннейшем участии, которое приемлю я в оскорблении вашем от болезни любезного сына вашего. Я с нетерпеливостию ожидаю будущей почты и желаю сердечно услышать о его выздоровлении. Позвольте принести

нижайшее благодарение за милостивое письмо ваше от 2-го сего месяца. Я не премину отправить ответ от имени вашего к ногайскому начальнику с первым в ту сторону едущим курьером.

Реляции гр. Петра А. и Александра Ильича[1] имею честь здесь приложить к вашему сиятельству, а скоро надеюсь удовольствовать любопытство ваше сообщением инструкции г-м послам, на конгресс едущим. Она теперь еще не готова, но к будущей почте, я чаю, поспеет.

С глубочайшим почтением и беспредельною преданностию во всю жизнь мою пребуду...

23

13 апреля 1772.

Не имея на сей почте письма от вашего сиятельства и предуведомлен будучи о болезни любезного сына вашего, не могу изъяснить вам, милостивый государь, моего сердечного беспокойства. Боже, дай, чтоб будущая почта обрадовала меня известием о его выздоровлении.

Инструкцию послам, на конгресс назначенным, имею честь приложить здесь. Но чтоб настоящее положение наше с татарами яснее вам представить, то рассудил я при сем включить к прочтению вашему инструкцию, заготовленную для Евдокима Алексеевича Щербинина. Третья пиеса следует здесь; также инструкция для контр-адмирала Чичагова.

С глубочайшим почтением и беспредельною преданностию во всю жизнь мою пребуду...

P. S. Из Швеции получено известие, что сенатор барон Дебен выбран первым министром, на место покойного графа Экеблата, и что король[2] назначил день своей коронации 18/29 мая.

---

[1] П. А. Румянцев и А. И. Бибиков.
[2] Густав III.

24

В С.-Петербург, 17 апреля 1772.

Принеся нижайшее благодарение за милостивое письмо вашего сиятельства от ... нынешнего месяца, имею честь по делам донести о всем, что после отправления последнего письма произошло примечания достойного.

Ожидаемый столь долго из Вены курьер наконец сюда приехал. Князь Кауниц сообщил здешнему двору, что́ берет на свою долю его государь.[1] Я не могу всех депешей сообщить теперь вашему сиятельству, затем что они мне еще не отданы; но, читая их, я нарочно выписал для вас то, что составляет существо сих депешей . . . .

Вот что венский двор себе *откроить* хочет.

«Часть Краковского воеводства по правую сторону Вислы, от *Биала* [Biala] вдоль по сей реке до *Сандомира,* а оттуда вперед до супротив *Зволена* [Zwolen], по реке *Вепрже* [Wieprz]; оттуда до *Баркова* в угол, где соединяются границы воеводств: Люблинского, Красно-русского и *Брестского* [Brzescianensis] и где впадает в сию реку рукав другой реки, начинающейся на границе воеводства *Брестского,* до сего последнего воеводства и Великой Литвы. Оттуда вдоль по границе воеводства Брестского или Великой Литвы, и между воеводством *Бельцким* [Belscensis] и *Волзиским,* так чтоб целое воеводство Бельцкое включено было в новую границу. Потом вдоль Волынской границы до Подолии, и вдоль границы сего воеводства до Днестра, и по ту сторону сей реки, вниз по ней до Молдавии. Наконец, вдоль границы Молдавской до Трансильвании, и взаимно до Венгрии, или до уездов *(Марморма и Радны),* так чтоб все сие присвоение касалось левым крылом до Силезии, а правым до Трансильванской границы».

Ваше сиятельство по карте усмотреть изволите, что венская доля по своему пространству велика, но князь Кауниц в резон тому поставляет, что наша и прусская

[1] Иосиф II.

доля имеют такие политические выгоды, каких венская не имеет. Для того чтоб во всем наблюсти равенство, венский двор хочет наградить себя пространством земли за то, в чем наши части изобилуют по видам политическим. Ваше сиятельство сделаете мне особливую милость, если удостоите меня узнать ваше мнение о сем распоряжении. Я же, с своей стороны, осмелюсь донести вам мою об оном мысль. Мне кажется, что хотя требование венское и великовато, но с некоторыми *малыми выключениями* можно нам на оное согласиться; *ибо за сию цену куп*[*им мы*] прекращение большой войны, нас изнуряющей, *куп*[*им прекращение*] польских мятежей, которые отвлекают наше внимание от других дел и причиняют нам лишние хлопоты и непрестанную заботу. Сверх же того, участвуя в разделе Польши, мы достанем *из нее* себе долю довольно выгодную. Очень бы жаль было, если б за несколько миль разрезаемой Польской земли завязались новые раздоры или, избави бог, и новая война.

Граф П. А.[1] пишет, что он с визирем уже согласился послать в Журжево комиссаров, для перемирия, и что г. Симолин туда отъезжает.

25

В С.-Петербург, 20 апреля 1772.

На нынешней почте получил я от вашего сиятельства пакет, адресованный на мое имя, в котором нашел я письмо не ко мне, но к неизвестной мне особе. Видно, милостивый государь, что письмо, мне принадлежащее, послано ошибкою к тому, чье включено в мой пакет. Я нашел также в нем письмо к Пелагее Федотьевне Каменской, которое тотчас ей отвез; но ни от нее и ни от кого другого не мог проведать о фамилии того, к кому следовало возвращаемое здесь письмо вашего сиятельства.

Имею честь приложить здесь последние реляции гр. П. Александровича, датские депеши и прибавление

[1] П. А. Румянцев.

к инструкции послам, на конгресс отправляющимся. Они выедут на будущей неделе, и с первым послом едет брат его, граф Федор Гр.,[1] не в качестве полномочного, но для компании своему брату. Г. Лёвен на сих днях пожалован камергером.

С глубочайшим почтением и беспредельною преданностию во всю жизнь мою пребуду...

26

24 апреля 1772.

На прошедшей почте, донеся вашему сиятельству об ошибке, учиненной в отправлении ко мне вашего письма, до меня не следовавшего, сделал и я подобную ошибку: забыл приложить то письмо, которое тогда хотел я возвратить к вашему сиятельству. Ныне исполняя оное, нижайше прошу, милостивый государь, в том извинить меня.

Краткость времени, к сожалению моему, не позволяет мне больше, как только всем сердцем, возблагодарить ваше сиятельство за милостивое и откровенное письмо ваше от 16-го нынешнего месяца, а ответствовать на оное предоставляю себе счастие на будущей почте.

Вчера государыня изволила отправиться в Царское Село, откуда завтра первый посол в путь свой отправится.

Имею честь послать здесь к вашему сиятельству рескрипты к графу Петру Александровичу и письмо из Копенгагена. Венские же депеши, коих главное существо знать уже изволите, не успеваю на нынешней почте к вам отправить, ибо перевод оных, со всем моим старанием, никак к сегодняшнему отправлению изготовлен быть не мог.

Его сиятельство граф, братец ваш, изволил поручить мне извинить его пред вами, что так долго к вам не пишет за всечасными своими упражнениями по на-

---

[1] Ф. Г. Орлов.

стоящим делам, которых важность вашему сиятельству открыта во всем ее пространстве. Он приказал мне отправить к вашему сиятельству в копии письма к нему от Алек. Ильича Бибикова, которые вы, милостивый государь, здесь найти изволите.

27

25 апреля 1772.

Упоминаемые во вчерашнем письме моем к вашему сиятельству венские депеши сегодня изготовлены, и я, не хотя пропустить отправляющейся в Москву *штафеты,* спешу доставить оные здесь вашему сиятельству, с примечанием, что упомянутый в сих депешах project de l'article[1] я здесь не прилагаю, ибо оный состоит слово в слово в том определении венской доли, которое ваше сиятельство найти изволите в письме моем от 17-го нынешнего месяца.

28

2 мая 1772.

Принужден будучи пропустить прошедшую почту за прежестокою головною болезнью, продолжавшейся [...] исполняю теперь приятный долг мой, принося нижайшее благодарение за два милостивые письма в. с. от 19 и 23 чисел прошлого месяца, а как за недосугами моими не успел я до сего писать к вам, милостивый государь, и на прежнее письмо ваше от 16-го, то ныне имею честь на все три ответствовать вашему сиятельству с таким совершенным чистосердечием, какою откровенностию вы меня удостоивать изволите.

Уведомление о любезном сыне вашем почитаю я новым знаком вашей ко мне милости. Нельзя искреннее моего желать, чтоб здоровье его пришло совсем в безопасное состояние, к утешению и спокойствию вашему,

---

[1] Проект статьи *(франц.).*

Удовольствие ваше, милостивый государь, о рачении моем исполнять вашу волю есть истинная награда моему сердечному к вам усердию. Мне любезно упражнение в сообщении дел вашему сиятельству, и я с радостью продолжать оное буду до тех пор, пока при делах останусь.

Патриотические о мире рассуждения ваши, милостивый государь, конечно, не найдут противоречия ни от кого из истинных граждан. Ваше сиятельство столько имеете причины радоваться тому, что все уже устроено к трактованию о мире, сколько беспокоиться о том, чтоб сие устроение не разрушилось от того, кто посылается исполнителем. Правда, что мудрено сообразить потребный для посла характер с характером того, кто послом назван:[1] но неужели бог столь немилосерд к своему созданию, чтоб от одной збалмошной головы проливалась еще кровь человеческая. Дело, однако ж, возможное...

[Окончания нет.]

29

4 мая 1772.

Я не могу известить ваше сиятельство, сколь много оскорбило меня то беспокойство, которое наделал я вам моею ошибкою, забыв положить тогда известное, не ко мне следующее, письмо. Но теперь ласкаюсь, что ваше сиятельство, получа уже оное, поспели узнать, что тут ни от кого не было коварства, а, как видно, ваше письмо ко мне попало к неизвестному мне Ивану Александровичу. Жалею о том только, если он прочтет письмо вашего сиятельства ко мне, которое, может быть, ему откроет нечто такое, чего знать ему не должно.

Получа вчера поздно милостивое письмо ваше от 26-го, не мог я увидаться ни с Николаем Ивановичем Неплюевым, ни с Александром Федоровичем Талызиным; но я думаю, что они, конечно, отдали б мне принадлежащее письмо, если б к ним в руки попалось. Успокоиваюсь я тем, что вы, милостивый государь, уже

---

[1] Г. Г. Орлов.

получили теперь то известное письмо, посланное мною к вашему сиятельству на другой же почте после той, на которой я его забыл отправить. Итак, с будущею почтою ожидаю я, что дело изъяснится и что ваше сиятельство совершенно об оном успокоитесь. Жалею сердечно о том только, что ошибка моя лишила меня счастия получить на сей почте милостивое письмо ваше [...], но на будущей оного ожидаю. От 23 числа письмо вашего сиятельства ко мне было, и на оное имел я честь ответствовать третьего дня.

Прилагая здесь по реестру некоторые приложения, пребываю с глубочайшим почтением и беспредельною преданностию...

P. S. Из Дании получено известие, что графы Струэнзе и Бранд казнены смертию 17-го нынешнего месяца.

30

В С.-Петербурге, 8 мая 1772.

С нынешнею почтою имел я честь получить милостивое письмо вашего сиятельства от 30-го и прежнее, от 26 апреля. Принося за них нижайшее благодарение, радуюсь сердечно, что сомнение об отправлении ошибкою вашего письма решилось и что в оном не было ничего такого, чего бы другому открыть вам не было угодно.

Лучшую польскую карту, какую мог достать его сиятельство граф, ваш братец, при сем посылаю, надеясь, что из нее яснее, нежели из прочих, видеть можно, что кому достается. Ваше сиятельство предузнать изволили, что прусскому королю австрийская доля великовата покажется, равно как и нам. Его величество писал уже об оном к гр. Сольмсу, чтоб он внушил здесь, сколь чрезмерно кажется ему требование венское. Я, не распространяясь об оном далее, доношу вам, милостивый государь, что хотя мы и ничего до сего времени не сказали положительно князю Лобковичу, однако определено здесь умерить требования его

двора и поставить таким образом новую австрийскую границу, а именно:

«Течение Днестра между Подолиею и Покуциею, от того пункта, где сия река касается Молдавии, выходя до *Komnisky,* или другого пункта по сю сторону Самбора, а оттуда линиею, которая оставит в стороне Леопольский уезд и Бельцкое воеводство, до реки *Wieprz,* и вниз по сей реке, до впадения ее в Вислу, потом течение Вислы вверх по ней до устья реки *Dunaja,* и течение сей до Венгрии, или линии, протянутой с какого-нибудь пункта ее течения, который бы коснулся силезской границы, но при всем том, оставляя в стороне соляные заводы, так что *сей предмет, равно как Леополь с своим уездом и Бельцкое воеводство, составляют собственно то, что хотим убавить от доли, требуемой австрийцами».*

Изъясня, таким образом, вашему сиятельству здешнее намерение, доношу вам, милостивый государь, что, кажется, Вена и не сделает затруднения на оное согласиться. Теперь его сиятельство граф, ваш братец, упражняться изволит в сочинении формального сообщения об оном князю Лобковичу, равно как и манифеста для Польши, вследствие постановленного соглашения между тремя дворами.

Полученное из Вены письмо посылаю к вашему сиятельству. За излишнее почитаю включить здесь Местмахерово письмо о казни графов Струэнзе и Бранда, ибо оное в гамбургских газетах найти изволите.

С глубочайшим почтением и беспредельною преданностию имею честь быть...

31

11 мая 1772.

Собственноручное письмо вашего сиятельства, полученное мною с нынешнею почтою, имел я честь показывать ближним вашим, в удостоверение их о здоровье вашем и в исполнение вашей о том воли. Его сиятель-

ство граф, братец ваш, упражняется теперь в делах, касающихся до польских приобретений, и могу уверить вас, милостивый государь, что по отправлении послов дела нимало не уменьшились, ибо настали тотчас другие, кои по своей важности времени не терпят.

С сею почтою не нахожу я ничего к доставлению вашему сиятельству, но то только донести могу, что вчера из Царского Села ее величество изволила прибыть сюда в совет, где трактовано было о распоряжениях, касающихся до нашей доли из Польши, и вот что, *в крайнем секрете,* на мире положено:

Наши приобретения разделены будут на две губернии: одна называться станет *Псковская,* а другая *Могилевская.*

Первая будет состоять из провинций: 1. Псковской, 2. Великолуцкой, 3. Двинской, в которую переименовать Польскую Лифляндию, 4. Полоцкой, состоящей из той части Полоцкого воеводства, которая в наши границы входит, и из Витебского, по правую сторону реки Двины; губернским городом назначается Опочка.

Вторая губерния составится из провинций: 1. Могилевской, 2. Оршанской, 3. Рогачевской, 4. Витебской. Сия составится из лежащих мест между реками Двиною и Днепром, входящих в наши границы; губернским городом будет Могилев.

Над обеими губерниями поставлен будет генерал-губернатор; но кто, неизвестно. В каждую пошлется по губернатору, и за тайну сказывают, что в одну назначают генерал-майора Каховского, а в другую генерал-майора Кречетникова.

С глубочайшим...

32

Царское Село, 5 июня 1772.

Прибывший из первой армии вчера курьер привез приятное известие о перемирии, заключенном прошлого мая 19 числа. Сия ведомость принята здесь с искренним удовольствием, как преддверие тишины и общего покоя.

Имея честь поздравить ваше сиятельство с сим происшествием, как истинного патриота, не могу, к сожалению моему, за крайними недосугами войти теперь в объяснение тех приложений, кои здесь вам, милостивый государь, подношу при особливом реестре. Отправление в Вену курьера с депешами, которых копии с будущею почтою получить изволите, отнимает у меня время и способы продолжить сие письмо и ответствовать на полученное мною с последнею почтою милостивое письмо вашего сиятельства от 28 мая. Я приношу за оное нижайшее благодарение и приемлю его знаком вашей драгоценной мне доверенности, пребывая с глубочайшим почтением и сердечною преданностию...

Реестр приложениям к письму от 5 июня 1772.

1. Реляция гр. П. Алекс. Румянцева от 20 мая с одним приложением.
2. Письмо его же от 20 мая.
3. Реляция его же от 25 мая, с приложением.
4. Письмо его же от 25 мая.
5. Реляция г. Сенявина от 13 мая.
6. Письмо ее величества к кн. В. М. Долгорукому.
7. » » » к г-ну Щербинину.

33

Царское Село, 13 июня 1772.

Прошедшую почту не мог иметь я счастия писать вашему сиятельству по причине нечаянной моей поездки в город. Вчера жестокая головная болезнь воспрепятствовала мне сей долг исполнить; итак, уже пользуясь отправляющеюся теперь *штафетою,* имею честь включить здесь обещанную мною в Вену экспедицию.

Милостивое письмо вашего сиятельства от 3 июня приемлю я новым знаком доверенности вашей, толь лестной сердцу моему. Многое мог бы сказать по его содержанию, но истинно от вчерашней головной болезни не нахожу себя в состоянии ни о чем мыслить порядочно. Извините меня сим, милостивый государь, и будьте уверены, что для сей же самой причины

не могу я ничего донести вашему сиятельству в объяснение тех приложений, которые здесь следуют по реестру.

С глубочайшим почтением...

34

Петергоф, 26 июня 1772.

Оправляясь мало-помалу от болезни и находя себя несколько в состоянии ответствовать на милостивое вашего сиятельства письмо от 11-го нынешнего месяца, исполняю сей долг с сердечным удовольствием. Рассуждения ваши, милостивый государь, о судьбе новых наших подданных, неоспоримо справедливы, и таковыми находит их его сиятельство граф, ваш братец; остается желать только, чтобы, когда уже невозможно избежать злоупотребления, оное было хотя в меньшей степени.

Главнокомандующий в Архипелаге нашими силами[1] рассудил за благо публиковать манифест, который ваше сиятельство изволите найти в приложенных при сем гамбургских газетах. Противу военных прав, принятых всею Европою, почитает он между запрещенными товарами и *съестные припасы.* Сие самое изволновало все европейские державы, а особливо ненавидящую нас Францию. Первая она принесла ныне жалобы двору нашему на такое запрещение. Чем бы дело сие ни кончилось, но и то сказать надобно, что если флот наш не будет неприятеля мучить голодом, не пуская к нему съестных припасов, то ему в Архипелаге и делать будет нечего, ибо атаковать силою неприятеля он отнюдь не в состоянии. Напротив того, не пропуская неутральных держав судов с хлебом, должно поссориться с ними, а может быть, и подраться, в котором случае бой для нас не равен будет. Казус в самом деле деликатный, и я, для любопытства вашего сиятельства, не пропущу, конечно, сообщить вам, какие меры здесь по сему приняты будут.

В приложенных при сем из Варшавы письмах ваше сиятельство найти изволите, сколь *нежно* положение

---

[1] А. Г. Орлов.

наше и с австрийцами. Словом сказать, отовсюду хлопоты, могущие иметь следствия весьма неприятные. К тому же, и здесь сколь мудрено соглашать и прилаживать умы разнообразные, о том больше всех знает его сиятельство гр. Н. И.[1] Божиим провидением все на свете управляется; сие, конечно, правда; но надобно признаться, что *нигде сами люди так мало не помогают божию провидению, как у нас.*

35

Из Петергофа, 10 июля 1772.

Последнее письмо вашего сиятельства, от 2-го нынешнего месяца, имел честь получить и приношу нижайшее благодарение. Включенное в него письмо ваше к государю цесаревичу вручено третьего дня его высочеству чрез его сиятельство графа, братца вашего.

Последнее письмо Алексея М. Обрескова имею честь здесь включить, со всеми к нему приложениями. Более нет ниоткуда в получении пиес, достойных вашего внимания. Из Вены до сих пор решительного ответа еще нет на наше предложение об уменьшении их доли.

С глубочайшим почтением...

P. S. Слух, прошедший в Москве, о истреблении Ладожского полка никакого основания не имеет. Я об оном ничего не слыхал до получения письма вашего сиятельства, что же надлежит до бывшей экзекуции пред Преображенским полком, то сие столь справедливо, сколь первое ложно.

36

Петергоф, 17 июля 1772.

Прибытие курьера из Вены с решительным ответом стало причиною, что я не могу, милостивый государь, распространить письмо мое и войти в дальнейшее объ-

---

[1] Н. И. Панин.

яснение пиес, здесь по реестру приложенных. Впрочем, никто не может сделать толь справедливого заключения, как ваше сиятельство, об отзывах графа П. Ал.,[1] которого характер вам известен. Реляция его любопытна и заслуживает внимания, в рассуждении будущих операций, на случай, ежели б мирная наша негоциация[2] была без успеха.

Венских депешей еще нет в моих руках, но предварительно имею честь донести, что дело берет хороший оборот и известный дележ не встречает более со всех трех сторон никакого препятствия.

С глубочайшим...

Реестр приложениям к письму от 17 июля 1772.

1. Реляция Александра Ильича Бибикова от 27 июня.
2. » Ал. М. Обрескова от 1 июля.
3. Письмо его же, от того же числа.
4. Реляция гр. П. А. Румянцева от 2 июля.
5. » его ж, от того же числа, с приложением.
6. » Е. А. Щербинина от 8 июля, с приложением.
7. Письмо его ж, от того же числа.
8. » кн. В. М. Долгорукова от 18 июня, с приложением.
9. Реляция его ж от 5 июля.
10. » его ж, от того же числа, с 4-мя приложениями.

37

В Петергофе, 24 июля 1772.

В прошедшую пятницу, принужден будучи нечаянно ехать в город, не мог я никаким образом успеть исполнить долга моего отправлением к вашему сиятельству не только письма, ниже газет, которые теперь, равно как и вчера полученные, приложить честь имею. Я надеюсь, что как в оном, так и в краткости сего письма ваше сиятельство меня извинить изволите. В рассуж-

---

[1] П. А. Румянцев.
[2] Переговоры *(франц.)*.

дении трудной и важной негоциации нашей с венским двором, которая занимала нас сряду дни и ночи целую неделю, наконец приходит она к конечному своему совершению, и чрез несколько часов буду я иметь честь проводить его сиятельство графа, братца вашего, в город, для подписания тройной конвенции с цесарским и прусским министром. Через неделю надеюсь я успеть переводом всех новых пиес, до сей негоциации касающихся, кои, можно сказать, целую книгу составляют; а теперь спешу удовольствовать любопытство вашего сиятельства означением здесь границ доли венского двора, каковую согласились мы отдать, а цесарцы взять на часть свою, заключаемою ныне конвенциею.

Сии границы суть: правый берег Вислы от Силезии за Сандомир и до втечения реки Саны, оттуда протянуть прямую линию на *Фронполь* до *Замойска,* а оттуда до *Рубежева* и до реки Буга, и следуя по ту сторону сей реки по истинным границам Красной России (оставляя в то же время границы Волынии и Подолии), даже до оконечностей *Цпараца,* оттуда прямою линиею на Днестр, вдоль реки, отделяющей малую часть Подолии, называемой *Подорц,* до впадения ее в Днестр, и, наконец, обыкновенные границы между Покуциею и Молдавиею.

Вот, м. г., все то, что я на сей раз вашему сиятельству донести успеваю, предоставляя себе счастие ответствовать на два милостивые письма ваши, оба от 16-го дня сего месяца, как скоро только время к тому меня допустит.

С глубочайшим почтением и сердечною преданностию навсегда имею честь быть...

38

В Петергофе, 4 августа 1772.

Наконец и достальные пиесы, под одиннадцатью нумерами, касающиеся до нашей негоциации с венским двором, имею честь сообщить здесь вашему сиятельству.

Ваше сиятельство изволите ныне видеть совершение великого дела. Правда, что трудно весьма было

довести венский двор к сему соглашению, да и преклоня к тому, мудрено же было соединить и удовлетворить интересам каждого двора. Уж никак нельзя было отвратить венский двор от требования соляных заводов и Львова. Дальнейшее с нашей стороны в оном упорство могло бы легко разорвать и всю негоциацию, когда для России все равно, у австрийцев ли соляные заводы или у поляков, и когда король прусский в том не спорит. Итак, судьба Польши, сдружившая три двора, решилась наконец к посрамлению ненавиствующей нам Франции, которая, стремясь сколько можно нам вредить и помешать миру нашему с турками, ищет приключить нам новую войну с шведами, способом произвесть там революцию. Франция рада на сей раз и Швецию подвергнуть равному жребию с Польшею, лишь бы помешать тем миру нашему. Может статься, или, справедливее сказать, нет сомнения, что медленность турецких полномочных для съезда на конгресс происходит от коварных внушений Франции, которая, конечно, питает турков надеждою скорой революции в Швеции и, следственно, новой у нас с шведами войны. В самом деле, если удастся умышляемая революция, то и новая для нас война неминуема; но тогда за верное полагать можно, что датчане вооружатся против шведов, к чему и приуготовлять их поручается отправляющемуся на сих днях в Копенгаген, в качестве полномочного министра, г. Симолину, тому самому, который заключал перемирие.

С глубочайшим почтением и сердечною преданностию...

P. S. Сей момент получено известие, что турецкие послы приехали и были у наших, а наши у них с визитами и разменялись полномочиями.

39

К величайшему моему сожалению, две почты сряду не имел я счастия писать к вашему сиятельству; одну — за случившеюся у меня головною болезнию, а другую — для того, что, получа известие о заражении Клина,

не успел я решиться на способ, чрез который бы письма мои могли мимо Клина доходить верно до рук ваших. Сей способ теперь известен вам, милостивый государь, через письмо его сиятельства, братца вашего. Став, таким образом, уверен о безопасности переписки, которую имею честь вести с вашим сиятельством, продолжаю по делам мое доношение, но, прежде нежели начну оное, позвольте принести вам нижайшее мое благодарение за два милостивые письма ваши, от 17-го и 24-го прошедшего месяца.

В ответ на первое из оных не остается более, как токмо донести вашему сиятельству, что самый опыт доказывает справедливость ваших рассуждений. Зависть венского двора к успехам нашим есть очевидна; но не всякой зависти удается самым делом исполнять свои вредные желания. Может быть, не удастся и сему гордому двору положить преграду нашему вожделенному миру. По крайней мере кажется, что и самому богу нельзя попустить, чтоб злоба торжествовала, а кровь невинных лилась. Что же надлежит до особы его сиятельства, братца вашего, то излишне б мне было изъяснять вам все мое усердие к славе его, но не могу же, милостивый государь, то оставить без ответа, *что* вы мне сказать изволили как брат его и в самое то же время как беспристрастный человек. Без сомнения, больших людей честолюбие состоит в приобретении себе почтения тех, кои сами почтенны и которых во всем свете, конечно, мало. Впрочем, хула невежд, которыми свет столько изобилует, не может оскорблять истинных достоинств, равно как и похвала от невежд цены оным не прибавляет. Сие привело мне на мысль два стишка г. Сумарокова, заключающие в себе сию истину:

Достойной похвалы невежи не умалят;
А то не похвала, когда невежи хвалят.

Дальнейшее происшествие известной вам визирской переписки оправдало совершенно благоразумное примечание вашего сиятельства, которое во втором письме вашем найти я честь имел. Из приложений, о коих упомяну я ниже сего, изволите усмотреть, что

посланная с Ахметом бумага, кроме некоторого нам предосуждения, ничего не произвела. Здесь же, по сей *материи*, следует копия с письма графа Г. Гр.,[1] и хотя, в самом деле, за будущее ручаться невозможно, однако турецкое изнеможение, вступление австрийцев в общее с нами согласие и самая справедливость дела нашего подает причину надеяться, что мир заключен будет по положенному основанию, каким бы *самодуром* на конгрессе поступлено не было.

Вам, милостивый государь, из прежних писем моих уже известно мнение мое о воздавании справедливости от публики великим людям. Сколь то правда, что беспокойство ваше, в рассуждении сего, основано на нежности братского дружества, столь, если смею сказать, мало основательно сие беспокойство ваше и по тому одному, что вся Европа, не говоря уже об отечестве нашем, знает, *кто правит делами и кто мир делает*. Словом, как бы фавер ни обижал прямое достоинство, но слава первого исчезает с льстецами в то время, когда *сам фавер исчезает;* а слава другого — никогда не умирает.

К Я. И. БУЛГАКОВУ

1

С.-Петербург, 30 декабря 1771.

Больной палец мешает мне отвечать собственною рукою на ваше дружеское письмо. Оно извлекло слезы из глаз вашего друга содержанием своим. Недуги тела вашего и арест Маркова огорчили меня несказанно. Поступок посла[2] с Марковым столь ужасен, что поднял бы дыбом волосы на голове моей, если б не носил я парика, потеряв, по несчастию, волосы тому уже года с два. Шутки в сторону, а видно, что житье ваше ху-

[1] Г. Г. Орлов.
[2] Сальдерн.

денько. Сегодня граф[1] писал к послу о возвращении Маркова. Если вы можете способствовать в скорейшем его сюда отправлении, то помогите пожалуйте; а я напрягу все мои силы выхлопотать с будущею почтою письмецо о позволении вам убраться из Варшавы. В прочем, поручая вас защищению божиему как от болезни, так и от посла, пребываю...

2

С.-Петербург, 18 февраля 1772.

Зная, что вы любите помогать бедным людям, рекомендую вам беднейшего из смертных. Имя ему Н. П. Он отправлен отсюда курьером для того только, чтоб остатком курьерских денег мог содержать себя несколько времени. Сделайте мне крайнее одолжение и для той же самой причины, для которой он прискакал к вам, велите вы ему прискакать и к нам. А я, с моей стороны, прошу бога о подании мне случая делать вам подобные услуги.

Марков бедный не бывал к нам до сего часа. Или он в Варшаве, или на том свете, что, мне кажется, для него все равно. Я уже перестал его и ждать, а жду каких-нибудь от вас писем, которые мне добрых вестей о нем не привезут.

Имею честь быть...

3

С.-Петербург, 13 сентября 1773.

Если б не был я в таких обстоятельствах, которые не дозволяют мне ни одной минуты считать собственною моею, то бы молчание мое пред вами было непростительно; но бог и честные люди тому свидетели, что я веду жизнь в некотором отношении хуже каторжных, ибо для сих последних назначены по крайней мере в календаре дни, в кои от публичных работ дается им свобода.

---

[1] Н. И. Панин.

Итак, ласкаясь получить от вас прощение долговременному молчанию моему, стану теперь отвечать по порядку на каждый пункт письма вашего, которое приемлю истинным знаком драгоценной мне дружбы вашей.

Г-ну Ю. дан чин и жалованья прибавлено. И то и другое не много значит; но по крайней мере то изрядно, что он сам поехал к вам, кажется, доволен своею судьбою.

Для поправления временной жизни духовника вашего весьма бы не худо было, если б министр ваш[1] (хотя и неправоверный) представил коллегии формальным образом о прибавке ему жалованья. Сим образом дело сделается с меньшим затруднением.

Нельзя больше входить в состояние ваше, как я вхожу в оное, и потому, что оно мне совершенно известно, и потому, что я желаю вам счастия от всего моего сердца. В ответ на все то, что вы о себе ко мне писали, скажу искренно, что до свадьбы великого князя ничего нельзя сделать, или, яснее сказать, ни о чем графу говорить нельзя. Он занят тем, что мне описывать излишне, ибо вы сами легко себе представить можете его положение. Как же скоро увижу возможность сделать вам услугу, то возьмусь за то с таким усердием, как о собственном моем благосостоянии, в чем даю вам честное слово, которое примите от меня знаком истинной и чистосердечной преданности и почтения, с которым навсегда пребуду...

P. S. Петр Васильевич Бакунин употребил все возможное к поправлению состояния вашего. Неужель его заступление, которому пособлю и я ревностнейшим образом, будет без успеха? Сего я никак не ожидаю, тем более что граф Никита Иванович сам вас весьма уважает; а при таком его к вам расположении, кажется, есть возможность достигнуть до желаемого. Божусь честью, что за истинное счастие сочту, если могу вам в том способствовать, любя и почитая вас сердечно.

---

[1] Стакельберг.

4

С.-Петербург, 27 сентября 1773.

Зная доброе ваше сердце, препоручаю вручителя сего покровительству и попечению вашему. Помогите ему в нынешнее время, если помочь ему можно. Я не буду сказывать вам, в чем состоит дело, ибо оное усмотрите вы из сегодняшней депеши к вашему министру. Я к его превосходительству не пишу теперь за краткостию времени, в чем покорнейше прошу пред ним меня извинить и сообщить приятное известие, что за оконченное воспитание государя цесаревича пожаловано графу Никите Ивановичу 22-го сего месяца:

1. Чин фельдмаршала, и быть ему шефом иностранного департамента.
2. Девять тысяч душ крестьян.
3. Сто тысяч рублей на заведение дома.
4. Ежегодного пенсиона по тридцати тысяч рублей.
5. Ежегодного жалованья по четырнадцати тысяч рублей.
6. Сервиз в пятьдесят тысяч рублей.
7. Дом позволено ему выбрать любой в целом городе и деньги за оный повелено выдать из казны.
8. Экипаж и ливрея придворные.
9. Провизия и погреб на целый год.

На другой день ее величество изволила прислать к нему письмо, с коего перевод здесь следует. [1]

С совершенным почтением и дружбою навсегда пребываю...

5

С.-Петербург, 9/20 сентября 1774.

Накануне получения письма вашего сделалось нечаянно назначение посланником в Царьград г-на Стахиева по именному указу, который, однако, еще не публикован. Сей незапный случай разрушил все мое намерение в рассуждении вашего туда отправления. Итак,

---

[1] См. «Жизнь графа Н. И. Панина», т. II, стр. 279—280. *(Прим. ред.)*

милостивый государь мой, стану теперь добиваться по всей силе и возможности показать вам какую-нибудь другую услугу. Поверьте, что я в том нашел бы истинное сердцу моему удовольствие. Я люблю и почитаю вас всем моим сердцем, и не по одной форме письма, но по всей искренности есмь ваш...

6

С.-Петербург, 11/22 ноября 1774.

Дружеское письмо ваше я исправно получил и уверяю вас, что все от меня зависящее, конечно, употреблю к пользе вашей. Князь Николай Васильевич[1] писал сюда о желании вашем ехать с ним в Царьград, на что шеф наш и согласился. Что ж принадлежит до чина и до прочих агрементов, то, как другу, открою вам мысль мою, что скорейшему получению оного ничто бы так, мне кажется, не помогло, как если б удалось вам самим здесь побывать. Я самым опытом знаю, что, невзирая на старания друзей, отсутствие много мешает, а присутствие и самые дружеские старания делает успешнее.

Вот вам мой искренний и дружеский совет. Примите оный в цене сердечной моей к вам преданности, с которою, равно как и с истинным почтением, навсегда пребываю...

7

С.-Петербург, 31 декабря 1774.

М. г. мой, Яков Иванович. Теперь посылается вам отзыв, следственно остается мне ожидать только вашего прибытия. На подъем назначили вам 1500 руб., да на содержание по 100 руб. в месяц. Если вы будете иметь нужду в деньгах, то, мне кажется, можете вы адресоваться к господину министру и от него получить нечто из определенных на подъем ваш; а он может только хоть канцелярскою цидулкою о том сюда сообщить.

---

[1] Н. В. Репнин.

Я ожидаю вас в Москву, считая, что вы здесь нас застать уже не можете, ибо в половине января двора здесь не будет.

Собирайтесь и приезжайте к нам. Вы найдете здесь людей, искренно вас любящих, в числе коих без ошибки сочтите и меня, пребывающего к вам с сердечным почтением и преданностию...

К И. П. ЕЛАГИНУ

1

Москва [1769].

Семь недель остается мне до сроку, и я нарочно заранее принял смелость всенижайше просить ваше превосходительство об отсрочке мне еще на полгода для следующих причин: 1) Я время мое провожу здесь весьма полезно, в рассуждении известного вам моего состояния; перевел «Иосифа», за который возьму 200 руб.; напечатал «Сиднея»; пишу стихи; дописал почти свою комедию, чему свидетель отъезжающий отсюда С. Г. Домашнев, который все то читал, о чем я имею честь доносить вашему превосходительству. 2) Все братья мои в Петербурге, и если вы не сделаете со мною милости и мне не отсрочите, то отец и мать мои, имев четырех сынов, не будут при старости своей иметь того утешения, чтоб видеть хотя одного из них. Сколь они желают еще моей отсрочки, то ваше превосходительство изволите усмотреть из приложенного здесь письма от отца моего. 3) Я с прискорбием вижу, что, приехав в Петербург, не буду иметь ни малейшего случая заслужить сколько-нибудь те деньги, которые я из казны брать буду. Дела производит г. *секретарь,*[1] а я разве для рифмы буду только *тварь.* Я знаю, что все, кроме создателя, тварь есть; но представьте, милостивый государь, кому хочется быть такою тварью, которая создана для того только, чтоб служить рифмою другой? Ваше

[1] В. И. Лукин.

превосходительство изволите сами знать, что я для миллиона резонов с г. Л.[1] быть вместе не могу; ибо кто не желает остатки дней своих провести спокойно? С Вевером делаю я весьма прочный договор, который состояние мое неотменно поправит и который будет всесовершенно разрушен, если я получу повеление ехать отсюда. Брат мой будет иметь честь вручить вашему превосходительству сие письмо. Сделайте со мною милость, прикажите ему отписать ко мне ваше соизволение, чтоб мог я заранее так расположить дела мои и чтоб не вступил я здесь с Вевером в обязательство, если ваше превосходительство приезд мой на срок изволите считать необходимым для моей фортуны, ибо я твердо уверен, что вы не иначе прикажете мне оставить здешние дела мои и ехать к вам, как разве для того, чтоб каким-нибудь другим и верным способом поправились обстоятельства мои в рассуждении чина и жалованья, без чего, как и вашему превосходительству известно, должен я буду остаться на прежнем основании, на котором быть не могу никаким образом.

Сколь ни редко пишу я к вашему превосходительству, но боюсь, не часто ли и то беспокою я вас вздорными моими письмами, а паче моею философиею. Я знаю, что вы, милостивый государь, упражняетесь в делах важных, а я иногда беру смелость писать шутку; следственно, должен я всегда опасаться, чтоб шутка моя не пришла некстати. И кто может меня в том уверить, что я еще не забыт вами? Для человека, занятого делами, полгода довольно времени забыть и целую сотню людей, не только одного человека; но для меня мало целого моего века к тому, чтоб сердце мое переменилось в рассуждении истинной к вам преданности. Она кончится с жизнию моею.

2

Москва [1769].

Приложенную при сем оду поручил мне автор оныя переслать к вашему превосходительству. Я, с моей стороны, в праздные часы мои (которых в сутки бывает

---

[1] В. И. Лукин.

у меня 24), пишу стихи, которые стоят мне не только неизреченного труда, но и головной болезни, так что лекарь мой предписал мне, в диете, отнюдь не пить английского пива и не писать стихов, ибо как то, так и другое кровь заставляет бить вверх. Все медики единогласно утверждают, что стихотворец паче всех людей на свете должен апоплексии опасаться. Бедная жизнь, тяжкая работа и скоропостижная смерть — вот чем пиит от прочих тварей отличается!

Комедия моя, если ваше превосходительство прикажете мне ехать, привезена будет со мною; а ежели милость ваша столь велика для меня будет, что я еще на полгода здесь останусь, то, переписав чисто, буду иметь честь переслать оную к вашему превосходительству. Я, конечно, уверен, что если она вам не понравится, то вы не припишете сие моему нерачению, а положите вину на слабость сил моих. Ныне же, видно, не так легко избежать критики, как прежде. Я читал, не знаю, на какого-то Александра Васильевича преужасную сатиру. Комедия мне неизвестна, и я не знаю кто автор, но опасаюсь подвержен быть его горестной участи; и для того, милостивый государь, не хочу видеть мою комедию представленною прежде, нежели вы мне самую истину о ней сказать изволите, то есть прикажете выключить то, что вам не нравится, и прибавить то, что вам угодно. Ваша критика мне необходима; да вы же сами изволите видеть, что нет во мне смешной гордости тех, кои, сами на себя и на свое искусство надеясь, считают себя равными с Мольером или, на худой конец, с Детушем.

Позвольте, милостивый государь, повторить мне еще нижайшую просьбу об отсрочке моей, которая в настоящем состоянии моем необходима, разве ваше превосходительство другим каким верным способом оное поправить изволите, продолжая ко мне ваше покровительство, которому навсегда себя препоручая, имею честь быть с глубочайшим почтением...

К А. М. ОБРЕСКОВУ

1

[Сентябрь 1772.]

Милостивый государь мой Алексей Михайлович!

Мое намерение было, следуя сердечной моей преданности, распространить письмо мое к вашему превосходительству откровенным сообщением о *новом здешнем обстоятельстве*. Но, видя из письма к вам его с[иятельст]ва гр. Никиты Ивановича, что он сам дружески подает вам об оном ясную идею, почитаю за излишне повторять здесь содержание его письма, а только скажу вам, милостивый государь мой, что *сие самое обстоятельство* почитается здесь истинным резоном разрыва конгрессу. Жаль, что ваше превосходительство не могли в пору быть о том уведомлены, ибо в таком случае, может быть, удалось бы вам не допустить до толь вредных следств необузданность товарища вашего.

За неизъясненными недосугами принужден я покинуть перо; но никогда не покину моей к вам совершенной преданности, равняющейся с истинным высокопочитанием, с которым пребываю...

P. S. За новость здешнюю имею честь донесть вашему пр-ву, что бывший секунд-ротмистр конной гвардии *Александр Семенович Васильчиков,* пожалованный тому недели с четыре камер-юнкером, получил в нынешнее воскресенье ключ камергерский.

2

[Сентябрь 1772.]

Милостивый государь мой Алексей Михайлович!

При отправлении теперь курьера к его с[иятельст]ву фельдмаршалу[1] не могу пропустить сего случая без засвидетельствования вашему превосходительству моей

[1] П. А. Румянцев.

сердечной к вам преданности. Здешние новости состоят в том, что бывший ваш товарищ[1] отпущен в годовой отпуск с награждением, которого количество превосходит все примеры прежних награждений, а именно:

1) Всемилостивейшей пенсии по полтораста тысяч рублев на год.

2) На заведение дома сто тысяч рублев.

3) Десять тысяч душ; то есть шесть ему и четыре брату его за чесменскую победу.

4) Сервиз в двести тысяч рублев.

5) Другой сервиз поменьше, и которого прямой цены я не знаю.

Вот, милостивый государь мой, каково награждение. Желая вам половины оного, думаю я, что желаю вам того, чем ваше превосходительство были бы довольны.

Более ни о чем на сей раз донесть не имея, пребываю с истинным высокопочитанием и преданностию...

3

В С.-Петербурге, 30 октября 1772.

Милостивый государь мой Алексей Михайлович!

Два почтенные письма вашего превосходительства, одно от 22 сентября, а другое от 8 октября, имел честь исправно получить и приношу за них искреннейшее и нижайшее благодарение. Рекомендацию вашего превосходительства о брате моем приемлю я новым опытом вашей ко мне милости. Что же надлежит до постскрыпта вашего, милостивый государь мой, в партикулярном письме вашем к его сиятельству графу Никите Ивановичу, то я по содержанию оного всякое от меня зависящее способствование показать не премину и надеюсь, что по окончании комиссии вашей отдастся справедливость рекомендованным вами людям тою самою наградою, какую вы для них испрашивать изволите.

---

[1] Г. Г. Орлов.

Ваше превосходительство с сим курьером получаете резолюцию на каждый пункт представления вашего. Радуюсь сердечно, если мое ревностное старание способствовало сколько-нибудь к отправлению сей экспедиции, и уверяю в[аше] превосходительство, что всякую вашу комиссию почитаю я долгом сердца моего и благодарности.

Здешние обстоятельства все те же. Я чаю, вам уже известно, что граф Григорий Григорьевич с дозволения ее величества объявил сохраняемый у него несколько лет диплом на достоинство князя Римския империи. И поныне живет он с братьями в Царском Селе, не видя еще государыни, а по первому пути отправится из Царского Села прямо в Москву.

Любезные дети ваши в добром здоровье; я недавно имел честь их видеть.

С истинным высокопочитанием и всегдашнею преданностию навсегда пребываю...

P. S. (собственноручно). Извините мне, милост. государь, что я для вернейшего доставления брату моему двух посылок осмелился адресовать их на имя вашего превосходительства.

4

В С.-Петербурге, 9 декабря 1772.

Милостивый государь мой Алексей Михайлович!

Отправляемые сегодня депеши к вашему превосходительству написаны были до получения последних ваших от 23 ноября, на которые его сиятельство граф Никита Иванович к вам, милостивый государь мой, для того не ответствует, чтоб не задержать долее сего курьера.

Будучи свидетелем принятия здесь всего того, что от вашего превосходительства сюда доходит, за долг почитаю по сердечной моей преданности уведомить вас о том, в чем вы, конечно, и сами внутренно удостоверены. Я разумею чрез сие всеобщее здесь удовольствие

делам вашим и ту справедливость, которая отдается благоразумию и искусству вашему. Не могу изобразить вам всю ту надежду, которую граф Никита Иванович на вас полагает. Особливо полученные третьего дни депеши от 23 ноября тем приятнее были, что все из них ясно увидели, какую поверхность взяли вы над рассуждениями турецкого посла. Я их читал графу, и при всякой речи вашей с Рейс-Ефендием перерывал он меня сими словами: *весьма разумно... нельзя лучше... у нас, право, нет другого Алексея Михайловича.* Я нарочно к вам пишу точные его слова, надеясь, что тем самым лучше изобразится расположение к вам его души, а притом и уверен будучи, что вам приятно знать мнение о вас того, которого, как вы сами мне многократно сказывать изволили, вы душевно почитаете.

Князь Григорий Григорьевич Орлов живет до сих пор в Царском Селе, не видав еще государыни. Собирается по первому пути в Ревель, где и дом нанял на шесть месяцев.

Позвольте принести нижайшее благодарение за милостивое письмо ваше, равно как и за благодеяние, оказанное вами двоюродному моему брату. Верьте, милостивый государь мой, что я цену оного прямо чувствую и никогда не перестану быть с совершенным почтением и сердечною преданностию...

5

[28 сентября 1773.]

Милостивый государь Алексей Михайлович. Если б вы точно ведали, в каком положении мы, с самого отъезда вашего, так сказать, по сию минуту, находимся, то ваше превосходительство не только не обвиняли б нас в молчании, но еще пожалели б о судьбе нашей и удивились бы терпению графа Никиты Ивановича. Поистине сказать, претерпел он все бури житейского моря и достиг до некоторого пристанища тому только дней с пять. Злоба, коварство и все пружины зависти и мщения натянуты и устремлены были на его несчастие,

но тщетно. Богу благодарение! Жребий его решился возданием ему справедливости. Вам, милостивый государь, известно, что, по обычаю, воспитание юного государя оканчивается со вступлением в брак. Эпоха сия у нас настала, и оною умышлено было воспользоваться ради совершенного отдаления гр. Никиты Ивановича от роли, им занимаемой в отечестве нашем. Но сей кризис кончился к славе его. Ее императорское величество отдала ему справедливость и, по поводу оконченного воспитания наследника, наградила его заслуги, пожаловав ему 22-го сего месяца:

1) Чин фельдмаршала и продолжение главного начальства над иностранным департаментом.

2) 9000 душ.

3) 100 000 руб. на заведение.

4) На сервиз 50 000 руб.

5) Ежегодного пенсиона 30 000 руб.

6) Ежегодного жалованья по 14 000 руб.

7) Дом повелено купить для него тот, который его сиятельство сам выберет в целом городе.

8) Провизия и погреб на год.

9) Экипаж и ливреи дворцовые.

На другой день после сего пожалованья ее величество изволила прислать к его сиятельству письмо, с коего копию здесь приложить честь имею. Вот, м. г., в какой новой сфере мы себя увидели. Гр. Никита Иванович занят будет теперь одними делами: боже дай, чтоб успех отвечал его тщанию и благонамерению! Я беру смелость донести здесь вашему превосходительству, хотя в коротких словах, настоящее положение наших дел относительно до части графа Никиты Ивановича.

С Польшею пришли наши дела почти к совершенному окончанию. Три соединенные двора заключили уже с республикою свои трактаты. Швеция спокойна остается и лучшего не желает, как чтоб ее оставили в покое, желая и стараясь пособраться с силами. Дания в тесной с нами дружбе, или, яснее сказать, в наших повелениях, особливо по окончании голштинского дела. Размен производить в действо поехал туда м.... Сальдерн, которого скаредное бесстыдство по отъезде его

стало открываться всечасно. Ужасно подумать, что́ выходит наружу! Такого в... под солнцем нет другого. Пред графом Никитою Ивановичем он уже демаскирован. Думаю, что скоро и далее узнают, каков Сальдерн.

Прусский король остается с нами в прежнем положении. Теперь мирим мы его с бедным Гданском, но не весьма удачно. Посланный от нас в Гданск гр. Головкин плохой негоциатор. Жалко смотреть на Гданск, а не меньше и на Головкина. Венский двор в нерешительном с нами положении. Кн. Дмитрий Михайлович[1] пишет, что иногда кн. Кауниц отзывается о наших интересах холодно, иногда погорячее; словом, градуса надежды нашей на него получить невозможно. По польским делам он с нами очень изрядно обращается; но по сему, кажется, нельзя заключить, какое участие примет он наконец в наших делах с турками.

Франция надеялась и ожидала перемен нашего министерства, следственно и системы, но обманулась. Дюрок ходит призадумавшись с тех пор, как узнал, что гр. Никита Иванович остался при делах с бо́льшим кредитом, нежели когда-нибудь. Шпания столько же ожидала и ласкалась переменою нашего министерства, как и Франция, и столько же обманулась. Англия пребывает в той же к нам диспозиции, как и перед вашим отсюда отъездом.

Для истинного блага отечества нашего мир необходимо нужен. Войну ведем не приносящую нам ни малейшей пользы, кроме пустой славы, в которой также не всегда удаваться может. А что всего хуже, то мы и конца войне не видим. Турки ничего не дают, и нам помириться не любо. Надобно, чтоб сам господь бог вступился в дела наши и помог моему шефу преодолеть внутри и вне препятствия, доселе непреодолимые.

Обращаюсь теперь опять к внутренним здесь происшествиям, кои ваше превосходительство интересовать должны. Завтра будет бракосочетание его высочества. Торжество продолжаться будет 12 дней. Боже, дай им жизнь благополучную! По крайней мере сего уповать

[1] Д. М. Голицын.

имеем все резоны на свете. Характер великой княгини[1] не может быть довольно выхвален: кротость души написана на лице ее. В день коронации произвождение было довольно велико, из коего примечательнейшее было то, что гр. З. Г. Чернышев пожалован фельдмаршалом. Гр. А. Г. Орлов на сих днях сюда прибыл, и теперь все пять братьев съехались.

6

20 марта 1774.

Услышав сейчас, что гр. Михаил Петрович Румянцев отъезжает, хотел я воспользоваться сим случаем и напомянуть о себе несколькими строками. Начну извинением, что давно я не писал к вашему превосходительству. Резоном первым частые болезненные припадки мои, и отсутствие мое в Москву было тому причиною... Нового у нас много; но мало что сказать можно. Вообще же доношу вам, что по воинским делам примечания заслуживают последние отзывы венского двора о чистосердечном его старании помочь в нашем мире, а более ничего ниоткуда нового нет.

Здесь у двора примечательно только то, что г. камергер Васильчиков выслан из дворца и генерал-поручик Потемкин пожалован генерал-адъютантом и в Преображенский полк подполковником. Sapienti sat.[2]

К С. С. ЗИНОВЬЕВУ

1

13/24 ноября 1772.

М. г. мой Степан Степанович. К сердечному моему удовольствию, получил я дружеское письмо ваше от 19/30 октября на нарочной штафете и увидел из оного, что вы довольны теми слабыми опытами моей истин-

---

[1] Наталья Алексеевна.
[2] Мудрому достаточно *(лат.)*.

ной к вам преданности, которые мне случилось показать вам при нынешнем случае. Верьте, милостивый государь мой, что я всегда за сердечный долг почитать буду платить вам моим усердием за дружеское ваше со мною обращение.

У Катерины Александровны [1] я нередко бываю. Она, видя, сколь искренно я к вам привязан, открывается мне во всех ваших делах с таким чистосердечием, как бы своему родному брату. Вы не можете представить, сколь такая доверенность для меня лестна.

Я за излишнее почитаю писать к вам о всех здешних обстоятельствах, уверен будучи, что Катерина Александровна обо всем обстоятельно к вам напишет.

Брата моего рекомендую в милость вашу. Он ребенок и, правду сказать, позапущен немного. Кроме доброго сердца, которое он имеет, надобно ему все достальное еще приобретать. Бога ради, вы не оставьте его за мою к вам преданность, которую во всю жизнь мою, конечно, сохраню.

Возьмите вы его с собою, буде можно, до Парижа или и до Мадрида. Словом, всю его судьбу вам препоручаю, а ему дал я первою заповедью то, чтоб он ни на одну черту не выступал из ваших повелений. Я, любя всех моих родных как самого себя, не нашел ничего полезнее для брата моего, как послать его к вам, считая столько на милость и дружбу вашу ко мне, сколько вы имеете причин не сомневаться в том, что я никогда не перестану быть вашим, милостивый государь мой, всеусерднейшим слугою...

P. S. Упоминаемый в инструкции рескрипт 1769 года я за суетами отыскать не мог. Пожалуйте, милостивый государь мой, не отзывайтесь об оном, а вы найдете его в мадридской архиве. Брату моему покорнейше прошу выдавать по рублю на день и ставить на счет коллегии, ибо сия дача единожды навсегда заведена, и я для того и не упомянул об оном в письме к вам от графа. Еще вас прошу: за все мое усердие не оставьте брата.

---

[1] Е. А. Зиновьева.

2

В С.-Петербурге, 22 февраля 1773.

М. г. мой Степан Степанович! Отправляя к вам с новыми цифрами брата моего, препоручаю его в милостивое неоставление ваше. Думаю, что вы одного с рук сжили, и для того навязываю на вас другого, будучи совершенно удостоверен, что вы, по испытанной мною вашей дружбе, не отречетесь оказывать брату моему всякое вспоможение, в котором он, без всякого сумнения, и нужду иметь будет.

В коллегии у нас такой великий недостаток, что ни один министр за прошлый год не получил своего жалованья. Насилу мог я сделать, чтоб переведено к вам было по 1 января нынешнего года; здесь прилагаю вексель при канцелярской цидуле.

С совершенным почтением и истинною преданностию навсегда пребываю ваш, милостивого государя моего, всепокорнейший слуга...

Позвольте, матушка Катерина Александровна, засвидетельствовать вам мое истинное почтение и благодарить вас за письмо из Риги, которое получил я в знак вашей ко мне милости и дружбы. Не оставьте, матушка, брата моего; вспомните, что о том я вас прошу, я, который вам предан всею душою. Мы здесь изрядно поживаем. У двора все точно то же, как вы оставили. Князь Г. Г.[1] живет в Ревеле, и его сюда ожидают.

Прилагаю здесь письмо от сестрицы вашей; я имею честь бывать у нее нередко. Граф Н. И. вступился в ее дело, и я надеюсь, что все пойдет к лучшему. Прости, матушка Катерина Александровна. Дай бог, чтобы ты была столько счастлива, сколько того достойна и сколько я желаю.

---

[1] Г. Г. Орлов.

III. ПИСЬМА ИЗ ВТОРОГО ЗАГРАНИЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
(1777—1778)

К РОДНЫМ

1

Варшава, 18/29 сентября 1777.

Мы из Варшавы пишем другое уже письмо. Первое послали чрез Смоленск с возвращавшимися извозчиками. Думаю, что вы его уже и получили. Мы, слава богу, здоровы, но грустно, что не имеем о вас никакого известия. Знаю, что его и иметь нельзя, однако прискорбно не ведать о тех, которые мне не меньше жизни моей милы. Теперь, друг мой сестрица, начну тебе длинную повесть нашего странствования. Журнал наш до сих пор не стоит прочтения; но, зная, что для вас все то очень интересно, что до нас принадлежит, напишу тебе его по порядку. Из Смоленска выехали мы 19 августа после обеда. Дядюшка со всею фамилиею провожали нас за город и расстались весьма дружески. Ночевать приехали в город Красный, который похуже немного всякой скверной деревни. Городничий, Степан Яковлевич Аршеневский, принял нас дружески и назавтра дал нам обед, которого я вечно не забуду. Повар его прямой empoisonneur.[1] Целые три дни желудки наши отказались от всякого варения. Он все изготовил в таком вкусе, в каком Козьма, Хавроньин муж, состряпал поросенка. После обеда 20 числа приехали в Шелоговку, где надлежало нас в таможне осматривать; но директор, господин Гладкой, поступил с нами нельзя

[1] Отравитель *(франц.)*.

глаже: он ниже взглянул на сундуки наши. На ночь приехали мы в деревню Казяны и в карете ночевали. 21-го обедать приехали в город Оршу, изрядное местечко, наполненное жидами, а ночевали в деревне Кахановe, в карете. Пожалуй, приметь, что мы все почти 16 дней ночевали в карете, из чего можешь заключить, что не имели мы другого убежища. 22-го приехали обедать в город Толочин, последняя российская застава, где директор хотя и не Гладкой называется, но достоин сего имени, потому что отпустил нас без всякого осмотра, и мы напрасно шили муфты и одеяло. Ночевали в местечке Бобре. 23-го обедали за границею, в деревне Начи, в карете, потому что дождь лил пресильный и время такое было мерзкое, что нельзя было выйти из кареты на воздух, а в корчму, за несносною скверностию, войти было невозможно. Ночевали в местечке Борисове, в карете, а поутру 24-го переехали реку Березину, составляющую границу между Польскою Белоруссиею и Литвою. Весь день ехали дремучим лесом, а обедать и ночевать пристали к жидовским корчмам. 25-го приехали обедать в город Минск, где сделался у меня головной лом обыкновенный, которым страдал целый день. Тут мы ночевали, а 26-го обедали. Минск, правду сказать, малым лучше нашей Вязьмы. Я бродил его смотреть, и по осмотре нашлось, что о нем пора уже мне перестать говорить. Выехав из Минска, пустились мы опять в дремучий лес и, доехав до деревни Негорелой, ночевали. На сем пути были мы на волоску от превеличайшего несчастия, которое в жизни человеческой случиться может. Пробираясь лесом по узкой дороге, были у нас, к несчастию, подняты стекла. Вдруг сухая жердь въехала в окно и в один миг, разбив стекло в мельчайшие частицы, осыпало лицо жены моей. Она, бедная, читала тогда книгу и вдруг, захватя глаз рукою, вскричала без памяти. Я обмер, испугался, услышав, что она кричит: «ах, глаз!» Боже мой! Представь себе, каково мне было слышать ее восклицания и притом и видеть из-под руки текущую кровь. Не могу описать, что я чувствовал, а помню только, что я кричал ей: «Матушка, взгляни!» Наконец она взглянула, и, благодаря бога, мы узнали, что озорочек не поврежден,

а коснулось стекло лузги и под самым глазом разрезало. Вот как близка была моя бедная жена лишиться глаза с лютейшим страданием и без всякой человеческой помощи! Мы отделались только тем, что глаз распух и дни три был завязан; потом все прошло благополучно, и мы, ехав лесом почти до самой Варшавы, стекол уже не поднимали. 27-го обедали в местечке Столбцах, где лежат мощи святого Фабиана, удивляющего всю Польшу чудотворениями. Я ходил его смотреть и, признаюсь вам, что, не видав сам, не поверил бы тому, как люди до безумия могут быть суеверны. Главное сего святого искусство состоит в изгнании чертей из беснующихся. Удивления достойно, какие плуты, из каких плутов ничего не изгоняя, обогащаются и купаются в душах таких простаков, каковы поляки. Словом, суеверие здесь дошло до невероятной степени и в самих господах. Ночевать приехали мы в город Мир. Сей городишко набит жидами. Они и попы завладели всею Польшею. 28-го приехали обедать в местечко Полонечно, принадлежащее Радзивилу. Тут мы приняты были очень хорошо в доме самого хозяина. Обед хороший, на серебре, и вина лучшие; но ночевали в деревне Старая Мышь, в карете, не имев другого пристанища. 29-го приехали обедать в большой город Слоним, резиденцию гетмана литовского. Тут мы весь день пробыли и ночевали. Я побегал по городу и нашел его лучше тех, кои проезжал, но со всем тем весьма скверным. 30-го обедали в карете в деревне Лавриновичи. За превеликим дождем не могли мы на поле обедать, а инде места не было. Ночевали также в карете, в деревне Зельви. Весь день ехали под дождем в лесу, не находя убежища, кроме жидовских корчем, возмущающих человеческое обоняние нестерпимым образом. 31-го поутру проехали местечко Избелин и другое, называемое Инстигов. Ни то, ни другое не заслуживают внимания. Снаружи кажутся преизрядными городками, а въехав, гроша не стоят. Обедали в карете у корчмы Холстовой, а ночевали в карете же в местечке Шисмыцах. Мы легли было в горнице; но, увидя несколько лягушек, около нас пляшущих, решились перейти в карету. Сентября 1-го обедали у корчмы Станиславо-

вой, а ночевали в селе Кленикax, ехав несколько верст по такому болоту и воде, что передних колес не видать было. 2-го обедали в городе Бельске, весьма похожем на ту скверную деревню Побикери, в которой мы ту ночь ночевали. 3-го обедали в деревне Сабле, ночевали в изрядном городе Венгрове. Тут угостил нас князь Солнцев, который с нами учился в университете и который командует нашими солдатами в Венгрове. Он послал тотчас курьера в Варшаву, чтоб изготовить для нас квартиру. 4-го обедали в местечке Маковцы, а ночевали в местечке Станиславове. Оба сии местечка я даром не возьму. 5-го обедали в местечке Окуневе, а ввечеру приехали в Варшаву, которая с Москвою невероятное сходство имеет. Видишь, друг мой сестрица, что мы, проехав больше 900 верст от Смоленска, ничего не ощущали, кроме неприятностей и мучительных беспокойств. Одно меня подкрепляло и утешало: жена моя была здорова во всю дорогу, и мы скуку разгоняли попеременным чтением друг другу книг. Ты слышала самую прискорбную часть нашего путешествия; теперь скажу тебе о нашем варшавском житье. Мы не застали ни посла,[1] ни короля.[2] Первый был в деревне у своей любовницы, княгини Радзиwиловой, а король в Белостоке, у сестры своей. На другой день посол возвратился и прислал нас поздравить с приездом, так же как и генерал Романиус. Я сделал им визит, а после обеда посол сделал визит жене моей и после него генерал. На другой день посол дал нам обед и ознакомил жену мою с здешними дамами, к которым она, по обыкновению, сделала визиты и которые ей тотчас их отдали. Назавтра генерал дал нам обед, а на вечер были мы званы на ассамблею к гетманше Огинской, где видели целую Варшаву. Невозможно более оказать учтивостей, как нам все здесь показывают. Старик Мнишек сделал для жены моей обед. Всякий вечер мы званы на ассамблеи из спектакля. Вчера поутру посол приезжал к нам и сидел до обеда, что здесь за величайшую отличность почитается. Он офрировал[3] нам дом свой

[1] Стакельберг.
[2] Станислав-Август (Понятовский).
[3] Предложил *(франц.)*.

так, чтоб мы его за наш собственный почитали. По приезде королевском в первый куртаг посол ему меня представил. Король, подошед ко мне, сказал с видом весьма ласковым, что он знает меня давно по репутации и что весьма рад видеть меня в своей земле. Потом спрашивал меня о состоянии здоровья жены моей и долго ли здесь останемся. На ответ мой, что я не могу иметь счастия долго здесь пробыть, сказал он мне, что весьма о том жалеет, что такое короткое время не позволяет ему оказать мне всей аттенции,[1] которую б он хотел мне сделать. Посол наш всякий день звал меня обедать к себе и возил меня с визитами, которые мне и возвращены; словом сказать, мы всякий день выезжаем, и время летит нечувствительно. Поговорю с тобою, друг мой сестрица, о здешних нарядах, обычаях, des ridicules[2] и о проч. Женщины одеваются как кто хочет, но по большей части странно. В ассамблеи ездят иногда в шляпках, иногда в турецких чалмах; а если одета в волосах, то на голове башни. Развращение в жизни дошло до крайности. Часто в компании найдешь мужа с двумя женами: с тою, с которою живет, и с тою, с которою развелся. Развестись с женою или сбросить башмак с ноги — здесь все равно. Дуэли здесь всечасные. За всякое слово выходят молодцы на пистолетах. A propos, надобно сказать тебе нечто и о польских спектаклях. Комедий видели мы с десяток, переводных и оригинальных. Играют изрядно; но польский язык в наших ушах кажется так смешон и подл, что мы помираем со смеху во всю пиесу; да правду сказать, странно и видеть любовника плешивого, с усами и в длинном платье.

2

Монпелье, 20 ноября (1 декабря) 1777.

Теперь вы уже знаете, что мы сюда благополучно приехали. Благодарю бога, жена очевидно оправляется. Я имею причины ласкаться, что привезу ее к вам

---

[1] Внимания *(франц.)*.

[2] О странностях, о смешном *(франц.)*.

здоровую. Лечить ее взялся первый здешний доктор Деламюр. Он здесь в превеликой славе, которую заслужил совершенно исцелением многих от претяжких болезней. Счастливый его успех в лечении произвел такую к нему доверенность, что все чужестранцы ищут помощи у него, предпочтительно перед другими докторами, коих число в Монпелье до семидесяти простирается. Теория его соединена с практикою весьма многих лет. Он целую неделю ходил к нам по два раза на день для того только, чтоб, не давая еще никаких лекарств, примечать натуру больной и чтоб по ней расположить образ лечения. Он дает ей теперь всякий день поутру бульон, который должен отнять остроту от крови и укрепить нервы, а потом хочет ей дать всю полную дозу (прием) известного от глистов лекарства, купленного королем в Швейцарии. (Мимоходом должен я сказать, что данное Сент-Жерменем лекарство не имело никакого действия, и я теперь уверен, что он не иное что, как первый в свете шарлатан.) Не можешь себе представить, друг мой сестрица, в каком мы теперь городе. Монпелье можно назвать по справедливости больницею, но такою, где живут уже выздоравливающие. Как приятно видеть людей, у коих на лице изображена радость, ощущаемая при возвращении здоровья. Множество чужестранцев всяких наций и французов из других провинций съехалось сюда на зиму для здоровья. И действительно, здешнего климата нет в свете лучше. Всякий день мы ходим на гульбище, где встречаем множество людей. Время теперь такое, как среди лета. Не только до шуб, ниже до муфт дело не доходит. Видно, что господь возлюбил этот край особенно. Я поговорю с тобою после о здешнем обществе и о нашем знакомстве, а теперь напишу тебе наш журнал, или лучше сделаю, коли пробегу коротко большие города, не упоминая о ночлегах наших по маленьким местечкам. Из Дрездена поехали мы в Лейпциг, город, в котором живут преученые педанты. Мы осмотрели в нем все достойное примечания. Он показался нам столько же скучен, сколько Дрезден весел. Проехав Саксонию, въехали мы в империю. Что ни шаг, то новое государство. Саксен-Готу, Саксен-Эйзенах, Майнц, Генау и многие немецкие

дворы мы проехали, не представляясь; но в Мангейме я у двора представился и уже писал к вам, сколь много доволен я приемом курфирста и всей фамилии. Полмили от Мангейма въехали мы во Францию. Первый город Ландо, крепость знатная. При въезде в город ошибла нас мерзкая вонь, так что мы не могли уже никак усомниться, что приехали во Францию. Словом, о чистоте не имеют здесь нигде ниже понятия, — все изволят лить из окон на улицу, и кто не хочет задохнуться, тот, конечно, окна не отворяет. Наконец приехали мы в Страсбург. Город большой, дома весьма похожи на тюрьмы, а улицы так узки, что солнце никогда сих грешников не освещает. Правду сказать, что в сем городе для вояжеров много есть примечательного. Мы видели мавзолею du Marechal de Saxe[1] — верх искусства человеческого. При нас была отправляема у них панихида по всем усопшим, то есть наша родительская. Великолепие было чрезвычайное. Я с женою от смеха насилу удержался, и мы вышли из церкви. С непривычки их церемония так смешна, что треснуть надобно. Архиерей в большом парике, попы напудрены, словом — целая комедия. Между прочими вещьми примечательна в Страсбурге колокольня, уже не Ивану Великому чета. Высота ее престрашная, она же вся сквозная и дырчатая, так что, кажется, всякую минуту готова развалиться. Я не описываю всего, что мы видели, потому что описание мое заняло бы много места. Я делаю особливый журнал нашего вояжа. Из Страсбурга поехали мы в Безансон, город большой, но также темный. Надобно, однако ж, отдать справедливость французам, что дороги щегольские, мостовая, как скатерть. Потом приехали мы в Бресс (Bourg en Bress). Город изрядный, коего жители также по уши в нечистоте. Напоследок Лион остановил нас на целую неделю. Город превеликий, премноголюдный и стоит внимания. Я поговорю о нем побольше. В него приехали мы ночью, и на первой к нему почте адресованы были от почтмейстера в hôtel garni,[2] куда мы въехали. Хотя

[1] Маршала Саксонского *(франц.)*.
[2] Гостиницу, меблированные комнаты *(франц.)*.

почтмейстер уверял нас, что мы в этом отеле будем divinement bien,[1] однако мы нашлись в нем diablement mal,[2] так, как и во всех французских обержах,[3] которые все перед немецкими гроша не стоят. Во-первых, французы почивают на перяных, а не на пуховых тюфяках и одеваются байкою, которая очень походит на свиную щетину. Представь себе эту пытку, что с одной стороны перья колют, а с другой войлок. Мы с непривычки целую ноченьку глаз с глазом не сводили. Лион лежит на реках Роне и Соне. По берегу Роны построена линия каменных домов прекрасных и сделан каменный берег, но гораздо похуже петербургского. Сия ситуация делает его очень похожим на Петербург, тем наипаче, что Рона не много уже Невы. В окружности города превысокие горы, на которых построены великолепные монастыри, загородные дома с садами и виноградниками. Как за городом, так и в городе все церкви и монастыри украшены картинами величайших мастеров. Мы везде были и часто видели то, чего, не видав глазами, нельзя постигнуть воображением. Я не знаток в живописи, но по получасу стаивал у картины, чтоб на нее наглядеться. Среди города сделано место, или площадь, называемая la place de Louis XIV,[4] потому что тут поставлена его статуя. Сие место великолепное и усаженное деревьями. Оно служит публичным гульбищем для города и всегда людьми набито. Мы были в l'hôtel de ville (ратуша), которая амстердамской в красоте не уступает. Здание огромное и украшенное картинами драгоценными. L'hôtel-Dieu (госпиталь) заслуживает любопытство. Я не пустил жену, но один ходил смотреть его. Меня впустили нарочно тогда, когда les soeurs, то есть старухи служащие, подносили к каждой кровати больного обеденную пищу. С одной стороны, удивил меня порядок и рачение о больных, а с другой — возмутилось сердце мое, видя тысячи людей страждущих. Кровать стоит подле кровати, и стон больных составляет такую музыку, которая целые сутки из

---

[1] Божественно хорошо *(франц.)*.
[2] Дьявольски скверно *(франц.)*.
[3] Постоялых дворах *(франц.)*.
[4] Площадь Людовика XIV *(франц.)*.

ушей моих не выходила. Видели мы славные лионские шелковые фабрики, откуда привозят парчи и штофы и всякие шелковые материи. Надлежит отдать справедливость, что сии мануфактуры в своем совершенстве. Видели мы древности, ибо Лион есть один из древнейших городов. В нем были два Вселенские собора. Доселе видны остатки дома, в котором жил император Нерон. Я не описываю вам всех древностей, потому что во всякой географии найти их можно; но скажу только то, что я все видел, что достойно примечания. Каждое утро с рассветом до обеда, а потом до спектакля упражнены мы были осмотрением города, а потом ходили в театр, который, после парижского, во всей Франции лучший. Словом сказать, Лион стоит того, чтоб его видеть. Описав его добрую сторону, надобно сказать и о худой. Во-первых, надлежит зажать нос, въезжая в Лион, точно так же как и во всякий французский город. Улицы так узки, что самая большая не годится в наши переулки, и содержатся скверно. В доказательство скажу тебе один пример, а по сему и прочее разумевай: шедши по самой лучшей улице в Лионе, увидел я вдруг посреди ее много людей и несколько блистающих факелов среди белого дня. Я думал, что это какое-нибудь знатное погребение, и подошел посмотреть поближе. Вообрази же, что я увидел? Господа французы изволят обжигать свинью! Подумай, какое нашли место, и попустила ли б наша полиция среди Миллионной улицы опаливать свинью! Словом сказать, господа вояжеры лгут бессовестно, описывая Францию земным раем. Спору нет, что много в ней доброго; но не знаю, не больше ли худого. По крайней мере я с женою до сих пор той веры, что в Петербурге жить несравненно лучше. Мы не видали Парижа, это правда; посмотрим и его; но ежели и в нем так же ошибемся, как в провинциях французских, то в другой раз во Францию не поеду. Коли что здесь прекрасно, то разве климат; но сию справедливость надобно отдать одному Лангедоку. В рассуждении климата здесь действительно рай; а во Franche-Comté, в Bresse, в Dauphiné мы зубов не согревали. Печей нет; один камин, и тот дымен. Дров нет, и топят хворостом. Здесь также дров нет, да мало в них

и нужды. Из Лиона поехали мы водою до города, называемого Pont S.-Esprit. Сей переезд верст на полтораста. Ветр был так хорош, что меньше суток пристань в виду была; но, к несчастию, узнали мы, сколь вода есть вероломная стихия. Вдруг ветр усилился прежестоко и нас прибило к берегу. Целую ночь мы простояли в воде у пустого берега; но поутру погода утихла и мы в час прилетели к пристани. Проехав город Ним, древностями знаменитый, скоро приехали в Монпелье, где, нашед тотчас квартиру, переехали в нее из трактира, в который пристали. Теперь опишу тебе город, а потом и общество здешнее. Монпелье есть столица нижнего Лангедока; улицы его узки и скверны; но дома есть очень хорошие. Университет заведен здесь в 1180 году, и из всех факультетов медицинский есть славнейший. В сем городе бывают ежегодно держаны les Etats de Languedoc, то есть: губернский суд, или съезд государственных чинов Лангедока. Наместник королевский, губернатор, духовенство и дворянство собираются сюда на ноябрь и декабрь, располагают и решают все земские дела, также и собирают королю подать, называемую don gratuit.[1] Мы приехали сюда в самое сие время, и теперь весь город наполнен людьми; но чтоб возвратиться к географическому его описанию, то скажу, что местоположение его прекрасно. Он стоит на высоком месте. Около его множество загородных домов. Внутри города есть сад королевский; а вышед из городских ворот, есть гульбище, называемое la place du Peyrou. По признанию всех вояжеров, нигде нет прекраснее сего места. В средине оного поставлена статуя Людовика XIV. Акедюк, чрез который вода проведена из гор, есть здание прекрасное. Из la place du P... течет вода во весь город. С сего места видно Средиземное море, а при восхождении солнца видна и Испания. Правда, что мои слепые глаза ее еще не видали. Есть еще гульбище, называемое l'Esplanade. Словом сказать, в гульбищах здесь изобилие превеликое. Теперь опишу тебе образ жизни нашей и с кем мы имеем общество. Из Страсбурга адресованы мы были

[1] Безвозмездный дар *(франц.)*.

сюда к маркизе Fraigeville. Приехав сюда, сделали мы тотчас с нею знакомство, а чрез нее познакомились со всеми les Etats. Знатнейшие члены оного собрания суть: первый комендант, или, по-нашему, наместник (приехавший на сих днях из Версалии), генерал-аншеф и Святого Духа кавалер, граф Перигор. Он представляет здесь королевскую особу. Архиепископ нарбонский есть вторая особа. Он администратор лангендокский и кавалер ордена Святого Духа. Третья особа маркиз де Кастр, первый барон и кавалер Святого Духа, а потом интендант виконт de St. Priest; комендант comte de Montcan и первый президент m-r de Claris. Вот здешние первые люди. Я ко всем им был представлен. Все они приняли меня очень ласково и на другой же день отдали визит. Жена моя представлена была их женам, которые также отдали ей визит, а потом званы мы вседневно в их общества. Не знаю, каковы сии знатные господа в Париже, но здесь ласковее, учтивее и любезнее быть никому невозможно. Все здешние дамы жену мою приласкали чрезвычайно, и мы столько счастливы, что каждое утро все они присылают людей своих спрашивать о здоровье. Итак, проводим мы время следующим образом: поутру жена моя, встав в седьмом часу, пьет свое лекарство и одевается. В девятом приходит к ней учитель французского языка, а ко мне адвокат. Здесь все чужестранные учатся по-французски и сим способом стараются показать жителям желание свое узнать их язык. Не поверишь, сколько здесь англичан, которые ни в десятую долю и против нас по-французски не знают; а я, с моей стороны, учусь юриспруденции. В 11-м часу обыкновенно возят жену мою на гульбище, а я за нею хожу пешечком. С приезда моего сюда я ног не слышу. Карет нет; в портшезах носят дам да больных; и так я изволю двигаться на своих ногах с утра до вечера. Обедаем во втором часу, а после обеда тотчас приходит к жене учитель музыки, а я что-нибудь пишу или читаю. В пять часов ходим или в спектакль, или в концерт, а ужинать званы бываем к тем господам, которых я назвал. Они все дни в неделе по себе разобрали. Сверх тех особ, о которых я сказал, жена моя вседневно видится и дружески познакоми-

лась с графинею Дюплесси. Она здесь по причине болезни мужа своего. Дама предобрая. Madame Desplans, падчерица первого президента, madame Claris, его невестка, madame de Serre, жена президента, также с нею знакомы, а я знаком с их мужьями. В знакомствах здесь недостатка нет; но должны мы искренно признаться, что оба весьма чувствуем какой-то недостаток в сердечном удовольствии. Сравнивая вас, друзей наших, и всех знакомых наших, находим, что здесь месяца два-три прожить очень хорошо, а там дома — лучше. Я думал сперва, что Франция, по рассказам, земной рай, но ошибся жестоко. Все люди, и славны бубны за горами! Удивиться должно, друг мой сестрица, какие здесь невежды. Дворянство, особливо, ни уха ни рыла не знает. Многие в первый раз слышат, что есть на свете Россия и что мы говорим в России языком особенным, нежели они. Человеческое воображение постигнуть не может, как при таком множестве способов к просвещению здешняя земля полнехонька невеждами. Со мною вседневно случаются такие сцены, что мы катаемся со смеху. Можно сказать, что в России дворяне по провинциям несказанно лучше здешних, кроме того, что здешние пустомели имеют наружность лучше. Остается нам видеть Париж, и если мы и в нем так же ошибемся, как во мнении о Франции, то, повторяю тебе, что из России в другой раз за семь верст киселя есть не поеду. Жена моя того же мнения. Теперь опишу тебе, с какими обрядами и великолепием было открытие les Etats на прошлой неделе. Сия церемония заслуживала любопытство чужестранных как по великолепию своему, так и по странности древних обычаев, наблюдаемых при сем случае. Собрание было весьма многолюдное, в зале старинного дома, называемого gouvernement, похожего, следственно, на нашу губернскую именем, но, конечно, не вещию, ибо в здешнюю губернскую можно войти честному человеку по крайней мере без оскорбления своих телесных чувств. Граф Перигор, в орденском платье Святого Духа и в шляпе, взошед на сделанное нарочно возвышенное место, сел в креслах под балдахином. По правую сторону архи-

епископ нарбонский, а по левую бароны, в древних рыцарских платьях. Заседание началось чрез одного синдика чтением исторического описания древнего Монпельевского королевства. Прошед времена древних королей и упомянув, как оно пришло во владение французских государей, сказано в заключение всего, что ныне благополучно владеющему монарху надлежит платить деньги. Граф Перигор читал потом речь, весьма трогающую, в которой изобразил долг верноподданных платить исправно подати. Многие прослезились от его красноречия. Интендант читал с своей стороны также речь, в которой, говоря весьма много о действиях природы и искусства, выхвалял здешний климат и трудолюбивый характер жителей. По его мнению, и самая ясность небес здешнего края должна способствовать к исправному платежу подати, ибо она позволяет людям работать в земледелии непрестанно, а земледелие есть источник изобилия. После сего архиепископ нарбонский говорил слово поучительное. Проходя всю историю коммерции, весьма красноречиво изобразил он все ее выгоды и сокровища и заключил тем, что с помощию коммерции, к которой он слушателей сильно поощрял, господь наградит со вторицею ту сумму денег, которую они согласятся заплатить ныне своему государю. Каждая из сих речей препровождена была комплиментом к знатнейшим сочленам: интендант превозносил похвалами архиепископа, архиепископ интенданта; оба они выхваляли Перигора, а Перигор выхвалял их обоих. Потом все пошли в соборную церковь, где пет был благодарный молебен всевышнему за сохранение в жителях единодушия к добровольному платежу того, что, в противном случае, взяли бы с них насильно. В будущее воскресенье званы мы смотреть процессию, которая пойдет по всему городу и о великолепии которой много говорят; а во вторник звал Перигор меня и жену au gouvernement смотреть первого заседания государственных чинов и оттуда у него обедать. Я не премину описать вам, матушка, все то, что достойного примечания тут увидим; а теперь покидаю перо: кажется, написал довольно. Подумай, друг мой, как нам горестно

не иметь от вас ни одной строчки с самого нашего отъезда. Надеюсь на бога, что молчание ваше не происходит от какой-нибудь несчастливой причины. Бога ради, не забывайте нас, а мы разговариваем об вас друг с другом каждую минуту. В Лионе я был очень рад, увидя в спектакле женщину, которая на тебя очень походит. Мы все на нее смотрели. Странно, что, кого ни видим, редкий не походит на кого-нибудь из русских знакомых. Вообще сказать, что между двумя нациями есть превеликое сходство не только в лицах, но в обычаях и ухватках. Особливо здешний народ ужасно как на наш походит. По улицам кричат точно так, как у нас, и одежда женская одинакова. Вот уж немцы, так те, кроме на самих себя, ни на кого не походят. Прости, мой друг сердечный, сестрица! A propos, забыл я сказать о здешнем концерте, то есть о французской музыке. Этаких козлов я и не слыхивал. Поют всего чаще хором. Жена всегда носит с собою хлопчатую бумагу: как скоро заблеют хором, то уши и затыкает.

3

Монпелье, 1/12 декабря 1777.

Мы изрядно поживаем, и жена моя, кажется, в гораздо лучшем состоянии, нежели была. Всякий день выходим со двора. Процессия, о которой я к тебе писал, происходила весьма великолепно. Все собрались сперва в церковь. Обедню служил здешний епископ; облачался публично, но не среди церкви, а в боку. Попы, в больших париках, стояли в два ряда, то есть одни спиною к алтарю, а другие к народу. Подумай же, кто облачал его преосвященство? Собственные его лакеи в ливрее! Они на него и шапку надевали, они и умываться подавали, и креслы ему ставили. Я покатился со смеху, увидя эту комедию, и, кусая губы, спрашивал своего соседа: зачем лакеи в ливрее смешались с попами? «Monsieur! — отвечал он мне, — c'est pour augmenter la pompe. Ce n'est que les jours de grande fête

que l'Evêque officie accompagné de sa livrée».[1] Подумай, какая разница в образе мыслей! Всего больше насмешил меня контраст между попами в больших париках и между enfants du choeur,[2] то есть ребятами лет по двадцати, у коих головы выбриты так чисто, как рука. Сии плешаки держат в руках своих по кадилу на предлинных цепях и кадят, взбрасывая вверх кадила сажени на две. Я адресовался к женщине, неподалеку от меня сидевшей, и спросил ее: за что сии бедные ребята так немилосердно выбриты? Она очень серьезно мне отвечала, что выбриты они для того, что, служа у алтаря, обязаны содержаться во всякой чистоте. Забыл, матушка, сказать тебе, что архиерейская шапка сделана из золотой мягкой материи, которая таращится и очень походит фигурою на наши гаерские шапки. Лакей в ливрее, снимая с благоговением шапку с архиерея, складывал ее чиннехонько вшестеро и клал в карман свой; а когда шапку надлежало надевать, то, вынув ее из кармана и расправя, надевал ее опять на архиерея с благоговением. Бог знает, что это за обедня, которую служили; я толку не нашел. Проповедь сказывал другой архиерей. На половине вдруг остановился, и весь народ начал разговаривать друг с другом. Я спросил, что это значит? И мне сказали в ответ, что архиерей устал и отдыхает, а как отдохнет, то достальное доскажет. И действительно, чрез полчетверти часа опять замолчали и он проповедь стал сказывать. После обеда пошла процессия по всему городу. Сперва шли монахи разных орденов, по два в ряд. Перед каждым орденом несли крест, а потом певчие шли и пели. За ними архиерей, а потом под балдахином нес тело Христово епископ здешний, а перед телом Христовым шли барабанщики и били в барабаны. Затем шли попы, а за попами граф Перигор, бароны, все дворянство и народ. Я с женою смотрел сию церемонию из окошка у маркизы de Fraigeville. Церемония воротилась в цер-

---

[1] Сударь, это для возвышения торжества. Нет такого большого праздника, когда бы епископ во время службы обходился без помощи лакеев *(франц.)*.

[2] Певчими, церковными служками *(франц.)*.

ковь, и потом все разошлись. Правду сказать, что для чужестранцев весьма любопытно сие торжество и подает повод делать на нацию свои примечания. В будущих письмах моих скажу тебе, что еще примечу странного или любопытного. Прости!

4

Монпелье, 31 декабря 1777
(11 января 1778).

Я принимаюсь опять за большой лист; буду писать его помаленьку, а окончив, с первою почтою его к тебе отправлю. Поставленное наверху число значит день его отправления. Мы здесь живем полтора месяца. Благодаря бога, не было еще ни одного такого дня, в который бы я с женою, за болезнию, со двора не выходили. Я уже писал к тебе, что мы приехали в Монпелье в самое авантажное для него время, то есть когда съезжаются les Etats. Вседневно ассамблеи занимают нас обоих. Мы не участвуем в хлопотах государственных чинов, но принимаем участие в их веселостях. Поутру все они присутствуют в трибунале, а мы гуляем или читаем; около полудня ходим обыкновенно au Peyrou; обедаем дома, но я не всегда, потому что зван бываю к здешним знатным господам, а жена обыкновенно обедает дома. Здесь нет обычая звать дам обедать, но зовут ужинать. В пятом часу всякий понедельник ходим в концерт, а оттуда ужинать к графу Перигору. Концерт продолжается до восьми часов, а из него все туда ходим и играем в виск до ужина. За стол садятся в полдесята и сидят больше часа. Стол кувертов на семьдесят накрывается. Граф Перигор дает такие ужины три раза в неделю, то есть в понедельник все ходят к нему из концерта, в среду из комедии, а в пятницу из концерта же. Точно такой же ужин дает комендант Сент-При по вторникам и четвергам. Сюда все ходят из комедии. В субботу из комедии ходят на такой же ужин к казначею здешней провинции, Жуберту, а в воскресенье к первому президенту Кларису, также из комедии. Вот, мой друг сестрица, как здесь распоряжают

дни! Поистине сказать, les Etats собираются здесь только что веселиться. Хотя же съезжаются они решить все дела в два месяца, но разъезжаются, окончив одно только дело, то есть собрав с провинции для короля подати. Скоро сей суд кончится и, кроме градоначальника, все разъедутся в Париж и по деревням. Думаю, что будет здесь и пусто и скучно. Как скоро выживем глисту, то отсюда поеду. Чрез несколько дней доктор намеревается дать ей известное лекарство в полной мере. Он столь долго мешкал для того, что как лекарство безмерно тяжело и крепко, то надлежит укрепить ее силы к претерпению всей тоски и мучения, с которым червь выходит. И для того всякое утро дает ей бульон и ослицино молоко. Надлежит сказать еще и то, что проявилась здесь некоторая корсиканская трава, выгоняющая глист. Сию траву жена пьет с неделю без большого отвращения. Она не вредит ни в каком случае; но опытами известно, что морит глисты, и особливо круглые: хотя сей род есть другой, однако доктор отведывает и над плоскою. Скоро даст жене моей лекарство, которое должно будет глисту выгнать, ежели она сею травою уморена. Боже мой! если б это сделалось и можно б было избежать известного крепкого лекарства, как бы мы были счастливы! Но буде корсиканская трава не поможет, то жена моя решилась принять и другое, какой бы тоски это ни стоило. Что же надлежит до круглых глистов, то нет никакого сомнения, что трава их неминуемо выгоняет. Не знаю, известна ль она у нас. Имя ее la Mithocorton. Нам всякий день сказывают лекарств по двадцати новых, да мы уже решились держаться нашего доктора. Он имеет великую репутацию, и человек весьма основательный. Перестану теперь говорить о болезни и о докторах. Опишу лучше здешние обычаи. Правду сказать, народ здешний с природы весьма скотиноват. Я думаю, что таких ротозей мало водится. По всем улицам найдешь кучу людей, а в средине шарлатана, который выкидывает какие-нибудь штуки, продает чудные лекарства и смешит дураков шутками. Часто найдешь на площадях людей около бабы или мужика, которые, поставя на землю род шкапа с растворенными дверцами, кажут в шкапу

куколок. Баба во все горло поет духовные стихи, а мужчина играет на скрипке; словом, народ праздный и зазевывается охотно, а притом и весьма грубый. Лакеи здешние такие неучи, что в самых лучших домах, быв впущены в переднюю, кто бы ни прошел мимо, дама или мужчина, ниже с места тронуться и, сидя, не снимают шляп. При мне случалось несколько раз, что сам представляющий здесь королевскую особу, граф Перигор, проходя мимо этих скотов, видел их сидящих в шляпе с крайним неучтивством. В Париже, сказывают, точнехонько то же. Правда, что и господа изрядные есть скотики. Надобно знать, что такой голи, каковы французы, нет на свете. Офицер при деньгах нанимает слугу, а без денег шатается без слуги. Но когда случится копейка в кармане, то не только сам спесив, но и слугу учит спесивиться. Словом, ты читала комедию «Glorieux»;[1] истинно, все французы таковы, а слуги их все Pasquin, которые, надвинув на глаза шляпу, кроме своего господина не смотрят ни на кого. Чтоб тебе подробнее подать идею о здешних столах, то опишу их пространно. Белье столовое во всей Франции так мерзко, что у знатных праздничное несравненно хуже того, которое у нас в бедных домах в будни подается. Оно так толсто и так скверно вымыто, что гадко рот утереть. Я не мог не изъявить моего удивления о том, что за таким хорошим столом вижу такое скверное белье. На сие в извинение сказывают мне, que cela ne se mange pas[2] и что для того нет нужды быть белью хорошему. Подумай, какое глупое заключение: для того, что салфеток не едят, нет будто и нужды, чтоб они были белы. Ко мне ходят очень много весьма благородных людей, с которыми я познакомился. Разговаривая с ними, между прочим, о белье, опровергал я их заключение, представляя, что рубашек также не едят, но что на них они, без сомнения, тонки и чисты; а притом, видя на них прекрасные кружевные манжеты, просил я их из любопытства показать мне и рукав, чтоб увидеть тонкость полотна. Не могли они отказать

---

[1] «Хвастун» *(франц.)*.

[2] Это не едят *(франц.)*.

в том моему любопытству. Я остолбенел, увидя, какие на них рубашки! Не утерпел я, чтоб не спросить их: для чего к такой дерюге пришивают они тонкие прекрасные кружева? На сие, в извинение, сказали мне, que cela ne se voit pas.[1] Вообще приметить надобно, что нет такого глупого дела или глупого правила, которому бы француз тотчас не сказал резона, хотя и резон также сказывает преглупый. Возвращусь теперь к описанию столов. Как скоро скажут, что кушанье на столе, то всякий мужчина возьмет даму за руку и поведет к столу. У каждого за стулом стоит свой лакей. Буде же нет лакея, то несчастный гость хоть умри с голоду и с жажды. Иначе и невозможно: по здешнему обычаю, блюд кругом не обносят, а надобно окинуть глазами стол и что полюбится, того спросить чрез своего лакея. Перед кувертом не ставят ни вина, ни воды, а буде захочешь пить, то всякий раз посылай слугу своего к буфету. Рассуди же: коли нет слуги, кому принести напиться, кому переменять тарелки, кого послать спросить какого-нибудь блюда? А соседа твоего лакей, как ни проси, тарелки твоей не примет: je ne sers que mon maître.[2] Подумай же, какая жалость: кавалеры святого Людовика, люди заслуженные, не имеющие слуг, не садятся за стол, а ходят с тарелкою около сидящих и просят, чтоб кушанье на тарелку им положили. Как скоро съест, то побежит в переднюю к поставленному для мытья посуды корыту, сам, бедный, тарелку свою вымоет и, вытря какою-нибудь отымалкою, побредет опять просить чего-нибудь с блюд. Я сам видел все это и вижу вседневно при столе самого графа Перигора. Часто не сажусь я ужинать и хожу около дам, а своему слуге велю служить какому-нибудь заслуженному нищему. Фишер и Петрушка одеты у меня в ливрее и за столом служат. Я предпочитаю их двум нанятым французам, которых нельзя и уговорить, чтоб, кроме меня, приняли у кого-нибудь тарелку. Французы мои служат мне для посылок и носят жену мою в портшезе, а если грязно, то и меня. Плата им по 40 копеек на день

---

[1] Этого не видно снаружи *(франц.)*.

[2] Кроме своего господина, я никому не служу *(франц.)*.

каждому, и едят свое. Поварня французская очень хороша: эту справедливость ей отдать надобно: но, как видишь, услуга за столом очень дурна. Я когда в гостях обедаю (ибо никогда не ужинаю), принужден обыкновенно вставать голодный. Часто подле меня стоит такое кушанье, которого есть не хочу, а попросить с другого края не могу, потому что слеп и чего просить — не вижу. Наша мода обносить блюда есть наиразумнейшая. В Польше и в немецкой земле тот же обычай, а здесь только перемудрили. Спрашивал я и этому резон; сказали мне, что для экономии: если-де блюды обносить, то надобно на них много кушанья накладывать. Спрашивал я, для чего ви́на и воды не ставят перед кувертами? Отвечали мне, что и это для экономии: ибо-де примечено, что коли бутылку поставить на стол, то один всю ее за столом выпьет, а коли не поставить, то бутылка на пять персон становится. Подумай же, друг мой, из какой безделицы делается экономия: здесь самое лучшее столовое вино бутылка стоит шесть копеек, а какое мы у нас пьем — четыре копейки. Со всем тем для сей экономии не ставят вина в самых знатнейших домах. Клянусь тебе, по чести моей, что как ты живешь своим домиком, то есть как ты пьешь и ешь, так здесь живут первые люди; а твоего достатка люди рады б к тебе в слуги пойти. Отчего же это происходит? Не понимаю. У нас все дороже; лучшее имеем отсюда втридорога, а живем в тысячу раз лучше. Если б ты здесь жила так, как в Москве живешь, то б тебя почли презнатною и пребогатою особою. Скажу тебе один trait,[1] которому я сам был свидетель. Маркиза Fraigeville очень нас полюбила — дама предобрая и богатая, а будет еще богатее, потому что наследница после своих дядьев, первых богачей в Монпелье. Я на сих днях, шатаясь пешком по городу и не взглянув на часы, зашел к сей госпоже, не думая, чтоб так поздно было. Идучи на лестницу в парадные покои, услышал я внизу ее голос. Я воротился с лестницы и пошел туда, откуда слышен был ее голос, отворил двери и нашел свою маркизу на поварне, сидит за столиком с сыном

---

[1] Случай *(франц.)*.

и с своею fille de chambre [1] и изволит обедать на поварне против очага. Я извинился своими часами и, откланиваясь, спрашивал ее, что за каприз к ней пришел обедать на поварне? Она без всякого стыда отвечала мне, что как нет у нее за столом людей посторонних, то для экономии, чтоб не разводить огня в камине столовой комнаты, обедает она на поварне, где на очаге огонь уже разведен. Жаловалась мне, что дрова очень дороги и что она одною поварнею чувствительный убыток терпит. Правда, что дрова здесь в сравнении нашего очень дороги: я за два камина плачу двадцать рублей в месяц; но со всем тем в Петербурге, гораздо больше печей имея, больше еще на дрова тратил и не разорялся. Смешно вздумать, каких здесь обо мне мыслей и по тому одному, что у меня в камине огонь не переводится. Il a une fortune immense! C'est un sénateur de Russie! Quel grand seigneur! [2] Вот отзыв, коим меня удостоивают; а особливо видя на мне соболий сюртук, на который я положил золотые петли и кисти. Всякий француз подходит ко мне и, поглядя на обшлаг, вне себя бывает от восхищения. Quelle finesse! Dieu! quelle beauté! [3] Перстень мой, который вы знаете и которого лучше бывают часто у нашей гвардии унтер-офицеров, здесь в превеликой славе. Здесь бриллианты только на дамах, а перстеньки носят маленькие. Мой им кажется величины безмерной и первой воды. Справедлива пословица: «В чужой руке ломоть больше кажется». Правда, что в рассуждении мехов те, кои я привез с собою, здесь наилучшие, и у Перигора нет собольего сюртука. Горностаевая муфта моя прибавила мне много консидерации. [4] «Beau blanc!» [5] — все кричат единогласно. Все гладят, и гладят очень бережно, чтоб не заворотить волоска. Всякий спрашивает о цене. Я говорю 300 руб. «Parbleu! je crois bien, — всякий отвечает, — il n'y

---

[1] Горничной *(франц.)*.

[2] У него громадное состояние! Это русский сенатор! Большой вельможа! *(франц.)*

[3] Какая прелесть! Боже! какая красота! *(франц.)*

[4] Уважения *(франц.)*.

[5] Прекрасная белизна! *(франц.)*

a rien de si beau que ça».[1] Словом, каждый день комедия. Я думаю, нет в свете нации легковернее и безрассуднее. Мне случалось на смех рассказывать совсем несбыточные дела и физически невозможные; ни одна душа, однако ж, не усомнилась; только что дивятся. Описывая сих простаков, говорю я о большей только части людей, ибо здесь хотя мало, однако есть очень умные люди, кои, чувствуя неизреченную глупость своих сограждан, сами над нею смеются и заодно со мною рассказывают небылицу. Часто, шатаясь поутру по книжным лавкам и по кофейным домам, прихожу к графу Перигору и рассказываю ему, какие мне делают вопросы; он помирает со смеху и, будучи очень веселого нрава, невзирая на свою флегму, рассказывает мне сам побасенки. Между прочим, талант мой дразнить людей находит здесь универсальную апробацию; а особливо дамы полюбили меня за дразненье. Я передразниваю здесь своего банкира не хуже Сумарокова. Словом, со мною все очень поладили и поминутно делают мне комплименты. Какие же? Что я будто не похожу на чужестранного. Надобно описать глупое заражение всех французов вообще. Они считают себя за первую в свете нацию и коли скажут: «vous n'avez point l'air étranger du tout», то тотчас прибавят: «je vous en fais bien mon compliment!»[2] Англичан здесь терпеть не могут и хотя в глаза очень обходятся с ними учтиво, однако за глаза бранят их и смеются над ними. Напротив того, хороши и англичане. Заехав в чужую землю, потому что в своей холодно, презирают жителей в глаза и на все их учтивости отвечают грубостью. Всего смешнее говорят они по-французски. Американские их дела доходят до самой крайности, и они в таком отчаянии, что, думать надобно, отступятся от Америки и, следовательно, объявят войну Франции: ибо издревле всякий раз, когда ни доходила Англия до крайнего несчастия, всегда имела ресурсом и обычаем объявлять войну Франции. Сие обстоятельство сделало

---

[1] Еще бы! Ничего нет прекраснее этого *(франц.)*

[2] Вы совсем не походите на чужестранного; поздравляю вас. *(Перевод Фонвизина.)*

то, что англичане отсюда вдруг поднялись и разъезжаются; а французы ожидают войны немедленно и флот свой так вооружают, что в Тулоне работают непрестанно по воскресным дням и по праздникам. Про нашу войну с турками здесь как в трубу трубят и всякий час новые вести. У нас, в России, любят вести, а здесь можно их назвать пищею французов. Они б дня не прожили, если б запретили им выдумывать и лгать. Поистине сказать, немцы простее французов, но несравненно почтеннее, и я тысячу раз предпочел бы жить с немцами, нежели с ними. Остается нам видеть Париж, чтоб формировать совершенное заключение наше о Франции; но кажется, что найдем то же, а разница, я думаю, состоять будет в том, что город больше, да спектакли лучше; зато климат хуже. Мы приметили, что здесь женский пол гораздо умнее мужеского, а притом и очень недурны. Красавиц нет, только есть лица приятные и веселые; а мужчины, выключая очень малое число, очень глупы и невежды; имеют одну наружность, а больше ничего. Все в прах изломаны, и у кого ноги хотя и не кривы (что редко встречается), однако кривит их нарочно для того, что король имеет кривые ноги; следственно, прямые ноги не в моде. Удивления достойны головы французов: сами чувствуют, что это смешно, сами этому смеются, со всем тем ноги кривят и ходят разваливаясь, как медведи. Я хотел бы описать тебе многие traits их глупости, ветрености и невежества; но предоставляю тебе рассказать их на словах, по моем возвращении. Рассказывать их лучше, нежели описывать, потому что всякое их рассуждение препровождено бывает жестами, которых описать нельзя, а передразнить очень ловко. Перестаю писать для того, что пришел к нам обедать Зиновьев и принесли уже кушанье. Какое белье! Боже! Ты видишь, чем мы принуждены утираться! Подумай, друг мой, что, кроме толстоты салфеток, дыры на них зашиты голубыми нитками! Нет и столько ума, чтоб зашить их белыми. На сих днях начался карнавал. Театр открыт известным Мольеровым фарсом: «Пурсоньяк». Я не описываю тебе здешнего театра; скажу только, что актера два-три хороши, а прочие скверны; но случившееся четвертого

дня в партере смятение против правительства заслуживает описания. Народу столь много собралось в комедии, что не только партер, ложи, но весь театр набит был людьми, так что актеры с нуждою действовать могли. После комедии начался балет. Партер закричал, чтоб вместо балета танцевали английский танец. Крик был необычайный. Танцовщики принуждены были сойти с театра, а вышел комедиянт спросить у партера, чрез кого хочет он, чтоб английский танец был танцован? Партер назвал любимого своего танцовщика, и начала уже играть музыка, как вдруг граф Перигор рассердился на насильство партера и велел закрыть занавес, объявя, что партер никакого не имеет права требовать того танца, который не был афиширован. Тут-то, друг мой сестрица, надобно было видеть бешенство партера! Этакого крику на наших кулачных боях, я чаю, не бывало. Кричали, что они не выйдут из партера, не видав требуемого танца, и грозили все вверх дном поставить. Какой поднялся визг от дам! Благодаря бога, мы сидели в ложе самого графа Перигора, следовательно караул, стоящий обыкновенно в ложе его, поставил нас в безопасность от наглости раздраженного народа. Чем же кончился бунт? Вдруг, по повелению графа, вбежали в партер человек с пятнадцать гренадер с обнаженными палашами и закричали, чтоб в один момент все шли из партера, или рубить будут. Тут-то сделалась давка. Вся храбрая сволочь, которая за минуту пред тем грозила театр поставить вверх ногами, бежала сломя голову вон: один давил другого, и в четверть часа все выбежали вон, чем дело и кончилось. Третьего дня после обеда случились у нас гости, и мы, заговорясь, опоздали несколько, однако пошли в комедию. В сенях нашли мы конфузию, и встретившиеся знакомые кричали жене моей, чтоб она воротилась, потому что в партере после окончания первой пьесы сделался бунт, который теперь в самом своем жару, и что пройти в ложу опасно. Ты можешь себе представить, что она тотчас воротилась. Я ее отпустил домой, а сам не утерпел, чтоб не пойти посмотреть, как французы задорятся. Пробравшись в Перигорову ложу, увидел я сцену прекрасную. Партер шумел так, что

у соседа своего не мог я ни о чем спросить: ибо, по причине великого шума, ни он не мог слышать моих слов, ни я его; но видел я, что гренадеры тащат многих за ворот в тюрьму. Иные бегут вон и давят друг друга; дамы все визжат по обыкновению. Чрез полчаса все утишилось и в партере осталось человек десятка три; малая пьеса благополучно была начата и окончена. В сей день смятение сделалось вот от чего: директор комедии, видя накануне, что беда была от требования английского танца, хотел услужить партеру и велел уже вместо балета танцевать английский танец. Партер возгордился сею услужливостию и закричал, чтоб после дали l'allemande.[1] Танцовщики все изготовились плясать что велят, как вдруг прислано было повеление от графа Перигора отнюдь не танцевать allemande и не потворствовать нахальству партера. Услышав сие, народ остервенился, и тут-то вбежали гренадеры и сделалась толкотня превеликая. Самых задорных стали хватать за ворот и отсылать в городскую тюрьму. Правда, что тут и правый и виноватый одну чашу пили. Вчера был спектакль и новая была сцена, а именно: караул был утроен; но защитники смятения, не входя в спектакль, останавливали идущих и всякого уговаривали и упрашивали не ходить в спектакль. От сего произошло то, что партер был пустехонек и играли только для лож. Бедный директор, претерпевая от сего убыток превеликий, сказывают, был сегодня у графа Перигора и со слезами просил его прекратить сие бедствие. Не знаю, что-то будет сегодня. Я с женою иду в спектакль, и как градоначальник здешний дал нам свою ложу, то мы в самой безопасности можем смотреть на все то, что происходить будет. Ну, мой друг сестрица, я понаписал довольно. Если тебе наскучит читать мои вздоры, то пеняй на себя. Тебе угодно было, чтоб я писал больше. Не взыскивай на мне, что я тебе не описываю каждого дня и не веду журнала порядочного. Один день так походит на другой, что было бы педантство ставить числа. Остается мне сказать тебе, что здесь теперь время самое

---

[1] Немецкий танец *(франц.)*.

летнее. La place du Peyrou наполнено было сегодня людьми, и уже с неделю, как за стол нам приносят апельсины. Жена и я носим живые цветы на платье; за шесть копеек букет предорогой.

5

Париж, 11/22 марта 1778.

Ты не можешь себе представить, как время летит в той земле, где никогда не бывал и где, следственно, любопытство все видеть, все узнать, занимает каждую минуту. Теперь вы уже знаете, что в Монпелье житье наше было не тщетно. Хотя жена моя приехала сюда не так здорова, как из Монпелье выехала, но приписываю это дорожным беспокойствам и переезду из прекрасного климата в похожий на наш. Ласкаюсь, что весна и воды будут ей полезны. Я здоров, но должен признаться, что голова моя изрядно надо мною подшутила. Не болела она во все время жития нашего в Монпелье, а за день до отъезда из него пришел ко мне такой пароксизм, что был я вне себя целые сутки и таких в России имел редко. Произошел он, однако ж, от причины. Я собрался ехать в Сет, пристань Средиземного моря, и велел разбудить себя рано; без того, думаю, что б я не страдал, или по крайней мере пароксизм не так был бы жесток . . . .

. . . .

Что же надлежит до Сент-Жерменя, то, конечно, он весьма чудная тварь, однако тем не меньше шарлатан. Я расстался с ним изрядно; счастлив тем, что остерегся и не поддался искушению, в которое он меня привлечь старался. Он писал ко мне письмо, в котором сулил золотые горы. Сие письмо послал я к графу Петру Ивановичу,[1] у которого можете взять прочесть, если вам хочется. Обещал он мне в нем открыть важнейшие секреты для обогащения и интересов России. Я на сие учтивым образом ему ответствовал, что как в Дрездене

---

[1] П. И. Панин.

находится министр российский, то бы к нему с своими проектами и адресоваться изволил. Со всем тем, что я называю его шарлатаном, конечно, не ошибаюсь: нахожу в нем много пречудного. Руссо твой в Париже живет, как медведь в берлоге; никуда не ходит и к себе никого не пускает. Ласкаюсь, однако ж, его увидеть. Мне обещали показать этого урода. Вольтер также здесь; этого чудотворца на той неделе увижу. Он болен и также никого к себе не пускает. На сих днях играли его новую трагедию, о которой поговорю после. Теперь продолжать стану журнал нашего вояжа. Вы получили письмо наше из Марселя. Вот город, в котором можно жить с превеликим удовольствием и который мне несравненно лучше и веселее Лиона показался. Спектакль прекрасный. Общество приятное и без всякой претензии. Из Марселя поехали мы в другой раз в Aix, а оттуда в папский город Avignon, в котором, кроме церквей, ничего нет любопытного. Потом ездили в города Оранж, Valence, Vienne и приехали в Лион, а из него в Макон, Шалон и в Дижон. Потом чрез города Оксерр, Сан и Фонтенебло приехали в Париж. Не описываю вам сих городов. Вы найдете исправное об них описание в Géographie de la Croix. Нашли мы много весьма доброго и весьма худого. Справедливость велит мне признаться, что все сии провинциальные города хорошо видеть однажды, а в другой раз не сто́ят. Что же до Парижа, то я выключаю его из всего на свете. Париж отнюдь не город; его поистине назвать должно целым миром. Нельзя себе представить, как бесконечно он велик и как населен. Мы приехали в него 20 февраля (3 марта) ввечеру. На другой день послал я к секретарю нашего министра, чтоб он ко мне пришел; вместо секретаря Барятинский сам прискакал ко мне верхом и обошелся со мною, как с родным братом. Он меня взял с собою и повез к Шуваловой, Строганову, Разумовскому и к другим русским. Жена не ездила для того, что устала; но после обеда графиня Шувалова сама приехала к жене моей и, посидевши до спектакля, увезла меня с собою. На другой день приехала к жене Строганова, также не дождавшись нашего первого визита. Чрез сие хотела она нам показать, что желает

обходиться с нами без всяких чинов. И действительно, мы все видимся всякий день. Русских здесь множество, и все живут как одна семья; но образ жизни ни мне, ни жене моей не нравится. Никакого в распоряжении времени порядка нет: день делают ночью, а ночь днем. Игра и le beau sexe[1] занимают каждую минуту. Кто не подвергается всякую минуту опасности потерять свое имение и здоровье, тот называется здесь философ. Из русских здесь, смело скажу, только два философа. Прочие все живут по-французски, чего нас избави боже! Парижа описывать вам не хочу, потому что вы из книг так же его узнаете, как я; а скажу вам мое весьма справедливое примечание, что нет шагу, где б не находил я чего-нибудь совершенно хорошего, всегда, однако ж, возле совершенно дурного и варварского. Такая несообразность должна удивить каждого. Увидишь здание прекрасное и верх искусства человеческого, а подле него какой-нибудь госпиталь для дурных болезней; словом, то, что мы называем убогий дом, здесь среди города. Народ, впрочем, в крайней бедности и питается, можно сказать, одною industrie.[2] Зато здесь почти всякий день вешают и колесуют. Неустройства происходят много и от многолюдства. Нельзя, чтоб полиция, сколь бы ни была хороша, усмотрела все в таком содоме. Подумай, матушка, что в городе каждый день четыре спектакля, ярмарка и гульбище. Куда ни поди, везде полнешенько. Нет места, где б не видать было кучи народа. Нет в целых сутках ни одной минуты, чтоб не слышан был стук каретный. Есть здесь мост, так называемый Pont-Neuf. Кто недавно в Париже, с тем бьются здешние жители об заклад, что когда по нем ни пойди, всякий раз встретится на нем белая лошадь, поп и непотребная женщина. Я нарочно хожу на этот мост и всякий раз их встречаю. Вообще сказать, праздность здесь неизреченная. Новые вести составляют пищу здешних жителей. Всякая новость занимает все головы. При нас случилось приключение, которое стóит того, чтоб здесь его описать: в маска-

[1] Прекрасный пол *(франц.)*.
[2] Ловкостью *(франц.)*.

раде королевский брат, граф д'Артуа, будучи хмелен, сделал неучтивость перед дюшессою де Бурбон и сорвал с нее маску. Муж ее вступился и вызвал на дуэль обидчика. Поединок был кавалерский, и брат его величества имел от него оцарапанную руку. Потом обнялись и помирились. Подравшись, дюк де Бурбон проехал прямо в Оперу. Я был свидетелем сцены весьма примечательной. Весь народ оборотился к нему, и я думал, что от битья в ладони театр развалится. Кричат тысячи людей: «Bravo, bravo, достойная кровь Бурбона!» На другой день король сослал в ссылку и брата своего и дюка на восемь дней за то, что они, в нарушение закона, выходили на дуэль. A propos, друг мой сестрица, не у одних у нас война, и здесь она неминуема. Английский посол завтра выедет отсюда без аудиенции, и теперь ни о чем более здесь не говорят, как о войне. Англичане все едут домой. У цесарцев с прусским королем также война скоро последует. Вся Европа перебесилась. Перестанем говорить о такой материи, которая так досадна и скучна, а поговорим теперь о спектаклях. Могу тебя уверить, что французская комедия совершенно хороша, а трагедию нашел я гораздо хуже, нежели воображал. Место покойника Лекеня заступил Ларив, которого холоднее никто быть не может; но в комедии есть превеликие актеры. Превиль, Моле, Бризар, Оже, Долиньи, Вестрис, Сенвальша — вот мастера прямые! Когда на них смотришь, то, конечно, забудешь, что играют комедию, а кажется, что видишь прямую историю. При мне играли новую Вольтерову пьесу: «Ирена, или Алексий Комнин», которая принята была публикою с восхищением. Меня было оглушило от битья в ладоши. Зато играли другую новую пьесу, а именно «L'homme personnel», которая упала вовсе. Правду сказать, что рукоплескание и свистание ничего не решат, потому что партер, который сие право имеет, состоит из народа самого невежественного. В доказательство скажу, что здесь за все про все аплодируют, даже до того, что если казнят какого-нибудь несчастного и палач хорошо повесит, то вся публика аплодирует битьем в ладоши палачу точно так, как в комедии актеру. Не могу никак сообразить того,

как нация, чувствительнейшая и человеколюбивая, может быть так близка к варварству. Что же надлежит до ридикюлей,[1] то никто так охотно не шпыняет над другими, как французы, и никто столь много ридикюлей не имеет. Самый образ обхождения достоин посмеяния. Всего написать не можно, что здесь смешного встречается. Ни в чем на свете я так не ошибался, как в мыслях моих о Франции. Радуюсь сердечно, что я ее сам видел и что не может уже никто рассказами своими мне импозировать. Мы все, сколько ни есть нас русских, вседневно сходясь, дивимся и хохочем, соображая то, что видим, с тем, о чем мы, развеся уши, слушивали. Славны бубны за горами — вот прямая истина! Намерение наше непременное в исходе сентября или в начале октября быть в России, и, поистине сказать, нет никакого резона нам в чужих краях оставаться; да и жена моя хочет поскорее до места, а то, право, уже таскаться обоим нам наскучило. A propos, я начал слушать курс экспериментальной физики у Бриссона, а жена взяла учителя на клавесинах; живем веселехонько, а подчас скучнехонько! Право, Париж отнюдь не таков, чтоб быть от него без памяти; я буду всегда помнить, что в нем, так же как и везде, можно со скуки до смерти зазеваться. Прости, друг мой сестрица. Люби нас и пиши почаще.

6

Париж, 20/31 марта 1778.

Вчера Волтер был во Французской академии. Собрание было многочисленное. Члены Академии вышли ему навстречу. Он посажен был на директорское место и, минуя обыкновенное баллотирование, выбран единогласно в директоры на апрельскую четверть года. От Академии до театра, куда он поехал, народ провожал его с непрестанными восклицаниями. Представлена была новая трагедия: «Ирена, или Алексий Комнин». При входе в ложу публика аплодировала ему много-

[1] Смешного *(франц.)*.

кратно с неописанным восторгом, а спустя несколько минут Бризар, как старший актер, вошел к нему в ложу с венком, который надел ему на голову. Вольтер тотчас снял с себя венок и, заплакав от радости, сказал вслух Бризару: «Ah, Dieu, vous voulez donc me faire mourir!»[1] Трагедия играна была гораздо с бо́льшим совершенством, нежели в первые представления. По окончании ее новое зрелище открылось. Занавес опять был поднят; все актеры и актрисы, окружа бюст Волтеров, увенчивали его лавровыми венками. Сие приношение публика сопровождала громким рукоплесканием, продолжавшимся близ четверти часа непрерывно. Наконец представлявшая Ирену г-жа Вестрис, оборотясь к Волтеру, читала следующие стихи:

Aux yeux de Paris enchanté
Reçois en ce jour un hommage,
Que confirmera d'âge en âge
La sévère postérité.

Non, tu n'as pas besoin d'atteindre au noir rivage
Pour jouir de l'honneur de l'immortalité!
Voltaire, reçois la couronne
Que l'on vient de te présenter;
Il est beau de la mériter
Quand c'est la France qui la donne.[2]

Для показания своего удовольствия публика велела повторить чтение сих стихов и аплодировала им с великим криком. Как же скоро Волтер, выходя из театра, стал садиться в свою карету, то народ закричал: «des flambeaux, des flambeaux!»[3] По принесении факелов, велели кучеру ехать шагом, и бесчисленное множество народа с факелами провожало его до самого дома, крича непрестанно: «Vive Voltaire!»[4]

---

[1] Ах, боже, вы хотите уморить меня! *(франц.)*

[2] На глазах восхищенного Парижа прими сегодня дань уважения, которое из века в век будет подтверждать строгое потомство. Нет, тебе не нужно ждать предела жизни, чтобы наслаждаться славой бессмертия! Прими, Вольтер, венок, который тебе дарят; прекрасно заслужить его, когда Франция тебе его преподносит *(франц.)*.

[3] Факелов, факелов! *(франц.)*

[4] Да здравствует Вольтер! *(франц.)*

7

Париж, апреля 1778.

Собрав несколько писем твоих, хочу на них ответствовать на целом листе. Правда, что они не требуют такого пространного ответа, да я хочу прибавить, по моему обыкновению, описание всего того, что здесь вижу. Ты пишешь, что наши приезжие из Парижа уверяют вас, что здесь множество ученых людей таскаются без пропитания. Видно, что сии господа вояжеры сами не весьма ученые люди, ибо смело вам скажу, что ни один из здешних прямо ученых и достойных людей не подумает ехать в Россию без великой надежды сделать фортуну свою и семьи своей. Видно, что они учеными людьми сочли каких-нибудь шарлатанов, которые за копейку обещают обучать всему на свете. Здесь нет ни одного ученого человека, который бы не имел верного пропитания, да к тому ж все они так привязаны к своему отечеству, что лучше согласятся умереть, нежели его оставить. Сие похвальное чувство вкоренено, можно сказать, во всем французском народе. Последний трубочист вне себя от радости, коли увидит короля своего; он кряхтит от подати, ропщет, однако последнюю копейку платит, во мнении, что тем пособляет своему отечеству. Коли что здесь действительно почтенно и коли что всем перенимать здесь надобно, то, конечно, любовь к отечеству и государю своему.

Волтера я видел и был свидетелем оказанных ему почестей. Могу сказать, что кроме Руссо, который в своей комнате зарылся, как медведь в берлоге, видел я всех здешних лучших авторов. Я в них столько же обманулся, как и во всей Франции. Все они, выключая весьма малое число, не только не заслуживают почтения, но достойны презрения. Высокомерие, зависть и коварство составляют их главный характер. Сказывают, что в старину авторы вели войну между собою не иначе, как критикуя один другого сочинения; а ныне не только трогают честь язвительными ругательствами, но рады погубить друг друга вовсе, как какие-нибудь звери. И действительно, мало в них человеческого.

Всякий ученый есть гонитель всех тех, кои розно с ним думают или сочинения его не находят совершенными. Здесь скверные стихи разделяют часто дом: брата с братом вечно делают врагами, и, словом сказать, литеральные войны делают многих людей погибель. Не могу вам довольно изъяснить, какими скаредами нашел я в натуре тех людей, коих сочинения вселили в меня душевное к ним почтение. Вообще тебе скажу, что я моральною жизнию парижских французов очень недоволен. Сколько идея *отечества* и *короля* здесь твердо в сердца вкоренена, столь много изгнано из сердец всякое сострадание к своему ближнему. Всякий живет для одного себя. Дружба, родство, честь, благодарность — все это считается химерою. Напротив того, все сентименты обращены в один пункт, то есть ложный point d'honneur.[1] Наружность здесь все заменяет. Будь учтив, то есть никому ни в чем не противоречь; будь любезен, то есть ври, что на ум ни набрело, — вот два правила, чтоб быть un homme charmant.[2] Сообразя все, что вижу, могу сказать безошибочно, что здесь люди не живут, не вкушают истинного счастия и не имеют о нем ниже понятия. Пустой блеск, взбалмошная наглость в мужчинах, бесстыдное непотребство в женщинах, другого, право, ничего не вижу. Ты можешь себе представить, что все сие нам очень не понравилось. Я всякий день бегаю с утра до вечера по городу, чтоб видеть все примечательное; а как скоро все осмотрим и пришлют ко мне деньги, то истинно лишнего дня здесь не останусь. Между тем, скажу тебе, что́ меня здесь более всего удивляет: это мои любезные сограждане. Из них есть такие чудаки, что вне себя от одного имени *Парижа;* а при всем том, я сам свидетель, что они умирают со скуки; если б не спектакли и не много было здесь русских, то бы действительно Париж укоротил век многих наших русских французов. Итак, кто тебя станет уверять, что Париж центр забав и веселий, не верь: все это глупая аффектация; все лгут без милосердия. Кто сам в себе ресурсов не имеет,

---

[1] Вопрос чести *(франц.)*.
[2] Прелестным человеком *(франц.)*.

тот и в Париже проживет, как в Угличе. Четыре стены везде равны; но чтоб дать вам идею, как живут здесь все вообще чужестранцы, то расскажу тебе все часы дня, как они его проводят. Поутру, встав очень поздно, мужчина надевает фрак с камзолом, или, справедливее сказать, с душегрейкою весьма неблагопристойною. Весь растрепан, побежит au Palais-Royal,[1] где, нашед целую пропасть девок, возьмет одну или нескольких с собою домой обедать. Сие непотребное сонмище поведет с собою в спектакль на свои деньги; а из спектакля возьмет с собою свою девку и теряет свои деньги с здоровьем невозвратно. Так здесь живут не только холостые, но почти все женатые; а разница в том, что женатые нанимают особенные дома для своих шалостей. Что ж надлежит до дам, то наши русские знаются между собою; но сие могли бы они делать точнехонько и в России; следственно, Париж тут не входит ни во что. Буде же знаться с француженками, то, по короткому пребыванию, не стоит и заводить с ними знакомства; да французские дамы притом и горды. Шувалова ездит ко многим, а к ней никто; следственно, такое знакомство не всякому приятно. По крайней мере я не хочу иного знакомства, кроме такого, где б оно совершенно было наблюдаемо. Из этого заключить можешь, что для чужестранных нет никакого здесь société.[2] Надобно сказать, что дам чужестранных здесь очень немного, а мужчин, особливо же молодых, пропасть. Их две вещи в Париж привлекают: спектакли да девки. Отними сии две приманки, то целые две трети чужестранцев тотчас уедут из Парижа. Спектакли здесь такие, каких совершеннее быть не может. Трагедия после Лекеня, Клеронши, Дюменильши, конечно, упала; но комедия в наилучшем цвете. Опера есть великолепнейшее зрелище в целом свете. Итальянский спектакль очень забавен. Сверх того, есть много других спектаклей. Все каждый день полнешеньки. Два примечания скажу тебе о здешних спектаклях, и поверь, что скажу сущую правду. Кто не видал комедии в Париже, тот не имеет прямого

---

[1] Пале-Рояль *(франц.)*.
[2] Общества *(франц.)*.

понятия, что́ есть комедия. Кто же видел здесь комедию, тот нигде в спектакль не поедет охотно, потому что после парижского смотреть другого не захочет. Не говорю я, чтоб у нас или в других местах не было актеров, достойных быть в здешней труппе: но нет нигде такого ensemble, [1] каков здесь, когда в пьесе играют все лучшие актеры. Два дня в неделе играют дубли. Тогда действительно и парижский спектакль гроша не стоит. Теперь поговорю о другой приманке, а именно: о девках. Здесь все живут не весьма целомудренно; но есть состояние особенное, называющееся les filles, то есть: непотребные девки, осыпанные с ног до головы бриллиантами. Одеты прелестно; экипажи такие, каких великолепнее быть не может. Дома, сады, стол — словом, сей род состояния изобилует всеми благами света сего. Спектакли все блистают от алмазов, украшающих сих тварей. Они сидят в ложах с своими любовниками, из коих знатнейшие особы имеют слабость срамить себя публично, садясь с ними в ложах. Богатство их неисчислимо; а потому благородные дамы взяли другой образ нарядов, то есть ни на одной благородной не увидишь бриллиантика. Дорогие камни стали вывескою непотребства. На страстной неделе последние три дня было здесь точно то, что в Москве мая первое. Весь город ездит в рощу и не выходит из карет. Тут-то видел я здешнее великолепие. Наилучшие экипажи, ливреи, лошади — все это принадлежало девкам! В прекрасной карете сидит красавица вся в бриллиантах. Кто ж она? Девка. Словом сказать, прямо наслаждаются сокровищами мира одни девки. Сколько от них целых фамилий вовсе разоренных! Сколько благородных жен несчастных! Сколько молодых людей погибших! Вот город, не уступающий ни в чем Содому и Гомору. С одной стороны видишь нечестие, возносящее главу свою, а с другой — вдов и сирот, стоящих подле окон домов великолепных, откуда из седьмого этажа (ибо добрые люди живут на чердаках) кидают сим нищим куски хлеба, как собакам. В первых же этажах обитают люди богатые с окаменелыми сердцами, следственно им до того

[1] Ансамбля *(франц.)*.

дела нет. Надобно приметить, что нищим здесь запрещено просить милостыню, а как скоро кто попадется, то отводят его в больницы, Инвалиды и Бисетр. Сии места сто́ят особенного описания; я предоставляю это для другого письма, а наперед скажу только то, что воображение человеческое никак представить себе не может варварства и бесчеловечия, с каким трактуются несчастные люди. Не могу выйти из удивления, как нация просвещенная и, по справедливости сказать, человеколюбивейшая может терпеть, чтоб такие лютости совершались среди столичного города. Знать, что всякое сострадание исчезло в их сердцах. Сказывают, что на страстной неделе говорил в Версалии проповедь пред королем славный здешний проповедник l'abbé Maury [1] и на чистые денежки описал королю весь ужас, в котором живут несчастные в Бисетре и Инвалидах. Король во время проповеди топал ногами и отзывался, что он ничего этого не знал, а проповеднику сказал, что он ласкается не заслужить впредь такой проповеди, которая растерзала его сердце. Дай бог, чтоб он скорее облегчил страдание несчастных! Уверяют, что сей проповедник будет за сию проповедь епископом. Страстная и святая недели были проведены в службе божией. Я сам слышал сего славного проповедника. Красноречия много, но не понравилась мне его декламация, которую нашел я слишком театральною. В прошлый понедельник отворены были все театры. Мы с женою предпочли видеть «Альзиру» и приехали в театр очень кстати. За нашею каретою ехал Волтер, сопровождаемый множеством народа. Вышед из кареты, жена моя остановилась со мною на крылечке посмотреть на славного человека. Мы увидели его почти на руках несомого двумя лакеями. Оглянувшись на жену мою, приметил он, что мы нарочно для него остановились, и для того имел аттенцию, [2] к ней подойдя, сказать с видом удовольствия и почтения: «Madame! Je suis bien votre serviteur très humble». [3] При сих словах сделал он такой

---

[1] Аббат Мори *(франц.)*.
[2] Внимание *(франц.)*.
[3] Мадам, я ваш покорнейший слуга *(франц.)*.

жест, который показывал, будто он сам дивится своей славе. Сидел он в ложе madame Lebert; но публика не прежде его усмотрела, как между четвертым и пятым актом. Лишь только приметила она, что Волтер в ложе, то зачала аплодировать и кричать, потеряв всю благопристойность: «Vive Voltaire!» Сей крик, от которого никто друг друга разуметь не мог, продолжался близ трех четвертей часа. Madame Vestris, которая должна была начинать пятый акт, четыре раза принималась, но тщетно! Волтер вставал, жестами благодарил партер за его восхищение и просил, чтоб позволил он кончить трагедию. Крик на минуту утихал, Волтер садился на свое место, актриса начинала, и крик поднимался опять с бóльшим стремлением. Наконец все думали, что пьесе век не кончиться. Господь ведает, как этот крик перервался, а Вестрис предуспела заставить себя слушать. Трагедия играна была отменно хорошо. Замора играл Larive, заступивший место Лекеня. Сам Волтер несколько раз кричал ему: bravo! Альвара играл Бризар, а Гусмана Монвель. Оба имеют истинные таланты. После трагедии некто заслуженный офицер и кавалер Лескюр возгорел жаром стихотворства и, вошед в ложу к Волтеру, подал ему сочиненные им в тот же момент стихи:

Ainsi chez les Incas dans leurs jours fortunés
Les enfants du soleil, dont nous suivons l'exemple
Aux transports les plus doux étaient abandonnés
Lorsque de ses rayons il éclairait leur temple.[1]

Волтер, приняв их, ответствовал ту же минуту:

Des chevaliers français tel est le caractère,
Leur noblesse en tout temps me fut utile et chère.[2]

Я видел уже три раза Волтера. Из всех ученых удивил меня д'Аламберт. Я воображал лицо важное,

---

[1] Мы следуем примеру инков, детей солнца, которые в счастливые дни предавались сладостным восторгам, когда оно освещало их храм своими лучами *(франц.)*.

[2] Таков характер французских рыцарей, их доблесть всегда была мне дорога *(франц.)*.

почтенное, а нашел премерзкую фигуру и преподленькую физиономию. Сегодня открылось в Париже собрание, называемое: Le rendez-vous de la République des lettres et des arts.[1] Господа ученые почтили меня приглашением, и я после обеда туда еду. Они хотят иметь меня своим корреспондентом. Бог ведает, кто-то им сказал, будто я русский un homme de lettres.[2] Сам директор сего собрания у меня был, и комплиментам конца не было. Вчера было собрание в Академии наук. Волтер присутствовал; я сидел от него очень близко и не спускал глаз с его мощей. Обещают мне здешние ученые показать Руссо, и как скоро его увижу, то могу сказать, что видел всех мудрых века сего. Если вы воображали, что мы пленимся чужими краями, то как обманулись! — Со всем тем, я очень рад, что видел чужие краи. По крайней мере не могут мне импозировать наши Jean de France. Много приобрел я пользы от путешествия. Кроме поправления здоровья, научился я быть снисходительнее к тем недостаткам, которые оскорбляли меня в моем отечестве. Я увидел, что во всякой земле худого гораздо больше, нежели доброго, что люди везде люди, что умные люди везде редки, что дураков везде изобильно и, словом, что наша нация не хуже ни которой и что мы дома можем наслаждаться истинным счастием, за которым нет нужды шататься в чужих краях.

8

Париж, августа 1778.

Мы теперь живем в загородном доме, называемом Belair.[3] Место прекрасное, окруженное садом, прозванным les Champs-Elisées,[4] и Булонскою рощею. Парижские окрестности похожи на московские. Ситуации такие, что везде видишь картину. Сию справедливость

---

[1] Собрание общества писателей и художников *(франц.)*.
[2] Писатель *(франц.)*.
[3] Бэль эр — прекрасный вид *(франц.)*.
[4] Елисейские поля (франц.).

я отдаю охотно, равно как и ту, что сам Париж немножко почище свиного хлева. Я вам наскучил уже описанием нечистоты града сего; но истинно, я так сердит на его жителей, что теперь рад их за то бранить от всего сердца. С крыльца сойдя, надобно тотчас нос зажать. Мудрено ли, что здесь делают столько благоуханных вод: да без них бы, я думаю, все задохлись. Правду ты пишешь, что нас в России обманывают без милосердия Кары, Машковы и прочие, говоря о здешней земле, как о земном рае. Спору нет, много есть очень хорошего; но, поверь же мне, истинно хорошего сии господа, конечно, и не примечали; оно ушло от их внимания. Можно вообще сказать, что хорошее здесь найдешь, поискавши, а худое само в глаза валит. Живучи здесь близ полугода, кажется довольно познакомился я с Парижем и узнал его столько, что в другой раз охотою, конечно, в него не поеду.

Я люблю спектакли; они меня очень забавляют; имею также знакомство с авторами — вот что примиряет меня несколько с Парижем. Мармонтель, Томас и еще некоторые ходят ко мне в дом; люди умные, но большая часть врали. Исключая Томаса, который кажется мне кротким и честным человеком, почти все прочие таковы, что гораздо приятнее читать их сочинения, нежели слышать их разговоры. Самолюбие в них такое, что не только думают о себе, как о людях, достойных алтарей, но и бесстыдно сами о себе говорят, что они умом и творениями своими приобрели бессмертную славу. Помнишь, какого мнения был о себе наш Сумароков и что он о своих достоинствах говаривал? Здесь все Сумароковы: разница только та, что здешние смешнее, потому что вид на них гораздо важнее. Я, с моей стороны, персонально их учтивостию доволен. Они, услышав от Строганова, Барятинского и прочих, что я люблю литературу и в ней упражняюсь, очень меня приласкали, даже до того, что в заведенное нынешним годом собрание, под именем Le rendez-vous des gens des lettres,[1] прислали ко мне инвитацию,[2]

[1] Собрание писателей *(франц.)*.
[2] Приглашение *(франц.)*.

так же как и к славному Франклину, который живет здесь министром от американских соединенных провинций. Он, славный английский физик Магеллан и я были приняты отменно хорошо, даже до того, что на другой день напечатали в газетах о нашем визите. Вы увидите в газете имя мое, estropié[1] по обычаю, и посмотрите, сколько в Париже вседневных забав. Я имел удачу понравиться в собрании рассказыванием о свойстве нашего языка, так что директор сего собрания, la Blancherie, один из мудрых века сего, прислал ко мне звать и в будущее собрание. Я посылаю его письмо, чтоб ты видела, в каком почтительном тоне ученый народ со мною обращается. Кроме охоты моей к литературе, имею я в их глазах другой мерит,[2] а именно, покупаю книги, езжу в карете и живу домом, то есть можно прийти ко мне обедать. Сие достоинство весьма принадлежит к литературе, ибо ученые люди любят, чтоб их почитали и кормили. Теперь приступаю к истории, которая тебя столько же огорчит, как и меня, ибо я знаю, как ты любишь Руссо. Послушай, что с ним сделалось.

Я писал к тебе, что Руссо обещал мне показать себя и уже назначен был день для нашего свидания; но накануне дня того пришел ко мне один abbé, чрез которого я добивался познакомиться с Руссо, и сказал мне новые вести, что он был в доме у Руссо и застал его жену в слезах и отчаянии, которая спрашивала его: не видал ли он, где муж ее? Он уже две ночи дома не ночевал, и она боится, не посажен ли он в тюрьму от правительства. Дня три прошли в сем безызвестии; наконец узнали, что он поехал к одному своему приятелю, человеку знатному, в деревню от Парижа верст с пятьдесят. Причина его удаления вот какая: он сочинил Mémoires[3] своей собственной жизни, в которых весьма свободно описывал все интриги здешних вельмож поименно. Сию книгу сочинял он с тем, чтоб после смерти жена его ее напечатала и имела б от нее верный

---

[1] Искаженное *(франц.)*.
[2] Достоинство *(франц.)*.
[3] Мемуары *(франц.)*.

и нарочитый доход. Он для нее сию книгу пишет и оставляет ей в наследство. Жена его такая алчная к деньгам, какой свет не производил. Ей показалось долго дожидаться мужней смерти. Она, уговорясь с одним книгопродавцем, продала ему манускрипт, позволяя его списывать тихонько, когда Руссо спал. Он не знал, не ведал этой напасти, как вдруг получил письмо из Голландии, от одного книгопродавца, который пишет к нему, что он имеет в руках своих его манускрипт, купленный за сто луидоров, и спрашивает его от доброго сердца: на какой бумаге и какими литерами советует он сделать издание? Руссо жестоко испугался, увидя женино бездельство, и писал к книгопродавцу, чтоб он бога ради до смерти его не печатал книги; а сам, бросив неблагодарную жену, поехал в деревню к своему приятелю. Теперь уже видно, что книгопродавец его не послушал: ибо книга напечатана, и появившиеся здесь экземпляры конфискованы; а бедный Руссо, видно от страха и негодования, прекратил жизнь свою. Сегодня получено известие, что он умер и найдена на теле его ранка в самом сердце. Сказывают, что он булавкою проткнул сердце, а иные говорят ножичком. Как бы то ни было, но он сам себя лишил жизни; по крайней мере сей слух разнесся теперь по всему городу. Приятель мой Гудон, славный скульптор, поехал теперь к нему снимать маску, ибо лицо, как слышно, точно еще такое, как было у живого.

Итак, судьба не велела мне видеть славного Руссо! Твоя, однако ж, правда, что чуть ли он не всех почтеннее и честнее из господ философов нынешнего века. По крайней мере бескорыстие его было строжайшее. Я так зол на жену его, что если б был судья, то бы велел ее повесить.

Не описываю тебе всего, что здесь внимания достойно. Я писал к батюшке превеликое письмо и устал так, что, право, едва сию страницу могу окончить. Ты получишь от меня, конечно, большое письмо. Живучи за городом, имею больше времени и способности к писанию.

Мы сегодня едем в St. Cloud.[1] Там много людей будет. Завтра утро будет у меня ученое; проведу его с д'Аламбертом. Вот здешние мои приятности: ученые врали, спектакли и гульбища, но и то наскучило. Мы оба нетерпеливо хотим кончить наше кочеванье. Очень будем рады, как доберемся до дома. Прости!

К П. И. ПАНИНУ

1

Монпелье, 22 ноября (3 декабря) 1777.

За долг почитаю уведомить ваше сиятельство, как истинного моего благодетеля, о приезде моем в здешний город, в котором, по причине болезни жены моей, расположился я остаться на зиму. Прекрасный климат и искусство здешних медиков подают мне превеликую надежду об ее выздоровлении, и самая дорога, продолжавшаяся близ трех месяцев, утвердила ее силы. Первый здешний доктор, г. Деламюр, которого я призвал, начал уже ей давать лекарства; приуготовляет ее к принятию полной меры известного от глистов состава, коего секрет королем куплен; а по истреблении их останется привести в порядок причиненное ими расстройство в теле. Г-н Деламюр имеет здесь славу, которую заслужил совершенно исцелением многих от претяжких болезней. Счастливый его успех в лечении произвел такую к нему доверенность, что все чужестранцы ищут у него помощи предпочтительно пред другими докторами, коих число в Монпелье до семидесяти простирается. Впрочем, милостивый государь, надлежит признаться, что сему славному медику способствует, конечно, много и здешний климат, которого лучше в свете быть не может. У нас весьма часто бывает самое лето хуже настоящего здесь времени. Гульбища всякий день наполнены людьми, и не только теперь до шуб, ниже до муфт дела не доходит. Господь

[1] Сен-Клу *(франц.)*.

возлюбил, видно, здешнюю землю: никогда небеса здесь мрачны не бывают. Прекрасное солнце отсюда неотлучно. Один недостаток здесь чувствителен: земля не способна к произращению дерев, и летом мало убежища от солнечных лучей. Жары, сказывают, здесь несносны, но зима есть то время года, которого приятнее желать невозможно. Множество больных чужестранцев и из других провинций французов съехалось сюда, по обыкновению, на зиму, и Монпелье можно назвать больницею, но такою, где живут уже выздоравливающие. Не могу изъяснить вашему сиятельству, сколь приятно видеть множество людей, у коих написана на лице радость, ощущаемая при возвращении здоровья! Все больные видятся ежедневно на гульбище и, сообщая взаимно перемену болезней своих, друг друга утешают и ободряют.

Позвольте, милостивый государь, продолжить уведомление о моем путешествии. Последнее письмо имел я честь писать к вашему сиятельству из Дрездена. В нем пробыл я близ трех недель. Осмотрев тут все достойное примечания, поехал я в Лейпциг, но уже не застал ярмарки. Я нашел сей город наполненным учеными людьми. Иные из них почитают главным своим и человеческим достоинством то, что умеют говорить по-латыни, чему, однако ж, во времена Цицероновы умели и пятилетние ребята; другие, вознесясь мысленно на небеса, не смыслят ничего, что делается на земле; иные весьма твердо знают артифициальную логику, имея крайний недостаток в натуральной; словом — Лейпциг доказывает неоспоримо, что ученость не родит разума. Оставя сих педантов, поехал я во Франкфурт-на-Майне. Сей город знаменит древностями и отличается тем, что римский император бывает в нем избран. Я был в палате избрания, из коей он является народу. Но все сие имеет древность одним своим достоинством, то есть: видел я по четыре пустых стен у старинных палат, а больше ничего. Показывали мне также известную, так называемую la Bulle d'or (Золотую Буллу) императора Карла IV, писанную в 1356 году; я был в имперской архиве. Все сие поистине не стоит труда лазить на чердаки и слезать в погреба,

где хранятся знаки невежества. Из Франкфурта ехал я по немецким княжествам: что ни шаг, то государство. Я видел Ганау, Майнц, Фульду, Саксен-Готу, Эйзенах и несколько княжеств мелких принцев. Дороги часто находил немощеные, но везде платил дорого за мостовую; и когда, по вытащении меня из грязи, требовали с меня денег за мостовую, то я осмеливался спрашивать: где она? На сие отвечали мне, что его светлость владеющий государь намерен приказать мостить впредь, а теперь собирать деньги. Таковое правосудие с чужестранными заставило меня сделать заключение и о правосудии к подданным. Не удивился я, что из всякого их жилья куча нищих провожала всегда мою карету. Наконец приехал я в Мангейм, резиденцию курфирста пфальцского. Известное мне положение сего двора, в рассуждении нашего, привлекло меня представиться курфирсту, для чего я и взял из Дрездена туда рекомендательные письма. Как от него, так и от курфирстины принят я был весьма милостиво. Оставя меня обедать, его светлость посадил меня возле себя. Разговоры, коими он и супруга его меня удостоили, доказывают просвещенное их благоразумие, усердие к нашему двору и большое уважение к особе братца вашего. Что ж касается до города, то лучше его я не видал в Германии: строение новое и регулярное. Впрочем, ближнее соседство с французами сделало то, что в мангеймских немцах гораздо менее национальности, нежели в других. Отсюда выехал я во Францию и, чрез Страсбург, Безансон, Bourg-en-Bresse,[1] достиг славного города Лиона. Дорога в сем государстве очень хороша, но везде по городам улицы так узки и так скверно содержатся, что дивиться надобно, как люди с пятью человеческими чувствами в такой нечистоте жить могут. Видно, что полиция в сие дело не вступается, чему в доказательство осмелюсь вашему сиятельству рассказать один пример. Шедши в Лионе по самой знатной и большой улице (которая, однако ж, не годится в наши переулки), увидел я среди бела дня зажженные факелы и много людей среди улицы. Будучи близо-

[1] Бур-ан-Бресс *(франц.)*.

рук, счел я, что это, конечно, какое-нибудь знатное погребение; но, подошед из любопытства ближе, увидел, что я сильно обманулся: господа французы изволили убить себе свинью — и нашли место опалить ее на самой средине улицы! Смрад, нечистота и толпа праздных людей, смотрящих на сию операцию, принудили меня взять другую дорогу. Не видав еще Парижа, не знаю, меньше ли в нем страждет обоняние, но виденные мною во Франции города находятся в рассуждении чистоты в прежалком состоянии.

В Лионе смотрел я фабрики шелковых изделий, откуда Франция посылает во всю Европу наилучшие парчи и штофы. По справедливости сказать, сии мануфактуры в таком совершенстве, до которого другим землям доходить трудно. Сей город остановил меня на несколько времени для осмотрения в нем достойного любопытства. L'hôtel Dieu[1] построен в половине шестого века; здание огромное и заслуживающее примечания сколько искусством древних архитекторов, столько и наблюдаемым внутри оного порядком в рассуждении великого числа больных. Меня впустили смотреть их в тот час, когда les soeurs (сестры милосердия, больным женщинам служащие) обносили им кушанье. Я с душевным возмущением видел страждущих различными болезнями, но с удивлением и внутренним удовольствием смотрел, с каким рачением и усердием ходят около сих несчастных. — L'hôtel de ville[2] есть здание весьма великолепное, оно, по признанию вояжеров, превосходит амстердамскую ратушу. Многие монастыри и церкви украшены картинами великих художников. Вообще Лион есть город весьма древний, большой, коммерческий, многолюдный, словом — после Парижа первый в королевстве.

Из Лиона приехал я сюда в пять дней. Монпелье город небольшой, но имеющий приятное местоположение; улицы его узки и скверны, но дома есть очень хорошие. Университет здешний основан в 1180 году, и медицинский его факультет славен в Европе. Вне города есть

---

[1] Госпиталь *(франц.)*.
[2] Ратуша *(франц.)*.

la place du Peyrou, приятнейшее и великолепнейшее из всех известных. На нем прогуливается целый город вседневно. Место высокое, чистое, усаженное деревьями, украшенное статуею Людовика XIV и удивляющее взор славным aqueduc (водопровод), длины превеликой и работы, достойной внимания. Отсюда вода идет во весь город. Средиземное море видно с сего места, а при восхождении солнца видна, сказывают, и Испания. Сие прекрасное место заслуживает и быть в таком климате, каков здешний, где гулянье во все времена года составляет наилучшую забаву.

В рассуждении общества теперь здесь самое наилучшее время. Les Etats de Languedoc собрались сюда, по обыкновению, на два месяца. Они состоят из уполномоченных от короля правителей, духовенства и дворянства. Собрание сего земского суда имеет предметом своим распоряжение дел лангедокской провинции и сбор для короля подати, называемой don gratuit. Знатнейшие члены суть: первый комендант сей провинции и кавалер ордена Святого Духа граф Перигор, архиепископ нарбонский, комендант граф Монкан, комендант виконт де Сент-При, первый барон и кавалер ордена Святого Духа маркиз де Кастр и первый президент города Кларис; все люди знатные и почтенные. Они имеют открытые дома и чужестранцев с отличною ласкою принимают. Мы, с своей стороны, весьма довольны их гостеприимством и обыкновенно званы бываем во все их общества.

Позвольте, милостивый государь, включить здесь то описание бывшей здесь на сих днях церемонии, называемой l'ouverture des Etats, которое имел я честь сделать в письме моем к его сиятельству, братцу вашему. Сие зрелище заслуживало любопытства чужестранцев как по великолепию, с коим сей обряд отправлялся, так и по странности древних обычаев, наблюдаемых при сем случае. Собрание было весьма многолюдное, в зале старинного дома, называемого Gouvernement des Etats. Пришед в уреченный час и взяв свои места, ожидали прибытия графа Перигора, как представляющего особу королевскую. Как скоро оное возвещено было, то все дворянство вышло к нему навстречу, и он, в кавалер-

ском платье и шляпе, взошед на сделанное нарочно возвышенное место, сел в кресла под балдахином; по правую сторону архиепископ нарбонский и двенадцать епископов, а по левую дворянство в древних рыцарских платьях и шляпах. Заседание началось чрез одного синдика чтением исторического описания древнего монпельевского королевства. Прошед времена древних королей и упомянув, как оно перешло во владение французских государей, сказано в заключение всего, что ныне благополучно владеющему монарху надлежит платить деньги. Граф Перигор читал потом речь, весьма трогающую, в которой изобразил долг верноподданных платить исправно подати. Многие прослезились от сего красноречия. Интендант читал, с своей стороны, также речь, в которой, говоря весьма много о действиях природы и искусства, выхвалял здешний климат и трудолюбивый характер жителей. По его мнению, и самая ясность небес здешнего края должна способствовать к исправному платежу подати. После сего архиепископ нарбонский говорил поучительное слово. Проходя всю историю коммерции, весьма красноречиво изобразил он все ее выгоды и сокровища и заключил тем, что с помощию коммерции, к которой он слушателей сильно поощрял, господь наградит со вторицею ту сумму, которую они согласятся заплатить ныне своему государю. Каждая из сих речей сопровождаема была комплиментом к знатнейшим сочленам. Интендант превозносил похвалами архиепископа, архиепископ интенданта; оба они выхваляли Перигора, а Перигор выхвалял их обоих. Потом все пошли в соборную церковь, где пет был благодарный молебен всевышнему за сохранение в жителях единодушия к добровольному платежу того, что в противном случае взяли б с них насильно. — Le don gratuit с капитациею[1] состоит в сборе с лангедокской провинции на наши деньги 920 000 рублей.

На сих днях получено здесь известие о умерщвлении турками князя Гики. Все газеты предвещают неизбежную нам войну с турками. Ваше сиятельство лучше ведать изволите, сколь справедливы сии предвещания;

---

[1] Capitation (taxe par têtes) — подушный оклад *(франц.)*.

нижайше прошу сделать милость удостоить меня, хотя в самых генеральных терминах, сведением о настоящем положении с нами турков. Я почту сие новым опытом вашей ко мне милости, пребывая...

2

Монпелье, 24 декабря 1777 (4 января 1778).

Я имел честь получить милостивое письмо ваше от 16 октября, за которое приношу мое нижайшее благодарение. Надеюсь, что ваше сиятельство уже получить изволили мои из Дрездена и отсюда. Я принял смелость сделать в них с некоторою подробностию примечания мои на земли, чрез которые проехал. Здесь живу уже другой месяц и стараюсь, по возможности, приобретать нужные по состоянию моему знания. Способов к просвещению здесь очень довольно. Я могу оными пользоваться, не расстроивая моего малого достатка; и хотя телесная пища здесь весьма дешева, но душевная еще дешевле. Учитель философии, обязываясь читать всякий день лекции, запросил с меня в первом слове на наши деньги по 2 руб. 40 коп. в месяц. Юриспруденция, как наука, при настоящем развращении совестей человеческих ни к чему почти не служащая, стóит гораздо дешевле. Римское право из одной пищи здесь преподается. Такой бедной учености, я думаю, нет в целом свете, ибо как гражданские звания покупаются без справки, имеет ли покупающий потребные к должности своей знания, то и нет охотников терять время свое, учась науке бесполезной. Злоупотребление продажи чинов произвело здесь то странное действие, что при невероятном множестве способов к просвещению глубокое невежество весьма нередко. Оно сопровождается еще и ужасным суеверием. Попы, имея в руках своих воспитание, вселяют в людей, с одной стороны, рабскую привязанность к химерам, выгодным для духовенства, а с другой — сильное отвращение к здравому рассудку. Таково почти все дворянство и большая часть других состояний. Я не могу сделать иного об них заключения

по вопросам, которые мне делаются, и по ответам на мои вопросы. Впрочем, те, кои предуспели как-нибудь свергнуть с себя иго суеверия, почти все попали в другую крайность и заразились новою философиею. Редкого встречаю, в ком бы неприметна была которая-нибудь из двух крайностей: или рабство, или наглость разума.

Главное рачение мое обратил я к познанию здешних законов. Сколь много несовместны они в подробностях своих с нашими, столь, напротив того, общие правосудия правила просвещают меня в познании существа самой истины и в способах находить ее в той мрачной глубине, куда свергают ее невежество и ябеда. Система законов сего государства есть здание, можно сказать, премудрое, сооруженное многими веками и редкими умами; но вкравшиеся мало-помалу различные злоупотребления и развращение нравов дошли теперь до самой крайности и уже потрясли основание сего пространного здания, так что жить в нем бедственно, а разорить его пагубно. Первое право каждого француза есть вольность; но истинное настоящее его состояние есть рабство, ибо бедный человек не может снискивать своего пропитания иначе, как рабскою работою, а если захочет пользоваться драгоценною своею вольностию, то должен будет умереть с голоду. Словом, вольность есть пустое имя и право сильного остается правом превыше всех законов.

Вашему сиятельству, без сомнения, известны уже худые успехи англичан против американцев. Вчера пронесся слух, будто находящийся от стороны сих последних в Париже поверенный, Франклин, признан от здешнего двора послом от американской республики. Если это правда, то война, кажется, неизбежна; но должно ожидать сему верного подтверждения, а между тем, все англичане поднялись вдруг отсюда и спешат выехать. Все то, что за верное сказать можно, есть сильное вооружение в здешних портах. Оно делается с такою поспешностию, что в Тулоне по воскресеньям и праздникам работают, равно как и в обыкновенные дни.

3

Монпелье, 15/26 января 1778.

Получа на сих днях радостное для всех россиян известие о разрешении от бремени ее императорского высочества, приемлю смелость принести вашему сиятельству нижайшее поздравление с благополучным происшествием, утверждающим благосостояние отечества нашего.

Я имел честь получить милостивое письмо ваше от 13 ноября, за которое приношу вашему сиятельству покорнейшее благодарение. Сообщение мне ваших, на истине основанных и проницанием извлеченных, рассуждений произвело во мне о самом себе лестное заключение. Признаюсь, милостивый государь, что я больше сам себя почитаю, видя, что особа ваших достоинств и заслуг считает меня способным вкусить толь разумную беседу.

Удовольствие, изъявляемое вашим сиятельством о примечаниях моих на представляющиеся в путешествии моем любопытные предметы, почитаю я знаком вашей ко мне милости. Будучи оным весьма много ободрен, осмеливаюсь продолжать здесь отчет мой вашему сиятельству о том, что здесь вижу и какие рассуждения рождает видимое мною. Les Etats или земский суд здешней провинции уже кончился. Все разъехались из Монпелье, знатные и богатые в Париж, а мелкие и бедные по деревням своим. Первые приезжали сюда делать то, что хотят, или, справедливее сказать, делать то, чем у двора на счет последних выслужиться можно; а последние собраны были для формы, дабы соблюдена была в точности наружность земского суда, — я называю наружность, для того что в самом существе она не значит ничего. Все трактуемые тут дела ограничиваются в одном, то есть: в собрании подати. Окончив сие, за прочие и не принимаются. Первый государственный чин, духовенство, препоручает провинцию в одно покровительство царя небесного, дабы самому не поссориться с земным, если вступится за жителей и облегчит утесненное их состояние. Знатнейшие светские особы считают бытие свое на свете постольку, поскольку у двора приятно

на них смотрят, и, конечно, не променяют одного милостивого взгляда на все блаженство управляемой ими области. Словом, по окончании сего земского суда провинция обыкновенно остается в добычу бессовестным людям, которые тем жесточе грабят, чем дороже им самим становится привилегия разорять своих сограждан. Здешние злоупотребления и грабежи, конечно, не меньше у нас случающихся. В рассуждении правосудия вижу я, что везде одним манером поступают. Наилучшие законы не значат ничего, когда исчез в людских сердцах первый закон, первый между людьми союз — добрая вера. У нас ее немного, а здесь нет и головою. Вся честность на словах, и чем складнее у кого фразы, тем больше остерегаться должно какого-нибудь обмана. Ни порода, ни наружные знаки почестей не препятствуют нимало снисходить до подлейших обманов, как скоро дело идет о малейшей корысти. Сколько кавалеров св. Людовика, которые тем и живут, что, подлестясь к чужестранцу и заняв у него, сколько простосердечие его взять позволяет, на другой же день скрываются вовсе и с деньгами от своего заимодавца! Сколько промышляют своими супругами, сестрами, дочерьми! Словом, деньги суть первое божество здешней земли. Развращение нравов дошло до такой степени, что подлый поступок не наказывается уже и презрением; честнейшие действительно люди не имеют нимало твердости отличить бездельника от честного человека, считая, что таковая отличность была бы contre la politesse française. [1] Сия вежливость такое в умах и нравах здешних произвела действие, что заневолю заставила меня сделать некоторые примечания, которые и осмеливаюсь сообщить вашему сиятельству.

Опыт показывает, что всякий порок ищет прикрыться наружностию той добродетели, которая с ним граничит. Скупой, например, присвояет себе бережливость, мот — щедрость, а легкомысленные и трусливые люди — вежливость. И в самом деле, кто, слыша ложь или ошибку, не смеет или не смыслит противоречить, тому всего вернее и легче согласиться, тем больше, что

---

[1] Нарушением французской учтивости *(франц.)*.

всякая потачка приятна большей части людей. Сие правило здесь стало всеобщее; оно совершенно отвращает господ французов от всякого человеческого размышления и делает их простым эхом того человека, с коим разговаривают. Почти всякий француз, если спросить его утвердительным образом, отвечает: *да*, а если отрицательным, о той же материи, отвечает: *нет*. Сколько раз, имея случай разговаривать с отличными людьми, например о вольности, начинал я речь мою тем, что, сколько мне кажется, сие первое право человека во Франции свято сохраняется; на что с восторгом мне отвечают: que le Français est né libre,[1] что сие право составляет их истинное счастие, что они помрут прежде, нежели стерпят малейшее оному нарушение. Выслушав сие, завожу я речь о примечаемых мною неудобствах и нечувствительно открываю им мысль мою, что желательно б было, если б вольность была у них не пустое слово. Поверите ли, милостивый государь, что те же самые люди, кои восхищались своею вольностию, тот же час отвечают мне: «O monsieur, vous avez raison! Le Français est écrasé, le Français est ésclave».[2] Говоря сие, впадают в преужасный восторг негодования, и если не унять, то хотя целые сутки рады бранить правление и унижать свое состояние.

Если такое разноречие происходит от вежливости, то по крайней мере не предполагает большого разума. Можно, кажется, быть вежливу и соображать притом слова свои и мысли. Вообще, надобно отдать справедливость здешней нации, что слова сплетают мастерски, и если в том состоит разум, то всякий здешний дурак имеет его превеликую долю. Мыслят здесь мало, да и некогда, потому что говорят много и очень скоро. Обыкновенно отворяют рот, не зная еще что сказать; а как затворить рот, не сказав ничего, было бы стыдно, то и говорят слова, которые машинально на язык попадаются, не заботясь много, есть ли в них какой-нибудь смысл. Притом каждый имеет в запасе множество выученных наизусть фраз, правду сказать, весьма общих

[1] Что француз рожден свободным *(франц.)*.

[2] О сударь, вы правы! Француз раздавлен, француз — раб *(франц.)*.

и ничего не значащих, которыми, однако ж, отделывается при всяком случае. Сии фразы состоят обыкновенно из комплиментов, часто весьма натянутых и всегда излишних для слушателя, который пустоты слушать не хочет. — Вот общий, или, паче сказать, природный, характер нации; но надлежит присовокупить к нему и развращение нравов, дошедшее до крайности, чтоб сделать истинное заключение о людях, коих вся Европа своими образцами почитает. Справедливость, конечно, требует исключить некоторых честных людей, прямо умных и почтения достойных; но они столь же редки, как и в других землях.

Предоставляя себе честь продолжить при первом случае примечания мои на здешние нравы и обычаи, прекращаю оные теперь, дабы не обременить ваше сиятельство чтением вдруг весьма пространного письма.

На прошедшей почте упомянул я о разнесшемся здесь слухе, будто бы живущий в Париже американский поверенный Франклин признан в характере посла. Сей слух оказался ложен и взят оттого, что Франклин действительно был, неизвестно зачем, призван в Версаль.

Будучи весьма доволен в лечении жены моей, считаю я остаться здесь до совершенного ее исцеления, которое пользующий ее доктор предвещает в скором времени.

4

Монпелье, 25 генв. (5 февр.) 1778.

Ведая, сколь милостивое участие ваше сиятельство приемлете в моем состоянии, почитаю за долг уведомить вас, милостивый государь, что надежда, которую имел я о выздоровлении жены моей, исполняется к моему истинному счастию. Не тщетно предпринял я столь дальное путешествие. Главная причина ее болезни истреблена, и le ver solitaire, от коего она столько времени страдала, на сих днях выгнан, Я возьму смелость описать здесь образ ее лечения. Может быть, послужит он и у нас, хотя удобности наши к исцелению больных и гораздо здешних меньше.

С самого приезда нашего сюда по утрам пила она бульон с травами, имеющими силу vermifuge (выгонять глисты), как-то: папоротник и проч., а после сего спустя час давали ей пить ослицино молоко, что приуготовляло ее силы к принятию наконец известного купленного королем лекарства. Пользующий ее доктор считает сие лекарство столь жестоким, что не хотел его употреблять иначе, как если все прочие не произведут никакого действия. Бульон и молоко давали ей три недели, а потом пила корсиканскую траву, называемую Mithocorton, и корень Valeriana; все сие, может быть, изнуряло червя, но не выгоняло. Напоследок доктор принужден был решиться на жестокое лекарство, и уже для сего назначен был день, пред которым дней за пять остановил доктор все прежние лекарства и заставил ее пить поутру и ввечеру по чайной ложке орехового масла. По счастью, накануне назначенного дня для приему последнего мучительного способа масло произвело все желаемое действие и выгнало червя; по рассмотрению его в микроскоп нашли не только его голову, но и приметили образ его репродукции. Здешний медицинский факультет считает сие новым откровением, и славный натуралист господин Гуан сочиняет диссертацию с пространным описанием сих примечаний. Я весьма рад, что выгнанный червь занимает такие умные головы, но гораздо больше рад тому, что он выгнан.

Отдавая справедливость искусству доктора г. Деламюра, который лечил жену мою с крайнею осторожностию и рачением, должен я признаться, что и климат способствовал много. Во все время ничего похожего на зиму мы не видали, кроме нескольких дождливых дней. Гульбище всегда было наполнено людьми. Прошлого 15/26 генваря после жары был пресильный гром, что для нас было весьма ново, ибо слышали гром тогда, когда у нас, может быть, многие отморозили уши. Прекраснее здешнего климата быть не может.

По предписанию нашего доктора считаем ехать в Спа, к водам, помощию которых может поправиться причиненное в теле расстройство толь долговременною болезнию жены моей. Ласкаюсь, милостивый государь, что сей способ послужит к совершенному выздоровле-

нию, а между тем, оставляем на сих днях Монпелье, чтоб видеть Марсель и Тулон. Я не премину уведомить ваше сиятельство, что найду достойного сведения вашего.

С глубоким почтением и совершенною преданностию имею долг быть...

5

Париж, 20/31 марта 1778.

Последнее письмо мое к вашему сиятельству имел я честь отправить из Монпелье и уведомить вас, милостивый государь, что, видя здоровье жены моей пришедшим гораздо в лучшее состояние, взял я намерение воспользоваться остающимся временем до отъезда нашего в Спа и посмотреть некоторые южные французские провинции. Сей малый вояж стал причиною, что я так долго не писал к вашему сиятельству и что на сих только днях получил я милостивое письмо ваше от 8 января, потому что оно искало меня в Монпелье и по провинциям. Принеся за него нижайшее благодарение, почитаю все лестные для меня в нем выражения новым опытом вашей ко мне милости.

Я видел *Лангедок, Прованс, Дюфине, Лион, Бургонь, Шампань.* Первые две провинции считаются во всем здешнем государстве хлебороднейшими и изобильнейшими. Сравнивая наших крестьян в лучших местах с тамошними, нахожу, беспристрастно судя, состояние наших несравненно счастливейшим. Я имел честь вашему сиятельству описывать частию причины оному в прежних моих письмах; но главною поставляю ту, что подать в казну платится неограниченная и, следственно, собственность имения есть только в одном воображении. В сем плодоноснейшем краю на каждой почте карета моя была всегда окружена нищими, которые весьма часто, вместо денег, именно спрашивали, нет ли с нами куска хлеба. Сие доказывает неоспоримо, что и посреди изобилия можно умереть с голоду.

Осмотрев все то, что заслуживало любопытство в сих провинциях, приехал я в Париж, в сей мнимый центр человеческих знаний и вкуса. Не имел я еще довольно времени в нем осмотреться; но могу уверить ваше сиятельство, что стараюсь употребить каждый час в пользу, примечая все то, что может мне подать справедливейшее понятие о национальном характере. Неприлично изъясняться об оном откровенно отсюда, ибо могут здесь почитать меня или льстецом, или осуждателем; но не могу же не отдать и той справедливости, что надобно отрещись вовсе от общего смысла и истины, если сказать, что нет здесь весьма много чрезвычайно хорошего и подражания достойного. Все сие, однако ж, не ослепляет меня до того, чтоб не видеть здесь столько же, или и больше, совершенно дурного и такого, от чего нас боже избави. Словом, сравнивая и то и другое, осмелюсь вашему сиятельству чистосердечно признаться, что если кто из молодых моих сограждан, имеющий здравый рассудок, вознегодует, видя в России злоупотребления и неустройства, и начнет в сердце своем от нее отчуждаться, то для обращения его на должную любовь к отечеству нет вернее способа, как скорее послать его во *Францию*. Здесь, конечно, узнает он самым опытом очень скоро, что все рассказы о здешнем совершенстве сущая ложь, что люди везде люди, что прямо умный и достойный человек везде редок и что в нашем отечестве, как ни плохо иногда в нем бывает, можно, однако, быть столько же счастливу, сколько и во всякой другой земле, если совесть спокойна и разум правит воображением, а не воображение разумом.

Будучи уверен, что о здешних политических делах ваше сиятельство уведомляетесь из Петербурга, не вхожу в подробность оных; но вообще имею честь донести вам, милостивый государь, что положение здешних дел с Англиею столь худо, что война, конечно, неизбежна. Франция употребила к вооружению своему все то время, в которое Англия истощала силы свои в войне междоусобной, и, приготовясь таким образом, сделала трактат с американцами, как с державою независимою. Сей трактат содержан был в тайне по тот час, в который англичане решились послать к американцам

своих комиссаров с такими мирными кондициями, каких им не принять почти нельзя. Для отвращения сего примирения здешний двор повелел своему в Лондоне послу объявить английскому королю о подписании трактата. Говорят, что король,[1] выслушав от посла объявление, сказал ему точно сии слова: «Я уверен, что ваш государь предвидел все те следствия, кои от сего произойдут». Сказав сие, поворотился к нему спиною. Потом дано было знать послу, чтоб он ко двору более не ездил, и отправлен тотчас сюда курьер к послу, лорду Стормонту, чтоб он немедленно без аудиенции из Парижа выехал. С здешней стороны также из Лондона посла своего воротили. Словом, война хотя формально и не объявлена, но сего объявления с часу на час ожидают. Франклин, поверенный американский у здешнего двора, сказывают, на сих днях аккредитуется полномочным министром от Соединенных Американских Штатов.

Я не примечаю, чтоб приближение войны производило здесь большое впечатление. В первый день, как английский посол получил курьера с отзывом, весь город заговорил о войне; на другой день ни о чем более не говорили, как о новой трагедии; на третий — об одной женщине, которая отравилась с тоски о своем любовнике; потом о здешних кораблях, которые англичанами остановлены. Словом, одна новость заглушает другую, и новая песенка столько же занимает публику, сколько и новая война. Здесь ко всему совершенно равнодушны, кроме вестей. Напротив того, всякие вести рассеваются по городу с восторгом и составляют душевную пищу жителей парижских. О войне нашей с турками говорят здесь, как о деле весьма сомнительном, и больше думают, что ее вовсе не будет. Рассуждают многие, что мы сами ее желаем для усугубления нашей славы. Ваше сиятельство показали мне истинный опыт милости уведомлением меня о положении наших дел с Портою. Позвольте о продолжении оного принести вам нижайшую просьбу.

Обращусь теперь к описанию двух происшествий, кои по приезде моем занимали публику. Первое: поеди-

[1] Георг III.

нок дюка де Бурбона с королевским братом, графом ..., а второе: прибытие сюда г. Волтера.

Граф в маскараде показал неучтивость дюшессе де Бурбон, сорвав с нее маску. Дюк, муж ее, не захотел стерпеть сей обиды. А как не водится вызывать формально на дуэль королевских братьев, то дюк стал везде являться в тех местах, куда приходил граф, чем показывал ему, что ищет и требует неотменно удовольствия.[1] Несколько дней публика любопытствовала, чем сие дело кончится. Наконец граф принужденным нашелся выйти на поединок. Сражение минут с пять продолжалось, и дюк оцарапал его руку. Сие увидя, один стоявший подле них гвардии капитан доложил дюку, что королевский брат поранен и что как драгоценную кровь щадить надобно, то не время ль окончать битву? На сие граф сказал, что обижен дюк и что от него зависит, продолжать или перестать. После сего они обнялись и поехали прямо в спектакль, где публика, сведав, что они дрались, обернулась к их ложе и аплодировала им с несказанным восхищением, крича: *браво, браво, достойная кровь Бурбона!* Я свидетелем был сей сцены, о которой весьма бы желал знать мнение вашего сиятельства.

Прибытие Волтера в Париж произвело точно такое в народе здешнем действие, как бы сошествие какого-нибудь божества на землю. Почтение, ему оказываемое, ничем не разнствует от обожания. Я уверен, что если б глубокая старость и немощи его не отягчали и он захотел бы проповедовать теперь новую какую секту, то б весь народ к нему обратился. Ваше сиятельство из последующего усмотреть изволите, можно ль иное заключить из приема, который сделала ему публика.

По прибытии его сюда, сколько стихотворцы, ему преданные, пишут в его славу, столько ненавидящие его посылают к нему безыменные сатиры. Первые печатаются, а последние нет, ибо правительство запретило особливым указом печатать то, что Волтеру предосудительно быть может. Такое уважение сделано ему сколько за великие его таланты, столько и ради

[1] Вероятно, ошибка. Следует читать: «удовлетворения».

старости. Сей осьмидесятипятилетний старик сочинил новую трагедию: «Ирена, или Алексий Комнин», которая была и представлена. Нельзя никак сравнить ее с прежними; но публика приняла ее с восхищением. Сам автор за болезнию не видал первой репрезентации. Он только вчера в первый раз выехал; был в Академии, потом в театре, где нарочно представили его новую трагедию.

При выезде со двора карета его препровождена была до Академии бесчисленным множеством народа, непрестанно рукоплескавшего. Все академики вышли навстречу. Он посажен был на директорском месте и, минуя обыкновенное баллотирование, выбран единодушным восклицанием в директоры на апрельскую четверть года. Когда сходил он с лестницы и садился в карету, тогда народ закричал, чтоб все снимали шляпы. От Академии до театра препровождали его народные восклицания. При вступлении в ложу публика аплодировала многократно с неописанным восторгом, а спустя несколько минут старший актер, Бризар, вошел к нему в ложу с венком, который и надел ему на голову. Волтер тотчас снял с себя венок и с радостными слезами вслух сказал Бризару: «Ah, Dieu! vous voulez donc me faire mourir!» [1] Трагедия играна была гораздо с бо́льшим совершенством, нежели в прежние представления. По окончании ее новое зрелище открылось. Занавес опять был поднят. Все актеры и актрисы, окружа бюст Волтеров, увенчивали его лавровыми венками. Сие приношение публика препроводила рукоплесканием, продолжавшимся близ четверти часа. Наконец представлявшая Ирену актриса, г-жа Вестрис, обратясь к Волтеру, читала похвальные стихи. Для показания своего удовольствия публика велела повторить чтение стихов и аплодировала с великим криком. Как же скоро Волтер сел в свою карету, то народ, остановив кучера, закричал: «des flambeaux, des flambeaux!» [2] По принесении факелов, велели кучеру ехать шагом и бесчисленное множество народа с факелами

---

[1] Ах, боже! вы хотите уморить меня! *(франц.)*

[2] Факелов, факелов! *(франц.)*

проводило его до самого дома, крича непрестанно: «vive Voltaire!» [1] — Сколь ни много торжеств имел г. Волтер в течение века своего, но вчерашний день был, без сомнения, наилучший в его жизни, которая, однако, скоро пресечется, ибо сколь он теперь благообразен, ваше сиятельство увидеть изволите по приложенному здесь его портрету, весьма на него похожему.

Что ж надлежит до другого чудотворца, Сен-Жерменя, я расстался с ним дружески, и на предложение его, коим сулил мне золотые горы, ответствовал благодарностию, сказав ему, что если он имеет толь полезные для России проекты, то может отнестися с ними к находящемуся в Дрездене нашему поверенному в делах. Лекарство его жена моя принимала, но без всякого успеха; за исцеление ее обязан я монпельевскому климату и ореховому маслу; а славному доктору г. Деламюру одолжен я тем, что он не забыл сего простого лекарства между многими премудрыми, за которые с меня брали все, что взять могли.

6

Париж, 14/25 июня 1778.

Употребляя все время моего в Париже пребывания на осмотрение сего пространного города, медлил я уведомлять вас, милостивый государь, о моих на него примечаниях для того, что хотел сделать их с бо́льшим основанием и точностию. Вот истинная причина, для которой пишу отсюда другое только письмо к вашему сиятельству. В первом описывал я, между прочим, прием здесь Волтера и бывший поединок. Беспокоит меня, что о получении оного не имел я счастия быть уведомлен. Весьма было бы досадно, если б оно, или ваше, было где-нибудь удержано.

Не могу, конечно, сказать, чтоб я и теперь знал Париж совершенно, ибо надобно жить в нем долго, чтоб хорошенько с ним познакомиться. По крайней мере в то

[1] Да здравствует Вольтер! *(франц.)*

короткое время, которое здесь живу, старался я узнать его по всей моей возможности. Беру смелость обременить ваше сиятельство весьма длинным описанием того, на что обращал я здесь мое внимание. К сему ободрен я и последним письмом вашим, которое имел я честь получить от 22 февраля и из которого, к сердечному моему удовольствию, вижу, что продолжение моих уведомлений вам угодно. Счастие сие приписываю главному достоинству всех моих к вам писем, что перо мое и сердце руководствуются искренним к вам усердием и правдою, которую во всех описаниях моих соблюсти стараюсь.

Париж может по справедливости назваться сокращением целого мира. Сие титло заслуживает он по своему пространству и по бесконечному множеству чужестранных, стекающихся в него от всех концов земли. Жители парижские почитают свой город столицею света, а свет — своею провинциею. Бургонию, например, считают близкою провинциею, а Россию дальнею. Француз, приехавший сюда из Бордо, и россиянин из Петербурга называются равномерно чужестранными. По их мнению, имеют они не только наилучшие в свете обычаи, но наилучший вид лица, осанку и ухватки, так что первый и учтивейший комплимент чужестранному состоит не в других словах как точно в сих: «Monsieur, vous n'avez point l'air étranger du tout, je vous en fais bien mon compliment!» (Вы совсем не походите на чужестранного; поздравляю вас!) Возмечтание их о своем разуме дошло до такой глупости, что редкий француз не скажет сам о себе, что он преразумен. Видя, что разум везде редок и что в одной Франции имеет его всякий, примечал я весьма прилежно, нет ли какой разницы между разумом французским и разумом человеческим, ибо казалось мне, что весьма унизительно б было для человеческого рода, рожденного не во Франции, если б надобно было необходимо родиться французом, чтоб быть неминуемо умным человеком. Дабы сделать сие изыскание, применял я к здешним умницам знаменование разума в целом свете. Я нашел, что для них оно слишком длинно; они гораздо его для себя поукоротили. Чрез слово *разум*,

по большей части, понимают они одно качество, а именно *остроту* его, не требуя отнюдь, чтоб она управляема была здравым смыслом. Сию остроту имеет здесь всякий без выключения, следственно всякий без затруднения умным здесь признается. Все сии умные люди на две части разделяются: те, которые не очень словоохотны и каких, однако ж, весьма мало, называются philosophes; [1] а тем, которые врут неумолкно и каковы почти все, дается титло aimables. [2] Судят все обо всем решительно. Мнение первого есть мнение наилучшее, ибо спорить не любят и тотчас с великими комплиментами соглашаются, потому что не быть одного мнения с тем, кто сказал уже свое, хотя бы и преглупое, почитается здесь совершенным *незнанием жить;* итак, чтоб слыть умеющим жить, всякий отказался иметь о вещах свое собственное мнение. Из сего заключить можно, что за истиною не весьма здесь гоняются. Не о том дело, что́ сказать, а о том, как сказать. Я часто примечал, что иной говорит целый час, к удовольствию своих слушателей, не будучи ими вовсе понимаем, и точно для того, что сам себя не разумеет. Со всем тем по окончании вранья называют его aimable et plein d'ésprit. [3] Сколько излишне здесь, говоря, думать, столько нужно как наискорее перенять самые мелочи в обычаях, потому что нет вернее способа прослыть навек дураком, потерять репутацию, погибнуть невозвратно, как если, например, спросить при людях пить между обедом и ужином. Кто не согласится скорее умереть с жажды, нежели, напившись, влачить в презрении остаток своей жизни? Сии мелочи составляют целую науку, занимающую время

---

[1] Философы *(франц.)*.

[2] Любезных *(франц.)*.

Далее в черновике следовал текст, опущенный в беловом письме: «Первые сносны, и в числе их есть действительно достойные люди, а последние никак не терпимы, а особливо же те, которые врут не только словесно, но и письменно. Редкий автор не враль, редкий в душе своей не уверен, что он великий человек, и редкий не бывал смертный неприятель всем прочим вралям своим товарищам. Примечательно, что в одной Франции за стихи, и часто за преглупые, становятся злодеями и целые фамилии друг друга гонят преподлейшим образом». *(Прим. ред.)*

[3] Любезным и остроумным *(франц.)*.

и умы большей части путешественников. Они тем ревностнее в нее углубляются, что живут между нациею, где ridicule[1] всего страшнее. Нужды нет, если говорят о человеке, что он имеет злое сердце, негодный нрав; но если скажут, что он ridicule, то человек действительно пропал, ибо всякий убегает его общества. Нет способнее французов усматривать смешное и нет нации, в которой бы самой было столь много смешного. Разум их никогда сам на себя не обращается, а всегда устремлен на внешние предметы, так что всякий, обращая на смех другого, никак не чувствует, сколько сам смешон.[2] Упражняясь весь свой век, можно сказать, не в себе, но вне себя, никто, следовательно, не проницает в подробность, а довольствуется смотреть на одну вещей поверхность, ибо познавать подробности невозможно, не рассматривая действий своего собственного разума, чтоб видеть, не ошибаюсь ли сам в моих рассуждениях. Я думаю, что сия причина мешает здешней нации успевать в науках, требующих постоянного внимания, и что оттого считают здесь одного математика на двести стихотворцев, разумеется дурных и хороших. Европа почитает французов хитрыми. Не знаю, не предрассудок ли заставляет иметь сие о них мнение? Кажется, что вся их прославляемая хитрость отнюдь не та, которая располагается и производится рассудком, а та, которая объемлется вдруг воображением и очень скоро наружу выходит. Слушаться рассудка и во всем прибегать к его суду — скучно; а французы скуки терпеть не могут. Чего не делают они, чтоб избежать скуки, то есть чтоб ничего не делать! И действительно, всякий день здесь праздник. Видя с утра до ночи бесчисленное множество людей в беспрерывной праздности, удивиться надобно, когда что здесь делается.

---

[1] Смешное *(франц.)*.

[2] «Бесспорно, что вольность есть первый дар природы и что без нее народ мыслящий не может быть счастлив. Но в государстве, где народ родился и привык жить в неволе, мудрено вдруг народу возвратить сей [естественный] дар без смертельного погубления самого государства. [Или народ из неволи вдруг ворвется в самовольство, или вольность. Нет ничего ближе...]» (Текст, сохранившийся в черновике письма. — *Прим. ред.*)

Не упоминая о садах, всякий день пять театров наполнены. Все столько любят забавы, сколько труды ненавидят; а особливо черной работы народ терпеть не может. Зато нечистота в городе такая, какую людям, не вовсе оскотинившимся, переносить весьма трудно. Почти нигде нельзя отворить окошко летом от зараженного воздуха. Чтоб иметь все под руками и ни за чем далеко не ходить, под всяким домом поделаны лавки. В одной блистает золото и наряды, а подле нее, в другой, вывешена битая скотина с текущею кровью. Есть улицы, где в сделанных по бокам стоках течет кровь, потому что не отведено для бойни особливого места. Такую же мерзость нашел я и в прочих французских городах, которые все так однообразны, что кто был в одной улице, тот был в целом городе; а кто был в одном городе, тот все города видел. Париж пред прочими имеет только то преимущество, что наружность его несказанно величественнее, а внутренность сквернее. Напрасно говорят, что причиною нечистоты многолюдство. Во Франции множество маленьких деревень, но ни в одну нельзя въезжать, не зажав носа. Со всем тем привычка от самого младенчества жить в грязи по уши делает, что обоняние французов нимало от того не страждет. Вообще сказать можно, что в рассуждении чистоты перенимать здесь нечего, а в рассуждении благонравия еще меньше. Удостоверясь в сей истине, искал я причины, что привлекает сюда такое множество чужестранцев?

Общества; но смело скажу, что нет ничего труднее, как чужестранцу войти в здешнее общество, следовательно и вошло их очень мало. Внутреннее ощущение здешних господ, что они дают тон всей Европе, вселяет в них гордость, от которой защититься не могут всею добротою душ своих, ибо действительно в большей их части душевные расположения весьма похваляются. Сколько надобно стараний, исканий, низостей, чтоб впущену быть в знатный дом, где, однако ж, ни словом гостя не удостоивают. Имея сей пример перед собою в моих любезных согражданах, расчел я, что, по краткости времени моего здесь пребывапия, не для чего покупать так дорого знакомство, или, справедливее

сказать, собственное свое унижение. Я нашел множество других интереснейших вещей к моему упражнению; а видеть здешних вельмож и их обращение довольствовался я при случаях, удачею мне представлявшихся. Впрочем, чтоб вашему сиятельству иметь ясное понятие, как здесь наши и прочие вояжеры принимаются, то надлежит себе представить в Петербурге некоторых иностранных князей: Кантакузенов, Маврокордато... Всякий, увидясь с ними, взглянет на них ласково, за визит пришлет карточку, равно как и дамы наши отдают женам их визиты; но кто имеет или иметь захочет с ними всегдашнее общество? Вот точное здесь положение между прочими и наших господ и госпож относительно знатных здешних домов! Чувствую, что бог создал нас не хуже их людьми; каково же быть волохами? Не понимаю, как можно, почитая самого себя, кланяться, добиваться и ставить за превеличайшее счастие и честь такие знакомства, в которых не может быть никакого удовольствия, потому что есть большое унижение.

Ученые люди; но из невероятного множества чужестранцев, может быть, тысячный человек приехал сюда с намерением воспользоваться своим здесь пребыванием для приращения знаний своих. А притом и о здешних ученых можно по справедливости сказать, что весьма мало из них соединили свои знания с поведением. Я почти со всеми познакомился. Томас, сочинитель переведенного мною похвального слова Марку Аврелию, Мармонтель и еще некоторые ходят ко мне в дом. Весьма учтивое и приятельское их со мною обхождение не ослепило глаз моих на их пороки. Исключая Томаса, которого кротость и честность мне очень понравились, нашел я почти во всех других много высокомерия, лжи, корыстолюбия и подлейшей лести. Конечно, ни один из них не поколеблется сделать презрительнейшую подлость для корысти или тщеславия. Я не нахожу, что б в свете так мало друг на друга походило, как философия на философов.

По точном рассмотрении вижу я только две вещи, кои привлекают сюда чужестранцев в таком множестве: *спектакли* и — с позволения сказать — *девки.* Если две

сии приманки отнять сегодня, то завтра две трети чужестранцев разъедутся из Парижа. Бесчинство дошло до такой степени, что знатнейшие люди не стыдятся сидеть с девками в ложах публично. Сии твари осыпаны бриллиантами. Для них великолепные дома, столы, экипажи — словом, они одни наслаждаются всеми благами мира сего. С каким искусством они умеют соединить прелести красоты с приятностию разума, чтоб уловить в сети жертву свою! Сею жертвою по большей части бывают чужестранцы, кои привозят с собою обыкновенно денег сколько можно больше, и если не всегда здравый ум, то по крайней мере часто здравое тело; а из Парижа выезжают, потеряв и то и другое, часто невозвратно. Я думаю, что если отец не хочет погубить своего сына, то не должен посылать его сюда ранее двадцати пяти лет, и то под присмотром человека, знающего все опасности Парижа. Сей город есть истинная зараза, которая хотя молодого человека не умерщвляет физически, но делает его навек шалуном и ни к чему не способным, вопреки тому, как его сделала природа и каким бы он мог быть, не ездя во Францию.

Что ж принадлежит до *спектаклей,* то комедия возведена здесь на возможную степень совершенства. Нельзя, смотря ее, не забываться до того, чтоб не почесть ее истинною историею, в тот момент происходящею. Я никогда себе не воображал видеть подражание натуре столь совершенным. Словом, комедия в своем роде есть лучшее, что я в Париже видел. Напротив того, трагедию нашел я посредственною. По смерти Лекеневой она гораздо поупала. Оперу можно назвать великолепнейшим зрелищем. Декорации и танцы прекрасны, но певцы прескверны. Удивился я, как можно бесстыдно так реветь, а еще более — как можно такой рев слушать с восхищением!

Обременив ваше сиятельство моим пространным описанием, чувствую, что письмо мое сколь длинно, столь и нескладно; но, однако, посылаю его, будучи уверен, что вы, милостивый государь, взирать будете не на слог его, но на усердие, с которым я хотел исполнить повеление ваше в доставлении вам моих примечаний

на Францию. Из Парижа выеду на будущей неделе и возьму смелость писать к вашему сиятельству, о чем отсюда писать неловко.

7

Париж, август 1778.

[...] Сказывал он ей, что существо его сочинения таково, что не может оно быть напечатано не иначе как после смерти его, ибо в противном случае он не может не погибнуть. Невзирая на сии предварения, госпоже Руссо показалось скучно ожидать кончины своего супруга. В те часы, когда хаживал он со двора, пригласила она одного книгопродавца и повелела списывать манускрипт, продав ему сие творение за сто луидоров. Автор не имел еще ни малейшего подозрения на сие безумство, как уже списанный манускрипт был отвезен в Голландию и продан тамошнему книгопродавцу.

Содержание книги и многие в ней подробности, касающиеся до самого автора и до здешних знатнейших господ, стало в публике рассеиваться, и Руссо узнал, что жена его продала все секреты его жизни. В крайнем страхе бросил он жену свою и скрылся из Парижа в деревню Ermonovill, к своему другу, маркизу Жерардену, который дал ему убежище. Несколько дней была жена его в беспокойстве о судьбе его и, терзаемая раскаянием, пришла к нему, как скоро узнала место его пребывания. Между тем, правительство [предприяло остановить] издание книги, и Руссо, [удручен] будучи бедою, пришел прямо в отчаяние.

Образ смерти его заставляет думать, что он отравился. В деревне, где он жил, был крестьянский мальчик, который остротою своею понравился Руссо, и [они виделись] непрестанно. Накануне смерти своей повелел он тому мальчику разбудить себя гораздо ранее, обещая с ним идти в поле, чтоб смотреть восхождение солнца. На другой день действительно поутру с ним пошел и, оставя его бегать по полю, сам стал на колена и, подняв руки к небу, молился со слезами. Сию сцену рассказывал после тот мальчик, который один был сему свидетель.

По возвращении его в дом хозяева приметили в нем необычайную бледность и хотели [подать] ему помочь, но он отвечал, что ни в какой помочи нужды не имеет, и, взяв за руку жену свою, просил позволения идти с нею в свою комнату, имея сказать ей нечто важное. Оставшись с нею, обнял ее, как человек, который расстается навсегда. Потом, отворив окно, смотрел на небо, говоря жене своей в превеликом исступлении, что он пронзается величеством создателя, смотря на прекрасное зрелище природы. Несколько минут продолжалось сие исступление, и потом упал мертвый.

Книга, которую он сочинил, есть не иное что, как исповедь всех его дел и помышлений. Считая, что прежде смерти его никто читать ее не будет, изобразил он без малейшего притворства всю свою душу, как мерзка она была в некоторые моменты, как сии моменты завлекали его в сильнейшие злодеяния, как возвращался к добродетели; словом, обнаружил он сердце свое и тем хотел сделать услугу человечеству, показав ему в самой слабости, каково суть человеческое сердце.

Читавший сие сочинение его сказывает, что, между прочим, упоминает он о приключении, случившемся в его молодости. В доме, где он жил, была служанка, в которую он влюбился. Однажды пришел к хозяевам купец с вещами. Руссо был беден и, не имея чем дарить любовницу, уступил искушению украсть одну из вещей продажных. Знав, что девка добродетельна и подарка из рук его не возьмет, положил он в сундук ее украденную вещь, считая, что сделает ей нечаянное удовольствие. Между тем, хватились пропажи. Стали везде искать и нашли ее в сундуке у девки. Сия несчастная, устрашась пытки, всклепала на себя кражу. Руссо не имел сердца оправдать ее, и невинная была пытана как преступница.

Предисловие Руссово к сему неподражаемому сочинению здесь в великом почтении. Оно напечатано в парижском журнале, который, равно как последний «Merkure de France» et «Le courier de l'Europe», имею честь при сем приложить. Здесь так почитают сие предисловие, что почти все наизусть его знают.

8

Ахен, от 18/29 сентября 1778.

Из Парижа имел я честь писать к вашему сиятельству три письма. Не знаю, дошли ль верно два последние? А как вы обыкновенно удостоиваете меня уведомлением о получении моих писем, то долговременное ваше молчание весьма меня смущает. Ласкаюсь, однако, что не отмена ваших ко мне милостей производит оное и что в особе вашей буду иметь навсегда моего благодетеля, который имеет все на свете права на вечную мою благодарность и усердие.

Я оставил Францию. Пребывание мое в сем государстве убавило сильно цену его в моем мнении. Я нашел доброе гораздо в меньшей мере, нежели воображал, а худое в такой большой степени, которой и вообразить не мог. Я рассматривал с всевозможным вниманием все то, что могло способствовать мне к приобретению точнейшего понятия о характере французов и о настоящем их положении относительно разных частей правительства. Позвольте, милостивый государь, примечания мои на оное представить вашему сиятельству и добавьте своим проницанием то, в чем мои рассуждения недостаточны будут.

Достойные люди, какой бы нации ни были, составляют между собою одну нацию. Выключа их из французской, примечал я вообще ее свойство. Надлежит отдать справедливость, что при неизъяснимом развращении нравов есть во французах доброта сердечная. Весьма редкий из них злопамятен — добродетель, конечно, непрочная, и полагаться на нее нельзя; по крайней мере и пороки в них не глубоко вкоренены. Непостоянство и ветреность не допускают ни пороку, ни добродетели в сердца их поселиться. К ним совершенно приличен стих Кребильонов:

Criminel sans penchant, vertueux sans dessein. [1]

Рассудка француз не имеет и иметь его почел бы несчастьем своей жизни, ибо оный заставил бы его

[1] Преступный без склонности, добродетельный без намерения *(франц.)*.

размышлять, когда он может веселиться. Забава есть один предмет его желаний. А как на забавы потребны деньги, то для приобретения их употребляет всю остроту, которою его природа одарила. Острота, не управляемая рассудком, не может быть способна ни на что, кроме мелочей, в которых и действительно французы берут верх пред целым светом. Обман почитается у них правом разума. По всеобщему их образу мыслей, обмануть не стыдно; но не обмануть — глупо. Смело скажу, что француз никогда сам себе не простит, если пропустит случай обмануть хотя в самой безделице. Божество его — деньги. Из денег нет труда, которого б не поднял, и нет подлости, которой бы не сделал. К большим злодеяниям неспособен. Самые убийцы становятся таковыми тогда только, когда умирают с голоду; как же скоро француз имеет пропитание, то людей не режет, а довольствуется обманывать. Корыстолюбие несказанно заразило все состояния, не исключая самых философов нынешнего века. В рассуждении денег не гнушаются и они человеческою слабостию. Д'Аламберты, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны, каких видал я всякий день на бульваре; все они народ обманывают за деньги, и разница между шарлатаном и философом только та, что последний к сребролюбию присовокупляет беспримерное тщеславие. Я докажу опытом справедливость моего примечания. Приехал в Париж брат г. Зорича, полковник Неранчич, человек, впрочем, честный, но совсем незнакомый с науками. Служил он весь век в гусарских полках, никогда не брал книг в руки и никогда карт из рук не выпускал. Лишь только проведали д'Аламберт, Мармонтель и прочие, что он брат г. Зорича, то не почли уже за нужное осведомляться о прочих его достоинствах, а явились у него в передней засвидетельствовать свое нижайшее почтение. Мое к ним душевное почтение совсем истребилось после такого подлого поступка. Расчет их ясно виден: они сею низостью ласкались чрез Неранчича достать подарки от нашего двора. Рука, от которой бы они их получили, удовольствовала б их тщеславие, а подарки — корыстолюбие.

Сколько я понимаю, вся система нынешних философов состоит в том, чтоб люди были добродетельны независимо от религии: но они, которые ничему не верят, доказывают ли собою возможность своей системы? Кто из мудрых века сего, победив все предрассудки, остался честным человеком? Кто из них, отрицая бытие божие, не сделал интереса единым божеством своим и не готов жертвовать ему всею своею моралью? Одно тщеславие их простирается до того, что сами науки сделались источником непримиримой вражды между семьями. Брат гонит брата за то, что один любит Расина, а другой Корнеля, ибо острота французского разума велит одному брату, любя Расина, ругать язвительно Корнеля и клясться пред светом, что Расин пред Корнелем, а брат его перед ним гроша не сто́ят. Вообще ни один писатель не может терпеть другого и почитает праздником всякий случай уязвить своего совместника. При всей их премудрости нет в них и столько рассудка, чтоб осмотреться, как бесчестят себя сами, ругая друг друга, и в какое посмеяние приводят себя у тех, в коих хотят вселить к себе почтение.

Вот каковы те люди, из которых Европа многих почитает великими и которые, можно сказать, всей Европе повернули голову! Правда и то, что в самой Франции число их обожателей несравненно меньше, нежели в других государствах, потому что французы сами очевидные свидетели их поведения, а чужестранцы смотрят на них издали. Истинно, нет никакой нужды входить с ними в изъяснения, почему считают они религию недостойною быть основанием моральных человеческих действий и почему признание бытия божия мешает человеку быть добродетельным? Но надлежит только взглянуть на самих господ нынешних философов, чтоб увидеть, каков человек без религии, и потом заключить, как порочно было бы без оной все человеческое общество!

Обращусь теперь к начатому описанию характера национального. Господа философы отвели меня несколько от моей главной материи; но я, остановясь на них, хотел показать, что со стороны практического нравоучения перенимать у французов, кажется, нечего. Приметил я вообще, что француз всегда молод,

а из молодости переваливается вдруг в дряхлую старость: следственно, в совершенном возрасте никогда не бывает. Пока может, утопает он в презрительных забавах, и сей род жизни делает все состояния так равными, что последний повеса живет в приятельской связи с знатнейшею особою. Равенство есть благо, когда оно, как в Англии, основано на духе правления; но во Франции равенство есть зло, потому что происходит оно от развращения нравов. Нет сомнения, что все сии злоупотребления имеют свой источник в воспитании, которое у французов пренебрежено до невероятности. Первые особы в государстве не могут никогда много разниться от бессловесных, ибо воспитывают их так, чтоб они на людей не походили. Как скоро начинают понимать, то попы вселяют в них предрассудки, подавляющие смысл младенческий, и они выростают обыкновенно с одним чувством подобострастия к духовенству. Нынешний король трудолюбив и добросердечен; но оба сии качества управляются чужими головами. Один из принцев имеет великую претензию на царство небесное и о земных вещах мало помышляет. Попы уверили его, что, не отрекшись вовсе от здравого ума, нельзя никак понравиться богу, и он делает все возможное, чтоб стать угодником божиим. Другой — победил силу веры силою вина: мало людей перепить его могут. Сверх того, почитается он первым петиметром, и все молодые люди подражают его тону, который состоит в том, чтоб говорить грубо, произнося слова отрывисто; ходить переваливаясь, разинув рот, не смотря ни на кого; толкнуть всякого, с кем встретится; смеяться без малейшей причины, сколько сил есть громче, — словом, делать все то, что дурачество и пьянство в голову вложить могут. Таковы все нынешние французские петиметры.

Воспитание во Франции ограничивается одним учением. Нет генерального плана воспитания, и все юношество учится, а не воспитывается. Главное старание прилагают, чтоб один стал богословом, другой живописцем, третий столяром; но чтоб каждый из них стал человеком, того и на мысль не приходит. Итак, относительно воспитания Франция ни в чем не имеет преимущества пред прочими государствами. В сей части

столько же и у них недостатков, сколько и везде, но в тысячу раз больше шарлатанства. Редкий отец не изобретает нового плана для воспитания детей своих. Часто новый его план хуже старого; но сей поступок доказывает по крайней мере, что сами они чувствуют недостатки общего у себя воспитания, не смысля разобрать, в чем состоят они действительно.

Дворянство французское по большей части в крайней бедности, и невежество его ни с чем несравненно. Ни звание дворянина, ни орден св. Людовика не мешают во Франции ходить по миру. Исключая знатных и богатых, каждый французский дворянин, при всей своей глупой гордости, почтет за великое себе счастие быть принятым гувернером к сыну нашего знатного господина. Множество из них мучили меня неотступными просьбами достать им такие места в России; но как исполнение их просьб было бы убийственно для невинных, доставшихся в их руки, то уклонился я от сего злодеяния и почитаю долгом совести не способствовать тому злу, которое в отечестве нашем уже довольно вкореняется.

Причина бедности дворянства есть та же самая, которая столько утвердила богатство и силу их духовенства, а именно: право большего сына наследовать в родительском имении. Для меньших братьев два пути отверсты: военная служба и чин духовный. В первом предстоят труды, оканчивающиеся почти всегда бедностию, а в последнем священная праздность и изобилие. Обыкновенно фамилия из сроднической горячности преклоняет меньших братьев к последнему; но часто французская живость велит им сопротивляться сему благому совету и, приняв военную службу, поссориться со всею своею роднею. Со всем тем нет ни одной дворянской фамилии, где б не было из меньших братьев человека благоразумного, предпочтившего состояние пастыря состоянию овцы. Все архиепископы и епископы суть братья знатнейших особ, подкрепляемые у двора своею роднею и подкрепляющие себя в народе содержанием его в крайнем суеверии. Ваше сиятельство из сего усмотреть изволите, сколь тверда во Франции сила духовенства, когда в сохранении его сам двор видит свою пользу.

Суеверие народное простирается там до невероятности. Я опишу вам, милостивый государь, один из духовных обрядов, который сию истину неоспоримо докажет. Город Э (Aix) есть главный в Провансе. Парламент и все лучшие люди сей провинции имеют в нем свое пребывание; следственно, должно быть в нем просвещения больше, нежели в других городах низшего класса. Невзирая на сие, вот каким образом ежегодно отправляется в Э праздник, называемый Fête Dieu. Торжество состоит в процессии, в которой святые тайны носимы бывают по городу в препровождении всего народа. Знатнейшие особы наряжены все в маскарадное платье. Один представляет Пилата, другой Каиафу и так далее. Дамы и девицы благородные наряжены мироносицами и прочими святыми, а прекраснейшая представляет богородицу. Мещанство все наряжено чертями: почетнейший Вельзевулом, а прочие по степеням своих достоинств. Все сии черти идут пред телом Христовым с превеликим ревом и пятятся назад, будто бы сила святых тайн от себя их отгоняет. За несколько дней пред церемониею разделение ролей производит многие тяжбы, особливо между мещанством. Часто приходит пред суд тот, у кого ролю отнимают, и доказывает свою претензию тем, что отец его был дьявол, дед дьявол и что он безвинно теряет звание своих предков. Во всех прочих французских городах, не исключая самого Парижа, есть множество подобных сему дурачеств, служащих несомненным доказательством, что народ их пресмыкается во мраке глубочайшего невежества.

В рассуждении злоупотребления духовной власти я уверен, что Франция несравненно несчастнее всех прочих государств. Правда, что невежество попов делает часто поношение всей нации; но из сих двух крайностей я лучше видеть хочу попов-невежд, нежели тиранов. Сила духовенства во Франции такова, что знатнейшие не боятся потерять ее никаким соблазном. Прелаты публично имеют на содержании девок, и нет позорнее той жизни, какую ведут французские аббаты.

Рассматривая состояние французской нации, научился я различать вольность по праву от действительной вольности. Наш народ не имеет первой, но послед-

нею во многом наслаждается. Напротив того, французы, имея право вольности, живут в сущем рабстве. Король, будучи не ограничен законами, имеет в руках всю силу попирать законы. Les lettres de cachet суть именные указы, которыми король посылает в ссылки и сажает в тюрьму, которым никто не смеет спросить причины и которые весьма легко достаются у государя обманом, что доказывают тысячи примеров. Каждый министр есть деспот в своем департаменте. Фавориты его делят с ним самовластие и своим фаворитам уделяют. Что видел я в других местах, видел и во Франции. Кажется, будто все люди на то сотворены, чтоб каждый был или тиран, или жертва. Неправосудие во Франции тем жесточе, что происходит оно непосредственно от самого правительства и на всех простирается. Налоги, безрезонные, частые, тяжкие и служащие к одному обогащению ненасытимых начальников; никто, не подвергаясь беде, не смеет слова молвить против сих утеснений. Надобно тотчас выбрать одно из двух: или платить, или быть брошену в тюрьму. C'est l'affaire du goût. Всякий делает что хочет.

Народ в провинциях еще несчастнее, нежели в столице. Судьба его зависит главнейше от интенданта; но что есть интендант? Вор, имеющий полномочие грабить провинцию безотчетно. Чем дороже стала ему у двора сия привилегия, тем для народа тягостнее. Каждый из них начинает ремесло свое тем, что захватывает откуп хлеба, нужнейшего для жизни произрастения, и принуждает через то жителей покупать у него жизнь за ту цену, которую определить заблагорассуждает.

Франция вся на откупу. Невозможно выехать на несколько шагов из Парижа, чтоб, воротясь, не быть остановлену таможнею. Почти за все ввозимое в город платится столько пошлины, сколько сама вещь стоит. Из уважения к особе государя узаконено не сбирать пошлины в том одном месте, где его присутствие; следственно, в тот день, в который король приехал бы в Париж, пошлина не должна собираться с народа. Сие причиною, что король, будучи нередко у решетки Парижа, в него не въезжает; он уже несколько лет не был в Париже для того, что по контракту отдал его грабить

государственным ворам. Можно по всей справедливости сказать, что Версаль есть место, куда французского короля посылают откупщики в вечную ссылку.

Другой источник казенных доходов во Франции есть продажа чинов и должностей — зло безмерное, вымышленное в несчастные времена, когда не было откуда взять денег на нужнейшие государственные расходы. Сие изобретение, доставив на то время большую подмогу, понравилось правительству. Время протекло; чины благополучно продавались; иной не мог, другой не хотел, третий не смел предупредить того зла, которое со временем необходимо долженствовало родиться от торговли сего рода. Мало-помалу доходы от продажи чинов стали присвояться не к своим назначениям. Надлежало вымышлять вседневно на продажу новые чины, новые должности; но и того недоставало. Надлежало усугубить нало́ги, и нация нашлась в положении бедственнейшем прежнего. Множество подлых людей душою и происхождением покупали себе права и способы быть орудиями народных утеснений. Доверенность к начальникам уступила место душевному к ним презрению, ибо к приобретению начальства одни деньги потребны стали. Ныне все зловредные следствия продажи чинов терзают государство, и нет средства к избавлению. Король не в состоянии возвратить денег, взятых за продажу, а не возвратя денег, нельзя отнять проданного. При последнем заседании парламента сделан был план уничтожению сей торговли, но тот план, изобретенный, впрочем, коварством и злобою, не мог быть произведен в действо без потрясения всего государства, и опыт доказал, что продажа чинов во Франции есть зло нужное и ничем неотвратимое.

Не быв военным человеком, не могу о французских войсках подать вашему сиятельству идеи другим образом, как сообщив слышанные мною рассуждения от беспристрастных чужестранцев. Вообще говорят, что нет в их войске души военной. Всякий солдат резонирует, следственно плохо повинуется. При мне король смотрел свой полк. Все чужестранные, между коими были из наших генерал-майор князь Долгорукий, полковники Бибиков и Неранчич, не могли от смеха удержаться,

смотря на маневры. Я, не смысля ничего в сем искусстве, мог приметить, что солдаты командиров своих нимало не уважают. Несколько раз полковник marquis de Châtelet, подъезжая к фрунту, кричал: «Paix, messieurs! paix! je vous en prie»,[1] ибо солдаты, разговаривая один с другим о своих делах, изо всей силы хохотали. Офицеры, по общему признанию, ниже понятия о должностях своих не имеют. Осмелюсь рассказать вашему сиятельству виденное мною в Монпелье, чтоб представить вам пример их военной дисциплины. Губернатор тамошний, граф Перигор, имеет в театре свою ложу. У дверей оной обыкновенно ставился часовой с ружьем, из уважения к его особе. В один раз, когда ложа наполнена была лучшими людьми города, часовой, соскучив стоять на своем месте, отошел от дверей, взял стул и, поставя его рядом со всеми сидящими знатными особами, сел тут же смотреть комедию, держа в руках свое ружье. Подле него сидел майор его полка и кавалер св. Людовика. Удивила меня дерзость солдата и молчание его командира, которого взял я вольность спросить: для чего часовой так к нему присоседился? «C'est qu'il est curieux de voir la comédie»,[2] — отвечал он с таким видом, что ничего странного тут и не примечает.

Тяжебные дела во Франции так же несчастны, как и у нас, с тою только разницею, что в нашем отечестве издержки тяжущихся не столь безмерны. Правда, что у нас и у них всего чаще обвинена бывает сторона беспомощная; но во Франции, прежде нежели у правого отнять, надлежит еще много сделать церемоний, которые обеим сторонам весьма убыточны. У нас же по крайней мере в том преимущество, что действуют гораздо проворнее, и как скоро вступился какой-нибудь полубоярин, сродни фавориту, то в самый тот час дело берет уже совсем другой оборот и приближается к концу. Скажут мне, что французы превосходят нас в гражданских делах красноречием и что их стряпчие великие витии, а наши безграмотны. Правда; но все сие весьма хорошо

---

[1] Тихо, господа, тихо! я вас прошу *(франц.)*.

[2] Потому что ему любопытно смотреть комедию *(франц.)*.

для французского языка, а не для правого дела. При бессовестных судьях Цицерон и Вахтин равные ораторы.

Полиция парижская славна в Европе. Говорят, что полицеймейстер их всеведущ, что он, как невидимый дух, присутствует везде, слышит всех беседы, видит всех деяния и, кроме одних помышлений человеческих, ничто от него не скрыто. Поздравляю его с таким преестественным проницанием; но при сем небесном даре желал бы я ему лучшего обоняния, ибо на скотном дворе у нашего доброго помещика чистоты гораздо больше, нежели пред самыми дворцами французских королей. В рассуждении дешевизны я иного сказать не могу, как что в весьма редких европейских городах жизнь так безмерно дорога, как в Париже; зато и бедность в нем несказанная; и хотя нищим шататься запрещено, однако я нигде столько их не видывал. Впрочем, парижские купцы, как и везде, стараются свой товар продать сколько можно дороже. Разница только та, что французы обманывают несравненно с большим искусством и не знают в обманах ни меры, ни стыда. Что же касается до безопасности в Париже, то я внутренно уверен, что всеведение полицеймейстера не весьма действительно и польза от полицейских шпионов отнюдь не соответствует той ужасной сумме, которую полиция на них употребляет. Грабят по улицам и режут в домах нередко. Строгость законов не останавливает злодеяний, рождающихся во Франции почти всегда от бедности, ибо, как я выше изъяснился, французы, по собственному побуждению сердец своих, нимало к злодеяниям не способны и одна нищета влагает у них нож в руку убийцы. Число мошенников в Париже несчетно. Сколько кавалеров св. Людовика, которым, если не украв ничего выходят из дому, кажется, будто нечто свое в доме том забыли! Словом, в рассуждении всех полицейских предметов, парижская полиция, кажется, от возможного совершенства весьма еще далека. Напротив того, вижу, что развращение их нравов отнимает почти всю силу у законов и самую их строгость делает недействительною.

Если что во Франции нашел я в цветущем состоянии, то, конечно, их фабрики и мануфактуры. Нет в свете нации, которая б имела такой изобретательный ум, как французы в художествах и ремеслах, до вкуса касающихся. Я хаживал к marchandes des modes,[1] как к артистам, и смотрел на уборы и наряды, как на прекрасные картины. Сие дарование природы послужило много к повреждению их нравов. Моды вседневно переменяются: всякая женщина хочет наряжена быть по последней моде; мужья пришли в несостояние давать довольно денег женам на уборы; жены стали промышлять деньги, не беспокоя мужей своих, и Франция сделалась в одно время моделью вкуса и соблазном нравов для всей Европы. Нынешняя королева[2] страстно любит наряжаться. Прошлого года послала она свой портрет к матери, в котором велела написать себя наряженною по самой последней моде. Императрица[3] возвратила сей портрет при письме, в котором, между прочим, сии строчки находились: «Vos ordres ont étè mal exécutés; au lieu de la Reine de France que je m'attendais à admirer dans votre envoi, je n'ai trouvé que la ressemblance et les entours d'une actrice d'Opéra. Il faut, qu'on se soit trompé».[4] Королева смутилась было сим ответом; но придворные скоро ей растолковали, что гнев ее матери происходит не от чего другого, как от ее старости, от ее набожности и от худого вкуса венского двора.

Я перешел уже пределы письма. Чувствую, что чтение, столь длинное, должно обременить ваше сиятельство, и для того предоставляю себе дополнить вам, милостивый государь, изустно все то, о чем здесь не мог упомянуть. В Петербурге считаю быть в конце будущего месяца или в начале ноября, а по первому пути приеду на несколько недель в Москву. Ласкаюсь счастием, что

---

[1] Модисткам *(франц.)*.

[2] Мария-Антуанетта.

[3] Мария-Терезия.

[4] Ваше приказание худо исполнено: вместо французской королевы, которую я надеялась увидеть на присланном портрете, я нашла в нем сходство с оперною актрисою. Должно быть, тут вышла ошибка *(франц.)*.

ваше сиятельство в совершенном здоровье и повторяю всегдашние мои уверения о глубочайшем почтении и совершенной преданности, с которыми навсегда имею честь быть...

К Я. И. БУЛГАКОВУ

1

Варшава, 18/29 сентября 1777.

Покорнейше благодарю за дружеское письмо ваше от 11/22 прошедшего месяца, равно как и за предварение о нас барона Аша. Короткое время нашего здесь пребывания не позволяет нам пользоваться много сообществом сего честного человека; но мы останемся ему и вам навсегда благодарны за все опыты благосклонности и дружбы, которые от него имеем.

Варшаву не для чего мне описывать такому человеку, который ее знает несравненно больше моего. Я скажу только, что мы очень довольны здешним приемом. Посол наш на другой день нашего приезда позвал нас обедать, и мы у него со всею Варшавою познакомились. Дом гетманши Огинской есть теперь один, в который вседневно весь город собирается. Многие из деревень своих еще не возвратились.

Дамы польские очень любезны. Все наведывались о бывших в Варшаве моих согражданах с великим интересом. Вас вспоминают как человека, которого они истинно эстимают.[1] Одна из них (et nommément madame Oborska[2]), узнав от меня, что я с вами в переписке, поручила мне написать от нее к вам поклон.

В две недели нашего здесь пребывания я столько со всеми стал знаком, что мог бы вам отвечать на все, о чем бы вы меня ни спросили; но, не зная, что для вас более интересно, покидаю перо, чтоб многословием моим вам не наскучить.

---

[1] Уважают *(франц.)*.

[2] А именно — мадам Оборская *(франц.)*.

Не оставьте Даниловского. Прошу бога, чтоб сохранил в душе его неутомимость в подвигах для блага лексикона, а класть его можно на бирже в погреба Ауля и Вацена, кои стоят на нашем дворе. Когда контракт о доме возобновлять с ними будет надобно, то можно включить в него условие, чтоб лексикону лежать у них на бирже, и контракт явить в полиции для вящего обеспечения.

Отсюда мы очень скоро выедем. Если захотите одолжить меня письмом, то пошлите его в Дрезден. Желаю вам здоровья и прочих благ; не забудьте человека, который вас любит, с почтением и преданностию пребывая вашим покорнейшим слугою...

Ведая, что Петр Васильевич[1] обременен делами, не смею отнимать его времени особливым к нему письмом, но прошу вас покорно засвидетельствовать ему от нас наше нижайшее почтение, равно как и милостивой государыне Анне Сергеевне.

2

Монпельє, 25 января
(5 февраля) 1778.

Дружеское письмо ваше, милостивый государь мой Яков Иванович, я получил и за уведомление о разрешении от бремени ее высочества приношу мою благодарность. Позвольте поздравить и вас, как россиянина, с сим благополучным происшествием для отечества нашего. Сделайте одолжение, уведомьте меня, какие были по сему случаю торжества и произвождения.

Радуюсь, что Смоленск и Белгород имеют толь достойного наместника,[2] и если б сделали вас в ту или другую губернию правителем наместничества или хотя на первый случай и вице-губернатором, то б советовал вам ехать; а меньше сего было б невыгодно для вас и для друзей ваших, которые, расставшись с вами, должны по крайней мере хотя тем утешаться, что вы счастливы.

---

[1] П. В. Бакунин.
[2] Н. В. Репнин.

Ведая, какое участие принимаете вы в нашем состоянии, почитаю за долг уведомить вас, что мы здоровы. Жена моя совершенно исцелилась от ver solitaire, который был причиною всей ее болезни. Остается только укрепить ее силы способом вод, для чего и считаем ехать в Спа. Оттуда, думаю, можем проехать с божиею помощию домой, жить да добра наживать.

Не скучаю вам описанием нашего вояжа, а скажу только, что он доказал мне истину пословицы: *славны бубны за горами.* Право, умные люди везде редки. Если здесь прежде нас жить начали, то по крайней мере мы, начиная жить, можем дать себе такую форму, какую хотим, и избегнуть тех неудобств и зол, которые здесь вкоренились. Nous commençons et ils finissent.[1] Я думаю, что тот, кто родился, посчастливее того, кто умирает.

A propos! Я вижу, что и лексикон наш умирает при самом своем рождении. Повивальная бабушка, то есть Даниловский, плохо его принимает. Я считал его за половину, а он еще около первых литер шатается. Уведомьте меня искренно, не спала ли у него охота. Я купил уже и le Grand Vocabulaire. В мае он его, верно, получит; но если молодец ленится, то пожалуйте, по привозе le Grand Vocabulaire, продайте скорее и деньги ко мне переведите; а я за здоровье Даниловского раздам их нищим, между которыми много будет за него богомольцев и из кавалеров св. Людовика.

Жена моя благодарит вас за приписание и приносит вам усерднейший поклон. Мы на сих днях едем в Марсель, а оттуда в Тулон смотреть вооружения.

Прости, м. г. мой Яков Иванович. Люби нас столько, сколь искренно мы вас любим и почитаем.

3

Париж, 3/14 апреля 1778.

Присылаю вам покорнейшее благодарение за последнее письмо ваше от 6 марта, почитаю как оное, так и участие, приемлемое вами в делах жизни моей, истинным знаком ваших ко мне милостей.

---

[1] Мы начинаем жить, а они кончают *(франц.).*

При оном получил я вексель на 1600 рублей. И хотя недоимка сделала мне довольно чувствительное расстройство, со всем тем, ежели крестьяне Даниловского не обманут и заплатят мне все сполна, то хлопоты мои гораздо поуменьшатся. Наставление ваше Даниловскому по делам моим усугубляет долг крайней моей вам благодарности, и я осмелюсь теперь объяснить вам нужды мои с такою откровенностию, с какою милостию вы помочь мне обещаете.

Дорога, трактиры и аптека стоят мне гораздо больше, нежели я воображал. Кредитива моего только что стало сюда доехать, а здесь нашел во всем дороговизну несказанную в вещах необходимых, а в излишних дешевизну беспримерную. Квартира, стол, карета стоят вдвое против петербургского, а галантерейные вещи, платье, книги, эстампы и проч. вполу или и дешевле. Платье имею излишнее, для того что здесь и без него обойтиться можно. Все ходят благополучно в трауре. И тот почитается здесь хорошо одетым, кто одет чисто. Но как у нас нет обычая носить траур для экономии, то великая будет для нас экономия, ежели могли мы сделать здесь по нескольку платьев на чистые деньги, ибо в долг пришлось бы не дешевле петербургского. По расположению, которое сделал я в моих доходах, конечно, могу с сими деньгами приехать в Петербург, но уже не воспользуюсь ни в чем здешнею дешевизною и не могу купить ничего ни для себя, ни для приятелей. Тысячи рублей было б предовольно на покупки. Итак, ежели, милостивый государь мой, в случае все мои доходы собраны будут исправно, то нижайше вас прошу перевести еще тысячу на покупки из денег, занятых у меня кн. Гагариным, буде он их возвратит по письму, которым я просил его о возвращении, и по собственному его обещанию. Если же крестьяне оброку всего мне не заплатят, то сделайте милость, и из тех же занятых кн. Гагариным денег недоимку добавьте, дабы я всю назначенную к переводу мне сумму получить мог и, сверх того, буде можно, на покупку тысячу.

К несчастью, могут мне и крестьяне оброку не заплатить и князь Г. долгу не отдаст. В таком случае крайне меня одолжите, заняв для меня столько, сколь

велика будет недоимка, а тысячи рублей на покупку тогда просить вас не смею, опасаясь во зло употребить вашу ко мне милость и с того в тягость могу быть вам.

Как в начале июня нужно мне будет выехать отсюда в Спа, то и надобно деньги к тому времени отослать мне, а между тем, я кое-как изворачиваться стану тем, что имею. Останется мне просить вас о том, чтоб удостоили вы меня поручением вашим, что вам отсюда иметь угодно. Только одолжите прислать мне записку о всем том, что вам угодно, и буде надобны вам платья, то покорно прошу прислать вашу мерку, чтоб я совсем свободно [...] привезть мог.

Сожалею сердечно, что не могу служить рецептами лекарств, даваемых жене моей. Монпельевские доктора ничего не пишут, а обыкновенно, осмотря больных, ходят сами в аптеку и словесно приказывают аптекарям, что приготовить. Я имел честь описывать вам образ лечения от ver solitaire, но должен признаться, что весь успех произведен одним ореховым маслом. Если ваша больная по чайной чашке поутру и по столько же ввечеру орехового масла принимать будет несколько дней, то никакой червь не устоит, и нет нужды мучить себя лекарством, от которого могут родиться другие болезни.

Желаю, чтоб учреждение у нас наместничеств было нам во благое. Но удивляюсь, отчего наши губернаторы прочь пошли, а особливо Алексей В..., которого, как я знал, вся амбиция [...] в том, чтоб быть хорошим губернатором.

Здесь многие русские получили письма из Петербурга, в которых пишут, что З.[1] не в прежнем положении, но я скажу здешнюю весть — брат его родной получил письма от г. Мар[...] и от первой персоны. Я сам их читал и нашел в них уверение, что будто ни о какой перемене в мыслях нет. Всем [...], что правда.

Слух о здешней войне с англичанами гораздо поутих, а вчера во всем городе заговорили, что Стормонт на сих днях сюда возвращается.

[*Окончания нет.*]

---

[1] С. Г. Зорич.

IV. ПИСЬМА РАЗНЫМ ЛИЦАМ
(1782—1788)

К МЕДОКСУ

[*Сентябрь, 1782.*]

Mon frère vous a remis, j'espère, le paquet en question et vous a expliqué, mon cher Medox, la resolution que j'ai pris pour faire taire tous les propos occasionnés par l'opiniatreté de votre censeur. Votre longue (*sic*) silence ne m'a prouvé que trop le mauvais succès de vos démarches pour obtenir la permission. J'ai mis fin à la chicane, et il me semble que par là je vous ai prouvé la permission la plus authentique de jouer ma pièce, puisque les comédiens de la cour de S. M. I. sur le theâtre publique, avec la permission par écrit de la part du gouvernement, l'ont representé le 24 de ce mois. Le succès était complet.

Comme je vous souhaite infiniment du bien, je vous laisse ma pièce, mais je vous demande votre parole d'honneur d'observer le plus inévitablement mon anonime — condition, c'est de ne preter à personne ma comédie, et de ne jamais la faire sortir de vos mains, car je ne veux pas encor la rendre publique. Tout à vous.

Vous pouvez assurer m-r le censeur que dans toute ma pièce, par consequent dans les passages qui l'ont fort effrayés, on n'a pas changé une sillabe.[1]

---

[1] Брат мой, я надеюсь, передал вам, любезный Медокс, известный пакет и объяснил принятое мною решение для уничтожения толков, возбужденных упорством вашего цензора. Про-

К Е. Р. ДАШКОВОЙ

Москва, генвар. 22-го дня 1784.

Милостивая государыня!

Окончив препорученную мне от Академии аналогическую таблицу букв К и Л, имею честь представить при сем оную вашему сиятельству, равно как и выписанные мною слова из Архангелогородского летописца. Все же материалы, полученные мною от Академии для сей работы, возвращаю в пакете, адресованном на имя г. секретаря Лепехина.

Ваше сиятельство изволили мне поручить сообщить вам все производные и сложные слова от глагола *дать*. Я собрал их, сколько мог припомнить, и прилагаю здесь на особенном листу.

На сих днях нашел я его сиятельство графа Петра Ивановича в расположении удовлетворить желанию вашему, милостивая государыня, о сообщении в Академию охотничьих терминов. Из усердия моего к успехам Академии воспользовался я сим случаем и тотчас под его диктатурою написал собрание тех терминов, сколько он вспомнить мог. Здесь представляю оные для помещения в те буквы аналогической таблицы, куда какое название принадлежать может. Что же надлежит до дефиниций, то я также стараться буду найти графа в расположении их мне надиктовать, а я с охотою возьмусь привести его работу в порядок, какового словарь наш требует.

должительное ваше молчание слишком ясно доказывает мне неуспех ваших стараний, чтобы получить позволение. Я положил конец интриге и, кажется, тем достаточно доказал прямое согласие на представление моей пьесы, потому что 24 числа этого месяца придворные актеры ее императорского величества играли ее на публичном театре по письменному дозволению от правительства. Успех был полный. Бесконечно желая вам добра, оставляю вам мою пьесу; но требую от вас честного слова непременно сохранить мой аноним, с условием — никому не давать моей комедии и ни под каким видом не выпускать ее из ваших рук, ибо не хочу еще давать ей публичности. Весь ваш. Вы можете уверить господина цензора, что во всей моей пьесе, а следовательно и в местах, которые его так напугали, не изменено ни одного слога *(франц.)*.

С самого приезда моего сюда был я непрестанно болен, так что, со всею моею ревностию работать для Академии, не мог я ранее окончать моих литер.

Теперь пишу сословник и, в исполнение вашего повеления, поспешу прислать несколько артикулов к вашему сиятельству.

Позвольте, милостивая государыня, повторить всегдашние мои уверения о глубочайшем почтении и совершенной преданности, с коими навсегда имею честь быть, милостивая государыня, вашего сиятельства всепокорнейший слуга...

К П. Б. ПАССЕКУ

Москва, 4 февраля 1784.

За милостивое покровительство ваше по делу моему с графинею Г., как и за почтеннейшее письмо ваше от 20-го прошедшего месяца, приношу в[ашему] в[ысокопревосходительству] покорнейшее благодарение.

Я отдаю на собственный ваш суд, не прискорбно ль бы мне было: за то, что у меня похищено наглым образом, взять половину той цены, за которую бы я ей не продал добровольно, а сверх того, и с издержек моих также принять на мой счет половину. Я, конечно, имею все почтение к ее полу и к ее летам, но знаю то, что для нее, по ее богатству, 2500 руб. ничего не значат и что несогласие ее происходит, откровенно сказать, от одной скупости.

В. в. знаете мою к вам совершенную преданность, за которую подали мне новый знак вашего ко мне благодеяния. Я имею к вашему правосудию такую полную доверенность, что за счастие почту, если вы, милостивый государь, возьмете труд на себя решить дело совестным образом. Я наперед даю вам честное слово повиноваться всему тому, что вы присудите. Пусть то же сделает графиня Г—кова. Ваше решение пусть будет для обоих нас без апелляции. Я, с одной стороны, уверен, что вы ни мне для графини, ни ей для меня ника-

кого предосуждения не сделаете, а с другой — могу вас уверить, что у меня в голове нет взять с нее больше, нежели что следует мне по правосудию.

Ожидая от вас, как от моего благодетеля, сего нового опыта вашей ко мне милости, остаюсь...

К П. И. ПАНИНУ

С.-Петербург, 4 апреля 1788.

Быв не в состоянии ехать в Невский в самый день памяти покойного графа, исполнил я сей долг на другой день и видел монумент. Должен сказать правду вашему сиятельству, что за ту сумму, чего он вам стоит, можно бы в Италии сделать гораздо лучше, ибо тут мастер весьма неясно изобразил свою идею. По сторонам бюста поставил он две фигуры, но что чрез их сказать хотел, того усмотреть невозможно, да и фигуры коротки и худо драпированы. Словом, сей монумент сравнивать нельзя с теми, кои в Италии видал я над телами людей партикулярных.

Здешняя полиция воспретила печатание «Стародума»; итак, я не виноват, если он в публику не выйдет.

С глубочайшим почтением и совершенною преданностию честь имею быть, м. г., вашего сиятельства всепокорнейший и нижайший слуга...

V. ПИСЬМА ИЗ ТРЕТЬЕГО ЗАГРАНИЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
(1784—1785)

К РОДНЫМ

1

Рига, июля 1784.

Матушка, друг мой сердечный Федосья Ивановна, здравствуй!

Мы сегодня отсюда отъезжаем, слава богу здоровы. Пускаемся в путь далекий. Сколько приятностей ни нахожу я в вояже, да они смешаны с тем сердечным огорчением, что я очень долго не получу об вас никакого сведения. Надобно доехать до Флоренции и тамо ждать ваших писем. Легко станется, мой сердечный друг, что и вы от меня долго писем не получите. Я писать, всеконечно, стану, да не могу отвечать за исправность почты. Часто почтмейстеры их бросают, и они по нескольку месяцев у них на столах валяются. — Здесь прожили мы изрядно, отдохнули, посмотрели Риги и благополучно отъезжаем. В Лифляндии и Эстляндии мужики взбунтовались против своих помещиков; но сие нимало не поколебало безопасности большой дороги. Мы все те места проехали так благополучно, как бы ничего не бывало; везде лошадей получали безостановочно. Что после нас будет, не знаю: но мужики крепко воинским командам сопротивляются и, желая свергнуть с себя рабство, смерть ставят ни во что. Многих из них перестреляли, а раненые не дают перевязывать ран своих, решаясь лучше умереть, нежель возвратиться в рабство. Словом, мы сию землю

оставляем в жестоком положении. Мужики против господ и господа против них так остервенились, что ищут погибели друг друга.

Описание нашего пути до Риги не заслуживает внимания; но как тебе, матушка, все то интересно, что до нас принадлежит, то я напишу тебе наш журнал. Мы выехали под вечер в воскресенье, ехали всю ночь под дождем и в понедельник приехали обедать в Ямбург. Приметя, что один наш сундук очень тяжел, решились мы вынуть из него все ненужное и возвратить в Петербург. Сей перебор занял нас так много, что в Нарву приехали около полуночи и спали как мертвые. Проснулися поздно. Наняли коляску и поехали от Нарвы версты три в сторону, смотреть славных водяных порогов. Признаюсь тебе, что я не воображал найти такого страшного зрелища. Представь себе целый ряд, на полверсты с лишком, водяных гор, которые с высоты ужасным стремлением и с ревом падают вниз и походят на белейший снег. Рев так громок, что за 12 верст во время непогоды слышен. Подходя к ним, кажется, что идешь в Нептуново царство. От Нарвы до Риги ехали мы день и ночь и терпели много от жаров; сюда приехав, отдохнули и пускаемся в путь далее. Вот, мой сердечный друг, все наше путешествие. Пожелай нам продолжать его так же благополучно, как начали. Прости!

Всех наших друзей обнимаю от сердца. Княжне Катерине Семеновне прошу сказать почтение и желание ей всякого благополучия.

2

Лейпциг, 13/24 августа 1784.

В прошедшую субботу приехали мы сюда благополучно. Из Кенигсберга, откуда мы в последний раз писали, были мы в дороге до Лейпцига одиннадцать дней, то есть по скверной прусской почте, ехав почти всегда день и ночь, не могли мы сделать в одиннадцать дней больше 777 русских верст. У нас добрый извозчик ско-

рее довезет на одних лошадях. Теперь, богу благодарение, доехали мы до города, где с большою приятностию отдохнуть можем, проехав около двух тысяч верст. Жена моя, ехав без девки, выносит храбро все дорожные беспокойства. Ты не поверишь, какое нахожу в ней утешение и как я рад, видя ее здоровою. Однажды прихворнула было она в Кенигсберге; разболелся у нее зуб; но мы с ним церемониться не стали, и тотчас решилась она его вырвать, что благополучно и исполнено. Голова моя один раз сильно, а другой раз слабее меня помучила; но какая разница с тем, что со мною бывает, живучи на одном месте. Я думаю, что и тут сам я был причиною обоим пароксизмам. Оба раза разозлился я на скотов почталионов и заплатил за свой гнев головною болью. Правду сказать, надобно быть ангелу, чтоб сносить терпеливо их скотскую грубость. Двадцать русских верст везет восемь часов, всеминутно останавливается, бросает карету и бегает по корчмам пить пиво, курить табак и заедать маслом. Из корчмы не вытащить его до тех пор, пока сам изволит выйти. Вообще сказать, почтовые учреждения его прусского величества гроша не стоят. На почтах его скачут гораздо тише, нежели наши ходоки пешком ходят. В Саксонии немного получше; но также довольно плохо. Не знаю, как пойдет далее. По счастию нашему, прескучная медленность почталионов награждалась прекрасною погодою и изобилием плодов земных. Во всей западной Пруссии нашли мы множество абрикосов, груш и вишен. В здешнем городе останемся мы еще на несколько дней. Хотим, отдыхая, собрать свои силы к переезду другой половины нашего пути; а сверх того, хотим здесь несколько экипироваться. Мы и люди наши износили все наше дорожное платье. Можно сказать, что, выехав из Петербурга в новых платьях, приехали сюда в лохмотьях. Не понимаю, отчего все изодралось. Вез я с собою шелковый новенький и прекрасный кафтанец, но в Риге за ужином у Броуна немецкая разиня, обнося кушанье, вылила на меня блюдо прежирной яствы. Здесь хочу нарядиться и предстать в Италию щеголем. Ласкаюсь, что время проведем приятно, если бог даст нам счастье получить

ваши письма. Такое долгое безызвестие несносно. Знаю, что иначе быть не может; да никакое рассуждение сердечного чувства победить не может. Прошу тебя, матушка, бога ради, не пренебрегай писать к нам чаще: по крайней мере, чтоб я всякие две недели мог иметь о вас известие. Неполучение писем ваших может отравить всю приятность жизни нашей, и сомнение о состоянии здоровья всех моих родных не даст мне вкусить здесь прямого удовольствия. Итак, мой сердечный друг, войдите в наше состояние и пишите к нам регулярно; а мы, с нашей стороны, будем так часто к вам писать, как в первый наш вояж. К тебе же, матушка, буду писать большие письма, а ты их читай батюшке и всем нашим друзьям. Журнал наш, друг мой сердечный, нимало не интересен, и я его к тебе не сообщил бы, если б не знал, как все вы нас любите и как охотно будете читать об нас все то, что посторонним людям могло б очень наскучить. В Риге проводили мы наше время столько весело, сколько в Риге можно, и выехали из нее 23 июля нашего стиля, в шесть часов после обеда. Возьми ты теперь календарь, где есть станции от Риги до Митавы, и смотри, по скольку верст мы когда переезжали. В тот вечер ужинали мы в Олее. Тут встретили мы двух рижских дворянок, кои сами вояжируют в Митаву. Мы с ними ужинали, и хотя количество пищи для нас, для них, для людей наших и для их людей было весьма малое, но, благодарение богу, насытившему некогда пятью хлебами пять тысяч народа, все мы были сыты. Ночь всю мы ехали, а 24 числа поутру приехали в Доблен завтракать. Здесь примечания достоин один старинный развалившийся замок, весьма похожий на Тундердер-трунк, о котором писано в «Кандиде». Обедали во Фрауенберге у почтмейстера, старика предоброго, который утешается тем, что воспитывает дочь свою, учит ее бренчать на клавикордах и петь. Я не могу судить об успехе; но мне кажется, что за стеною слушать ее гораздо лучше. Ночевать приехали мы в Шрунден. 25 числа поутру жена тутошнего диспонента Фока прислала к моей жене блюдо плодов и цветов. За сию учтивость ходил я к ним с визитом и нашел весьма честный дом. Семья

их состоит теперь из двух сыновей и дочери, madame Manteufel, совершенной красавицы. Она вдова, молодая, умная и преласковая. Вся семья приняла меня, как брата родного, и все они пошли со мною на почтовый двор, к жене моей. Мы всех их нашли в черном платье, ибо за четыре месяца пред сим умерли, одна после другой, две дочери, девушки моложе двадцати лет. Старики огорчены пребезмерно, и по их словам видно, что обе умерли от колики, которой помочь было некому. Жена моя одарила их магнезиею, ревенем и многими рецептами, коими запаслась она ради несварения моей грешной утробы. В сем месте мы так хорошо завтракали, что нигде обедать не останавливались. К ужину приехали мы в Обербартау; но не могли двух минут остаться на почтовом дворе: такая бездна сверчков, что от их крика говорить нельзя; мы друг друга разуметь не могли. В Петербурге поварня генерал-прокурора весьма знаменита сверчками. Повара его работают молча, потому что также друг друга расслушать не могут; сверчки валятся в кушанье, но со всем тем, я думаю, что обербартовский почтовый двор не уступит поварне его сиятельства. Мы принуждены были тотчас выехать и всю ночь продолжать путь наш. Поутру 26 числа пристали позавтракать в Ниммерзат, к пребедному почтмейстеру, у которого, кроме дурного хлеба и горького масла, ничего не нашли. В 4 часа пополудни приехали в Мемель. Продолжение моего журнала пришлю к тебе на будущей почте, а теперь от писания рука устала. Видишь, мой сердечный друг, что журнал мой не заслуживает быть читан. Надеюсь, что по прибытии моем в Италию будет он интереснее. Отсюда пойдет почта в субботу, и ты получишь от меня продолжение журнала по прибытие наше в здешний город.

3

Лейпциг, 17/28 августа 1784.

Мы еще здесь живем и так устали от дороги, что, кажется, никогда не отдохнем. Я писал на прошедшей почте, как мы доехали до Мемеля. Теперь доведу мой

журнал до прибытия нашего в здешний город. Двадцать шестого июня, в тот же день, в который мы приехали в Мемель, осматриваны мы были польскою, прусскою пограничною и мемельскою таможнями. От каждой отделались мы гульденом, или тридцатью копейками. Таможенные приставы не у одних у нас воры и за тридцать копеек охотно отступают от своей должности. Отобедав в Мемеле, ходил я в немецкий театр. Играли трагедию «Callas». Мерзче ничего я отроду не видывал. Я не мог досмотреть первого акта. Двадцать седьмого поутру прогуливался я с почтмейстером по городу, и, отобедав, выехали из города благополучно. Через час очутились мы на берегу сильно волнующегося моря и всю ночь ехали так, что вода заливала колеса. Надобно признаться, что жестокий ветр и преужасный рев при ночной темноте не дал нам глаз сомкнуть чрез всю ночь. Поутру, двадцать восьмого, приехали мы в Rossitten переменять лошадей. Rossitten есть прескверная деревнишка. Почтмейстер живет в избе столь загаженной, что мы не могли в нее войти. Сей день был для нас весьма неприятен. Обедали мы в деревнишке Саркау очень плохо, а ввечеру, подъезжая к Кенигсбергу, переломилась задняя рессора. Увязав кое-как карету, дотащились мы в девять часов в город и стали в трактире у Шенка. Во весь день все наши неприятности несказанно умножались тем, что у жены разболелся зуб. Усталость от дороги, по счастию, навела на нее сон, и она всю ночь спала хорошо. На другой день, двадцать девятого, призвал я дантиста, который в один миг зуб вырвал; но как был у нее еще больной корень другого зуба, который иногда ее мучил, то за один присест вырвали мы и его благополучно. С того часа она стала здорова. Тридцатого пробыли мы в Кенигсберге. Я осматривал город, в который от роду моего приезжаю в четвертый раз. Хотя я им и никогда не прельщался, однако в нынешний приезд показался он мне еще мрачнее. Улицы узкие, дома высокие, набиты немцами, у которых рожи по аршину. Всего же больше не понравилось мне их обыкновение: ввечеру в восемь часов садятся ужинать и ввечеру же в восемь часов вывозят нечистоту из города. Сей обы-

чай дает ясное понятие как об обонянии, так и о вкусе кенигсбергских жителей. Тридцать первого, в девять часов поутру, вынес нас господь из Кенигсберга. Весь день были без обеда, потому что есть было нечего. Ужинали в Браунсберге очень дурно. Я разозлился на почталионов; разболелась голова моя, и я всю ночь ехал в жестоком пароксизме. На другой день, 1/12 августа, поутру рано приехали мы в городок, называемый Прусская Голландия, который нам очень понравился. В трактире, куда пристали, нашли мы чистоту, хороший обед и всевозможную услугу. Тут отдыхал я под овсом до четырех часов за полдень. Пароксизм прошел; я стал здоров и весел, и мы ехали всю ночь благополучно. 2/13-го поутру приехали мы в большой городок Мариенвердер. Тут обедали так дурно, как дорого с нас взяли; но город недурен и чистехонек. 3/14-го и 4/15-го были безостановочно в дороге. Сии дни заметить нечем, кроме того, что в одной деревне нашли мы хоровод девок, из которых одна как две капли воды походит на дочь твою, Катю. Ты можешь себе представить, что мы ее приласкали от всего сердца. Поутру 5/16-го имел я дурачество в другой раз рассердиться на почталионов. За всякое излишнее движение сердца плачу я обыкновенно пароксизмом. Обедали мы в преизрядном городе Ландсберге, где начал я чувствовать головную боль, которая всю ночь в дороге много меня беспокоила. С того времени сделал я себе правило, которого и держусь: никогда на скотов не сердиться и не рваться на то, чего нельзя переделать. Я дал волю вести себя, как хотят, тем наипаче, что с ними нет никакой опасности быть разбиту лошадьми. Я отроду прусским и саксонским почталионам не кричал: тише! — потому что тише ехать невозможно, как они едут; разве стоять на одном месте. Поутру приехали мы в Кистрин, где проспал я до четырех часов пополудни и дал пройти пароксизму; а ночевать приехали мы во Франкфурт-на-Одере. Никогда, с самого выезда, не имели мы такой мучительной ночи: клопы и блохи терзали нас варварски. Сверх того, и трактир попался скверный. Нас, однако ж, уверяли, что он лучший в городе. Франкфурт вообще показался нам песпосен; мрачность в нем самая ужасная.

Надобно в нем родиться или очень долго жить, чтоб привыкнуть к такой тюрьме. Проснувшись, или, лучше сказать, встав с постели очень рано, ни о чем мы так не пеклись, как скорее выехать. Обедали мы в Миллькрозе и так и сяк и спешили хорошенько поужинать в местечке Либерозе; по судьбе то было неугодно. Ввечеру, в девять часов, при самом въезде нашем в городок Фридланд, передняя ось пополам. Нельзя себе представить ни нашей горестной досады, ни того усердия, с которым подана была нам помощь от жителей. В один миг сбежалось народу превеликое множество. Примчали кузнеца; нас самих отвели в дом Stadtrichter, или к городничему. Он имеет жену, дочь-невесту и сына; все они приняли нас с несказанною искренностию; отвели нам комнату, дали нам постель и угощали нас так, что мы вечно не забудем их гостеприимства. Карета наша готова была к утру, и мы 8/19-го расстались с сими добродетельными людьми, будучи весьма тронуты их честностию. Обедать приехали мы в Либаву к почтмейстеру, старику предоброму и хмельному. Он обедал в гостях и подгулял. Жена моя так ему понравилась, что он то и дело целовал ее руку. Потчевал нас всем, что мог у себя найти, говорил нежности так смешно, что мы умирали со смеху. Ночевали в городке Лукау и страдали от блох и клопов не меньше франкфуртского. 9/20-го приехали мы в город Герцберг, где обедали очень плохо. Ночевали в городе Торгау, в который въехали ночью. Предлинный и превысокий крытый мост по Эльбе, чрез который мы ехали при ночной темноте, так страшен, что годился б чрезмерно хорошо к принятию в масоны. Мы думали, что нас везут в жилище адских духов. Поутру, оставя Торгау, ехали мы чрез поле, на котором в 1760 году была страшная баталия между пруссаками и австрийцами. Тут погребено несколько тысяч людей и лошадей. Смотря на сие несчастное место, ощущали мы жалость и ужас. К обеду приехали мы в город Эйленбург. Тут попринарядились, чтоб въехать в Лейпциг, куда в седьмом часу пополудни благополучно приехав, стали в hôtel de Bavière. Сим заключаю теперь мой журнал. Жалею сердечно, что заставил вас прочи-

тать целый лист скучных моих записок. Не дивись, матушка, что нет в них ничего достойного внимания. Вспомни, что, проехав из Петербурга две тысячи верст, дотащились мы, можно сказать, только до ворот Европы. Лейпциг есть первый город, который заслуживает примечание. Продолжение журнала моего посылать к тебе буду исправно. Мне приятно, друг мой сердечный, с вами побеседовать, несмотря на то, что ничего сказать не имею. Хотя я от вас очень далеко и еду еще далее, но душа моя ни на минуту с вами не расстается. Прошу бога, чтоб все вы, мои друзья, были здоровы. Завтра, или по крайней мере послезавтра, отсюда выедем и писать к вам будем на будущей неделе или из Ниренберга, или из Аугсбурга, где случится остановиться.

4

Ниренберг, 29 августа (9 сентября) 1784.

Мы приехали в здешний город, слава богу здоровы, но так устали, что решились несколько дней здесь погостить, а между тем города посмотреть и кое-чем нужным запастись. Из журнала моего ты увидишь, что от самого Лейпцига до здешнего города было нам очень тяжко. Дороги адские, пища скверная, постели осыпаны клопами и блохами. Теперешний журнал состоит в описании нашего вольного страдания. Вообще сказать могу беспристрастно, что от Петербурга до Ниренберга баланс со стороны нашего отечества перетягивает сильно. Здесь во всем генерально хуже нашего: люди, лошади, земля, изобилие в нужных съестных припасах — словом, у нас все лучше, и мы больше люди, нежели немцы. Это удостоверение вкоренилось в душе моей, кто б что ни изволил говорить. Из всех городов до здешнего, о котором в будущем журнале писать стану, Лейпциг всех сноснее. Итак, мой сердечный друг, я начну продолжать теперь дневную мою записку. Ты сама прочти и ближним нашим прочитай ее не вдруг, потому что вдруг целый лист, ничего

не значащий, прочесть скучно. На другой день приезда нашего в Лейпциг, поутру, ходил я в здешнюю публичную баню мыться. Устройство здешних бань отменно хорошо. Для каждого особливая комнатка с ванною. Вода проведена машиною к стене, к которой прикреплена ванна. У стены подле ванны два винта. Повернув один, пустишь воду теплую; повернув другой, холодную; так что сидящий в ванне наполняет ее столько и такою водою, как сам захочет. Чистота, услуга и удобности, можно сказать, неописанны. Жаль, что у нас нет такого приятного и для здоровья полезного установления. — Оставя жену отдыхать, поехал я с визитом к профессору и секретарю здешнего ученого общества, Клодиусу, человеку мне уже знакомому, и, между тем как профессор занялся корректурою своих премудрых сочинений, супруга его повезла меня с собою в Итальянскую оперу. Она здешняя знаменитая сочинительница. Вы не можете тут подозревать моего сердца, потому что все ее сочинения суть не что иное, как любовные письма к своему супругу, в которого, невзирая на его полную, красную и глупую рожу, она влюблена смертельно. Между тем как я слонялся в Опере, жена моя ездила в баню; ужинали мы двое одинехоньки. Ты видишь, матушка, что я о всякой мелочи тебя уведомляю. 12/23-го поутру был я с визитом у своих банкиров, из коих один в Лейпциге играет первую ролю по своему богатству. Он дал нам на другой день великолепный обед, и мы оба 13/24-го у него обедали. После того еще сряду четыре дни мы ни часу дома не сидели: гуляли по садам, из которых сад купца Рихтера выходит уже из сферы партикулярного человека. В сопровождении профессора и его жены осматривали мы картинные кабинеты, из которых два содержат в себе много наилучших пиес славных мастеров. Познакомились мы с девушкою, дочерью гравера Баузе, которая играет как ангел на гармонике. Обедал и ужинал я обыкновенно дома с русским нашим консулом Сапожниковым и студентом Цебриковым. 17/28-го услышал я, что университетский наш профессор Маттей приехал в Лейпциг на русских извозчиках. Я обрадовался сему случаю и, чтоб избавиться хотя на

несколько дней несносных здешних почталионов, нанял я мужиков наших на восьми лошадях с двумя кибитками до Ниренберга. Кучер наш, крестьянин Л. А. Нарышкина, Калинин, обещал мне, приехав в Москву, явиться к вам и рассказать вам подробно, как он с нами путешествовал. Борода его наконец нам и надоела: смотреть его сбиралось около нашей кареты премножество людей; маленькие ребята бегали за ним, как за чудом. Он так зол на немцев и такую к ним имеет антипатию, что иногда мы, слыша его рассуждения, умирали со смеху. По его мнению, русских созидал бог, а немцев черт. Он считает их наравне с гадиною и думает, что, раздавя немца, бога прогневить нельзя. Впрочем, скажите ему за нас спасибо: мы его усердием чрезвычайно довольны. Город Лейпциг очень хорош на одну неделю, а жить в нем ни из чего не соглашусь. Осмотрев в нем все, что внимания достойно, тотчас почувствовали мы скуку, а особливо жена, не разумев ни слова по-немецки. По-французски немцы говорят столь скверно, сколь и неохотно. В журнале, который я веду для себя собственно, делаю описание картин лейпцигских; но как из вас никто не охотник до живописи, то я эту часть здесь пропускаю, а скажу вам о самых людях некоторые примечания. Я в жизнь мою нигде столько не видывал горбунов и горбуш, сколько в Лейпциге. На публичном гулянье, посидев на лавке с полчаса, считал я, сколько проходит горбунов мимо меня, и насчитал их девять. Не подумайте, чтоб я считал сутулину за горб. Нет! Это были такие горбы, которые если не перещеголяют, то, верно, не уступят Шкеданову. Резон горбам тот, что здесь мода водить детей на помочах и что ребенок в хомуте бродит, опустясь корпусом на грудь. Нищих в Саксонии пропасть, и самые безотвязные. Коли привяжется, то целый день бродит за тобою. Одним словом, страждущих от всякия скорби, гнева и нужды в такой землишке, какова Саксония, я думаю, больше, нежели во всей России. 19/30 августа в десять часов поутру выехали мы из Лейпцига, обедали в деревне Лангендорф очень плохо, ночевали в городе Верре. 20/31-го поутру едва успели мы отъехать от ночлега версты две, как

у нашей кареты задняя ось пополам. Жена моя принуждена была вскарабкаться в кибитку, а я пешком по грязи потащился назад, и целые сутки чинили нашу карету. 21 августа (1 сентября), очень рано выехав, обедали в местечке Ауме. Весь наш стол состоял из двух не изжаренных, а сожженных цыпленков, за которые не постыдились содрать с нас червонный; но зато в городке Шлейц ужинали мы очень хорошо и спали спокойно. 22 августа (2 сентября) был день для нас премучительный: целые восемь часов ехали мы, не кормя, превысокими горами и преузкими путями. Хуже дороги вообразить трудно. Обедали и ночевали в деревнишках, в избах крестьянских, так скверно, что нас горе взяло. 23 августа (3 сентября) обедали, или, лучше сказать, голодали, в городе Кронах; но зато в городе Бамберге спокойно ночевали. 24 августа (4 сентября) целое утро простояли на одном месте за моим пароксизмом, который был довольно мучителен. Ночевали в городе Ерлангене великолепно. 25 августа (5 сентября) к обеду приехали сюда, в Ниренберг, и стали в трактире, в котором безмерная чистота и опрятность привели нас в удивление. Все улицы и дома здешние так чисты, что уже походит на аффектацию. Сим оканчиваю теперешний журнал, которого продолжение впредь присылать к тебе буду. Прости, матушка. Мы завтра отсюда едем в Аугсбург, расстоянием на 139 верст, откуда несколько строчек к вам напишу.

5

Аугсбург, 4/15 сентября 1784.

Отсюда мы для того только пишем, чтоб не пропускать ни одного большого города. Мы оба, слава богу, здоровы и завтра поутру едем далее. Из Боцена пришлю к вам продолжение моего журнала. Дорога так нам надоела, что намерение мое, оставя жену, съездить к вам одному, мы вовсе отменили; а возвратимся оба, не продолжая больше года нашего вояжа. По всему видно, что в Италии жить не для чего и что

в год всю ее осмотрим с ног до головы. Намерение наше возвратиться исполним мы по другой дороге, то есть поедем в Вену, в Польшу, в Киев и в Москву. Завтра, благословясь, пустимся мы в Альпийские горы, в которых дороги так прекрасно отделаны, что ни малейшей нет опасности. Здесь совершенно мы удостоверились, что болезни в Италию никак не проникли и коммерция ни на час от сего не прерывалась.

6

Боцен, 11/22 сентября 1784.

Мы оба, слава богу, здоровы и помаленьку продолжаем наше путешествие. Если после сего письма вы от нас не скоро получите, то, бога ради, молчание наше ничему другому не приписывайте, как тому, что мы, не останавливаясь, едем. Нам нетерпеливо хочется скорее доехать до Флоренции, чтоб получить там ваши письма и чтоб отдохнуть подолее. Дорога надоела нам несказанно. Два месяца, как все едем, а до Рима еще месяц надобен. Сказывают, что прежде половины октября нельзя в него и въехать, потому что сами жители разъезжаются летом по деревням и живут в них до осени, опасаясь лихорадок, которые в жары, по причине болот, легко получить можно. Теперь стану продолжать тебе, матушка, мой журнал, который кончился приездом нашим в Ниренберг. Сей город положением своим очень странен: стоит весь на горах и с высокого места, каков тутошный за́мок, кажется не иным чем, как громадою набросанных ненарочно камней; считают в нем до восьмисот улиц, что и не удивительно, если называют улицами все по горам закоулки, какие на сте шагах обыкновенно встречаются. Невзирая на узкие улицы и на множество народа, наблюдается внутри и снаружи домов чистота отменная. В день нашего приезда, то есть 25 августа (5 сентября), после обеда осматривали мы замок. По древним преданиям здешние жители верят, что построен он Нероном. Не знаю, он ли его строил, но по крайней мере замок

достоин быть дворцом такого чудовища, каков Нерон. Вообрази на превысокой и прекрутой горе уродливое и мрачное большое здание. Кажется, что обитавший в нем тиран сверху попирал ногами город и что сам залез так высоко для того, чтоб спрятаться от отчаяния несчастных жителей. Словом, замок таков, в каком честный человек за все престолы света жить не согласится. Мы осматривали в нем картины Альбрехта Дюрера, славного больше за старину, нежели за искусство, потому что в его время живопись в Европе была еще в колыбели. Тут казали нам модели святых вещей, ибо подлинные сохранены и никому, кроме коронованных глав, их не кажут. Художник, делавший сии модели, не имел, кажется, нужды ни в большом труде, ни в большом искусстве. Святые вещи состоят в копье, коим Христос прободен был на кресте, в крестном гвозде, в частице самого креста, в отломке яслей вифлеемских, в лоскутке скатерти, постланной на тайной вечере, и в лоскуточке лентия, коим Христос отирал ноги на умовении. Осмотрев в замке все любопытства достойное, провели мы вечер дома с банкиром Брентанием, к которому мы адресованы. Он 26 августа (6 сентября) поутру возил нас к купцу Вильду, который имеет прекрасное собрание картин. Мы пригласили Брентания к обеду. Я нигде не видал деликатнее стола, как в нашем трактире. Какое пирожное! какой десерт! О пирожном говорю я не для того только, что я до него охотник, но для того, что Ниренберг пирожным славен в Европе. Скатерти, салфетки тонки, чисты — словом, в жизнь мою лучшего стола иметь не желал бы. После обеда были мы в ратуше, украшенной картинами Альбрехта Дюрера. Он родился в здешнем городе, работал много, и, куда ни обернись, везде найдешь его работу. Я сделал визит Брентанию и с ним ездил в комедию. Театришка мерзкий, и зала походит больше на чулан, нежели на залу. Жар и духота были такие, что я пяти минут не устоял, и вечер провели мы одни.

В Ниренберге много хороших живописцев и других художников, но они умирают с голоду, потому что покупать некому. Целое утро, или, справедливее сказать,

весь день 27 августа (7 сентября) посещал я спх бедняков, лазил к ним на чердаки и много кое-чего накупил по моей коммерции и отправил в Петербург. Ходил по церквам, по книжным лавкам, смотрел славный бронзовый фонтан, за который государыня предлагала тридцать тысяч рублей, но меньше пятидесяти не продают; был в галантерейных лавках и пришел домой, устав как собака. Ввечеру банкир Кнопф сделал мне визит. 28 августа (8 сентября) поутру оба мои банкира возили меня в арсенал. В нем есть чего смотреть; воинские снаряды, уборы и одежда древних рыцарей весьма любопытны. Удивительно, как могли они таскать на себе такую тягость. Я не совсем бессилен, но насилу поднял копье, которым они воевали. После обеда мадам Брентани приехала к нам с двумя золовками, и мы все ввечеру ездили в сад к мадам Геллер, которая лицом похожа как две капли воды на княгиню Д. А. Грузинскую. 29 августа (9 сентября) целое утро приносили ко мне из целого города картины на продажу, но я не купил ничего, видя, что считают меня проезжим богачом. В сем мнении везде обо мне остаются для того, что я русский. Во всей Немецкой земле и, сказывают, также во всей Италии слова́ *русский* и *богач* одно означают. После обеда мы прогуливались по городу, отправив наперед с фурманом сундуки наши в Боцен для облегчения кареты. На другой день, 30 августа (10 сентября), приходили ко мне прощаться все артисты и оба мои банкира. После обеда в два часа выехали мы из Ниренберга и, не останавливаясь нигде, всю ночь ехали. 31 августа (11 сентября) к обеду приехали мы в Аугсбург. Не спав всю ночь, мы так устали, что после обеда спали как мертвые и насилу добудились нас ужинать. На другой день, 1/12 сентября, поутру явился ко мне русский наш агент Кизов, к которому Безбородко писал обо мне сильную рекомендацию. С ним ездил я к банкиру моему Обескеру. Надобно знать, что ниренбергские артисты писали обо мне в Аугсбург, почему и явились ко мне аугсбургские. Кизов привез к нам своего брата, доктора медицины, и жену свою. Все мы в открытых колясках поехали гулять за город, которого окрестности

прекрасны. По возвращении ко мне все потчеваны у меня были русским чаем. 2/13 сентября лазил я по чердакам, на которых умирают с голоду бедные художники, и осматривал их работу. Надобно отдать справедливость, что между ними есть мастера с великими достоинствами, но, так же как и в Ниренберге, работы их никто не покупает. Мещане ничего не смыслят, а больших господ нет. Первые люди, то есть патриции, не заслуживают человеческого имени. Знатные и одною спесью надутые скоты презирают тех, которыми начальствуют; а бедные точно таковы, как в Голберговой комедии «Don Ranudo de Colibrados». Между тем как я посещал художников, мадам Кизов возила жену мою на ситцевую фабрику, которой заведение так хорошо устроено, что она одевает ситцем самую Италию. После обеда барон Goéz начал мой портрет en miniature. Приехали к нам мадам Кизов и некоторые артисты. Они возили нас на гульбище, называемое Семь столбов. Все немецкие гульбища одинаковы. Наставлено в роще множество столиков, за каждым сидит компания и прохлаждается пивом и табаком. Я спросил кофе, который мне тотчас и подали. Таких мерзких помой я отроду не видывал — прямое рвотное. По возвращении домой мы потчевали компанию чаем, который немцы пили как нектар. 5/14-го все утро осматривал я в разных местах коллекции картин. После обеда смотрел ратушу, великолепием своим любопытства достойную. Она первая во всей Германии. Зала преогромная, росписана прекрасно и раззолочена пребогато. Потом зазвал нас к себе доктор Кизов и поставил нам коллацию (закуску). В сей день продолжал я писаться. 4/15 сентября поутру явились ко мне, по обыкновению, многие артисты и водили нас в соборную церковь св. Креста, к францисканам. После обеда я писался; потом ездили мы к славному во всей Европе органисту Штейну смотреть его новоизобретенный клавесин; дочь его играет на нем как ангел. Прогуливались по городу. По возвращении ко мне я потчевал коллациею. 5/16-го поутру выехали мы из Аугсбурга; обедали в Швабмюнхене плохо и, не останавливаясь, ехали всю ночь. Аль-

пийские горы видели мы еще в Аугсбурге; но въехали в них 6/17 сентября на станции Фиесле. Завтракали мы уже в Тироле, в городке Рейте. Из ворот сего города поднимались мы целый час на высочайшую гору, и лишь только на нее взъехали, как представилась нам другая гора, не менее первой, на которую мы также час ехали, имея в глазах пропасти бездонные. Потом станции были сноснее, но от местечка Лермоса до Нассерейта была станция ужасная. Горы и пропасти столь ужасны, что волосы дыбом становятся. Надлежит, однако ж, отдать правительству ту справедливость, что доро́ги сделаны и содержатся так хорошо, как я нигде не находил; аспекты страшные, но нет ни малейшей опасности. Все опаснейшие места завалены каменьями, и дорога такова, что две кареты свободно разъехаться могут. В Парвисе остановились мы ночевать, побоявшись в темноте ехать. 7/18 сентября с светом вдруг с ночлега выехали. Не доезжая до Инспрука, подъехали мы к горе высоты безмерной и, приметя, что почталион наш, загнув кверху голову, нечто нам показывает, велели ему остановиться и, вышед из кареты, увидели из верхушки горы густой дым с пламенем. Почталион сказывал нам, что дым и огонь видят они не больше восьми дней в году. Сия гора, называемая Martins-Wand, есть та самая, на которую император Максимилиан I, ловя дикую козу, сгоряча забрел и одинехонек плутал по ней двое суток. Возвращение его оттуда почитается здесь чудом. Он сам рассказывал, что, когда, уже не видя следа к спасению, пришел он в отчаяние, должен будучи умереть с голоду, вдруг явился ему пастух и свел его с горы. Сего пастуха никак отыскать не могли. Попы называли его ангелом. Император велел сделать дорожку на самую верхушку горы, и на самом том месте, на котором явился ему пастух или ангел, водружен превеликий крест, которого снизу за высотою видеть нельзя. После сего приключения император большую часть жизни своей проводил в инспрукском капуцинском монастыре в монашеской келье. Почти в полдень приехали мы в Инспрук, в котором имеет свое пребывание эрцгерцогиня

Елисавета, сестра нынешнего императора.[1] Я, имея правилом нигде ко двору не представляться, не считал удостоен быть ее лицезрением. Отобедав, ходил я в капуцинский монастырь, где водили меня в кельи Максимилиановы. Увидев марширующий по улице полк, спросил я, куда он идет. Хозяин трактира, где я жил, был моим проводником. Он отвечал мне, что сегодня будет на чистом поле экзамен полковой нормальной школе. Сорок восемь солдатских детей обучаются на государевом коште как военной экзерциции, так и прочим знаниям, касающимся до ремесла военного. Намерение сего установления то, чтоб сделать из них хороших унтер-офицеров. Один девичий монастырь истреблен; кельи превращены для мальчиков в казармы, а сад монастырский в место для их экзерциции. Эрцгерцогиня со всем своим двором присутствовала на экзамене. По календарю ей лет сорок, а по виду и по живости характера нельзя дать и тридцати. Она очень походит на сестру свою, королеву французскую. Полк отдал ей честь, и начался экзамен. Я хотя прятался в народ, но меня тотчас приметили; а скорее всех эрцгерцогиня, узнав от полиции о моем приезде. Весь двор ко мне обратился, и от всех показано было ко мне отличное внимание и учтивость. Нечувствительно выманили меня из народной толпы, и я приметил, что каждый листочек экзамена приказывала эрцгерцогиня тотчас доводить до меня. Она шептала что-то с гофмаршалом, который, подошед ко мне, спросил меня: буду ли я представляться? Я отвечал, что завтра еду и что сие счастие предоставляю себе на возвратном пути моем. Я видел, что ответ мой был тотчас перенесен эрцгерцогине, которая без всяких церемоний тотчас сама ко мне подошла. «Хотя вы мне и не представлены, — сказала она, — но я слышу, что вы едете в Италию; прошу вас сказать мой поклон брату моему, великому герцогу тосканскому, и сестре моей, королеве неаполитанской». Я отвечал ей, что почитаю за великое себе счастие исполнить ее повеление. После сего разговаривала она со мною долго о разных материях

[1] Иосиф II.

и весьма милостиво пожелала мне счастливого пути. Лишь только она от меня отошла, как все дамы меня окружили и уговаривали сильно остаться на несколько времени в Инспруке. Я был неумолим. Наконец, в девятом часу ввечеру, экзамен кончился. Эрцгерцогиня пошла во дворец пешком; вся публика ее провожала, и я счел за пристойное от нее не отставать. Город был освещен, но ночь претемная. К удивлению моему, увидел я, что ее высочество, увернувшись в темноте от публики, подозвала моего проводника и с ним разговаривает. Проводник мой, возвратясь со мною, дал отчет в своей беседе. «Она изволила меня спрашивать о вас, — сказал он, — одни ли вы едете; а узнав, что с женою, хотела знать, для чего жена ваша не пришла посмотреть экзамен?» Проводник мой отвечал, что он этого не знает. Потом спрашивала она, правда ли то, что я завтра еду. «Правда», — отвечал мой проводник. «Так скажи же ему от меня, что я желаю ему от всего сердца счастливого пути». Эрцгерцогиня, сколько видно, имеет очень доброе сердце. Все ею довольны, и она отменно здесь любима. Хозяин мой сказывал мне, что она около полугода огорчена своим братом, который, проведав об ее интриге с одним майором, удалил его из Инспрука. В продолжение экзамена застигла нас ночь претемная, и я в первый раз в жизни увидел зрелище, для глаз несколько страшное. Поле, на котором школьники экзерцировали и ужинали в присутствии двора и многочисленной публики, освещено было вместо факелов пламенем горы, о которой я упомянул выше. Эрцгерцогиня шутя говорила мне, что я вижу теперь маленький Везувий; что сей пламень произошел не из внутренности горы, но от электризации; что к пресечению пожара наряжено для выравнивания рвов большое число работников и что она не воображает дальнейших следствий от сего происшествия. 8/19-го безмерное желание скорее проехать горы, дурной трактир и нетерпение скорее доехать во Флоренцию ради ваших писем решили нас выехать поутру из Инспрука. Между тем как послали на почту за лошадьми, успел я обежать церкви: францисканскую, соборную и Frères servites, дворцовый сад и торжест-

венные ворота. Францисканская церковь знаменита великолепным монументом Максимилиана I и двадцатью восемью бронзовыми статуями погребенных тут государей. Все статуи выше человеческого роста. Инспрук весь окружен горами. Выехав из ворот, взъезжали мы целый час на Штейнахскую гору, по причине высоты которой припрягли нам лишнюю пару, но около вечера предстала нам гора Бреннерская, которой гораздо ниже ходят облака. Выше ее, сказывают, уже нет. Мы побольше часа взбирались на один из ее холмов. Между тем, настигла нас такая темная ночь, что мы сидели как в мешке. Почталион хотя вез нас очень храбро по сделанной прекрасной дороге, но в темноте быть между пропастьми на горах, каковы Альпийские, было нам не очень весело. Приехав на почту, мы ночевали. 9/20-го, отдохнув тут и позавтракав, проехали мы город Бриксен, не останавливаясь, и при лунном сиянии в полночь приехали благополучно в Боцен. Сим оканчиваю журнал, который продолжать буду порядочно.

7

Флоренция, 5/16 октября 1784.

Последний мой журнал кончился приездом нашим в Боцен. Сей город окружен горами, и положение его нимало не приятно, потому что он лежит в яме. В нем император сделал теперь большое подкрепление коммерции, и во время ярмарки мы видели превеликое стечение разных наций. Жителей в нем половина немцев, а другая итальянцев. Народ говорит больше поитальянски. Образ жизни итальянский, то есть весьма много свинства. Полы каменные и грязные; белье мерзкое; хлеб, какого у нас не едят нищие; чистая их вода то, что у нас помои. Словом, мы, увидя сие преддверие Италии, оробели. 10/21 сентября был я на ярмарке. Под домами сделаны лавки, по которым все купцы и народ бродят и каждый что-нибудь или продает, или покупает. Был я в ратуше, которую нашел противу чаяния весьма великолепною. После обеда ходил я к живописцу Генрицию смотреть его работу, а от него

в итальянскую комедию. Театр адский. Он построен без полу и на сыром месте. В две минуты комары меня растерзали, и я после первой сцены выбежал из него как бешеный. Вечер проводили мы в чтении. 11/22-го утром ходил я по церквам, из которых во многих есть прекрасные картины; ввечеру был я на площади и смотрел марионеток. Дурное житье в Боцене решило нас выехать из него. 12/23-го мы уговорились с банкиром, чтоб он пришедшие из Ниренберга сундуки наши отправил водою в Триент, из которого мы в Верону захотели ехать и сами водою. Итак, поутру, взяв почту, отправились из скаредного Боцена в Триент, который еще более привел нас в уныние. В самом лучшем трактире вонь, нечистота, мерзость все чувства наши размучили. Мы в ту же минуту из него ускакали б, если б договор мой с лоцманом не принудил меня дожидаться судна. Мы весь вечер горевали, что заехали к скотам. 13/24-го поутру ходил я по церквам смотреть прекрасных картин; в соборной видел и слышал я орган первый в свете. Он подражает совершенно многим инструментам и птичьему пению. Я был в восхищении, смотря на двери, расписанные превосходным искусством Романиния, и слушав сей прекрасный и для меня новый инструмент. После обеда был я в епископском дворце. За́мок старинный, но внутри убран великолепно и наполнен картинами великих мастеров. Сам епископ был в деревне, и мы имели всю свободу осмотреть его дворец. Ввечеру был у нас с визитом банкир наш Трентини. 14/25-го поутру водил я жену мою слушать органы и смотреть дворец. Сей осмотр кончился тем, что показали нам погреб его преосвященства, в котором несколько сот страшных бочек стоят с винами издревле. Меня потчевали из некоторых, и я от двух рюмок чуть не с ног долой. Казалось бы, что в духовном состоянии таким изобилием винных бочек больше стыдиться, нежели хвастать надлежало; но здесь кажут погреб на хвастовство. Оттуда ходили мы по церквам смотреть картины. После обеда Трентини повез нас в свой загородный дом, где вся его семья угощала нас сколько могли. Трентини показал нам всевозможные учтивства; но скучен тем, что при всяком слове хохочет, даже

до того, что когда я спросил его: все ли он в добром здоровье, он умер со смеху и насилу мог выговорить: per servilla.[1] Глупый обычай непрестанно хохотать и, говоря, изо всей силы кричать свойствен итальянцам. Трое итальянцев в комнате нашумят гораздо больше двадцати немцев. 15/26-го поутру банкир наш, думая, что граф Валькенштейн, здешний от императора начальник, живет за городом, повел нас к нему смотреть картин; но сверх чаяния граф был в городе: он встретил нас очень учтиво и сам водил нас в свою галерею. После обеда был дождь, и гулять было нельзя. Мы в скуке просидели в нашем мерзком трактире. Под вечер ходили мы в верхний этаж смотреть mademoiselle Liebsern, саксонку лет тридцати; она лицом изрядна, но родилась без обеих рук и с коротенькими ножками. Ноги служат ей вместо рук. Она при нас чинила ногами перья, писала, нюхала табак, вздевала и снимала серьги, пряла и в иголку вздевала нитку. 16/27-го с светом вдруг выехали мы водою из Триента; обедали в карете. К ночи пристали мы в венециянский городок Воларни, с тем чтоб, тут ночевав, завтра рано приплыть в Верону, от которой осталась одна только станция; но как скоро вошли в трактир, то план наш ту же минуту и разрушился: неизреченная мерзость, вонь, сырость выгнали нас тотчас. Я думаю, что не одна сотня скорпионов была в постеле, на которой нам спать доставалось. О! bestia Italiana! Я послал эстафет в Верону, чтоб нам отворили ворота, ибо иначе были б мы принуждены у ворот ночевать, и, сам схватя почтовых лошадей, тотчас поехал навскачь в Верону и стал в трактир очень хороший. Дороговизна в Вероне ужасная; за все про все червонный. Я договорился с хозяином, потому что в Италии без договора за рюмку воды заплатишь червонный. Надобно отдать справедливость Немецкой земле, что в ней житье вполы дешевле и вдвое лучше. Из Воларны до Вероны гор больше нет. Целые десять дней быв в горах, мы очень обрадовались, выехав на ровное место. Нам казалось, что нас

---

[1] К вашим услугам *(итал.)*.

из тюрьмы выпустили. 17/28-го поутру проспав долго, насилу успел я съездить к банкиру моему, Сольдини. После обеда были мы в женском Георгиевском монастыре смотреть картины. Надобно приметить, что в Италии великие мастера большею частию работали для церквей. Потом были мы в саду графа Юстия. Сей сад сделан по большой каменной горе вниз уступами. На горе сделаны беседки, из коих виден весь город. Я туда вскарабкаться поленился, но жена всходила. Весь сад состоит из нескольких кипарисных аллей. Деревья превысокие. Из сада были в кабинете графа Бевилакви. Есть картины и антики прекрасные. Смотрели потом древний славный амфитеатр, в котором свободно помещались 22 000 человек. Были мы на плацдарме, где поставлена статуя Венециянской республики; на плаце de Signori, где ратуша, на которой стоят статуи древних знаменитых веронезцев. Видели porto del Pallio, трое римских торжественных ворот. Ввечеру был у нас банкир Сольдини. 18/29-го весь день осматривали мы здешние драгоценные картины и антики. Были в домах графа Турки, маркиза Жерардини, у брата покойного Чинверония, славного живописца. Оттуда ездили в оперный дом, смотрели всю Маффееву коллекцию вделанных в стену древних монументов, надписей и статуй, также и залу Филармонической академии; заехали в церковь госпитальную и потом домой обедать. После обеда ездили мы к графу Ротарию, племяннику бывшего в Петербурге живописца. Племянник набитый скот. Все достоинство состоит в том, что он имеет хороший дом, в котором две комнаты убраны картинами и эскизами покойного его дяди. От него ездили мы в соборную церковь, а оттуда за город на campus Martius. Поле прекрасное! Тут бывает два раза в году ярмарка. Лавки, ныне запертые, построены очень хорошо. Отсюда были мы на Piazzo del crucifixo смотреть мячные игры. Народу было превеликое множество. Знатные и порядочные люди помещены особливо. Огорожено большое место, на котором человек десяток, одетых в льняное белое платье, бросают ракетами большие мячи. Удачный

coup[1] всегда сопровождался криком и рукоплесканием. Отсюда были мы в саду графа Газолы. Садишка ничего не значащий. Мы удивились, что об нем делают столько шума. Вообще сказать, сады на севере несравненно лучше. Здесь оставляют все натуре, которая иногда требует помощи и от искусства; а у нас на севере искусством и радением награждают недостатки натуры и подражают красоте ее. Отсюда ездили мы на кладбище рода Скалигеров, правившего Вероною сряду несколько сот лет. Гробницы великолепные, а особливо три монумента, с которых выгравированы эстампы. Потом ездили мы на Piazzo della Bra. Сие место по вечерам обыкновенно наполнено каретами, которые проезжают туда и сюда так, как у нас на Немецких Станах. Весь сей день наслаждались мы зрением прекрасных картин и оскорблялись на каждом почти шагу встречающимися нищими. На лицах их написано страдание и изнеможение крайней нищеты; а особливо старики почти наги, высохшие от голоду и мучимые обыкновенно какою-нибудь отвратительною болезнию. Не знаю, как будет далее, но Верона весьма способна возбуждать сострадание. Не понимаю, за что хвалят венециянское правление, когда на земле плодоноснейшей народ терпит голод. Мы в жизни нашей не только не едали, даже и не видали такого мерзкого хлеба, какой ели в Вероне и какой все знатнейшие люди едят. Причиною тому алчность правителей. В домах печь хлебы запрещено, а хлебники платят полиции за позволение мешать сносную муку с прескверною, не говоря уже о том, что печь хлебы не смыслят. Всего досаднее то, что на сие злоупотребление никому и роптать нельзя, потому что малейшее негодование на правительство венециянское наказывается очень строго. Верона город многолюдный и, как все итальянские города, не провонялый, но прокислый. Везде пахнет прокислою капустою. С непривычки я много мучился, удерживаясь от рвоты. Вонь происходит от гнилого винограда, который держат в погребах; а погреба у всякого дома на улицу, и окна отворены. Забыл я сказать, что тотчас после

[1] Удар *(франц.)*.

обеда водил я Семку смотреть древний амфитеатр. От солнечного ли зноя или для такого дорогого гостя, как Семка, весь амфитеатр усыпан был ящерицами. 19/30-го выехали мы перед обедом из Вероны. Пока люди наши убирались, мы успели сбегать в Георгиевский монастырь, насладиться в последний раз зрением картин Павла Веронеза. Ужинали в Мантуе и ночь всю ехали, потому что в Италии в трактирах по местечкам ночевать мерзко. 20 сентября (1 октября) поутру приехали в Модену. Утро все проспали. После обеда смотрел я Моденскую картинную галерею. Не описываю тебе, матушка, картин поодиночке, потому что тебя это мало интересует, но уверен, что если б ты видела то, что мы здесь видим, то бы сама сделалась охотницею. Ночью разбудил нас вихорь, каких у нас, кажется, не бывает. Стекла у окон были перебиты, и мы думали, что дома повалятся. 27 сентября (2 октября) поутру возил я жену в галерею. Кроме того, что я вчера видел, показали мне манускрипты XV и XVI столетий. Библия, молитвенник и Дант меня удивили. На полях каждого листа миниатюры прекрасные, и колорит такой яркий, как будто бы сегодня писаны были. Отобедав, выехали мы из Модены и под вечер приехали в Болонью. За ужином под окнами дали нам такой концерт, что мы заслушались. Я заплатил за него четверть рубля, которая принята была с великою благодарностию. 22 сентября (3 октября) поутру был я в славном Болонском институте. Описание его требовало б целой книги: столько тут вещей любопытных; особливо анатомическая камера заслуживает внимание. Я с лишком три часа употребил, чтоб осмотреть сие прекрасное заведение. Отсюда ездили мы в соборную церковь, в Мендикати, в St.-Leonardo, в Palais Zampieri, где имели счастие видеть первую Гвидову картину Петра апостола. Многие знатоки почитают сию картину первою в свете, потому что в ней все части искусства соединены совершенно. Были мы в Palais Buonfiglioli, в Palais Magrari и везде находили сокровища неизреченные. После обеда был у нас банкир наш с визитом, потом были мы в Palais Capraro. Все сии дома принадлежат болонским сенаторам. Уборы в них вели-

колепные, но старинные; везде картин множество. Они сохраняются в фамилиях по завещаниям, ибо великих мастеров картины владельцы оставляют своим наследникам по духовным, кои утверждены судебным порядком и в коих именно изъяснено запрещение не выпускать сих картин из фамилии. Сей день был канун праздника св. Петрония. Мы были у вечерни в церкви сего святого, которая есть одна из величайших в Италии. Музыка была огромная. Два кардинала присутствовали при богослужении. Из церкви были мы в Опере Buffo; отсюда домой, за ужином прежний концерт под окнами явился. 23 сентября (4 октября) поутру ездил я один осматривать церкви; был в шести церквах и в Palais Grassi; потом ездил с женою в Palais Zambeccari смотреть Piazzo Maggiore, и видели procession des Cardinaux.[1] Были у обедни у праздника, а оттуда в Palais Ranuzzi, у коего фасад, лестница и декорации привели нас в восхищение. Вечером были дома и слушали под окнами концерт. 24 сентября (5 октября) поутру ездили мы смотреть высокую кривую башню d'Asinelli, Palazzo publico и были в девяти церквах. Видели Palazzo Tanari, Monti, Favi. Везде есть чего смотреть. Завезя жену домой, ездил я в университет. После обеда смотрели мы Palais Boni et Zaniboli и гуляли за городом. Приехав домой, мы так устали, что спали как мертвые. 26 сентября (7 октября) поутру ходил я в некоторые церкви и к лучшим болонским живописцам. После обеда выехали мы из Болоньи. Сей город вообще можно назвать хорошим, но люди мерзки. Редкий день, чтоб не было истории. Весьма опасно здесь ссориться, ибо мстительнее и вероломнее болонезцев, я думаю, в свете нет. Мщение их не состоит в дуэлях, но в убийстве самом мерзостнейшем. Обыкновенно убийца становится за дверью с ножом и сзади злодейски умерщвляет. Самый смирный человек не безопасен от несчастия. Часто случается, что ошибкою вместо одного умерщвляют другого. Болонья подвержена также землетрясениям. Четыре года назад город потерпел много. Наилучший климат имеет свои

[1] Кардинальскую процессию *(франц.)*.

неудобства и опасности. Мы ехали всю ночь и терпели большие беспокойства. Флорентинские Альпы проезжали мы в такой темноте, что зажигали факелы, которые от преужасного вихря и дождя гасли. К сему подоспело другое несчастие: я в Болонье объелся фруктов, и ночью, когда от ненастья и стужи мы замучились, пришла на меня такая колика, какая с человеком редко на роду случается. Словом, я думал, что сею ночью сподоблюся принять мученический венец; однако, богу благодарение, к свету колика поутихла. 27 сентября (8 октября) поутру воссияло солнце и сделалось прекраснейшее лето, которое и до сего часа продолжается, так что у нас все окна отворены и мы по саду гуляем. В 11-м часу до обеда приехали мы во Флоренцию, где и теперь мы поживаем. Сим оканчиваю мой журнал, которого продолжение ты получишь в свое время.

8

Флоренция, 9/20 октября 1784.

К сердечному удовольствию, получили мы письма ваши от 15 августа, за которые приносим вам усерднейшее благодарение. Мы оба, слава богу, здоровы и живем во Флоренции, где останемся до будущей недели, а потом, как я и прежде вас уведомлял, съездим в Лукку, Пизу и Ливорну. Мы весь наш вояж так учреждаем, чтоб в июле быть в Москве. Кажется, к сему времени можно к вам поспеть по осмотрении всего, что только заслуживает внимания. Климат здешний можно назвать прекрасным; но и он имеет для нас беспокойнейшие неудобства: комары нас замучили так, что сделались у нас калмыцкие рожи. Они маленькие и не пищат, а исподтишка так жестоко кусают, что мы ночи спать не можем. И комары итальянские похожи на самих итальянцев: так же вероломны и так же изменнически кусают. Если все взвесить, то для нас, русских, наш климат гораздо лучше.

Журнала моего для того к тебе не посылаю, что, по моему расположению, целый большой лист не может теперь быть наполнен; а пришлю его из Рима,

и он содержать будет пребывание наше здесь по приезд в Рим; оттуда также, накопя материй на целый большой лист, перешлю к вам; конец же моего журнала дочитаем в Москве вместе в будущем году, если бог даст здоровья. Голова моя иногда побаливает, однако сносно; я же в непрестанном движении: с утра до ночи на ногах. Осматриваю все здешние редкости, и мы оба, по нашей охоте к художествам, упражнены довольно. Взятые с нами люди служат нам усердно, и мы ими довольны. Жена моя до сих пор без девки; хотим взять в Риме, а здесь все негодницы.

9

Пиза, 11/22 ноября 1784.

Узнав во Флоренции, что Везувий очень скоро утих, не имеем мы теперь причины поспешать в Неаполь и для того приближаемся мы потихоньку в Рим. В пятницу мы сюда приехали. Вчера ездил я в Лукку, а ночевали здесь. Сегодня после обеда едем в Ливорну, где думаем остаться дня два или три; оттуда опять сюда и чрез Сиену (Sienne) поедем в Рим. Климат здесь очень хорош и несравненно лучше Флоренции, откуда дожди, сырость и туманы нас выгнали. Ничего так не желаем, как поскорее все осмотреть и к вам возвратиться. Вояж нам надоел, а особливо мерзкие трактиры: везде сквозной ветер, стужа и нечистота несносная. Нам хочется одну половину карнавала провести в Неаполе, а другую и целый пост в Риме, так чтоб после святой недели тотчас предпринять возвратный путь и около петрова дня быть в Москве. Прошу бога, чтоб всех вас увидеть здоровыми.

10

Рим, 7/18 декабря 1784.

Пребывание наше во Флоренции, до приезда нашего в здешний город, будет занимать мой теперешний журнал. Излишне было б, матушка, наблюдать в нем преж-

ний порядок, то есть писать по числам, как я прежде то делал. Один день так походит на другой, что различить их почти ничем невозможно. Утро провождали мы в галерее и в прочих примечательных местах; обедали обыкновенно дома; ввечеру — или на конверсации, или в опере; ужинали дома. Знакомств могли б мы иметь много, да все они не стоят труда, чтоб к ним привязаться. Я до Италии не мог себе вообразить, чтоб можно было в такой несносной скуке проводить свое время, как живут итальянцы. На конверсацию съезжаются поговорить; да с кем говорить и о чем? Изо ста человек нет двух, с которыми можно б было, как с умными людьми, слово промолвить. В редких домах играют в карты, и то по гривне в ломбер. Угощение у них, конечно, в вечер четверти рубля не стоит. Свечи четыре сгорит восковых да копеек на пять деревянного масла. Здесь обыкновенно жгут масло. Обедать никто никогда не унимает не по одному обычаю, а больше потому, что чужого человека унять стыдно. Мой банкир, человек пребогатый, дал мне обед и пригласил для меня большую компанию. Я, сидя за столом, за него краснелся: званый его обед несравненно был хуже моего вседневного в трактире. Словом сказать, здесь живут как скареды, и если б не дом нунция, английского министра и претендента, то есть домá чужестранные, то б деваться было некуда. Все это пишу я о Флоренции, а об Риме ничего еще сказать не могу, потому что в нем не довольно еще осмотрелся. Теперь, матушка, стану тебе описывать наши похождения. Мы приехали во Флоренцию поутру. Вышед из кареты, бросился я на почтовый двор искать ваших писем. Не имея третий месяц никакого об вас известия, нетерпение наше было несказанное. Невозможно больше моего рассердиться, когда, перебрав все пакеты, не нашел я к себе ни одного. Сие огорчение вместе с бессонницею и мучением прошлой ночи причинили мне головную боль. Пришед с почтового двора, принужден я был лечь в постелю. После обеда оба мои банкира присылали ко мне своих детей с комплиментом о приезде нашем. Я разослал сих комплиментистов всюду отыскивать письма ваши. На тот раз граф Моцениго, наш

поверенный в делах, не был в городе. Мне пришло в мысль, не он ли взял с почты письмо мое. Тотчас послал я осведомиться, и, к сердечному удовольствию моему, принесли ко мне от него первое письмо ваше, — и голова моя болеть перестала.

Первое, что во Флоренции заслуживает особенного внимания, есть, без сомнения, галерея великого герцога, соединенная с Palazzo Pitti, в котором он живет, когда бывает во Флоренции, что случается весьма редко. Он обыкновенно бывает в загородных домах своих, также в Пизе и в Ливорне. В наше время жил он в Пизе. Галерея его есть одна из первых в Европе. Если б вы были охотники до живописи и скульптуры, я мог бы написать к вам о ней одной целую тетрадь. Рафаэлева богородица, картины дель Сартовы, Венера Тицианова и прочих великих мастеров работы и статуя Venus de Medicis составляют прямые государственные сокровища. Нельзя нигде приятнее провести утро, как в сей галерее. Как часто в нее ни ходи, всегда новое увидишь. Множество молодых живописцев упражняются тут в копировании славных картин. Словом, тут видишь и галерею и школу. Мы с женою бываем в ней очень часто, а особливо я почти всякий день. Прибавить к тому надобно и кабинет натуральной истории, который также очень хорош и содержится в превеликом порядке. Есть в нем вещи очень редкие. Лучшая в галерее комната называется Трибуна. Она осьмиугольная, и окна в самом верху, так что свет упадает на картины точно тот, какой для них иметь надобно. В сей комнате стоят двадцать четыре наилучшие картины и все лучшие статуи, из коих Венера Медицейская удивления достойна. Из картин велел я списать для себя une Mère de douleur d'André del Sarto,[1] три картины Рафаэлевы и богоматерь Carlino Dolci.[2] Могу вас уверить, что если вы увидите и копии мои, то даром, что вы не охотники, вам они, конечно, очень понравятся. Вообще сказать, флорентинская галерея в некотором смысле беспримерна, потому что во всей

---

[1] Скорбящая богоматерь Андреа дель Сарто *(франц.)*.
[2] Карлино Дольчи *(итал.)*.

Европе нет такого здания, в котором бы одном столько сокровищ во всех родах художеств находилось. За великую редкость почитаются в ней две комнаты, наполненные портретами великих живописцев, писанными собственною их кистью. Каждый мастер, сам свой портрет написав, присылал в галерею. Сие вошло в обычай и доднесь продолжается. Забыл я сказать, что в галерее есть прекрасная коллекция древних ваз. Не описываю здесь всех комнат, принадлежащих к галерее, но скажу только то, что можно одною ею целый год заняться. Palazzo Pitti стоит на холме; дом не весьма большой, но великолепно меблированный, и две залы расписаны альфреско с удивительным искусством. Картины в сем дворце также великих мастеров и в великом множестве. Прекрасная Рафаэлева богоматерь, известная под именем Madonna della Sedia,[1] украшает одну залу. Этот образ имеет в себе нечто божественное. Жена моя от него без ума. Она стаивала перед ним по получасу, не спуская глаз, и не только купила копию с него масляными красками, но и заказала миниатюру и рисунок. Позади дворца сад Boboli. Он состоит по большей части из террас и украшен многими фонтанами. Из дворца вид в него прекрасный. Между зданиями великолепнейшее есть соборная церковь. Величина ее огромная и покрыта цветным мрамором. Можно сказать, что она монумент древнего республиканского великолепия. Близлежащая батистерия, или церковь, в которой крестят всех без исключения во Флоренции младенцев, достойна любопытства. Двери бронзовые с прекрасными барельефами. Они так отменны, что прозваны райскими дверями. Из увеселительных домов лучший Poggio Imperiale. Архитектура простая, но благородная, и много картин хороших. Между городскими установлениями госпиталь сто́ит любопытства. Жаль только, что он построен не у места, ибо по одну сторону театр серьезной оперы, а по другую театр комический. Порядок в госпитале так хорош, что делает, конечно, великую честь правлению. Больные пользуются присмотром и крайнею чистотою. Не только

[1] Мадонна на стуле *(итал.)*.

в Италии, где живут по-свински, но и у нас многие зажиточные люди не спят на таких хороших и чистых постелях, на каких в госпитале лежат больные нищие. Во Флоренции занимался я осматриванием многих церквей, которые архитектурою и живописью знамениты. Все они, конечно, удивляют того, кто не видал здешней церкви святого Петра; но кто ее видел, того в рассуждении художеств ничто в свете удивить не может. Кажется, что сей храм создал бог для самого себя. Здесь можно жить сколько хочешь лет, и всякий день захочешь быть в церкви святого Петра. Чем больше ее видишь, тем больше видеть ее хочешь; словом, человеческое воображение постигнуть не может, какова эта церковь. Надобно непременно ее видеть, чтоб иметь об ней истинное понятие. Я всякий день хожу в нее раза по два.

Театры во Флоренции великолепны как для серьезной, так и для комической оперы. Жаль только того, что не освещены. Ни в одной ложе нет ни свечки. Дамы не любят, чтоб их проказы видны были. Всякая сидит с своим чичисбеем и не хочет, чтоб свет мешал их амуру. Развращение нравов в Италии несравненно больше самой Франции. Здесь день свадьбы есть день развода. Как скоро девушка вышла замуж, то тут же надобно непременно выбрать ей cavalière servente,[1] который с утра до ночи ни на минуту ее не оставляет. Он с нею всюду ездит, всюду ее водит, сидит всегда подле нее, за картами за нее сдает и тасует карты, — словом, он ее слуга и, привезя ее один в карете к мужу в дом, выходит из дома тогда только, как она ложится с мужем спать. При размолвке с любовником или чичисбеем первый муж старается их помирить, равно и жена старается наблюдать согласие между своим мужем и его любовницею. Всякая дама, которая не имела бы чичисбея, была бы презрена всею публикою, потому что она была б почтена недостойною обожания или старухою. Из сего происходит, что здесь нет ни отцов, ни детей. Ни один отец не почитает детей своей жены своими, ни один сын не почитает себя

---

[1] Верного рыцаря, возлюбленного *(франц.)*.

сыном мужа своей матери. Дворянство здесь точно от того в крайней бедности и в крайнем невежестве. Всякий разоряет свое имение, зная, что прочить его некому; а молодой человек, став чичисбеем, лишь только вышед из ребят, не имеет уже ни минуты времени учиться, потому что, кроме сна, неотступно живет при лице своей дамы и как тень шатается за нею. Многие дамы признавались мне по совести, что неминуемый обычай иметь чичисбея составляет их несчастие и что часто, любя своего мужа несравненно больше, нежели своего кавалера, горестно им жить в таком принуждении. Надобно знать, что жена, проснувшись, уже не видит мужа до тех пор, как спать ложиться надобно. В Генуе сей обычай дошел до такого безумия, что если публика увидит мужа с женою вместе, то закричит, засвищет, захохочет и прогонит бедного мужа. Во всей Италии дама с дамою одна никуда не поедет и никуда показаться не может. Словом сказать, дурачествам нет конца. Вообще сказать можно, что скучнее Италии нет земли на свете: никакого общества и скупость прескаредная. Здесь первая дама принцесса Санта-Кроче, у которой весь город бывает на конверсации и у которой во время съезда нет на крыльце ни плошки. Необходимо надобно, чтоб гостиный лакей имел фонарь и светил своему господину взлезать на лестницу. Надобно проходить множество покоев, или, лучше сказать, хлевов, где горит по лампадочке масла. Гостей ничем не потчевают, и не только кофе или чаю, ниже воды не подносят. Теснота и духота ужасная, так что от жару горло пересохнет; но ничто так не скверно, как нищенское скаредство слуг. Куда ни приедешь с визитом, на другой же день, чем свет, холопья и придут просить денег. Такой мерзости во всей Европе нет! Господа содержат слуг своих на самом малом жалованье и не только позволяют им так нищенствовать, но по прошествии некоторого времени делят между ними кружку. Во Флоренции, быв шесть недель, знаком я стал почти со всеми, и накануне моего отъезда целый день ходили ко мне лакеи пожелать счастливого пути, то есть просить милостыни. В Риме установлена обычаем такса: кардинальским лакеям платят шестьдесят

копеек, а прочим по тридцати. Семка мой иначе мне о них не докладывает, как: «Пришли, сударь, нищие». Правду сказать, и бедность здесь беспримерная: на каждом шагу останавливают нищие; хлеба нет, одежды нет, обуви нет. Все почти наги и так тощи, как скелеты. Здесь всякий работный человек, буде занеможет недели на три, разоряется совершенно. В болезнь наживает долг, а выздоровев, едва может работою утолить голод. Чем же платить долг? Продаст постель, платье — и побрел просить милостыни. Воров, мошенников, обманщиков здесь превеликое множество; убийства здесь почти вседневные. Злодей, умертвя человека, бросается в церковь, откуда его, по здешним законам, никакая власть уже взять не может. В церкви живет несколько месяцев; а между тем, родня находит протекцию и за малейшие деньги выхаживает ему прощение. Во всех папских владениях между чернью нет человека, который бы не носил с собою большого ножа, одни для нападения, другие для защищения. Итальянцы все злы безмерно и трусы подлейшие. На дуэль никогда не вызывают, а отмщают обыкновенно бездельническим образом. Честных людей во всей Италии, поистине сказать, так мало, что можно жить несколько лет и ни одного не встретить. Знатнейшей породы особы не стыдятся обманывать самым подлым образом. Со мною был один очень смешной случай во Флоренции. Я покупал картины, и большие покупки мои наделали очень много шума в городе. Однажды пришел ко мне знакомый купец с тем, что один знатный господин имеет столь много в галерее своей картин, что некоторые охотно продать согласится. Он повел меня в огромный дом, убранный великолепно, где нашел я действительно несколько зал, убранных картинами. Хозяин, маркиз Гвадани, водил меня сам по комнатам. Остановясь перед одною картиною, подвел меня к ней ближе и в восторге спросил: узнаю ли я мастера? Я отвечал: нет. «Как нет? — спросил он меня, продолжая свое глупое восхищение. — Неужели картина сама о себе не сказывает, чьей она работы? Неужели вы Гвидо Рени не узнали?» Я извинился перед ним незнанием итальянской школы, а он зачал мне рассказы-

вать историю этой картины, как она, переходя от пращура его в нисходящую линию его рода, дошла наконец к нему. Я спросил: чего эта картина стоить может? «Вы можете себе представить, — говорил он мне, — чего Гвидо Рени стоить может. Тысяча червонных была б для него цена очень малая». Я отвечал ему, что хотя тысяча червонных для меня сумма и очень большая, однако за картину великого мастера, может быть, я заплатить ее и соглашусь, но с тем только, чтоб он позволил мне взять картину домой и показать моей жене, с которою сделано у меня дружеское условие: без взаимного согласия ничего не покупать. Он, видя мою податливость в цене, отпустил со мною картину. Я тотчас созвал всех лучших живописцев. Никто не сказал, чтоб она была Гвидова. Кого ни спрошу о цене, всякий говорит, что можно дать за нее червончиков пять-шесть. Рассуди же, какая разница между этою безделицею и тысячью червонными. Я отослал картину назад с ответом, что живописцы оценивают ее так низко, что я о цене и сказать ему стыжусь, и что картину, идущую из рода маркизов Гваданиев, считают они дрянью, стоящею не более пяти червонных. Он вспылил, сказывают, жестоко на живописцев и называл их скотами и невеждами. Несколько дней прошли в гневе; наконец господин маркиз смягчился и перед отъездом моим из Флоренции прислал ко мне сказать, что он, любя меня, соглашается уступить мне картину за десять червонных. Вот какой бездельник находится здесь между знатными! Не устыдился запросить тысячу, а уступить за десять. Я приказал сказать ему, что я его картины не беру для того, что дряни покупать не намерен. Надобно исписать целую книгу, если рассказывать все мошенничества и подлости, которые видел я с приезда моего в Италию. Поистине сказать, немцы и французы ведут себя гораздо честнее. Много и между ними бездельников, да не столько и не так бесстыдны. В Италии порода и титла не обязывают нимало к доброму поведению: непотребные дома набиты графинями. Всякий шильник, который наворовал деньжонок, тотчас покупает тебе титул маркиза. Банкиры здесь почти все маркизы и, невзирая на то, что разбогатели,

не пропускают ни малейшего случая обманывать. Более всего надоедает нам скука. Мы живем только с картинами и статуями. Боюсь, чтоб самому не превратиться в бюст. Здесь истинно от людей отвыкнешь. Мы потеряли, кажется, всю связь с прочими нациями и не знаем, что где делается. Французских газет во всем Риме, кроме кардинала Берниса, найти нельзя; да и книг, кроме латинских канонических, не достанешь. Волтер, наш любимый Руссо и почти все умные авторы запрещены. Французская литература, можно сказать, здесь вовсе неизвестна. Во всей Флоренции я знал одну маркизу Сантини и здесь знаю одну принцессу Санта-Кроче, которые говорят по-французски, хотя и весьма плохо; мужчины тоже. Мы хотя и недавно в Италии, однако принуждены болтать кое-как по-итальянски. Из Флоренции выехали мы 8/19 ноября после обеда, и в час за полночь приехали в Пизу. Двор великого герцога обыкновенно тут проводит зиму, но так тихо, что пребывание его нимало не приметно. Я очень был рад, что можно было обойтиться без представления ко двору. Если вспомнить древнюю историю, кто были пизане и какую ролю играл этот народ в свете, то нельзя не прийти в уныние, видя суетность мирских дел. И теперь окружность города превеликая, но пустота ужасная, и улицы заросли травою. Я не видал отроду места столь похожего на волшебное, как площадь, на которой стоит соборная церковь. Вообрази себе храм великолепнейший; превысокую висящую башню, которая, кажется, валится совершенно, вообрази себе огромное здание Batisterio, где крестят младенцев, и Campo Santo, то есть галерею, прелестную своею архитектурою, где 650 мертвых тел погребены под монументами в земле, привезенной из Иерусалима рыцарями. Все это на одной площади, заросло травою, и в будни нет тут живого человека. Мы ходили тут точно так, как в обвороженном месте. На час езды от города есть теплые бани. В них нашел я чистоту и порядок неожиданный. Причиною тому сам государь, который, будучи немец, завел все удобности и доход с них берет себе. Местоположения в окружности города очень хороши. В Пизе есть университет, но бог знает, что тут делают: профес-

соры, кроме итальянского языка, не знают и совершенные невежды во всем том, что за Альпийскими горами делается. Есть из них такие чудаки, которые о Лейбнице вовсе не слыхивали. Будучи в России, слышал я об этом городе столь много хорошего, что располагал тут жить долго, но опытом узнал, что трех дней прожить нельзя: скука смертельная. Мы нашли тут бедного Семена Романовича Воронцова, который смертию своей жены так поражен, что уже три месяца никого к себе не пускает и всякий день плачет неутешно. В Пизе нашли мы французский театр. Великая герцогиня, будучи большая до него охотница, не пропускает ни одного спектакля. Признаюсь, что я гаже комедиантов нигде не видывал. Правду сказать, что, кроме двора, нет и зрителей. Ложи и партер пустехоньки. Иначе и быть нельзя, потому что итальянцы французского языка не разумеют, да и не могут иметь терпения слушать что-нибудь со вниманием. В опере их во время представления такой шум и крик, как на площади. Дамы пикируются не слушать музыки. C'est du bon ton,[1] чтоб из ложи в ложу перекликаться и мешать другим слушать. Певицы и певцы есть очень хорошие, но столбы неподвижные: ни руками, ни ногами не владеют. Декорации очень великолепны, но освещение плохо: антрепренер жалеет денег. Танцы состоят в одном скаканье. Скакуны престрашные и обыкновенно ремесло свое кончают тем, что ломают себе ноги. Спектакли очень редко переменяют: одну оперу сряду раз сорок играют. Поистине сказать, в Петербурге ни серьезные, ни комические итальянские оперы не хуже здешних. Из Пизы ездил я в Лукку не для того, чтоб было в ней чего смотреть, но для того, что Лукка была родина предков моего благодетеля, графа Никиты Ивановича Панина. Очень странно, что этот городок до сих пор составляет республику, когда все окружающие его города вольность уже давно потеряли. Осмотрев в нем соборную и прочие церкви, также княжеский дом, возвратился я в Пизу. 11/22 ноября приехали мы в Ливорну, где консул наш на другой день дал нам

---

[1] Считается хорошим тоном *(франц.)*.

большой обед и пригласил лучших людей. Мы жили тут два дни: осматривали город и были в спектакле. Ливорна городок маленький, но слишком многолюден по причине морской пристани. Тут стечение разных народов очень велико и живут повеселее, нежели в других итальянских городах. Из Ливорны воротились мы опять в Пизу, откуда выехали 14/25 ноября, и ночью в три часа приехали в Сиену. 15/26-го поутру очень рано я проснулся, хотя лег и очень поздно. Разбудило меня желание осмотреть город. Был в консистории, в церквах: соборной и августинской. Везде находил я прекрасные картины. Воротясь домой, нашел я жену одетою, и мы оба ездили смотреть соборную церковь, где альфрески с Рафаэлевых рисунков прекрасны. Отобедав, выехали мы из Сиены в 4 часа и всю ночь ехали. 16/27-го завтракали мы в местечке Аквапенденте. В комнате, которую нам отвели и которая была лучшая, такая грязь и мерзость, какой, конечно, у моего Скотинина в хлевах никогда не бывает. Весь день и всю ночь мы ехали. Бессонница и несносная вонь гнилыми яйцами от горючей серы мучили нас тирански; к тому же, и мороз был такой, какой у нас бывает в дурную осень. Шуб на нас нет, и можно сказать, что поутру 17/28 ноября приехали мы в Рим чуть живы. Здесь окончиваю мой журнал. Не знаю, как вперед пойдет наше путешествие, но доселе неприятности и беспокойства превышают неизмеримо удовольствие. Рады мы, что Италию увидели; но можно искренно признаться, что если б мы дома могли так ее вообразить, как нашли, то конечно бы не поехали. Одни художества стоят внимания, прочее все на Европу не походит. Теперь живем мы в папском правлении, и нет дня, в который бы жена моя, выехав, не плакала от жалости, видя людей мучительно страждущих: без рук, без ног, слепые, в лютейших болезнях, нагие, босые и умирающие с голоду везде лежат у церквей под дождем и градом. Я не упоминаю уже о тех несчастных, которые встречаются кучами в болячках по всему лицу, без носов и с развращенными глазами от скверных болезней; словом, для человечества Рим есть земной ад. Тут можно

видеть людей в адском мучении. Сколько тысяч таких, которые не знают, что такое рубашка. Летом ходят так, как хаживал праотец наш Адам, а зимою покрыты лохмотьем вместо кафтана и брюхо голое наружи. Вот здесь как щеголяют, между тем как папа и кардиналы живут в домах, каких нет у величайших государей. Нынешний папа затеял строение такое, какого в свете нет и быть не может, ибо ни положения места, ни антиков, непрестанно из земли вырываемых, кроме Италии нет нигде. Смотря на сии древности, с жалостию видим, как мы от предков наших отстали в художествах. Какой вкус, какой ум был в прежние веки! Надобно видеть Ротонду, Музеум Капитольный, столпы, Музеум Ватиканский и проч., чтоб решительно назвать нынешних художников ребятишками в сравнении с древними. Из сего исключается одна церковь св. Петра, которая может почесться чудом; но и в ней многое потому совершенно хорошо, что подражали древним. В сей церкви найдешь купол, подражание Ротонде; найдешь статуи и живопись во вкусе древних. Я до сего часа был в ней уже раз тридцать: не могу зрением насытиться. Кажется, не побывав в ней, чего-то недостает. В ней есть две вещи, которые похожи на волшебство: то, что при величине безмерной ничто не кажется колоссальным, напр., по бокам поставлено по два ангела, которые кажутся росту младенческого; но, подошед ближе, удивишься, какой они величины и огромности. Все так устроено пропорционально, что действие искусства выходит из вероятности. Второе то, что летом найдешь в церкви животворную прохладу, а зимою она так тепла, как бы натоплена была. Величина ее такова, что несколько приделов по бокам, и каждый больше Успенского собора. Я не продолжаю здесь описывать Рима, предоставляя то будущим журналам; но в заключение скажу, что климат очень нездоров, и не только бедная жена моя, но и я чувствую в нервах слабость, какой никогда не чувствовал. Сырость, мрачность, вседневные жестокие громы, дожди и град — вот каков здесь декабрь. Прости, мой сердечный друг.

11

Рим, 1/12 февраля 1785.

По возвращении нашем из Неаполя нашли мы здесь письма ваши от 25 ноября. Мы застали здесь четыре последние дня карнавала; были бы сюда днем и ранее, но на дороге была нам остановка, которая доказывает неустройство правления и скотство национального характера. В папских областях сделана ныне новая дорога, а старая так скверна, что нет проезда. По правосудию святого отца дерут с нас прогоны втрое: за новую дорогу, по которой ездят, за старую, по которой не ездят, да за выставку лошадей со старой почты на новую. Невзирая на сей грабеж, ждали мы на одной почте лошадей ровно пять часов; насилу привели их к ночи, и, оттащив нас не более пяти верст, остановились. Холод, град, вихрь, ночная темнота были преужасные. Такая погода почталионам не понравилась. Они тихонько выпрягли лошадей и поехали домой спать, а нас бросили на дороге. От семи часов вечера до осьмого утра терпели мы весь ужас пренесносной стужи. Бедные люди замучились и перезнобили ноги. Наконец в девятом часу поутру явились к нам почталионы с лошадьми и насказали нам же превеликие грубости. Если б не жена, которая на тот час меня собою связала, я, всеконечно, потерял бы терпение и кого-нибудь застрелил бы. Здесь застрелить почталиона или собаку — все равно. Я обязан жене, что не сделался убийцею. По приезде моем сюда я принес жалобу, но никак не надеюсь найти правосудия. Сами судьи мне пеняют, для чего я сам не управлялся и никого не застрелил: вот бы и концы в воду. Англичане то и дело стреляют почталионов, и ни одна душа еще не помышляла спросить: кто кого за что застрелил? Ты, матушка сестрица, пишешь ко мне, что в газетах читала о голоде в Риме. Эта весть не новая. Лет тридцать как целые полки несчастных не имеют дневной пищи. С нетерпением ожидаю святой недели, чтоб отсюда выехать и не иметь перед глазами страждущего человечества. Карнавал мы застали и четыре дня были свидетелями всех народных дурачеств, а особливо

последний день, то есть погребение масленицы. Весь народ со свечами ее хоронил. Такой глупости и вообразить себе нельзя. Сегодня третий день как начался пост. В первый были мы в церкви святыя Сабины смотреть процессию кающихся. Множество людей, в мешках на головах, с прорезанными глазами, босиком, в предшествовании двух скелетов, шли по улицам по два в ряд и пели стихи покаяния. На другой день, то есть вчера, были мы званы к сенатору Рецониго, где весь город слушал прекрасный концерт. Сегодня званы мы к кардиналу Бернису также на концерт. Кажется, будто первый день поста был и последний; но страстная неделя зато вся посвящена богослужению, и если здоровы будем, то увидим все величество римской церкви. Между тем, весь пост будем мы осматривать город. Чем больше его видим, тем, кажется, больше смотреть остается.

12

Рим, 1/12 марта 1785.

Состояние здоровья моего отчасу лучше становится. Я проезжаюсь по городу и хотя еще из кареты не выхожу, однако по комнате прохаживаюсь. Доктор мой уверяет меня, что я от слабости скоро оправлюсь и что буду здоровее прежнего. Дай бог, чтоб его предсказание исполнилось, так как до сих пор все его старания и труды удавались. Мы с женою великую надежду на искусство его полагаем. Не описываю тебе всей моей болезни; мне не велят много писать, да неприятно и вспоминать о такой вещи, которая, слава богу, что прошла. Я теперь занимаюсь мыслями, как бы, осмотрев Италию, домой воротиться. На сих днях получили мы вдруг два письма ваши: одно без числа, которому надобно быть от 2 января, а другое от 9 января. Меня нимало не удивляет, что мои письма поздно до вас доходят, когда то же случается и с вашими ко мне; в сем случае надобно прибегать к терпению, а помочь нечем. За совет ваш ехать осторожнее мы благодарим от всего сердца и, конечно, употребим всю возможную

осторожность. Мы едем теперь полюднее, нежели сюда ехали. Жена моя берет с собою служанку, да из Вены хотим взять повара; итак, будут у нас два экипажа. Все мы будем вооружены пистолетами и шпагами и надеемся проехать тем безопаснее, что, сказывают, и воров от Вены до нашей границы нет; а от Смоленска до Москвы, сами знаете, что бояться нечего. Ты не можешь себе представить, матушка, как был я болен и в каком состоянии была бедная жена моя. Благодарю бога, все прошло, и мы оба здоровы.

13

Рим, 22 марта (2 апреля) 1785.

Сегодня отправляем мы последний день святой недели. Благодеяние богу, я как страстную, так и нынешнюю неделю в состоянии был всюду выезжать. Вчера был я с женою на концерте у кардинала Берниса, а сегодня званы и едем к сенатору Рецониго. Итак, теперь остается нам осмотреть окрестности Рима, а именно: Тиволи, Фраскати и прочие примечания достойные места, что все кончу недели через две, и отсюда немедленно выедем. По нетерпению нашему скорее вас увидеть, мы бы скорее и Италию оставили, но горы не допускают: ибо при растаивании снега большие снежные глыбы сверху обрываются и, упадая, могут столкнуть карету в пропасть. После моей болезни живу я очень воздержно, так что и кофе с молоком пить перестал; словом, последую во всем советам доктора моего и надеюсь быть здоровее прежнего. Благодарю тебя, друг мой сестрица, за приписание твое к последнему письму, которое получил я от батюшки от 27 января. На будущей почте буду просить тебя о доставлении письма моего к графу Петру Ивановичу, которое пришлю к вам незапечатанное; в нем опишу журнал страстной недели. Мы с женою не пропускали ни одной церемонии и можем сказать, что все то видели, что смотреть достойно. В великую субботу, в самый полдень, пушечный выстрел с крепости св. Ан-

гела дал знать, что Христос воскрес. Я думал, что народ в ту минуту с ума сошел. По всем улицам сделался крик преужасный! Со всех дворов началась стрельба, и самые бедные люди на всех улицах, набив горшки порохом, стреляли. Во всех церквах начался колокольный звон, который дня три уже не был слышен, ибо вместо колоколов в сие печальное время сзывали народ в церкви трещотками, как у нас на пожар. Необычайная радость продолжалась с час, потом все понемногу успокоились, и до другого дня во всем городе была такая тишина, как на страстной неделе.

В светлое воскресенье папа служил обедню в церкви св. Петра. Он в сей церкви служит только четыре раза: в рождество, в светлое воскресенье, в троицин день и в петров день. Служение его весьма великолепно, но сие великолепие не происходит из святыни отправляемого действия: оно походит более на светское торжество, нежели на торжественное богослужение. Я видел более государя, нежели первосвященника, более придворных, нежели духовных учеников. Знатнейшие здешние особы, кардиналы, служат ему со всем рабским унижением и минуту спустя от подчиненных своих со всею гордостию требуют рабского пред собою унижения. Вообще сказать, папская служба есть не что иное, как обожание самого папы, ибо даже обряд поклонения от твари создателю довольно горд: не папа приходит к престолу причащаться, но, освятя св. дары, носят их к нему на трон, а он навстречу к ним ни шагу не делает! После обедни посадили его на кресла и понесли наверх, к тому среднему окну, из которого он в четверг, на страстной неделе, давал народу благословение и ныне повторял то же. День был прекрасный. Сверх того, сия церемония нигде так чувства тронуть не может, как здесь, ибо потребна к тому площадь св. Петра, которой нигде подобной нет. Чрезвычайное ее пространство и великолепная колоннада, бесчисленное множество народа, который, увидев папу, становится на колена, глубокое молчание пред благословением, за которым тотчас следует гром пушек и звон колоколов, и самое действие, которое благодаря

богобоязливых людей имеет в себе нечто почтенное и величественное, — словом, все в восхищение приводит!

В понедельник светлой недели пред полуночью был зажжен с крепости св. Ангела фейерверк. Он имел очень хороший вид в рассуждении прекрасного местоположения, которое со всех холмов римских и из крайних этажей большей части домов было видно. Во вторник сей самый фейерверк, будучи повторен, кончил все торжество светлой недели.

Сравнивая папскую службу с нашею архиерейскою, нахожу я нашу несравненно почтеннее и величественнее. Здешняя слишком театральна и, кажется, мало имеет отношения к прямой набожности. Папа, носимый в креслах на плечах людских, чрезвычайно походит на оперу «Китайский идол». Мирное целование, которое дает он первому кардиналу, сей другому, а другой третьему и наконец проходит чрез все духовенство, похоже на электризацию, которая от папы до последнего попа доходит уже весьма слабо. Папская гвардия, во время обедни в шляпах и с алебардами окружающая престол, на котором приносится жертва богу, отнимает всякую идею, чтобы тут жертва богу была *дух сокрушен,* и показывает только дух папского любоначалия.

О прочих сведениях, до литии принадлежащих, ласкаюсь в скором времени изустно вас уведомить. Отсюда в скором времени поедем мы в Лоретто посмотреть тамошних сокровищ, которые, можно сказать, со всего света собираемы были, ибо и доныне все добрые католики верят, что домик, в котором жила богородица, перенесен в Лоретто ночью ангелами. Оттуда проедем в Болонью, где остановимся, может быть, сутки на двои, чтоб посмотреть в другой раз лучших вещей; потом в Парму, Милан и Венецию. Везде пробудем помалу, или, справедливее сказать, по стольку, чтоб все увидеть, а на все это времени потребно очень мало; в мае думаем приехать в Вену, где также останемся недолго и откуда, всеконечно, в мае же и выехать можем; а там, не останавливаясь, в Москву чрез Краков, Гродно и Смоленск. Итак, ровно год наш вояж продолжаться будет. На сих днях получено здесь известие

из Неаполя, что двое благородных немцев с слугою и с проводником взошли на Везувий и в одну минуту поглощены были. Наши многие входили, но я лазить не люблю, а особливо на смерть; жену также не пустил, хотя она ужасно любопытствовала лезть на гору. Теперь Везувий отчасу больше разгорается. Мы опять было хотели на несколько дней туда съездить, да разбоев по неаполитанской дороге стало вдруг много от дезертиров, которые из Неаполя бежали. Прости, мой сердечный друг! Будьте уверены, что мы здоровы и на возвратном пути наблюдать будем всевозможную осторожность, а сверх того, и лореттская дорога совсем безопасна.

14

Милан, 10/21 мая 1785.

Мы приехали в Милан 5/16 сего месяца, слава богу, здоровы и, к величайшему удовольствию нашему, нашли здесь письмо ваше от 16 марта. С дороги пишем мы сие письмо уже другое, а первое послали из Болоньи. Здесь мы прожили несколько дней для исправления кареты и коляски, также и для нашей приятельницы, маркизы Палавичини, с которою мы очень подружились в Риме и которая, будучи здесь на своей родине, приняла нас, как родных. Через несколько часов считаем отправиться в путь и, не останавливаясь, ехать в Венецию. Теперь уже каждый шаг нас к вам приближает. Дай боже, чтоб мы нашли вас здоровых. В Венеции и в Вене, всеконечно, не заживемся и из Вены, по большей части, и днем и ночью хотим ехать, потому что в сей части Германии, так же как и в Польше, трактиров нет или скверны. По моему расчету, если здоровы будем и путь наш благополучно продолжаться будет, можем мы в Москве быть около половины июля. Здесь жары уже начались, и в суконном кафтане ходить нельзя. Думаем, что на дороге из Венеции в Вену они нас беспокоить не будут, ибо в горах холодно, а нам надобно горами ехать не меньше пяти дней. Что же надлежит до безопасности от разбойников,

то мы наши меры возьмем; но поверьте, что здесь о них и слуха нет; надеяться можем, что и далее не будет. Дороги везде безопасны. Завтра будет ровно три недели, как мы Рим оставили и, кроме мерзких трактиров, ничем обеспокоены не были. Везде смирно, никто не грабит, а все милостыню просят. Ни плодороднее земли, ни голоднее народа я не знаю. Италия доказывает, что в дурном правлении, при всем изобилии плодов земных, можно быть прежалкими нищими. Теперь въезжаем в Венециянскую область, где доброго хлеба найти нельзя. И нищие и знатные едят такой хлеб, которого у нас собаки есть не станут. Всему причиною дурное правление. Ни в деревнях сельского устройства, ни в городах никакой полиции нет: всяк делает что хочет, не боясь правления. Удивительно, как все еще по сию пору держится и как сами люди друг друга еще не истребили. Если б у нас было такое попущение, какое здесь, я уверен, что беспорядок был бы еще ужаснее. Я думаю, что итальянцы привыкли к неустройству так сильно, что оно жестоких следствий уже не производит и что самовольство само собою от времени угомонилось и силу свою потеряло. Римского журнала моего не посылал я к вам для того, что он состоит в описании картин и статуй, что вас мало интересовать может, а теперь продолжать буду с выезда нашего из Рима по приезд в Милан. Рим оставили мы с огорчением. Я и жена моя были любимы там не только лучшими людьми, но и самым народом. В день нашего отъезда улица сперлась от множества людей. Здесь, в Милане, получил я письмо из Рима от одного из лучших художников, который к нам всякий день хаживал и который был в числе наших провожателей. Он описывает нам, что народ по отъезде нашем кричал вслед нам. Я прилагаю письмо его в оригинале, вспомня, что ты по-немецки мастерица. Лишь только выехали мы из Рима, то пустились в Аппенинские горы и ночевали в Отриколе, местечке славном древностями своими. 21 апреля (2 мая) ехали мы до города Нарни такими страшными горами, что Тирольские перед ними несравненно меньше ужасны. Тут пропасти вдвое глубже Ивана Великого. Дороги таковы, что две

кареты с нуждою разъехаться могут, и опасные места ничем не загорожены. Хотя нас уверяли, что лошади привычные и почталионы править умеют, но, признаюсь, что в другой раз по сей дороге ни из чего на свете не поеду. Ночевали в городе Фолиньи. От сего города надобно было своротить в сторону верст тридцать, чтоб видеть город Перуджио, славный картинами великих мастеров. Мы решились сделать сей крюк и поутру 22 апреля (3 мая) ехали до него долинами, которых прекраснее ничто на свете быть не может. Поля, усыпанные цветами, от коих благоухание чувства оживляло, привели нас в Перуджио, который сам стоит на прекрасной и пологой горе; от подошвы до верху пять верст. Сия гора усыпана загородными домами и садами. В Перуджио мы обедали, пробыли 24 апреля (5 мая) и видели все, что заслуживает внимания. На другой день, 25 апреля (6 мая), приехали мы в Фолиньи, где увидели народ в прискорбном возмущении. Вчера около полудня было землетрясение, которое повредило некоторые здания, и они сегодня того же боятся. Мы от всего сердца пожелали им благополучно оставаться, велели скорее впрягать карету и уехали. Но со всем тем, до самой почти Лоретты видели жителей, кои, оставя дома свои, спят по полям, опасаясь землетрясения. Третьего года город Цалья, верстах в двадцати от Фолиньи, разорен от сего несчастия, и многие задавлены. Весь берег Венецианского залива уже пятый год терпит большие злоключения. 26 апреля (7 мая) приехали мы к обеду в Лоретто. Не описываю тебе сего места подробно, но могу уверить, что я нигде в одном месте столько богатства не видывал. Прожив тут сутки, мы поехали далее и ночевали в Синигаллии. На другой день, 27 апреля (8 мая), ехали мы по берегу Венецианского залива и ночевали в городе Римини, а на третий день приехали ночевать в Болонью. Все места от Лоретты до Болоньи прекрасны, но обитаемы беднейшими людьми. Все без исключения милостыню просят. В Болонье было с Иоганом, моим камердинером, который знает брата П. И., несчастное приключение. Он сошел с ума совершенно. История его странная: он в Риме сильно испугался; однажды

хозяин мой с женою своею повздорил, и они, по римскому обыкновению, выдернув ножи, бросились друг на друга. Сия сцена случилась при нем, и он, будучи робкого характера, задрожал от страха. Надобно еще сказать, что мы едем с служанкою, в которую он влюбился и сделал ей предложение на ней жениться. Сии оба обстоятельства повернули ему голову. Он без всякой малейшей причины вздумал, что невеста хочет его зарезать, стал ее бояться, бегать от нее и проситься у меня прочь. 29 апреля (10 мая) пробыли мы в Болонье. Меркурша, старая моя знакомая, пришла к нам с мужем. Все мы насилу уговорили Иогана ехать с нами далее. После обеда ездили мы в S.-Luc, монастырь, стоящий на горе за городом, славный образом богородициным, писанным святым евангелистом Лукою. 30 апреля (11 мая) были мы в лучших церквах и повторили осматривание наше лучших в городе вещей, ибо мы, в первый раз быв в Болонье, все уже видели. Отобедав, поехали мы ночевать в Модену. На другой день, 1/12 мая, сказывают мне, что Иоган мой опять вздорит и со мною не едет. Ночью помечталось ему, что Семка мой его зарезать хочет; пришел к невесте в комнату, плакал, выбросился было из окошка, но невеста его удержала. Наконец несколько часов простоял на коленях у дверей моей спальни. Я велел ему тотчас пустить кровь; величайших трудов стоило его на то склонить. После кровопускания был он лучше, и мы приехали в Реджио к обеду. Тогда был прекрасный день, и народу было на площади множество. Иоган мой, выскочив из коляски, бросился в народ, кричал, чтоб его защитили и что я сам его хочу зарезать. Мы весь сей день пробыли для сего несчастного в Реджио, призывали доктора, давали лекарство, которое действовало; но если облегчило желудок, то не облегчило головы. Мы пошли прогуливаться по городу и, пришед назад, не нашли уже его в трактире. Он ушел, бог ведает, куда. Во всем городе его отыскать не могли. Я адресовался к правительству, которое делало все, что могло, для отыскания, но тщетно. Куда ни посылали на лошадях, везде доезжали посланные до границы и нигде не нашли. Словом, Иоган пропал, и что с ним теперь

делается, господь ведает. Я оставил все его белье у моего банкира, которому поручил на случай, если он сыщется или сам придет, его на мой кошт лечить и отправить морем в Россию. Мы очень тронуты сим несчастным приключением, тем наипаче, что он ушел только с тремя червонными и с часами, которые были в кармане, а все свои пожитки у нас оставил. 3/14 мая выехали мы поутру из Реджио. На одной почте сказывали нам, что Иоган ее прошел, или, лучше сказать, пробежал, спрашивая, где границы императорские, и будто повернул на мантуанскую дорогу. В Парму приехали мы к обеду. После обеда видели все, примечания достойное, в городе: многие церкви, академию, старинный театр и проч. Парма заслуживает внимания тем, что в ней есть многие картины славного Корреджио. 4/15-го оставили мы поутру Парму и часу в шестом приехали в Plaisance, где застали ярмарку и оперу, которую мы видели. 5/16-го выехали из Плезанса и к вечеру приехали сюда, в Милан, где мы нашли знакомство римское. Маркиза Палавичини полюбила так жену мою, что ни на час ее не оставляет. Она приняла нас как брата и сестру своих и, будучи здесь одна из первых дам, возит нас всюду. Сегодня, однако, мы выезжаем отсюда и дня через четыре считаем быть в Венеции. Мы ничего так не желаем, как скорее у вас быть и найти всех вас здоровыми.

15

Венеция, 17/28 мая 1785.

Мы теперь в Венеции. Город пречудный, построен на море. Вместо улиц каналы, вместо карет гондолы. Большую часть времени плаваем. Отсюда пишу для того только, чтоб не оставить вас без известия о нашем путешествии, а сказать истинно нечего. Первый вид Венеции, подъезжая к ней морем, нас очень удивил; но скоро почувствовали мы, что из доброй воли жить здесь нельзя. Вообрази себе людей, которые живут и движутся на одной воде, для которых вся

красота природы совершенно погибла и которые, чтоб сделать два шага, должны их переплыть. Сверх же того, город сам собою безмерно печален. Здания старинные и черные; многие тысячи гондол выкрашены черным, ибо другая краска запрещена. Разъезжая по Венеции, представляешь погребение, тем наипаче, что сии гондолы на гроб походят и итальянцы ездят в них лежа. Жары, соединясь с престрашною вонью из каналов, так несносны, что мы больше двух дней еще здесь не пробудем.

16

Вена, 2/13 июня 1785.

Третьего дня приехали мы сюда благополучно, милостивый государь батюшка! Мы ласкались было получить здесь письма ваши; однако почта пришла и к нам не привезла ничего. Пребывание наше в здешнем месте полагаю я две недели. Я конечно бы скорее уехал, но близ Вены есть теплые бани в городке Бадене, куда здешний славный медик г. Столле присоветовал мне дней на десяток съездить. После моей болезни в Риме остались некоторые обструкции, кои, всеконечно, развести надобно, а сии воды к тому весьма удобны. Их не пьют, а в них купаются. В теперешнее время многие здешние господа живут там семьями и лечатся. Я хочу воспользоваться приездом моим в Вену и полечиться, но сие не помешает мне сдержать мое слово и приехать в Москву в июле. Прошу бога, чтоб свидание наше было благополучно и в желаемом здоровье. Не могу изъяснить, с каким нетерпением жду той минуты, в которую увижу вас, милостивый государь батюшка, так и всех наших ближних.

Ты, мой друг сердечный сестрица Феня, жди от меня побольше письма из Бадена, куда я перееду послезавтра. Я ездил туда сегодня и нанял несколько комнат поденно, потому что больше десяти или двенадцати дней не проживу, как мне и сам доктор предписывает. — Император[1] в Италии. Мы его уже здесь

[1] Иосиф II.

не застали. — Посол наш[1] принял меня очень хорошо. Вчера был я у него на превеликой ассамблее, где он посадил меня играть в ломбер с дамами. Бог благословил мое праведное оружие, и я обыграл их, как лучше нельзя. — Путешествие наше начну между 15 и 20 нынешнего месяца нашего стиля; а как в дороге месяца довольно, то и считаю я быть у вас между 15 и 20 июля. — Отсюда, ехав в Россию, останавливаться негде. Я поеду и день и ночь. Коляску купил я здесь очень хорошую, в которой спать можем. Сказывают, что от Кракова до Москвы нет пристанища и с нуждою питаться можно. Если найду здесь хорошего повара, то возьму с собою. Правду сказать, что от самой Венеции было плохо. Удивительнее же всего то, что в Вене, столице императорской, трактиры так мерзки, что гаже, нежели в доброй деревне. Теперь, матушка сестрица, мы считаем уже себя на нашем краю, потому что горы проехали. В стороне, по которой мы ехали, они не высоки и с Тирольскими нет сравнения. На горы поднимали нас обыкновенно быки, которых по шести к лошадям припрягали. Быки очень способны тащить на гору: первое, для того что сильны, второе, что характера они упрямого и так упираются, что кареты с крутизны не допускают ползти назад.

Из Венеции до Штейермарка беспокоили нас реки; то и дело, что переправы, а еще чаще переезды вброд, так что передние колеса в воду уходили. — Отсюда, матушка, никаких вестей нет, и о войне с голландцами ничего не говорят. Дай бог, чтоб и чаще были мир и тишина. — Всем нашим друзьям поклон. Княжне Катерине Семеновне наше почтение; также и всем, кто удостоит нас своим напоминанием. За неоставление Клостермана покорно благодарствую. Он пишет ко мне, что в Москве тысячи на три продал. Я отправил к нему со всячиною семнадцать больших ящиков; кажется, что тут мы с ним свой счет найдем. Прости, матушка. Будьте все здоровы и ждите нас.

[1] Д. М. Голицын.

Сей момент получили мы письма от 4 мая, за которые приносим нижайшее благодарение. С будущею почтою на них ответствовать будем.

17

Баден, 12/23 июня 1785.

В последнем письме моем из Вены, от 2/13 сего месяца, вы, милостивый государь батюшка, видеть изволили, что после жестокой моей болезни в Риме остались еще у меня обструкции, которые славный здешний доктор Столле советовал мне развести здешними банями. Мы теперь живем здесь неделю, но со дня нашего приезда сюда время стоит такое скверное, как у нас в самую негодную осень, и я, по несчастью, был в банях один только раз. Вчера, однако, было хотя недолго солнце, сегодня тоже, и ежели завтра дождя не будет, то пойду в бани и принимать их буду десять дней. Сердечно сожалею, что сия остановка продолжает время моего возвращения, но, со всем тем, считаю за крайнюю и необходимую нужду пособить себе в расстроенном состоянии моего здоровья, когда уже сюда заехал и имею случай полечиться. Я уверен, что вы, милостивый государь батюшка, и все мои ближние и друзья апробуете мою резолюцию воспользоваться здешними банями. По вычетам моим, если что нечаянное, боже избави, опять не повстречается, выеду я из Вены до петрова дня. В дороге, ехав безостановочно до Москвы, довольно месяца; следственно, все в июле с вами могу увидеться. Мы оба нетерпеливо ожидаем той счастливой минуты, в которую увидим вас в добром здоровье, обрадованных нашим возвращением.

Тебе, друг мой сердечный сестрица Ф. И., скажу, что здешний климат гаже еще нашего. Подумай, что седьмой день стужа, дождь и вихри непрестанно нас мучат и что я хотя живу здесь для бань, но если бы и сего обстоятельства не было, то все за такою мерзкою погодою ехать бы не мог: замучил бы и себя, и людей, и лошадей. Видно, что мы простились с нынешним летом за горами и что больше его не увидим.

Надобно думать, что сие время и у вас нехорошо. Мы живем здесь очень скучно. Лучшее здесь упражнение должно быть бы гулянье, но как гулять в грязи и под дождем, который ливмя льет? Мы набрали из Вены книг, которые всю нашу забаву составляют. Жена читает, а я слушаю. Доктор писать мне не велит, и я сие письмо пишу не вдруг, а помаленьку. Сей самый резон мешает мне писать и к графу Петру Ивановичу; со всем тем, также помаленьку, напишу и к нему на будущей неделе. В рассуждении моей пищи посадили меня на легком: запретили мясо и вино. Ужин отнят у меня еще в Риме. Одна отрада осталась та, что позволили мне в сутки выпивать по две чашки кофе, да и тут жена много хлопочет, считая, что сие позволение у доктора я выкланял, а не он сам на это согласился. С нетерпением желаю быть у вас. Ласкаюсь, что природный климат, присутствие любезных моих ближних, образ жизни, к которому я привык, — что все сие, делая удовольствие душе моей, поможет и телу прийти в лучшее состояние, ибо я предоставляю вам сказать на словах, что я в Риме вытерпел, а на письме огорчать вас не хочу; но должен, однако, мой друг сестрица, то сказать, что следствия моей болезни сделали употребление бань необходимым, и я, победив рассудком неизреченное желание скорее всех вас видеть, решился твердо недели две пожертвовать моему выздоровлению, считая, что все вы, мои друзья, одинакого со мною мнения, то есть, что лучше увидеть меня неделю, другую попозже, да поздоровее. Скуку здешнюю разделяет со мною жена моя. Ее ко мне дружба составляет все мое утешение. Она теперь хочет сама приписать к вам поклон, который прошу и от меня сказать всем нашим друзьям.

18

Баден, 24 июня (5 июля) 1785.

Продолжавшееся здесь десять дней весьма дурное время мешало мне принимать бани; но с 16/27 июня принимаю я их порядочно и хожу в воде по два часа

каждое утро. Доктор мой велел мне пятнадцать раз быть в бане; следовательно, осталось мне принять шесть бань, то есть шесть дней жить в Бадене. Сие обстоятельство меня и жену мою очень огорчает, ибо мы должны будем выехать в конце июня, следовательно не прежде приехать, как в августе. Перед самым моим отъездом из Вены напишу еще письмо к вам, дабы вы изволили знать, когда мы выедем из Вены и когда нас ждать можно будет. К тебе, матушка друг мой сердечный сестрица, писать более не о чем, как разве о нестерпимой скуке, в которой мы живем в Бадене. Людей здесь много, но все больные. У иного подагра в брюхе, иного паралич разбил, у иной судорога в желудке, иная кричит от ревматизма. Вообрази себе, что такое баня: в шесть часов поутру входим мы в залу, наполненную серною водою по горло человеку. Мужчины и женщины все вместе, и на каждом длинная рубашка, надетая на голое тело. Сидим и ходим в воде два часа. Правду сказать, что благопристойности тут немного и что жена моя со стыда и глядеть на нас не хочет; но что делать? Мы все как на том свете: стыд и на мысль не приходит. Всякий думает, как бы вылечиться, и мужчина перед дамою, а дама перед мужчиною в одних рубашках стоят без всякого зазрения. Сперва приторно мне было в одном чану купаться с людьми, которые больны, господь ведает чем; но теперь к этому привык и знаю, что свойство серной воды ни под каким видом не допустит прилипнуть никакой болезни. Сверх же того, зала так учреждена, что с одной стороны вода непрестанно выливается, а с другой свежая втекает. Вот, мой сердечный друг, как я провожу всякий день: поутру, выпив кофе, перед которым за полчаса принимаю лекарство, надеваю свою длинную рубашку и в бане купаюсь два часа; потом отдыхаю, потом прогуливаюсь в аллее. После обеда хожу к своим товарищам, с которыми принимаю бани, а в шесть часов ввечеру все ходим гулять; буде же время дурно, то в немецкую комедию. Из Вены взяли мы сюда много книг, которые скуку нашу разгоняют. Прости, мой сердечный друг сестрица! Всем нашим кланяйся.

К П. И. ПАНИНУ

1

Рим, апреля 1785.

Состояние здоровья моего так поправилось, что я мог в страстную и святую недели не пропускать ни одной функции. Из них многие весьма замечательны, а другие походят совершенно на комедию, составленную для простого народа. Из Рима интереснейшего уведомления вашему сиятельству делать мне не о чем, как о сих церемониях, для смотрения коих повсегодно Рим наполнен чужестранными. В нынешнем году столько их сюда съехалось, что почти жить негде, и всякий доволен только найти квартиру, не заботясь, хороша ли она или дурна. Герцог курляндский живет в доме не лучше моего.

Служение папы тем великолепнее, что ему самому служит знатнейший римский чин. Он окружен кардиналами, кои одевают и раздевают его, словом, он в церкви обожаем, и, кажется, в таких случаях оказывается ему почтения больше, нежели и тому, кому он служит, ибо, освятя св. дары, становится он на своем троне, кардинал к нему приносит причастие, а он навстречу причастия ни шагу с престола своего не делает.

Вербное воскресенье есть первый день духовной церемонии. Поутру в девять часов в Сикстинской церкви папа[1] роздал вербы кардиналам, с которыми около церкви была процессия. Потом один из кардиналов служил обедню. Музыка была вокальная, потому что инструментальной при самом папе не бывает. В сей день в церкви св. Петра все образа закрывают черными завесами, что делает вид печальный, и кажется, что красота храма помрачается с наступлением дней плачевных.

В понедельник и вторник страстной недели не было ничего примечательного; но в среду после обеда была функция в Сикстинской церкви. Папа не присутствовал; один кардинал и знатное духовенство сидели

---

[1] Пий VI.

на своих местах. Служба началась плачем Иеремииным. Один голос более читал, нежели пел; но сие заунывное чтение продолжалось слишком долго и подлинно на плач походило. Потом один за другим в три голоса читали страстное евангелие; образ чтения мне весьма понравился: у всех голоса прекрасные. Один читал слова Христовы, другой того, с кем он беседовал, а третий историческую часть евангелия; народные же речи пел весь хор. Сие чтение подходит близко к пению, и хотя всякое слово выговаривается, но тоном весьма жалостным и естественным. Наконец погасили в церкви все свечи; сделалось глубочайшее молчание; все стали на колена, и певчие начали петь славный Miserere, сочинение Аллегриево. Ничего в свете я не знаю, что б душу так тронуло, как сие пение. Музыка столь проста, что те, кои видят ее написанною на бумаге, удивляются, откуда может произойти неизреченная красота ее. Приписывают ее некоторому особливому мастерству таких певцов, кои издревле спелись так, что нет в свете капели, которая бы сию музыку так пропеть могла. У них есть некоторые выражения и украшения, которые превеликое действие производят; например, они умеют вдруг усилить и ослабить тон, ускорить или продлить в некоторых словах такты, одну строфу поют скорее, нежели другую, и проч. И действительно, в Вене сия самая музыка никакого действия не имела. Я сам в Петербурге ее два раза слышал и не нашел с здешнею ниже подобия. Назавтре смотрел я церемонию в trinita di pelerini. В превеликой зале поставлены возле стен возвышенные лавки, на которых посажены были больные нищие. Несколько кардиналов и знатного духовенства умывали им ноги, обрезывали ногти, перевязывали больным раны и наконец, поцеловав ноги, давали им милостыню. Между тем как сие происходило, в другой такой же зале был ужин для нищих, коим служили тринадцать кардиналов, с помощию духовенства. В третьей зале нищие женского пола ужинали, имея услугу от здешних принцесс и других знатных дам.

Четверг был день весьма тягостный для чужестранцев. Надлежало с утра до вечера быть на ногах.

В восемь часов поутру была обедня в присутствии папы в Chapelle Sixtine, из которой потом он вынес святые тайны в Chapelle Pauline с большою церемониею. Потом папа из среднего окна, или ложи святого Петра, показался стоящему на площади народу; сперва произнес он проклятие нам грешным, то есть всем, не признающим его веру за правую; а потом дал народу благословение. Сей церемонии дождливая погода помешала, и площадь была довольно просторна. Потом было умовение ног тринадцати пилигримам, отправленное самим папою. Он мыл сперва ногу, потом, поцеловав ее, подавал полотенце, милостыню или дарил на сей случай сделанную картину пилигриму. По окончании сей церемонии смотрели мы обед тех же самых пилигримов, которым служил папа с великим смирением. После обеда была та же служба, что и в среду, в Сикстинской церкви, но в присутствии папы. Miserere было другого автора, весьма хорошего, но далеко от первого. Оттуда ездили мы во все лучшие церкви смотреть плащаницы, из которых одна другой была великолепнее. Часу в девятом вечера мы были опять в церкви св. Петра. Сто лампад, обыкновенно день и ночь горящих пред гробом апостолов, равно как и все свечи нарочно были погашены. Сей преогромный храм, обвешенный черным, освещаем был одним повешенным в средине церкви большим и великолепно иллюминованным крестом в знак того, что во время страдальческой Христовой кончины церковь его весь свой свет не могла заимствовать ни от чего иного, как от единого креста, — идея высокая и в христианском законе истинная! Народу в церкви было премножество; во всех приличных местах сидели живописцы и рисовали архитектурные перспективы, происходящие от сего освещения.

В пятницу поутру отправляема была кардиналом обедня в присутствии папы, после которой он босыми ногами подошел ко кресту и, упав пред ним на землю, к нему приложился, ибо крест положен был на пол; кардиналы и духовенство сделали то же. После обеда была обыкновенная вечерня с первым Miserere; а оттуда папа ходил в церковь святого Петра, где, как

вчера, один крест освещал всю церковь. Папа стал со всем народом на колена, а один из кардиналов вынес на высокий балкон часть истинного креста, истинный нерукотворенный образ и копье, коим ребро Христово было уязвлено воином. Все сие обожаемо было с прежним благоговением. Наконец папа отошел, и тем сей вечер кончился.

2

Баден, июнь 1785.

Рим оставил я в исходе апреля и был во всех тех областях и городах, о коих имел я честь предуведомлять в. с. в плане моего возвратного вояжа. В Вену приехал я в весьма расстроенном состоянии моего здоровья. Слабость нервов и онемение левой руки и ноги, оставшиеся после жестокой моей в Риме болезни, вывели меня из терпения, так что я принужден был прибегнуть к славному венскому медику, г-ну Штолю, и искать помощи в его лекарстве. Он, между прочими лекарствами, предписал мне принимать теплые бани в Бадене, городке три мили от Вены, где я живу уже две недели, ласкаясь надеждою приехать в Москву хотя несколько здоровее, нежели доехал до Вены. Сие обстоятельство было тем мне чувствительнее, что на несколько отдаляет время моего возвращения.

Краткое пребывание мое в городах, время, занятое осматриванием в них достопамятных вещей, а паче всего чувство болезни, которая меня ни на час не покидала, были причиною, что я так давно не писал к в. с. Вы, м. г., зная мою душевную к вам преданность, конечно сами не припишете молчание мое другой причине.

[Из Рима ехал я чрез Лоретто, городок почти на самом берегу Венецианского залива, славный иконою богоматери, которую со всем домом из Назарета принесли ангелы и поставили на месте, на котором храм воздвигнут. Невозможно описать, какими суеверными глазами приезжающие смотрят на все святые вещи

и с каким лицемерным благоговением попы их показывают.][1]

В начале будущего месяца я кончу бани и немедленно выеду из Вены. Чем более приближаюсь к отечеству, тем нетерпеливее хочу в него возвратиться. Ласкаюсь, что сие письмо не многим предупредит самого меня и что я в скором времени буду иметь счастье изустно повторить в. с. уверения...

К ВОИНОВУ

Вена, 27 июня 1785.

Прошу вас, государя моего, при моем поклоне, сказать отцу Серафиму, что я письмо его к известной особе верно отдам и все в его пользу сделаю. Впрочем, желаю вам сердечно дальнейших успехов в искусстве, к которому вы имеете поистине талант отличный, и прошу вас быть уверену, что я всем сердцем пребываю ваш, государя моего, покорный слуга...

Всем вашим товарищам прошу сказать мой поклон.

---

[1] Этот текст в письме был перечеркнут.

VI. ПИСЬМА ИЗ ЧЕТВЕРТОГО ЗАГРАНИЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ (1787)

К РОДНЫМ

1

Вена, 23 января (3 февраля) 1787.

Уже давно, матушка сестрица Федосья Ивановна, не имею я от тебя и ни от кого из моих ближних ни одной строки. Пожалуйте, пишите почаще и побольше, а мы во ожидании весны живем помаленьку в Вене. Как же скоро настанет весна и я получу деньги, то немедленно поеду долечиваться в Карлсбад. Благодарю бога, я великую имею надежду к выздоровлению. Руке, ноге и языку гораздо лучше, и я стал толще. Ожидаю Клостермана; он видел меня в Москве и увидит здесь; следственно, лучше всего он сравнить может тогдашнее мое состояние с настоящим. Ласкаюсь, что найдет он превеличайшую разность. Ты, матушка, в одном письме своем спрашивала меня о диете. Скажу тебе, что мне запрещено все масляное и тяжелое; в прочем все дозволено. Мы здесь в пансионе у одной женщины, которая показывает нам многие одолжения и которая за обед и ужин берет с нас очень умеренно.

По написании сего получил я письмо твое, в котором ты, матушка, беспокоишься о редкости моих писем, но я всякий месяц пишу по крайней мере два раза; кажется, матушка, это гораздо чаще, нежели вы ко мне пишете. К графу Петру Ивановичу, пожалуй, письмо мое запечатай братниной печатью и доставь ему скоро и верно.

Уведомления твои о ваших спектаклях мне очень приятны. Продолжай их, матушка. Княжна Долгорукова при мне еще сговорена была за Ефимовского; нет ли у вас чего поновее?

Писать, матушка, больше нечего. С нетерпением ожидаю весны, чтобы уехать из Вены, где мне очень надоело и где очень скучно.

«Впрочем, благодарю бога, что имею с кем разделить скуку, ибо моя Катерина Ивановна делает все, что может, для моего успокоения.

Прости, матушка. Всем нашим поклон.

Анне Алексеевне наше почтение».[1]

2

Вена, 11/22 февраля 1787.

Письмо твое, матушка сестрица Федосья Ивановна, «от 4 января» я получил. Здесь сегодня последний день масленицы, и мы отправляем великий пост; уж два дни говеем; только мой пост плох: рыба мне делает запоры. Священник и доктор разрешили мне есть мясо; и подлинно, матушка, дунайская рыба с нашею несравненна, да и готовят ее здесь дурно. Впрочем, матушка, ожидаю весны, чтоб скорее поехать к водам, на которые полагаю мою надежду. Бог милостив! Неужели мне суждено вечно оставаться в настоящем состоянии. Все мои здешние приятели уверяют меня в моем выздоровлении. На сих днях едет отсюда прямо в Москву князь Михайло Петрович Голицын с гувернером своим господином Экелем. С сим последним посылаю коробок, адресованный на имя дядюшки Матвея Васильевича. В сем коробке положены четыре мои портрета восковые: один для дядюшки, другой для графа П. И., третий для тебя, матушка; четвертый, гипсовый, для сестер. Мне хотелось, чтоб вы имели идею: каков я теперь; а портрет очень похож. Благодарю бога,

---

[1] Это и следующие письма из Вены и Карлсбада написаны не рукой Фонвизина. В кавычки заключены фразы, написанные им самим.

кажется становлюсь я гораздо лучше. Клостермана ждем. Как скоро его в Италию отправим, так скоро, немедля, поеду в Карлсбад. Оттуда всегда и регулярно будете иметь уведомление об успехе, с которым принимать буду тамошние воды. «Послезавтра буду исповедоваться. У всех вас, как и должно, прошу христианского прощения всех наших пороков».

3

Карлсбад, 3/14 мая 1787.

Чем ближе подходит время к моему избавлению из Карлсбада, матушка сестрица Федосья Ивановна, тем больше сердце мое огорчается тем, что не имею способа, с чем возвратиться. Не знаю, писал ли граф Петр Иванович к наместнику белорусскому и заняты ли деньги в Петербурге. Истинно, чем жить не имею. Сегодня будет у меня консилиум. Теодора ссудила меня чем заплатить эскулапов. Излечение мое много останавливается несчастием моего положения. Не можно ли, матушка, как-нибудь достать мне денег тысячи три рублев, прислать как наискорее. Я бы выехал отсюда на другой же день по получении денег. На сей почте я к графу не пишу, опасаясь надокучить. Брату и всем нашим поклон. «Прости, матушка, целую твои ручки».

4

Карлсбад, 27 мая (7 июня) 1787.

К великому огорчению моему, матушка сестрица Федосья Ивановна, не имею я ответа от графа на мое пренужное письмо, ниже от тебя ни одной строки, в рассуждении моих крайних обстоятельств. Поздравляю тебя, матушка, с завтрашним днем именин твоих, а брата Павла Ивановича со днем рождения. Я положил 2/13-го выехать из Карлсбада в Трентчин, где пробыв недели три или много четыре, поеду прямо в Россию, чтоб в августе увидеться с вами. Но сие, без помощи

денег, есть дело невозможное. Я не знаю еще, как мне отсюда выехать; я, конечно, в Трентчин охотно бы не поехал, но еду затем, чтоб после самому себе не упрекать, пропустя случай возвратить руку, ногу и язык, без чего истинно жизнь моя мне в тягость. Надеюсь, что карлсбадские воды меня очень хорошо очистили и к трентчинским баням приготовили.

Здесь, матушка, людей превеликое множество: по сие число приехало 56 фамилий, и всякий день приезжают великое множество. Если б я здоров был, то было бы мне очень весело. Сожалею только, что из русских никого нет. В будущую середу расстанусь с Карлсбадом. В Вене больше трех дней не останусь. Боже дай, чтоб трентчинское мое путешествие было мне полезно и чтобы меня в августе увидели здорового. «Прошу бога, чтоб я вас всех нашел здоровых и благополучных. Прости, матушка сестрица Федосья Ивановна».

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА ЧЕТВЕРТОГО ЗАГРАНИЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

I

Москва, 13/24 июня 1786.

Совет венского моего медика Штоля и мучительная электризация, которою меня бесполезно терзали, решили меня поспешить отъездом в чужие краи и избавиться Москвы, которая стала мне ненавистна. Сия ненависть так глубоко в сердце моем вкоренилась, что, думаю, по смерть не истребится. Словом, будучи в тяжкой болезни и с растерзанным горестию сердцем, выехал я из Москвы в субботу после обеда, в половине осьмого часа. К ночи приехали мы в Пахру, где в карете ночевали.

14. Выехав из Пахры рано, остановились мы поутру пить кофе в деревне Мощь; из кареты не выходили; обедали в деревне Чернишной; ночевали в деревне Башмаковке. Весь день я страдал более душевно, нежели телесно.

15. К обеду приехали в Калугу, где едва могли найти пристанище: насилу отвели нам квартиру в доме двух девушек, во днях своих заматеревших. Они накормили нас яичницею, которую я принужден был есть, невзирая на запрещение доктора Гениша. Хозяйки мои назывались Татьяна Петровна и Марфа Петровна В. Меньшая, великая богомолка, и во время нашей трапезы молилась за меня, громогласно вопия: «Спаси его, господи, от скорби, печали и западной

смерти!» Скорбь и печаль я весьма разумел, ибо в Москве и то и другое терпел до крайности; но западной смерти не понимал. По некотором объяснении нашел я, что Марфа Петровна в слове ошиблась и вместо — от внезапной, врала — от западной смерти. После обеда набрело гостей премножество, и одна гостья играла роль предвещательницы. Устремя на меня свои буркалы, говорила мне жалким тоном: «Ты не жилец, батюшка!» — «Вот-на! — отвечал я ей, — я еще тебя переживу». — «Нет, батюшка, — продолжала она, — тебе не доехать, куда едешь». Такое неприятное предвещание и слезы жены, слышавшей нашу беседу, сделали язык мой еще тупее, и я не мог продолжать разговора. Отобедав, выехали мы тотчас от сих калужских дур. Остановились в деревне Брянхове, где рвало меня без милосердия и где чуть было не пришла ко мне и вправду не западная, но внезапная смерть; а как кроме кареты деваться было некуда, то и решились мы всю ночь ехать, и 16-го поутру привезли меня, в прежестоком жару, в город Лихвин. Хотя московский мой врач, филолог и мартинист, уверял меня, что по дороге, кроме кузнецов, лекарей никаких нет, однако в Лихвине сыскали мне лекаря, Федора Ивановича Нетерфельда, который пустил мне тотчас кровь поискуснее самого филолога. После кровопускания жар уменьшился, и я расположился ночевать в доме мещанина Ивана Мельникова.

17. Поутру лекарь нашел меня в состоянии выехать из Лихвина, что я и сделал пополудни в шестом часу. Подъезжая к Белеву, сделался мне прелютейший обморок. Бедная жена, Теодора и люди, видя меня без всякого чувства, боялись, не умер ли я; но, богу благодарение, я опамятовался, и все, окружающие меня, утешились. Приехав в Белев, по счастию, попалась нам хорошая квартира у Ильи Семеновича Азарова, где я 18-го весь день отдыхал, принимал Генишев порошок, а

19-го поутру в десять часов выехали из Белева; обедали на поле. На все способная Теодора сделала похлебку и жаркое. Ночевать приехали в Болхов и стали у мещанина Гаврилы Кличина.

20. Из Болхова выехали в семь часов поутру; обедали в селе Глотове, что могла приготовить Теодора. Ночевать приехали в Карачев и стали у купца Масленикова. Он имеет на глазу шишку с кулак. Увидя меня без руки, без ноги и почти без языка, сожалел он, что я имею болезнь, которая делает меня столь безобразным. «Правда, — отвечал я, — однако я моим состоянием не променяюсь на ваше. Мне кажется, что на глазу болона, которую вы носите, гораздо безобразнее хромоты и прочих моих несчастий». Не описываю далее моей с ним беседы, но из нее заключаю, что он болону свою носит весьма великодушно и что всякий человек хочет, как можно, извинить свои недостатки.

21. Отправил в Москву почту. Брился у пьяного солдата, который содрал было с меня кожу. Великая беда, кто сам в дороге бриться не умеет! Обедали в Карачеве; выехали из него в семь часов вечера и всю ночь ехали.

22. В селе Чаянке остановились пить кофе. Обедали в селе Радощах сарачинское пшено с молоком. Тут сделали мне в карете постель; я лег, и всю ночь ехали очень беспокойно.

23. Поутру приехали в город Севск и стали у Петра Васильевича Волкова. Теодора изготовила нам изрядный обед. В четвертом часу мы оттуда выехали и ввечеру остановились у первого малороссийского постоялого двора, где и ночевали.

24. Около обеда приехали в Глухов и стали было у попа; но как квартира была плоха, то перевезли нас к Ивану Феодоровичу Гум... Он с женою своею, Марфою Григорьевною, суть подлинные Простаковы из комедии моей «Недоросль». Накормили нас изрядно, да и во всей Малороссии едят хорошо. Весь день пробыли мы у них в превеликой скуке.

25. Хозяева дали нам обед преизрядный. Целый день принуждены мы были остаться в Глухове за мытьем белья.

26. Поутру белье сохло, а между тем, отправил я в Москву почту. Обедали очень хорошо.

27. Подарив Гум... пять червонных да людям его два червонных, кои госпожа Простакова тотчас выму-

чила у бедных людей своих, поутру выехали мы из Глухова; обедали в карете, в деревне Тулиголова, а ввечеру приехали в местечко Алтыновку и стали у купца Седельникова. Тут познакомился я с офицером Глуховского полка, Кноррингом, и его женою. Ужинали и ночевали здесь же.

28. Поутру в семь часов выехали. К обеду приехали в город Батурин и стали у жидовки. Она женщина пожилая и знаменита своим гостеприимством; накормила нас малороссийским кушаньем весьма хорошо. После обеда мы выехали благополучно и к ночи приехали в город Борзну, где стали в доме дьякона; ужинали тут и ночевали.

29. Поутру был у меня с визитом полковник Перет, который сожалением своим, видя меня в таком жестоком состоянии, растрогал меня до крайности. После обеда в два часа мы выехали и к ночи приехали в Нежин. Больше часа шатались мы по улицам, не находя квартиры. В рассуждении сего русские города не имеют никакого еще устройства: ибо весьма в редких находятся трактиры, и то негодные. Наконец пустил нас к себе грек Антон Архитекторов, у которого мы и ночевали.

30. Обедали в Нежине изрядно. Тут встретили мы цесарцев, едущих в Петербург с посудою. После обеда выехали из Нежина; ночевали в местечке Лазаре. За неимением квартиры спали в карете, хотя ночью была немалая гроза.

1 июля. Поутру рано выехав, обедали в городе Козельце у одного грека в трактире весьма скверно.

2. В Семиполках встретили мы графиню Катерину Васильевну.[1] Свидание наше было весьма жалостное. Она плакала, видя меня в столь жестоком состоянии, а я от слез слова промолвить не мог. Ночевать приехали в Бровары; спали в карете. Бровары есть последняя деревня до Киева и принадлежала Лавре. Здесь прежде от монахов оказываемо было всевозможное гостеприимство приезжающим в Киев богомольцам; но мы приехали после отнятия деревень от Лавры

---

[1] Е. В. Скавронская.

и, следственно, были свидетелями одного токмо негодования.

3. Целое утро ехали песками, насилу к обеду дотащились до Киева. Стали против монастыря Николаевского, в доме перевозчицы Ульяны Ефремовны Турчаниновой. Старуха предобрая, но личико измятое. Весь день были дома.

4. Поутру был у меня с визитом киевский почтмейстер Андриян Павлович Волховской. После обеда, наняв карету и лошадей, ездил я с женою в Печерский монастырь. Соборная церковь прекрасна, но весьма далеко отстала от римской церкви святого Петра; оттуда ездили мы в монастырь Софийский, где нашел я несколько мозаичной работы.

5. Поутру жена с хозяйкою ездила в пещеры, а я отправлял назад провожавшего меня из Москвы почталиона.

6. Поутру жена ездила с хозяйкой в дальние пещеры, а потом со мною в ближние. Взятая со мною кибитка совсем развалилась; я принужден был купить вместо ее маленькую фуру. Не описываю пещер, ибо есть печатное оным описание, но могу сказать, что они вселяют в душу благоговение. После обеда ездили мы в Михайловский монастырь великомученицы Варвары, где служили молебен. Оттуда ездили в монастырь Флоровский, где обитают благородные монахини. Ввечеру посетил меня старый мой знакомец, Иван Григорьевич Туманский.

7. Поутру ездила жена к обедне в Печерский монастырь; после обеда был у нас Туманский, и мы ездили прогуливаться по городу. Ввечеру почталион отправился в Москву.

8. Сей день назначили было мы к выезду из Киева, но сильный дождь воспрепятствовал. После обеда в первый раз ели вишни.

9. Поутру жена ездила с хозяйкою к обедне в Печерский монастырь; потом оба мы были в Богословском монастыре. Сей монастырь женский, для монахинь низкого состояния. После обеда ездили мы в последний раз в монастырь Богословский и положили завтра из Киева выехать.

10. Поутру пожаловала к нам Анна Николаевна Энгельгардт, родная сестра Ивана Николаевича Корсакова. Она прошлого года ездила с мужем в Карлсбад. Обошедшись с нами весьма дружески, дала наставление во всем, что нам знать было надобно в рассуждении Карлсбада. Перед обедом в 11 часов выехали мы из Киева и до Василькова, то есть тридцать три версты, тащились ровно четыре часа. В Василькове, быв осмотрены таможнею без всякой обидной строгости, выехали за границу, и я возблагодарил внутренно бога, что он вынес меня из той земли, где я страдал столько душевно и телесно.

Переехав за границу, мы очутились вдруг в стране Иудейской. Кроме жидов, до самой Варшавы мы почти никого не видали. Все селения набиты сими плутами, и я в первый раз вознегодовал внутренно на то, что такие бездельники, быв вытащены из Египта от работы, пустились в праздности шататься по свету и обманывать добрых людей...

II

25 марта (5 апреля 1787 г.). Выехав поутру рано, сделали с лишком две почты и остановились обедать в Шёнграбене. Обед был довольно плох, но для страстной недели изряден; по крайней мере рыбу везде находим сносною. Здесь хозяин в утешение сказывал мне о многих возвращающихся из Карлсбада совершенно исцеленными от параличной болезни... Ночевать приехали в город Знаим, в трактире Роза; тут увидели мы русского дворянина Бартенева, который весьма желает в Россию возвратиться, но не имеет 80 гульденов на выкуп. Я подарил ему червонной, ибо больше денег не было.

28 марта (8 апреля) ...я начал примечать, что извозчик мой заодно с хозяевами и что все свои издержки меня платить заставляет. Пособить сему нечем, кроме того, что я вперед на фурманах никогда ездить не буду и, если можно, — никогда и в Богемию не поеду, ибо народ весьма дурной, и притом столь же в нем мало

правды, сколько между польскими жидами. Здесь договор словесный никакой силы не имеет; смотрят на нужды и по тому размеряют свои претензии. Обед был сносный. После обеда, сделав 2 почты, приехали в Тейгброд, где все местечко нашли занято солдатами, так что мы едва могли сыскать для ночевания комнату, и то без окошек, за которую и за самый голодный ужин договорился я 5 гульденов... Приходила к нам девушка 18 лет, имеющая со мною одинаковое несчастие — паралич отнял у нее руку и ногу. Бедность не допустила ее лечиться, а как сия болезнь пришла к ней на 2-м году ее возраста, то в 14 лет так она застарела, что рука и нога, можно сказать, высохли. Мы подали ей сколько могли милостину, и я был бы рад везти ее с собою в Карлсбад, если бы имел надежду к ее излечению.

19 (30) апреля. Встав поутру, пил я воды 10 стаканов и одну порцию соли, тер затылок спиртом; был Груббер (медик). После обеда велел я себя носить в портшезе и гулял по всему Карлсбаду.

20 апреля (1 мая). Смотрели мы свадебную церемонию здешнего мещанина. После обеда носили меня на портшезе гулять, но дождь скоро погнал домой.

27 апреля (8 мая). Доктор ... водил нас в немецкую комедию, где познакомились мы с приехавшим из Силезии майором Массовым и его женою, которая лицом походит на А. И. Бутурлину. В чужих краях то по крайней мере утешительно, что если своих редко встречаешь, то часто находишь сходство на людей, с коими в отечестве был в некоторой связи. Комедия была очень дурна, играли дурно, мы вышли после 1-го акта.

3 (14) мая. Видели мимо шедшую большую процессию для благословения полей.

10 (21) мая. Все пошли, а меня понесли гулять по аллее; оттуда мы со всею компаниею ходили в театр смотреть марионетов.

13 (24) мая. Я ходил гулять и видел пробу завтрашнего праздника, который граф Тун дает для рождения баронессы Гейльберг, любовницы принца Нассау.

21 мая (1 июня). Был у майора, который с женою поехал домой из Карлсбада; я прощался с ними со слезами, ибо люди весьма добрые. В путешествии случается часто та неприятность, что, с кем-нибудь познакомясь хорошенько и нажив добрых приятелей, надобно расставаться, может — и навек. Всякое таковое расставание весьма прискорбно для чувствительного сердца. Они поехали в Силезию, а я еду в Россию; неизвестно, приведет ли бог еще увидеться с сими честными людьми.

Воскресенье, 23 мая 1787. Встав поутру, выпил я десять стаканов эгерской воды. Носили меня в аллею, где я имел удовольствие слышать дочь фельдмаршальши Гартенберг, читающую очень хорошо моего «Недоросля» (в переводе на немецком языке), в присутствии ее матери и прекрасной девицы Боденгаузен.

Среда, 2 июня. После обеда Семка наделал мне грубости и насилу согласился ехать. Он сделал нам ту милость, что не остался в Карлсбаде ходить по миру.

Среда, 9 июня. Ввечеру в семь часов приехали благополучно в Вену. Нас провезли прямо в таможню, где больное мое состояние принудило осмотрщиков поступить со мною весьма снисходительно.

Четверг, 10 июня. Я ходил к графине Малоховской: старушка предобрая, но личико измятое. В обед были у меня Полетика и Кудрявский.

Четверг, 22 июля. Поутру Семка формально объявил мне, что возвращаться со мною не хочет. Ходил я в баню в шестидесятый, то есть в последний раз.

Среда, 28 июля. Поутру позавтракав, выехали; проезжали Кенти, обедали в Водович. На дороге сделалась мне ужасная тоска. Бедная жена моя испугалась, видя, что я вдруг побледнел; приметя же, что у меня индижестия, велела в первой деревне сварить Генишева чаю.

Среда, 18 августа. Приехали в Киев. У самых киевских ворот попался нам незнакомый мальчик, который захотел показать нам трактир. Итак, мы с ним отправились, а вслед за нами догоняла нас туча, у самых ворот трактира нас и достигла. Молния блистала всеминутно; дождь ливмя лил. Мы стучались у ворот

тщетно: никто отпереть не хотел, и мы, простояв больше часа под дождем, приходили в отчаяние. Наконец вышел на крыльцо хозяин и закричал: «Кто стучится?» На сей вопрос провожавший нас мальчик кричал: «Отворяй: родня Потемкина!» Лишь только произнес он сию ложь, в ту минуту ворота отворились, и мы въехали благополучно. Тут почувствовали мы, что возвратились в Россию.

Понедельник, 23 августа. Я с женою ездил в Печерскую к обедне. После обеда были у меня архиерей Виктор и софийский протопоп Леванда, которые сидели до ужина.

Суббота, 28 августа. Приехали в Чернигов. Жена ходила к обедне и служила молебен завтрашнему дню усекновения честныя главы Иоанна Предтечи: ибо в этот день, тому два года назад, убил меня в Москве паралич. Обедали дома, стряпала старуха изряднехонько. После обеда выехали и, сделав 39 верст, ночевали в деревне Буровке в крестьянской избе спокойно.

Вторник, 7 сентября. Полоцк. Поутру был у меня почтмейстер Раушард и Туловский, у которого занял я пятьдесят рублей. Как христианина фершала здесь нет, то принужден был вверить свое горло жиду.

ИЗ ЖУРНАЛА ПУТЕШЕСТВИЯ В РИГУ, БАЛЬДОН И МИТАВУ

Четверг, 19 июля 1789. Встав с постели рано, собирался я в Ригу, чтобы там только выбриться: ибо в Бальдонах нет ни фершала, ни бритв. Как я ни спешил, но за бестолковицею курляндских мужиков ранее 10-го часу выехать не мог. На дороге усмотрели мы, что у больной ноги моей под коленом на поджилке делается большой нарыв. В Ригу приехали к Миллеру в пять часов пополудни. Ввечеру сделал то, зачем приехал, то есть выбрился. Плясали по-русски Миллеровы дочери; тут мой Губский показал свое проворство. Потом лег я спать благополучно. В Риге все нашли меня толще и бодрее.

Пятница, 20 июля. Встав рано, собираюсь теперь назад в Бальдоны. Отправил письма к жене, Татьяне Калистратовне и Клостерману. Из Риги выехал в 8-м часу; в Бальдоны приехал в 5 часов; у Теодоры обедали. У меня разболелся язык, на котором увидели и белое пятно и опухоль. Ложась спать, Теодора приложила мальву под коленом к нарыву, а я пил Генишев чай. Спал худо.

Суббота, 21 июля. Поутру нарыв лопнул, и я принял в шестнадцатый раз ванну; после обеда лег отдыхать; вдруг Теодора вошла ко мне с растроганным видом и, вызвавши меня из комнаты, вывела на двор,

где увидел я лежащего человека, мужика моего хозяина. Обнаженная спина его, из которой текла кровь, показывала, что он был бит немилосердо. Я призвал хозяина и спросил, за что сей человек так растерзан. Хозяин рассказал мне, что сей битый мужик был теперь на сенокосе, где чужой мужик, поссорясь с ним и будучи его сильнее, так бесчеловечно его изувечил. Это подало повод к дальнейшему моему с хозяином разговору.

Я. Что ж ты хочешь делать? Станешь ли искать правосудия?

Хозяин. Не стану, ибо, конечно, не найду. Помещик, которого мужик бил моего, есть барон богатый, а я пономарь бедный: где мне с ним тягаться?

Я. Итак, обида твоя ничем удовлетворена не будет?

Хозяин. Я сам хочу управиться. Теперь мужик, который бил моего, работает один в поле. Я собрал своих мужиков и позволяю им идти с палочьем отмстить за побои бедного мужика моего и мою обиду.

Я уговаривал его и доказывал, как он будет виноват, когда выйдет смертоубийство (что весьма легко и случиться могло бы), и что тогда его же казнят смертию; но хозяин мой был так взбешен, что не только не отменил своего мщения, но паче поспешил оным. И действительно, мужики к вечеру возвратились. Я спросил одного из них, что они сделали. «Мы били того, кто нашего бил». — «Да не умрет ли он от побоев?» — спросил я. «А господь ведает! — отвечал он. — Мы оставили его чуть живого». Между тем как все сие происходило, Теодора моя лечила битого мужика, который, получа отмщение, забыл болезнь и обиду. Ввечеру Губский мой играл под окном на гуслях и привлек тем кучу мужиков под окошко. Нечувствительно латыши мои расплясались, и я заснул спокойно.

Воскресенье, 22 июля. Поутру ходил я в ванну в семнадцатый раз. Одевшись, узнал я, что в нашу церковь везут двух мертвецов, коим сегодня будет погребение. Я вышел к ним навстречу и проводил до церкви. Смущенное сердце мое занималось сим печальным зрелищем. Я представлял себе, что, будучи в параличе,

надобно мне быть всегда готову к новому удару, могущему лишить меня жизни. Мне пришли на мысль дни погребения родных моих, и какому должно быть моему погребению, как для жены моей, так и для родных друзей моих. Возвратясь из церкви, посетил меня доктор Штендер, который вступил со мною в следующий разговор.

Штендер. Правда ли, что вы отдали себя на руки жиду?

Я. Правда. Да что ж мне иного делать? Когда Шенфогель, мой доктор, поступил со мною как жид, то, может быть, и жид поступит со мною как искусный доктор; а мне все равно, кто вылечит, лишь бы вылечил.

Штендер. Да чем он вас лечит?

Я. Он прикладывает угревую кожу к расслабленным местам.

Штендер. Но как вы можете сносить мерзкий запах угревой кожи? Видите ли вы, что сей запах заразил весь дом ваш и что в таком воздухе и здоровый человек не может жить без болезни? Вы весьма легко можете получить гнилую горячку, и тогда, может быть, спасти вас нельзя будет. Я не имею причины отгонять от вас жида, но советую лучше адресоваться к весьма искусному митавскому доктору Герцу, который вашу болезнь отменно удачно лечит. Не угодно ли, я сам с вами поеду в Митаву и с ним посоветую, как удобнее вам сделать помощь.

Я. Очень хорошо.

Штендер. Так послезавтра приезжайте обедать к барону Ливену, а отобедав, поедем в Митаву.

Я согласился на его предложение и, отблагодарив его за усердие, им оказываемое, при нем же сорвал все жидовские лекарства и избавился от проклятого духа. После обеда, отдохнув, ездил я к пастору с Штендером, с которым потом прогуливался в коляске. Приехав домой, я застал вчерашнюю пляску. Принял ванну в 18-й раз и уснул благополучно.

Понедельник, 23 июля. Весь день пробыл один в скуке. Губский забавлял меня гуслями. Принял ванну поутру в 19-й, а ложась спать, в 20-й раз.

Вторник, 24 июля. Встав поутру, ванны не принимал. В 10 часов поехал обедать в Дингоф, к барону Ливену, чтобы от него с Штендером ехать после обеда в Митаву чрез Ригу. И действительно, отобедав у барона Ливена, чрез Двину переехал у Красной корчмы; в Кирхгольме пил кофе; в Ригу приехал в 9 часов ввечеру и стал в трактире у Миллера, отужинал и лег спать благополучно.

Среда, 25 июля. Проспав ночь плохо от крику страждущей от оспы хозяйской дочери, проснулся в обыкновенном состоянии моего здоровья. Был у меня Сергей Федорович Голубцов. Ездил я с визитом к почт-директору. После обеда, в 5 часов, выехал с Штендером из Риги, и в 9 приехали в Олею, где настигло нас дождливое время, так что мы принуждены были в Олее ночевать. Спал очень хорошо.

Четверг, 26 июля. Из Олеи выехали в 6 часов и проехали таможню без всякого осмотра; потом, переправясь через две реки, приехали в 10 часов поутру в Митаву. Стал в трактире у Герцеля и послал Штендера за доктором Герцом, который, пришед ко мне, рассматривал с великим прилежанием состояние моей болезни и нашел, что четыре года совсем у меня пропали, ибо доктора лечили меня очень кавалерски. Он находил, что помочь мне может. Бальдонские воды хвалил, но уверял притом, что они одни без внутренних лекарств помочь мне неспособны. Итак, мы условились с ним, что он меня лечить берется, но чтоб я переехал из Бальдон тотчас в Митаву и там бы прожил недели две, а потом с богом возвращался бы в Петербург; но если пользу получу очевидную, то бы опять на целую зиму приехал в Митаву. Все сие казалось мне сходно со здравым рассудком, и я положил поступать по его предложению. Отобедав у Герцеля с курляндцами, кои показались мне люди весьма завязчивые, однако учтивые, был у меня ввечеру опять доктор Герц и Штендер, и лег спать благополучно.

Пятница, 27 июля. Поутру в 10 часов, заехав к Герцу и осмотрев свою квартиру, выехал из Митавы. Обедали в Экау и, выехав в 6 часов после обеда, при-

ехали в 10 в Бальдоны. Отужинав, лег спать благополучно.

Суббота, 28 июля. Поутру принял ванну в 21-й раз, и весь день убирались в Митаву. Но как Шенфогель сюда, конечно, будет, чтобы воротиться на моем коште в Петербург, то я просил хозяина моего вручить ему, тотчас по приезде его, мое письмо, с которого при сем прилагаю копию. Он великий мерзавец и недостоин никакого уважения. Всех более одолжил меня молодой доктор Штендер, ибо он не допустил меня до гнилой горячки и отдал меня на руки Герцу.

Monsieur! Comme suivant les sentiments d'un médecin, à qui j'ai donné toute ma confiance, je dois faire l'usage des eaux, et comme de l'autre côté vous m'avez trop négligé, pour que je puisse compter sur vous à l'avenir, car, au lieu de passer les premiers huit jours avec moi pour voir l'effet des bains, vous m'avez abandonné d'abord pour vos petites affaires de commerce, je vous fais savoir par ces lignes que je quitte Baldonen et que je ne me chargerai d'aucune manière de votre retour à Pétersbourg. Vous êtes tout-à-fait libre de faire tout ce que vous voulez, puisque j'ai pris un autre médecin, qui, j'espère, aura des procédés plus honnêtes pour moi. [1]

Baldonen, le 7 Août, 1789.

Воскресенье, 29 июля. Встав поутру очень рано, стали собираться к отъезду и выехали в 8-м часу, заплатя Брикману за месяц за все, то есть за квартиру,

---

[1] Милостивый государь! Следуя предписанию доктора, которому я вполне доверяюсь, я должен буду пользоваться водами. Так как, с другой стороны, вы слишком мало заботились обо мне, чтобы я мог на вас рассчитывать в будущем, ибо, вместо того чтобы провести со мною первые восемь дней для наблюдения за действием бань, вы покинули меня ради ваших коммерческих дел, — то я даю вам знать этими строками, что я оставляю Бальдонен и не похлопочу нимало о вашем возвращении в Петербург. Вы совершенно свободны и можете предпринять все, что вам угодно, так как я взял другого доктора, который, надеюсь, будет более честен в отношении ко мне *(франц.)*.

за лошадей и прочее, сорок талеров. Не доезжая с полмили до Экау, переломилась у коляски задняя ось. Находящиеся со мною люди так искусно подделали другую, что она довезла нас до Митавы. В Экау обедали. После обеда ехали преглубокими песками и насилу в 12 часов дотащились до Митавы, где стали на квартире у ревизора Шульца. Жена его приняла меня весьма учтиво; итак, я в сем доме расположился.

Понедельник, 30 июля. Поутру был у меня доктор Герц, который присоветовал мне принять Генишев чай. Обедал я из трактира от Герцеля на три персоны. После обеда, в 6 часов, приходил доктор Герц и дал мне рвотное, которое довольно меня помучило. Потом Герц своими руками мазал мне всю левую сторону, и я заснул крепко.

Вторник, 31 июля. Утомясь от рвоты, спал я до 6 часов утра покойно. Весь день продолжал принимать антимониальные капли и обкладывать всю левую сторону шпанскими мухами. Ввечеру приехал хозяин домой из бальдонского межеванья.

Среда, 1 августа. Проспав ночь худо от натянутых шпанскими мухами пузырей, проснулся рано. Доктор Герц велел сегодняшний день также принимать капли и носить шпанские мухи. После обеда доктор мой возил меня в своем экипаже прогуливаться. Возвратясь с прогулки, нашел я у хозяина одного шестидесятилетнего курляндца, которого мой доктор точно от моей болезни вылечил. У него левая рука так здорова стала, как правая. Отужинав, лег я спать.

Пятница, 3 августа. Поутру раны от шпанских мух не допустили меня встать с постели, и я весь день лежал. После обеда хозяйка привела ко мне г-жу Важиганскую, вдовствующую секретаршу, живущую против моих окон. Она сидела у меня весь вечер. Потом был доктор Герц и уверял надеждою выздоровления.

Суббота, 4 августа. Встав рано, принял я лекарство, которое действовало хорошо. Был у меня доктор Герц; хозяйка раза три посещала. Целый день лежал, стоная от ран, причиненных шпанскими мухами. В обед было позволено мясное, но в ужин опять молочное. После обеда доктор Герц приводил ко мне славного митав-

ского декламатора, секретаря Биркеля, который у меня долго сидел. Ввечеру посетила хозяйка, а после ужина доктор перевязывал раны.

Воскресенье, 5 августа. Ночь проспал сносно; не мог, однако ж, стать на ноги от ран, почему надобно будет пролежать целый день в постеле. После обеда была у меня пасторша, г. Жульяни, которая сходством своим с сестрою Марфою Ивановною меня и Теодору удивила. Был Герцель, а наконец доктор перевязывал раны.

Понедельник, 6 августа. Ночь спал спокойно. Проснувшись, мог стать на ноги. Был доктор Герц. После обеда принимал я в первый раз анимальную баню. Был у меня Биркель. Хозяйка и г-жа Жульяни, смотря, как я принимал баню, слушали мою немецкую комедию, читанную Биркелем.

Вторник, 7 августа. Поутру был у меня доктор Герц и нашел за нужное, чтобы я ввечеру принял рвотное. Был у меня поручик Малер. После обеда был у меня Солей, почтовый комиссар, Шульц и поручик Малер. В 6 часов принял я рвотное и страдал до полуночи: тоска была смертельная. Доктор Герц не отходил от меня и присутствием своим весьма облегчал мое страдание. Признаюсь, что Герц редкий человек и великий медик. Он никогда не обещает того, чего сделать не может; а мне обещал всеконечно меня вылечить, но только с тем, чтоб я держался правила моего: исполнять его предписания. Он, видя меня страждущего, божился, что сие самое мучение весьма для моей болезни полезно и что он возвратил язык одной параличной женщине посредством сего рвотного. «Если бы, — говорил он, — с самого начала доктора не имели для вас подлого снисхождения (ибо подлее быть не может, как то, от коего вред здоровью происходит), то бы вы четыре уже года были здоровы. Я никак не боюсь вас прогневать, настоя твердо в том, что по совести нахожу необходимо нужным. Если же вы никак слушаться меня не захотите, то я лечить вас перестану, ибо когда вы сделали мне величайшую доверенность, какую только человек другому сделать может, а именно вверили мне жизнь и здоровье свое, то я, как честный

человек, должен отвечать сей доверенности, не обременяя вас ненужными лекарствами и не похлебствуя сам уклонением от нужных врачеваний».

Среда, 8 августа. Поутру встал хотя слаб, однако довольно свеж. Были у меня доктор Герц, поручик Малер и священник; после обеда Вегнер с женою, баронесса Таубе, камер-юнкерша Трейден и фрейлина Фитингоф. Сии три дамы, мои соседки, зная, что я болен, из одного сострадания пришли навестить меня, ибо я ни одну из них в лицо не видывал. Была у меня г-жа Жульяни; потом доктор Герц водил меня в капельную баню, которую я без малейшего крика и роптания вытерпел. Некоторые из гостей моих имели любопытство прийти ко мне в сарай, дабы видеть, как выношу я капельную баню. Вечер провели у меня Биркель и Малер.

Пятница, 10 августа. Поутру, проснувшись, принимал обыкновенные антимониальные пилюли и капельную баню. Поутру был у меня поручик Малер, а после обеда он же, почтмейстер Кригер и поверенный в делах Гоберг. Ходил с доктором к мяснику, который, по какому-то недоразумению, вместо быка убил свинью; итак, я лечил руку, а не ногу. Возвратясь домой и отужинав, лег я спать благополучно.

Суббота, 11 августа. После обеда ходил я с доктором к мяснику, который, не по примеру своих товарищей, человек с сантиментами и много читал. Он принял меня так, как сострадательный человек должен принять больного: дал мне комнату, где положен я был на постелю, и вся левая сторона обкладена была кишками лишь только убитого быка. Сия баня продолжалась с полчаса; потом возвратился я домой благополучно.

Воскресенье, 12 августа. Поутру принимал я железную баню. Был у меня доктор Герц, водил меня в капельную баню, из которой вышед и надев кафтан, ходил я с визитом к баронессе Таубе; потом прогуливался по улице с хозяйкою и фрейлиною Фитингоф. Возвратясь домой, терся спиртами и мазями и лег спать благополучно.

Понедельник, 13 августа. Поутру получил письма из Белоруссии, Москвы и Петербурга; принимал железно-серную баню, а после обеда капельную. Оттуда

ходил к мяснику, где принимал анимальную баню: держал руку в свинье, лишь только убитой; потом был с визитом у баронессы Таубе. Весь день принимал обыкновенные лекарства.

Вторник, 14 августа. Проспав ночь плохо, проснулся я довольно слаб и принимал обыкновенную железно-серную баню. Потом баронесса Таубе и девица Фитингоф приходили ко мне пить шоколад. Были доктор Герц, поручик Малер и бальдонский пастор Кейлер. Отправил письма в Москву и в Петербург. После обеда принимал капельную, а потом анимальную баню. Ходил к мяснику, который убил для меня быка: я держал в нем руку несколько минут. Возвратясь домой, очень устал. Перед ужином посетили меня девица Фитингоф и мой доктор.

Воскресенье, 19 августа. Поутру хотел было ехать к обедне, но, за болезнию священника, оной не было. Принимал обыкновенные лекарства и железно-серную баню. Доктор Герц водил меня в капельную баню; потом я сам ходил к баронессе Таубе, а от нее домой проводила меня девица Фитингоф. По выходе из капельной бани доктор Герц обложил плечо мое шпанскими мухами. Сие сделал он для того, чтоб дать плечу больше движения: ибо сегодня поутру в ванне мог я поднять руку до бровей. Это меня весьма обрадовало.

Среда, 29 августа. Проспав ночь очень спокойно, благодарил я бога за сохранение жизни моей чрез четыре года после случившегося мне в сей день в Москве параличного удара. Ездил к обедне. После обеда навестила меня девица Фитингоф. Был доктор Герц и водил меня в анимальную баню к мяснику, где я держал руку в быке. Возвратясь домой и отдохнув несколько, ездил я с Михайлом Алексеевичем прогуливаться. Весь сей день воспоминание моего несчастия возмущало мою душу. Доктор Герц и хирург В. пускали мне подъязычную кровь.

ПРИЛОЖЕНИЯ



«НЕДОРОСЛЬ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Аксен Михеич.
Улита Абакумовна, жена его.
Иванушка, сын их.
Добромыслов, дворянин.
Миловид, сын его.
Федул, слуга Аксенов.
Митька, слуга Иванушкин.
Две служанки Аксеновы.

ДЕЙСТВИЕ I

Театр представляет комнату, в которой стоит стол, на столе тарелка с блинами и чашка с маслом. И за тем столом Улита учит Иванушку. Аксен по комнате ходит.

ЯВЛЕНИЕ 1-е

Аксен, Улита, Иванушка (последней учит азбуку).

Иванушка

Аз, а, а, б, в, г, д, е. Очень я есть хочу. Мама, давай же мне поесть-та.

Улита

Тотчас, батюшка. Прочти еще разок, так и покушаешь.

Иванушка

Я не хочу больше читать. Я есть хочу. Да и тут написано что? Есть.

Аксен

Да учись же. Я тотчас и прутом ашерашу.

Улита

И, батька свет, не замай его. Пускай покушает на здоровье. *(К Ванюшке.)* Прочитай еще, дитятко, разок, так и блинок дам. Да и посмотри-тка, какие блинки-та поджаренные.

Иванушка

Не хочу. Дай блина, так буду учиться.

Улита

Ну, умница, изволь — покушай.

Аксен

Что бредит как — покушай. Еще ничего сегодня не выучил. *(К Ивану.)* Учись!

Улита

Небось не слушай его, а возьми блинок да кушай на здоровье. *(Умакает блин в масло и подает. Иванушка ест.)* Ну, теперь прочитай же еще, умница дорогая.

Иванушка

Ж, з, и, і, к. *(Сжав брюхо.)* Пусти, я ка...

Улита зажимает рот.

Улита

Что ты, свет мой, не страмись, бог с тобой.

В самое то время Аксен с сердцов плюет.

Аксен

Тьфу, пропасть какая! Докудова ж докормить.

Улита

Так, мой свет, тебе он поперек горла стал. Был бы он хорош, ежели б в твои руки попался.

Аксен

Тьфу, дура. Бес.

Улита

(к Иванушке, который чавкая ест)

Накушался ли, умница моя дорогая? Или я еще велю принесть.

Иванушка

Полно, не могу уж больше есть. Теперь пойду. *(Встает и уходит.)*

Улита

Поди, бог с тобой — поиграй.

Аксен

Что ты бредишь — поиграй. Когда ж учиться-то будет? Однако таким манером он ничего не будет знать.

Улита

И-и, батька свет, кого и учить-то? Ведь еще ребенок. Бог даст выучится.

Аксен

Да, ребенок! В его пору уже давно в полках служат.

Улита

(с сердцов)

Неужли-то мучить? Сохрани нас боже и помилуй. Я не дам синего волоса на него пасть.

Аксен

С тобою и говорить не можно. Я совсем не о мученье говорю, а об учении. Какое же учение — что слово скажет, а другое блином забьет.

Улита

А как же?

Аксен

А по-моему, так надлежит: часа три, от книги не вставая, учиться, а блинам тут не мешаться. Кушать есть время за обедом да за ужином.

Улита

Так, мой свет, чтоб с голоду его уморить? Не сделаю я того.

Иванушка входит.

ЯВЛЕНИЕ 2-е

Аксен, Улита, Иванушка.

Иванушка

Мама, есть еще блины?

Улита

Есть, дитятко. Однако поучись еще, так и дам блинка.

Иванушка

Ну *(берет книгу)*, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, і, к, л, м, н, о, п. Полно. *(Закрывает книгу.)*

Улита

Ну еще прочитай.

Иванушка

Да не дура ль ты, ведь видишь, что тут написано, чтоб дать покой? А она свое мелет.

Улита

Ну, ладно, перестань же, умница моя дорогая.

Аксен

Как перестать? Не успел книги в руки взять, — она и перестать велит. Уже как я примусь, так у меня не так пойдет. Забудешь уже прихотливить.

Улита

(вскоча, рассердясь — схватила блины и масло)

Коли тебя слушать, так и дитя уморим. Кушай, дитятко, не смотри на него. Возьми-тка посмотри, блинок-та какой хороший.

Аксен, встав, сердится ходя.

Аксен

Будет. Уже выучен таким манером. А по-моему, таки бы я шрутом да и дубину снес — вот такой был.

Улита продолжает кормить.

Улита

Покушай, свет мой. Ну я велю еще принести. *(Умакав в масло.)*

Иванушка

(отталкивает Улитину руку)

Да помажь более. Экая она — масла жалеет.

Улита

Изволь, мой батюшка, я ничего для тебя, мой свет, не жалею.

Аксен

(про себя)

Помазал бы дубиной по спине. *(Громко.)* Смотри — его снова рвать станет.

Улита

Ата, батька свет, Христос с ним. К чему такие слова — ведь так изурочить можно. *(Крестит Иванушку.)* Ангел хранитель с тобою.

Аксен

(сев и разложа азбуку)

Читай же, а не то так худо будет.

Иванушка, набив рот блинами, поперкнув в самые глаза отцу и матери, кои, закрыв лицо руками, закричали: «Охти меня, ослепил!» Иванушка, захохотав, ушел. Оставшие утирают глаза.

Улита

Экой проказник какой. Он и ушел. Да пускай погуляет — час ему добрый.

Аксен

Однако, Улитушка душенька, мы много воли нашему Иванушке даем.

Улита

И-и, душенька. Ведь еще ребячье дело. Теперь-то ему и повеселиться, а уже как в службу пойдет, так и все его веселье пропадет.

Аксен

Да как же его на службу отпустить? Детине 20 лет, а грамоты еще не знает.

Улита

Так, мой свет, грамоте... Так что ж в том диковинки — лишь бы был жив — бог с ним.

Аксен

Да кто о том говорит, ведь и я желаю ему здоровья. Да только надобно, чтоб не был дурак.

Улита

Небось будет хорош, Христос с ним.

Аксен

А я так опасаюсь, чтоб от неги твоей не был бы негодницей.

Улита

(с сердцов)

Тьфу, какая беда! Что пророкует. Никак ты, батька, с ума сошел? Против своей крови такие словеса мелешь, чего и сущий злодей не скажет. Никак он тебе не надобен.

Аксен

(рассердясь)

Ата, какая дура проклятая, согрешил грешный! Не даст слова сказать. Экая збалмошная баба! Да можно ли тебе без сердца со мною говорить? Да как и я вспыхну — так худо будет; ведь плеть обуха не перешибет.

Улита

И-и, Михеич, свет мой, ты и разгневался. Ведь я еще ничего тебе худого не сделала.

Аксен

Еще сделать, — довольно того, что и слова твои меня трогают, которые, однако ж, я недолго буду сносить — тотчас перестанешь огрызаться, как собака.

Улита

(заплакав)

Воля твоя — что хочешь, то и делай. Я вся твоя и слова теперь не скажу. О господи, господи, под старость дал бог радость. Хи, хи, хи. *(Плачет.)*

Аксен

Ну, Улита Абакумовна, не плачь же, не плачь. Помиримся, душенька; поди ж сюда.

ЯВЛЕНИЕ 3-е

Иванушка и те же.

Иванушка

Мама, о чем ты плачешь?.. Что ж молчишь — скажи. Конешно, тебя батька обидел.

Аксен

Да, я. А все за тебя, дурака.

Иванушка

Как за меня? *(Тихо.)* Не видал я того.

Аксен

Ба! ты уже, дурачина, против меня идешь?

Иванушка

(молча)

Бранит, старый черт; лишь тронь — то чертом перековеркаю.

Аксен

Что ты не отвечаешь? Ба, да ты еще и бранишь! Так постой...

Подымает трость на Иванушку, который, охватя рукою, так сильно дернул, что отец упал, а Ваня, бросив трость в ноги матери, и ее ушиб.

Аксен

(плачет, лежа на полу)

Ох, о-ох, косточки все переломал. Вот тебе блинки твои. Ништо, еще не то будет. *(Встает потихоньку.)*

Улита

(хромая, охает)

Ведь он, дитятко, за меня вступился.

Аксен

Совершенная ты дура. Да что с тобою говорить! *(Ушел.)*

ДЕЙСТВИЕ II

ЯВЛЕНИЕ 1-е

Иванушка и Митька.

Иванушка

Ну, брат Митька, как же я батьку-то цапнул — ажно как пласт на пол растянулся.

Митька

Да за что так, барин?

Иванушка

Как же не так: матку обидел, ажно она заплакала.

Митька

Ну так за дело ж.

Иванушка

Да и матке-то досталось на кисель — ажно взвыла голосом.

Митька

Так ты, сударь, обоих отбезделавал? Ладно, барин! Смирнее будут. Однако что вам за то от них было?

Иванушка

Я не дождался, ушел и с тех пор их не видал. Да чему ж быть? Неужли-то меня бить будут?

Митька

Да ведь не поклонятся — чистехонько таки высекут и плакать не велят.

Иванушка

Никак не боюсь того. Я с обоими справлюсь, — посмотри-тка, какая у меня сила. *(Берет за ворот Митьку и повертывает.)* Потянись-ка со мной на палки.

Митька

Извольте. Да неужли-то вы меня перетянете? Изволь, сударь.

И сели. Берут палку и тянутся; Иванушка перетягивает.

ЯВЛЕНИЕ 2-е

Федул и те же.

Федул

Эх, барин, на какие забавы ты время тратишь, а о книге, сударь, не помышляешь. Извольте-ка батюшке-то показаться. Разбил, сударь, стариков так, что с места не встают. Хорошее ли дело? И день-деньской вы их не видите. Да и в нашем быту то непростительно.

Иванушка

(встав)

А ты что за учитель пришел? Когда батьке я не спустил, то тебе и подавно. *(Подымает палку, Федул отходит, Иванушка в него палку бросает.)*

Митька

Хорошенько его, сударь, эдакого указчика! Как он смеет с вами говорить. Дай ему, сударь, знать, что и ты такой же господин, что и старый-то хрен.

Федул

(появившись опять)

Выслушайте, сударь, моих простых речей и не замайте меня, покудова их не окончаю.

Иванушка

Ну, говори — я тебя ничем не трону.

Федул

Извольте ж выслать этого плута и обманщика. Мне при нем нельзя говорить.

Иванушка

(к Митьке)

Поди на час от меня.

Митька

Я вижу, барин, что он на меня вам наговаривать будет. *(Уходит.)*

Федул

Вы знаете, сударь, что я служил вашему дедушке и батюшке, и всегда служба была моя верна; а когда бог не сошлет по душу, то и вам буду служить, да и думаю, что и по летам вашим пора и в службу вам вступить, а кроме меня вам некого с собою взять. Я бывал в походах и знаю, как там поступать; так не рассердитесь, что я стану говорить.

Иванушка

Нет, не буду, право.

Федул

И прикажете смело говорить?

Иванушка

Говори, что хочешь.

Федул

Ну, сударь. Я хочу у вас спросить, имеете ли вы намерение в службу вступить?

Иванушка

Как же без того; а другое дело, и сам не знаю, как батька хочет.

Федул

Так я вам доношу, что то необходимо должно быть и того государь требует; однако вы мало изволите о том помышлять, а по летам вашим уже и время прошло. Ох, сударь, слезы не дают мне говорить. *(Плачет.)* Что нам, сударь, делать? Вы теперь в таких летах, что моложе вас уже офицерами, а вы и в службу еще не вступили, да и надежды нет иметь хорошие ранги.

Иванушка

Да почему же так?

Федул

Простите ль моей усердной грубости, если что скажу?

Иванушка

Я уж тебе сказал, что все говори, что хочешь.

Федул

Милостивый государь! Не от хотения язык мой мелет, а от жалости, видев, что вы себя к погибели готовите.

Иванушка

Как к погибели?

Федул

Да как же, сударь, не так? Рассудите милостиво: выучили ль вы грамоте и знаете ль писать? Ведь, сударь, уж бороду бреете. Господина Добромыслова сын, сказывают, уже и иностранными языками говорит и давно уже офицер.

Иванушка

А что тебе до того нужды?

Федул

Ежели бы нужды не было, то я и не плакал бы. Ведь и нам весело, когда господа хороши да умны. Послушайте моего глупого совету и пойдите к батюшке, и попросите у него прощения, да начните учиться поскорее, чтоб вам со временем не плакать было.

Иванушка

Небось никогда не заплачу. *(Хочет идти.)*

Федул

Ну, барин, увидишь и меня вспомянешь. А куда изволишь идти, не к батюшке ли?

Иванушка
(показывает шиш и говорит)

Вот тебе. *(И с тем уходит.)*

Федул
(один)

Как горох к стене не льнет, так-то ему слова. Вот какая честь отцу. Да ништо, зачем волю давал. Правда пословица говорится, что ученье свет, а неученье тьма. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ 3-е

Аксен, Улита и Федул.

Аксен

(к Федулу)

Видел ли ты нашего дитятку Иванушку?

Федул

(чесав голову с огорченным видом)

Видел, сударь. Он сейчас изволил отсель выйти. Я и звал к вам, но никак не хочет идти.

Аксен

Однако к столу придет ужо?

Федул

Не думаю, сударь, чтоб пошел. Он так на вас рассердился, что и вспомнить не дает, за что меня чуть до смерти не убил.

Аксен

Так где же он кушать-то будет?

Федул

Не знаю, сударь.

Улита

Велеть было ему приготовить особливо. Пусть его уходится, посердится, да и перестанет.

Аксен

А я так сужу — не давать ни куска, покуда сам не придет, пусть себе сердится. У сердитого губы толсты, да в брюхе пусто.

Улита

Так, мой свет, уморить его? Воля твоя, я не стерплю да пошлю блинков и чего-нибудь еще, пусть покушает, ведь рождение наше. Много ли их у нас — один, как глаз во лбу, да хотим с голоду уморить.

Аксен

Доведешь ты своею негой до совершенных бед.

Улита

Аксен Михеич, ведь еще ребенок! Будет постарее, то совсем переменится. Не долго ему повольничать. Вот как в службу запишется, то все веселье отойдет.

Аксен

Ее ничем не уговоришь. *(Уходит.)*

Улита

(одна)

Ах, служба, служба государева! *(Голосом воет.)* Как-то тебе, дитятко, привыкать-то будет на чужой, дальней сторонушке, кто-то тебя, сердечушку, приголубит? Ах, сердешно дитятко, кто тебе даст блинка и пирожка? Не будет у тебя ни батюшки, ни матушки, ни роду, ни племени, к кому б приклонить буйную свою головушку. Хи, хи, хи. *(Плачет.)* Отпущу с тобою, дитятко, няню Агафью, она иногда и блинов тебе испечет. *(Уходит.)*

ДЕЙСТВИЕ III

ЯВЛЕНИЕ 1-е

Улита, Аксен и две служанки (последние в телогреях).

Улита

Я, свет мой, слышала, что к нам гости будут.

Аксен

А кто такие?

Улита

Добромыслов с сыном.

Аксен

Так надобно прибрать. *(К служанкам.)* Пошли сюда Федула.

Улита

Ужо посмотрим, как-то они выучены.

Федул входит.

Аксен

(к Федулу)

Прибери горницы хорошенько, накрой стол ковром, поставь стулья порядком, а скамьи вынеси вон. А ты, Агафья, выдай свеч да скажи, чтоб нигде лучина не горела; а сама надень камчатную телогрею, а ты, Федул, надень ливрею, пусть видят, что у нас все есть.

Ужо увидишь тверских [петербургских]-то разумниц. Право, не лучше нашего Иванушки будут.

Улита

А я думаю, что еще и хуже, да хватись, что и богу забыли молиться, да думаю, чего боже сохрани, научились в пост мясо есть. О! избавь от того, боже, лучше дурак будь, нежели одинова в пост оскоромиться.

Аксен

Ужо, душенька, увидим ученых-то деток, за которых разорил деревни; легко ль то сказать! Что сверх пяти алтын с души собрав еще пятьдесят рублей заплатил, а у нас так на таковые деньги Иванушка часослов, псалтырь, чети минеи, и пролог, и все молитвы наизусть выучит.

Улита

Да не хуже будет, а чего лучше, что при своих глазах, а хватись, Добромыслова сын нужды-то, нужды навидался. Я чаю, и с голоду помирали. Куда бы я рада была, ежели бы он хуже нашего Иванушки был. Ах! как я вспомню глупость Добромыслова: без всякой жалости отпущал его в школу, да еще и нам советовал, чтоб и мы так же с своим Ванюшею поступили; однако не обманул нас. Куда бы я обрадовалась, если б он хуже нашего выучился.

Аксен

А я с радости выше Ивана Великого вскочил бы, а дай бог, ужо одумались бы другие отцы в чужие руки

детей своих отдавать. Послушай-ка, душенька, что я тебе скажу. Намнясь я был у Родиона Ивановича Смыслова и видел его сына, также французами ученого. И случилось быть у него в доме всенощной, и он заставлял сынка-то своего прочесть святому кондак. Так он не знал, что то кондак, а чтоб весь круг церковный знать, то о том и не спрашивай. Поверишь ли, разлапушка, что если б я на месте отца его был, то со стыда сгорел бы, а он еще тому и рад был. Да еще что сказал: поди-тка к своим французским книжкам, а это дело не твое. Так вот, душенька Улита Абакумовна, чему иные отцы детей своих учат.

Улита

Ау! та не овца, которая за волком пошла, так-то и Смыслов сын. Не будет в нем пути, коли молитвы не умеет прочитать, а наш Иванушка лучше нас повеселит. Он теперь и не учась господи помилуй пропоет.

Аксен

Однако, Улитушка душенька, впрочем, мне весьма полюбился сына его поступок. И как пред отцом своим учтив, послушен и покорен — воля твоя, лучше, чем наш Иванушка.

Улита

И, батька свет! Наш еще ребенок — у него еще игрушка на уме.

Аксен

(вздохнув)

Ребенок, а тот еще моложе. Да не о том дело. Ох, блины твои доведут нас до слез.

ЯВЛЕНИЕ 2-е

Федул и те же.

Федул

Рыдван, сударь, какой-то на двор взъезжает, весь на золоте, а в нем сидят три человека разобравши и ужесть как.

Девка

(вбежав, закричала)

Гости! Гости! Ахти, пропали мы совсем!

Аксен

Не кричи, проклятая! Убирайте поскорее.

Хозяин, бегая взад и вперед, то ж и хозяйка и служанки в виде суетности. Служанки с тарелками, люди со стульями. Иному запутаться и упасть на хозяина и его подтолкнуть на хозяйку, у которой чепец сбить с головы и опростоволосить. Она должна закрыть голову и идучи кричать.

Улита

Непотребные канальи, бестии! Всех велю пересечь до смерти.

Аксен

Перестань, душенька, кричать-то — гости на крыльцо уже идут. Поди-тка, встреть их.

Улита

Вот тебе на! встреть. Где трудно, так жена поди. Изволь сам иттить встречать, а я не прибравши и не скоро выду.

Аксен

Ты ни в чем меня слушать не хочешь, так поди же.

Федул

(в странной ливрее)

Гости, сударь, в передней стоят. Прикажешь ли впустить?

Аксен

Для чего ты их остановил?

Федул

А как же, сударь, — вы не были готовы.

Аксен

Экой дурак! *(Приближась к кулисам, крепко.)* Добро пожаловать, дорогой соседушка, не прогневайся.

ЯВЛЕНИЕ 3-е

Добромыслов, Миловид и те же.

Добромыслов

Желаю здравствовать, милостивый государь. Я, любя вас и почитая много, за первый долг счел, возвратясь с сыном своим из Твери [Петербурга], впервые отдать вам, милостивому государю моему, усердное свое почтение и притом рекомендовать и сына своего.

Аксен

Покорно благодарствую. Так это сын ваш?

Добромыслов

Да, сударь, он самый, который приносит вам свое почтение и просит вашей милостивой ласки.

Аксен

Благодарствую, благодарствую. Так поцелуйте же. *(И целует.)* Ражой молодец. И как велик вырос, а я знал такого маленького. *(Указывает рукою.)*

Добромыслов

Так, сударь, старый старится, а молодой растет. Мы же с вами больше не вырастем.

Аксен

Ау, время наше прошло, были и мы таковы. Между тем, прошу пожаловать садиться.

Садятся.

Добромыслов

Чем изволите время препровождать?

Аксен

В разном домашнем хозяйстве, а иногда книги читаю, а больше всего мое утешение, что сына грамоте учу.

Добромыслов

Как, сударь, еще грамоте учите!

Аксен

А как же больше? Ведь он вашего сына тремя годами только старее, неужли-то ваш сын выучил уже грамоту?

Добромыслов

Какая грамота! Он уж выучился по-немецки, по-французски, по-итальянски, арифметику, геометрию, тригонометрию, фортификацию, архитектуру, историю, географию, танцевать, фейхтовать, манеж, и на рапирах биться, и еще множество наук окончил, а именно на разных инструментах музыкальных умеет играть.

Аксен

А знает ли он часослов и псалтырь наизусть прочесть?

Добромыслов

Наизусть не знает, а по книге прочтет.

Аксен

Не прогневайся ж, пожалуй, что и во всей науке, когда наизусть ни псалтыри, ни часослова прочесть не умеет, — поэтому он церковного устава не знает.

Добромыслов

А для чего ж ему и знать? Сие предоставляется церковнослужителям, а ему надлежит то знать, как жить в свете, быть полезным обществу и добрым слугою отечеству.

Аксен

Да я безо всяких таких наук, и приходской священник отец Филат выучил меня грамоте, часослов, и псалтырь, и кафизмы наизусть за двадцать рублев, да и то, благодати божьей, дослужился до капитанского чину. Желаю того и сыну своему.

Добромыслов

А долго ли изволили службу свою продолжать?

Аксен

Сорок два года.

Добромыслов

Долгонько же. Боже избавь сына моего такой несчастливой службы.

Аксен

Неужли-то вы думаете, что скорее моего да капитанского чина дослужится?

Добромыслов

Конечно, не сумневаюсь. Сохрани боже, если через два года не будет майором. Тогда присоветую лучше в отставку иттить.

Аксен

(вскоча)

Как через два года майором, не прослужив и десяти лет? Нет, государь мой, многого вы требуете. Послужи-тка он так, как и деды его служили, потри прежде ремень по-нашему. Я покорно прошу выслушать: десять лет был простым драгуном, пять лет капралом, три года гефрет-капралом, два года квартирмистром, десять лет вахмистром, и в этом проклятом чину я век свой изволочил, и нет ни одной косточки, которая бы палками не была ломана, а уж как перевалился в офицеры, то, кроме того, что два раза был на палашном карауле, — не был штрафован. Девять лет был прапорщиком. Тогда находился при особливой комиссии, а именно при сжении угольев и при гонке смолы. На десятом году пожалован поручиком, а потом, при отставке, пожалован капитаном. Так рассудите, как же вашему сыну быть скоро майором? А давно ль вы его в службу записали?

Добромыслов

Четвертого году.

Аксен

Вот, изволите видеть, еще шесть лет надобно до капральского чину.

Добромыслов

Какой капрал! Он уже гвардии прапорщик.

Аксен

Что это значит?

Добромыслов

Армейский капитан-поручик.

Аксен

Как капитан-поручик? *(Вскоча, с сердцов.)* Статно ль дело не служа ничего. Да за что ж такая честь?

Добромыслов

А за то, государь мой, что он прилежно учился и науку свою скоро окончил; а притом я, никак не жалея, сыскивал разные случаи поместить его в важные комиссии, что удавалось. Зато он получил в два года три чина, а именно-с: квартирмистров, сержант и прапорщичей. Благодарю бога, не тупо идет его произведение. Что бог даст вперед; нам такого счастья не было.

Аксен

(вздохнув)

Ах, как-то мне с своим Иванушкой быть? Поплетусь сам с ним в Питер.

Добромыслов

Напрасно изволите мешкать.

Аксен

Что ж делать, еще науку не окончил.

Добромыслов

Какой учитель — француз ли или немец?

Аксен

(вскоча со стула)

Какой француз! Черт бы их взял! Кто держит их, и тот недобрый человек, а они только научают басурманской веры. Я, сударь, и жена моя учит и учим священного писания, а не французских книг, которые научают только закон божий не наблюдать да в пост мяса есть, — а это уж и совсем проклятое дело. Нет, государь мой милостивый, не намерен я его отдавать на руки французам.

Добромыслов

Воля в том ваша. Извините меня, что обеспокоил вас. Оставим сию материю, которая меньше важна, чем разговоры о домостроительстве. И смею у вас спросить, каков ныне хлеб родился?

Аксен

(сев, зевая говорит)

Слава богу, рожь сама десяти, а яровое еще не молотил; сено, благодаря бога, выставили при доброй погоде.

Добромыслов

И у меня, благодаря бога, против прежних годов лучше родился.

ЯВЛЕНИЕ 4-е

Улита и те же, и две служанки в телогреях. Улита, подходя, не говоря ни слова, вдруг оттопыря губы, целуется с гостями.

Добромыслов

(к Улите)

Рекомендую вам, сударыня, детей моих в вашу милость.

Улита

Покорно благодарствую.

Аксен

Прошу милости садиться.

Садятся.

Улита
(к Добромыслову)

Неужли-то вы и этого малюточку в Тверь [Петербург] возили?

Добромыслов

Да, сударыня, четыре года так жили и, благодаря бога, хорошо учился и уже говорит по-немецки и по-французски довольно хорошо.

Улита

Ахти мне, я чаю, нужды-то, нужды было? *(К мальчику.)* Весело, мальчик, в Питере-то было?

Мальчик

Очень, сударыня, весело.

Улита

Как противу здешних мест?

Мальчик

Несравненно, сударыня, в рассуждении великолепного города, а здеся, сударыня, деревня.

Улита

Да и я во многих городах бывала, однако важного ничего в них не нашла, только что людей больше.

Мальчик

Не то одно веселит, что шум от народа происходится, а лучшее удовольствие состоит в том, что частые собрания и обращение с благородными и разумными людьми.

Улита

А как же собрания у вас там бывают?

Мальчик

Комедии, маскарады, клобы.

Улита

Ахти мне, у вас и клопы в дела идут?

Мальчик

Конечно, так, сударыня. Тем-то и научаемся разума.

Улита

Да что ж вы с клопами делаете?

Мальчик

Веселимся, играем концерты и тогда танцуем, а после ужинаем со всею компанией.

Улита

Ах! *(Плюет.)* Тьфу, тьфу, и кушаете их? Чего-то проклятые немцы да французы не затеют! Как же они танцуют? Разве дьявольским каким наваждением? У нас их пропасть, и нам от них проклятых покоя нет, да только ничего больше наши клопы не делают, как по стенам ползают да ночью нестерпимо кусают — только.

Добромыслов

(улыбнулся, к Улите)

Он, сударыня, не про клопов говорит, а про клобы, о благородном собрании, где все съезжаются, веселятся и разговаривают и научаются, как жить в обществе, и то собрание называется клобом.

Улита

А, а... Теперь-то я поняла, где ж мне знать о ваших клопах, а я, право, думала о наших клопах и очень удивилась, услышав, что вы и кушаете их. Не прогневайся, батька мой, мы очень настращены мирскими речами. Сказывают, что у вас в Питере едят лягушек, черепах и какие-то еще устрицы.

Добромыслов

Устрицы и я ел и дети, а лягушек не ел.

Улита

Ахти! вкушали эту погань! Да не кушали ли мяса в пост?

Добромыслов

Грешные, сударыня, люди. В Петербурге без того обойтиться не можно.

Улита

О боже мой, до чего дожили. А все проклятые французы да немцы — впустили в православную Русь свою ересь. Как земля-мать вас терпит? Так-то и Иванушку нашего научат. Да, хватись, и веру христианскую там забыли?

Добромыслов

Ах, нет, сударыня. Что касается до веры, то она всем в своей силе находится.

Улита

(к мальчику)

Да молишься ли ты, батюшка, богу?

Мальчик

Как же, сударыня, не молиться?

Улита

Сложи-тка крест. Каким крестом вы молитесь?

Мальчик складывает крест с улыбкою.

Улита

Это по-нашему ж. А бывает ли правило молитвы в ваших-то собраниях и молитесь ли вы там богу?

Мальчик

Богу молиться, сударыня, есть время поутру и ввечеру, сколько угодно и без народного видения, а собрания учреждены для оных залов, следовательно неприлично быть службе божии, где танцуют.

Аксен

Очень ты, душенька, так любопытствуешь. Что нам нужды, как кто ни молится.

Улита

Ну, я и перестану. Кто как хочет, так и живет.

Аксен

(к Федулу)

Позови к нам Иванушку.

Федул

Тотчас, сударь.

[ЧЕЛОБИТНАЯ Д. И. ФОНВИЗИНА]

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая!

Бьет челом лейб-гвардии Семеновского полку сержант и императорского Московского университета студент Денис Фон-Визин, а о чем мое прошение следуют пункты:

I

В прошлом 1754 году написан я в оный полк в солдаты и отпущен для обучения наук в императорский Московский университет, в котором обучался латинскому, французскому и немецкому языкам и разным наукам, и за обучение произведен в полку по порядку до нынешнего моего чина, а в императорском университете студентом, а ныне желаю служить при делах государственной Коллегии иностранных дел, и дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение в государственную Коллегию иностранных дел принять и по рассмотрении переводу моего, которого опыт с трех языков при сем прилагаю, по выключении из оных команд, определить меня с милостивым награждением чина к делам оной коллегии, к каким могу быть удостоен прошением.

Всемилостивейшая государыня, прошу вашего императорского величества о сем моем прошении милостивое решение учинить 1762 году октября... дня. К поданию надлежит в государственную Коллегию иностранных дел.

Прошение писал того ж дому служитель Михаил Шумилов, Денис Фон-Визин руку приложил.

[ПРОШЕНИЕ Д. И. ФОНВИЗИНА]

Всемилостивейшая государыня!

В действительной службе вашего императорского величества нахожусь близ двадцати лет. В 1762 году вступил я из гвардии сержантов в Коллегию иностранных дел переводчиком. В 1764-м по именному вашего императорского величества указу определен я при Кабинете титулярным советником. В 1769-м по именному же высочайшему указу взят в ту же коллегию и находился при канцелярии господина тайного действительного советника графа Никиты Ивановича Панина надворным советником близ десяти лет. При торжестве мира всемилостивейше награжден я прибавкою пятисот рублев в год к настоящему окладу. В 1779-м пожалован я канцелярии советником, а в прошлом году определен на место статского советника, члена почтовой экспедиции.

Жестокая головная болезнь, которою стражду я с самых детских лет, так возросла с моими летами, что составляет теперь несчастье жизни моей. Оно тем для меня тягостнее, что отъемлет у меня силу продолжать усерднейшую службу мою вашему императорскому величеству. В сей крайности состояния моего принужденным нахожусь, припадая к священным стопам вашего императорского величества, всеподданнейше просить моего от службы увольнения.

Денис Фон-Визин.

7 марта 1782 года.

ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Во имя отца, в троице святой славимого. Я, нижеподписавшийся раб божий, статский советник Денис Иванов сын Фон-Визин, хотя, по несчастию моему, нахожусь я теперь в жестокой параличной болезни, но сохраняя — богу благодарение! — прежний смысл и память, при нижеподписавшемся у сего душеприказчике, которым прошу быть его сиятельство графа Петра Ивановича Панина, и при нижеподписавшихся же свидетелях завещаваю, утверждаю и прошу силою нижеследующих пунктов — по смерти моей пожаловать непременно привести опые ко указному и твердому во всем исполнению:

1-е) Всем законным наследникам по мне и всем знаемым меня персонам известно, что я наследственного имения никакого за собою не имею, да и от получения оного уже отрекся; а всякого звания имения есть за мною приобретенное единственно мною ж. А как жена моя Катерина Иванова дочь, урожденная Роговикова, живучи со мной поныне уже 12 лет в законном супружестве, сохранением ко мне всегда совершенно искренной своей любви и доверенности обязала меня вечною к себе благодарностию и признанием; и как же из принесенных ею за собою денег мы в общежитии с ней много уже прожили, и дом ее теперь состоит под закладом, да хотя же несколько из ее денег и считается в остатке, но все они состоят теперь обра-

щением своим в товарах моих, а как нет от супружества нашего детей:

то 2-е) ко очищению против ее, супруги моей, совести и к соблюдению справедливости, по общему нашему между собою согласию на случай смерти кого первого из нас, сею моею духовною, на основании и вновь пожалованного от ее императорского величества всему дворянству права, изданного прошлого 1785 года апреля в 21 день, о имениях, собственно каждым благоприобретенных, завещаю и силою его определяю: при случае смерти моей прежде супруги, да будет она во всем недвижимом и движимом моем имении единственная наследница, и да отдастся все без изъятия оставшее после меня имение в ее владение, но недвижимое по ее только смерть. На сем преположении:

3-е) заведенная мною коммерция вещами, до художеств принадлежащими, и отправляемая ныне санкт-петербургским первой гильдии купцом Германом Клостерманом, должна остаться в полном и единственном хозяйстве и расположении жены моей, так что г. Клостерман повинен ей одной и моему душеприказчику, если он потребует, давать отчет в коммерции на следующем положении: 1. прибыток в коммерции должен быть обращен на оплату моих долгов, буде какие останутся, а по заплате весь прибыток да будет в пользу моей жены по смерть ее или пока она коммерцию продолжать захочет; 2. как г. Клостерман во все время доказал мне свою честность, рачение и разумение, то завещаваю управление коммерции от него и его наследников не отнимать, разве сами захотят перестать продолжать сию коммерцию; 3. все вещи, кои жена моя иметь у себя захочет, ей немедленно отдавать; 4. все немецкие книги отдаю в наследство брату моему родному, Павлу Ивановичу.

4-е) После смерти ее, жены моей, все мое недвижимое имение да наследует тот или те из моих родственников, свойственников или же и посторонних, кто в течение жизни моей нелицемерною ко мне привязанностию более заслужит моей благодарности, — о сем обстоятельстве не премину я отозваться особливым письмом моим к моему благодетелю душеприказчику;

но если я умру, не наименовав никого, то да обратится мое недвижимое имение по смерти жены моей в наследство ко указным после меня наследникам. Вследствие чего по самой справедливости, как по смерти моей законные наследники по мне, в течение жизни супруги моей, не имеют никакого притязания к получению, ниже и к требованию из оставшего после смерти моей имения ничего в указную себе часть, потому что недвижимое имение рано или поздно к ним возвратится; так, насупротив того, и жена моя, при случае смерти ее прежде моей, оставляет мне, а после меня и наследникам моим весь принесенный с собою в замужество за меня собственный денежный капитал, в чем мы между собою и утвердилися особливыми письменными актами, сделанными в силу всемилостивейше пожалованного всему российскому дворянству [права] на благоприобретенные каждым собственно имения.

5-е) По сей моей духовной, изъявляющей последнюю мою истинную волю и завещание на мое собственно благоприобретенное движимое и недвижимое имение, поручаю я и покорно прошу на себя принять душеприказчество его сиятельство графа Петра Ивановича Панина, для чего я сию духовную самолично ему вручил на приведение в указное всего по ней исполнение после смерти моей и на покровительство и опекунство в том случае жены моей. А ежели бы богу соизволющу предупредить меня ему, графу, отданием долгу своего натуре, то и на тот случай даю я ему чрез сие ж полную мочь перенести душеприказчество свое по сей духовной и ее после кончины своей приказать отдать, если я ее к себе не востребую, тому в руки, кого он сам ко оному избрать и кому доверить соизволит. Сочинена в Москве 1786 года июня 3 дня. Духовную писал канцелярии императорского Московского университета канцелярист Сергей Игнатьев сын Рыжиков. [Затем следуют собственноручные подписи Фонвизина и жены его.]

Перед отъездом нашим в Париж дан женою моею вексель в 20 000 руб., который выдан мне, и потом от правительства яко застаревшийся уничтожен, то и я подтверждение объявляю, что оный вексель никогда и

никакой силы иметь не может. [Следуют собственноручные подписи Фонвизина, графа П. И. Панина, с изъявлением, что он принимает на себя душеприказчество, действительных тайных советников князя А. М. Голицына, А. М. Обрескова и Л. И. Комынина, генерал-поручика графа И. Л. Воронцова и полковника И. Д. Рогожина.]

ДОПОЛНЕНИЕ К ДУХОВНОЙ

Буде по смерти моей останется на мне столько долгов, что жена моя лучше захочет отказаться от наследства, нежели иметь хлопоты с моими кредиторами, то в таком случае сим завещаваю платить ей из доходов моих по тысяче по осьмисот рублей на год, то есть указные проценты с 30 000 руб., кои могут быть почитаемы в остатке от ее движимого имения. Для лучшей верности оставляю я у душеприказчика моего на сию сумму вексель, который по ее требованию должен быть заплачен — хотя с продажею потребной части из деревень моих; ибо сию сумму по доверенности жены моей я действительно получил. Сей в 30 000 рублей вексель писан 3 июня 1786 года на имя с.-петербургского 1-й гильдии купца Германа Клостермана, которого прошу надписать оный в свое время жене моей. [Подписи те же.]

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАССУЖДЕНИЕ О ЧИСЛЕ ЖИТЕЛЕЙ У НЕКОТОРЫХ ДРЕВНИХ НАРОДОВ

Ни разум, ни искусство не подают нам нималого основания, откуда бы можно было заключить, что свет есть вечен и неразрушим. Непрестанное и стремительное движение материй, насильные перемены, кои действуют во всех частях, различия, примеченные в телах небесных, явные следы, равномерно как и предание о всемирном потопе или об общем смешении элементов, — все сие доказывает неоспоримо, что здание мира сего подвержено гибели и что через повреждение или разрушение должен он перейти из сего состояния в другое.

Таким образом, надлежит, чтобы мир сей имел свое младенчество, юношество, совершенные лета и старость, как всякая нераздельная часть, которую он заключает; и вероятно, что люди, животные и семена имеют участие в сих переменах.

Должно думать, что в цветущем веке мира человеческий род должен иметь более силы, разума и тела, крепчайшее здравие и более естественной способности, должайшую жизнь и сильнейшую склонность к умножению рода своего с потребною силою оное исполнить. Но если общая система вещей и обращение человеческого общества подвержено сим родам постепенных перемен, то они бывают столь тихи, что невозможно приметить в короткое время, что всякая история или предание содержит. Стан, сила тела, долгота жизни,

пространство бодрости и духа, кажется, до сего почти равны были во всех веках. Науки и художества процветали действительно в одном веке, а в другом приходили в упадок. Но мы можем приметить, что в то время как достигали они вышней степени совершенства у одного народа, то, может быть, всем соседям оного совсем они не были известны, и хотя был когда век, в котором приходили они в крайний упадок, но, однако, в последующих воскресали и распространялись по всей земле. Итак, сколько возможно познавать вещи примечанием, то, кажется, не было общей перемены в человеческом роде. И когда принять то за справедливое, что свет, как и животное тело, имеет естественные успехи с младенчества до старости, то, несмотря на сие, останется всегда неизвестным, достиг ли он той степени совершенства или гибели.

Следственно, не можно из того заключить, что естество человеческое пришло в упадок, и всякий, кто справедливо рассуждает, не примет отсюда нималого доказательства о многолюдстве древнего народа и не определит никакой системы в рассуждении мнимой младости или силы мира.

Сии общие физические причины должны выключены быть от сего спора.

М. ТУЛЛИЯ ЦИЦЕРОНА РЕЧЬ ЗА М. МАРЦЕЛЛА

ГЛАВА I

Сей день окончил долговременное молчание, избранные сенаторы, которое наблюдал я во времена сии, не от страха, но от печали и стыда; равномерно сделал он начало, которое желал я и чувствовал, изъяснять мнении мои по прежнему обыкновению, ибо как могу в молчании оставить таковую кротость, столь необыкновенное и неслыханное милосердие, таковой порядок всех вещей в вышнем правлении и, наконец, невероятную и почти божественную премудрость. Когда вам, почтенные сенаторы, и республике возвращен Марцелл, то почитаю я сохраненною и возвращенною не только его, но и мою власть и голос. И действительно, весьма я огорчен был, когда видел не в одном со мною благополучии такого человека, который одни имел со мною обстоятельства. Я не мог сам себя принудить и почитал за несправедливое продолжать древнее жизни моей обыкновение, разлучен будучи с последователем и подражателем трудов моих и стараний, равно как с спутником и товарищем моим. Итак, дозволил мне ты, К[ай] Цесарь, прежнее мое и запрещенное обыкновение жизни и тем подал некоторый знак надежды о благополучии всея республики. Я мог то приметить по многим, по большей же части по себе самом, но за несколько времени почти и по всем, что ты, возвратя Марцелла сенату и римскому народу, упомянув особливо о его преступлении, предпочитаешь власть сена-

торскую и достоинство республики собственным огорчениям и подозрениям. Но он плоды жизни своей, употребленной на пользу, собирает в сей день с общего согласия сената и твоего вышнего и важнейшего повеления, из чего ясно видишь, сколь великая похвала в данном благодеянии, когда в полученном таковая есть слава. Благополучен тот, счастием коего не менее все, как и сам он, обрадованы. Чего по его заслугам и по справедливости он достоин, ибо кто превосходит его благородством, честностью, старанием о полезных науках, невинностью или другою еще добродетелью, достойною славы.

ГЛАВА II

Никто не может иметь таковую остроту разума, таковой силы во слове или писании, которая бы в состоянии была, не говорю — выхвалить по достоинству, но только описать, Цесарь, великие дела твои. Но я сие утверждаю и с твоего дозволения сказать могу, что во всем том нет совершенно похвалы, кроме сей, которою почтен ты в сей день. Часто имею я случаи представлять и изображать словами, что все дела наших государей, все дела дальних и сильнейших народов, также и царей преславных, не могу сравнить с твоими ни в множестве трудов, ни в числе сражений, ни в различии стран, ни в способности исполнять предприятия, ни в несходстве войны. Никто скорее не может достичь столь отдаленных стран, как ты не только путешествием своим, но и победами оные прославил. Безумным бы я казался, если бы не признавал дела твои такими, коих ум или мысли почти понять не могут. Но есть еще большие: ибо обыкновенно похвалу героев умаляют словами, лишают оной полководцев, приписывают ее многим, чтобы начальники не имели одни славы победы. И действительно, в оружии храбрость воинов, способность местоположения, помощь союзников, флоты, припасы великую подают помощь; и большую часть славы получает счастие, как бы по некото-

рому праву своему; и что благополучно окончено, то и прославляется.

Но как той славы, которая о тебе, Цесарь, за несколько пред сим временем гремела, никого участником не имеешь, то вся она, сколько ни велика, в самом деле одному тебе приписывается. Никакого участия не имеют в ней начальники, полководцы, пехота и конница; равномерно, как и правитель всех дел человеческих, счастие, не хочет иметь славы твоей, тебе ее оставляет и признается, что одному тебе она собственна, ибо дерзость не мешается никогда с премудростию, и сие должно приписывать одному случаю.

ГЛАВА III

Ты усмирил жестоких варваров, неисчислимых множеством, имеющих пространные жилища, изобилующих во всех родах довольства; но со всем тем победил то, что имеет натуру и состояние быть побеждено. Нет еще такой крепости, которая бы железом и силою не могла прийти в слабость и повреждение. Но умерять страсти свои, воздержать гнев свой, в победах поступать великодушно, неприятеля благородного, разумного и (добро) храброго не только сраженного восставить, но и умножить прежнее его достоинство, — сие кто делает, того не с великими людьми я сравниваю, но почитаю подобным самим богам. Итак, Цесарь, слава твоего геройства прославляется не только нашим, но и всех народов языком и писанием, и ни один век не умолчит о великих делах твоих. Но таковые дела, когда читаемы бывают, возмущаются, не знаю каковым, шумом, и криком воинов, и гласом труб воинских. Но когда читаем или слушаем о деле, учиненном справедливо, кротко, великодушно, воздержанно и премудро, особливо во гневе, который подает противные советы, и в победе, коей свойство есть гордость, то такую чувствуем любовь не только к бывшим истинно делам, но и к вымышленным, что иногда, совсем их не видя, почитаем.

Взирая на тебя и зная великодушие, премудрость и слово твое, что желаешь ты оставшее от войны сделать полезным республике, какими похвалами почтить можем, какою любовию воздать и какую принести благодарность? Самые стены града сего, кажется, хотят тебя благодарить, что в короткое время будет в них и в сенате прежняя власть предков своих.

ИСТОРИЯ ИЗДАНИЙ СОЧИНЕНИЙ Д. И. ФОНВИЗИНА И СУДЬБА ЕГО ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА

Современники узнали Д. И. Фонвизина прежде всего как плодовитого переводчика. В 1761 году в Москве вышла книга избранных басен Гольберга. На титульном листе было указано: «Перевел Денис Фонвизин». В последующем — в 1765 и 1787 годах — вышли второе и третье дополненное и исправленное издания басен. В 1762 году в университетском журнале «Собрание лучших сочинений к распространению знания и к произведению удовольствий» были опубликованы 4 перевода молодого писателя: «Господина Менандра изыскание о зеркалах древних», «Торг семи муз», «Рассуждение господина Ротштейна о приращении рисовального художества, с наставлением в начальных основаниях оного», «Господина Ярта рассуждение о действии и существе стихотворства». Под каждой статьей сообщалось: «Перевел Денис Фонвизин».

С 1762 года начал выходить роман «Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетского» (часть первая вышла в 1762 году, часть вторая — в 1763, часть третья — в 1764 и часть четвертая — в 1768 году). На титульных листах первых трех частей указывалось имя переводчика Дениса Фонвизина.

В 1766 году публика познакомилась с новым переводом Фонвизина — «Торгующее дворянство, противуположенное дворянству военному, или Два рассуждения о том, служит ли то к благополучию государства, чтобы дворянство вступало в купечество? С прибавлением особливого о том же рассуждения господина Юстия».

В 1769 году вышло два перевода Фонвизина, но уже без упоминания имени переводчика — «Сидней и Силли, или Благодеяние и благодарность» и «Иосиф» в 9-ти песнях, сочинения г. Битобе. В 1762 году Фонвизин перевел, но не издал трагедию Вольтера «Альзира», которая широко распространилась в Петербурге в списках. В 1764 году на сцене придворного театра с успехом

шла фонвизинская комедия «Корион» (переделка комедии Грессе «Сидней»). Комедия не была издана. Как свидетельствует Новиков, читатели знали, что переводчиком и этих произведений был Фонвизин («Перевел в стихи Волтерову трагедию «Алзира», преложил, по свойству наших нравов, Грессетово сочинение «Сидней» стихами ж», «Поэму «Иосиф» перевел прозой», «Перевел... «Сиднея и Силли»).[1]

В 1777 году, без указания имени Фонвизина, вышел его перевод «Похвального слова Марку Аврелию».

Первые оригинальные произведения Фонвизина долго не попадали в печать или публиковались анонимно. К началу 60-х годов относятся два сатирических стихотворения: «Лисица-казнодей» и «Послание слугам моим». «Послание» напечатано впервые только в 1769 году вместе с повестью «Сидней и Силли», а в следующем году перепечатано в журнале «Пустомеля». Издатель сопроводил сатиру следующим извещением: «Кажется, что нет нужды читателя моего уведомлять о имени автора сего послания; перо, писавшее сие, российскому ученому свету и всем любящим словесные науки довольно известно. Многие письменные сего автора сочинении носятся по многим рукам, читаются с превеликим удовольствием... если обстоятельствы автору сему позволят упражняться во словесных науках, то небезосновательно и справедливо многие ожидают увидеть в нем российского Боало. Его комедия *** столько по справедливости разумными и знающими людьми была похваляема, что лучшего и Молиер во Франции своим комедиям не видал принятия и не желал...»[2]

Комедия, помеченная тремя звездочками, — это «Бригадир». Игралась она с успехом в течение нескольких десятилетий, но издана была только в 80-е годы, да к тому же без указания имени автора. Это обстоятельство привело к тому, что не сохранилось даже документальных известий о времени написания «Бригадира». Только недавно П. Н. Берков выдвинул убедительные аргументы, позволившие датировать комедию 1769 годом.[3]

---

[1] Н. Новиков. Опыт исторического словаря о российских писателях. СПб., 1772, стр. 230—231.

[2] «Пустомеля», ежемесячное сочинение 1770 года, месяц июль.

[3] П. Н. Берков. К хронологии произведений Фонвизина. II, «Бригадир». Научный бюллетень ЛГУ, № 13, Л., 1946.

Так складывалась несколько необычная репутация писателя, — широкой публике он был известен как автор многих переводов, узкому кругу читателей — как автор «Бригадира» и острых, сатирических «письменных» (то есть рукописных) сочинений.

В 80-е годы Фонвизин работал много и плодотворно в самых различных жанрах. В журнале «Собеседник любителей российского слова» (1783) он печатает шесть сатирических прозаических произведений — и все анонимно. В 1784 году была написана биография Н. И. Панина, которая неоднократно переиздавалась. Во всех изданиях имя автора было скрыто. В публике в это десятилетие начали появляться новые «письменные» сочинения Фонвизина (разумеется, анонимные). Среди них наибольшую известность получила «Всеобщая придворная грамматика». В 1787 году в журнале «Распускающийся цветок», издававшемся в университетской типографии у Н. И. Новикова, напечатано одно из «письменных» и широко известных публике произведений Фонвизина — басня «Лисица-кознодей». Басня, напечатанная анонимно, сопровождалась следующим примечанием: «Издатели «Распускающегося цветка» изъявляют сим признательность свою к славному стихотворцу, известному свету многими своими громкими сочинениями, который доставил им сию басню для поощрения их к дальнейшему получению вкуса в свободных науках».[1]

«Громкими сочинениями, известными свету», конечно, были комедии Фонвизина «Бригадир» и особенно «Недоросль». Известность эта была такова, что, когда в следующем году Фонвизин решил издавать собственный сатирический журнал, он назвал его именем центрального героя «Недоросля» — Стародума («Друг честных людей, или Стародум»), а себя — издателя — «Сочинителем комедии «Недоросль».

К середине 80-х годов сложилось, как видим, довольно определенное читательское представление о Фонвизине. Фонвизин — это *драматург*, «сочинитель» «Бригадира» и «Недоросля», *поэт* — автор сатирических стихотворений «Лисица-кознодей» и «Послание слугам моим», и, наконец, *переводчик*, переводивший нравоучительные или сентиментальные произ-

---

[1] «Распускающийся цветок, или Собрание разных сочинений и переводов, издаваемых питомцами учрежденного при Московском университете Вольного благородного пансиона», М., 1787, стр. 67.

ведения. Подобное представление далеко не полно характеризовало работу Фонвизина-писателя, его вклад в русскую литературу и его роль в развитии русской общественно-политической мысли. Происходило это потому, что одни, очень важные произведения, не попали к читателю по цензурным обстоятельствам, другие — еще только готовились к печати, третьи — широко известные читателю, в силу их анонимности не связывались с именем Фонвизина. В итоге читатель XVIII века довольно смутно представлял себе Фонвизина как политического писателя, совершенно неясна была его работа в области прозы. Могло ли удовлетворить Фонвизина положение, созданное «попечением» правительства, при котором он не имел возможности сообщать читателю все, им написанное, и разговаривать с ним от своего имени? «Недоросль» принес широкую известность и авторитет. Авторитет имел огромное практическое значение — он бесконечно увеличивал силу писательского воздействия на общественное мнение. Ведь именно потому Фонвизин и предупреждал публику, что «надзирать за изданием нового журнала «Друг честных людей, или Стародум» будет «сочинитель «Недоросля». К мнениям «сочинителя «Недоросля» публика относилась с доверием, уважением и вниманием. Нужно было во что бы то ни стало пробиться к читателю. Проведенные разыскания свидетельствуют, что Фонвизин решил в 1787 году принять энергичные меры, чтобы издать разом все свои произведения в составе Полного собрания сочинений.

Сразу же после запрещения полицией журнала «Друг честных людей, или Стародум» в «Санкт-Петербургских ведомостях» появилось извещение: «В суконной линии, в лавке № 16 раздается безденежно объявление о издании Полного собрания сочинений и переводов Дениса Ивановича Фонвизина».[1] В 44 и 45 номерах это извещение повторилось. В № 47 сообщалось, что в той же лавке № 16 «принимается подписка на Полное собрание сочинений и переводов Дениса Ивановича Фонвизина». В последний раз объявление о подписке было напечатано в № 49 от 20 июня. Но выпустить полное собрание Фонвизину не удалось. Видимо, перед тем как приступить к печатанию уже подготовленных томов, их пришлось представить в Управу благочиния, которая и запретила издание, как перед этим запретила журнал «Друг честных людей, или Стародум».

---

[1] «Санкт-Петербургские ведомости», 1788, 26 мая, № 42.

Несомненно, действия полиции направлялись свыше. Фонвизину разрешали переиздавать старые переводы нравоучительных и сентиментальных сочинений (в 1787 году вышло третье издание басен Гольберга, неоднократно переиздавался «Иосиф», в 1788 году — второе издание «Сиднея и Силли») и уже известные публике комедии «Бригадир» и «Недоросль». Новые же произведения Фонвизина, и прежде всего сатирические и политические, подвергались гонениям.

Несмотря на гонения, на запрещение журнала и Полного собрания сочинений, Фонвизин не оставлял надежду опубликовать важные, по его мнению, произведения под своим именем.

Иждивением Богдановича в 1787 и 1792 годах переиздана брошюра Фонвизина «Жизнь графа Н. И. Панина». В 1791 году он приступает к изданию Полного собрания сочинений Фонвизина. Дело, видимо, шло до самого последнего момента успешно. К такому выводу можно прийти на основании сообщения самого Богдановича. К брошюре «Жизнь графа Н. И. Панина», выпущенной в 1792 году, была приложена «Роспись книгам, продающимся, также печатанным и печатающимся в Санкт-Петербурге по Невской перспективе у Аничковского мосту в доме графа Д. А. Зубова». В «Росписи» в числе других книг названо и «Полное собрание сочинений и переводов Д. И. Фонвизина в 5-ти частях». Даже указывалась цена — 6 рублей.[1] Просмотр газетных объявлений о поступивших в книжные лавки изданиях убеждает, что 5 томов фонвизинского собрания не вышли из типографии.

И вновь Полное собрание сочинений не поступило в продажу, не попало к читателю. Если в 1788 году непреодоленные трудности не позволили Фонвизину осуществить свой замысел, то в 1792 году, когда свирепствовала реакция, когда Екатерина не просто запрещала книги, но и арестовывала писателей (Радищев был уже в Сибири, Новиков — в Шлиссельбургской крепости), нечего было и думать о выпуске в свет полного собрания сатирических и политических сочинений, направленных против императрицы.

---

[1] На извещение о Полном собрании сочинений и переводов Фонвизина в «Росписи» и отношение П. Богдановича к этому изданию впервые обратил внимание Л. Б. Светлов (см. его статью «А. Н. Радищев и политические процессы конца XVIII века» в сб. «Из истории русской философии XVIII — XIX вв.», изд. МГУ, 1952).

Понимая, что при жизни ему уже не издать своего собрания сочинений, смертельно больной Фонвизин передает все рукописи Петру Богдановичу, чтобы тот издал их при первой возможности. В ближайшие годы после смерти писателя напечатать его сочинения не удалось. В 1796 году подвергся преследованию и сам Богданович. Его высылают из Петербурга в Полтаву. Из письма Богдановича обер-прокурору сената А. Б. Куракину от 1 июня 1797 года мы узнаем, что рукописи Фонвизина остались у него на руках. («Денис Фонвизин, хранивший по смерть свою ко мне дружбу и оставивший для издания мне все свои творения и переводы».[1]) Дальнейшая судьба самим Фонвизиным подготовленного собрания сочинений и всех переданных Богдановичу рукописей неизвестна. Последующие издания выходили на основе использования печатных текстов и рукописей, полученных от родственников Фонвизина.

Но пока в наших руках нет этих рукописей, нельзя ли узнать хотя бы последнюю волю автора — что он хотел сам включить в свое Полное собрание сочинений? Первый вывод уже можно сделать на основании газетных объявлений о подписке и извещения в «Росписи» 1792 года. Они свидетельствуют, что Фонвизин считал обязательным включение в Полное собрание не только *оригинальных,* но и *переводных* произведений. Таким образом, состав и титул издания был определен автором как «Полное собрание сочинений и переводов». Какие же произведения включил он сам в свое первое собрание сочинений?

В газетном извещении, как я уже говорил, сообщалось, что всем желающим «безденежно» выдавалось объявление об издании Полного собрания сочинений и переводов, то есть проспект. Где же этот проспект? В комплектах «Санкт-Петербургских ведомостей», хранящихся в Ленинградской государственной публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, такого объявления не оказалось. Не было его и среди собраний летучих изданий XVIII века. К счастью, объявление удалось обнаружить в комплекте «Санкт-Петербургских ведомостей» за 1788 год, хранящемся в Библиотеке Академии наук в Ленинграде. Вот его содержание:

«Объявление. Об издании новых книг в течение сего 1788 года и о подписке на оные в Санкт-Петербурге, в Суконной линии,

---

[1] ЦГАДА, Госархив, Р. VII, д. 2894, л. 59.

в лавке под № 16... *Полное собрание сочинений и переводов Дениса Ивановича Фонвизина,* состоящее в 5-ти томах и заключающее в себе следующие отделения: «Недоросль», «Бригадир», «Корион», «Иосиф в 9-ти песнях», «Сидней», «Слово похвальное Марку Аврелию», «О национальном любочестии», «Та-Гио», «Избранные Голберговы басни», «Глухой и немой», «Слово на выздоровление... Павла», «Каллисфен», «Лисица-кознодей», «Послание к Шумилову», «Записки первого путешествия», «Поучение в духов день», «Примечание на критику», «Челобитная российской Минерве», разные письма и проч., на любск. бумаге 5 р., на александрийской 8 руб.».

Трудно переоценить значение этого печатного извещения. Прежде всего оно свидетельство нового, ранее нам неизвестного общественного выступления Фонвизина. Через печать писатель объявил о принадлежности ему многих политических (оригинальных и переводных) сочинений: «Слова на выздоровление... Павла», «Слова похвального Марку Аврелию», «О национальном любочестии», «Та-Гио», а также сатирических произведений, напечатанных без подписи в правительственном журнале «Собеседник любителей российского слова» («Глухой и немой», «Поучение в духов день», «Челобитная российской Минерве» и др.), и повести «Каллисфен». Вне зависимости от того, что Полное собрание сочинений не вышло, это объявление сделало свое дело: читатели *узнали* Фонвизина с новой стороны — *как политического писателя и сатирика-прозаика.* Отсутствие в объявлении «Жизни графа Н. И. Панина» объясняется, очевидно, тем, что политические обстоятельства еще не позволяли признать авторство. Вот почему конец мая — начало июня 1788 года, когда писатель-сатирик пытался издать сатирический журнал «Друг честных людей, или Стародум» и Полное собрание своих сочинений, — важная веха в биографии Фонвизина.

Проспект содержит множество важнейших сведений. Бесценным, конечно, является признание Фонвизиным принадлежности ему нескольких очень важных и талантливых произведений. Что же это за произведения?

«Глухой и немой» — яркая сатирическая повесть, напечатанная под названием «Повествование мнимого глухого и немого» в «Собеседнике любителей российского слова» (1783, части IV и VII). На принадлежность ее Фонвизину указал

первым С. Н. Глинка.[1] Н. С. Тихонравов обратил внимание на свидетельство С. Н. Глинки и включил отрывок «Повествования» в число приписываемых Фонвизину сочинений (правда, при этом был опубликован текст, появившийся в IV части «Собеседника», и по недосмотру пропущено продолжение повести, появившейся в VII части журнала).[2] В. Якушкин в рецензии на «Материалы» высказал мнение, что «Повествование мнимого глухого и немого» принадлежит Фонвизину.[3] Несмотря на это, ни в одно собрание сочинений «Повествование» не входило, ни один исследователь не рассматривал его. В своей книге «А. Н. Радищев и его время» я, на основании анализа стиля «Повествования», высказал мнение о принадлежности его Фонвизину.[4] Ныне принадлежность «Повествования мнимого глухого и немого» Фонвизину решена окончательно.

«О национальном любочестии». Подлинное название — «Рассуждение о национальном любочестии из сочинений г. Циммермана». Книга без указания имени переводчика вышла в 1785 году в Петербурге. Как показало сличение с оригиналом, Фонвизин перевел только последнюю, семнадцатую главу сочинения Циммермана. Несмотря на то, что «Рассуждение» — перевод, и перевод довольно точный, это произведение, отмеченное печатью фонвизинского дарования, должно занять важное место в его творческом наследии. Отношение Фонвизина к переводам политических сочинений было своеобразным, и это надо иметь в виду. Решающую роль играл выбор. Фонвизин выбирал то, что совпадало с его убеждениями, что он хотел сказать русским читателям от собственного имени. Оттого мысли А. Тома, выраженные им в «Похвальном слове Марку Аврелию», есть в то же время и мысли Фонвизина, взгляды Циммермана есть взгляды и его переводчика. Во-вторых, эти переводы отличает глубоко своеобразный, чисто фонвизинский стиль. Политические сочинения Фонвизин переводил особым, им выработанным, высоким стилем, иммитирующим торжественную, патетическую, напряженно-взволнованную ораторскую речь.

---

[1] «Русский вестник в пользу семейственного воспитания», кн. 2, т. 33, 1816, стр. 64.

[2] «Материалы для Полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина», СПб., 1894.

[3] «Русские ведомости», 1894, 5 декабря, № 336.

[4] В той же книге я ошибочно приписал Фонвизину сочинение «Петр Великий», опубликованное в «Собеседнике любителей российского слова» в VII части за 1783 год.

Важную роль в развитии национальной литературы, в успешном воспитании «истинных отечестволюбцев» и обогащении «российского слова», по мысли Фонвизина, играет красноречие. Условием расцвета красноречия являются «народные собрания». Писатель был уверен, что «российское витийство» приобрело бы огромную силу, «если б имели мы где рассуждать о законе и податях и где судить поведение министров, государственным рулем управляющих». Политические сочинения Фонвизина, оригинальные («Слово на выздоровление... Павла», «Жизнь графа Н. И. Панина») и переводные, и являются образцами «российского красноречия». Вот почему, сохраняя мысль оригинала, Фонвизин воплощал ее в индивидуально-неповторимом стиле создаваемого им «российского витийства».

«Рассуждение о национальном любочестии» — произведение большой эмоциональной силы. В книге дано изложение нравственного кодекса патриота и гражданина, просветительское понимание человека как деятеля, борца, бесстрашно выступающего против власти, с восторгом готового умереть за вольность своего отечества. Выход «Рассуждения о национальном любочестии» в 1785 году существенно дополняет наше представление о политической деятельности Фонвизина после издания «Недоросля», о силе его влияния на общество.

«Та-Гио, или Великая наука, заключающая в себе высокую китайскую философию». До сих пор у нас не было точных доказательств принадлежности перевода Фонвизину. Правда, в 1801 году в журнале «Правдолюбец, или Карманная книжка мудрого» «Та-Гио» было напечатано даже с указанием имени Фонвизина. Но свидетельство «Правдолюбца» оказалось неавторитетным, и ни один исследователь творчества Фонвизина не рассматривал этого произведения.[1] Теперь мы точно знаем имя переводчика. Более того — удалось установить, что и этот перевод Фонвизин опубликовал при жизни, и опубликовал, как обычно, анонимно в журнале «Академические известия на 1779 год» (вторая часть).[2]

---

[1] Когда настоящий том уже был набран, вышел из печати сборник «XVIII век» (том 3) АН СССР, в котором Л. В. Крестова в статье о Фонвизине присоединяется к мнению, высказанному еще П. А. Ефремовым, что переводчиком «Та-Гио», видимо, был Фонвизин.

[2] В «Правдолюбце» «Та-Гио» напечатано с большими купюрами и ошибками.

Перевод делался с французского текста, подготовленного аббатом Сибо. Книга Сибо с примечаниями вышла в Париже в 1776 году. Видимо, во время пребывания во Франции Фонвизин купил эту книгу и по возвращении в Россию перевел ее. Тем самым рушится высказанное в научной литературе мнение, будто во второй половине 70-х годов, после подавления пугачевского восстания, Фонвизин умолкает и отходит от общественно-политической деятельности. Факты свидетельствуют об обратном. Именно в эти годы Фонвизин чрезвычайно активен. В 1777 году он издал перевод «Слова похвального Марку Аврелию», в 1777—1778 годах писал письма из Франции с резкими оценками политического положения империи, в 1779 году переводит и издает «Та-Гио».

«Та-Гио» — яркое политическое сочинение. В нем высказан тот же круг идей, что и в «Рассуждении о непременных государственных законах», сочинении, которое Фонвизин вынужден был держать в тайне. Здесь мы встречаем знакомые фонвизинские мысли: «Нет никакой разности между государем и последним подданным», «Любовь подданных дает скиптры и короны. Их ненависть исторгает оные и преломляет», «Добродетель есть непоколебимое основание престола».

Чрезвычайно важно указание Фонвизина о включении в собрание «Записок первого путешествия». Нам известны письма из первого путешествия, то есть из Франции, написанные П. И. Панину и сестре.

Давно уже высказывалось предположение, что подобные письма предназначены были не одному только адресату, что с ними знакомился довольно широкий круг читателей, близких к дому Панина и сестры писателя. Теперь мы знаем о намерении Фонвизина напечатать свои письма из Франции. Несомненно, что в основу «Записок» были бы положены письма, и письма к П. И. Панину прежде всего. Приготовляя их к печати, превращая их в «Записки», Фонвизин, наверное, кое-что бы в них изменил: устранил личные обращения, снял некоторые подробности биографического характера и т. д. К письмам из Франции мы обязаны относиться как к художественному произведению, предназначавшемуся для печати. Тем самым наше представление о Фонвизине-прозаике становится куда более богатым, чем оно было до сих пор. Фонвизин-прозаик — это автор писем из Франции, «Повествования мнимого глухого и немого», повести «Каллисфен», «Чистосердечных признаний

в делах моих и помышлениях», ряда сатирических произведений в журналах «Друг честных людей» и «Собеседник любителей российского слова».

Наконец, объявленный Фонвизиным проспект Полного собрания сочинений помогает решить еще одну спорную в науке проблему: кому принадлежат «Письма к Фалалею», впервые напечатанные в 1772 году в «Живописце», — Новикову или Фонвизину?

Выдвинутая в свое время версия, что автором «Писем к Фалалею» является Фонвизин, получила в 30—40-е годы довольно широкое распространение. Принадлежат ли «Письма к Фалалею» Фонвизину? Изучение проспекта Полного собрания сочинений Фонвизина позволяет дать отрицательный ответ. К 1788 году «Письма к Фалалею», уже трижды изданные, были популярны в публике. Если бы они принадлежали автору «Недоросля», он несомненно назвал бы их в проспекте, как назвал «Лисицу-казнодей», «Послание слугам моим» своими сочинениями, как счел нужным уведомить читателя, что однажды опубликованное «Повествование мнимого глухого и немого» и повесть «Каллисфен» принадлежат ему. Фонвизин этого не сделал только потому, что он не писал «Писем к Фалалею».

Итак, полное собрание своих сочинений Фонвизину издать не удалось. Рукописи были увезены Богдановичем в Полтаву. Проспект издания оказался утраченным. Долгое время переиздавались лишь две комедии — «Бригадир» и «Недоросль». Некоторые сатирические произведения Фонвизина стали распространяться в списках. В различных архивах и рукописных отделах библиотек страны сохранились списки «Всеобщей придворной грамматики», «Письма надворного советника Взяткина», «Рассуждения о непременных государственных законах», писем П. И. Панину из Парижа. В рукописном отделе Института русской литературы Академии наук в Ленинграде хранится отличная писарская копия «Писем к генерал-аншефу графу Петру Ивановичу Панину от канцелярии советника Фонвизина».[1] Копия сделана, видимо, в 800-х годах (бумага с водяными знаками 1804).

В 1798 году «Санкт-Петербургский журнал» познакомил читателя с началом «Чистосердечного признания в делах моих и помышлениях» (воспоминания оканчивались рассказом о том,

---

[1] Р. II, оп. 1, № 465.

как Фонвизин читал «Бригадира» Екатерине). Там же были напечатаны два письма П. И. Панину из Франции. В 1806 году в «Вестнике Европы» эти два письма перепечатаны с дополнением еще четырех писем Панину. В 1801 году в «Правдолюбце» появились под именем Фонвизина «Каллисфен» и «Та-Гио». Впоследствии в ряде журналов стали появляться новые произведения Фонвизина. В 1830 году вышло первое авторитетное собрание сочинений Д. И. Фонвизина в четырех частях, подготовленное П. П. Бекетовым и изданное книгопродавцем И. Г. Салаевым.[1] Часть произведений в собрании П. П. Бекетова воспроизводилась по печатным изданиям, другие — по рукописям, которые удалось редактору собрать у родственников писателя.

Собрание сочинений, подготовленное П. П. Бекетовым, познакомило читателей с большим числом новых произведений Фонвизина: статьи из журнала «Друг честных людей, или Стародум» — «Письмо Взяткина» (дополнен и исправлен текст), «Разговор у княгини Халдиной», «Наставление дяди племяннику»; комедия «Выбор гувернера», неоконченное стихотворение «К уму моему», письма к Я. И. Булгакову, П. И. Панину из Монпелье и Рима, И. П. Елагину, двадцать пять писем сестре Ф. И. Аргамаковой, отрывок из журнала путешествия в Вену и «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» (с дополнением окончания второй книги и сохранившегося текста третьей книги). Перепечатано с рукописи «Жизнеописание Н. И. Панина». Из «Собеседника любителей российского слова» включены «Примечания на критику «Сословника», «Письмо к сочинителю «Былей и небылиц», «Челобитная российской Минерве». Напечатано также «Размышление о суетной жизни человеческой». «Недоросль» опубликован по рукописи, включавшей последние исправления и дополнения автора.

Издание 1830 года, подготовленное П. П. Бекетовым, представляющее огромную ценность, делалось, как видим, не по плану Фонвизина. План и рукописи, подготовленные Фонвизиным, оказались неизвестными П. П. Бекетову. Оттого многие

---

[1] В 1829 и 1830 годах вышло еще два собрания сочинений Д. И. Фонвизина. Первое — «Собрание сочинений и переводов Д. И. Фонвизина», в двух частях, М., 1829. Второе — «Собрание оригинальных драматических сочинений и переводов Д. И. Фонвизина», в трех частях, М., 1830. Оба издания носили коммерческий характер. Состав их определялся произвольно, тексты печатались возмутительно неряшливо, с грубыми искажениями.

важные переводные и оригинальные произведения Фонвизина, которые автор считал обязательным включать в собрание своих сочинений, в издание П. П. Бекетова не попали. В процессе подготовки своего издания П. П. Бекетову удалось создать новый фонд рукописей Фонвизина. Весьма вероятно, что некоторые рукописи Бекетов не счел возможным по каким-либо причинам печатать.[1] К величайшему сожалению, и этот фонд рукописей Фонвизина, вслед за рукописями, попавшими в руки П. Богдановича, утрачен. Тем самым многие публикации П. П. Бекетова служат для нас первоисточником.

В 1848 году вышла первая серьезная книга, посвященная жизни и творчеству Фонвизина, написанная П. А. Вяземским. Вначале Вяземский предполагал написать всего лишь вступительную статью к изданию П. П. Бекетова. «Краткое введение к творчеству Фонвизина» разрослось до размеров книги. Подготавливая ее, Вяземский собрал довольно значительный материал, относящийся ко второй половине XVIII века, в котором главное место занимали автографы Фонвизина. Большую часть

---

[1] В этом отношении заслуживает внимания протест наследников Фонвизина (О. П., К. И., А. С.) против передачи П. П. Бекетовым права на издание сочинений Д. И. Фонвизина книгопродавцу Салаеву. Наследники беспокоились, что новый издатель не станет соблюдать их требование представить им на просмотр подготовленное для печати собрание сочинений покойного писателя. «Сия предосторожность, — писали они, — была необходима для того, чтобы в число печатаемых сочинений помещены не были:

а) сочинения, ложно приписываемые покойному, b) сочинения и переводы, коими ознаменовано было вступление его на литературное поприще; из сих впоследствии он сам некоторые называл грехами юности своей, c) некоторые частные письма, писанные не для публики, и, наконец, d) такие сочинения, которые самим автором не были предназначены к тиснению» (ЦГАЛИ, ф. 517, оп. 2, ед. хр. 7). Письмо совершенно ясно свидетельствует, что не только наследникам, но и П. П. Бекетову были *известны* рукописи сочинений и «не предназначенных к тиснению» и тех, что писатель считал «грехами юности своей» (видимо, речь идет о сатирических стихотворениях). П. П. Бекетов в свое время, при получении рукописей от наследников, дал слово выполнить их требование. Как показывает подготовленное им и изданное Салаевым собрание сочинений Д. И. Фонвизина, он свое обязательство выполнил. Следовательно, в созданном им фонде рукописей Фонвизина должны были остаться представляющие интерес произведения, которые он не имел возможности в свое время напечатать.

он опубликовал в приложениях к отдельным главам своей книги. Особую ценность имеют письма: 37 писем к П. И. Панину из Петербурга за 1771—1772, 4 письма сестре из Петербурга за 1763—1769 годы. Остальные публикации — отрывки неоконченных оригинальных и переводных произведений писателя — комедия «Добрый наставник» (одно явление), отрывок из журнала путешествия в Ригу, Бальдон и Митаву, отрывок перевода из «Илиады» и поэмы Геснера «Смерть Авеля». К сожалению, публикации Вяземского сделаны крайне небрежно, — он печатал тексты не только с пропусками и ошибками, но и делал произвольные вставки и исправлял стиль.

К счастью, большая часть собранного Вяземским рукописного фонда литературного наследия Фонвизина сохранилась и ныне находится в литературном архиве в Москве (ЦГАЛИ). До нас дошли рукописи всех опубликованных Вяземским писем Фонвизина к П. И. Панину, что дает возможность исправить все многочисленные ошибки и восстановить пропуски публикатора; отрывок комедии «Добрый наставник», фрагменты переводов «Илиады» и «Смерти Авеля». Там же хранятся рукописи некоторых известных Вяземскому сочинений Фонвизина, но не опубликованных им: «Мнение о избрании пиес в «Московские сочинения», дневники последнего заграничного путешествия. Представляет большой интерес список «Друга честных людей, или Стародума».

В 1866 году Глазунов издал под редакцией П. А. Ефремова «Сочинения, письма и избранные переводы Д. И. Фонвизина». Подготовленное Ефремовым собрание сочинений — наиболее полное, научно-авторитетное издание, в известной мере приближавшееся к замыслу самого Фонвизина. Ефремов не только напечатал все уже известные к тому времени сочинения Фонвизина, проверив их или по рукописям, или по печатным публикациям, но и дополнил свое издание новыми произведениями. Главный вклад П. Ефремова — двадцать шесть писем Фонвизина к сестре и родным за 1763—1774 годы. Многие письма к родным и П. И. Панину из заграничных путешествий проверены по рукописям, в результате чего внесены исправления и дополнения. Впервые были напечатаны письма Воинову и П. Б. Пассеку.

Собрание сочинений Фонвизина, вышедшее под редакцией П. А. Ефремова в 1866 году, до сих пор остается единственно авторитетным. Появившееся в 1888 году издание Шамова, превосходя ефремовское по полноте, было сделано на низком

научном уровне. Но и ефремовское издание сегодня не может нас удовлетворить: оно далеко от полноты, тексты некоторых произведений напечатаны с неавторитетных списков, другие содержат ошибки, в третьих сделаны купюры. Так, даже перепечатка некоторых произведений, например, «Торгующего дворянства», сделана неряшливо, с пропусками слов, с произвольными вставками предложений вместо пропущенных фраз. Отсутствуют у Ефремова многие важные произведения, которые упоминает Фонвизин в проспекте своего собрания сочинений. Наиболее полно у Ефремова представлено эпистолярное наследство писателя. Но и здесь имеются значительные пропуски. Так, из писем Фонвизина к П. И. Панину мы знаем, что из Парижа он послал три письма, а опубликовано только два, из Монпелье послано четыре, а Ефремовым напечатаны только три, и т. д. Как показывает изучение некоторых архивов, П. А. Ефремов иногда, имея в своем распоряжении автографы, не публиковал их. Укажу на один пример: ознакомившись с собранием рукописей Публичной библиотеки Петербурга, он опубликовал из него письмо П. Б. Пассеку, а лежащие тут же рядом письма П. И. Панину из Петербурга и Я. И. Булгакову и П. И. Панину из Парижа — пропустил. Правда, может быть, сделано это потому, что читать эти автографы чрезвычайно трудно.

В конце века крупнейший историк русской литературы Н. С. Тихонравов принялся за подготовку Полного собрания сочинений Фонвизина. По свидетельству В. Якушкина, Тихонравов собрал много новых, ранее неизвестных произведений писателя. Сам Якушкин передал Тихонравову копию заграничного дневника Фонвизина за 1787 год.[1] Что это за дневник? Тот самый, отрывки из которого напечатал П. П. Бекетов? Но какой смысл было делать копию с этого дневника, если основное его содержание — ежедневная запись состояния здоровья, перечень принятых лекарств и полученных в трактирах кушаний на завтрак, обед и ужин? Дневник, с которого печатал отрывки П. П. Бекетов, ныне находится в Москве, в ЦГАЛИ.

Н. С. Тихонравов предложил Отделению русского языка и словесности Академии наук издать подготовленные им в трех томах «Материалы для полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина». В первый том входили драматические произведения

---

[1] «Мало известные сочинения Д. И. Фонвизина». — «Русские ведомости», 1894, № 336.

(«Альзира», «Корион», «Бригадир», «Недоросль»). Во второй — сочинения и переводы, вовсе не бывшие в печати или не включавшиеся ни в одно собрание сочинений Фонвизина. В третий — произведения, приписываемые Фонвизину. Смерть Н. С. Тихонравова оборвала работу. В 1894 году вышел лишь первый том «Материалов», содержавший драматические сочинения. По свидетельству В. Якушкина, рукописи произведений Фонвизина, которые должны были войти во второй том, остались у наследников ученого. Через несколько лет наследники продали все бумаги и книги библиотеки Тихонравова Румянцевскому музею. Ныне огромное собрание Н. С. Тихонравова хранится в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. Рукописей неизвестных произведений Фонвизина нет. Так созданный новый фонд автографов Фонвизина опять исчез, и нет никаких следов, где бы можно было искать утраченные бумаги.

Вышедший единственный том «Материалов» имеет важное значение. «Альзира» и «Корион» не печатались при жизни автора и дошли до нас в многочисленных списках. Н. С. Тихонравов печатает «Альзиру» по списку Исторического музея, относящемуся ко второй половине XVIII века. На обороте первого листа списка имеется помета П. П. Бекетова: «В рукописи поправки сделаны собственной рукой переводчика Д. И. Фонвизина». Эту наиболее авторитетную редакцию трагедии Тихонравов и положил в основание своей публикации. «Корион» напечатан по рукописи XVIII века, находившейся в собрании Н. С. Тихонравова. «Бригадир» воспроизведен им также по рукописному списку. Автор примечаний к «Материалам» Л. Майков указывает, что это — рукопись из собрания Н. С. Тихонравова. В. Якушкин в рецензии на «Материалы» утверждает, что такой рукописи в собрании Тихонравова не было и что он пользовался списком, принадлежащим библиотеке Малого театра. Как показало изучение различных изданий «Бригадира», текст, напечатанный Н. С. Тихонравовым, не отражает последней воли автора и потому не может быть признан авторитетным.

Наибольшую ценность в «Материалах» представляет текст «Недоросля». Н. С. Тихонравов печатал комедию по первому ее изданию (1783). В подстрочных примечаниях им приведены варианты из других публикаций (П. П. Бекетова, второго издания в Петербурге в 1788 году и писарского списка, хранящегося в Румянцевском музее — ныне в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина). Особое значение представляют

опубликованные варианты из рукописного списка, в которых мы встречаем поправки, сделанные рукой Фонвизина. По всей вероятности, это последняя редакция «Недоросля». В списке имеются вставки, отсутствующие в первом и во втором изданиях. Некоторые из них не могли быть напечатаны по цензурным причинам. Авторитетность текста этого списка подтверждается и тем, что в основном он почти совпадает с текстом «Недоросля» бекетовского издания, напечатанного с рукописи, ныне утраченной.

В советское время подготовкой Полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина занимался крупнейший знаток литературы XVIII века Я. Л. Барсков. К сожалению, смерть исследователя не позволила ему осуществить свой замысел. Архив Я. Л. Барскова хранится в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. Изучение его показывает, что исследователем была проделана значительная работа. Заслуживают внимания предпринятые им розыски рукописей Фонвизина. В ЦГАДА он обнаружил и сделал фотокопии с нескольких автографов, бывших, по всей вероятности, в свое время в собрании П. А. Вяземского. Это отрывок комедии «Добрый наставник», заметка «Мнение о избрании пиес в «Московские сочинения», отрывки двух прозаических сочинений — «О древних римских обычаях», «Иппократ и Демокрит», а также отрывки переводов «Илиады» и «Смерти Авеля». Ныне эти рукописи находятся в ЦГАЛИ. Была известна ему и рукопись «Рассуждения о непременных государственных законах», хранящаяся в ЦГАДА.

Полное собрание сочинений Д. И. Фонвизина так и не было подготовлено в советское время. Многократно выходили в Гослитиздате избранные сочинения, включавшие «Бригадира», «Недоросля», статьи из «Собеседника любителей российского слова» и «Друга честных людей». Печатались некоторые письма. Новым в этих однотомных изданиях было «Рассуждение о непременных государственных законах» (так называемое «Завещание Панина»), но и оно уже было известно читателю по специальным публикациям середины XIX века. Почти ежегодно в различных издательствах страны выходили комедии Фонвизина «Бригадир» и «Недоросль». Поскольку не был установлен канонический текст этих комедий, они печатались с различных и, к сожалению, чаще всего неавторитетных изданий. Как показывает проверка, при этих переизданиях к старым ошибкам прибавлялись новые.

В 1950 году в издательстве «Искусство» под редакцией П. Н. Беркова вышел сборник «Русская комедия XVIII века», в который включены и обе комедии Фонвизина. П. Н. Берков после изучения вопроса о каноническом тексте «Бригадира» пришел к выводу, что публикация Н. С. Тихонравова наиболее авторитетна. Поэтому «Бригадир» печатается им по тому же списку, который использовал Н. С. Тихонравов для подбора вариантов в «Материалах». Текст «Недоросля», как указывает П. Н. Берков в примечаниях, «печатается по первому изданию с дополнением по рукописи из собрания Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина».

При подготовке настоящего издания сочинений Фонвизина был учтен накопленный опыт и все достижения предшественников. Вот почему работа началась с обследования различных архивов и книгохранилищ Ленинграда и Москвы. Были просмотрены десятки журналов второй половины XVIII века, комплекты «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Московских ведомостей» за период с 1765 по 1792 год. Разыскания дали результаты — установлен факт подготовки Фонвизиным Полного собрания сочинений в 1788 году, обнаружен проспект этого собрания, позволивший установить принадлежность Фонвизину новых, ранее нам неизвестных сочинений, найдены новые произведения писателя — оригинальные и переводные, письма к разным лицам.

Вот почему данное издание делается в соответствии с волей автора, высказанной им в проспекте подготовленного в 1788 году пятитомного собрания своих сочинений. Собрание состоит из двух частей: оригинальных и избранных переводных произведений. Впервые печатаются те произведения, которые названы в проспекте издания и которые автор хотел видеть в своем собрании. Наконец, печатаются здесь произведения, которые Фонвизин не мог опубликовать при жизни под своим именем по разным причинам («Вопросы сочинителю «Былей и небылиц», «Рассуждение о непременных государственных законах», «Жизнь графа Н. И. Панина», многие письма и др.).

Все печатаемые в настоящем собрании произведения заново проверены или по рукописям (в тех случаях, когда они сохранились), или по прижизненным печатным публикациям, или по тем изданиям (П. П. Бекетова, П. А. Вяземского и П. А. Ефремова), редакторы которых имели в своем распоряжении автографы, ныне утраченные или по каким-либо причинам оказавшиеся нам недоступными.

I. НОВЫЕ, ВПЕРВЫЕ ПЕЧАТАЮЩИЕСЯ В СОБРАНИИ СОЧИНЕНИЙ Д. И. ФОНВИЗИНА, ОРИГИНАЛЬНЫЕ И ПЕРЕВОДНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПИСЬМА

«Повествование мнимого глухого и немого». Печатается на основании свидетельства самого Фонвизина, по тексту «Собеседника любителей российского слова» (1783, части IV и VII).

«Рассуждение о национальном любочестии». Воспроизводится по тексту первого и единственного издания 1785 года.

«Та-Гио». Впервые публикуется как достоверный перевод Фонвизина. Текст, напечатанный в журнале «Правдолюбец» за 1801 год, должен быть отвергнут, поскольку в нем произвольно сокращены примечания. Воспроизводится текст по изданию «Академические известия» на 1779 год, часть II.

«Сокращение о вольности французского дворянства и о пользе третьего чина». Впервые на принадлежность этой работы Фонвизину указал П. А. Вяземский: «Известно также, что он переводил, и вероятно по поручению начальства, книгу: «О вольности французского дворянства и о пользе третьего чина», тут же приложено и «Рассуждение о третьем чине».[1] В 1882 году этот перевод был напечатан в «Архиве князя Воронцова» (т. XXVI). Такие авторитетные исследователи творчества Фонвизина, как Г. А. Гуковский (см. «История русской литературы», АН СССР, т. IV) и П. Н. Берков (см. «Театр Фонвизина и русская культура» в сб. «Русские классики и театр», «Искусство», 1947), считали возможным рассматривать это произведение как фонвизинское, называя его «полупереводным, полуоригинальным». В последнее время новейший исследователь К. В. Пигарев решительно выступает против этого мнения. «Среди литературоведов было распространено мнение, что заключительная часть этого трактата представляет собой оригинальное произведение Фонвизина и тем самым является изложением его социальной программы. Документальные данные этого не подтверждают, а поскольку перевод сделан, вероятнее всего, в качестве служебного задания, то едва ли он дает право для подобных выводов».[2] «Документальные данные», о которых упоминает К. В. Пигарев, это подпись Фонвизина на рукописи,

---

[1] П. А. Вяземский. Фон-Визин, СПб., 1848, стр. 283.

[2] К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина, М., изд. АН СССР, 1954, стр. 57.

хранящейся в архиве Министерства иностранных дел: «Переводил переводчик Денис Фонвизин».[1]

В какой мере аргументация К. В. Пигарева убедительна? Разберемся в ней подробнее. В Коллегии иностранных дел, где служил Фонвизин, был заведен порядок, по которому переводчикам поручалось внимательно следить за всеми новыми политическими трактатами, появляющимися в Англии, Франции и Германии. В архиве Министерства иностранных дел сохранилось несколько огромных папок, содержащих «Различные политические сочинения». То были или полные переводы, или краткие изложения, рефераты, так называемые «сокращения». Приготовление подобных сочинений носило практический характер. Они либо информировали крупных государственных чиновников о положении дел в Европе, либо обусловливали принятие необходимых мер в делах внешних, либо служили основанием для выводов о некоторых делах внутренних. Видимо, получил задание и Фонвизин. Представленное им сочинение он озаглавил: «Сокращение о вольности французского дворянства и о пользе третьего чина». Итак, перед нами не перевод, а сокращение, то есть краткое изложение существа проблемы того сочинения, которое было предложено молодому переводчику. И действительно, судя по размеру и стилю, перед нами *изложение* главных мыслей неизвестного нам автора, а не точный *перевод* какого-то сочинения. К. В. Пигарев, державший в руках рукопись Фонвизина, хранящуюся в архиве МИДа, не заметил, что она называется *«Сокращение* о вольности французского дворянства и о пользе третьего чина», и именует трактат так же, как он озаглавлен в «Архиве князя Воронцова», — *«Краткое извлечение* о вольности французского дворянства и о пользе третьего чина». А это не случайное расхождение: дело в том, что публикация 1882 года сделана с другого списка, хранящегося в семейном архиве Воронцовых. Следовательно, мы сталкиваемся с новым для нас фактом — фонвизинское сочинение *распространялось в списках.* Одна рукопись хранится в архиве МИДа, другая — в архиве Воронцовых. Несомненно, необходимость снятия копии (хотя бы одной, а может быть, существовали и другие, до нас не дошедшие) была обусловлена значительностью изложенных в «Сокращении» мыслей.

---

[1] МИД СССР, фонд «Внутренние коллежские дела», д. № 5632—5640.

В этой связи следует вспомнить, что в 1766 году Фонвизин выпустил перевод книги «Торгующее дворянство». В ней развивались некоторые близкие к «Сокращению» вопросы. Вот почему можно предположить, что «Сокращение» писалось приблизительно в то же время. Но К. В. Пигарев называет более раннюю дату перевода. «Сокращение» подписано: «Переводил переводчик Д. И. Фонвизин». Переводчиком Фонвизин был в Коллегии иностранных дел с октября 1762 по начало 1764 года. Следовательно, в это время и был сделан перевод, — делает вывод К. В. Пигарев, поскольку с 1764 года Фонвизин, получивший новое звание, подписывался иначе — «Переводил титулярный советник». Но факты свидетельствуют, что и позже Фонвизин, подписываясь, называл должность: «переводчик коллегии», а не звание: «титулярный советник». В архиве Академии наук имеется распоряжение Ивана Тауберта о выплате Фонвизину за перевод «Юстиева о правительствах» (перевод, к сожалению, до нас не дошедший): «Государственной коллегии иностранных дел переводчик Фонвизин представил книгу, переведенную им с немецкого языка на российский, называемую «Юстиева о правительствах», которая состоит из трех частей, и требовал за каждую часть о выдаче ему по пятидесяти рублев, а за всё ста пятидесяти рублев, а ниже той цены не брал, а по указу ее императорского величества канцелярии Академии наук приказали: у оного переводчика Фонвизина означенную книгу за показанную от него цену взять и с запискою в расход и с распискою о том комиссару Зборомирскому дать указ, а книгу отослать в новую типографию при ордере и велеть оной напечатать тысячу двести экземпляров, в том числе сто на заморской, а остальные на здешней, обыкновенной бумаге, и по напечатании с показанием цены подать репорт».[1] Распоряжение написано 5 марта 1765 года.

Трактат Юстия «О правительствах» — примечательное сочинение просветительской литературы, разрабатывавшее важнейшие и острополитические проблемы: законодательство, благосостояние народа, гражданские добродетели, промыслы народа и т. д. «Торгующее дворянство» посвящено вопросу политического и социального бытия дворянства и купечества в государстве. К этим произведениям и примыкает «Сокращение». Сделав *реферат,* Фонвизин в конце его изложил *свои мысли*

---

[1] Архив АН СССР, ф. 3, оп. 1, № 467, стр. 103.

о том, что необходимо сделать в России. Екатерина готовила созыв Комиссии по составлению нового уложения. Связанный с двором, Фонвизин отлично знал об этих приготовлениях. В атмосфере всеобщего интереса к предстоящему созыву Комиссии для выработки нового законодательства рождались многие политические книги, проекты, записки. Среди них должно рассматривать и «Сокращение» с конкретными предложениями социальных реформ, заинтересовавшее, видимо, некоторых деятелей и оттого распространявшееся в списках.

Вот что после конспективного изложения чужих мыслей (важных для переводчика) написал Фонвизин собственной рукой: *«Сей третий чин не трудно учредить и в России.* Со временем можно будет оплатить долги государственные или партикулярные, смотря на состояние всякого от неволи освобожденного раба». *«Словом, в России надлежит быть...»* Как же можно отрицать принадлежность Фонвизину этого вывода, этой программы, этого, по-фонвизински кратко, лаконично изложенного плана социального преобразования России? Ссылка на подпись «переводил переводчик» формальна. В тексте, опубликованном в воронцовском архиве, такой подписи, например, нет. Исследователь, категорически отвергающий принадлежность Фонвизину программы социальных преобразований, обязан ответить на вопрос — кому же принадлежит эта программа? Кто из французских политических деятелей так отлично знал в 60-е годы Россию, уклад ее социальной жизни, деревню, систему оброков, состояние купечества и т. д.? Кто предлагал эти преобразования, скрыв свое имя? Вряд ли К. В. Пигарев сможет ответить на эти вопросы. «Сокращение» — не служебный перевод, сделанный по указке начальства. «Сокращение» — реферат французского сочинения, поднимавший вопросы, волновавшие Фонвизина, который позволил ему в канун созыва Комиссии по составлению нового уложения изложить свой план ликвидации крепостного права в России.

В нашем издании «Сокращение» печатается по автографу, хранящемуся в архиве МИДа и отличающемуся от текста, опубликованного в «Архиве князя Воронцова».

«Начертание для составления Толкового словаря славяно-российского языка» и *«Способ, коим работа Толкового словаря славяно-российского языка скорее и удачнее производиться может».* В день открытия Российской академии (21 октября 1783 года) объявили список первых членов Академии, среди

которых был назван и присутствовавший на заседании Д. И. Фонвизин. На втором собрании (28 октября) обсуждался проект устава Академии. И. П. Елагин предложил заняться подготовкой словаря. Президент Академии Е. Р. Дашкова рекомендовала «из господ членов сделать отряд, в котором бы установить правила и порядок о сочинении Российского толкового словаря, который наипаче для российского языка нужен». Членами отряда Е. Р. Дашкова «изволила назначить господ Фонвизина, Леонтьева, Румовского и Лепехина».[1]

В следующем заседании (11 ноября 1783 года) Фонвизин уже представил «Начертание»: «Читано было Денисом Ивановичем Фонвизиным начертание для составления Толкового словаря славяно-российского языка, сочиненное отрядом».[2] После обсуждения было решено «Начертание» размножить и разослать всем членам Академии. 18 ноября представленное «Начертание» после обсуждения было признано «за достаточное», и указано, «что Академия, держася оного, благоуспешнее может достигнуть в сочинении словаря намерения своего».[3]

Итак, «Начертание» поручено было «сочинить отряду», состоявшему из Фонвизина, Леонтьева, Румовского и Лепехина. Занятость Лепехина делами (секретарь Академии) не позволила ему принять участие в работе «отряда». Это мы узнаем из «Известия Академии», напечатанного во втором томе «Словаря Академии российской». В том же «Известии Академии» сказано: «Денис Иванович Фонвизин сообщил Академии слова, с букв «к» и «л» начинающиеся и выбранные им из «Летописца архангелогородского»; участвовал в составлении правил, коих держаться надлежало в сочинении словаря».[4] Н. В. Леонтьев лишь «соучаствовал в составлении правил, в сочинении словаря нужных». С. Я. Румовский «участвовал в составлении правил, до составления словаря касающихся». Таково официальное уведомление о доле участия трех членов «отряда» в составлении окончательного варианта «Начертания» — Фонвизин и Румовский «участвовали», Леонтьев «соучаствовал».

Н. В. Леонтьев — незначительный поэт 60-х годов, автор элегий и басен, в 80-е годы больше занимался служебной карьерой,

[1] Архив АН СССР, ф. 8, оп. 1, д. № 1, л. 12 и 12 об.
[2] Там же, стр. 17 об. и 18.
[3] Архив АН СССР, ф. 8, оп. 1, д. № 1, л. 21 об.
[4] Словарь Академии российской, ч. II, СПб., 1792, стр. IX.

чем литературой. «Соучастие его в составлении «Начертания» заключалось в том, что он обсуждал и высказывал свое мнение на представленный текст «Начертания». С. Я. Румовский — профессор астрономии Академии наук. На него прежде всего возлагалась роль консультанта — какие слова точных наук следует включать в Толковый словарь славяно-российского языка. Д. И. Фонвизин — крупнейший, популярнейший и авторитетный писатель, автор «Бригадира» и «Недоросля», опытный переводчик. Не случайно потому именно он, Фонвизин, и читал «Начертание» на общем собрании Академии, — видимо, его доля участия в работе наибольшая. Следует помнить и то, что в «Известии Академии», напечатанном в «Словаре», говорится о том «Начертании», которое было выработано в результате многих обсуждений его на заседаниях, после включения в него многочисленных поправок. Текст же, читавшийся Фонвизиным на заседании Академии 11 ноября 1783 года, — это *первый вариант «Начертания»*. Он-то и был составлен Фонвизиным. О том же свидетельствует и письмо Фонвизина к Козодавлеву, посланное в начале 1784 года. Письмо вызвано следующим обстоятельством: живя в Москве, Фонвизин узнал, что член Академии Болтин после принятия «Начертания» прислал свои замечания, в которых решительно отвергал принципы составления словаря, сформулированные в проекте, прочитанном Фонвизиным. Академия в своем собрании от 30 января приняла замечания Болтина и отвергла ранее принятое «Начертание». Такая непоследовательность Академии возмутила Фонвизина. Он написал Козодавлеву письмо, в котором защищал «Начертание». Фонвизин знал, что Козодавлев близок к Дашковой, и потому его аргументы, собственно, обращены к президенту Российской академии. Фонвизинское письмо окончательно убеждает нас в том, что автором «Начертания» был сочинитель «Недоросля». По своему характеру это даже не письмо, а филологическое исследование, непосредственно примыкающее к «Начертанию», дополняющее его и раскрывающее темы и принципы, кратко сформулированные в плане словаря. Кроме того, оно свидетельство глубоких лингвистических знаний Фонвизина, которыми не обладали ни Леонтьев, ни Румовский. Наконец, в письме Фонвизин отстаивает со страстью именно *свои* взгляды и убеждения, изложенные в «Начертании». Оттого он прямо заявляет, что именно ему принадлежат те или иные оспариваемые Болтиным формулировки: «В примечаниях рас-

критикован употребляемый *мною* термин «сослово» и преображен в «сослов». Заметим — *«мною»,* а не *«нами».* Вспомним также, что в I, IV и X частях «Собеседника любителей российского слова», вышедших в мае и августе 1783 и январе 1784 года, Фонвизин напечатал «Опыт российского сословника». Далее: «Может быть, *я и виноват*». И еще: «Впрочем, если Академия отвергнет *мой термин,* я повиноваться буду ее решению». Эти признания Фонвизина более чем красноречивы. Из всей суммы обстоятельств, связанных с созданием «Начертания», можно сделать совершенно обоснованное заключение — первоначальный план «Начертания», прочитанный на заседании Академии 11 ноября 1783 года и отстаиваемый в письме к Козодавлеву, принадлежит Фонвизину. Авторитетный историк Российской академии М. И. Сухомлинов уже давно пришел к подобному заключению: «Есть основание полагать, что истинным автором его («Начертания». — *Г. М.*) был Фонвизин. Он, а не кто другой из членов, читал «Начертание» в собрании Российской академии, он же горячо отстаивал «Начертание» и в личных беседах, и в письменных сношениях со своими сочленами».[1]

В архиве Российской академии, к сожалению, «Начертание» не сохранилось. Но оно оказалось среди бумаг, попавших к П. А. Вяземскому, который и опубликовал его в приложениях к своей книге о Фонвизине. Правда, при этом он приписал его без всякого к тому основания Болтину. В нашем издании «Начертание» печатается по тексту, опубликованному П. А. Вяземским, который, к сожалению, очень неисправен.

«Мнение об избрании пиес в «Московские сочинения», «Добрый наставник» (первое явление, ранее известное, и вновь найденное второе явление первого действия). Оба эти произведения печатаются по автографам, хранящимся в ЦГАЛИ.

Письмо А. М. Голицыну от 1762 года из Гамбурга печатается по автографу.

Письмо М. И. Воронцову от 1762 года из Митавы печатается по автографу.

Письма П. И. Панину от 1771 года из Петербурга и от августа 1778 года из Парижа впервые печатаются по автографам, хранящимся в Рукописном отделе Ленинградской государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина.

---

[1] М. И. Сухомлинов. История Российской академии, т. VII, стр. 11.

Письмо П. И. Панину от 2 мая 1772 года из Петербурга впервые печатается по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ. (Письмо не окончено и, видимо, не было отправлено).

Письмо П. И. Панину из Монпелье от января 1778 года. Печатается впервые с писарской копии рукописного сборника «Письма к генерал-аншефу Петру Ивановичу Панину от канцелярии советника Д. И. Фонвизина». Сборник хранится в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР в Ленинграде.

Письмо Е. Р. Дашковой от ноября 1783 года. Печатается по автографу, хранящемуся в архиве Академии наук в Ленинграде.

Письмо Я. И. Булгакову из Парижа от января 1778 года. Впервые печатается по автографу, хранящемуся в Рукописном отделе Ленинградской государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина.

«Политическое рассуждение о числе жителей у некоторых древних народов», «М. Туллия Цицерона речь за М. Марцелла» и *«Челобитная»* Д. И. Фонвизина о зачислении на службу. Печатаются по копиям, снятым Н. С. Тихонравовым с оригиналов, хранившихся в деле Фонвизина в архиве МИДа (ныне дело утрачено). Копии находятся в Рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (ТИХ. I, папка 32).

Прошение Д. И. Фонвизина об отставке. Печатается по автографу (ЦГАДА, Гос. архив, р. X, д. 610, л. 68).

II. ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПЕЧАТАЮЩИЕСЯ ПО ТЕКСТАМ ПРИЖИЗНЕННЫХ АВТОРИТЕТНЫХ ИЗДАНИЙ

«Торг семи муз». Печатается по первому и единственному изданию в университетском журнале — «Собрание лучших сочинений к распространению знаний и к произведению удовольствий», т. I, ч. 1, М., 1762.

«Лисица-кознодей». Печатается по тексту журнала «Распускающийся цветок, или Собрание разных сочинений и переводов», М., 1787, куда басню передал сам Фонвизин.

«Послание слугам моим» — по тексту последнего прижизненного издания, напечатанного в книге «Сидней и Силли», М., 1788.

«Слово на выздоровление... Павла» — воспроизводится текст первого издания 1771 года.

«Слово похвальное Марку Аврелию» печатается по единственному прижизненному изданию, вышедшему в 1777 году. Исправлена ошибка в фразе на стр. 191—192: «Но чаял я, что первое поучение государю долженствовало быть в зависимости и равенстве». Надо: «в независимости».

«Торгующее дворянство» — по изданию 1766 года.

«Басни» Гольберга — по третьему изданию, М., 1788. Для исправления многочисленных опечаток, ошибок и пропусков использованы два первых издания перевода, а также текст немецкого издания басен, с которого переводил Фонвизин.

«Сидней и Силли, или Благодеяние и благодарность» печатается по последнему прижизненному изданию, М., 1788.

«Иосиф» — по последнему прижизненному изданию, СПб., 1790. Опечатки и пропуски исправлены по изданиям перевода 1769, 1780, 1787 годов.

«Опыт российского сословника», «Примечание на критику», «Челобитная российской Минерве», «Поучение, говоренное в духов день», «Несколько вопросов», «Письмо к г. сочинителю «Былей и небылиц» — печатаются по единственно известному нам тексту журнала «Собеседник любителей российского слова».

«Жизнь графа Н. И. Панина». Впервые биография Н. И. Панина вышла на французском языке в 1784 году в Петербурге, хотя на титульном листе указан был Лондон (Précis historique de la vie du Nikita Iwanowitsch Panin. À Londres). Русский текст под названием «Сокращенное описание жития графа Никиты Ивановича Панина» напечатан в журнале Ф. Туманского «Зеркало света», № 4, 1786. Он перепечатывался трижды под измененным заглавием: «Жизнь графа Никиты Ивановича Панина». Последнее прижизненное издание вышло в 1792 году. Издателем был П. Богданович. В 1830 году П. П. Бекетов напечатал текст «Сокращения» по имевшейся в его распоряжении рукописи, резко отличающейся от печатных прижизненных публикаций.

Рукопись значительно полнее печатного текста. Отличается она и стилистически. Публикации Туманского и в последующем Богдановича проходили при жизни Фонвизина и явно при его согласии. Значит, этот текст исходил от него. Может быть, дошедший до Бекетова автограф есть первоначальный вариант, который Фонвизин затем переработал для печати. Во всяком случае, в нашем распоряжении имеются два отличающихся друг от друга текста, контаминировать которые нельзя. В па-

шем собрании воспроизводится текст, известный читателям XVIII века по последнему прижизненному изданию 1792 года. В примечаниях даны те дополнения, которые имеются в рукописи, изданной П. П. Бекетовым.

«Недоросль» печатается по первому изданию 1783 года, с включением дополнений, взятых из рукописного списка, хранящегося в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина.

«Бригадир». Установление канонического текста комедии чрезвычайно затруднено отсутствием автографа и авторитетного прижизненного издания. Неизвестно даже, когда «Бригадир» был напечатан впервые: В. Сопиков указывает 1786 год, митрополит Евгений — 1783 год. На имеющихся в библиотеках экземплярах различных изданий не указан год выхода из печати. Единственно достоверная прижизненная публикация «Бригадира» — в сборнике «Российский феатр» (ч. XXXIII, 1790). Текст «Российского феатра» казался Н. С. Тихоправову неавторитетным (ученый не обосновывал свою позицию), и потому он отказался даже приводить варианты из этого издания.

П. А. Ефремов перепечатал «Бригадира» из «Российского феатра», мотивировав это тем, что других изданий нет: «Но первое издание, а равно и какие-либо другие издания «Бригадира», сделанные в XVIII веке, не сохранились ни в Публичной, ни в Академической библиотеках, и их никто не имел под руками. Есть только перепечатка в XXXIII части «Российского феатра».[1] Отсутствие у П. А. Ефремова каких-либо других авторитетных изданий «Бригадира» привело к тому, что текст «Российского феатра» он перепечатал со всеми имеющимися в нем ошибками. В последующем, вплоть до нашего времени, текст «Бригадира» воспроизводится или по «Материалам», подготовленным Н. С. Тихонравовым, или по «Российскому феатру».

Действительно ли, как считали П. А. Ефремов и Н. С. Тихонравов, первое издание «Бригадира» бесследно исчезло? Изучение имеющихся в библиотеках Москвы и Ленинграда различных изданий «Бригадира» привело к следующему заключению: первое издание (без обозначения года, то есть вышедшее или в 1783, или в 1786 году) сохранилось. Один экземпляр находится в библиотеке Московского университета, другой — в Государ-

---

[1] «Сочинения, письма и избранные переводы Д. И. Фонвизина», СПб., 1866, стр. 668.

ственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (шифр 18.294.5:4). Последний раз при жизни автора «Бригадир» был опубликован в 1790 году в «Российском феатре».[1] Сравнение текстов «Российского феатра» с текстом издания (без обозначения года), имеющегося в Ленинградской публичной библиотеке, показывает, что не датированное издание более раннее и оно предшествовало «Российскому феатру». А так как до 1790 года выходило только одно издание «Бригадира», то, следовательно, экземпляр Ленинградской публичной библиотеки и есть искомое первое издание.

Как уже говорилось, в 1788 году Фонвизин хотел выпустить собрание своих сочинений. Подготавливая его, он многое поправил и изменил в ранее печатавшихся произведениях. Когда собрание было запрещено, он напечатал некоторые произведения отдельно. Можно предположить, что текст «Бригадира», подготовленный для собраний сочинений, и был передан автором в «Российский феатр».

Какие изменения внес Фонвизин в этот текст? Они носят стилистический характер и связаны главным образом с уточнением языка героев комедии. Учитывая, что в этом издании «Бригадир» будет прежде всего читаться, Фонвизин с большей силой подчеркнул нерусский колорит речи Ивана. В первом издании французские фразы, произносившиеся Иваном и советницей, писались в русской транскрипции. В издании «Российского феатра» французская речь Ивана выделена графически и дается в иностранном написании. Советница плохо знает французский язык, и произносимые ею слова печатаются в русской транскрипции.

Текст «Бригадира», опубликованный в «Российском феатре», как последнее прижизненное издание, над которым работал Фонвизин, следует признать наиболее авторитетным. Его мы и воспроизводим в нашем собрании сочинений. Первое издание позволяет проконтролировать текст «Российского феатра» и убрать все вкравшиеся опечатки. Вот сделанные нами по-

---

[1] С набора «Российского феатра» были сделаны оттиски, которые вышли отдельными книгами также без указания года. Сличение текстов показало, что, например, «Бригадир», зарегистрированный в Ленинградской библиотеке АН СССР (шифр БАН, $\frac{1786}{173}$) как первое издание 1786 года, в действительности есть оттиск из «Российского феатра».

правки. В «Российском феатре» напечатано: «С о в е т н и ц а. При всем том он скуп, как кремень» (д. I, явл. 3). В первом издании напечатано правильно: «При всем том он скуп и *тверд* как кремень». В «Российском феатре» советник говорит: «Ты думаешь, братец, что и я спустил бы моей жене, ежели б усмотрел я что-нибудь у нее *благое* на уме» (д. IV, явл. 7). В первом издании — «*блажное* на уме». Еще пример: в «Российском феатре» напечатано: «Б р и г а д и р. Выедем вон из такого дома, где я, и честный человек, чуть было не сделался бездельником». В первом издании реплика напечатана правильно: «...где я, честный человек». Восстановлена реплика советницы, открывающая третье явление четвертого акта («Не угодно ли сыграть в карты?»), выпавшая, видимо, по ошибке в издании «Российского феатра».

III. ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ Д. И. ФОНВИЗИНА И ПЕЧАТАЮЩИЕСЯ НАМИ ПО АВТОГРАФАМ ИЛИ АВТОРИТЕТНЫМ ИЗДАНИЯМ И СПИСКАМ

«Корион» печатается по изданию Н. С. Тихонравова «Материалы для Полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина», СПб., 1894.

«Послание Ямщикову» печатается по первой публикации П. А. Вяземского в его книге «Фонвизин», СПб., 1848.

«К уму моему» впервые опубликовано в собрании под редакцией П. П. Бекетова (1830). Печатается по этому изданию.

«Друг честных людей, или Стародум». В объявлении о подписке на этот журнал Фонвизин предупреждал читателей: «Целый год состоять будет из двенадцати листов. Первые четыре получить будет можно в начале мая, вторые четыре — в начале сентября и последние четыре — в начале будущего года». Далее сообщалось: «Сие сочинение хотя и готово, но прежде печатано не будет, как разве подпишутся на 750 экземпляров до первого марта». Видимо, готовы были не все 12 листов, а лишь первые 4, которые должны были выйти в мае. Как известно, Управа благочиния запретила это издание. Автограф этих сочинений не сохранился. Отдельные статьи из журнала стали распространяться в списках. Позже они попали в печать. П. Бекетов, располагавший рукописью, опубликовал впервые полностью все статьи, входившие в журнал (исклю-

чил почему-то письмо Тараса Скотинина). Текст бекетовского издания считается единственно авторитетным, и с 1830 года он воспроизводится во всех собраниях сочинений Фонвизина.

Но закономерно возникают вопросы — все ли из написанного для этого журнала дошло до нас, составляют ли известные нам статьи те четыре части, которые приготовил Фонвизин и передал в Управу благочиния, верно ли воспроизведена Бекетовым композиция журнала, и, наконец, самый главный вопрос — точно ли им воспроизведена рукопись? Есть все основания предполагать, что до нас дошло не все написанное для журнала. Это подтверждается записной книжкой П. А. Вяземского от 1823 года, где мы находим авторитетный список статей «Друга честных людей», который до сих пор не привлекал внимания исследователей. [1] Прежде всего в списке среди известных нам материалов сохранилось и неизвестное «Письмо к Стародуму от сочинителя «Недоросля» от февраля 1788 года» с текстом разговора Софьи со Стародумом из второго явления четвертого действия «Недоросля», «опущенного актерами» во время спектакля. Ссылка на актеров носит цензурный характер — те же остраполитические суждения Стародума не были напечатаны и в первом издании комедии в 1783 году; значит, их не пропустила полиция, и Фонвизин через пять лет решил вновь попытаться напечатать запрещенный текст. Таким образом, список Вяземского обогащает нас новой, очень ценной статьей журнала. Помогает список восстановить и композицию журнала. Статьи в списке расположены иначе, чем у Бекетова, и правильнее. Дело проясняют последние строки ответного «Письма Стародума к сочинителю «Недоросля» о его согласии принимать участие в журнале. Бекетов напечатал письмо с пропусками. В списке последняя фраза читается так: «Сообщаю вам теперь же несколько *полученных мною* писем *от знакомых вам особ* с моими ответами». Подчеркнутые слова Бекетов выпустил. А «знакомые особы» сочинителю «Недоросля» — это Софья и Скотинин. Оттого в списке после ответного письма Стародума следует письмо Софьи с ответом Стародума. Сюда же следует отнести и письмо Тараса Скотинина, которого, к сожалению, в списке нет. Затем помещено письмо Стародума с приложением «Всеобщей придворной грамматики» и «Письма на-

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 195, д. 1108, лл. 1—23.

дворного советника Взяткина». После этого следует письмо сочинителя «Недоросля» и разговор Стародума с Софьей из комедии. После этого дается письмо Дурыкина, ответ ему Стародума, письмо университетского профессора и, наконец, ответ Дурыкина Стародуму. После истории с Дурыкиным идет письмо Стародума от февраля 1788 года (о красноречии), затем новое письмо Стародума («Разговор у княгини Халдиной»). Последним должно быть напечатано «Наставление дяди своему племяннику» (произведение, видимо, незавершенное, поскольку нет сопроводительного письма Стародума).

Список Вяземского представляет огромную ценность, но, к сожалению, он неполон. В нем отсутствуют «Письмо Тараса Скотинина» и «Наставление дяди своему племяннику». В «Разговоре у княгини Халдиной» есть пропуски. В нашем издании «Друг честных людей» воспроизводится по тексту списка Вяземского, с дополнениями, сделанными по бекетовскому изданию.

В сатиру «Всеобщая придворная грамматика» введено одно исправление. В главе второй «О гласных и о частях речи» на вопрос «Сколько у двора глаголов?» дается ответ: «Три: *действительный, страдательный,* а чаще всего *отложительный»,* из которого ясно, что речь идет не о глаголе, а о залоге. Поэтому слово «глаголов» исправлено на «залогов».

«Рассуждение о непременных государственных законах». Печатается по писарской копии, предназначавшейся для передачи Павлу, озаглавленной «Найденное в бумагах покойного графа Никиты Ивановича Панина рассуждение о непременных государственных законах».[1] Впервые рассуждение под заглавием «О праве государственном Фон-Визина» в очень неряшливом виде было опубликовано в Лондоне в 1861 году («Исторический сборник», вып. 2). В 1907 году в книге Е. С. Шумигорского «Император Павел I. Жизнь и царствование» в приложении были напечатаны все материалы, приготовленные П. И. Паниным для передачи Павлу. Среди них было и «Рассуждение». В 1947 году в однотомнике избранных сочинений и писем Д. И. Фонвизина (Гослитиздат) редактор Л. Б. Светлов напечатал это сочинение, как он указывает, «по автографу, хранящемуся в Центральном государственном архиве древних актов».

---

[1] Центральный государственный исторический архив в Москве, ф. 728, оп. 1, д. 565, лл. 5 об. — 23.

Несмотря на такое утверждение, текст напечатан неточно. Прежде всего произвольно изменено заглавие: вместо «Рассуждение о непременных государственных законах» — «Рассуждение о истребившейся в России совсем всякой формы государственного правления и оттого о зыблемом состоянии как империи, так и самих государей». К. В. Пигарев обратил внимание, что данное заглавие взято из сопроводительного письма П. И. Панина к Павлу, являющегося как бы «резюме содержания записки».[1] В тексте «Рассуждения» имеются ошибки, которые в настоящем издании устранены. Так, Л. Б. Светлов напечатал: «В сие *благоспешное* недостойным людям время». Надо: *«благопоспешное»*. В другом месте: «Народ все будет угнетен, дворянство *уничтожено*». Надо: «дворянство *унижено*». Фраза, характеризующая государя: «Скоро сам он начинает бояться тех, которые его боятся, словом: вся власть его становится беззаконная», — бессмысленна из-за пропуска. Надо: «Скоро сам он начинает бояться тех, *кои* его *ненавидят, и ненавидеть тех, которых боится,* словом: вся власть его», и т. д. В записной книжке П. А. Вяземского (ЦГАЛИ, ф. 195, ед. хр. 1108) находятся извлечения из «Рассуждения» под названием «О необходимости законов». Там встречается интересная замена слова «нация» словом «народ». В частности, такая замена проведена в очень важной фразе: «В таком гибельном положении народ буде находит средства разорвать свои оковы — разрывает».

«Духовное завещание» перепечатывается из собрания сочинений Фонвизина под редакцией П. А. Ефремова (1866).

«Выбор гувернера» — воспроизводится текст из бекетовского издания, где комедия была напечатана по рукописи.

«Рассуждение о суетной жизни человеческой» перепечатывается из собрания сочинений Фонвизина под редакцией П. П. Бекетова.

«Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». В 1798 году в «Санкт-Петербургском журнале» появилось начало мемуарных записей Фонвизина. Издатель И. Пнин сообщал читателям: «Нижеследующее «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» получил я по случаю от одной почтенной особы» (июль, стр. 65). Мемуарная запись обрывалась на рассказе о чтении «Бригадира» при дворе. В 1830 году

---

[1] К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина, М., 1954, стр. 137.

П. П. Бекетов в собрании сочинений Фонвизина опубликовал «Чистосердечное признание» по рукописи, дополнив его окончанием второй книги и началом третьей. Рукопись не сохранилась. Поэтому мы не знаем, все ли из написанного Фонвизиным было напечатано редактором. Нами воспроизводится текст бекетовского издания. Восстановлено лишь фонвизинское чтение слова «прейсы», замененное Бекетовым на «призы».

Письма. Наиболее полный свод писем содержит собрание сочинений Фонвизина, подготовленное П. А. Ефремовым. Большую часть писем он перепечатал из тех изданий, редакторы которых пользовались автографами (П. П. Бекетов, П. А. Вяземский). Некоторые из них ему удалось исправить и дополнить по рукописям. Другие П. А. Ефремов напечатал по найденным им автографам. В настоящее время не представляется возможным все письма сверить с автографами. В нашем собрании сочинений большинство писем воспроизводится по изданию П. А. Ефремова, за исключением: а) четырех писем к А. М. Обрескову от сентября — декабря 1772 года; находясь в архиве Министерства иностранных дел, они не были известны П. А. Ефремову и впервые напечатаны Н. В. Голицыным в «Чтениях в обществе истории и древностей российских» (1902, ч. I, стр. 1—9). Первые два письма написаны, по свидетельству Н. В. Голицына, рукой Фонвизина, третье и четвертое — неизвестным лицом, но подписаны писателем. В собрании сочинений Фонвизина письма А. М. Обрескову от 1772 года печатаются впервые по тексту, подготовленному Н. В. Голицыным;

б) впервые публикуемых писем А. М. Голицыну, М. И. Воронцову, П. И. Панину, Я. И. Булгакову, Е. Р. Дашковой, которые печатаются по автографам;

в) нескольких писем, уже печатавшихся (тридцать семь писем к П. И. Панину из Петербурга, отдельные письма Я. И. Булгакову и П. И. Панину из второго и третьего заграничных путешествий), найденные автографы которых дали возможность внести в них исправления и дополнения. Отмечаю наиболее значительные:

Письмо П. И. Панину из Петербурга от 26 января 1772 года. В постскриптуме, где речь шла о бунте на Камчатке, Вяземский выбросил сообщение, что «ссылочные люди возмутились» и «учинили новую присягу его высочеству».

Письмо П. И. Панину из Петербурга от 6 апреля 1772 года. Вяземский выбросил целый абзац: «Комиссия о исследовании

преступления Пушкиных... никаким образом невозможна».[1] Там же выпущен еще один абзац — «Что же принадлежит до примечаний... великое предосуждение».

Письмо П. И. Панину от 10 июля 1772 года — восстановлена последняя фраза.

Письмо П. И. Панину от 4 августа 1772 года — восстановлен пропуск во фразе: «Дальнейшее, с нашей стороны... не спорит».

Письмо Я. И. Булгакову из Варшавы от 18 декабря 1777 года. Беловик письма хранится в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР. Восстановлен пропущенный П. П. Бекетовым абзац: «Не оставьте Даниловского... для вящего обеспечения», в котором шла речь о печатании подготовленного Фонвизиным и Даниловским лексикона. Дополнен последний абзац: «Ведая, что Петр Васильевич...»

Письмо Я. И. Булгакову из Монпелье от 25 января 1778 года. Восстановлен последний, опущенный редактором, абзац: «Жена моя...»

Письмо П. И. Панину из Парижа от 14/25 июня 1778 года. Исправлена фраза по автографу, хранящемуся в Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. П. Бекетов напечатал: «Сии твари осыпаны бриллиантами. Великолепные дома, столы, экипажи — словом, они одни наслаждаются всеми благами мира сего». Надо: «Сии твари осыпаны бриллиантами. *Для них* великолепные дома...» Автограф — черновик письма. Весь его текст почти полностью совпадает с публикацией П. П. Бекетова. Главное отличие — в ней опущены два больших абзаца. Поскольку нет беловика, трудно сказать, сделал ли это при переписке сам Фонвизин или редактор. Многие беловые рукописи свидетельствуют, что П. П. Бекетов совершенно свободно выбрасывал из них все то, что считал ненужным. Не вводя выброшенных абзацев в основной текст, мы печатаем их под строкой. Последний абзац, в котором говорится об условиях освобождения русских крепостных, неполон. На этом обрывается автограф.

Письмо П. И. Панину из Аахена от 18/29 августа 1778 года. Автограф не сохранился, но публикация этого письма в «Санкт-Петербургском журнале» И. Пнина в 1798 году позволила исправить некоторые грубые ошибки в бекетовском издании (они повторены П. А. Ефремовым). Фраза: «Но надлежит только

[1] ЦГАЛИ, ф. 517, об. 1, од. хр. 4, стр. 33.

взглянуть на самих господ нынешних философов, чтобы увидеть, каков человек без религии, и потом заключить, как *прочно* было бы без оной все человеческое общество», — бессмысленна из-за испорченного слова «прочно». В «Санкт-Петербургском журнале» — «...как *порочно* было бы без оной...» Фраза: «Ваше сиятельство, из сего усмотреть изволите, сколь тверда во Франции сила духовенства, когда в сохранении сам двор видит свою пользу», по обыкновению, исправлена П. П. Бекетовым. В журнале читаем: «...в сохранении его *интересован* сам двор». В фразе: «Король, будучи ограничен законами, имеет в руках всю силу попирать законы» допущена грубейшая ошибка, сохранившаяся и в издании Ефремова. В журнале она напечатана правильно: «Король, будучи *не ограничен* законами...»

Письмо П. И. Панину из Бадена от июня 1785 года. В числе писем к сестре писателя Ф. И. Аргамаковой из третьего заграничного путешествия П. П. Бекетов напечатал и письмо из Вены от мая 1785 года. П. А. Ефремов перепечатал его, но высказал мнение, что письмо обращено не к сестре, а скорее к П. И. Панину. Найденный нами автограф подтвердил это предположение. Письмо адресовано П. И. Панину, и не из Вены, а из Бадена, и не от мая, а от июня 1785 года. Нами восстановлен подлинный текст письма, из которого П. П. Бекетов убрал несколько фраз о лицемерии духовенства. [1]

Письмо П. И. Панину из Рима от апреля 1785 года. Проверено и исправлено по автографу. [2]

Письма С. С. Зиновьеву из Петербурга от 1772 года проверены по автографу. [3]

«Недоросль». Список так называемого раннего «Недоросля» находится в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР в Ленинграде. Комедия впервые напечатана Г. Коровиным в «Литературном наследстве» (1933, вып. 9—10). Вся рукопись представляет собою два варианта ранней комедии. Один содержит текст первых трех действий, другой — менее полный текст всей комедии. Г. Коровин опубликовал сводный текст, который мы и воспроизводим в нашем издании.

На принадлежность этой неоконченной комедии Фонвизину впервые указал П. Н. Полевой в «Истории русской словесности с древнейших времен до наших дней». Г. Коровин при публикации

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 517, оп. 1, ед. хр. 2.

[2] Там же, лл. 18—19.

[3] ЦГИА, ф. 728, об. 1, д. 209, л. 1—4.

комедии обосновал ее принадлежность Фонвизину. С его мнением согласились такие видные исследователи XVIII века, как П. Н. Берков, Д. Д. Благой и Г. А. Гуковский. В последнее время К. В. Пигарев на основании изучения рукописи, и прежде всего почерка и водяных знаков на бумаге, опровергает эту точку зрения. Каковы аргументы К. В. Пигарева?

Текст комедии сохранился в двух списках. Первый список написан в большей части скорописью одним лицом. Второй, продолжающий первый, — несколькими (по Г. Коровину — двумя, по К. В. Пигареву — четырьмя писцами). В тексте, писанном писарскими почерками, встречается правка, сделанная скорописью (тем же почерком, каким написана большая часть первого списка). Г. Коровин считает, что скоропись — это авторский почерк, оттого им и сделаны поправки в тексте, написанном писцами. К. В. Пигарев сравнил почерк Фонвизина 60-х годов со скорописью новонайденной рукописи и, установив, что они не похожи, сделал вывод — комедия принадлежит не Фонвизину, а другому автору и написана в 80-х годах под влиянием фонвизинского «Недоросля».

Подобные доказательства основаны на недоразумении. Прежде чем сличать почерк фонвизинских писем с почерком «авторской» скорописи рукописной комедии, следовало бы доказать, что так называемая скоропись действительно принадлежит автору найденной комедии. Ведь это всего лишь ничем не подтвержденное предположение. В самом деле, о чем говорит сохранившийся список? Его для кого-то переписывали, и, странно, привлекли для небольшой работы четырех писцов. Значит, комедия, видимо, переписывалась наспех, одновременно несколькими писцами. Скоропись могла принадлежать не автору, а владельцу рукописи, пожелавшему иметь список понравившейся ему комедии. Достав на время оригинал, он, не имея под руками писцов, мог начать переписывать сам, а потом поручил эту работу переписчикам. После того как работа была сделана, он сверил рукопись с оригиналом и внес поправки. Так ли было в действительности или нет — сказать трудно. Но главное состоит в том, что нельзя бездоказательно утверждать, будто скоропись обязательно принадлежит автору. Можно согласиться с К. В. Пигаревым, что это лишь одна из возможных гипотез, но тем более недопустимо вопрос о принадлежности комедии Фонвизину решать только на основании условного предположения.

Нельзя согласиться с выводом К. В. Пигарева еще и потому, что из системы своих доказательств он совершенно исключил анализ содержания комедии, без чего не может быть и речи об атрибуции какого-либо произведения вообще.

Неоконченный «Недоросль» связан органически с эпохой 60-х годов, он пронизан ароматом того времени и личными, еще свежими впечатлениями от недавних занятий в университете самого автора. Именно в 60-е годы, после нескольких лет деятельности Московского университета и гимназий Москвы и Казани, после появления в обществе первых воспитанников университета и гимназий, так остро воспринимались проблемы воспитания, так живо обсуждались в дворянских кругах преимущества школьного образования перед домашним. О воспитании в это время писали просветители Я. Козельский, Н. Курганов, Н. Новиков; воспитание было предметом обсуждения в Комиссии по составлению нового уложения, воспитанием активно стало заниматься правительство, предлагая свое решение педагогических задач (так, например, был открыт в Петербурге Институт благородных девиц в Новодевичьем воскресенском монастыре). В этой атмосфере у молодого драматурга и родился замысел рассказать о том, что мешает настоящему воспитанию преданных отечеству, образованных, сознающих свой долг граждан.

Обращает на себя внимание и ряд совпадений в биографиях Фонвизина и героя раннего «Недоросля» Миловида. Беседа Добромыслова с Аксеном о важности и преимуществе школьного образования как бы навеяна обстоятельствами жизни самого Фонвизина. В прошении, поданном в октябре 1762 года в Коллегию иностранных дел, Фонвизин писал: «В 1754 году написан я в оный (Семеновский. — *Г. М.*) полк в солдаты и отпущен для обучения в императорский Московский университет, в котором обучался латинскому, французскому и немецкому языкам и разным наукам, и за обучение произведен в полку по порядку до нынешнего моего чина» (армейского поручика. — *Г. М.*). Миловид тоже «за то, что прилежно учился и науку свою скоро окончил», получал быстро чины и к окончанию учения уже имел чин армейского капитан-поручика.

Фонвизин завершил свое образование в возрасте 17—18 лет, Миловид — в 17 лет. Фонвизин по приезде в столицу предался светским удовольствиям, ходил в кружок «разумных людей»

князя Козловского, с увлечением посещал театры, маскарады, клубы. Почти то же делает и Миловид по приезде в столицу, — он посещает «комедии, маскарады, клобы», частные собрания, где общается «с благородными, разумными людьми».

Отвергая авторство Фонвизина, К. В. Пигарев решительно относит комедию об Аксене и его сыне Иване не к 60-м, а к 80-м годам. Он пишет: «Есть данные полагать, что она написана после появления фонвизинского «Недоросля» (К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина, стр. 206). Какие же это данные? К сожалению, исследователь умолчал о них. Сравнительный же анализ двух «Недорослей» показывает, что в комедии об Аксене и его сыне Иване нет ни одного штриха, ни одной черты, ни одного мотива, ни одного намека на историю, случившуюся с Митрофаном. Если бы действительно ранний «Недоросль» писался каким-то другим автором после гениальной комедии о Митрофане, о Простаковых и Скотинине, то совершенно очевидно была бы видна несамостоятельность автора, мы обязательно обнаружили бы обильные реминисценции всем известной комедии. Но их, как я уже сказал, нет. Наоборот, сравнивая две комедии, мы видим, что ранний «Недоросль» *не повторял* «Недоросля» 1782 года, а *предварял* его.

Короткий первый акт раннего «Недоросля», состоящий всего из трех явлений, посвящен демонстрации домашнего воспитания, которое у невежественной массы провинциального дворянства сводилось к питанию. Второй акт состоит, главным образом, из увещеваний Иванушки слугой Федотом. Третий знакомит читателя с иной, отличной от питательной, системой воспитания (приезд Добромысла с сыном Миловидом). С окончанием демонстрации успехов Миловида завершался третий акт, а равно и вся комедия. Показав зрителю неприглядный облик помещичьей семьи Аксена, высмеяв варварскую систему воспитания дворянского недоросля, показав преимущества школьного обучения, автор как бы неожиданно для себя исчерпал тему. Получилась живая, верная действительности картинка, мастерская зарисовка выхваченного из русской жизни явления, сатирическая сценка, данная в тонах мягкого юмора, но не вышло драматического сочинения. Не было в нем сюжета, который помогал бы развертыванию действия, не был раскрыт идеал, во имя которого обличались и высмеивались уродливые черты дворянской жизни.

Вместе с тем ранний «Недоросль» (1764) — уверенный и твердый шаг навстречу будущим замечательным драматическим произведениям. Фонвизин прочно встал на российскую почву. Он уже понимал, что содержанием комедии должна быть реальная окружающая его жизнь. Но пока не хватало опыта — не столько художественного, сколько общественно-политического.

Одной из ближайших задач историков русской литературы XVIII века является издание Полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина. Это долг Института русской литературы Академии наук. Именно ему следует развернуть широкую работу по собиранию рукописного наследия писателя. Необходимо обследовать многие архивы нашей страны и рукописные отделы крупных библиотек, чтобы разыскать следующие материалы:

1. Собрание рукописей первого Полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина, переданное автором П. Богдановичу и увезенное последним в Полтаву.

2. Собрание рукописей, имевшееся в распоряжении Платона Бекетова. О судьбе этого собрания мы узнаем некоторые сведения из письма И. И. Дмитриева к П. А. Вяземскому. После смерти Платона Бекетова (двоюродного брата И. И. Дмитриева) рукописи попали не к его сыну, а к брату, Петру Петровичу Бекетову. Дмитриев сообщал: «Жаль, что покойник не отказал, как водится, бумаг сыну своему, или по крайней мере хотя мне, для передачи другим по моему выбору». В 1836 году Петр Петрович Бекетов передал одному из племянников право своего наследства, состоящего в «...доме, в русской библиотеке, в уцелевшем портфеле с любимыми эстампами... и в куче рукописей».[1] Через год И. И. Дмитриев умер. Получил ли он эту драгоценную «кучу рукописей»? Следует, видимо, их искать в семейном архиве либо И. И. Дмитриева, либо Бекетовых. Поэтому необходимо установить дальнейшую судьбу этих архивов.

3. Бумаги Д. И. Фонвизина находились и у Клостермана. Из письма Ф. Ф. Толмачева П. А. Вяземскому от 12 ноября 1830 года мы узнаем об этом: «Препровождаю при сем вашему сиятельству письма и некоторые другие бумаги Фонвизина, полученные мною от почтеннейшего старика Клостермана.

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1842.

Он очень дорожит ими и просит вас возвратить ему опые, когда они не будут вам уже нужны».[1]

4. Письма Д. И. Фонвизина Н. И. Панину. Мы не знаем ни одного письма к Н. И. Панину. А они, несомненно, были. Можно утверждать, во всяком случае, что Фонвизин писал ему из Франции во время путешествия 1777—1778 годов. Об этом пишет сам Фонвизин из Монпелье 22 июня 1777 года: «Позвольте, м. г., включить здесь то описание бывшей здесь церемонии... которое имел я честь сделать в письме моем к его сиятельству, братцу вашему». Вернее всего, он пересылал их дипломатической почтой через русского посла во Франции князя Барятинского. Все официальные дипломатические материалы одно время хранились в ЦГАДА, ныне они переданы архиву МИДа. Но личного фонда Н. И. Панина там нет. Его, видимо, надо искать в ЦГАДА или в каком-либо ином фонде МИДа.

5. Я приводил письмо Тауберта, из которого известно, что Фонвизин подготовил и передал для печати в Академию наук перевод Юстия «О правительствах» в трех частях. Этот перевод должен быть разыскан.

6. П. Вяземский в своей книге о Фонвизине сообщает, что 19 февраля 1790 года писатель обратился с письмом к Екатерине, в котором просил разрешить ему переводить Тацита. Письмо это чрезвычайно важно. Мы знаем, что все попытки Фонвизина печатать после «Недоросля» свои новые сочинения за подписью кончились неудачей. Возможно, в письме к императрице Фонвизин рассказывает о том, как его преследует Управа благочиния. Письмо это должно находиться в бумагах Екатерины, которые хранятся в различных фондах ЦГАДА.

7. 18 марта 1830 года издатель подготовленного П. П. Бекетовым собрания сочинений Фонвизина И. Салаев обратился к П. А. Вяземскому с письмом, из которого видно, что ему стало известно о существовании новых глав «Придворной грамматики»: «Осмелюсь обеспокоить вас покорнейшею просьбою: у господина издателя газеты «Северный Меркурий» М. А. Бестужева-Рюмина есть окончание «Придворной грамматики» Фонвизина, которое он хотел напечатать в «Северной звезде» на 1830 год, для полноты моего издания желательно бы получить

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 196, оп. 1, ед. хр. 2856, л. 10.

от него верный список оной».[1] Что это за окончание «Придворной грамматики»? Только тщательные разыскания могут ответить на этот вопрос.

8. «Журнал», посвященный немецкому и итальянскому искусству. В письме сестре из Нюрнберга от 9 сентября 1784 года Фонвизин писал: «В журнале, который я веду для себя собственно, делаю описание картин лейпцигских, но как из вас никто не охотник до живописи, то я эту часть здесь пропускаю». В письме из Милана от 21 мая 1785 года сообщалось: «Римского журнала моего не посылаю я к вам, для того что он состоит в описании картин и статуй, что вас мало интересовать может».

Итак, «Журнал» об искусстве существовал и Фонвизин привез его с собой в Россию. Где он? После смерти писателя со всеми бумагами он мог попасть или к родственникам, а от них к П. Бекетову, а от того — к его племяннику, или к Клостерману. Следовательно, в части литературного наследства, оставшегося у наследников Бекетова и Клостермана, следует искать и этот «Журнал».

Г. Макогоненко

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2714, л. 1.

КОММЕНТАРИИ

ПРОЗА

ПОВЕСТВОВАНИЕ МНИМОГО ГЛУХОГО И НЕМОГО

Впервые напечатано в IV и VII частях «Собеседника любителей российского слова» за 1783 год. Из письма Фонвизина П. И. Панину от августа 1778 года (из Парижа) мы узнаем, какое огромное впечатление произвела на него «Исповедь» Руссо. Стремление Руссо изображать без «малейшего притворства всю свою душу», «обнаружить сердце свое» оказалось близким и Фонвизину. «Повествование» — первый опыт в «познании человека». Писатель открыто заявляет, что он нашел «ключ» «к совершенной человеческой внутренности». В VII части была напечатана очередная глава «Повествования» под названием «Пребывание мое в Москве». В конце главы читатель извещался, что «продолжение будет впредь». Видимо, представленные новые главы носили такой обнаженно-сатирический характер, что Екатерина не разрешила их печатать. Во всяком случае никакого продолжения не последовало.

Стр. 13. *Оплеушин был такой мастер топить печи, что те, для которых он топил, довели его... до штаб-офицерского чина.* — Перед нами резкий сатирический выпад писателя против двора, где как раз практиковались такого рода карьеры: сенатор Г. Н. Теплов, состоявший в кабинете Екатерины «у принятия челобитен», был сыном истопника Псковского архиерейского дома, полковник З. Зотов служил сначала камердинером у Потемкина, а потом у Екатерины; повару императрицы Елизаветы Фуксу был пожалован чин бригадира, и т. д. Оплеушин был возведен в один из высших офицерских чинов (штаб-офицера).

Стр. 20. *Быв в службе в большом чину, имел он самую мелкую душу... скопив богатство, решился заблаговременно убраться в отставку, ласкаяся доживать свою старость в Москве.* — Фонвизин отметил типическое явление: многие вель-

можи и фавориты, получив отставку, отбывали в Москву, где и доживали свой век. В последующем Пушкин писал: «Некогда в Москве пребывало богатое неслужащее боярство, вельможи, оставившие двор». Во время печатания «Повествования мнимого глухого и немого» (1783) в Москве жил А. Г. Орлов, брат умершего фаворита Г. Г. Орлова. Братья Орловы вели в течение ряда лет жестокую борьбу с Н. И. Паниным. Не исключена возможность, что, говоря о вельможе, живущем «на покое», Фонвизин имел в виду именно его.

ПОУЧЕНИЕ, ГОВОРЕННОЕ В ДУХОВ ДЕНЬ

Впервые напечатано в журнале «Собеседник любителей российского слова» за 1783 год. В 1782 году в Москве вышел отдельным изданием перевод «Слова отца нашего Василия Великого... о пиянствующих». «Слово» это должно было служить образцом проповедей для сельских попов. Вообще в те годы выходило довольно много «Слов поучительных». Все они написаны высоким, напыщенным церковнославянским языком, который был, конечно, малопонятен простым людям. Вот что говорится в «Слове отца нашего Василия Великого»: «Пиянство, самохотное бешенство, от сластолюбия в душах внедрившееся. Пиянство порока порождение, добродетели сопротивление, храброго мужа робким оказует, воздержанного невоздержанным: правосудие оно не знает, благоразумие испровергает... Итак, кто лишает себя разума пиянством, тот приложися скотом несмысленным и уподобися им». Фонвизин, высмеивая невежественное сельское духовенство, в то же время как бы предлагал свое «поучение», написанное просторечным языком, образно, на красноречивых примерах показывавшее вред пьянства и пользу воздержания.

КАЛЛИСФЕН

Впервые напечатано в журнале «Новые ежемесячные сочинения» в 1786 году.

ДРУГ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ, ИЛИ СТАРОДУМ

При жизни Фонвизина статьи, входившие в первую часть «Друга честных людей», не печатались в связи с запрещением журнала. Впервые все сохранившиеся статьи полностью напе-

чатаны в 1830 году в Собрании сочинений Фонвизина, подготовленном П. Бекетовым.

Стр. 42. *Вольные типографии.* — Указом 1783 года Екатерина разрешила частным лицам заводить типографии.

Стр. 64. *...где победа красноречия не пустою хвалою, но претурою, архонциями и консульствами награждается.* — Фонвизин перечисляет высшие государственные должности в древнем Риме.

Стр. 65. *...установление Российской академии.* — В сентябре 1783 года была создана Российская Академия, занимавшаяся главным образом вопросами языка и составлением словаря. Членами ее были многие писатели — Державин, Княжнин, Козодавлев и др. Членом Академии был и Фонвизин, составивший «Начертание» для подготавливавшегося словаря славяно-российского языка. Президентом Российской Академии была княгиня Е. Р. Дашкова.

Стр. 70. *...в российских городах заводят университеты...* — В 1787 году был составлен «план университетов и гимназий, в разных местах империи заводимых». Предполагалось открыть три университета — в Пскове, Чернигове и Пензе. Ни один из них не был открыт. Радищев в своей книге «Путешествие из Петербурга в Москву» (издана в 1790 году) обличал это лживое обещание русской императрицы.

РАССУЖДЕНИЕ О СУЕТНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

Впервые напечатано в «Журнале для пользы и удовольствия» в 1805 году (сентябрь).

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ В ДЕЛАХ МОИХ И ПОМЫШЛЕНИЯХ

Автобиографические записки писались, видимо, в самые последние годы жизни писателя. Отсюда слова — «приближаясь к пятидесяти годам жизни моей». Умер Фонвизин в 1792 году в возрасте 47 лет. Полностью сохранившаяся часть «Чистосердечных признаний» была напечатана в 1830 году в Собрании сочинений, подготовленном П. Бекетовым. Первое знакомство

с главами «Исповеди» Руссо по устным рассказам относится к 1778 году, когда Фонвизин был в Париже (см. об этом письмо от августа 1778 года, адресованное П. И. Панину из Парижа). Характерно, что вылившаяся под непосредственным впечатлением рассказов оценка книги («исповедь всех его дел и помышлений») послужила основанием для заглавия своего опыта в этом роде — «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». Первый том «Исповеди» Руссо вышел в 1782 году. Полностью «Исповедь» появилась в 1790 году.

Стр. 87. *...отец мой у крестов заставлял меня читать,* — то есть отец заставлял читать церковные книги при домашних богослужениях.

Стр. 92—93. *Играли русскую комедию... «Генрих и Пернилла».* — Русский перевод комедии датского драматурга Гольберга.

Стр. 95. *Сей человек... беспримерного высокомерия...* — Речь идет о секретаре И. П. Елагина, драматурге В. И. Лукине.

ПУБЛИЦИСТИКА

О ВОЛЬНОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРЯНСТВА

При жизни Фонвизина не печаталось. Работа над статьей относится к 1764—66 годам.

ТОРГУЮЩЕЕ ДВОРЯНСТВО

Книга вышла отдельным изданием в 1766 году.

В 1754 году маркиз де Ляссэ в парижском журнале «Mercure de France» напечатал статью, в которой, высоко оценив полезную для государства деятельность купечества, выступил против разрешения дворянам торговать. Аббат Куайе, ненавистник дворянства, в 1756 году выпустил книгу «Торгующее дворянство, противуположенное дворянству военному», направленную против статьи де Ляссэ. Немецкий юрист и экономист Юсти перевел статью де Ляссэ и ответ на нее — книгу Куайе, снабдив свой перевод предисловием и примечаниями. Фонвизин, познакомившись с книгой Юсти, перевел и сочинение аббата Куайе и предисловие Юсти. Критика паразитизма фран-

цузского дворянства, его нравов, представления о чести, службе и т. д. была близка Фонвизину. Его перевод имел актуальное значение, поскольку прямо относился и к русскому «благородному сословию».

Стр. 119. *Немецкая ганза.* — Торговый и политический союз северо-германских городов (Гамбург, Бремен, Любек и др.) в XIV—XVII веках, игравший большую роль в экономической и политической жизни Европы. Власть в ганзе принадлежала купцам. С середины XV века начинается упадок ганзы.

Стр. 151. *Каперы* — вооруженные частные суда, приспособленные для захвата неприятельских кораблей.

Стр. 155. *...мы не думаем... что анатомия человеческого тела есть церковная татьба... — Татьба* — воровство, кража, грабеж. Переводчик хотел сказать, что теперь мы не думаем, что заниматься анатомией грешно, что занимающийся ею человек должен воровски таиться от церкви.

Стр. 164. *...падение и общую печаль Франции в 1710 году?* — Историк Шлоссер так характеризует события той поры: «Голод, неслыханные морозы и всеобщая нужда погубили зимою 1709—1710 годов такое множество народа во Франции и особенно в Париже, что повсюду говорили только о бедствиях и нужде, между тем как поставщики, ростовщики, сборщики податей и откупщики налогов нажили несметные богатства. Эта крайность принудила Людовика XIV еще раз (в марте 1710 года) предложить мир голландцам» (Ф. Шлоссер. История XVIII столетия, т. I, стр. 72).

Стр. 184. *...если предрассуждение столь страшно, как ликейская химера, то победитель ее будет другой Беллерофон.* — *Беллерофонт* — герой греческой мифологии; он совершил подвиг, победив изрыгавшую пламя трехликую химеру, которую убил, сражаясь на укрощенном им крылатом коне Пегасе.

СЛОВО НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА

Статья вышла отдельным изданием в 1771 году.

Павел заболел летом 1771 года. По словам Екатерины, у него была «простудная лихорадка, которая продолжалась около пяти недель». Болезнь Павла вызвала волнения в столице, поскольку быстро распространились слухи об отравлении

наследника. На основе депеш иностранных послов историк П. Моран так описывает положение в Петербурге в июле 1771 года: «Крики с требованием возмездия достигли дворца; народное возбуждение передалось в казармы; солдаты схватились за оружие, хорошо не зная, против кого придется пускать его в ход» («Павел I до восшествия на престол», М., 1912, стр. 84). При этих обстоятельствах народного возбуждения и выступил Фонвизин, объявив, что Павел выздоровел, что с ним находится Панин, воспитавший из него «истинного государя».

СЛОВО ПОХВАЛЬНОЕ МАРКУ АВРЕЛИЮ

Перевод вышел анонимно отдельным изданием в 1777 году. В феврале 1778 года в «Санкт-Петербургском журнале» появилась одобрительная рецензия на «Похвальное слово». Рецензент открыто сформулировал политический смысл перевода. Переводчика, говорит рецензент, заинтересовало произведение французского просветителя Антуана Тома не только потому, что в нем излагалась программа просвещенного абсолютизма, но и потому, что оно могло косвенно обличать правление Екатерины. Екатерина, как известно, объявила себя просвещенной монархиней. Читатель, знакомясь с правлением и законодательством истинно просвещенного монарха Марка Аврелия (каким его изобразил А. Тома), мог сравнивать его с правлением Екатерины и делать выводы: обещания русской монархини «делать все для пользы своего народа» — лживы. Рецензент и сделал этот вывод, помогая тем самым читателю: «Сия книга в рассуждении различных предметов заслуживает внимание общества. Марк Аврелий, император, обожаемый древними римлянами, и ныне еще почитается примером и образцом добродетельных и великих государей; итак, похвала, приносимая ему, приносится в то же время и всем государям, уподобляющимся ему, или, лучше сказать, благотворительному божеству. Почитай, общим мнением утверждается, что господин Томас, прославившийся разными сего рода сочинениями, в сем преизящном своем слове, умышленно написал сатиру на правление своего отечества, во время последних лет Лудовика XV. Может статься, что сие было его мнение, но и без того хвала государствованию Марка Аврелия будет всегдашним обличением слабому или не соответствующему пользе народа, а в то же время хвалою

всякому премудрому и благотворительному правлению, в котором земные владетели вменяют себе за славу вещать, что они сотворены для своего народа». Далее следовал краткий пересказ «Слова похвального» с умелым использованием текста перевода.

Рецензия эта своим содержанием резко отличается от множества других, помещавшихся в журнале. Обычно рецензент кратко излагал содержание того или иного сочинения и сводил свою задачу к рекомендации его читателю. Рецензия на «Похвальное слово Марку Аврелию» *вскрывает подлинный политический смысл* произведения («Сатира на правление своего отечества»), объясняет причину, побудившую переводчика избрать именно его для перевода («хвала государствованию Марка Аврелия будет всегдашним обличением слабому (государю. — *Г. М.*) или не соответствующему пользе народов»), и тем самым она непосредственно *примыкает* к переводу, дополняет его.

Кто же мог быть автором такой рецензии? Ее содержание, обличающее в рецензенте лицо, заинтересованное в правильном понимании политического смысла «Похвального слова», делает возможным предположение, что автором был человек очень близкий к Д. И. Фонвизину. То же подтверждает и факт объявления рецензентом имени переводчика («переведена с французского надворным советником Фон-Визиным». Вряд ли кто посторонний Фонвизину осмелился бы назвать имя переводчика, скрытое им самим, да еще такого произведения, которое объявлялось «сатирой», «обличением» Екатерины. Вспомним, что Новиков, перепечатывая в «Пустомеле» (в 1770 году) анонимное «Послание к слугам моим», зашифровал имя его автора («Кажется, что нет нужды читателя моего уведомлять о имени автора сего послания, перо, писавшее сие, российскому ученому свету и всем любящим словесные науки довольно известно»). Так же было при опубликовании басни «Лисица-казнодей».

В «Известии о новых книгах» («Санкт-Петербургский вестник», 1778, ч. I, стр. 56—59) говорилось, что при рецензировании переводных сочинений будут делаться «примечания, где переводчик совершенно достиг до красоты своего подлинника и где он совершенно утратил смысл своего автора... верен ли перевод, или волен, или одно только подражание и проч.». Во всех случаях это правило исполнялось — всегда давалась подробная оценка качества перевода. В рецензии на «Слово похвальное» все внимание обращено только на *содержание оригинала,* о качестве же перевода, в сущности, ничего не сказано,

если не считать чисто формального попутного замечания, что переводчик «в переводе своем сохранил силу и красоту подлинника».

Перевод Фонвизина — замечательный образчик высокого ораторского стиля. Будучи точным, он лишен буквализма. Свободно и смело переводя важнейшие политические мысли подлинника, Фонвизин выражал их по-русски, лаконично, в манере, им уже выработанной. Посторонний рецензент не мог бы пройти мимо действительной «красоты и силы» перевода. Отсутствие оценки работы переводчика — объективное доказательство того, что перед нами нечто вроде *авторецензии*. Фонвизин был заинтересован в раскрытии политического смысла «Слова похвального», а в похвалах своего переводческого мастерства он не нуждался.

Еще одно замечание. В рецензии мы встречаемся с чисто фонвизинским юмором. Заканчивалась она традиционным упоминанием о хорошем типографском оформлении книги. Но тут автор не выдержал и написал ироническую фразу: «Наконец остается нам упомянуть, что сия книга печатана весьма исправно и с немалою типографическою красотою, чем поистине дурное сочинение не сделается хорошим, а хорошее тем принести может читателю сущее удовольствие».

Фонвизин в августе 1777 года уехал за границу. Об издании в следующем году нового журнала — «Санкт-Петербургского вестника» — уже было известно. Знал об этом и Фонвизин от содержателей типографии Вейтбрехта и Шнора, напечатавших «Похвальное слово» и готовивших своим иждивением издавать «Санкт-Петербургский вестник». Весьма вероятно, что перед отъездом Фонвизин обсудил с автором характер необходимой рецензии на «Слово похвальное». Статья подписана инициалом «Ф.». За той же подписью в журнале напечатано еще несколько рецензий.

ТА-ГИО, ИЛИ ВЕЛИКАЯ НАУКА, ЗАКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЕ ВЫСОКУЮ, КИТАЙСКУЮ ФИЛОСОФИЮ[1]

Печатается по тексту, анонимно опубликованному в журнале «Санкт-Петербургский вестник» (1779, май, стр. 59—101). Принадлежность этого произведения Фонвизину явствует из объявления о подписке на полное собрание его сочинений.

---

[1] Примечание написано *П. Н. Берковым*.

«Та-Гио» является одним из наиболее известных произведений древней китайской литературы. По преданию, оно считается изложением учения Конфуция, сделанным якобы его внуком и учеником. Французский исследователь Потье (Pauthiers), издавший «Та-Гио» в своем новом переводе в начале второй трети XIX века, называл его лучшим творением старой китайской литературы.

В ознакомлении европейского читателя с «Та-Гио» исключительно важную роль сыграли французские и русские ученые.

Первая публикация китайского текста с латинским переводом была сделана петербургским академиком З. Байером, включившим «Та-Гио» в свою книгу «Museum Sinicum» («Китайский музей», 1730). Текст китайского оригинала Байер получил от французских миссионеров-иезуитов, проживавших с начала XVIII века в Пекине. Перевод З. Байера с похвалой был отмечен в современной немецкой ученой журналистике, но до широкого читателя не дошел. Однако за петербургским академиком остается несомненная заслуга, что именно он впервые перевел это произведение с китайского на доступный европейскому ученому читателю язык.

В течение XVIII века, главным образом второй его половины, во всей Европе, в том числе и в России, в высших дворянских кругах было распространено сильное увлечение китайской экзотикой — архитектурой, музыкой, литературой. Наряду с этой поверхностной модой на «китайщину» («Chinoiserie, Chineserei»), в европейской науке велась серьезная работа по изучению китайской культуры и истории. Здесь также первое место занимают французские и русские ученые-китаеведы. Группа французских миссионеров, с давних лет проживавшая в Пекине, пересылала в Париж переводы произведений китайских классических авторов и исследования по истории, философии и литературе Китая. С 1776 года в Париже стало выходить растянувшееся на много лет и занявшее много томов издание, озаглавленное «Mémoires, concernant l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages, ets. des Chinois. Par les missionnaires de Pekin». Через девять лет после выхода первого тома этот труд был переведен на русский язык М. И. Веревкиным под заглавием «Записки, надлежащие до истории, наук, художеств, нравов, обычаев и проч. китайцев, сочиненные пропо-

ведниками веры христианской в Пекине» (М., 1786—1788, 6 тт.). Кратко это издание называлось «Mémoires concernant les Chinois», а по-русски «Записки китайские». Здесь снова была помещена «Та-Гио, или Великая наука...» в одном только французском переводе, сделанном аббатом П.-М. Сибо (Cibot, Pierre-Martial, 1727—1780), выдающимся знатоком китайского языка и письменности.[1] Не зависимо от французского китаеведа это произведение перевел и русский ученый-синолог Алексей Леонтиев, опубликовавший в 1780 году небольшую книгу под названием «Сы шу-гей, то есть четыре книги с толкованиями. Книга первая философа Конфуциуса». Свой перевод А. Леонтиев осторожно назвал переводом с китайского и манджурского. По устному указанию, сообщенному нам покойным академиком В. М. Алексеевым, крупнейшим советским китаеведом, Леонтиев переводил не с китайского, а с манджурского.

В части тиража «Сы-шу-гей» на последней странице находится примечание: «Книга сия есть на французском переводе, с французского языка переведена она на российской, напечатана в Академических изданиях на май месяц 1779 года под названием Та-Гио. Если любопытный читатель сличить соизволит сей нынешний перевод с оными, может получить больше удовольствия».

Примечание Леонтиева имело цель обратить внимание читателей на то, что его перевод, сделанный непосредственно с оригинала, точнее «оных», то есть французского и русского. Однако предлагаемое им сопоставление имеет смысл только тогда, когда мы учтем, что перед нами образцы установившихся в процессе ознакомления европейцев с литературой Китая двух типов переводов с китайского: одного — точного, почти дословного, и другого — литературного, стремящегося передать скорее идею той или иной фразы, чем полное словесное ее выражение: Перевод Леонтиева, возможно, более близок к оригиналу, с которого он сделан, то есть с манджурского; но несомненно, что перевод Фонвизина, сделанный с французского перевода Сибо, художественно совершеннее.

Переводу «Та-Гио», выполненному Сибо, предпослано предисловие, знакомящее европейского читателя с двумя популярнейшими памятниками древнекитайской литературы — «Та-

[1] Mémoires concernant les Chinois, v, 8, Paris, 1784, p. 122, col. a.

Гио» и «Тшонг-Ионг». Из этого длинного предисловия (оно занимает во французском оригинале стр. 432—435) Фонвизин взял только первые шестнадцать строк и прибавил фразу, из которой явствует, что он предполагал продолжить свою работу по переводу памятников китайской литературы: «Мы надеемся сообщать после перевода «Тшонг-Ионг». Однако своего намерения Фонвизин не осуществил.

Во французском переводе «Та-Гио» состоит, во-первых, из девяти внутренне связанных глав, посвященных вопросам философии и политики, — проблеме идеального государя, идеального подданного, взаимоотношений между государственной властью и народом, и во-вторых — из тридцати четырех «Толкований», то есть примечаний, более подробно излагающих отдельные положения основного текста. В переводе Леонтиева имеется — очевидно, в соответствии с манджурским текстом — тридцать восемь примечаний.

Перевод Фонвизина вполне совпадает с французским текстом Сибо, за двумя только исключениями: a) последний абзац восьмой главы составлен Фонвизиным из двух отрывков, из которых первый, кончающийся словами «красноречиво научает быть таковыми своих подданных», переведен полностью, а второй — сокращенно. Пропущены следующие слова: «L'ode dit: «Une vie irreprochable porte au loin une impession du lumière et d'innocence qui corrige les moeurs publiques; Si un Prince est bon père, bon fils, bon frère, les peuples se háteront de lui rassembler, et...» («Песнь гласит: «Безупречная жизнь далеко разносит впечатление света и невинности, которое исправляет общественные нравы: если государь — хороший отец, хороший сын, хороший брат, его подданные будут стараться уподобиться ему, и...»). Возможно, что эти строки не были переведены Фонвизиным случайно, в результате того, что два рядом стоящих абзаца в конце восьмой главы начинаются одинаковыми словами «Песнь гласит», содержат почти одинаковые идеи и в них обоих есть формула «государь — добрый брат»: переводчик в процессе работы, после первой формулы «будучи добрым братом», по ошибке стал переводить текст, идущий после повторения этой формулы в последней строке. b) Пропущены также следующие строки в примечании XXII: ««Comme une femme perdue de debauche, abusant avec insolence de son autorité pour offrimer les peuples, et la prostituant jusqu'a la derision et au ridicule, pour vaquer á ses plaisirs».) (Перевод дан

нами в основном тексте в квадратных скобках.) Этот пропуск объясняется, по-видимому, цензурными условиями. Современники легко могли усмотреть здесь намек на Екатерину.

В 1801 году в анонимно изданном в Петербурге сборнике «Правдолюбец» (вероятно, он был издан передовым издателем, известным впоследствии библиографом В. С. Сопиковым) был перепечатан текст «Та-Гио», без фразы о дальнейшем переводе «Тшонг-Ионга» и с восемью примечаниями вместо 34 (перепечатаны примечания VI, XII, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXXII, XXXIII). Возможно, что некоторые примечания не были перепечатаны по цензурным соображениям. Судьба сборника «Правдолюбец» неясна (см. об этом статью Л. В. Крестовой в сб.: «XVIII век», вып. III, М. — Л., 1958, стр. 481—489); можно предположить, что он подвергался цензурным преследованиям. Возможно, что одной из причин последних была «Та-Гио», появление которой после убийства Павла с ведома его сына и преемника Александра I могло навести читателей на некоторые сопоставления.

Внимание, проявленное русскими переводчиками к «Та-Гио», было тесно связано с определившейся в русской литературе с шестидесятых годов XVIII века традицией переводить с китайского философские и исторические произведения, основная тематика которых — идеальный государь и его роль в благополучии подданных — совпадала с злободневными в то время в России вопросами об отношении к Екатерине и оценке ее личности и деятельности. В сатирических журналах Новикова и отдельными изданиями печатались в довольно большом числе переводы подобных произведений; переводы эти ставили своей целью натолкнуть читателей на сравнение идеала государя, отразившегося в памятниках древней китайской литературы, с реальной русской государыней — Екатериной II. Таким образом, переводы «Та-Гио», сделанные Фонвизиным, Леонтиевым и Веревкиным, оказывались публицистическими произведениями современной им русской литературы, а не простым переводом, предпринятым для ознакомления русского читателя с выдающимся творением древнекитайской литературы.

Насколько сильно был заинтересован Фонвизин кругом идей, отраженных в «Та-Гио», видно из сопоставления этого произведения с его «Рассуждениями о непременных законах» и политическими высказываниями Стародума в «Недоросле» —

в особенности о роли добронравия государя — доброго мужа, доброго отца и доброго хозяина в воспитании его подданных, следующих ему во всем из подражания.

РАССУЖДЕНИЕ О НЕПРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНАХ

При жизни Фонвизина «Рассуждение» не печаталось. «Рассуждение» — это вступление к проекту «фундаментальных прав, непременяемых на все времена никакою властью». Проект таких «фундаментальных законов» вырабатывался Н. И. Паниным, Д. И. Фонвизиным, П. И. Паниным. Смерть Н. И. Панина в 1783 году оборвала работу. Д. Фонвизин успел написать «Рассуждение», Петр Панин записал проект «фундаментальных прав». Оба документа предназначались для передачи Павлу. После смерти брата П. Панин, собрав все бумаги, дал их переписать писцу и приложил письмо к Павлу. Письмо помечено 1 октября 1784 года. Но, видимо, осторожности ради, бумаги не были переданы Павлу, поскольку предполагалось это осуществить после смерти Екатерины. Но этого дня не дождались ни П. И. Панин, ни Д. И. Фонвизин. «Рассуждение» и проект «фундаментальных прав» были отданы на хранение жене петербургского генерал-прокурора Пузыревского, которая их и передала Павлу. «Рассуждение» позже распространялось в списках. Племянник писателя декабрист М. А. Фонвизин передал копию «Рассуждения» Н. М. Муравьеву, который «приспособил содержание этого акта к царствованию Александра I».

Написание «Рассуждения» и проекта «фундаментальных прав» явилось последним, завершающим этапом многолетних, совместных с Павлом обсуждений братьями Паниными проблем, связанных с будущими реформами государственного правления России. Как показывают новые архивные материалы, Н. И. Панин серьезно готовил своего воспитанника к исполнению должности государя. Известно, что Н. И. Панин познакомил Д. И. Фонвизина с Павлом в 1769 году, когда писатель прочитал наследнику «Бригадира». Комедия понравилась наставнику и воспитаннику. С тех пор Фонвизин имел возможность бывать у Павла, принимать участие в разговорах на самые разнообразные, в том числе и на политические темы, и тем самым знакомиться с образом мыслей юного наследника. Многие похвалы Павлу, заключенные в «Слове на выздоровле-

ние» и в «Жизни Н. И. Панина» (например, «Доброта сердца и просвещенный ум великого князя свидетельствуют его (Н. И. Панина. — *Г. М.*) попечения о украшении основательными познаниями природной способности его светлейшего питомца и о начертании в душе его добродетели, сего истинного основания общенародного блаженства») не являлись риторическими. Никита Панин хорошо справился с обязанностями воспитателя. Павел с юных лет читал просветительскую литературу, знакомился с сочинениями Монтескье, Руссо и Вольтера. В беседах с ним и Никита и Петр Панины обращали внимание его на многие «неустройства» в государственном правлении Екатерины. В 70-е годы неоднократно вставал вопрос о передаче власти Павлу — законному претенденту на русский престол.

Все это обусловливало интерес Павла к положению России, ко многим «неустройствам», побуждало размышлять о необходимых в будущем реформах. В Государственном военно-историческом архиве сохранилась папка собственноручных бумаг Павла, относящихся к 70-м годам. Это «Заметки», «Мысли», «Мнения», «Проекты» манифеста и различных реформ. В центре внимания Павла — армия. Он пишет разные проекты реформ русской армии. Многие его мысли заслуживают самого пристального внимания. Так, Павел отмечает тяжесть рекрутских наборов, возмущается злоупотреблениями, которые происходят во время наборов, выясняет причины побегов рекрутов и солдат и приходит к выводу, что солдат вынуждает к этому «бесчеловечное» обращение офицеров. Среди «причин» побегов Павел называет: «Разлука с родными, близкими и домом, перемена пищи и одежды — пункт из самых главных, и часто перемена климата и воды. Учение все тому, чего он никогда и не видывал, соединенное по несчастию и глупости, с бесчеловечными побоями — пункт самый важный. Неизвестность времени службы и потому сумнение о спокойном окончании жизни своей» и т. д. Тут же Павел предлагает «способы, потребные к прекращению сего зла». Среди них — сокращение числа набираемых рекрутов, несение службы в тех местах, где проживают рекруты, «прилежное смотрение инспекторов» за тем, чтобы не избивали рекрутов. Предлагает Павел также «завести больше лекарей при полках», «завести инвалидные домы для старых и дряхлых, во-первых по человечеству, а во-вторых, чтоб человек, служа за отечество, имел надежду жизнь свою спокойно окончить в старости и дряхлости, оттого всяк будет

охотнее служить, ибо не увидит себя брошенного за увечие и службу, а получит, напротив, вечный хлеб. Если лошадей списывают на заводы увечных и за службу, так как же равных себе да за спасение, может быть, отечества кидаем, как изношенную скотину за то, что она изодралась?»

В многочисленных записках, посвященных военным делам, Павел, прежде чем обсуждать конкретные проблемы необходимой реформы, дает оценку общего «внутреннего положения» в стране. При этом всегда осуждает екатерининское правление. Бумаги Павла отразили его размышления над большим кругом социально-политических и военных проблем, о которых, несомненно, он беседовал и с воспитателем и с Петром Паниным. Так постепенно он был подготовлен к мысли о необходимости не частных реформ, а выработки «фундаментальных законов». В записке под названием «Мнение» он писал: «Спокойствие внутреннее зависит от спокойствия каждого человека, составляющего общество; чтоб каждый был спокоен, то должно, чтоб как его собственные, так и других подобных ему, страсти были обузданы. Чем их обуздать иным, не иначе как законами? Они общая узда; и так должно о сем фундаменте спокойствия общего подумать. Здесь опять воспрещаю себе больше о сем говорить, ибо сие рассуждение довело б меня до того пункта, от которого твердость и непоколебимость зависит...»

В 1778 году между Павлом и Петром Паниным, жившим под Москвой, шла оживленная переписка, в которой обсуждались важные политические вопросы. В письме от 14 сентября 1778 года Павел писал: «Свобода, конечно, первое сокровище всякого человека, но должна быть управляема крепким понятием оной, которое не иным приобретается, как воспитанием, какое не может быть иным управляемо, чтоб служило к добру, как фундаментальными законами, но как сейчас последних нет, следовательно и воспитания порядочного быть не может».

То, о чем Павел писал Петру Панину, жившему под Москвой, несомненно обсуждалось с Никитой Паниным, жившим в Петербурге. Вечная боязнь Павла, его постоянное стремление «запретить себе говорить о самом главном» — о фундаментальных законах, и понуждали Паниных и Фонвизина взять труд составления этих законов на себя. Фонвизин вернулся из-за границы осенью 1778 года. После его приезда и началась, видимо, работа. Любопытно, что к этому же времени относится и присылка Павлом различных своих мнений

к Петру Панину. В письме от 11 октября 1778 года он писал: «При сем посылаю вам одну часть моих мнений, которые мною самим сделаны еще в 1774 году». К Петру Панину посылались главным образом мнения по вопросам военных реформ. С Никитой Паниным обсуждались вопросы политические. Знал об этих разговорах и Фонвизин. Таким образом, подготавливая проект фундаментальных законов, работая над «Рассуждением о непременных государственных законах», Фонвизин реально представлял себе тогдашний образ мыслей воспитанника Панина и потому верил, что труд его не напрасен, что он может послужить благу народа. Но и при этом для Фонвизина своеобразной гарантией осуществления фундаментальных законов являлось «послушание» Павла Панину. Об этом он пишет в «Жизни Н. И. Панина»: только при условии, если «питомец будет следовать искренним советам своего воспитателя», — «счастье государя и народа было бы взаимное и непоколебимое».

ЧЕЛОБИТНАЯ РОССИЙСКОЙ МИНЕРВЕ ОТ РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Впервые напечатано в IV части «Собеседника любителей российского слова» за 1783 год. «Челобитная» — это декларация независимости русских писателей от вельмож и сановников, чьи «умы жалованные, а не родовые». Под покровом похвалы «божественному величеству» Минерве — Екатерине Фонвизин обличал все придворное окружение императрицы, отстаивая независимость и права русских писателей. Конкретным поводом к написанию «Челобитной» оказались гонения, которым подвергся Державин с стороны обер-прокурора сената и начальника тайной полиции А. А. Вяземского. Служивший в сенате Державин именно в это время был вынужден уйти в отставку, которую и приняла Екатерина, несмотря на награждение поэта табакеркой с червонцами за стихотворение «Фелица».

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ, МОГУЩИХ ВОЗБУДИТЬ В УМНЫХ И ЧЕСТНЫХ ЛЮДЯХ ОСОБЛИВОЕ ВНИМАНИЕ

Впервые напечатано в 1783 году в третьей части журнала «Собеседник любителей российского слова». Данное произведение Фонвизина появилось в печати без заглавия. Как видно из

вступительной части этого сочинения, Фонвизин назвал его «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание». Но именно это заглавие не устраивало Екатерину. Она сняла его и с целью нейтрализации сатиры к самому тексту вопросов дала предисловие собственного сочинения. В оглавлении же оно было названо «Вопросы и ответы с приобщением предисловия». Совершенно очевидно, что это заглавие принадлежит не Фонвизину, а Екатерине, отвечавшей на присланные вопросы. Но именно это фальсифицированное название укрепилось в научной литературе и печатается во всех сочинениях Фонвизина, получив следующую форму: «Вопросы Фонвизина и ответы сочинителя «Былей и небылиц». Действительное фонвизинское название, вскрывавшее идейный смысл его замечательной сатиры, было предано забвению. Более того, произведение, направленное против Екатерины, стало выдаваться за сочинение двух авторов — Фонвизина и Екатерины (сочинителя «Былей и небылиц»). Между тем еще Пушкин в своем «Современнике» (№ 2 за 1836 год) сделал попытку восстановить подлинное заглавие. Он напечатал статью «Российская Академия», автор которой, ссылаясь на авторитетное свидетельство, приводит подлинное название фонвизинской сатиры — «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание». Авторитетность этого сообщения несомненна. Об этом же говорят дух и стиль данного названия. Совершенно фонвизинское словоупотребление: «умные и честные люди» — прямо ведет нас к названию фонвизинского журнала «Друг честных людей». В настоящем издании именно поэтому «Вопросы» печатаются под действительным фонвизинским заглавием.

Существо фонвизинских вопросов — в постановке на общественное обсуждение коренных проблем политической жизни России. Писатель затрагивал темы, волновавшие умы. Читатель-современник отлично понимал те многочисленные и острейшие политические намеки, которые заключались в каждом вопросе. Для нас, отдаленных от Фонвизина полутора веками, не всегда ясен фонвизинский смысл «Вопросов», вот почему совершенно необходим к ним реальный комментарий. Несмотря на отсутствие точных документальных свидетельств, содержание некоторых вопросов можно расшифровать.

Второй вопрос — «Отчего многих добрых людей видим в отставке?» — заключал в себе намек на реальные факты. К этому времени демонстративно ушел в отставку министр иностранных дел Панин, 10 марта 1782 года подал в отставку сам Фонвизин. Отставки эти носили политический характер. Русское общество уже до этого знало случай демонстративной отставки: в 1769 году 24-летний писатель Новиков отказался служить екатерининскому государству, о чем публично объявил в предисловии к своему журналу «Трутень». В журнале «Живописец», четвертое издание которого вышло в 1781 году, печатались письма и советы Новикова некоторым людям об их праве пойти в отставку с государственной службы, но при условии продолжения общественной деятельности на благо отечества. Несомненно, тема эта была одной из острейших в политической жизни той поры, чем и объясняется вопрос Фонвизина.

Пятый вопрос формулировал требование гласности суда как единственного средства борьбы с произволом и взяточничеством судейских чиновников, неоднократно бравшихся Екатериной под защиту в своих литературных выступлениях.

Седьмой вопрос содержит резкий выпад против паразитизма дворянства. Многие дворяне, опираясь на поддержку Екатерины, не служа, добивались чинов и выгодных местечек. Паразитизм дворян, не желавших служить отечеству, — одна из центральных тем сатиры Новикова и Фонвизина. Ту же проблему поднимает и *вопрос двенадцатый.*

Вопрос восьмой содержит выпад против екатерининского журнала «Собеседник» и «пустых», «болтливых» фельетонов «Былей и небылиц», написанных самой императрицей. Екатерина в ответе указала, что поняла дерзкий намек писателя.

Десятый вопрос содержит в себе намек и обвинение Екатерины в разгоне Комиссии для сочинения нового уложения. Пятнадцать лет назад под предлогом войны с Турцией Екатерина распустила Комиссию. Фонвизин первый в русском обществе поставил вопрос перед монархиней — почему не собирается Комиссия, почему прекратилась работа по обновлению законодательства, почему исключены из этой работы представители всех сословий России. Распустив Комиссию, Екатерина в то же время развернула, особенно после подавления восстания Пугачева, лихорадочную деятельность по законодательству, направленную на укрепление полицейского государства. В письмах к своим французским друзьям-просветителям Екатерина пи-

сала, что она «больна легисломанией», что она одна составляет сотни законов, долженствовавших обновить Россию. Фонвизинский вопрос выражал общественное недовольство этой «легисломанией». Разъяренная Екатерина ответила резко на этот вопрос, в назидание другим: «Оттого, что сие не есть дело всякого». Тем самым Екатерина открыто признавала: кончилась ее игра в либерального политика. Составление законов, объявлялось ею, есть прерогатива самодержавного государя, который не собирается ничего уступить из своей власти.

Тринадцатый вопрос не столько спрашивал, сколько констатировал, с типичным для Фонвизина гневом, факт вырождения дворянства, основой чему служило рабовладение. Вопрос формулировал центральную идею «Недоросля», где Фонвизин изображал «упадшие души» дворян Скотининых и Простаковых.

Под *номером четырнадцатым* Фонвизин поместил два вопроса. Сделал он это сознательно, ибо второй четырнадцатый вопрос, «о шпынях и балагурах», как прямой выпад против Екатерины, мог быть выброшен. И тогда счет оставшихся вопросов не изменился бы.

Вопросы пятнадцатый и шестнадцатый связаны с письмами из Франции. Там Фонвизин показал русских «умниц», оказавшихся в Париже «дураками», и критически отнесся к тем иностранцам, кои у себя в отечестве «почитались умными людьми».

К Г. СОЧИНИТЕЛЮ «БЫЛЕЙ И НЕБЫЛИЦ» ОТ СОЧИНИТЕЛЯ «ВОПРОСОВ»

Впервые напечатано в пятой части журнала «Собеседник любителей российского слова» за 1783 год. Свое письмо сочинителю «Былей и небылиц» после «отповеди» за «Вопросы» Фонвизин назвал «объяснением». Задача «Объяснения» — использовать новую возможность для обличительных целей. Поэтому письмо Фонвизина — не покаяние, а сатира. Сочинитель «Былей и небылиц» не выдержал тона, сорвал свою игру, когда стал грозить. Угрозы одного сочинителя другому не имеют смысла. Тон же сочинителя «Былей и небылиц» явно выдавал его как власть имущего, с чьими угрозами действительно надо считаться, чем Фонвизин и поспешил воспользоваться.

Ясно было, что остальные заготовленные вопросы больше не напечатают, что от этой полемики придется отказаться, о чем и следовало оповестить читателей. Такова первая цель письма. (Вспомним, что в сопроводительном письме к «Нескольким вопросам» было сказано: «Буде оные напечатаются, то продолжение последует впредь и немедленно».) Нужно было сказать и о том, что причина прекращения посылки вопросов — неудовольствие сочинителя «Былей и небылиц». Надлежало намекнуть читателю, кто скрывается под именем автора «Былей и небылиц». Сорвать маску с Екатерины, раскрыть ее псевдоним — вторая цель письма. Фонвизин оповещал, что широковещательные объявления издателей, будто бы они не боятся «отверзать двери истине», — ложные, что на самом деле они боятся «истины», что за попытку прикоснуться к «истине» начинают грозить и преследовать.

Чтобы напечатать задуманное письмо в журнале Екатерины, нужно было найти слабое место у противника, и Фонвизин нашел его — тщеславие. Следовало польстить Екатерине, и эта лесть притупит бдительность. Так и произошло, — письмо напечатали.

Задумав раскрыть имя подлинного автора «Былей и небылиц», отвечавшего на присланные вопросы, Фонвизин избрал исключительно подчеркнуто почтительный тон письма: «По ответам вашим вижу, что я некоторые вопросы не умел написать внятно, и для того покорно вас прошу принять здесь мое объяснение»; «вседушевно благодарю вас за ответ на мой вопрос»; «видя, что вы, государь мой, в числе издателей «Собеседника», покорно прошу поместить в него сие письмо. Напечатание оного будет для меня весьма лестным знаком, что вы моим объяснением довольны», и т. д. Уже это довольно красноречиво свидетельствовало, что сочинитель «Былей и небылиц» — лицо чрезвычайно важное, что гнев и милость его далеко не безразличны для автора «Вопросов». Но кто же это важное лицо, состоящее одним из издателей «Собеседника»? Один издатель был объявлен: княгиня Е. Р. Дашкова. Кто же второй, да еще занимающийся литературой, да еще более важный, чем Дашкова? Уже все это довольно прозрачно намекало на автора. Но чтобы не было никаких сомнений, Фонвизин точно указал на императрицу.

Придравшись к одному из ответов, он написал: «Вседушевно благодарю вас за ответ на мой вопрос: «Отчего тяжу-

щиеся не печатают тяжеб своих и решений правительства?» Ответ ваш подает надежду, что размножение типографий послужит не только к распространению знаний человеческих, но и к подкреплению правосудия». В России никто, кроме императрицы, не мог дать разрешение на печатание тяжеб, никто, кроме нее, не мог «подкрепить правосудие».

ЖИЗНЬ ГРАФА Н. И. ПАНИНА

Впервые напечатано это произведение на французском языке в Петербурге в 1784 году. Русский текст появился в журнале Ф. Туманского «Зеркало света» в 1786 году под заглавием: «Сокращенное описание жития графа Никиты Ивановича Панина». П. Бекетов напечатал это произведение по рукописи, отличающейся от печатных прижизненных публикаций. Привожу опущенный в свое время Фонвизиным текст жизни Н. И. Панина.

1. После фразы: «Пристойно бы здесь начертать душу... спокойствия его» в рукописи следовало продолжение: «Как в течение двадцати лет боролся он непрестанно то с невежеством, то с надменностию людей невоспитанных, захвативших всю ту силу и доверенность, которыя следуют одним истинным достоинствам; как отвращал он устремление и ухищрение сильных, руководствуемых пристрастными своими видами на разрушение основанной им внешней системы, приобретшей отечеству истинную славу; с каким великодушием терпел он все и со всех сторон оскорбления; с каким презрением сносил все коварства мелких душ, искавших уязвлять его привязками, недостойными века Екатерины II».

2. После фразы: «Достопамятные дела во время его министерства... вооруженный неутралитет» следовало: «Всем оным происшествием представления его по большей части были первым основанием, а труды его приводили оныя в действительное исполнение. Все рескрипты к военачальникам и министрам, все сообщения и отзывы к дворам чужестранным примышляемы были им самим. История его негоциации, сокровенная ныне по государственным причинам, будет в последующие времена служить руководством в делах политических и представит свету великость души его и дарований».

3. После фразы: «С великим огорчением взирал он... противуречие в судопроизводстве» следовало: «Услышит ли о безмолвном временщикам повиновении тех, которые по званию своему обязаны защищать истину животом своим; словом, всякий подвиг презрительной корысти и пристрастия, всякий обман, обольщающий очи государя или публики, всякое низкое действие душ, заматеревших в робости старинного рабства и возведенных слепым счастием на знаменитые степени, приводили в трепет добродетельную его душу».

4. После фразы: «Доброта сердца и просвещенный ум великого князя... общенародного блаженства» следовало: «Остается желать верным сынам отечества, чтоб в грядущие времена питомец следовал искренним советам своего воспитателя и помнил бы его наставления, проистекавшие из глубины сердца, прилепленного к нему усерднейшею горячностью. Тогда счастие государя и народа было бы взаимное и непоколебимое».

5. После фразы: «Из девяти тысяч крестьян... по иностранным делам» следовало: «Один из сих облагодетельствованных им лиц умер при жизни графа Никиты Ивановича, имевшего в нем человека, привязанного к особе его истинным усердием и благодарностию. Другой был неотлучно при своем благодетеле до последней минуты его жизни и, сохраняя к нему непоколебимую преданность и верность, удостоен был всегда полной его во всем доверенности. Третий заплатил ему за все благодеяния всею чернотою души, какая может возмутить душу людей честных. Снедаем будучи самолюбием, алчущим возвышения, вредил он положению своего благодетеля столько, сколько находил то нужным для выгоды своего положения. Всеобщее душевное к нему презрение есть достойное возмездие толь гнусной неблагодарности». *«Один»* — П. В. Бакунин, *«другой»* — Д. И. Фонвизин, *«третий»* — Убри.

Стр. 282. *...война с турками...* — Война с Турцией 1768—1774 годов, в которой в результате крупных побед П. А. Румянцева (при Ларге и Кагуле), П. И. Панина (взятие Бендер) и А. Г. Орлова (в Чесменской бухте, когда была уничтожена большая часть турецкого флота) Россия укрепила свое положение на юге, ослабив позиции Турции на Кавказе и в Крыму. Огромная роль в закреплении одержанных русской армией побед принадлежала русской дипломатии, возглавляемой Н. И. Паниным.

...славный мир с Портою... — мир с Турцией, заключенный 10 июня 1774 года в Кучук-Кайнарджи, увенчавший победоносную войну. Русская дипломатия добилась объявления независимости от Турции Крыма и передачи России крепостей Керчи, Еникале и Кинбурна. Россия получила право строить флот на Черном море. Черное море и проливы стали открытыми для торгового мореплавания. Включение Крыма в 1783 году в состав России является прямым следствием этой войны и Кучук-Кайнарджийского мира. По мирному договору расширялись права подвластных Турции народов — славян, грузин и румын. Тем самым это способствовало развитию освободительной борьбы угнетенных народов против турецкого владычества.

Тешинский мир. — Посредничество России между Австрией, с одной стороны, и Пруссией с Саксонией — с другой, во время войны 1778—1779 годов между этими странами за баварское наследство. Мир был заключен 13/24 мая 1779 года в городе Тешине и гарантирован Россией и Францией. Инициатива России в проведении мирных переговоров, посредничество на Тешинском конгрессе высоко подняло международный авторитет русской дипломатии и ее руководителя Н. И. Панина.

Вооруженный нейтралитет. — С 1776 года началась война за независимость 13 областей в Северной Америке с Англией. Колонии объявили себя республикой — Соединенными Штатами Америки. На сторону республики стали Франция и Испания, объявив войну Англии. Англия, терпя поражение, пыталась неоднократно втянуть Россию в эту войну, предлагая за услуги чрезвычайно выгодную оплату (передача острова Минорка на Средиземном море). Н. И. Панин отверг эти предложения, сохраняя независимую политику. Война с Англией развертывалась главным образом на море. Английское командование, вооружив множество каперов, стало задерживать суда и грузы нейтральных стран. Воскресив средневековое «право» морского разбоя, Англия наносила большой урон торговле многих стран, в том числе и России. Вот тогда Н. И. Панин и разработал тактику вооруженного нейтралитета, а 28 февраля 1780 года была объявлена «Декларация о вооруженном нейтралитете». Россия торжественно провозглашала право вооруженной охраны своей торговли. К «Декларации» присоединились Дания, Швеция, Голландия, Пруссия, Австрия; ее признали Франция, Испания и Северо-Американские Соединенные Штаты. Политика охраны торговли косвенно оказывала помощь Франции

и Соединенным Штатам в их борьбе с Англией. Вооруженный нейтралитет — важный акт внешней политики России. Россия завладела инициативой при выработке новых международных законов.

Фонвизинская оценка заслуг русской дипломатии, и в частности Н. И. Панина, исторически объективна и точна. Не следует забывать, что в «знаменитых происшествиях» русской дипломатии есть и немалая доля участия самого Фонвизина, ближайшего помощника и советника Н. И. Панина.

РАССУЖДЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ ЛЮБОЧЕСТИИ

Напечатано впервые в 1785 году в Петербурге отдельной книжкой без указания имени переводчика.

Стр. 291. ...*когда он является пред дея.— Дей* — титул владетельного князя в Алжире.

МНЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ ПИЕС В «МОСКОВСКИЕ СОЧИНЕНИЯ»

Данная заметка при жизни Фонвизина не печаталась. Впервые воспроизводится по автографу. После запрещения в 1788 году «Друга честных людей, или Стародума» Фонвизин, пытаясь обойти столичную полицию и установив контакт с группой московских литераторов, хочет издавать журнал вместе с ними в Москве. Для этого нового журнала, который, видимо, должен был выходить в конце 80-х годов, он и выработал программу. Журнал не был издан.

ПИСЬМА И ДНЕВНИКИ

В течение всей жизни Фонвизин писал письма к родным, друзьям, государственным, политическим и литературным деятелям России. К сожалению, большая часть огромного эпистолярного наследия до нас не дошла: многие письма, видно, безвозвратно погибли, другие до сих пор не собраны и, видимо, находятся где-то в архивах или частных собраниях. Первое нам известное письмо относится к 1763 году, последнее —

к 1787-му. Сохранившиеся письма делятся на две части; в одной (письма из Петербурга) запечатлена картина общественной, государственной и культурной жизни столицы за десятилетний период — с 1763 по 1774 год; в другой (письма из-за границы) писатель рассказал о своих заграничных впечатлениях, о знакомстве с Францией, Германией и Италией. Письма Фонвизина разнообразны по содержанию: это и подробная информация о великих успехах русской дипломатии и ироническая зарисовка быта, путевые очерки наблюдательного и умного писателя и рассуждения о политическом и социальном положении Франции накануне революции, размышления о русском и французском театрах и мысли о национальном характере, оценка литературных произведений и беспощадное обличение католической церкви, замечания об искусстве Италии и зашифрованные сведения о личном участии в политических событиях в пору, когда казался возможным приход Павла к власти в связи с его совершеннолетием.

Письма широко и полно характеризуют энциклопедизм Фонвизина: гневный сатирик, памфлетист и крупный русский дипломат, знаток литературы, искусства и театра и страстный политик, ученый-филолог и образованный переводчик.

Но прежде всего письма раскрывают нам живой облик писателя. Мы узнаем множество бесценных подробностей о жизни Фонвизина, о его характере, привычках, манере говорить, о его вкусах, друзьях, работе, о принципах и убеждениях. Письма с редкой полнотой раскрывают нам чудесный фонвизинский юмор — неизменный спутник и оружие писателя, политического бойца, помогавший ему преодолевать то смятение, рожденное крушением надежд, то муку тяжелой болезни, обрушившейся на писателя в расцвете сил и творчества.

По стилю писем можно составить представление о живых, исполненных ума и блеска разговорах Фонвизина, так пленявших его современников. За всеми многочисленными афоризмами и острыми, меткими словами, неожиданными суждениями и лукавыми фразами, за удивительной манерой всюду, везде и постоянно замечать смешное в жизни — встает яркая, душевно богатая, щедрая, воистину «из перерусских русская» личность писателя.

I. ПИСЬМА ИЗ ПЕРВОГО ЗАГРАНИЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ (1762—1763)

М. И. ВОРОНЦОВУ и А. М. ГОЛИЦЫНУ

Вскоре после зачисления в Иностранную коллегию Фонвизин был отправлен за границу с официальным поручением для передачи герцогини Мекленбург-Шверинской ордена, которым она была награждена русской императрицей. Письма носят отчетливо служебный характер. Из Гамбурга вместе с послом Мусиным-Пушкиным Фонвизин отправился в Шверин. Письма печатаются впервые.

II. ПИСЬМА ИЗ ПЕТЕРБУРГА И МОСКВЫ (1763—1775)

К РОДНЫМ

Стр. 327. *Завтра будет «Синав» при дворе.* — Трагедия А. П. Сумарокова «Синав и Трувор».

...а малая комедия была «Слепой зрячий». — Фонвизин назвал так комедию в одном действии «Слепой видящий», переведенную с французского.

Стр. 331. *Скоро будет кавалерская...* — Кавалерскими представлениями назывались спектакли во дворце, в которых играли придворные дамы и кавалеры.

Стр. 337. *Играна была комедия «Женатый философ»...* — Комедия французского драматурга Детуша.

Стр. 355. *Мы очень в плачевном состоянии.* — В письме Фонвизин рассказывает о всех тех перипетиях борьбы при дворе, которая развернулась в 1773 году. Дело в том, что в 1772 году исполнилось восемнадцать лет Павлу, и по закону о престолонаследии он должен был занять место русского императора. На этом настаивали Н. И. Панин и группа связанных с ним дворян. Екатерина отложила решение вопроса на год, до женитьбы Павла. Оттого, пишет Фонвизин, развязка «будет в сентябре, т. е. брак его высочества». Понимая силу Н. И. Панина, Екатерина стремилась «отлучить» от него своего сына. Князь Г. Г. Орлов, фаворит Екатерины, и Чернышев поставили себе целью скомпрометировать Н. И. Панина, удалить его от двора, чтобы не допустить вновь обсуждения вопроса о переходе власти от Екатерины к ее сыну.

К П. И. ПАНИНУ

Письма к П. И. Панину из Петербурга за 1771—1772 годы в большей своей части посвящены политическим темам, и в частности войне с Турцией, подготовке Н. И. Паниным мира и польским делам. Назначение русских резидентов в Крым связано с занятием полуострова русскими войсками в 1771 году. Интерес П. И. Панина к событиям продолжавшейся русско-турецкой войны объяснялся и глубоко личными обстоятельствами: он сам — участник этой войны, в начале ее он командовал второй армией, которая взяла штурмом крепость Бендеры (сентябрь, 1770), но через два месяца после одержанной победы, в ноябре 1770 года, П. И. Панин попросил об отставке и, получив ее, поселился в своем имении под Москвой, куда и писал свои письма Фонвизин.

Те же годы ознаменованы напряженной политической борьбой в столице. Лидерами оппозиции, собиравшей силы для осуществления плана передачи власти законному монарху Павлу в связи с его совершеннолетием в 1772 году, были в Петербурге Н. И. Панин, в Москве — П. И. Панин. Фонвизин осуществлял связь между братьями и между Павлом и Петром Паниным, держал П. И. Панина в курсе всех дел. Письма носили секретный характер, передавались только через верных людей. К сожалению, многие важные письма до нас не дошли. За жизнью и деятельностью П. И. Панина в Москве Екатерина установила тщательное наблюдение. Управителю Москвы князю М. Н. Волконскому было приказано подробно сообщать все, что «касается до дерзкого вам известного болтуна», давала инструкцию послать «надежного человека» в деревню к П. И. Панину, чтобы «выслушать его дерзкие болтания». Верноподданный князь не только выполнял все повеления Екатерины, но еще и советовал: «Лучше б всего как наискорее отлучить от двора и от обеих резиденций всех суспектных людей тем или другим образом и шайку сию рассыпать, то все так и кончится, а другим страх, вашему императорскому величеству и верным вашим рабам покой будет». («Осмнадцатый век», кн. 2, М., 1869, стр. 122). Фонвизин был активным участником «шайки». Сохранившиеся письма — свидетельство его верности своим убеждениям, страстного желания участвовать в политической борьбе, целью которой было отрешение от власти Екатерины.

Стр. 368. *Откровенность, с которою вы изъясняться со мною изволите...* — В письме Фонвизину П. И. Панин писал: «Признайтесь и вы с любезным моим братцем, что немного удаляется от существенной истины и сие, что *приписания к умершим происходят от потомства чаще из списков, руками льстецов или порабощенцев сочиненных;* а древностию миновавшего времени утвердило многое в вероятие к людям то, что похищено у других». Фонвизин возражает П. И. Панину, высказывая уверенность, что заслуги исторического деятеля со временем обязательно оценятся по справедливости.

Стр. 370. *...в Камчатке был бунт.* — В апреле 1771 года группа ссыльных подняла мятеж, был убит воевода капитан Нилов, население приведено к присяге на верность новому государю Павлу Петровичу. Во главе восстания стал венгр Мориц Бениовский. Во время службы в польской конфедерации он был взят в плен русскими войсками в 1768 году, но отпущен на честное слово. Но Бениовский вновь вступил в ряды конфедератов и был в 1769 году вторично захвачен и вместе со шведом майором Винбладом отправлен на Камчатку. Среди активно действовавших мятежников были: гвардии капитан Петр Хрущев, сосланный за попытку в октябре 1762 года свергнуть Екатерину и передать власть наследнику Иоанну, заключенному в Шлиссельбургскую крепость, артиллерии полковник Иосиф Батурин, армии полковник Григорий Ловцов, гвардии поручик Василий Панов и армейский капитан Ипполит Степанов, осужденные в 1767 году за сопротивление екатерининскому Наказу о составлении нового уложения; Яков Батурин, осужденный за попытку в 1749 году возвести на престол великого князя Петра Федоровича. Примкнули к политическим ссыльным несколько купцов, крестьян, матросов, солдат, казаков и канцеляристов воеводства — всего до 70 человек. Захватив галиот «Святой Петр», мятежники ушли в дальнее плавание. После трудного путешествия уцелевшая группа во главе с Бениовским и Хрущевым в июле 1772 года прибыла во Францию. Первый указ Екатерины о камчатском бунте был подписан в январе 1772 года.

Стр. 371. *...отторжение Крыма подвержено великому затруднению... нет сумнения, что венский двор не престанет делать преграды нашему с турками примирению... король Прусский воевать уже решился.* — Фонвизин описывает ту вероломную политику, которую за спиной России вели союзная России

Пруссия и Австрия. Недовольные победами России в войне с Турцией, обе эти державы предпринимали всевозможные меры, чтобы сорвать предлагаемый Россией мир, затянуть войну и не допустить согласия Турции на предложенные ей условия мира. Таким образом, судьба войны решалась не столько на полях сражений, сколько на политическом поприще. От русской дипломатии требовалось великое искусство, умение разгадывать коварные планы даже союзной державы, находить быстрые и точные решения. Как свидетельствует история, Н. И. Панин справился с возложенной на него миссией. Это письмо, равно как и последующие, характеризуют Фонвизина как достойного соратника Н. И. Панина, умного и трезвого политика.

Стр. 376. *...желаете иметь коллекцию творений князя В. М.* — Князь В. М. Долгорукий-Крымский, овладевший в 1771 году Крымом. Его «творения» — донесения о новом крае.

Комиссия о исследовании преступления Пушкиных... — В конце февраля 1772 года в Риге, по повелению Екатерины, был арестован возвращавшийся из-за границы Сергей Пушкин, у которого при обыске обнаружили печать для изготовления фальшивых ассигнаций. Затем в Москве были арестованы его брат Михаил и Федор Сукин (вице-президент Мануфактур-коллегии). Все трое признались в преступлении. В октябре был издан указ сената, которым оба Пушкины приговаривались к смертной казни, замененной Екатериной: Сергею — вечным заточением, Михаилу — ссылкой в Сибирь.

Стр. 377. *...назначение послов к конгрессу...* — 19 мая 1772 года в Фокшанах должны были начаться мирные переговоры с Турцией. Главой делегации Екатерина назначила своего фаворита Г. Г. Орлова. Панину удалось включить в состав делегации опытного русского дипломата А. М. Обрескова. В последующих письмах речь идет об «инструкции послам», то есть об условиях мира, выработанных Н. И. Паниным.

Стр. 380. *Вот что венский двор себе откроить хочет.* — В 1769 году Пруссия заявила о своих претензиях к Польше и выдвинула идею ее раздела. Россия воспротивилась этому плану. В 1771—1772 годах, воспользовавшись трудными международными обстоятельствами России в связи с ее войной с Турцией, Пруссия снова потребовала произвести раздел Польши. К ней присоединилась и Австрия. Н. И. Панин вынужден был согласиться лишь на частичный раздел: за Австрией, по его плану, сохранялись захваченные ею польские земли, Пруссии

передавались некоторые области, к России отходили ее исконные территории — часть Белоруссии и Лифляндии. (Подробнее о «русских приобретениях» см. в письме от 11 мая 1772 года.) Н. И. Панин категорически возражал против того, чтобы были отняты у Польши такие города, как Гданьск, Львов и др. Во время переговоров Австрия и Пруссия выступили с неумеренными требованиями. Об этой борьбе русской дипломатии, и в частности Н. И. Панина, и пишет Фонвизин в настоящем письме.

Стр. 384. *...мудрено сообразить потребный для посла характер с характером того, кто послом назван...* — «Первым послом» был назначен Г. Г. Орлов. Опасения Н. И. Панина оправдались — действия «взбалмошной головы» Г. Г. Орлова чуть было не сорвали мирные переговоры (см. примеч. к следующему письму).

Стр. 395. *...самая справедливость дела нашего подает причину надеяться, что мир заключен будет по положенному основанию, каким бы самодуром на конгрессе поступлено не было.* — «Самодуром» действовали Г. Г. Орлов и Екатерина. Императрица, понимавшая, что Орлов — «странная личность» и совершенно непригодная для отведенной ему роли, все же послала его туда, потому что преследовала свою корыстную цель (нужно было избавиться от неугодного фаворита, — сразу же после отъезда Г. Г. Орлова во дворец был введен новый любимчик — Васильчиков). Орлов, прибыв в Фокшаны, отказался выполнять инструкцию Н. И. Панина о заключении мира и повел дело к возобновлению войны, поссорился с командующим П. А. Румянцевым, обещав его повесить, стал обдумывать план захвата Константинополя. Затем, прервав переговоры, уехал в Яссы, где начались ослепительные празднества. Только узнав о замене его Васильчиковым, Орлов поспешно бросил Яссы и поскакал в Петербург. Турки, тайно поддерживаемые Австрией, отказались подписать мирный договор.

И. П. ЕЛАГИНУ

Стр. 400. *...перевел «Иосифа»...* — поэма Битобе в прозе «Иосиф». Фонвизинский перевод вышел в Москве в 1769 году.

...напечатал «Сиднея»... — Речь идет о фонвизинском переводе повести «Сидней и Силли, или Благодеяние и благодарность».

...дописал почти свою комедию... — «Бригадир».

Дела производит г. секретарь — В. И. Лукин, драматург и секретарь И. П. Елагина, с которым у Фонвизина были натянутые отношения.

Стр. 401. *...должен я буду остаться на прежнем основании, на котором быть не могу никаким образом.* — Фонвизин решительно не хотел продолжать службу у Елагина и потому уехал в отпуск, всячески затягивая свое возвращение в столицу. По возвращении же в конце 1769 года он осуществил свой замысел и перешел на службу в Коллегию иностранных дел к Н. И. Панину.

А. М. ОБРЕСКОВУ

Нам известны шесть писем к Обрескову: четыре от 1772-го, одно от 1773-го и одно от 1774 года. Все это время Обресков был занят политическим делом огромной важности — переговорами с представителями Турции о заключении мира и прекращении войны. Переговоры начались в июле 1772 года в Фокшанах. Представителями России были Г. Г. Орлов и А. М. Обресков. «Самодурные» поступки всесильного фаворита привели к срыву планов Н. И. Панина немедленного заключения мира. Только внезапный отъезд Орлова в столицу (в связи с полученным известием, что его место во дворце занял новый фаворит Васильчиков) помог Обрескову вновь вернуться к переговорам, которые открылись в октябре 1772 года в Бухаресте. Полномочным представителем России на этот раз был А. М. Обресков. Но и в Бухаресте заключить мирный договор не удалось. Переговоры были завершены только в 1774 году. Фонвизин подробно сообщает Обрескову, доверенному лицу Н. И. Панина, о всех важных для него придворных событиях. В 1773 году, в связи с совершеннолетием и женитьбой Павла, Екатерина старалась отдалить Н. Панина от наследника. Братья Орловы, смертельные враги Н. Панина, принимали меры к тому, чтобы удалить Н. И. Панина от всех занимаемых им должностей в государстве. Фонвизин и пишет: «Злоба, коварство и все пружины зависти и мщения натянуты и устремлены были на его несчастие». И в другом месте: «Граф А. Г. Орлов на сих днях сюда прибыл, и теперь все пять братьев съехались». В придворные интриги включились дипломаты иностранных держав, заинтересованные в падении Н. И. Панина и удалении с поста руководителя

иностранными делами умного, твердого и энергичного политика и дипломата.

Стр. 408. *Франция надеялась и ожидала перемен нашего министерства, следственно и системы, но обманулась.* — Французский посол Дюрок, связанный с Орловыми, полагал, что Н. И. Панина отстранят и на его место назначат нового, близкого Орловым человека. Но все эти планы рухнули. Н. И. Панин остался на посту руководителя русской внешней политики.

Стр. 409. *Здесь у двора примечательно только то, что г. камергер Васильчиков выслан из дворца и генерал-поручик Потемкин пожалован генерал-адъютантом и в Преображенский полк подполковником.* — Фонвизин сообщает об очередной и на этот раз важной перемене: Васильчиков удален и приближен Г. А. Потемкин, который будет занимать роль фаворита два десятилетия, сделавшись вернейшим помощником Екатерины. Приход Потемкина окончательно определил удаление с политической сцены Орловых.

С. С. ЗИНОВЬЕВУ

Стр. 411. *Князь Г. Г. живет в Ревеле, и его сюда ожидают.* — *Г. Г.* — Орлов, бывший фаворит Екатерины. Прибыв с юга осенью 1772 года, он не был допущен в Петербург. Но Екатерина, боявшаяся мести со стороны Орлова, указом 4 октября 1772 года пожаловала ему титул князя и разрешила появиться в столице. В начале 1773 года Орлов уехал в Ревель, где и жил до весны.

III. ПИСЬМА ИЗ ВТОРОГО ЗАГРАНИЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ (1777—1778)

К РОДНЫМ

Стр. 433. *Американские их дела доходят до самой крайности...* — С 1776 года Англия вела войну со своими тринадцатью колониями, объявившими себя независимой республикой — Соединенными Штатами Северной Америки. В конце 1777 года англичане действовали особенно удачно.

Стр. 441. *Вчера Вольтер был во Французской академии.* — После более чем двадцатилетнего отсутствия Вольтер, ранее

преследуемый Людовиком XV, явился 10 февраля 1778 года в Париж как победитель. Король, полиция и церковь не осмелились препятствовать всенародным торжествам по случаю его возвращения. Пребывание Вольтера в Париже явилось триумфом просвещения, продемонстрировало силу и небывало возросший авторитет литературы. Один из близких к энциклопедистам людей, Грим, так определил исторический смысл триумфа Вольтера: «Энтузиазм, с каким устраивается апофеоз Вольтера при его жизни, является справедливой наградой не только тем чудесам, которые создал его гений, но также и той счастливой революцией, которую совершил он в нравах и умах своего века, воюя с предрассудками всех видов и всех состояний, придав литературе больший авторитет и большее достоинство, завоевав мнению свободу и независимость от всякой власти, кроме власти таланта и разума... В первый раз, быть может, мы увидели во Франции общественное мнение, пользующееся всей своей властью». Фонвизин был свидетелем этого успеха писателя и торжества независимой от власти литературы. Несомненно, это еще больше укрепило его убеждение в огромной общественной обязанности писателя, в его гражданском долге. В письмах к сестре и П. И. Панину Фонвизин засвидетельствовал множество подробностей этой исторической встречи Вольтера с литературным и народным Парижем.

Стр. 445. *...побежит au Palais-Royal... — Пале-Рояль* — старинный дворец герцогов Орлеанских в центре Парижа. В примыкающих к нему галереях в середине XVIII века были открыты магазины, кафе и игорные дома.

Стр. 452. *Сегодня получено известие, что он [Руссо] умер...* — О смерти Руссо см. письмо П. И. Панину от августа 1778 года и примечание к нему.

К П. И. ПАНИНУ

Стр. 461. *...известие о разрешении от бремени ее императорского высочества...* — 12 декабря 1777 года Мария Федоровна, жена наследника Павла, родила сына, Александра Павловича.

Стр. 470. Сей осмидесятилетний старик сочинил новую трагедию: «Ирена, или Алексий Комнин»... нельзя никак сравнить ее с прежними. — Точное название «Ирина». Трагедия написана в 1776 году как ответ французским драматургам, высту-

пившим с требованием шекспиризировать театр. Вольтер призывал к верности национальным традициям, то есть традициям классицизма XVII века, восхвалял Расина. «Ирина» — трагедия расиновского типа. В центре трагический конфликт — Ирина была выдана против воли за тирана Византии Никифора, утаив любовь к Алексею Комнину. Никифор узнает об этом и отдает приказ убить только что вернувшегося с победой Комнина. Комнин поднимает восстание, свергает и убивает тирана. Но свободная Ирина, чьи поступки определялись волей писателя классициста, смиряет в себе чувство во имя долга (перед убитым мужем) и кончает самоубийством. Характерно, что Фонвизин во время пребывания в Париже с холодностью относится к произведениям, вдохновленным эстетикой классицизма, и восторженно приветствует Руссо, и особенно его «Исповедь», которая явилась манифестом нового литературного направления.

Стр. 481. *Д'Аламберы, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны...* — Выступление против Дидро и Даламбера объясняется политическими обстоятельствами. Дело не в консерватизме Фонвизина. Его оценка вовсе не предание анафеме глашатаев свободы. Письма свидетельствуют, что Фонвизин выступил не против просветительства, но против поведения отдельных философов. С почтением он говорит о Руссо, с уважением относится к Вольтеру, близко сходится с Тома, встречается в Париже со многими другими писателями, философами, общественными деятелями. Он доволен своей встречей с Франклином.

Следует иметь в виду еще одно обстоятельство: «сильные» выражения по адресу Дидро и Даламбера были написаны в духе эпохи. Известно, что многие французские крупные писатели, враждуя друг с другом, не стеснялись в выражениях. Так, Вольтер в письме к Даламберу писал: «Весьма прискорбно для философии, что Жан-Жак Руссо — безумец, но еще печальнее то, что он нечестный человек». В других письмах оценка превращалась в ругательства: «он играет роль доносчика и клеветника», «Руссо — собака, кусающая тех, кто предлагал ему хлеб», «он совершенно безумен», «Руссо — философ-шарлатан» и т. д.

Стр. 486. *Les lettres de cachet — суть именные указы...* — Бланки королевских приказов о заключении в тюрьму без суда любого человека выдавались полиции с пробелом на месте, где должна быть указана фамилия обвиняемого. Полиция, имея

такие приказы, вписывала любые фамилии и расправлялась с неугодными ей людьми.

Я. И. БУЛГАКОВУ

Стр. 492 и 493. *...в подвигах для блага лексикона... Я вижу, что и лексикон наш умирает при самом своем рождении.* — К сожалению, мы ничего до сих пор не знаем об этой работе Фонвизина над лексиконом. На основании писем Я. И. Булгакова можно высказать предположение, что подготовлявшийся лексикон был французско-русским словарем, что к моменту отъезда Фонвизина за границу работа была сделана наполовину, что составлялся он вместе с Данилевским и, наконец, что уже дело дошло до печати первого тома (Фонвизин сообщает, где можно хранить отпечатанный тираж). Кто такой Данилевский, фамилию которого без имени Фонвизин многократно упоминает в письмах? В 60—80-е годы в Москве вышло несколько переводов с французского, которые были подписаны инициалами Н. Д. (в 1766 году вышел перевод восточной повести «Даира», в 1769 году — «Невинные страдания, или Бедственная верность Леноры Д...», в 1770 году — повесть «Злосчастное замужество девицы Гарви» и т. д.). Посвящение перевода «Даиры» Г. А. Толстому подписано более полно — Н. Дан. В 1866 году Н. Погодин издал сборник «Утро», где в статье о юности Карамзина, рассказывая об увлечении писателя повестью «Даира», раскрывает имя переводчика — Н. Даниловский. Но с тем ли Даниловским составлял словарь Фонвизин? Пока удалось установить, что Н. Даниловский учился одновременно с Фонвизиным в гимназии Московского университета, вместе с ним получал награды. Звать гимназиста Даниловского Николаем. Совершенно очевидно, что это и есть переводчик Н. Д. — Н. Дан. По-видимому, с ним, своим университетским товарищем, и готовил Фонвизин лексикон. В письмах своих он его называет и Даниловский и Данилевский. В «Известиях» о наградах гимназистов, напечатанных в «Московских ведомостях», стоит Николай Данилевский.

В связи с лексиконом вызывает интерес «Известие о словаре французском с русским, печатающимся в Санкт-Петербурге иждивением книготорговца Вейтбрехта», появившееся в «Санкт-Петербургском вестнике» за 1778 год (февраль). В «Известии» так определен характер словаря: «Общество ученых людей

соединенными силами старается ныне издать французско-русский полный и исправный словарь, какового мы еще поныне не имели. Оный переводится со словаря французской Академии, последнего издания, которое несравненно совершеннее и исправнее всех прочих прежде бывших до сего изданий... Переводчики взяли на себя труд перевести все слова французские, находящиеся в оном, и к ним приобщили все фразы, кои им показались нужными для изъяснения различных оттениваний смысла и для означения разных образов, которыми сии слова на российский язык могут быть переведены». Далее сообщалось, что «перевод сего словаря совсем кончен», но издание его задерживается и «публика будет от времени до времени уведомляема об успехах печатания сея книги».[1] Обещанного уведомления не последовало, только в 1786 году наконец вышел этот «Полный французский лексикон, с последнего издания французского лексикона французской Академии на российский язык переведенный собранием ученых людей».

IV. ПИСЬМА К РАЗНЫМ ЛИЦАМ

К МЕДОКСУ

Стр. 497. *Я положил конец интриге...* — Долгое время власти не разрешали постановку «Недоросля». Только вмешательство Н. И. Панина и Павла помогли преодолеть сопротивление, положить конец интриге и 24 сентября 1782 года, на основании полученного разрешения, представить комедию в театре.

К П. И. ПАНИНУ

Стр. 499. *Быв не в состоянии ехать в Невский...* — Речь идет об Александро-Невской лавре, где был похоронен Н. И. Панин.

V. ПИСЬМА ИЗ ТРЕТЬЕГО ЗАГРАНИЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ (1784—1785)

К РОДНЫМ

Поездка в Италию была вызвана главным образом деловыми обстоятельствами: Фонвизин вошел в компанию с купцом Клостерманом, который открыл в Петербурге и Москве анти-

---

[1] На это «Известие» мое внимание обратил П. Н. Берков.

кварные магазины, продававшие произведения искусства. В Германии и Италии Фонвизин посещал художников, осматривал картинные галереи, закупая предметы искусства, картины, заказывая копии с всемирно известных оригиналов.

Стр. 541. *...письма моего к графу Петру Ивановичу... в нем опишу журнал страстной недели.* — См. это письмо на стр. 554.

VI. ПИСЬМА ИЗ ЧЕТВЕРТОГО ЗАГРАНИЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ (1786—1787)

Вернувшись из Италии, Фонвизин тяжело заболел в Москве, где его 28 августа 1785 года разбил паралич. Через год, когда Фонвизин несколько оправился, по настоянию врачей он поехал в Карлсбад. Цель поездки — лечение. Болезнь мешала писать, рука почти не двигалась; небольшое число дошедших до нас писем было написано под диктовку.

ДНЕВНИКИ

До нас дошли, к сожалению, лишь дневники из последнего заграничного путешествия (1786—1787) и посещения Риги, Бальдона и Митавы в 1789 году. В это время Фонвизин был тяжело болен. Большая часть дневника составляет поденную запись состояния здоровья, перечень принятых лекарств и кушаний, подаваемых в трактирах. Печатаются представляющие интерес отрывки.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[1]

[1] В настоящем указателе приводятся лишь имена наиболее значительных исторических деятелей и лиц, сведения о которых важны для понимания текста, а также для характеристики окружения и связей Фонвизина. Транскрипция имен дается авторская, в скобках же оговаривается современное или, в случае ошибки, правильное их написание. В отдельных случаях в скобках для уточнения приводятся варианты имен или полное их написание. *(Ред.)*

---

[1] Ввиду совпадения имен, отчеств, а также места службы обоих Бакуниных, в некоторых случаях не представлялось возможным установить, к кому из них относится упоминание на данной странице. Номер такой страницы (с вопросом в скобках) указывается поэтому дважды, под обоими именами.

был генерал-директором Индийской компании в Пондишери. II, 176.

Вит Иоган (Витт Ян, де, 1625—1672) — нидерландский государственный деятель; был убит вместе с братом по политическим мотивам. II, 145.

Вобан Себастьян (1633—1707) — маршал Франции, военный инженер и выдающийся полководец. II, 114, 129, 137, 142, 155.

Воинов. — Вероятно, имеется в виду Воинов Михаил Федорович (1758—1827), русский художник, посланный за границу Академией художеств для совершенствования, или его брат Воинов Иван Федорович (1764—1829), также художник, живший и работавший за границей. II, 558.

Волков Федор Григорьевич (ок. 1729—1763) — великий русский актер и театральный деятель; с 1761 г. — директор «Русского театра» в Петербурге. II, 93.

Волтер (Вольтер) Франсуа-Мари-Аруэ (1694—1778). I, 234; II, 94, 102, 103, 370, 438, 440—443, 447—449, 469—471, 535.

Воронцов Иван Илларионович, граф (1719—1786) — генерал-поручик. II, 615.

Воронцов Михаил Илларионович, граф (1714—1767) — канцлер. II, 94, 281, 317.

Воронцов Роман Илларионович, граф (1707—1783) — сенатор, ведал «дирекцией над ревизион-коллегией», в которой служил отец Д. И. Фонвизина. Отец Е. Р. Дашковой. II, 348.

Воронцов Семен Романович, граф (1744—1832) — дипломат. С 1783 г. — полномочный министр в Венеции, с 1785 г. — в Лондоне. II, 536.

Воронцова Анна Карловна, графиня (1723—1775) — жена канцлера М. И. Воронцова, обер-гофмейстерина Екатерины II. II, 100.

Ву-ти (У-ди) — китайский император из династии Хань, правивший с 140 по 86 г. до н. э. II, 251.

Вяземский Александр Алексеевич (1727—1793) — генерал-прокурор сената, доверенное лицо Екатерины II. II, 348, 353, 354, 357, 504.

Гавриил *(Петров,* 1730—1801) — митрополит Петербургский; проповедник; депутат духовенства в екатерининской Комиссии по составлению нового уложения. Участвовал в создании «Словаря Академии Российской». II, 64.

императором, но после трехмесячного правления был убит своими же сторонниками. II, 225, 226.

Кастре Абрахам (ум. в 1757 г.) — английский дипломат, был консулом в Мадриде и послом в Лиссабоне с 1749 по 1757 г. II. 177.

Катилина Луций Сергий (108—62 до н. э.) — римский политический деятель, глава военного заговора против сената. I, 254; II, 68, 225.

Катинат (Катина) Николя (1637—1712) — французский полководец, маршал. II, 124.

Катон Марк Порций (*Младший, или Утический,* 95—46 до н. э.) — римский государственный деятель, вождь республиканской партии. Узнав о победе Цезаря над республиканскими войсками, заколол себя мечом. II, 199, 200, 208.

Катон Марк Порций (*Старший,* 234—149 до н. э.) — римский государственный деятель и оратор. Его имя стало нарицательным для человека строгих принципов и сурового образа жизни. II, 48, 160, 225, 307.

Кауниц (Кауниц-Ритберг) Венцель-Антон-Доминик, князь (1711—1794) — австрийский государственный деятель и дипломат; с 1753 г. — австрийский государственный канцлер. Принимал участие в подготовке первого раздела Польши. II, 367, 368, 373—375, 380, 408.

Каховский Михаил Васильевич, граф (1734—1800) — генерал-аншеф. В 1772 г., после первого раздела Польши, был назначен губернатором Могилевской губернии. Впоследствии воевал с конфедератами. С 1779 г. — член военной коллегии. II, 387.

Кесарь — см. Цесарь.

Кесне (Кин — Keene) Бенджамин (1697—1757) — английский дипломат. Был полномочным послом в Мадриде. В 1750 г. заключил торговый договор с Испанией. II, 177.

Кие (Цзе Цзе-гуй) — последний китайский император из легендарной династии Ся (XIX—XVIII вв. до н. э.). В конфуцианских исторических источниках характеризуется как негодный правитель, тиран и злодей. II, 237, 249, 251.

Киеу (Цзю) — имеется в виду Ху Янь, дядя (цзю) удельного князя Вэнь-гуна (VIII—V вв. до н. э.). II, 240.

Кимон (ок. 507—449 до н. э.) — афинский полководец, одержал ряд побед над персами во время греко-персидских войн; вождь олигархического течения и ярый сторонник спар-

Тюренн Анри де ла Тур д'Оверпь (1611—1675) — выдающийся французский полководец. II, 124, 153, 179.

Уен-уанг (Вэнь-ван, XIII—XII в. до н. э.) — посмертное имя князя Си Бо, отца У-вана. Китайской конфуцианской исторической традицией считался образцовым правителем. II, 233—235, 244, 246.

У-уанг (У-ван, XII в. до н. э.) — сын Уен-уанга (Вэнь-вана), первый китайский император из легендарной династии Чжоу. II, 234, 235.

Фаберт (Фабер) Абрахам, до (1599—1662) — французский мореплаватель и инженер, был губернатором Седана. II, 124.

Фабриций Кай Лусцин (III в. до н. э.) — римский политический деятель; по преданию, отличался честностью и неподкупностью, умер в бедности. II, 207.

Фалес (ок. 624—548 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, основатель Милетской школы. Происходил из кругов торговой аристократии. II, 160.

Фараманд (Фарамонд) — легендарный франкский полководец V в. II, 128.

Фемистокл (ок. 525 — ок. 460 до н. э.) — афинский политический деятель и полководец, создатель военного флота Аттики. Во время греко-персидских войн разбил персидский флот у о. Саламин (480 до н. э.). II, 153, 295, 296.

Фенелон Франсуа (1651—1715) — французский писатель, педагог, один из предшественников Просвещения. Автор популярного в XVIII в. романа «Приключения Телемака, сына Улисса» (1699), в котором критикуется правление Людовика XIV. В трактате «О воспитании девиц» (1687) излагаются принципы наглядного обучения. I, 149; II, 57.

Филипп II (ок. 382—336 до н. э.) — царь Македонии, полководец и дипломат. Отец Александра Македонского. I, 234.

Филипп IV (1621—1665) — испанский король. II, 153.

Фокион (ок. 402—318 до н. э.) — афинский полководец и государственный деятель. II, 303.

Фолкенер (Фоукнер) Эверард (1684—1758) — английский купец и дипломат, был послом в Турции с 1735 по 1746 г. II, 177.

СОДЕРЖАНИЕ[1]

ПРОЗА

[1] Звездочкой обозначены произведения, впервые печатаемые в составе собрания сочинений Д. И. Фонвизина.

Также впервые публикуются здесь следующие письма: А. М. Голицыну — из Гамбурга (1763 г.), М. И. Воронцову от 29 декабря 1762 г., П. И. Панину — из Петербурга (от февраля 1771 г.), ему же — из Монпелье (от 25 января 1778 г.), ему же — из Парижа (от августа 1778 г.), Я. И. Булгакову — из Парижа (от апреля 1778 г.), А. М. Обрескову — из Петербурга (4 письма от сентября — декабря 1772 г.), Е. Р. Дашковой — из Москвы (от января 1784 г.).

ПУБЛИЦИСТИКА

ПИСЬМА И ДНЕВНИКИ

I. Письма из первого заграничного путешествия (1762—1763)

Д. И. ФОНВИЗИН

Собрание сочинений, т. 2

Редактор Р. Софронова
Художественный редактор
Л. Чалова
Технический редактор
Л. Крючкина
Корректор И. Кузнецова

Подписано к печати 28/III 1959 г.
Бумага 84×108 1/32 — 23,25 печ. л.=
=38,13 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 35,36.
Тираж 75 000 экз. Заказ № 515.
Цена 10 р. 85 к.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград. Невский пр., 28

Ленинградский Совет
народного хозяйства.
Управление полиграфической
промышленности. Типография № 1
«Печатный Двор»
им. А. М. Горького.
Ленинград. Гатчинская, 26.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
640	5-я сверху	«Рассуждение...	«Рассуждения...
409, 558, 560	в сносках пропущено *(Прим. ред.)*.		